

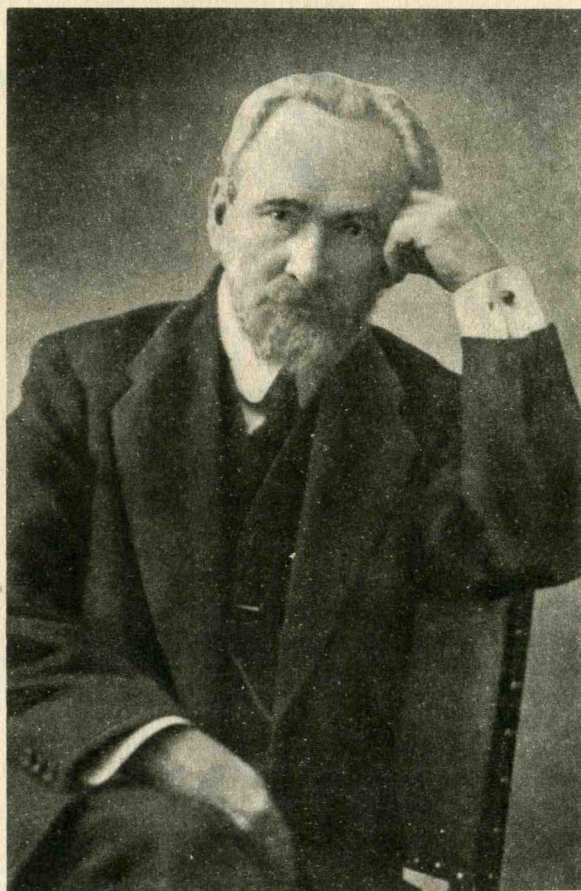
83.791

Р-64

**В.В.
РОЗАНОВ**



**МЫСЛИ
О ЛИТЕРАТУРЕ**



ИЗ ЛИТЕРАТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

**В. В.
РОЗАНОВ**



**МЫСЛИ
О
ЛИТЕРАТУРЕ**

Москва
«Современник»
1989

**ББК 83.3Р1
Р64**

Общественная редколлегия:

член-корреспондент АН СССР *Ф. Ф. Кузнецов*,
доктор филол. наук *Н. Н. Скатов*,
доктор ист. наук *А. Ф. Смирнов*,
доктор филол. наук *Г. М. Фридляндер*

Составление, вступительная статья, комментарии,
указатель имен *А. Н. Николюкина*

Рецензент *П. В. Палиевский*

Р 4603010100—245 КБ—50—22—88
М106(03)—89

ISBN 5—270—00963—3

© Издательство «Современник», 1989

В. В. РОЗАНОВ — ЛИТЕРАТУРНЫЙ КРИТИК

И кто сказал, что взрослым людям
Страниц иных нельзя прочесть?
Иль нашей доблести убудет
И на миру померкнет честь?

А. Твардовский. По праву памяти

1

В 1969 г. вдова Пришвина Валерия Дмитриевна писала последней оставшейся в живых дочери Розанова — Татьяне Васильевне: «Пока имя В. В. [Розанова] одиозно (сами понимаете). Не беспокойтесь об этом, это не важно, и все будет как надо *в свое время*».

Это время настало, и ныне мы можем писать о Розанове правду. Всю правду. Хотя всю правду писать очень трудно. Но нужно пытаться...

Как же получилось, что русская культура XX в. развивалась «вне Розанова»? У нас издавна принято считать, что знаменитое ленинское высказывание: «Коммунистом стать можно лишь тогда, когда обогатишь свою память знанием все тех богатств, которые выработало человечество»¹ — относится в литературе только или по преимуществу к наследию реализма и демократии. В. В. Розанов в эту категорию явно не попадал. Однако ленинская мысль обращена ко всей русской культуре, одним из талантливейших представителей которой в начале века был Василий Васильевич Розанов (1856—1919).

Историзм в подходе к проблемам культурного наследия заключается в способности понять логику оценок писателя современниками, которая не всегда и не во всем совпадает с оценками «нового мышления» нашего времени, с представлениями об общечеловеческих ценностях, приобретающих определяющее значение ныне.

Демократически настроенные круги русского общества причисляли Розанова к лагерю реакции. Современники, как всегда, были правы, но для своего времени. Потомки предлагают иное прочтение художественного наследия. И это их право, ибо при этом подчас раскрываются такие стороны наследия, мимо которых прошли современники. Так было с Гоголем и Достоевским, а в более близкое нам время с Булгаковым, Платоновым, Замятиним и другими. Нечто подобное произошло и с Розановым, которого М. Горький называл «самым ин-

¹ Ленин В. И. Полн. собр. соч. Т. 41. С. 305.

тересным человеком русской современности», вел острую полемику в письмах и вместе с тем видел в нем «огромнейший талант»¹.

Творчество Розанова — одно из наиболее неоднозначных явлений русской культуры, чем и объясняется его «забвение». Если о Розанове и вспоминали, то как о том, кто «отказывался от наследия 60—70-х годов», от традиций революционных демократов и народников, кто не понял и не принял три поколения, действовавших в русской революции от декабристов и Герцена до марксистов и ленинцев, совершивших Октябрьскую революцию.

Направление мысли Розанова во многом сходно со взглядами Достоевского, хотя он жил уже в иную эпоху и не мог просто следовать за любимым писателем. Да и судьбы их наследия в чем-то схожи. Современники, как известно, отвернулись от Достоевского-монархиста, и он долгое время оставался «под подозрением» в среде передовой интеллигенции. Минуло почти столетие, прежде чем Достоевский был справедливо оценен и воспринят нашей культурой и нравственным самосознанием народа.

У Розанова иной художественный масштаб, он автор необычной трилогии мысли («Уединенное» и два короба «Опавших листьев»), многочисленных эссе о русской литературе и культуре. Современники воспринимали его как проповедника «философии пола» (таковы его книги «В мире неясного и нерешенного», 1901; «Темный лик», 1911; «Люди лунного света», 1911 и др.). Новейшая академическая «История русской литературы» в четырех томах лишь мельком упоминает о Розанове в связи с богоискательством.

Литераторы рубежа XIX—XX в. относились к Розанову и того суровее. Нравы критики были весьма своеобразны. Теоретик народничества Н. К. Михайловский справедливо упрекал Розанова в том, что ему «весьма мало известно то наследство, от которого он столь торжественно отказывается»². Действительно, Розанов позднее признавался, что многого не читал в этом «наследстве». Но и сам Михайловский, выступая против Розанова и его статьи о Л. Толстом (1895), заявляет: «Я не читал этой статьи и знаю ее только по цитатам г. Буренина в „Новом времени“»³. Неудивительно, что подобная полемика зачастую напоминала беседу двух глухих.

Доходило до крайностей. В заметках о журнале князя Мещерского «Гражданин» Розанов спешил сообщить, что не читает этот журнал («О писателе и писательстве», 1899). Михайловский, возражая Розанову по поводу журнала князя Мещерского, не преминул похвастаться: «Я тоже не читаю „Гражданина“»⁴. Будто каждый стремился доказать, что можно и *должно* писать о том, чего не читаешь. Очевидно, это стало «хорошим тоном» в «конце века».

У каждого сколько-нибудь значительного критика есть своя концепция

¹ Архив А. М. Горького. М.: Худож. лит., 1966. Т. 9. С. 125; Контекст 1978: Литературно-теоретические исследования. М.: Наука, 1978. С. 306.

² Михайловский Н. К. Полн. собр. соч. СПб.: Стасюлевич, 1909. Т. 6. С. 962.

³ Там же. Т. 8. С. 179.

⁴ Там же. Т. 1. С. 195.

литературы, своего рода «хартия», которая может претерпевать различные изменения. Этого не скажешь, однако, о Розанове. У него не было «хартии», то есть системы с твердыми «да» и вполне определенными «нет». У него свое, розановское, понимание «концепции», при котором «да» и «нет», «правое» и «левое» сосуществуют,— вернее сказать, «да» не всегда «да», а «нет» отнюдь не обязательно «нет».

Достоевский — объект преклонения Розанова на протяжении всей жизни, особенно в молодости (он даже обвенчался с возлюбленной великого писателя — Аполлинарией Суловой, «чтобы лучше понять Достоевского»). И вместе с тем мог писать: «Достоевский как пьяная нервная баба вцепился в «сволочь» на Руси и стал пророком ее»¹ Или утверждать в рецензии на книгу А. Волынского о Достоевском, что Гоголь и Достоевский «выели» пушкинскую стихию в русском сознании: «„Съели наше счастье“ великие русские мистики»².

И это отнюдь не означало «пересмотра» позиций. Просто еще один угол зрения, еще одна мысль. Эти «мысли» как особый литературный жанр Розанов коллекционировал в своей трилогии, подобно энтомологу, нанизывающему бабочек на невидимые булавки. А бабочки бывают разные.

Публикация статей в либеральной газете «Русское слово» под псевдонимом В. Варварин (в 1905—1911 гг.), заигрывание с идеями революции 1905 г., получившее отражение в книге «Когда начальство ушло...» (опубликованной пять лет спустя, в 1910 г., в годы реакции, что тоже характерно), наконец, последняя книга «Апокалипсис нашего времени» (1917—1918) — все это было отрицанием системы, будь то консервативно-охранительные взгляды или квазиреволюционные. Сам Розанов выразил эту свою «беспринципность» в словах: «Мне ровно наплевать, какие писать статьи, «направо» или «налево». Все это ерунда и не имеет никакого значения» (II, 300).

Розанов берется «обосновать» свое отрицание политики или, как мы сказали бы теперь, безбрежный плюрализм: «Вот и поклонитесь все „Розанову“ за то, что он, так сказать, „расквасив“ яйца разных курочек, — гусиное, утиное, воробьиное — кадетское, черносотенное, революционное, — выпустил их „на одну сковородку“, чтобы нельзя было больше разобрать „правого“ и „левого“, „черного“ и „белого“» (II, 162). За всем этим лежит идея отрицания политики как явления, по Розанову, безнравственного, ложного и потому неприемлемого.

Часть истины есть в революции и часть есть в черносотенстве, утверждал Розанов. Потому он писал «во всех направлениях» (II, 161) или «черносотенничал» и «эсерничал» одновременно и говорил о себе: «Мы еще погимназистничаем!» (II, 300). Революцию представлял себе в образе террористов (традиция, идущая от «Бесов» Достоевского). Даже Салтыкова-Щедрина зачислял в социал-демократы и бахвалился, что никогда не читал его.

¹ Розанов В. В. Опавшие листья. Спб.: Суворин, 1913. С. 362. Далее ссылки на страницы трилогии Розанова приводятся в тексте. Первый и второй короб «Опавших листьев» (1913 и 1915) обозначены римскими цифрами. «Уединенное» (1912) цитируется по второму, дополненному изданию (Пг., 1916).

² Критическое обозрение. 1909. Сентябрь. Вып. 5. С. 40.

О Чернышевском, с одной стороны, отзывался самым резким образом, а с другой стороны, исписал несколько страниц в «Уединенном» (26—28), сокрушаясь, что не использовать такую кипучую энергию, такой талант, как у Чернышевского, для государственного строительства — было «преступлением, граничащим со злодеянием». С самого Петра I мы не видели природы, которая так бы жила «заботой об отечестве»: «Такие лица рождаются веками; и бросить его в снег и глушь, в ели и болото... это... это... черт знает что такое... Ведь это — прямой путь до Цусимы». Другое дело, что за этим возмущением стоит мечта Розанова «приспособить» Чернышевского: «С выходом его в практику — мы не имели бы и теоретического нигилизма». Мысль до примитивности простая: не было бы самодержавие так глупо и непрактично, не было бы и нужды в русской революции.

Подобная «двуликость» проявлялась у Розанова постоянно. В январе 1892 г. он начал печатать в «Русском вестнике» серию статей о К. Леонтьеве («Эстетическое понимание истории»), в которых оценивает художественные достижения Л. Толстого самым высоким образом, особенно его понимание человеческой души.

А уже через три года в том же «Русском вестнике» появляется его статья «По поводу одной тревоги гр. Л. Н. Толстого», где он читает нравоучение Толстому за его новое произведение «Хозяин и работник»: «Ты укоряешь теперь, ты сокрушен человеческими пороками («Плоды просвещения», «Власть тьмы»), ты возмущен, что делает человек из даров, ему данных богом («Крейцерова соната»), — но разве лучшие дары, тебе данные, ты лучше употребил?»¹.

Мировоззрение Розанова никогда не было «монолитно» (хотя именно «монолитность» ценил он в К. Леонтьеве). Его собственные литературно-критические взгляды были «разнопородного состава». Н. Михайловский говорил, что отрицательное отношение Розанова к декадентам всего лишь «недоразумение» и рано или поздно декаденты примут Розанова в свои объятия, ибо «невозможно идти зараз и направо и налево»². Однако всю свою жизнь Розанов специализировался на том, чтобы «идти зараз и направо и налево».

Апофеозом розановской двуликости стало *одновременное* появление в печати в 1910 г. его книги «Когда начальство ушло...» (где он «радовался» убийству эсерами министра внутренних дел Плеве) и статей в «Новом времени», в которых он злобно обличал русскую революцию, а заодно и Чернышевского, Писарева, Салтыкова-Щедрина. В самом сосуществовании противоположных высказываний Розанов как бы «выявлял» полярность своих точек зрения.

Ранее он печатался в суворинском «Новом времени» под своей фамилией, а в демократической прессе под фамилией В. Варварин (это было условием А. С. Суворина). После 1910 г. он стал печатать «противоположное» открыто под собственной фамилией. Его не принимали ни «левые», ни «правые». Но

¹ Русский вестник, 1895. № 8. С. 180.

² Михайловский Н. К. Последние сочинения. Спб.: Русское богатство, 1905. С. 209, 211.

если «левые» с ним не соглашались, то «правые» его люто ненавидели за покушение на христианское вероучение и существующий миропорядок. Для них он был «страшнее», чем революционеры.

Даже в одной публикации он пытался писать «во всех направлениях». В статье «Перед рассветом», появившейся под псевдонимом Орион, Розанов «на равных» ведет речь о М. Горьком и декадентах, о либералах и реакционерах: «Максим Горький из «новых» — фигура самая яркая. Один он составляет целое явление, целый лагерь. В то время как декаденты все объясняются какими-то иностранными вокабулами, Горький каждую свою мысль «шлепает» даже не свинцовыми буквами, а какими-то прямо из доски вырезанными буквами. «Аз» — так уж «Аз», не смешашь с другой буквой». Вывод же статьи говорит сам за себя: «Мне кажется, я до некоторой степени объединил: 1) либералов; 2) консерваторов; 3) символистов; 4) Максима Горького. «Надо открыть двери!» Это — для *всех без исключения* нужно; всем от этого будет лучше»¹. Феномен такого «слияния» Горький объяснял «разноцветной душой» Розанова.

Зинаида Гиппиус, хорошо знавшая Розанова, говорила, что он «пишет двумя руками»: в «Новом времени» одно, в «Русском слове» под прозрачным псевдонимом — другое. «Обеими руками он пишет искренно (как всегда), от всей махровой души своей. Он прав. Но совершенно прав и П. Б. Струве, печатаая в „Русской мысли“, рядом, параллельные (полярные) статьи Розанова и обвиняя его в „двурушничестве“»²

Подобный небывалый феномен в русской литературе с ее устойчивыми традициями гражданственности объясняли по-разному: политическим приспособленчеством, равнодушием («наплевать»), безразличностью писателя или (как Петр Струве) тем, что «единственной святыней» для Розанова была частная жизнь семьи (даже псевдоним Варварин выбран по имени второй жены Варвары Дмитриевны Рудневой).

Своеобразный гимн своей «семейной часовенке» (за что его потом не раз корили и насмехались) пропел Розанов в предисловии к книге «Религия и культура» (1899): «Сборник этих интимных (по происхождению) статей я посвящаю малому храму бытия своего, тесной своей часовенке». И далее следует перечисление покойных родителей, труженицы жены и детей-младенцев — Татьяны, Веры, Варвары и Василия.

Подобное психологическое, личностное объяснение «антиномий» Розанова не может, конечно, быть исчерпывающим. В определенной связи с этим находится и то, что апологет быта, дома, семейной жизни («частная жизнь выше всего», — говорил он в «Уединенном»), любовавшийся мелочами жизни, на которые обычно не обращают внимания (Н. Бердяев назвал его «первоклассным писателем» и одновременно «гениальным обывателем»), проявлял удивительную беззаботность относительно фактов, которые он перевирал, выду-

¹ Слово. 1904. 6 декабря. № 6.

² Гиппиус З. Живые лица. Прага: Пламя, 1925. Вып. 2. С. 69.

мывал и вообще в известной мере презирал, полагая, что «факты» — не «дело», а бисер в его художественных узорах.

И если бы мы обратили его внимание на то, что напрасно он в отчете о Гоголевских днях в Москве пишет, будто Гоголь служил в Московском университете и преподавал там всеобщую историю, поскольку на самом деле все это было в Петербургском университете, то Василий Васильевич едва ли внял бы нашим доводам и не стал бы править текст, ибо «так» получалось лучше...

Еще больше оснований считать, что он отверг бы как «фактические», а значит неверные, упреки Вл. Соловьева по поводу его «Заметки о Пушкине», начинающейся с описания того, как Гоголь, приехав в Петербург, поспешил днем к Пушкину, а лакей ответил, что барин спит: всю ночь играл в карты. И Розанов размышляет: не об этой ли самой ночи Лермонтов написал «Выхожу один я на дорогу...» Кто знает?

Рационализм Вл. Соловьева не в состоянии перенести такое допущение, и он пускается в пространные объяснения в защиту исторической правды, которая превыше художественной: «Можно подумать, что биография Пушкина и Гоголя, хронология лермонтовских стихотворений — все это предметы, «покрытые мраком неизвестности». «Кто знает»? Да ведь всякий, если не знает, то по надлежащей справе легко может узнать, когда именно Гоголь познакомился с Пушкиным и к какому именно времени относится лермонтовское стихотворение, а, узнавши это, всякий может видеть, что дело идет о двух фактах, разделенных долгими годами, и что осенняя петербургская ночь, которую Пушкин просидел за картами, никак не могла быть тою самую сияющею ночью, которая много спустя после смерти Пушкина вдохновила Лермонтова среди кавказской пустыни»¹.

Конечно, Розанов не хуже Соловьева знал, что стихотворение Лермонтова написано после смерти Пушкина, даже писал ранее, что оно создано в «роковом 1841 году» («Вечно печальная дуэль»). Но понадобилось писателю такое сопоставление, и правда историческая отступает перед «своей», повествовательной правдой. А там судите его самым строгим судом — он сказал, что хотел.

Или еще пример, приведенный Н. Михайловским. В розановском сборнике «Религия и культура» есть маленькая статейка о приезде в Петербург французских моряков. Говорится о «мистически прекрасных» звуках «Марсельезы»: «Руже де Лиль, сочинивший слова ее и музыку, ни ранее, ни потом не написал ни одной строчки, т. е. это было чистое вдохновение, «дыхание» истории». Красиво и выразительно! Но «дотошный» Михайловский напоминает, что кроме «Марсельезы» Руже де Лиль написал несколько сборников песен (большой популярностью пользовалась его песня «Роланд в Ронсевале»), сочинял романсы и оперные либретто, и гневается на «неосведомленность» Розанова. Как историк Михайловский бесспорно прав, но ведь Розанов — художник, а не исследователь. Точно так же ученый-зоолог едва ли простил бы Лермонтову строки из «Демона»:

¹ Соловьев Вл. С. Собр. соч. Спб.: Просвещение, 1913. Т. 9. С. 281.

И Терек, прыгая, как львица,
С косматой гривой на хребте.

Поэту было нужно именно так.

Только принимая во внимание подобное «своеобразие» антиномического мышления В. В. Розанова, его экзистенциалистский протезизм, который был совершенно неприемлем для многих его современников — от народника Н. Михайловского до религиозного философа Н. Бердяева, можно приступать к чтению и осмыслению книг и статей, как предлагаемых в настоящем сборнике, так и тех, что остались за его пределами.

2

Биография В. В. Розанова довольно заурядна. Он родился в Ветлуге Костромской губернии 20 апреля (2 мая) 1856 г. в семье чиновника лесного ведомства. Через три года семья переехала в Кострому, где вскоре отец умер, оставив вдову с детьми и маленькой пенсией. Наступила нужда. В доме не было ни любви, ни улыбки. О матери Розанов пишет в «Опавших листьях»: «Темненъкая, маленькая, «из дворянского рода Шишкиных» (очень гордилась) — всегда раздраженная, всегда печальная, какая-то измученная, ужасно измученная (я потом только догадался), в сущности ужасно много работавшая, и последние года два больная» (1, 236—237).

В одном из писем в последний год жизни Розанов рассказывал о своем детстве: «Окончательная нищета настала, когда мы потеряли корову. До тех пор мы все пили молочко и были счастливы. Огород был большой. Гряды, картофель и поливка (безумно трудная, 7 лет)... Вообще жизнь была физически страшно трудна, „рабочая“, и еще тут „начало учения“»¹.

После смерти матери будущий писатель жил с братом Николаем, только что окончившим Казанский университет, учился в симбирской, затем в нижегородской гимназиях, читал «Историю цивилизации» Бокля и увлекался Писаревым. В автобиографических заметках 1909 г. Розанов вспоминает: «Брат был ценителем Н. Я. Данилевского и Каткова, любил свою нацию, зачитывался Маколеем, Гизо, Грановским. Я же был «нигилист» во всех отношениях, и когда он раз сказал, что «и Бокль с Дрэпером могут ошибаться», то я до того наругал ему, что был отделен в столе: мне выносили обед в свою комнату. Словом, все «обычно русское». Учился я все время плоховато, запоем читая и скучая гимназией... Кончил я «едва-едва», — атеистом (в душе), социалистом и со страшным отвращением ко всей действительности. Из всей действительности я любил только книги» (ЦГАЛИ).

Тогда же, в гимназии, началась оставшаяся на всю жизнь любовь к Достоевскому. Позднее Розанов вспоминал: «Достоевского я читал как *родного*,

¹ Розанов В. В. Письма к Э. Голлербаху. Берлин: Изд-во Гутнова, 1922. С. 65—66.

как *своего*, с VI класса гимназии, когда, взяв на рождественские каникулы «Преступление и наказание», решил ознакомиться с писателем для образовательной «исправности». Помню этот вечер, накануне сочельника, когда, улегшись аккуратно после вечернего чая в кровать, я решил «кейфовать» за романом. Прошла вся долгая зимняя ночь, забрезжило позднее декабрьское утро: вошла кухарка с дровами (утром) затопить печь. Тут только я задунал лампу и заснул. И никогда потом *нервно не утомлял* меня (как я слышал жалобы) Достоевский. Всего более привлекало в нем отсутствие литературных манер, литературной предвзятости, «подготовления», что ли, или «освещения». От этого я читал его как бы записную книжку свою. Никогда ничего непонятого я в нем не находил. Вместе с тем, что он «все понимает», все видит и ничего не обходит молчанием, уловкою,— меня в высшей степени к нему привлекало¹.

Учение в Московском университете, который он окончил в 1882 г. (историко-филологический факультет), не наложило на Розанова заметного отпечатка. Он всегда считал, что «вовсе не университеты вырастили *настоящего* русского человека, а добрые безграмотные няни» (I, 450).

Об университетском преподавании Розанов вспоминал довольно саркастически: «Как хорошо, что я проспал университет. На лекциях ковырял в носу, а на экзамене отвечал «по шпаргалке». Черт с ним. Святые имена Буслаева и Тихонравова я чту. Но это не шаблон профессора, а «свое я». Уважаю Герье и Стороженка, Ф. Е. Корша. Больше и вспомнить некого. Какие-то обшмыганные мундиры. Забавен был «П. Г. Виноградов», ходивший в черном фраке и в цилиндре, точно на бал, где центральной люстрой был он сам. «Потому что его уже приглашали в Оксфорд». Бедная московская барышня, ангажированная иностранцем» (I, 452—453).

После университета в течение десяти лет Розанов учительствовал в провинции, преподавал историю и географию в Брянске (1882—1887), в Ельце (1887—1891), а с 1891 г. в городе Белом Смоленской губернии. Однако это не было его призванием, и он тяготился своей работой. Еще в университете он обвенчался с Аполлиной Суловой, эмансипированной женщиной, с которой в свое время Достоевский путешествовал по Западной Европе. Брак оказался неудачным, они вскоре расстались, но жена отказалась дать ему развод. В 1891 г. в Ельце он женился снова, гражданским браком (венчались тайно) на Варваре Дмитриевне Рудневой, на этот раз счастливо.

В 1886 г. вышла первая книга Розанова «О понимании. Опыт исследования природы, границ и внутреннего строения науки как цельного знания», оставшаяся не замеченной современниками. Большая часть тиража была возвращена автору. В этом весьма схоластическом трактате, обнаруживающем гегельянство сочинителя, предпринята попытка рассмотреть «понимание» как научную категорию, отличающуюся от обыденного употребления этого термина.

¹ Из переписки К. Н. Леонтьева/С предсл. и примеч. В. В. Розанова//Русский вестник. 1903. № 4. С. 650—651.

Речь идет о природе и познающем ее человеке, о внутреннем строении науки как предмета исследования. Научковедческий аспект книги не заинтересовал читателей, и Розанов от философии обратился к критике и публицистике.

В 1888 г. он выступил в Ельце с речью по поводу 900-летия крещения русского народа, изданной в Москве под названием «Место христианства в истории» (1890), затем пишет книгу о Достоевском, главы которой стали печататься в «Русском вестнике» с 1891 г. и впервые обратили внимание читателей на автора. В городе Белом Розанов пишет статьи против рутины гимназического обучения, также печатавшиеся в «Русском вестнике», что восстановило весь учебный округ против «вольнодумного учителя» (изданы в виде сборника «Сумерки просвещения», 1899).

Весной 1893 г. стараниями Н. Н. Страхова Розанов получил место чиновника Государственного контроля в Петербурге. Перебравшись в столицу, он оказался в кружке «живых славянофилов», в который помимо самого Страхова входили публицист и поэт Н. П. Аксаков (1853—1909), публицисты И. Ф. Романов (1861—1913), писавший под псевдонимом Рцы, всегда шумный С. Ф. Шарпапов (1855—1911), «длиннобородый славянофил» Афанасий Васильев (1851—1917) и умерший осенью 1893 г. О. И. Каблиц, о котором Розанов написал некролог.

К тому времени, после смерти Н. Я. Данилевского и К. Н. Леонтьева, Страхов оставался, по существу, единственным представителем позднего славянофильства. Он стал «крестным отцом» Розанова в литературе, и тот до конца жизни отзывался о нем с любовью и уважением, выпустил книгу «Литературные изгнанники» (1913), в которой опубликовал многочисленные письма Страхова к нему.

В Государственном контроле Розанов проработал шесть лет и вспоминал об этом невесело. С 1899 г. он стал постоянно сотрудничать в суворинском «Новом времени». На этом, собственно, внешние события биографии Розанова заканчиваются, если не считать трех поездок за границу (Италия, Швейцария, Германия в 1901, 1905 и 1910 гг.)

Дальше были книги, статьи в газетах и журналах, в сборниках и альманахах, составившие истинную биографию писателя. Наибольший интерес представляют для нас его книги о литературе. Помимо упомянутой книги о Достоевском («Легенда о Великом инквизиторе») и «Литературных изгнанников» Розанову принадлежат «Литературные очерки» (1899), «Среди художников» (1914) и трилогия («Уединенное» и два короба «Опавших листьев»). Отдельные статьи и мысли о литературе встречаются в книгах Розанова «Религия и культура» (1899), «В мире неясного и нерешенного» (1901), «Около церковных стен» (1906, т. 1—2), «Когда начальство ушло...» (1910) и многочисленных статьях, печатавшихся в 1890-е гг. в «Русском вестнике», «Русском обозрении», «Вопросах философии и психологии»; в 1900-е гг. — в журналах «Весы», «Мир искусства», «Золотое руно», «Новый путь»; в 1910-е гг. — в менее известных журналах «Вешние воды», «Книжный угол», в альманахах «Стрелец», «Молодая Русь» и др. Путешествие по Западной Европе вызвало к жизни

«Итальянские впечатления» (1909). Но больше всего статей появилось в газете «Новое время».

В автобиографических заметках Розанов поясняет: «Сотрудничал я в очень многих журналах и газетах, — всегда без малейшего внимания к тому, какого они направления и кто их издает... Только консерваторы не платили гонорара или задерживали его на долгие месяцы (Берг, Александров)... Когда, оказывается, все либералы были возмущены мною, я попросил у Михайловского участия в «Русском богатстве». Я бы им написал действительно отличнейшие статьи о бюрократии и пролетариях (сам пролетарий — я их всегда любил). Михайловский отказал, сославшись: «Читатели бы очень удивились, увидев меня вместе с Вами в журнале». Мне же этого ничего не приходило в голову» (ЦГАЛИ).

На «воскресеньях» у Розанова бывали Мережковские, Бердяев, Ремизовы, Л. Бакст, К. Сомов, С. П. Дягилев, Вяч. Иванов, из Москвы приезжал М. В. Нестеров. Невзлюбивший Розанова Андрей Белый тоже бывал на его «воскресеньях», куда «убегал от скучных, холодных воскресников Ф. Сологуба, который весьма обижался на это». «Хитер нараспашку!» — с неприязнью говорил он о Розанове, вспоминая его «воскресенья», которые «совершались нелепо, нестройно, разгамисто, весело; гостеприимный хозяин развязывал узы; не чувствовалося утеснения в тесенькой, белой столовой; стоял большой стол от стены до стены; и кричал десятью голосами зараз; В. В. где-то у края стола, незаметный и тихий, взяв под руку того, другого, поплескивал в уши; и — рот строил ижицей; точно безглазый; ощупывал пальцами (жаловались иные, хорошенькие, что — щипался), бесстыдничая переблеском очковых кругов»¹

Это было время наибольшей популярности Розанова, продолжавшееся до выхода «Уединенного», когда обыватели от литературы и цензура обрушились на писателя как нарушителя общественной благопристойности. Началось нисхождение Розанова в «геенну огненную», завершившееся через шесть лет «Апокалипсисом нашего времени».

Юный друг Розанова Эрих Голлербах вспоминал о своей первой встрече с писателем на его даче летом 1915 г.: «Ко мне вышел мелкими шагками, небольшого роста старичок, самой мирной и ласковой наружности. Я почему-то ожидал увидеть полного, обрюзглого «Обломова», с рыжей шевелюрой и голубыми глазами. А увидел как раз противоположное: прямого, бодрого, скорее худощавого, чем полного человека с седой головой, — изжелта-седыми усами и бородкой. На подвижном лице светились лукаво и умно черные (карие) глаза. Он показался мне одновременно и тревожным и сосредоточенным»².

Э. Ф. Голлербаху принадлежит первая книга о Розанове. Он как бы вводит нас в рабочий кабинет писателя: «Помню маленькие, узенькие листочки, раскиданные на письменном столе. Только на таких полосках бумаги он и писал,

¹ Белый А. Начало века. М.; Л.: Худож. лит., 1933. С. 437.

² Голлербах Э. В. В. Розанов: Жизнь и творчество: Пб.: Полярная звезда, 1922. С. 79.

других не признавал. А иногда писал на обрывках, клочках, на оторванном клочке книжной обложки, на папирсной коробке. Книг у него в кабинете не было, кроме самых любимых и нужных. «Дневник писателя» Достоевского был его настольной книгой, Библия тоже»¹.

В августе — сентябре 1917 г. Розанов вместе с семьей переехал из Петрограда в Сергиев Посад рядом с Троице-Сергиевой лаврой под Москвой. На другой день после Октябрьской революции решением Военно-революционного комитета Петроградского Совета «Новое время» было закрыто. Розанов остался без средств к существованию. С 15 ноября 1917 г. он начал печатать в Сергиевом Посаде ежемесячные выпуски «Апокалипсиса нашего времени», в которых отразилась растерянность, боль и непонимание Революции, представлявшей автору всеобщим Апокалипсисом: «Нет сомнения, что глубокий фундамент всего теперь происходящего заключается в том, что в европейском (всем, — и в том числе русском) человечестве образовались колоссальные пустоты от былого христианства; и в эти пустоты проваливается все: троны, классы, сословия, труд, богатство. Всё потрясено, все потрясены. Все гибнут, всё гибнет»².

Бегство Розанова в Сергиев Посад объясняли малодушным желанием «скрыться с горизонта». Э. Голлербах, близко знавший Розанова в те годы, говорил: «В. В. пережил состояние отчаянной паники. «Время такое, что надо скорей складывать чемодан и — куда глаза глядят», — говорил он. Но вовсе не был он трусом... Осенью 1918 г., бродя по Москве с С. Н. Дурылиным, он громко говорил, обращаясь ко всем встречным: «Покажите мне какого-нибудь настоящего большевика, мне очень интересно». Придя в московский Совет, он заявил: «Покажите мне главу большевиков — Ленина или Троцкого. Ужасно интересуюсь. Я — монархист Розанов». С. Н. Дурылин, смущенный его неосторожной откровенностью, упрасивал его замолчать, но тщетно»³.

Что бы ни творилось в России, продолжает Голлербах, Розанов любил Россию страстной, ненасытной любовью и верил в нее. «До какого предела мы должны любить Россию, — писал он в одном из последних писем Голлербаху. — До истязания, до истязания самой души своей. Мы должны любить ее до «наоборот нашему мнению», убеждению, голове».

О том, что Розанов не мог даже помыслить о бегстве из России в трудные для нее годы (когда бежали Мережковские и другие его «друзья»), метко сказал А. Ремизов в своих воспоминаниях: «А как это хорошо, что так и остались вы в России. И я знаю, представься вам случай — нет, вы никогда бы не покинули Россию. А ведь Розанов не только философ «превыше самого Ничше!» Розанов — сотрудник «Нового времени». И понятно, какой шкурный мог быть бы соблазн уехать из России. Ведь, кто же его знает, мало ли какие могли бы быть

¹ Голлербах Э. В. В. Розанов. С. 81

² Розанов В. Апокалипсис нашего времени. Сергиев Посад: Кн. магазин Елова, 1917. № 1. С. 2.

³ Голлербах Э. В. В. Розанов. С. 88—89.

недоразумения. Русскому человеку никогда, может быть, так не было необходимо, как в эти вот годы (1917—21) быть в России. Теперь то, да не то.— Да, много было тягчайшего — и от дури и от дикости, ведь мудровать мог кто угодно! — ведь революция, это не игра, это только в книжках легко читается!»¹

Умер Розанов в Сергиевом Посаде 23 января (5 февраля) 1919 г. (на новый стиль он не спешил переходить) от голода, холода и истощения в нетопленном помещении, оказавшись под конец жизни в большей нищете, чем в детстве.

М. Горький просил у Шалапина деньги, чтобы помочь выжить Розанову. Шалапин прислал, однако было уже поздно. «Спасибо за деньги,— писал Горький,— но В. В. Розанов умер...»²

Старшая дочь писателя Т. В. Розанова рассказывала, что похоронили его на кладбище Черниговского скита вблизи Троице-Сергиевой лавры. В 1923 г. кладбище было срыто и могила Розанова и находившаяся рядом могила К. Леонтьева уничтожены.

Завет Розанова писателям был продиктован им младшей дочери Надежде за пять дней до смерти: «Нашим всем литераторам напиши, что больше всего чувствую, что холоден мир становится и что они должны больше и больше стараться как-нибудь предупредить этот холод, что это должно быть главной их заботой»³.

Попытки регламентировать литературу привели в последующие десятилетия к запрещению публикаций произведений крупнейших русских и советских писателей, которые стали появляться в печати только в последние годы демократизации общественной жизни в стране.

Тот, кто не помнит и не чтит прошлого, отечественной культуры и литературы, сам обречен на забвение. Память о Розанове и многих других ярких и талантливых явлениях русской культуры начала XX века стереть нельзя. «Краски чуждые, с годами, спадают ветхой чешуей», и мы с тем большим вниманием и желанием по-настоящему осмыслить Розанова подходим ныне к тому ценному, интересному, художественно значимому, что оставила нам русская культура начала века.

3

Марк Твен завершил свой рассказ «Как меня выбирали в губернаторы» перечнем нелестных наименований, которыми сограждане удостоили его: «Гнусный Клятвопреступник, Монтанский Вор, Осквернитель Гробниц, Белая Горюшка, Грязный Плут и Подлый Шантажист».

Набор отрицательных прозвищ, которыми русская журналистика начала XX в. характеризовала Розанова, едва ли уступит тому граду обвинений, кото-

¹ Ремизов А. Кукха: Розановы письма. Нью-Йорк: Серебряный век, 1978. С. 64.

² Шалапин Ф. И. Литературное наследство: Письма. М.: Искусство, 1976. Т. 1. С. 354.

³ Вестник литературы. 1919. № 5. С. 8.

рый обрушился на Марка Твена: «Пакостник», «Обнаженный Нововременец», «Голый Розанов», «Гнилая Душа», «Позорна Глубина» — таковы названия рецензий на книги Розанова «Уединенное» и «Опавшие листья».

Что же так возмутило современников, что они именовали писателя «юридическим русской литературы»? Почему Розанов, пользуясь его собственным выражением, был окружен в литературе «зоною непреодолимого предубеждения»?¹

Есть что-то непреодолимое, неприемлемое для современников в словах и делах человека талантливого и неординарного (не случайно Горький называл Розанова «удивительно не своевременным человеком»). Писателю или мыслителю прошлого все позволяется, к своему же современнику читатель будет непреклонен до нетерпимости. Это испытали на себе Гоголь и Достоевский. Василию Васильевичу Розанову тоже довелось это почувствовать. Может, потому особенно много писал об этих писателях, видя в их судьбе нечто «розановское».

182186
Розанов разошелся с эпохой первой русской революции, и эпоха не приняла его. Так же как революционные народники не приняли Достоевского, а рабочему движению начала века было не по пути с Л. Толстым. Но если Толстого и Достоевского из русской литературы выбросить было нельзя, то с такой фигурой, как Розанов, расправиться было проще. Он был монархист, выступал за единую и могучую Россию во главе с царем. И конечно, его политические, философские и религиозные взгляды — не как система (ибо трудно назвать более «асистемного» писателя, чем Розанов), а как повседневная литературная конкретность выражения — не могли не наложить отпечатка на его статьи и книги о литературе.

Прекрасный русский писатель М. М. Пришвин писал М. Горькому в 1926 г.: «Для меня (и думаю вообще) в мое время самый замечательный писатель был В. В. Розанов»². Горький поддержал мысль Пришвина о том, что советский читатель должен знать Розанова: «Верно, Михаил Михайлович, сказали вы о Розанове, что он как «шило в мешке — не утаишь», верно! Интереснейший и почти гениальный человек был он. Я с ним не встречался, но переписывался одно время и очень любил читать его противопожарную литературу»³ (так Горький называл статьи Розанова против революции). Горький видел в Розанове «первого предвозвестника» кризиса старого гуманизма и считал, что «Блок в этом вопросе шел от него»⁴.

Один из ранних исследователей творчества Розанова — В. Ховин проницательно заметил, что писатель «посмел надсмеяться над парадом величест-

¹ Розанов В. В. Литературные очерки: Сб. статей. 2-е изд. Спб.: Меркушев, 1902. С. 217.

² Литературное наследство. Т. 70. Горький и советские писатели. М.: АН СССР, 1963. С. 328.

³ Там же. С. 346. Пришвин, сообщая Горькому, что от могилы Розанова не осталось следа, писал: «Розанов лежит, как шило в мешке».

⁴ Там же.

венных европейских идей; надсмеяться над пресловутым европейским „гуманизмом“, освященным опереточностью всяческих гаагских конференций. И не только надсмеяться, но и утверждать какой-то свой „гуманизм“¹.

Одно из важнейших выступлений, обнажающих кризис европейского гуманизма, — статья Розанова «О символистах», переизданная в 1904 г. отдельной книжкой под названием «Декаденты». Принято считать, что первый с развернутой критикой декадентской литературы и культуры выступил у нас М. Горький (его статья «Поль Верлен и декаденты» появилась в «Самарской газете» 13—18 апреля 1896 г.). Однако ранее была написана и прозвучала на всю страну статья Розанова, появившаяся 1 апреля 1896 г. в журнале «Русский вестник», где еще не так давно Россия читала великие романы Достоевского и Толстого, а ранее — лучшие романы Тургенева, Лескова, Писемского. Именно здесь раздалась критика символистов за их отрыв от традиций русской литературы. *

Близкая по времени критика декадентства у Розанова и Горького не была, конечно, схожа в своих исходных позициях. Для Розанова декадентство — не русское, а наносное, внешнее, «французское» искусство. Он выводит декадентство из «ультрареализма» Мопассана и Золя (которых, впрочем, ему не случилось читать, как тут же с чисто розановской непосредственностью признается он).

Считая декадентство и символизм «уродливыми явлениями»², Розанов не склонен видеть в них новую школу, появившуюся во Франции и распространившуюся на всю Европу. Напротив, полагает он, это всего лишь окончание некоторой другой школы, корни которой уходят в реализм Бальзака и далее в XVIII столетие. Главное здесь — тот элемент необычайного, «ультра», который, раз попав в литературу, потом уже никогда из нее не исчезает. Отсюда определение этого литературного явления и его эстетической сущности: «Декадентство — это ultra без того, к чему оно относилось бы; это — утрировка без утрируемого; вычурность в форме при исчезающем содержании».

Для декадентов умерла история, умер человек с его прошлым и будущим, умерла природа. Из этой «немоты молчания, из этой теми небытия торчали только «бледные ноги», которые никак не хотели спрятаться из болезненно настроенного воображения» (Розанов имеет в виду моностих Брюсова «О, закрой свои бледные ноги»).

Относясь «бесспорно отрицательно» к декадентству, Розанов вместе с тем ввел символизм как литературный прием в свою публицистику, предлагая

¹ Ховин В. В. В. Розанов и Владимир Маяковский // Ховин В. На одну тему. Пб.: 2-я гос. тип., 1921, С. 50.

² Едва ли прав А. Ф. Лосев, причисляющий Розанова к декадентам (Лосев А. Ф. Владимир Соловьев и его ближайшее литературное окружение // Литературная учеба. 1987. № 4. С. 159). Вместе с тем следует отметить, что Вл. Соловьев в рецензиях на сборники «Русские символисты» кое в чем предвосхитил Розанова в критике «юных спортсменов, называющих себя „русскими символистами“» (Вестник Европы. 1895. № 10. С. 847).

вместо логических рассуждений мозаику переливающихся чувств и мыслей, выраженных в необычных образах и словосочетаниях, в, казалось бы, бессвязной игре ассоциаций, что преобладает в его поздних книгах «Уединенное» и два короба «Опавших листьев» (а также в оставшейся неизданной, но отпечатанной и частично сверстанной трехчастной книге «Перед Сахарной. — В Сахарне. — После Сахарны»¹, продолжающей жанр трилогии).

Символизму и декадентству Розанов противопоставляет идею русской национальной культуры. Много лет спустя Розанов опубликовал одну из своих программных статей — «Воле „русской идеи“...», в которой делил писателей на женственных (Карамзин, Лермонтов) и мужественных (Ломоносов, Пушкин). Не из популярной в те годы книги сексолога О. Вейнингера «Пол и характер» (1909), а из разработанной им самим «религии пола» выводил он это деление, относя Россию и русскую литературу по преимуществу к «женскому началу», а Германию и германцев — к «мужскому». Даже проблему «тысячелетней борьбы славянского и германского миров», усиленно муссировавшуюся в годы первой мировой войны, он пытался разрешить с помощью своей теории преобладания женского начала над мужским: «Муж есть глава дома... Но хозяйкою его бывает жена... Она «управляет» и самим мужем, как шея движениями своими ставит так и этак голову, заставляет смотреть туда или сюда его глаза».

Все эти характерологические рассуждения ведутся ради вывода о всепоглощающей силе русского «женского» начала — своего рода феминизированного славянофильства, свидетельствующего, что позднее славянофильство приобретало в начале XX в. самые неожиданные и еще не изученные у нас формы. «Женственное» — облегает собою мужское, всасывает его. «Женственное» и «мужское» — как «вода» и «земля» или как «вода» и «камень». Сказано — «вода точит камень», но не сказано — «камень точит воду».

Идею русской «женственности» Розанов развил в очерке о картине Ф. А. Малявина «Бабы» (1913), выражающей, по мысли Розанова, «Русь не которого-нибудь века, а всех веков»². Эта идея «женственности» простыми путями дошла и до современного поэта Юрия Кузнецова, выступившего со статьей «Под женским знаком» (Литературная газета. 1987. 11 ноября).

Русскую литературу, при всех ее «текущих недостатках», Розанов страстно любил. В публикуемом письме к А. С. Суворину он замечает: «В разные времена жизни я верил или пытался верить в разные стороны нашей жизни: то — в государство, то — в церковь. А кончил, казалось бы, самой вульгарной верой — в литературу». Роль Суворина, у которого в редакции «Нового времени» он работал более десяти лет, в творческой судьбе писателя не была однозначной или пагубной. Близкий к марксистским кругам Д. А. Лутохин вспоминал, что в редакции суворинской газеты Розанова недолюбливали. А неко-

¹ Са х а р н а — имение Евгении Ивановны Апостолопуло в Бессарабии, где Розанов с женой и дочерью Верой провел лето 1913 г.

² Р о з а н о в В. В. Среди художников. СПб.: Суворин, 1914. С. 98.

торые (М. О. Меньшиков и В. П. Буренин) и вовсе не переносили. «Понимал и любил его один старик Суворин, так же отогревший и Розанова, изнывавшего в провинции в бедности и не на любимом деле, как в свое время пригрел Чехова. Много за это отпустится грехов А. С. Суворину»¹

Бессмысленно «защищать» Розанова от «Нового времени», с которым была связана вся деятельность его в XX в. Однако разъяснить положение его в редакции этого реакционного издания следует. Один из литературных критиков тех лет не без основания замечает: «Розанов не нововременец, несмотря на то, что работал в «Новом времени» очень много лет и писал очень многое решительно во вкусе «Нового времени». Но закал его личности, его писательского и человеческого я не таков, чтобы на него могли иметь хоть малейшее влияние та атмосфера чиновничьего шумного убожества, которая царила в редакции этой газеты. С своей стороны и он со своими темами всегда был там «чужим», взаимно отталкиваясь с сотрудниками этой газеты, которых он тайно, конечно, презирал. В «Новом времени» лишь небольшая часть Розанова»².

Писателем, в которого Розанов вчитывался всю жизнь, которого любил, как никакого другого, был Достоевский, «гибкий, диалектический гений, у которого едва ли не все тезисы переходят в отрицание» (ЦГАЛИ). По воспоминаниям современников, Полное собрание сочинений Достоевского подготовленное вдовой писателя А. Г. Достоевской (с которой Розанов долгие годы состоял в переписке), всегда находилось у него под рукой.

Центральная работа Розанова о Достоевском — книга «Легенда о Великом инквизиторе Ф. М. Достоевского. Опыт критического комментария», написанная в 1890 г., — не столько литературная критика, сколько философское размышление о человеке. Уже к концу жизни Розанов сказал, что в этой книге он еще «не был зрел»³. Эта «незрелость» особенно ощущается в начале книги, до рассмотрения романа «Преступление и наказание».

В литературоведении утвердилась мысль, что в книге о Достоевском Розанов дает религиозную трактовку наследия писателя. Однако было бы точнее сказать, что он анализирует «Легенду о Великом инквизиторе» (как и все творчество Достоевского) в контексте христианского миросозерцания автора. Религиозная основа заключена в самом великом произведении Достоевского, а не привнесена Розановым извне, как, например, З. Фрейд приложил свою методологию к анализу темы отцеубийства в «Братьях Карамазовых».

«Легенду о Великом инквизиторе», сочиненную Иваном Карамазовым, Розанов считает душой всего произведения Достоевского, «которое только

Лутухин Д. А. Воспоминания о Розанове // Вестник литературы. 1921. № 4—5. С. 5.

² Абрамович Н. Я. «Новое время» и соблазненные младенцы. Пг.: Памфлет, 1916. С. 45—46.

³ Розанов В. В. Литературные изгнанные. Спб.: Суворин, 1913. Т. 1. С. 342.

группируется около нее, как вариации около своей темы». Вот почему весь анализ творчества писателя концентрируется у Розанова на «Легенде».

Как известно, широко задуманная Достоевским картина, в которой главным должен был стать второй роман — о деятельности Алеши Карамазова «уже в наше время, именно в наш теперешний текущий момент», — осталась несозданной. В первом романе о Карамазовых изображено только, говорит Розанов, как умирает старое, «а то, что возрождается, хотя и очерчено, но сжато и извне». То есть положительный идеал, как и у Гоголя в «Мертвых душах», остался лишь в замысле и не претерпел крушения, как у Гоголя.

В последовавших за Гоголем писателях (Тургеневе, Достоевском, Островском, Гончарове, Л. Толстом) Розанов не только отказывается видеть его продолжателей, но и усматривает между ними и Гоголем «диаметральную противоположность»: «Правда, взор его и их был одинаково устремлен на жизнь: но то, что они увидели в ней и изобразили, не имеет ничего общего с тем, что видел и изображал он». И далее следует знаменитый розановский апофеоз «мертвечины Гоголя»: «Мертвым взглядом посмотрел Гоголь на жизнь, и мертвые души только увидал он в ней. Совсе не отразил действительность он в своих произведениях, но только с изумительным мастерством нарисовал ряд карикатур на нее: от этого-то и запоминаются они так, как не могут запомниться никакие живые образы».

Уже в первой своей работе о Достоевском Розанов обратился к «Дневнику писателя» как к новой, своеобразной и прекрасной литературной форме, «которой в будущем, во все тревожные эпохи, вероятно, еще суждено будет играть великую роль». В статье о Достоевском 1893 г. Розанов находит субъективную форму «Дневника писателя» во всех романах и повестях Достоевского. Да и сам Розанов вскоре попытал свои силы в этом жанре, опубликовав в нескольких номерах «Русского обозрения» за 1894 г. свои «Афоризмы и наблюдения», а в журнале «Гражданин» — «Эмбрионы» (1900), то есть рождающиеся мысли. Отдельные «эмбрионы» были напечатаны также в сборнике Розанова «Религия и культура», а в руководимом им литературном приложении к «Торгово-промышленной газете» он печатал заметки «Из записной книжки русского писателя» (1899—1900).

Следует отметить, что интерес Розанова к жанру «литературной мысли» зародился еще до работы над книгой о Достоевском. В 1889 г., познакомившись с переводом «Мыслей» Паскаля, выполненным его коллегой по елецкой гимназии П. Д. Первовым (изданы в Петербурге в 1889 г.), Розанов пишет оставшуюся неоконченной статью «Паскаль» (ЦГАЛИ).

«Легенда о Великом инквизиторе» — философская книга Розанова, выдержавшая при жизни автора три издания (помимо журнальной публикации). Когда в 1906 г. вышло третье издание, Розанов через посредство Комитета помощи заключенным-шлссельбуржцам подарил книгу узникам с надписью, которую тогда же пришлось вырезать из-за цензуры: «Что самое дорогое в вас, дорогие Шлссельбургские узники? Не планы ваши, не расчеты, не программа борьбы, которую выполните вы или не выполните — это зави-

сит от истории: но то, что уже есть налицо, что достигнуто и факт: ваше братство между собой»¹.

Познакомившись с первыми главами «Легенды», К. Н. Леонтьев писал Розанову 13 апреля 1891 г. из Оптиной пустыни: «Читаю ваши статьи постоянно. *Чрезвычайно* ценю ваши смелые и оригинальные укоры *Гоголю*». По поводу этого письма Розанов замечает: «„Укоры“ эти действительно у меня были; были прямы и резки и подняли в критике тех дней бурю против меня. Гоголь был священен и, как всегда для толпы, безукорен»². Так тема Достоевского неизбежно влекла за собой обращение к Гоголю.

Первые статьи Розанова о Гоголе возникли в связи с работой над книгой о Достоевском. Рассматривая Гоголя как родоначальника «натуральной школы», Розанов предлагает (в статье «Пушкин и Гоголь») свое понимание гоголевского «натурализма». «Мертвые души» для него — это «громкая восковая картина», в которой нет живых лиц. Гоголевские герои — это «восковые фигурки», сделанные из «какой-то восковой массы слов». Они столь искусно поданы автором, который один лишь знал тайну этого «художественного делания», что целые поколения читателей принимали их за реальных людей.

Попытка представить Гоголя только мастером фантастического была реакцией на позитивистскую трактовку Гоголя как бытописателя серенькой российской действительности. Позитивизм всегда был органически чужд Розанову, который как-то заметил: «Глаз без взгляда — вот позитивизм» (ЦГАЛИ).

Во второй статье о Гоголе, помещенной в приложении к «Легенде о Великом инквизиторе» («Как произошел тип Акакия Акакиевича»), дан анализ художественной формы и истории создания «Шинели», что явилось в дальнейшем одной из основ для работы Б. М. Эйхенбаума «Как сделана «Шинель» Гоголя» (1919). Розановские мысли негласно проникали в ткань современной критики.

Советский исследователь творчества Гоголя Ю. В. Манн предлагает современное прочтение розановской интерпретации автора «Мертвых душ», обращаясь к тому, что осталось живо и справедливо для нашего времени: «Сказанное В. Розановым определило не только целое направление литературоведческих изысканий о Гоголе, включая работы В. Брюсова и А. Белого, но и вообще характер восприятия творчества писателя в течение нескольких десятилетий. При этом, конечно, знак «минус» с оценки гротескного начала у Гоголя был со временем снят. Гоголевский гротеск — и, в частности, мотивы кукольности, автоматизма, мертвенности — был оценен как одно из высочайших достижений русской и мировой культуры»³.

Гоголевскую тему Розанов решал по-разному в разные годы. Наиболее

¹ Ремизов А. Кукха. С. 31.

² Из переписки К. Н. Леонтьева. С. 643.

³ Манн Ю. Поэтика Гоголя, М.: Худож. лит., 1978. С. 391.

«утвердительными» были, пожалуй, его статьи 1902—1909 гг.¹ Еще в статье о Лермонтове, написанной в 1901 г., Розанов сопоставлял Лермонтова и Гоголя как «великого лирика» и «великого сатирика». В программной статье о Гоголе 1902 г. он назвал его величайшим когда-либо бывшим на Руси политическим писателем. «После Гоголя стало не страшно ломать, стало не жалко ломать». Но из этого блестящего вывода Розанов делает заключение, обнаруживающее в нем монархиста, каковым всегда и был Василий Васильевич Розанов. Видя в «Ревизоре» и «Мертвых душах» сатиру на все царствование Николая I, завершившееся поражением в Крымской войне, Розанов объявляет царя-реформатора Александра II тем «вторым и подлинным ревизором», о котором только упомянул Гоголь. Насколько же прозорливее и глубже тот вариант концовки гоголевского «Ревизора», который предложил позднее М. Булгаков: городничий поспешно собирает деньги на взятку новому, предстоящему ревизору и вскоре выходит от него со вздохом облегчения: «Взял!»

Розанов конечно же не мог остановиться на тезисе о том, что Гоголь создал сатирические картины русской действительности, как утверждается в статьях 1901—1902 гг. Розанову обязательно нужна была иная точка зрения, иной поворот мысли. В 1906 г. в послесловии к комментарию «Легенды о Великом инквизиторе» он поясняет, что такое для него эти картины или «схемы» действительности: «В портретах своих конечно он не изображал действительности: но схемы породы человеческой он изваял вековечные»².

Важно не то, полагал Розанов, был ли Гоголь реалистом и изображал ли окружающую его действительность или живописал «свои» пороки, страсти. Важно лишь то, как его воспринимали читатели, зрители, современники. Ибо наши иллюзии творят жизнь не менее, чем самые подлинные факты. «Жизнь и историю сотворило, и — огромную жизнь сотворило, именно *принятие его за натуралиста и реалиста*, именно то, что и „Ревизора“ и „Мертвые души“ все сочли (пусть ложно) за *копию* с действительности, подписав под творениями — „с *подлинным* верно“» («Гоголевские дни в Москве»).

Судить о России по гоголевским произведениям, говорит Розанов, было бы так же странно, как об Афинах времен Платона — по диалогам Платона. Эта точка зрения не раз оспаривалась в критике, и ныне можно лишь добавить то, о чем подчас забывалось в пылу полемики: читаем мы Гоголя ведь не столько ради того, чтобы узнать, как жили люди в николаевской России. Есть нечто иное, что влечет к книгам Гоголя все новые и новые поколения читателей, не обремененные грузом исторических представлений. Это нравственная, общечеловеческая ценность классики, несводимая к историко-социальным условиям, породившим ее.

Об изумительном чувстве слова, о духе языка Гоголя Розанов мог писать

¹ См.: Ерофеев В. Розанов против Гоголя // Вопросы литературы. 1987. № 8. С. 146—175. Важнейшая для этой темы статья Розанова «Гоголь» (1902), к сожалению, не получила отражения в его работе.

² Золотое руно. 1906. № 11—12. С. 97.

бесконечно. «Много ли говорит Осип в «Ревизоре»? — всего один монолог — «Веревочку... Давай сюда и веревочку. И веревочка пригодится»... Так говорит этот изголодавшийся слуга около изголодавшегося барина. И вся Россия запомнила эту «веревочку». Вот что значит дух языка». Да и самого Осипа все знают, пожалуй, лучше, чем знают и помнят главных действующих лиц в комедиях Островского. Потому что «в Пушкине и Гоголе слово русское получило последний чекан. И ни у кого из последующих писателей, не выключая отсюда и Толстого, слово не имеет уже той завершенности, той последней отделанности, какую запечатлены творения этих двух воистину отцов русской литературы. Мысли Толстого или Достоевского — сложнее, важнее. Но *слово* остается первым и непревзойденным у Пушкина и Гоголя»¹.

И еще одна особенность творчества Гоголя, на которой Розанов особенно настаивал: «Гоголь никогда не менялся, не перестраивался» (слово-то какое современное!). Он всегда оставался Гоголем и не развивался. Дело не в том, что в «Мертвых душах» нет ни одной новой мысли сравнительно с «Ревизором», как с присущей ему парадоксальностью утверждал Розанов. «Выбранные места из переписки с друзьями» — это продолжение и развитие все тех же идей «Мертвых душ». Об этом говорил сам писатель при встрече с Тургеневым. Более того, есть все основания считать, что «Выбранные места» — это в известной мере публицистический вариант оставшейся незавершенной второй части «Мертвых душ». Книга с огромным пафосом нравственного мужества, которому еще предстоит учиться. Вслед за Чаадаевым Гоголь заговорил о «мертвом застое» в состоянии России: «Дело в том, что пришло нам спасать нашу землю, что гибнет уж земля наша не от нашествия двадцати иноплемennых языков, а от нас самих».

И в том же 1909 г., когда Розанов выступил со статьями по поводу открытия памятника Гоголю в Москве, появилась его первая работа, пересматривающая значение писателя в истории русской литературы — «Магическая страница у Гоголя» (Весы, № 8—9), где на первый план выступала гоголевская «мистика».

И вдруг (именно «вдруг», как у Достоевского) в 1913 г. в «Опавших листьях» на Гоголя обрушивается шквал ненависти и презрения, который может быть обращен лишь к чему-то очень близкому, пережитому, интимному. С позиций нормальной человеческой логики это необъяснимо. «Откуда эта беспредельная злоба?» — спрашивал Розанов о Гоголе. То же можно было бы спросить и у Розанова, пишущего о Гоголе. Такое, конечно, копилось годами, а выплеснулось в «Опавших листьях» не просто на Гоголя («Никогда более страшного человека... *подобия* человеческого... не приходило в нашу землю», I, 139), а на целое направление русской литературы — *сатирическое*.

«Смех может только придавить» (I, 160), — считал Розанов. Его жена Варвара Дмитриевна ненавидела Гоголя. На вопрос почему, отвечала коротко: «Потому что он смеется». Розанов долго не мог понять истинной причины, а за-

¹ <Розанов В.> Русь и Гоголь//Новое время. 1909. 26 апреля. № 11896.

тем согласился с ней, что смех — вещь недостойная, низшая категория человеческой души, и внес это в оценку Гоголя в «Легенде о Великом инквизиторе».

Отсюда уже один шаг до отрицания всего сатирического направления от Фонвизина до Щедрина, ибо «„сатира“ от ада и преисподней», и потому «сатира вообще недостойна нашего существования и нашего ума» (II, 248). Смех Гоголя переворачивал всю душу Розанова. И чем гениальнее был этот смех, тем большее ожесточение он вызывал, потому что победить его было невозможно. Сражение с Гоголем приобретало гротескные черты, как будто вновь встретились Хома Брут и Вий: «Идиот таращит глаза. Не понимает. «Словечки» великолены. «Словечки» как ни у кого. И он хорошо видит, что «как ни у кого», и восхищен бессмысленным восхищением и горд тоже бессмысленной гордостью.— Фу, дьявол! — сгинь!.. Но манекен моргает глазами. Холодными, стеклянными глазами» (I, 137—138).

«Дьявольское» могущество всколыхнуло «море русское»: «Тихая, покойная, глубокая ночь... Дьявол вдруг помешал палочкой дно: и со дна пошли токи мути, болотных пузырьков... Это пришел Гоголь. За Гоголем все. Тоска. Недоумение. Злоба, много злобы. „Лишние люди“. Тоскующие люди. Дурные люди. Все врозь» (I, 295—296).

«Появление Гоголя было большим несчастьем для Руси... В Гоголе было что-то от трупа» (ЦГАЛИ), — писал Розанов в готовившейся к печати, но оставшейся неопубликованной книге «Мимолетное». Казалось бы, все плохое уже сказано о Гоголе. Но Розанову мало, и он отводит специальную запись в «Опавших листьях» обвинению Гоголя в некрофилии: он вывел в своих произведениях целый пансион покойниц и все молоденьких и хорошеньких (той же проблеме посвящена статья Розанова «Тут есть некая тайна» в журнале «Весы», 1904, № 2).

Однако Розанов не был бы Розановым, если бы в «Опавших листьях» дал лишь такую «одностороннюю» интерпретацию Гоголя. И вот появляются записи совсем иного настроения: «Перестаешь верить действительности, читая Гоголя. Свет искусства, льющийся из него, заливает все. Теряешь осязание, зрение и веришь только ему» (II, 46). «Ни один политик и ни один политический писатель в мире не произвел в «политике» так много, как Гоголь» (II, 47). Похвалы высокие, но едва ли любящие.

Принцип розановских антиномий, «двуликости» сказывается здесь вполне ощутимо. Через несколько лет в статье «Гоголь и Петрарка» (1918) Розанов признает победу за Гоголем: «Революция нам показала и душу русских мужиков, «дядю Митяя и дядю Миняя», и пахнущего Петрушку, и догадливого Селивана. Вообще — только Революция, и — впервые революция оправдала Гоголя». Так завершился спор Розанова с одним из самых «страшных» для него писателей.

Но революция оправдала не только Гоголя. Она оправдала то, что Розанов отрицал всю жизнь. Горькое для него то было оправдание. «Прав этот бес Гоголь», — писал он в первом выпуске «Апокалипсиса нашего времени». Ибо Гоголь показал «Матушку Натуру», которая и привела к революции.

Любовь и интерес к Пушкину, как-то заглохшие в русском обществе в конце XIX в., вновь и с небывалой силой пробудились в связи с празднованием в 1899 г. 100-летия со дня рождения поэта. К Пушкинскому юбилею стали готовиться загодя. В 1897 г. появилась статья Вл. Соловьева «Судьба Пушкина», в которой на основе идей пассивного христианства проводилась мысль, что поэт сам виновен в своей трагической судьбе. К тому же утверждалось, что он был человек лживый: мог написать А. П. Керн «Я помню чудное мгновение...», а в частном письме обозвать ее «авилонской блудницей».

На эти «изыскания» в области пушкинистики Розанов тогда же отвечал полемической статьей «Христианство пассивно или активно?», отстаивая право Пушкина защищать «ближайшее отечество свое — свой кров, свою семью, жену свою; все это защищал он в «чести», как и воин отстаивает не всегда существование, но часто только «честь», доброе имя, правую гордость своего отечества»¹.

Наступил юбилей 1899 г. Пушкина чествовали не только в России, но даже в далекой Америке. Известный в те годы публицист П. Тверской рассказывал в «Вестнике Европы» о Пушкинском празднестве в Калифорнии, первом случае публичного чествования самими американцами памяти не только русского, но и какого бы то ни было другого иностранного поэта. Дома же и после юбилея продолжались споры о причинах гибели Пушкина.

В самый день 100-летнего юбилея появилась статья Розанова. Он обращался к знаменитой Пушкинской речи Достоевского, составившей эпоху в русской литературной критике. За истекшие 20 лет Пушкин не стал ближе народу. «Сказать о нем что-нибудь — необыкновенно трудно; так много было сказано 6-го и 7-го июня 1880 года, при открытии ему в Москве памятника, и сказано первоклассными русскими умами. То было время золотых речей; нужно было преодолеть и победить, в два дня победить, тянувшееся двадцать лет отчуждение от поэта и непонимание поэта»².

В юбилейный год Розанов выступил с предложением о создании в Петербурге или еще лучше в Царском Селе Пушкинской академии, которая стала бы авторитетом в области искусства и критики. «Да встретит слово это добрую минуту...» — так завершил он свою статью «О Пушкинской Академии». Однако минуло два десятилетия, прежде чем А. Блок смог написать:

Имя Пушкинского Дома
В Академии Наук!
Звук понятный и знакомый,
Не пустой для сердца звук!

¹ Розанов В. В. Религия и культура: Сб. статей. 2-е изд. Спб.: Меркушев, 1901. С. 157 (впервые: Новое время. 1897. 28 октября. № 7784).

² Розанов В. А. С. Пушкин//Новое время. 1899. 26 мая. № 8348.

Так будем же помнить, что в основании Пушкинского дома есть и камень, заложный В. В. Розановым.

В начале века Розанов возвращается к пушкинской теме и полемике с Соловьевым, который «попытался доказать, что это не «нечистый» унес у нас Пушкина, а ангел». В статье «Еще о смерти Пушкина» (1900) Розанов выдвигает свое объяснение причин гибели поэта. Мысль его довольно проста, хотя и замешена на понимании семьи как особого мистического единства душ, не образуемого на почве искусственного согласия или «общения в функции пола». Пушкин не мог вместе с Натали Гончаровой смеяться над Дантесом так, как, например, смеялся Лидин в «Графе Нулине» над незадачливым графом. «Ведь не в одиночку же он смеялся!» — добавляет Розанов. Смех снимает напряжение, снимает конфликт, и дуэль становится бессмысленна, даже безнравственна. В семье Пушкина так не было...

Конечно, это всего лишь одна из версий, но изложенная с присущим таланту Розанова блеском. Даже сомнительные утверждения о мистической основе брака перемежаются у него глубокими наблюдениями над психологией «чтения с кем-то вместе», имеющими более широкий человеческий смысл.

Розанов мечтал о том времени, когда Пушкин войдет другом в каждый дом, «трепетно прочитывался бы каждым русским от 15 до 23 лет» и делал невозможным «разлив пошлости в литературе, печати, в журналах и газетах». Ум Пушкина предохраняет от всего глупого, замечает Розанов в статье «Возврат к Пушкину» (1912). И знаменательно прозвучал в те годы розановский призыв к преодолению литературы «нового распада» при помощи великого поэта: «К Пушкину, господа! — к Пушкину снова!»

Та же мысль о необходимости для человека XX в. пушкинской гармонии возникает в трилогии Розанова: Пушкин не ставил себя выше «капитана Мирнова» в Белогорской крепости. «И капитану было хорошо около Пушкина, а Пушкину было хорошо с капитаном» (I, 191). О тех, кто не понимал или отвергал Пушкина, Розанов выражался с предельной лаконичностью: «Неужели Пушкин виноват, что Писарев его „не читал“» (II, 291).

О значении Пушкина для русской и мировой литературы Розанов сказал в статье «Пушкин и Лермонтов»: «Пушкин есть поэт мирового «лада», — ладности, гармонии, согласия и счастья... Просто царь неразрушимого царства. «С Пушкиным хорошо жить». «С Пушкиным — лафа», как говорят ремесленники. Мы все ведь ремесленники мирового уклада, — и служим именно пушкинскому началу, как какому-то своему доброму и вечному барину»¹.

Пушкин определил движение русской литературы и ее характер. «Литература наша может быть счастливее всех литератур, именно гармоничнее их всех, потому что в ней единственно «лад» выразился столько же удачно и полно, так же окончательно и возвышенно, как и «разлад»: и через это, в двух

Розанов В. Пушкин и Лермонтов//Новое время. 1914. 9 октября. № 13857.

элементах своих, она до некоторой степени разрешает проблему космического движения». Русская литература объяснила движение — моральное, духовное,— как древние античные философы объяснили физическое движение.

Гармонии Пушкина противостоит импульсивность Лермонтова, который «самым бытием лица своего, самой сущностью всех стихов своих, еще детских, объясняет нам,— почему мир «вскочил и убежал»... Лермонтов никуда не приходит, а только уходит... Вы его вечно увидите «со спины». Какую бы вы ему «гармонию» ни дали, какой бы вы ему «рай» ни насадили,— вы видите, что он берется «за скобку двери»... «Прощайте! ухожу!» — сущность всей поэзии Лермонтова. Ничего кроме того... Пушкину и в тюрьме было бы хорошо. Лермонтову и в раю было бы скверно» (там же).

Наиболее полно взгляды Розанова на творчество Лермонтова изложены в статье «Вечно печальная дуэль», поводом к написанию которой послужили воспоминания сына Мартынова, убийцы поэта. Задачей статьи было доказать, что с версией происхождения нашей литературы «от Пушкина» надо покончить. Задача, прямо скажем, не из легких, особенно если припомним Пушкинскую речь и «Дневник писателя» Достоевского, где многократно доказывалось, что «не было бы Пушкина, не было бы и последовавших за ним талантов».

Связь Пушкина с последующей литературой, считает Розанов, вообще проблематична, потому что он «обращен к прошлому, а не к будущему», и Белинский не без причины отметил в его поэзии элементы Батюшкова, Карамзина, Державина, Жуковского. Отвергает Розанов и представление о Гоголе как втором «родоначальнике» русской литературы. Эту роль он отводит, хотя и со многими оговорками, Лермонтову, в котором «срезана была самая кронка нашей литературы, общее — духовной жизни, а не был сломлен, хотя бы и огромный, но только побочный сук. ...в поэте таились эмбрионы таких созданий, которые совершенно в иную и теперь неразгадываемую форму вылили бы все наше последующее развитие. Кронка была срезана, и дерево пошло в суки».

Главные герои Достоевского и Толстого в их двойственности, богатой рефлексии, в сильных страстях родственны Печорину или Арбенину, но ничего, «решительно ничего родственного они не имеют в простых героях „Капитанской дочки“». Пушкин, конечно, богаче и многообразнее Лермонтова, но в своем творчестве он весь очерчен: «Он мог сотворить лучшие создания, чем какие дал, но в том же духе... Он угадываем в будущем; напротив, Лермонтов — даже не угадываем, как по „Бедным людям“ нельзя было бы открыть творца „Карамазовых“ и „Преступления и наказания“».

Ставя Лермонтова выше Пушкина, Розанов объясняет это новой природой лермонтовской образности и художественного видения: «Скульптурность, изобразительность его созданий не имеет равного себе, и, может быть, не в одной нашей литературе». Однако уже в статье к 60-летию кончины Лермонтова (1901) Розанов, по существу, отказывается от такой крайней точки зрения, подчеркивающей превосходство Лермонтова над всеми, и говорит о «глубоком родстве и единстве стиля Гоголя и Лермонтова». При этом особое внимание критика

привлекает так называемый «демонизм» поэта, мифологическое начало, истоки которого он усматривает в мифологии Греции и Востока.

Последнюю статью о Лермонтове Розанов написал к 75-летию гибели поэта. В ней он говорит об убийце: «Назовут Лермонтова — назовут Мартынова, фатально, непременно. Одного благословят, другого проклянут». Затем эта формула встречается в романе М. Булгакова «Мастер и Маргарита» (гл. 26), где Иешуа говорит Пилату: «Помянут меня,— сейчас же помянут и тебя!..»

Вообще восприятие Булгаковым Розанова — интересная и не выясненная еще тема. В первом коробе «Опавших листьев» читаем: «Я не хочу истины, я хочу покоя» (I, 381), а о Мастере в романе Булгакова говорится: «Он не заслужил света, он заслужил покоя» (гл. 29).

Розанов вновь утверждает, что за Пушкиным Лермонтов поднимался неизмеримо более сильную птицею. В последних стихах поэта он видел «красоту и глубину, заливающую Пушкина». Пушкин «навевал», а Лермонтов приказывал. «У него были нахмуренные очи. У Пушкина — вечно ясные. Вот разница. И Пушкин сердился, но не действительным серженьем. Лермонтов сердился действительным серженьем. И он так рано умер! Бедные мы, растерянные... Час смерти Лермонтова — *сиротство* России»¹.

Такими пронзительными словами о Лермонтове завершалась литературно-критическая деятельность Розанова. Начинаясь же она с попытки установить периодизацию русской критики XIX в. Этому была посвящена его программная статья «Три момента в развитии русской критики» (1892).

Ранний период, связанный с деятельностью Белинского, Розанов называет эстетическим, поскольку задача состояла в том, чтобы отделить в литературе прекрасное от посредственного. Период этот не привлекает особого внимания Розанова, хотя он и отмечает, что с тех пор появилась лишь одна крупная работа, где эстетическая оценка «вновь заняла первенствующее положение». Это статья К. Н. Леонтьева по поводу романов Толстого: «Анализ, стиль и веяние» (1890). К. Леонтьев в роли продолжателя традиции Белинского — такое могло представиться лишь «фантасту» В. В. Розанову.

Смысл и задачу второго периода русской критики, высшим выразителем которого явился Добролюбов, Розанов видит в связи литературы с жизнью, в объяснении последней через первую, в *этическом* воспитании. Прекрасное было отодвинуто на второй план. Литература как учитель жизни приобрела колоссальное значение. Писатель стал главным, центральным лицом в русском обществе, к которому все прислушивались. С волнением вспоминает Розанов то время своей юности, когда «за томом сочинений Добролюбова забывались и университетские лекции, и вся мудрость, ветхая и великая, которая могла быть усвоена из различных старых и новых книг. К нему примыкали все наши надежды, вся любовь и всякая ненависть». И тут же Розанов не преминул

¹ Розанов В. О Лермонтове // Новое время. 1916. 18 июля. № 14499.

выдвинуть свою «антиномию»: «С этим же... неодолимо связана и отрицательная сторона его деятельности: именно ложность почти всех литературных оценок, которые он сделал».

Наконец, третье направление русской критики, которое Розанов называет «научным», возникло одновременно со вторым в работах Ап. Григорьева, а затем Н. Н. Страхова. Розанов подметил тенденцию развития критики в сторону научности, органической связи литературного произведения с предыдущим и последующим в литературном процессе. Другое дело, что в конце XIX в. подлинной научности в критике ожидать было еще трудно (даже в наше время это во многом лишь идеал, а не совершившийся факт, как сказал бы Василий Васильевич). Заслуга же Розанова в том, что он впервые столь широко и мотивированно поставил вопрос о необходимости *научной* критики.

Подметив некоторые существенные стороны литературно-критической истории, Розанов вместе с тем остался в своей программной статье на позициях чисто эстетического подхода к литературе и критике (отсюда уподобление К. Леонтьева Белинскому). Поэтому же «мощь пушкинского гения» объявляется им (вслед за Достоевским) единственной движущей силой современной русской литературы. В доказательстве этой истины (от которой в дальнейшем сам Розанов отошел) и состояла, по его мнению, заслуга критической деятельности Ап. Григорьева.

В «Литературных очерках» Розанов перепечатывает свою статью о полувековом влиянии Белинского (впервые напечатана в «Новом времени» 26 мая 1898 г.). Перед нами этакий «основатель жизненного и житейского идеализма», безмерно возлюбивший все общество и государство, в котором он жил, автор «Бородинской годовщины» и не более того. Как будто Белинский умер, не дожив, как и Лермонтов, до 30 лет...

Если бы эта статья была написана не «хитрейшим Василием Розановым», как называл его М. Горький, то можно было бы счесть ее за малопримечательное искажение облика «неистового Виссариона». Но перед нами автор написанной шестью годами ранее статьи о трех периодах русской критики, утверждающий: «Ап. Григорьев был дальневиднее Белинского в суждениях; также Н. Н. Страхов». Главное для Розанова — доказать «археологическую ветхость» умственного наследия Белинского, влияние которого ограничивается годами «нашего ученического странствования». Во взрослом обществе, полагал Розанов, «ему еще подчиняются умственно-средние и низшие слои». На подобное был способен, конечно, лишь «хитрейший» Василий Васильевич, назвавший известное письмо Белинского Гоголю «порнографией России».

Примечательно, что «юбилейную» статью о Белинском Розанов закончил обоснованием того, почему он против постановки «медной хвалы» — памятника Белинскому. Но даже здесь, и в этом надо отдать ему справедливость, Розанов умеет сказать нечто столь значимое и непреходящее, что заставляет задуматься почти столетие спустя и нас: «Мы не за «медную хвалу» и также не за переименование улиц, что стало входить у нас в употребление — в «Пушкинскую», «Глинкинскую» и проч. «Улица» имеет свой быт, нравы, мудрость

и поэзию: это народное достояние, с тем «крестным именем», в какое окрестил ее безымянный «поп»-народ»¹.

Характерно восприятие Розановым поэзии Некрасова. В «Уединенном» он вспоминает, что в гимназические годы, когда о Пушкине даже не вспоминали, «Некрасовым зачитывались до одурения, знали каждую его строчку, ловили каждый стих» (13—14). Некрасов был «властителем дум» поколения чрезвычайно деятельного, энергичного и чистосердечного, которое преувеличило его значение («Выше Пушкина!»). Вместе с тем у него есть, продолжает Розанов, «страниц десять стихов *до того народных*, как этого не удавалось ни одному из наших поэтов и прозаиков. Вот эти... стихотворения суть *вечный вклад* в нашу литературу и *никогда не умрут*» (19).

В статье «О благодущии Некрасова» Розанов удивил современников, предложив прочтение некрасовской «музы мести и печали» как выражение «русского благодущия»: «Благодущие — все-таки небо в нем, а гнев — только облако, проносящееся по нему»².

Загадка разъяснилась лишь восемь лет спустя, когда Розанов признался, что как ни скрывай, а «муза мести и печали» все-таки сильна у Некрасова, а его стихи увлекли юношество в революцию: «Некрасов, член английского клуба, партнер миллионеров, толкнул их более, чем кто-нибудь, стихотворением: «Отведи меня в стан *погибающих*». Это стихотворение поистине все омычено в крови» (106). То же прорвалось у Розанова в «Опавших листьях»: студентов «науськал Некрасов» (II, 57). Вот тебе и «благодущие»! Вот что скрывалось у Розанова за мифом о некрасовском «благодущии».

Почти все высказывания Розанова о Л. Толстом носят сугубо личный, нередко даже лицеприятный, характер. Пушкин и Лермонтов, Гоголь и Достоевский, Белинский и Некрасов — те были далеко, где-то в истории. Толстой как бы рядом. К нему Розанов ездил 6 марта 1903 г. в Ясную Поляну, и оба остались недовольны друг другом, хотя выразили это по-разному. Через несколько дней в письме к брату Л. Толстой заметил о Розанове: «мало интересен». Сын Толстого приводит слова отца после встречи с Розановым: «Он пишет очень хорошо, но беда в том, что в его писаниях ничего понять нельзя»³.

Двойственное отношение к Толстому наметилось еще в статьях Розанова 1890-х гг. Одно из первых высказываний о Толстом — в работе «Эстетическое понимание истории». Главное достоинство писателя усматривается в понимании человеческой души, причем психологический анализ и скульптурность изображения в «Анне Карениной» «уже лишены тех недостатков, которые еще есть в „Воине и мире“»⁴. В статье «О писателях и писательстве» (1899) высказан уже

¹ Розанов В. В. Литературные очерки. С. 178.

Мир искусства. 1903. Т. 9. С. 53. Иную, более точную оценку поэзии Некрасова находим в статье Розанова «25-летие кончины Некрасова» (Новое время. 1902. 24 декабря. № 9630).

³ Толстой Л. Л. Отрывок из моего дневника 1903 года//Столица и усадьба. 1914. 15 февраля. № 4. С. 5.

⁴ Русский вестник, 1892. № 1. С. 159.

прямой упрек Толстому: «Великий ум, объятый еще более великой тьмой; эта тьма — тьма нашей жизни... Поистине, каждое обвинение, какое мы хотели бы бросить в Толстого, падает обратно на наши головы»¹.

В 1902 г. Розанов прочитал в Религиозно-философском собрании лекцию «Об отлучении гр. Л. Толстого от церкви», в которой говорил о церковной несостоятельности (а-эклиезиастичности) этого акта, ибо «нельзя алгебру опровергать стихами Пушкина, а стихи Пушкина нельзя критиковать алгебраически». Видя в Толстом феномен русской религиозной истории XIX в., Розанов замечает: «Дуб, криво выросший, есть дуб, и не его судить механически-формальному учреждению, которое никак не выросло, а сделано человеческими руками» (синод)².

Рассказ о поездке в Ясную Поляну посвящен истории о том, как Розанов мечтал и наконец увидел «Монблан нашей жизни». «Прощаясь, я поцеловал его и поцеловал его руку, — ту благородную руку, которая написала «Войну и мир» и «Анну Каренину»... Как хорошо, что я живу, когда живет он, не раньше, не до него», — думает Розанов, покидая яснополянского старца.

Особое место занимает Толстой в трилогии Розанова. В отличие от своих статей в газетах и журналах здесь писатель создает как бы художественный образ Толстого, отвечающий не столько реально-историческому художнику и мыслителю, сколько внутреннему представлению Розанова о человеке, с которым ему довелось однажды в жизни встретиться. Не к документальной мемуаристике стремился Василий Васильевич. Гений Толстого признается бесспорно, но не менее бесспорно для Розанова и право на свое, личностное, нетрадиционное отношение к великому писателю. И дело не в «правильности» или «ошибочности» суждений Розанова, а в его желании передать *единственно свое* впечатление от Толстого, прежде всего от человека и мыслителя, а не только автора прославленных книг.

Лишь оговорив этот «розановский подход» к Толстому, мы позволим себе привести его формулировки: «Толстой был гениален, но не умен» (I, 40). Или в другом месте: «Толстой прожил собственно глубоко *пошлую* жизнь... Это ему и на ум никогда не приходило» (84). Или еще: «У Пушкина даже в отрывках, мелочах и наконец в зачеркнутых строках — ничего плоского или глупого... У Толстого *плоских* мест — множество...» (I, 294).

«Не понимаю, почему я особенно не люблю Толстого...» (I, 28) — признавался Розанов. Может быть, потому, что Толстой не был вовсе религиозной душой, как и Гоголь. В обоих «страх перед религией» (I, 376). И вместе с тем в неприязни к Толстому у Розанова есть нечто сословное (как и в симпатии к М. Горькому, выходцу из народа). «Религия Толстого не есть ли «туда и сюда» тульского барина, которому хорошо жилось, которого много славил, — и *который ни о чем истинно не болел*» (I, 197). То же говорится о его поисках «мученичества»:

¹ Розанов В. В. Литературные очерки. С. 216—217.

² Розанов В. Около церковных стен. Спб.: Вайсберг и Гершунин. 1906. Т. 2. С. 452.

Толстой просился в Шлиссельбург посидеть рядом с революционным народником Н. А. Морозовым. «Но какой же, ваше сиятельство, вы Морозов? — отвечало правительство и велело его напротив охранять» (I, 517).

Сравнивая Толстого с Достоевским, Розанов говорит: «Толстой удивляет, Достоевский трогает. Каждое произведение Толстого есть здание... А Достоевский *живет* в нас. Его музыка никогда не умрет» (II, 219). Ставя Толстого как писателя ниже Пушкина, Лермонтова, Гоголя, Розанов видит в нем человека, который по духу выше их всех. Из мглы повседневной жизни он поднял голову и провозгласил: «...К идеалу!»... В этом его первенство над всей литературой» (I, 296).

И еще одну черту высоко ценил Розанов в Толстом, который «отнесся с уважением к семье, к трудящемуся человеку, к отцам... Это — впервые и единственно в русской литературе, без подражаний и продолжений (41—42). В победе людей труда (лермонтовский Максим Максимыч) над «лишними людьми» (Печориним) Розанов видит победу «одного из двух огромных литературных течений над враждебным... Толстой всю жизнь положил за «Максима Максимовича» (Ник. Ростов, артиллерист Тушин, Пл. Каратаев, философия Пьера Безухова,— перешедшая в философию самого Толстого)» (71).

Трудовое начало связано для Розанова (как и для Толстого) с семейным. Еще в книге «Семейный вопрос в России» (1903) он попытался привлечь внимание общественности к важнейшим проблемам семьи. На книгу не обратили внимания. «Во всей печати о ней не было сделано ни одной рецензии» (II, 331). Общество было еще не готово к обсуждению одного из центральных вопросов национального бытия, взаимоотношений полрв на основе семьи и порожденного ею лада народной жизни. Вопросы эти, как их ставил Розанов, оставались закрытыми до недавнего времени. И хотя наши подходы к этим проблемам отличаются от розановских, его размышления, его «прорывы» в эту тематику не могут не представлять интереса и для нас.

5

Трилогия Розанова («Уединенное» и два короба «Опавших листьев»)¹ стоит за пределами того, что до тех пор писали о литературе, культуре и жизни. Менее всего писатель стремился к созданию последовательной философской, религиозной или литературно-критической концепции. Принцип сознательной непоследовательности постоянно дает себя знать в его «случайных» записях, набросках «для себя», составляющих трилогию с ее характерными, подчас вызывающими пометами о времени и месте написания: «Когда болел живот»,

¹ В рукописном архиве Розанова сохранился план продолжения трилогии, включающий по крайней мере еще четыре книги: «В Сахарне» (1918, 339 афоризмов), «После Сахарны» (1913, 234 афоризма), «Мимолетное» (1914, 476 афоризмов) и «Последние листья» (1915). В 1916 г. в типографии Суворина были сверстаны первые 4 листа книги «В Сахарне», но в свет она не вышла (ЦГАЛИ).

«На конверте „приглашение на выставку“», «В купальне», «В кабинете уединения». Эти пометы сами по себе ничего не добавляют к тексту (мысль могла прийти в любом месте). Но они создают ощущение жизни, текущего момента, даже при «несовпадении внутренней и внешней жизни». Сокращения, сделанные в кратких записях «для себя», остаются неизменными в печатном тексте.

Если в предшествующих книгах и статьях Розанов нередко прибегал к своим излюбленным «антиномиям», подчас ставившим в тупик его читателей и критиков, то в трилогии от «двуликости» он обращается к многоголосию, чем-то напоминающему полифоничность поздних романов Достоевского. Действительно, если подряд читать даже одну из частей трилогии, то создается впечатление разнородного «шума голосов» («Неумолчный шум в душе», I, 315), напоминающего запись А. Блока в дневнике 29 января 1918 г.: «Страшный шум, возрастающий во мне и вокруг. Этот шум слышал Гоголь». Шум оглушает и «сбивает» вас, как разговор одновременно с несколькими людьми.

Трилогия не рассчитана на прочтение подряд, как читаются повести и романы. Перед нами весьма своеобразная смесь талантливости, глубины прозрений и наблюдений художника с «беззаветным» монархизмом, попыткой соединить религию церкви с религией пола, — крепкое зелье, которое никогда еще не изготовлялось в русской литературе в такой концентрации.

Исследователи¹, обращавшиеся к трилогии Розанова, обычно усматривали в ней исповедальный стиль и в жанровом отношении сравнивали ее с исповедями Августина и Руссо, с «мыслями» Паскаля, с афоризмами Ницше, с прозрениями в области пола З. Фрейда. Однако Розанов прежде всего сын русской литературной традиции — Достоевского и Лескова, Н. Страхова и К. Леонтьева.

Розанов попытался сказать то, что до него никто не говорил, потому что не считал это стоящим внимания. «Я ввел в литературу самое мелочное, мимолетное, невидимые движения души, паутинки быта» (II, 8), ибо «смысл — не в Вечном; смысл в Мгновениях» (II, 437). И снова: «У меня есть какой-то фетишизм мелочей. „Мелочи“ суть мои „боги“» (II, 220).

Еще в заметке «О письмах писателей» Розанов попытался определить становление нового жанра литературы — мыслей, выраженных в письмах, заметках: «Когда-нибудь этот отдел станет самым любимым предметом чтения. Более и более пропадает интерес к *форме* литературного произведения, как некоторому искусственному построению, условно нравящемуся в данную эпоху, и нарастает к душе их, т. е. к той задушевной, внутренней мысли автора, с которою он писал свое произведение»².

¹ Латынина А. «Во мне происходит разложение литературы...»: (В. В. Розанов и его место в литературной борьбе эпохи)// Вопросы литературы. 1975. № 2. С. 169—206. Анализ структуры трилогии см. в кн.: Stone A. L. *Rozanov and the End of Literature: Polyphony and the Dissolution of Genre in Solitaria and Fallen Leaves*, Würzburg: Jal-Verlag, 1978; Синявский А. «Опавшие листья» В. В. Розанова. Париж: Синтаксис, 1982.

² Новое время. 1909. 16 декабря. № 12199.

Так создавались «Уединенное» и «Опавшие листья». К вышедшей в те же годы книге «Литературные изгнанники» Розанов взял эпиграфом слова из письма своего друга П. А. Флоренского: «Единственный вид литературы, который я признавать стал — это ПИСЬМА. Даже в «дневнике» автор принимает позу. Письмо же пишется столь спешно и в такой усталости, что не до поз в нем. Это единственный искренний вид писаний».

Для трилогии Розанов попытался ухватить еще более произвольный вид письма — внезапно срывающиеся с души нашей восклицания, вздохи, обрывки мыслей и чувств. «Собственно, они текут в нас непрерывно, но их не успеваешь (нет бумаги под рукой) заносить, — и они умирают. Потом ни за что не припомнишь. Однако кое-что я успевал заносить на бумагу. Записанное все накапливалось. И вот я решил эти опавшие листы собрать» (3).

Эти «нечаянные восклицания», «жизнь души» записывались на первых попадавшихся листочках и складывались, складывались. Главное было — «успеть ухватить», пока не улетело. Стоило Розанову обратиться к его любимым темам, особенно к русской литературе, как он весь преображался, будто при виде любимого человека. Талант, сила мысли и чувства прямо-таки клубятся и выплескиваются таким живым словом, что, даже не соглашаясь с ним, нельзя не оценить его умения завораживать читателя «метко сказанным русским словом».

Розанов не исповедовался перед читателем и потому возражал против сравнения его «Уединенного» с «Исповедью» Руссо. Он говорил, что пишет «без читателя» — просто потому, что «нравится»: «С читателем гораздо скучнее, чем одному. Он разинет рот и ждет, что ты ему положишь? В таком случае он имеет вид осла перед тем, как ему зареветь... Пишу для каких-то «неведомых друзей» и хоть «ни для кому...» (4). И как продолжение этой мысли в обращении к читателям: «А какое вам дело до того, что я в точности думаю», «чем я обязан говорить свои настоящие мысли» (102).

Однако этот вывод не был абсолютным для Розанова. В конце второго короба «Опавших листьев» он планирует сборник «Эмбрионы», который, в отличие от «Уединенного» без читателя, будет обращен к читателю.

Новым в трилогии был *тон* повествования, «рукописность души» (I, 265), как называл это писатель в отличие от литературного шаблона («Суть „нашего времени“ — что оно все обращает в шаблон, схему и фразу», I, 167). Вину за это Розанов возлагал на изобретателя книгопечатания: «Как будто этот проклятый Гутенберг облизал своим медным языком всех писателей, и они все обездушили „в печати“, потеряли лицо, характер» (8). Появилась «техническая душа» (I, 163), с механизмом творчества, но без вдохновения. И отсюда вывод о современной литературе: «Оловянная литература. Оловянные люди ее пишут. Для оловянных читателей она существует» (II, 336).

Жизнь важнее писательства, литературы. Многие утверждали это, но, обращаясь к творчеству, видели главное в том, что сами творили. И это было непреодолимо. Только Толстой попытался вырваться из этого плена самообмана. Попытался и Розанов: «Центр — жизнь, материк ее... А писатели — золотые

рыбки... Не „передвигать“ же материк в зависимости от движения хвостов золотых рыбок» (I, 154).

Жизнь — это человек, семья, народ. Только это *общечеловеческое* волновало Розанова, а не литературные направления и споры, партии, расхождения во взглядах, из которых он предлагал сделать яичницу «на одной сковородке». Перепутать политические идеи, чтобы остаться с человеком, — таков утопический идеал Розанова. «Может быть я расхожусь не с человеком, а только с литературой? Разойтись с человеком страшно. С литературой — ничего особенного» (I, 43).

На одном развороте «Опавших листьев» можно прочесть такие, казалось бы, взаимоисключающие утверждения о себе: «„Писал против своего убеждения“.— Никогда» (II, 159). И на противоположной странице: «А „убеждения“.— Ровно наплевать». Эта «философия жизни», экзистенциализм захлестнул Розанова настолько, что он сочинил целую притчу, начинающуюся словами: «Я еще не такой подлец, чтобы думать о морали» (85). А в «Опавших листьях» говорит, что гораздо больше интересовался калошами (крепки ли), чем убеждениями (своими и чужими): «Я не враждебен нравственности, а просто „не приходит на ум“» (I, 189). Будучи глубоко нравственным человеком, Розанов отрицал «Мораль» как «штамп», внешнее в жизни.

Разработанный в трилогии особый жанр «мысли» свидетельствовал не столько о том, что в творчестве Розанова, как полагал он сам, происходило «разложение литературы, самого *существа ее*» (II, 8). Литература конечно же не окончилась «разложением» Розанова, и он не стал «последним писателем». Скорее напротив, он создал вершину жанра, за которой десятилетия спустя последовали все наши «камешки на ладони», «затеси», «бухтины вологодские», «мгновения». Значение стилеобразующего начала у Розанова отмечает П. А. Николаев: «Даже безудержная „свобода“ выражений розановской мысли таила в себе некие позитивные начала, бесполезные для жанрового и стилевого обогащения литературной науки»¹

Розанов многое предвосхитил в мышлении лишь открывшегося перед ним XX столетия, в том числе некоторые стороны экзистенциализма и психоанализа в приложении к литературе (характерно его рассуждение о «должном» в «Уединенном», 101—102). Стремление ухватить «истину» не в ее статичности или в сегодняшнем наполнении (поэтому мысли Розанова вызывают желание спорить, не соглашаться), но попытаться запечатлеть отдельные, подчас разрозненные и противоречивые стороны того, что мы зовем «правдой», чтобы уловить ее «ход», самое сокровенное в душе человека, — вот то ценное и непреодолимое в трилогии, что дает ей право на новую жизнь в эпоху совершенно иную, нежели та, когда жил и писал ее автор.

Такие различные в идейном и художественном отношении писатели и мыс-

¹ Николаев П. А. Философско-эстетический идеализм и литературная мысль на рубеже XIX и XX вв. // Классическое наследие и современность. JL, 1981. С. 61.

лителю, как Н. Бердяев, А. Ремизов, З. Гиппиус и, с другой стороны, М. Горький и А. Блок были во многом близки в своих оценках Розанова, и прежде всего его центрального произведения — трилогии. «Литературный дар его был изумителен, самый большой дар в русской прозе» (Бердяев). «Розанов — писатель громадного, почти гениального дарования» (Гиппиус). Прочитав «Опавшие листья», Блок назвал их «замечательной книгой»: «Сколько там глубокого о печати, о литературе, о писательстве, а главное — о жизни». Вместе с тем Блок отметил идейную неоднозначность Розанова, сплетение «таких непримиримых противоречий, как дух глубины и пытливости и дух... „Нового времени“»¹ М. Горький видел в Розанове «фигуру м. б. более трагическую, чем сам Достоевский»²

Незадолго до смерти Розанов мечтал издать трилогию и ее продолжение («Мимолетное», «Последние листья» и др.). Хочется надеяться, что наш читатель в недалеком будущем познакомится с этим уникальным памятником русской литературы начала XX в. в полном виде.

6

Октябрьская революция заставила Розанова пересмотреть свои взгляды не только на литературу, на Гоголя и Щедрина («Прав этот бес Гоголь»), но и до крайности обострила его критические воззрения, придав им гротескный характер. Ранее он отрицал церковность и христианство более или менее «традиционно». Таковы его книги «В мире неясного и нерешенного» (1901), «Около церковных стен» (1906), «Темный лик» (1911, усеченное цензурой издание). Теперь же появилось одержимое неистовство, развернувшееся в десяти выпусках «Апокалипсиса нашего времени», издававшихся Розановым в Сергиевом Посаде с ноября 1917 г. и в течение 1918 г. Эти тоненькие брошюры, наполненные ядом и горечью сердца, — последняя ступень лестницы, на которую писатель ступил за шесть лет до того в книге «Уединенное».

В одной записи «Уединенного» сконцентрирован как бы весь розановский «Апокалипсис» с его поношением русской литературы как главной виновницы «Рассыпанного царства» (название первой главы первого выпуска): «Как „матерый волк“ он наелся русской крови и сытый отвалился в могилу (о Щедрина)» (108).

Почему же сатира Щедрина, как и гоголевский смех, ненавистна Розанову так же, как «дела» революционеров — от декабристов до современных «террористов»?³ В неизданной книге «Перед Сахарной» (1918), верстка которой

¹ Блок А. Собр. соч.: В 8 т. М.; Л.: Худож. лит., 1963. Т. 8. С. 417, 274.

² Архив А. М. Горького. Т. 9. С. 124.

³ В последнем письме к Э. Голлербаху 26 октября 1918 г. Розанов пересматривает свое отношение к Салтыкову-Щедрину: «Целую жизнь я отрицал тебя в каком-то ужасе, но ты предстал мне теперь в *своей полной истине*. Щедрин, беру тебя и благословляю. Проклятая Россия, благословенная Россия».

сохранилась, он писал: «После Гоголя, Некрасова и Щедрина совершенно невозможен никакой энтузиазм в России. Мог быть только энтузиазм к разрушению России». Розанов считал, что зло старого строя нельзя исцелить насильем, революцией, т. е. новым злом. В верстке той же книги читаем: «Как поправить грех грехом — тема революции... И поправляющий грех горше поправляемого» (ЦГАЛИ).

Вместе с тем Розанов выдвинул такие глубокие аргументы против церкви и христианства, которые не идут ни в какое сравнение с традиционным атеизмом. Однако нас интересует не важнейшая для самого Розанова религиозно-философская доктрина, а отношение писателя к Революции и к русской литературе. Мимо этой темы не прошел ни один литератор тех лет. А. Блок в статье «Интеллигенция и революция» (1918) пророчески писал: «России суждено пережить муки, унижения, разделения; но она выйдет из этих унижений новой и — по-новому — великой».

Розанов создал притчу на ту же тему, но в ином духе: «С лязгом, скрипом, визгом опускается над Русскою Историею железный занавес.— Представление окончилось. Публика встала.— Пора одевать шубы и возвращаться домой. Оглянулись. Но ни шуб, ни домов не оказалось»¹.

Блок принял Революцию. Розанов не принял, потому что видел в ней лишь разрушение национальной жизни, «конец России». Весной 1917 г. он писал П. Б. Струве: «Душа так потрясена совершившимся, так полна испуга за Россию и за все, чем она жила до сих пор, что отходит в сторону все личное, все памятки и «вазюбки души» перед великим, страшным и тоскливым» (ГБЛ). А в конце того же года: «„Былая Русь“... Как это выговорить? А уже выговаривается»².

И чем больше он любил Россию, тем с большим остервенением писал он (да и не он один — вспомним «Окаянные дни» Бунина) о ее «гибели». И готов был винить в том всю русскую историю, всю русскую литературу... Ведь он был и оставался монархистом, то есть видел единство и мощь России во власти царя. Даже монархист В. М. Пуришкевич, заключенный после Октябрьской революции в Петропавловскую крепость, писал по поводу «позорного» Брестского мира: «Советская власть — это твердая власть, увы, не с того лишь боку, с которого я хотел бы видеть твердую власть над Россией, жалкая и трусливая интеллигенция коей является одною из главных виновниц нашего позора»³.

Но это было уже в мае 1918 г., через полгода после Октябрьской революции. А Розанов писал буквально на другой день после Октября слова, исполненные страшной боли и непонимания:

«Русь слиняла в два дня. Самое большее — в три. Даже «Новое время» нельзя было закрыть так скоро, как закрылась Русь. Поразительно, что она

¹ Розанов В. Апокалипсис нашего времени. 1918. № 8—9. С. 109. Розанов один из первых употребил в литературе выражение «железный занавес».

² Там же. 1917. № 1. С. 9.

³ Вешние воды. Пг., 1918. Т. 33—34. Март — апрель. С. 52.

разом рассыпалась вся, до подробностей, до частных. И, собственно, подобного потрясения никогда не бывало, не исключая «Великого переселения народов». Там была — эпоха, «два или три века». Здесь — три дня, кажется, даже два. Не осталось Царства... Мы в сущности играли в литературу. «Так хорошо написал». И все дело было в том, что «хорошо написал», а что «написал» — до этого никому дела не было. По *содержанию* литература русская есть такая мерзость, — такая мерзость бесстыдства и наглости, — как ни единая литература. В большом Царстве, с большою силой, при народе трудолюбивом, смышленном, покорном, — что она сделала? Она не выучила и не внушила выучить — чтобы этот народ хотя научили гвоздь выковывать, серп исполнить, косу для косыбы сделать («вывозим косы из Австрии», — география). Народ рос совершенно первобытно с Петра Великого, а литература занималась только «как они любили» и «о чем разговаривали». И все «разговаривали» и только «разговаривали», и только «любили» и еще «любили».

Никто не занялся тем (и я не читал в журналах ни одной статьи — и в газетах тоже ни одной статьи), что в России нет ни одного аптекарского магазина, т. е. сделанного и торгуемого русским человеком, — что мы не умеем из морских трав извлекать иоду, а горчишники у нас «французские», потому что русские все-человеки не умеют даже намазать горчицы разведенной на бумагу с закреплением ее «крепости», «духа». Что же мы умеем? А вот, видите ли, мы умеем «любить», как Вронский Анну, и Литвинов Ирину, и Лежнев Лизу, и Обломов Ольгу. Боже, но любить нужно в семье; но в семье мы, кажется, не особенно любили, и, пожалуй, тут тоже вмешался чертов бракоразводный процесс («люби по долгу, а не по любви»). И вот церковь-то первая и развалилась, и, ей-ей, это кстати и «по закону»...¹.

Никто не писал так отрицательно о всей русской литературе и, надо думать, никогда не напишет. Но дело было, конечно, не в литературе, а в скорби за Россию, которая, как мерещилось перепуганному Розанову, «рассыпалась», подобно Петру Петровичу Курилкину в повести Пушкина «Гробовщик».

За несколько дней до смерти Розанов продиктовал письмо, которое было прочтением с Россией: «Боже, куда девалась наша Россия... Ну, прощай, былая Русь, не забывай себя. Помни о себе. Если ты была когда-то величава, то помни о себе. Ты всегда была славна».

Еще А. Ремизов восхищался природной русской речью Розанова, «как у Аввакума», живым, изустным синтаксисом его фразы. Довольно скептически относился к Розанову как к писателю и публицисту, О. Мандельштам не мог не отметить его выдающуюся роль в сохранении и развитии русского слова и литературного языка в период, когда возникла угроза «отлучения от языка», опасность «сорваться в нигилизм». В статье «О природе слова» (1922) он писал: «Из современных русских писателей живее всех эту опасность почувствовал Розанов, и вся его жизнь прошла в борьбе за сохранение связи со словом, за

¹ Розанов В. Апокалипсис нашего времени. 1917. №1. С. 6—9.

филологическую культуру, которая твердо стоит на фундаменте эллинистической природы русской речи»¹.

Мировое, а не только национальное значение мыслей Розанова утвердили зарубежные критики и читатели. Его книги переведены в странах Западной Европы и США, там о нем выходят монографии, защищаются диссертации. Ситуация не новая. Как известно, Эдгар По и Фолкнер тоже были вначале признаны в Европе, во Франции, а уже затем у себя дома.

Случалось подобное и в русской литературе XX в., хотя причины здесь были внешнеэстетические. Лишь в 1988 г. в наших журналах («Вопросы литературы», «Литературная учеба») начали появляться публикации отдельных статей Розанова о литературе.

Отсутствие Розанова в современной русской культуре означало забвение одной из важных ее сторон, перерыв в ее традиции. Розанов удивительно современен, «ужасающе современен», как отозвался о нем английский писатель Д. Г. Лоренс, написавший в рецензии на английский перевод «Опавших листьев» (1930): «Если бы Толстой увидел сегодняшнюю Россию, он до крайности изумился бы. А Розанов, думаю, вовсе не удивился. Он чувствовал, что это неизбежно»². Розановское слово живо, как будто написано не в начале века, а в наши дни. Так, как он пишет, стало возможно изъясняться не столь уж давно, о чем свидетельствует сам факт появления настоящего издания избранных произведений Розанова — первого в послеоктябрьский период³.

Таково значение русской классики, к которой принадлежит художественное наследие В. В. Розанова, и прежде всего его трилогия, отразившая смятенность мыслей и чувств «человека на изломе» — в преддверии не только революции, перевернувшей уклад жизни России, но и всего XX в., катаклизмы которого потрясли человека еще глубже, чем годы революции, живым свидетелем чего был писатель.

А. Николькин

¹ Мандельштам О. Слово и культура. М.: Сов. писатель, 1987. С. 60.

² Lawrence D. H. Selected Literary Criticism/Ed. by A. Beal N. Y.: Viking Press, 1956. P. 253.

³ Перед смертью Розанов составил подробный план издания своих сочинений в 50 томах (9 серий: философия, религия, литература и искусство, брак и развод, общество и государство, педагогика, из восточных мотивов, листва («Уединенное», «Опавшие листья», «Сахарна», «Новые опавшие листья» и проч.), письма и материалы (пять томов «Литературных изгнанников», куда помимо изданных писем Страхова и Говорухи-Отрока предусматривалось включить письма Леонтьева, Кускова, Шперка, Рцы, Рачинского, Флоренского, Цветкова). После смерти Розанова издание его сочинений стал готовить П. А. Флоренский (Вестник литературы. 1921. № 9. С. 14).

1. КНИГИ И СТАТЬИ

ЛЕГЕНДА О ВЕЛИКОМ ИНКВИЗИТОРЕ Ф. М. ДОСТОЕВСКОГО

Опыт критического комментария

И рече Бог: «се Адам бысть яко един от Нас, ежи разумети доброе и лукавое. И ныне да не когда прострет руку свою, и возьмет от древа жизни, и съест, и жив будет вовек». И изгна его Господь Бог из Рая сладости — делати землю, от неяже взят бысть.

Бытие, III

В одной фантастической повести Гоголь рассказывает, как старый ростовщик, умирая, призвал к себе художника и неотступно просил его срисовать с себя портрет; когда работа уже началась, художник вдруг почувствовал непреодолимое отвращение к тому, что делал, и к этому отвращению примешался какой-то страх. Ростовщик, однако, все следил за работой, какая-то тоска и беспокойство светились в его лице,— но когда он увидел, что по крайней мере глаза окончены, в этом лице сверкнула радость. Художник отошел на несколько шагов, чтобы посмотреть на свою работу; но едва он взглянул на нее, как колена его задрожали: в глазах начатого портрета светилась жизнь, настоящая жизнь, та самая, которая уже потухала в его оригинале и каким тайным волшебством перенеслась в эту копию. Палитра и кисть выпали из его рук, и он с ужасом выбежал из комнаты. Через несколько часов ростовщик умер. Художник окончил жизнь в монастыре.

Этот рассказ, почему-то, невольно припомнился нам, когда мы задумали говорить о знаменитой легенде Достоевского. Сквозь всю фантастичность, в нем как будто мелькает и какая-то правда, и верно она-то вывела его на свет сознания из ряда других полузабытых рассказов и связала мысль о нем с занимающим нас предметом. Не выразил ли в нем Гоголь некоторой тайны художественной души, быть может сознав ее в себе самом? Эта жизнь, перешедшая в создание, это тоскливое желание не умереть прежде, чем совершился такой переход,— все это как будто напоминает нам что-то главное в жизни самих художников, поэтов, композиторов. Только воплощаемое

и воплощающий здесь разделены, и этим замаскирована скрытая аллегория. Соедините их,— и вы получите изображение судьбы и личности всякого великого творческого дарования.

Там, «откуда не возвращался никто», есть конечно жизнь: но нам ничего не рассказано о ней, и, по всему вероятно, это жизнь какая-то совсем особенная, слишком абстрактная для наших живых желаний, несколько холодная и призрачная. Вот почему человек так прилепляется к земле, так боязливо не хочет отделиться от нее; и, так как это ранее или позже все-таки неизбежно, он делает все усилия, чтобы расставание с нею было не полное. Жажда бессмертия, земного бессмертия, есть самое удивительное и совершенно несомненное чувство в человеке. Не оттого ли мы так любим детей, трепещем за жизнь их более, нежели за свою, уже увядающую; и когда имеем радость дожить и до их детей — привязываемся к ним еще сильнее, чем к собственным. Даже в минуту совершенного сомнения относительно загробного существования, мы находим здесь некоторое утешение. «Пусть мы умрем, но останутся дети наши, а после них — их дети», — говорим мы в своем сердце, прижимаясь к дорогой нам земле. Но *это* бессмертие, эта жизнь нашей крови после того, как мы станем горстью праха, слишком не полна, это какое-то разорванное существование, распределенное в бесчисленных поколениях, и в нем не сохраняется главного, что мы в себе любим — нашей индивидуальности, цельной личности. Несравненно полнее существование, которое достигается в великих произведениях духа; в них создающий увековечивает свою личность со всеми своими особыми чертами, со всеми изгибами своего ума и тайнами своей совести. Порою он не хочет раскрыть какой-нибудь стороны своей души, и, однако, жажда в нем бессмертия, индивидуальной, особой от других жизни, так велика, что он скрывает, запрятывает среди прочего и все-таки оставляет в своих произведениях отражение этой стороны: проходят века — и нужная черта вскрывается и встает полный образ того, кто уже не страшится более смутиться перед людьми. «Строй выше себе пирамиду, бедный человек», — говорит как будто полный этих ощущений Гоголь.

Во всяком случае, чувство радости, которое испытывается при этом созидании, служит хоть каким-нибудь просветом среди того сумрака, который обычно окружает душу великих поэтов, художников, композиторов. Так глубоко и так часто непреодолимо разьединенные с живым, окружающим их миром людей, их радостей и печалей, они чувствуют себя соединенными через века с иными поколениями людей, мысленно

живут в их жизни, помогают им в труде их и радуются их радостям. Странная, несколько фантастическая жизнь, черты которой, однако, мы наблюдаем, вчитываясь во все замечательные биографии. Не даром покойный проф. Усов, натуралист, но и вместе знаток искусства, назвал мир его — «миром иллюзии».

Замечательно, что у каждого почти творца в сфере искусства мы находим один центр, изредка несколько, но всегда немного, около которых группируются все его создания: эти последние представляют собою как бы попытки высказать какую-то мучительную мысль, и когда она наконец высказывается, — появляется создание, согретое высшею любовью творца своего и облитое немеркнущим светом для других, сердце и мысль которых влекутся к нему с неудержимой силой. Таков был у Гете «Фауст», девятая симфония у Бетховена, Сикстинская Мадонна у Рафаэля. Это высшие продукты психической деятельности, их любит человечество и знает, как то, к чему способно оно в лучшие свои минуты, которые, конечно, редки во всемирной истории, как редки и минуты особенного просветления в жизни каждого человека.

На одном из подобных созданий мы и хотим остановиться. Оно, однако, проникнуто особою мучительностью, как и все творчество избранного нами писателя, как и сама его личность. Это — «Легенда о Великом Инквизиторе» покойного Достоевского. Как известно, она составляет только эпизод в последнем произведении его, «Братья Карамазовы», но связь ее с фабулой этого романа так слаба, что ее можно рассматривать как отдельное произведение. Но зато, вместо внешней связи, между романом и «Легендой» есть связь внутренняя: именно «Легенда» составляет как бы душу всего произведения, которое только группируется около нее, как вариации около своей темы; в ней схоронена заветная мысль писателя, без которой не был бы написан не только этот роман, но и многие другие произведения его: по крайней мере не было бы в них всех самых лучших и высоких мест.

I

Еще в 1870 г., в письме к Ап. Н. Майкову от 25 марта, Достоевский писал, между прочим, о замысле большого романа, который он обдумывал в течение последних двух лет и теперь хотел бы написать, пользуясь свободным временем. «Идея (этого романа), — говорил в письме, — та самая, о которой я вам уже писал. Это будет мой *последний роман*. Объемом в «*Войну*

и Мир», и идею вы бы похвалили,— сколько я, по крайней мере, соображаю с нашими прежними разговорами с вами. Этот роман будет состоять из пяти больших повестей (листов 15 в каждой; в 2 года план у меня весь созрел). Повести совершенно отделены одна от другой, так что их можно даже пускать в продажу отдельно. Первую повесть я и назначаю Кашпиреву: тут действие еще в сороковых годах. Общее название романа есть: «Житие великого грешника», но каждая повесть будет носить название отдельно. *Главный вопрос, который проведется во всех частях — тот самый, которым я мучился сознательно и бессознательно всю мою жизнь — существование Божие.* Герой в продолжение жизни — то атеист, то верующий, то фанатик и сектатор, то опять атеист. *Вторая повесть будет происходить вся в монастыре.* На эту вторую повесть я возложил все мои надежды. Может быть скажут, наконец, что не все писал пустяки. Вам одному исповедуюсь, Апполон Николаевич: *хочу выставить во 2-ой повести главною фигурой Тихона Задонского, конечно под другим именем, но тоже архиерей будет проживать в монастыре на покое.* 13-летний мальчик, участвовавший в совершении уголовного преступления, *развитый и развращенный* (я этот тип знаю), *будущий герой всего романа,* посажен в монастырь родителями (круг наш, образованный), и для обучения. *Волчонок и нигилист-ребенок сходится с Тихоном* (вы, ведь, знаете характер и все лицо Тихона). *Тут же, в монастыре, посажу Чаадаева* (конечно, под другим тоже именем). Почему Чаадаеву не посидеть года в монастыре? Предположите, что Чаадаев после первой статьи, за которую его свидетельствовали доктора каждую неделю, не утерпел и напечатал, напр., за границей, на французском языке, брошюру,— очень и могло бы быть, что за это его на год отправили бы посидеть в монастырь. *К Чаадаеву могут приехать гости и другие.* Белинский, напр., Грановский, Пушкин даже. (Ведь у меня же не Чаадаев, я только в роман беру этот тип.) *В монастыре есть и Павел Прусский, есть и Голубов, и инок Парфений* (в этом мире я знаток и монастырь русский знаю с детства). Но *главное — Тихон и мальчик.* Ради Бога, не передавайте никому содержания этой второй части... Я вам исповедуюсь. Для других пусть это гроша не стоит, но для меня — сокровище. Не говорите же про Тихона. Я написал о монастыре Страхову, но про Тихона не писал. Авось, выведу величавую, *положительную* (курсив Достоевского), святую фигуру. Это уж не Констанжогло-с и не немец в Обломове; и не Лопуховы, не Рахметовы. Правда, я ничего не создам, а только выставлю действительного Тихона, *которого я принял*

в свое сердце давно с восторгом. Но я сочту, если удастся, и это для себя важным подвигом. Не сообщайте же никому. Но для второго романа, для монастыря — я должен быть в России».

Кто не узнает в торопливых и разбросанных строках этого письма первый очерк «Братьев Карамазовых», с его старцем Зосимом и с чистым образом Алеши (очевидно, разделенная фигура Тихона Задонского), с развитым и развращенным, правда уже не мальчиком, но молодым человеком Иваном Карамазовым, с поездкою в монастырь (помещик Миусов, очевидно — переделанная фигура Чаадаева), со сценами монастырской жизни, и пр. Но всегдашняя нужда расстроила предположения Достоевского. Связываемый срочными обязательствами, в которые он входил с редакциями и книгопродавцами, он принужден был усиленно работать, и хотя из написанного им за это время было много прекрасного, однако все это не было осуществлением его задушевной мечты и уже созревшего плана. Очевидно, он все дождался досуга, который дал бы возможность обрабатывать неторопливо. Кроме денежной нужды, этому чрезвычайно препятствовала и его впечатлительность: он не мог, хотя на время, закрыть глаза на текущие дела, тревоги и вопросы нашей жизни и литературы. С 1876 г. он начал выпускать «Дневник писателя», создав им новую, своеобразную и прекрасную форму литературной деятельности, которой в будущем, во все тревожные эпохи, вероятно еще суждено будет играть великую роль. Чрезвычайный успех этого издания, можно было опасаться, совершенно не даст ему возможности сосредоточиться на какой-нибудь цельной работе, и, как многие планы, замысел большого романа, уже обдуманного несколько лет назад, мало-помалу заглохнет, самый энтузиазм к нему рассеется.

Но судьба, так часто злая извне к великим людям, всегда бережно обходится с тем, что есть в них внутреннего, глубокого и задушевного. Мысль, которой предстоит жизнь, не умирает с носителями своими, даже когда смерть застигает их неожиданно или случайно. Хотя бы перед самым наступлением ее, повинувшись какому-то безотчетному и неудержимому влечению, они отрываются от всего побочного и делают то, что нужно — самое главное в своей жизни.

Беспорядочный, страстный, перед тысячами ожидающих глаз, Достоевский вдруг умолкает и замыкается в себя, «чтобы заняться одною художественною работою»; он успокаивает читателей «Дневника», что это не более, как на один год, ему необходимый для работы, после чего он вновь возвратится

к ежемесячной беседе с ними. Но предчувствию, выраженному семь лет назад, суждено было сбыться: предпринимаемая художническая работа стала действительно его «последним романом», и даже последним неоконченным литературным трудом. В 1880 и 1881 годах было выпущено только по одному номеру «Дневника» — в минуту особенного оживления и в промежуток отдыха между первым большим отделом романа и его вторым отделом, который должен был «представлять собою почти самостоятельное целое». В этот краткий промежуток отдыха ему суждено было окончить свои дни. Последние томы романа, «обширного как *«Война и Мир»*, не были написаны. Четырнадцать книг, составляющие четыре части (с эпилогом) «Братьев Карамазовых», представляют собою выполнение, уже доведенное до конца, первого отдела обширной художественной эпопеи. Вот что пишет он об общем плане ее в предисловии к «Братьям Карамазовым»: «Хотя жизнеописание (героя, которое служит содержанием романа) у меня одно, но романов два. Главный роман — второй: это деятельность моего героя уже в наше время, или в наш теперешний текущий момент. Первый же роман произошел еще тридцать лет назад — и это почти даже и не роман, а лишь *один момент из первой юности моего героя*. Обойтись мне без этого первого романа невозможно, потому что многое во втором романе стало бы непонятным».

Очевидно, даже внешний план долго вынашиваемого произведения был сохранен в «Братьях Карамазовых»; и все нужное к его выполнению было также сделано теперь: в 1879 г. Достоевский ездил в знаменитую Оптину Пустынь, чтобы обновить свои воспоминания о монастырской жизни. В старце монастыря этого, отце Амвросие, нравственно-религиозный авторитет которого и до сих пор руководит жизнью тысяч людей, он, вероятно, нашел несколько драгоценных и живых черт для задуманного им *положительного* образа. Но первоначальный план подвергся некоторым изменениям и принял в себя много дополнений. Положительный образ старца, который Достоевский хотел вывести в своем романе, не мог стать центральным лицом в нем, как он первоначально думал это сделать: установившийся и неподвижный, этот образ мог быть очерчен, но его нельзя было ввести в движение передаваемых событий. Вот почему старец Зосима только показывается в «Братьях Карамазовых»: он благословляет на жизненный подвиг своего любимого послушника, Алешу Карамазова, и умирает. Вместо него, центральным лицом всего сложного произведения должен был стать этот последний. Нравственный образ Алеши в высшей

степени замечателен по той обрисовке, которая ему придана. Видеть в нем только повторение типа кн. Л. Н. Мышкина (герой «Идиота») было бы грубою ошибкой. Кн. Мышкин, так же как и Алеша, чистый и безупречный, чужд внутреннего движения, он лишен страстей вследствие своей болезненной природы, ни к чему не стремится, ничего не ищет осуществить; он только наблюдает жизнь, но не участвует в ней. Таким образом, пассивность есть его отличительная черта; напротив, натура Алеши прежде всего деятельна и одновременно с этим она также ясна и спокойна. Сомнения, даже чувственные страсти и способность к гневу — все есть в этом полном человеческом образе, и с тем вместе есть в нем какое-то глубокое понимание разностороннего в человеческой природе: он как-то близок, интимен со всяким человеком, с которым ему приходится вступать в сношения. Брат Иван и Ракитин, развращенный старик, его отец, и мальчик Коля Красоткин — одинаково доступны ему. Но, вникая в чужую внутреннюю жизнь, он внутри себя всегда остается тверд и самостоятелен. В нем есть неразрушимое ядро, от которого идут всепроницающие нити, способные завязаться, бороться и побеждать внутреннее содержание других людей. И между тем, этот человек, так уже сильный, является перед нами еще только отроком — образ удивительный, впервые показавшийся в нашей литературе. Нет сомнения, что оборванный конец (или, точнее, главная часть) «Братьев Карамазовых» унес от нас многие откровения человеческой души, что там были бы слова, действительно проясняющие путь жизни. Но этому не суждено было сбыться; в той части романа, которую мы имеем перед собой, Алеша только готовится к подвигу: он более выслушивает, чем говорит, изредка вставляет только замечания в речи других, иногда спрашивает, но больше молча наблюдает. Однако все эти черты, только обрисовывающие тип, но еще не высказывающие его, положены так тонко и верно, что и недоконченный образ уже светится перед нами настоящей жизнью. В нем мы уже предчувствуем нравственного реформатора, учителя и пророка, дыхание которого, однако, замерло в тот миг, когда уста уже готовы были раскрыться — явление единственное в литературе, и не только в нашей. Если бы мы захотели искать к нему аналогии, мы нашли бы ее не в литературе, но в живописи нашей. Это — фигура Иисуса в известной картине Иванова: также далекая, но уже идущая, пока незаметная среди других, ближе стоящих лиц, и, однако, уже центральная и господствующая над ними. Образ Алеши запомнится в нашей литературе, его имя уже произносится при встрече с тем или иным редким и отрадным явлением к жизни;

и, если суждено будет нам возродиться когда-нибудь к новому и лучшему, очень возможно, что он будет путеводною звездой этого возрождения.

Но если Алеша Карамазов только обрисован в романе, но не высказался в нем, то его брат, Иван, и обрисован и высказался («Легенда об инквизиторе»). Таким образом, вне предположений Достоевского, не успевшего окончить своего романа, эта фигура и стала центральной во всем его произведении, т. е. собственно она осталась таковою, потому что другой и его заслоняющей фигуре (Алеши) не пришлось выступить и, без сомнения, вступить в нравственную и идейную борьбу с своим старшим братом. Таким образом, «Братья Карамазовы» есть действительно еще не роман, в нем даже не началось действие: это только пролог к нему, без которого «последующее было бы непонятно». Но, судя по прологу, целое должно было стать таким мощным произведением, которому подобное трудно назвать во всемирной литературе: только Достоевский, способный совмещать в себе «обе бездны — бездну вверх и бездну вниз», мог написать не смешную пародию, но действительную и серьезную трагедию этой борьбы, которая уже тысячекратно раздирает человеческую душу, — борьбы между отрицанием жизни и ее утверждением, между растлением человеческой совести и ее просветлением. Он только, переживший эту борьбу и в чистом энтузиазме, с которым создавал «Бедных людей», и в шумном кружке Петрашевского, и в дебрях Сибири, среди каторжников, и в долгом уединении в Европе, мог сказать нам одинаково сильно и «pro» и «contra»^{*}; без лицемерия «pro» и без суетного тщеславия «contra».

По отношению к характерам, которые выведены в «Братьях Карамазовых», характеры его предыдущих романов можно рассматривать как предуготовительные: Иван Карамазов есть только последний и самый полный выразитель того типа, который, колеблясь то в одну, то в другую сторону уже и ранее рисовался перед нами то как Раскольников и Свидригайлов («Преступл. и наказ.»), то как Николай Ставрогин («Бесы»), отчасти как Версиков («Подросток»); Алеша Карамазов имеет свой прототип в кн. Мышкине («Идиот») и отчасти в лице, от имени которого ведется рассказ в романе «Униженные и оскорбленные»; отец их, «с профилем римского патриция времен упадка», рождающий детей и бросающий их, любитель потолковать о бытии Божиим «за коньячком», но главное — любитель надругаться над всем, что интимно и дорого человеку,

^{*} Это название носят две центральные книги в «Братьях Карамазовых».

есть завершение типа Свидригайлова и старого князя Вальковского («Униженные и оскорбленные»). Только Дмитрий Карамазов, нелепый и в основе все-таки благородный, смесь добра и зла, но не глубокого, является новым лицом; кажется, один капитан Лебядкин («Бесы»), вечно уторопленный и возбужденный, может еще хоть несколько, конечно извне только, напомнить его. Новым лицом является и четвертый брат, Смердяков, это незаконное порождение Федора Павловича и Лизаветы «смердящей», какой-то обрывок человеческого существа, духовное Квазимодо, синтез всего лакейского, что есть в человеческом уме и в человеческом сердце. Но эта повторяемость главных характеров не только не вредит достоинству «Братьев Карамазовых», но и возвышает их интерес: Достоевский есть прежде всего психолог, он не изображает нам быт, в котором мы ищем все нового и нового, но только душу человеческую с ее неуловимыми изгибами и переходами, и в них мы прежде всего следим за преемственностью, желаем знать, во что разрешается, чем заканчивается то или иное течение мыслей, тот или иной душевный строй. И с этой точки зрения, как завершающее произведение, «Братья Карамазовы» имеют неисчерпаемый интерес. Но чтобы понять его вполне, нужно сказать несколько слов о том общем смысле, который имеет деятельность Достоевского.

II

Известен взгляд, по которому вся наша новейшая литература исходит из Гоголя; было бы правильнее сказать, что она вся в своем целом явилась отрицанием Гоголя, борьбой против него. Она вытекает из него, если смотреть на дело с внешней стороны, сравнивать приемы художественного творчества, его формы и предметы. Так же как и Гоголь, весь ряд последующих писателей, Тургенев, Достоевский, Островский, Гончаров, Л. Толстой, имеют дело только с действительной жизнью, а не с созданною в воображении («Цыганы», «Мцыри»), с положениями, в которых мы все бываем, с отношениями, в которые мы все входим. Но если посмотреть на дело с внутренней стороны, если сравнить по содержанию творчество Гоголя с творчеством его мнимых преемников, то нельзя не увидеть между ними диаметральной противоположности. Правда, взор его и их был одинаково устремлен на жизнь: но то, что они увидели в ней и изобразили, не имеет ничего общего с тем, что видел и изображал он. Не составляет ли тонкое понимание внутренних движений человека самой резкой, постоянной и

отличительной черты всех новых наших писателей? За действиями, за положениями, за отношениями мы повсюду у них видим человеческую душу, как скрытого двигателя и творца всех видимых фактов. Ее волнения, ее страсти, ее падения и просветления — вот что составляет предмет их постоянного внимания. Оттого столько задумчивого в их созданиях; за это мы так любим их, и считаем постоянное чтение их произведений за средство лучшего очеловечивающего воспитания. Теперь если, сосредоточив как на главном на этой особенности свое внимание, мы обратимся к Гоголю, то почувствуем тотчас же страшный недостаток в его творчестве этой самой черты — *только ее одной и только у него одного*. Свое главное произведение он назвал «Мертвые души» и, вне всякого предвидения, выразил в этом названии великую тайну своего творчества и, конечно, себя самого. Он был гениальный живописец внешних форм, и изображению их, к чему одному был способен, придал каким-то волшебством такую жизненность, почти скульптурность, что никто не заметил, как за этими формами ничего в сущности не скрывается, нет никакой души, нет того, кто бы носил их. Пусть изображаемое им общество было дурно и низко, пусть оно заслуживало осмеяния: но разве уже не из людей оно состояло? Разве для него уже исчезли великие моменты смерти и рождения, общие для всего живого чувства любви и ненависти? И если, конечно — нет, то *чем же* эти фигуры, которые он вывел перед нами, как своих героев, могли отозваться на эти великие моменты, почувствовать эти общие страсти? Что было за одеждою, которую одну мы видим на них, такого, что могло бы хоть когда-нибудь по-человечески порадоваться, пожалеть, возненавидеть? И спрашивается, если они не были способны ни к любви, ни к глубокой ненависти, ни к страху, ни к достоинству, то для чего же в конце концов они трудились и приобретали, куда-то ездили и что-то переносили? Гоголь выводит однажды детей, — и эти дети уже такие же безобразные, как и их отцы, так же лишь смешные и осмеиваемые, как и они, фигуры. Раз или два он описывает, как пробуждается любовь в человеке, — и мы с изумлением видим, что единственное, что зажигает ее, есть простая физическая красота, красота женского тела для мужчины (Андрей Бульба и полячка), которая действует мгновенно и за первым мгновением о которой уже нечего рассказывать, нет всех тех чувств и слов, которые мы слышим в заунывных песнях нашего народа, в греческой антологии, в германских сказаниях, и повсюду на всей земле, где любят и страдают, а не наслаждаются только телом. Неужели же это был сон для всего человечества, который

разоблачил Гоголь, сорвав наконец грезы и показав действительность? И не правильнее ли думать, что не человечество грезило и он один видел правду, но, напротив, оно чувствовало и знало правду, которую и отразило в поэзии всех народов на протяжении тысячелетий, а он сам грезил и свои больные грезы рассказал нам, как действительность:

«И почему я должен пропасть червем? — говорит его герой в трудную минуту, оборвавшись в таможне. — И что я теперь? куда я похужу? Какими глазами я стану смотреть теперь в глаза всякому почтенному отцу семейства? Как не чувствовать мне угрызения совести, зная, что даром бремени землю? И что скажут потом мои дети? „Вот, — скажут, — отец — скотина: не оставил нам никакого состояния“».

«Уже известно, что Чичиков сильно заботился о своих потомках. Такой чувствительный предмет! Иной, может быть, и не так бы глубоко запустил руку, если бы не вопрос, который, неизвестно почему, приходит сам собою: а что скажут дети? И вот будущий родоначальник, как осторожный кот, покоса только одним глазом вбок, не глядит ли откуда хозяин, хватает поспешно все, что к нему поближе: мыло ли стоит, свечи ли, сало».

Какой ужас, какое отчаяние, и неужели это правда? Разве мы не видели на деревенских и городских погостах старух, которые сидят и плачут над могилами своих стариков, хотя они оставили их в рубище, в котором и сами жили? Разве, видя отходящим своего отца, *где-нибудь* дети подходят к матери и спрашивают: «Остаемся ли мы с состоянием»? Разве ложь и выдумка вся несравненная поэзия наших народных причитаний, нисколько не уступающая поэзии «Слова о полку Игоря»? Какие образы, какая душевная грусть, какие надежды и воспоминания! И каким тусклым, безжизненным взглядом нужно было взглянуть на действительность, чтобы просмотреть все это, не услышать этих звуков, не задуматься над этими рыданиями. Мертвым взглядом посмотрел Гоголь на жизнь, и мертвые души только увидал он в ней. Вовсе не отразил действительность он в своих произведениях, но только с изумительным мастерством нарисовал ряд карикатур на нее: от этого-то и запоминаются они так, как не могут запомниться никакие живые образы. Рассмотрите ряд лучших портретов с людей, действительных в жизни, одетых плотью и кровью, — и вы редкий из них запомните; взгляните на очень хорошую карикатуру, — и еще много времени спустя, даже проснувшись ночью, вы вспомните ее и рассмеетесь. В первых есть смешение черт различных, и добрых и злых наклонностей, и, пересекаясь

друг с другом, они взаимно смягчают одна другую,— ничего яркого и резкого не поражает вас в них; в карикатуре взята одна черта характера, и вся фигура отражает только ее — и гримасой лица, и неестественными конвульсиями тела. Она ложна и навеки запоминается. Таков и Гоголь.

И здесь лежит объяснение всей его личности и судьбы. Признавая его гений, мы с изумлением останавливаемся над ним, и когда спрашиваем себя: почему он так не похож на всех* , что делает его особенным, то невольно начинаем думать, что это особенное — не избыток в нем человеческого существа, не полнота сил сверх нормальных границ нашей природы, но, напротив, глубокой и страшный зиян в этой природе, недостаток того, что у всех есть, чего никто не лишен. Он был до такой степени уединен в своей душе, что не мог коснуться ею никакой иной души: и вот отчего так почувствовал всю скульптурность наружных форм, движений, обликов, положений. О нем, друге Пушкина, современнике Грановского и Белинского, о члене славянофильского кружка в лучшую, самую чистую пору его существования, рассказывают, что «он не мог найти положительного образа для своих созданий»; и мы сами слышим у него жгучие, слишком «зримые» слезы по чем-то неосуществимом, по каком-то будто бы «идеале». Не ошибка ли тут в слове, и, подставив нужное, не разгадаем ли мы всей его тайны? Не идеала не мог найти и выразить; он, великий художник форм, сгорел от бессильного желания вложить хоть в одну из них какую-нибудь живую душу. И когда не мог все-таки преодолеть неудержимой потребности,— чудовищные фантазмагии показались в его произведениях, противостоест-

* В «Выбранных местах из переписки с друзьями» можно, в сущности, найти все данные для определения внутреннего процесса его творчества. Вот одно из ясных и точных мест: «Я уже от многих *своих* недостатков избавился тем, что *передал* их своим *героям*, их осмел я в них и заставил других также над ними посмеяться... Тебе объяснится также и то, почему я не выставял до сих пор читателю явлений утешительных и не избирал в мои герои *добродетельных людей*. Их в голове не выдумашь. Пока не станешь сам сколько-нибудь на них *походить*, пока не добудешь постоянством и не *завоюешь* силою в душу несколько *добрых качеств*, — мертвечина будет все, что ни напишет перо твое» («Четыре письма к разным лицам по поводу „Мертвых душ“», письмо третье). Здесь довольно ясно выражен субъективный способ создания всех образов его произведений: они суть *выдавленные* наружу качества *своей* души, о срисовке их с чего-либо *внешнего* даже и не упоминается. Так же определяется и самый процесс создания: берется *единичный* недостаток, сущность которого хорошо известна из субъективной жизни, и на него пишется иллюстрация, или иллюстрация «с моралью». Ясно, что уже каждая черта этого образа отражает в себе по-своему этот только недостаток, ибо иной цели рисуемый образ и не имеет. Это и есть сущность карикатуры.

венная Улинька и какой-то грек Костанжогло, не похожие ни на сон, ни на действительность. И он сгорел в бессильной жажде прикоснуться к человеческой душе; что-то неясное говорят о его последних днях, о каком-то безумии, о страшных муках раскаяния, о посте и голодной смерти. Какой урок, прошедший в нашей истории, которого мы не поняли! Гениальный художник всю свою жизнь изображал человека и не мог изобразить его души. И он сказал нам, что этой души нет, и, рисуя мертвые фигуры, делал это с таким искусством, что мы в самом деле на несколько десятилетий поверили, что было целое поколение ходячих мертвецов, — и мы возненавидели это поколение, мы не пожалели о них всяких слов, которые в силах сказать человек только о бездушных существах. Но он, виновник этого обмана, понес кару, которая для нас еще в будущем. Он умер жертвою недостатка своей природы, — и образ аскета, жгущего свои сочинения, есть последний, который оставил он от всей странной, столь необыкновенной своей жизни. «Мне отмщение и Аз воздам» — как будто слышатся эти слова из-за треска камина, в который гениальный безумец бросает свою гениальную и преступную клевету на человеческую природу.

Что не сознается людьми, то иногда чувствуется ими с тем большею силою. Вся литература наша после Гоголя обратилась к проникновению в человеческое существо; — и не отсюда ли, из этой силы противодействия, вытекло то, что ни в какое время и ни у какого народа все тайники человеческой души не были так глубоко вскрыты, как это совершилось в последние десятилетия у всех нас на глазах? Нет ничего поразительнее той перемены, которую испытываешь, переходя от Гоголя к какому-нибудь из новых писателей: как будто от кладбища мертвецов переходишь в цветущий сад, где полно звуков и красок, сияния солнца и жизни природы. Мы впервые слышим человеческие голоса, видим гнев и радость на человеческих лицах, знаем, как смешны иногда они бывают: и все-таки любим их, потому что чувствуем, что они люди и, следовательно, братья нам. Вот в ряде маленьких рассказов Тургенева те же деревни, поля и дороги, по которым, может быть, проезжал и герой «Мертвых душ», и те же мелкие уездные города, где он заключал свои купчие крепости. Но как живет все это у него, дышит и шевелится, наслаждается и любит. Те же мужики пердят нами, но это уже не несколько идиотов, которые, чтобы разнять запутавшихся лошадей, неизвестно для чего взлезают на них и колотят их дубинами по спинам; мы видим дворовых и крепостных, но это не вечно пахнущий Петрушка и не Селифан, о котором мы знаем только, что он всегда бывал пьян. Какое

разнообразие характеров, угрюмых и светлых, исполненных практической заботы или тонкой поэзии. Всматриваясь в черты их, живые и индивидуальные, мы начинаем понимать свою историю, самих себя, всю окружающую жизнь,— что так широко разрослась из недр этого народа. Какой чудный детский мир разворачивается перед нами в грезах Обломова, в воспоминаниях Нечки Незвановой, в «Детстве и отрочестве», в сценах «Войны и мира», у заботливой Долли в «Анне Карениной»: и неужели все это менее действительность, чем Алкид и Фемистоклос, эти жалкие куклы, злая издевка над теми, над кем никто не издевался? А мысли Болконского на Аустерлицком поле, молитвы сестры его, тревоги Раскольникова, и весь этот сложный, разнообразный, уходящий в безграничную даль мир идей, характеров, положений, который раскрылся перед нами в последние десятилетия,— что скажем мы об нем в отношении к Гоголю? каким словом определим его историческое значение? Не скажем ли, что это есть раскрытие жизни, которая умерла в нем, восстановление достоинства в человеке, которое он у него отнял?

III

Достоевский прежде всех других заговорил о жизни, которая может биться под самыми душными формами, о человеческом достоинстве, которое сохраняется при самых невозможных условиях. В крошечном и прелестном рассказе «Честный вор» мы видим две фигуры, из тех, мимо которых ежедневно проходим, не замечая их. Бедный угол, простые речи, случай, какие слишком часты,— все это как луч из какого-то далекого мира падает на нашу душу: мы забываем на минуту свои мысли и желания и внимательно присматриваемся к этому лучу. Образы, которые мы знали раньше только снаружи, просвечивают перед нами, и мы видим сердце, которое в них бьется. Несколько минут прошло, луч снова исчез, мы опять возвращаемся к обычному течению своих идей, но что-то уже переменялось в них, что-то стало в них невозможно более и и что-то стало навсегда неизбежно: неизбежна — тревога за человеческое существо, как бы далеко оно ни отстояло от нас, невозможно — презрение к человеку, где бы мы его ни встретили. Среди всей мудрости, которую мы впитываем в себя, на всей высоте своих понятий, мы вдруг иногда останавливаемся и спрашиваем: так же ли чист наш внутренний мир, так же ли тепло в нас сердце, как в тех убогих и бедных людях, которых мы на минуту видели и навсегда запомнили? И слова апостола:

«Пусть языком твоим говорят ангелы, но если в словах твоих не будет любви, то они будут медью звенящей и кимвалом бряцающим» — становятся ясны для нас, как никогда; мы понимаем, что в них дано мерило добра и зла, с которым мы никогда не погибнем и которое приложимо к всякой мудрости.

Кто пробуждает в нас понимание, тот возбуждает в нас и любовь. Вслед за автором мы идем и спускаемся в тусклый мир человеческого существования, которое было до сих пор скрыто от нас, и вместе с ним рассматриваем живые существа, которые там копошатся. «Вы думали, что они перестали страдать, что они ничего более не чувствуют,— говорит она нам,— прислушайтесь к языку их, всмотритесь в их лица: разве вы сами умеете так чувствовать, разве в трудную минуту вы встречали в окружающих такое участие, каким они согревают друг друга в этом мраке и в этом холоде? И посмотрите, какая вера в них живет, как далеки они от слабых жалоб, как мало обвиняют и терпеливо несут свой крест. Вы думали, что они только трудятся и питаются, предоставив мысли и желание вам? Нет, в них живут все ваши страсти, и они понимают многое, что непонятно вам. Это — люди, совершенно такие же люди, как вы, многое сохранившие, что вы потеряли, и немного не успевшие приобрести, что вы приобрели. Вы видели их: теперь ступайте и, если можете, забудьте этот мир».

И когда вы в нерешительности останавливаетесь, он смотрит на вас пронизающим взглядом и продолжает: «Отчего вы не идете, что удерживает вас? Помните же то, что в вас пробудилось, и не забывайте никогда в ваших соображениях: *совесть* — она живет и во всех людях, и также в этих. Вы видите не руки, которые устали, не ноги, которым холодно, не желудки, которые пусты. Вы видите перед собой миллионы человеческих душ, и когда вздумаете, что их нужно только согреть, накормить и успокоить,— вспомните, как забыли вы теперь о сне и пище, которые вас ожидают. Я сказал все. Теперь идите и занимайтесь вашей философией или древностями. Я же останусь с ними, и если не сумею разделить их труд — разделю их горести и когда-нибудь, быть может, порадуюсь их радости».

Сквозь философские и исторические интересы, которые вновь вас окружают, сквозь блеск всего мира красоты, который приковывает вас в искусствах и литературе, вы с тех пор чувствуете иногда что-то тревожное, и вам припоминается странный человек, который однажды завел вас в мир, так не похожий на все, что вы знали, и остался там, сказав свои угрюмые слова. Силен ли он, и что он там делает, над чем пронеслись тысячелетия и улеглась наша цивилизация? В свободные минуты

вы берете томы его рассказов, чтобы внимательнее всмотреться в его лицо, попробовать силу его мышц и крепость его мысли.

Перед вами проходит ряд его повестей и рассказов. Сколько смешного и серьезного, подчас невозможно нелепого: точно человек, который, готовясь что-то сказать, предварительно брызгает слюною и издает невнятные звуки. Но вот речь устанавливается, вы забываете ненужное и вникаете в ее смысл. Какое богатство чувства, какое понимание всего, самого важного, что нужно понять человеку. Вот проходит перед нами грустная и смешная идиллия («Слабое сердце»), вот благоуханная поэзия «Белых ночей» и жгучая страстность неоконченной повести, с ее безумным музыкантом, бегущим по темным улицам города со своею малолетнею дочерью («Неточка Незванова»). А вот исполненный неподдельной веселости рассказ «Маленький герой»; мы справляемся и узнаем, что он был написан в крепости, за несколько недель до суда, приговора и, быть может, казни. «Да, этот человек серьезен,— думаем мы невольно,— ...что бы ни было в его внутреннем мире, этот мир крепок, если творческая работа продолжается в нем и перед зияющею могилой». Но самое любопытное — это то, что он возвращается не исключительно в том мире, где мы оставили его, он легко поднимается вверх, и только занимается здесь почти исключительно детским миром (княжна Катя в «Неточке Незвановой», дочь откупщика в «Елке и свадьбе»). Глядя на мир этот, светлый и невинный, он так же ясен и оживлен, как и там, среди убогих бедняков; и та же тревога за этот мир видна в нем, как за тех, забытых людьми, людей: как недоверчив и сумрачен делается его взгляд, когда подходят к этому играющему миру взрослые. Вот Юлиан Мастакович, рассчитывающий по пальцам лета девочки и проценты к капиталу, на нее положенному, цифру которого он случайно узнал на детском вечере:

«Триста, триста,— шепчет важный сановник,— ...11, 12... 16 — пять лет; положим по 4% на 100 — двенадцать, пять раз 12=60, да на эти 60... Да не по четыре же держит, мошенник, может, восемь аль десять берет»...

Счет прерывается; он на цыпочках подкрадывается к занятому куклой ребенку и целует его в голову:

«А что вы тут делаете, милое дитя»,— говорит он взволнованным шепотом.

Детский вечер кончается при оживленном удивлении гостей, с умилением смотрящих на приветливый разговор важного сановника с ребенком богатого откупщика. Глаза читателя закрываются и снова открываются через пять лет: пасмурный день (как всегда у Достоевского), приходская

церковь, прекрасная, едва расцветшая девушка и встречающий ее жених. Шепот в народе о богатстве невесты и хоть несколько постаревшие, но узнанные черты жениха объяснили рассказчику все, — и он вспомнил о детской елке пять лет назад, в морозную ночь, накануне нового года.

На этом же вечере, среди веселых детских фигурок, он отмечает загнанного мальчугана, сына гувернантки в хозяйском доме, с его мучительным желанием подойти и поиграть с другими детьми, которые от него сторонятся. Детский ум уже понимает различия положений, а детская натура влечет переступить через них. Он робок и заискивающ, — такой веселый вечер повторится не скоро, — и вот он жметяся к детям, затаивая обиды от них и угодливо льстит, лишь бы они его не отгоняли от себя. Вы чувствуете, что мишура и богатство — все это, как дымка, стоит в стороне; и взор автора неподвижно устремлен на то, что живет и движется под всем этим — на человеческую душу, ее первые страдания, начальные искажения.

«Но силен ли он?..» В несколько фантастическом очерке, сюжет и тон которого повторится потом в «Униженных и оскорбленных», рассказан случай встречи одного уединенного мечтателя с оставленною девушкой. Какие странные встречи, какие задумчивые и горячие признания и как крепко держат друг другу руку эти два одинокие и чистые существа. Во всей нашей литературе нельзя найти повести, столь же ушедшей куда-то глубоко-глубоко во внутренний мир человеческой души, откуда не слышно более людской жизни, не видно их шумной суеты. Только безлунные светлые ночи севера смотрят на них, да они сами смотрятся чистою совестью в чистую совесть друг друга. Но вот, какая-то тень мелькает мимо их, когда он говорит ей какие-то бессвязные речи, указывая на небо. Это была четвертая ночь, четвертая их встреча. Она жметяся к нему, рука ее дрожит. Знакомый голос, который она так любила, которому привыкла робко повиноваться, зовет ее: с криком бросается она к тому, о ком думала, что потеряла его навеки — к своему надтреснувшему счастью, с верой в пробуждение и возврат горячей любви. Мечтатель остается один; он возвращается домой. Как постарелым показалось ему все в его одиноком углу, — и он сам, и стены его комнаты, и соседний дом. В страстном и молящем письме она объясняет ему все, и просит не упрекать ее, и не забывать, — как и она сама сохранила о нем постоянную память. Письмо выпало у него из рук, и он закрыл лицо:

«Или луч солнца, внезапно выглянув из-за тучи, опять спрятался под дождевое облако, и все опять потускнело в глазах моих; или, может быть, передо мною мелькнула так непривет-

ливо и грустно вся перспектива моего будущего, и я увидел себя таким, как я теперь, ровно через пятнадцать лет, постаревшим, в той же комнате, так же одиноким и с тою же Матреной, которая нисколько не поумнела за все эти годы.

Но чтобы я помнил обиду мою, Настенька! Чтобы я нагнал темное облако на твое ясное, безмятежное счастье; чтоб я, горько упрекнув, нагнал тоску на твое сердце, уязвил его тайным угрызением и заставил его тоскливо биться в минуту блаженства; чтоб я измял хоть один из этих нежных цветов, которые ты вплела в свои черные кудри, когда пошла вместе с ним к алтарю... О, никогда, никогда! Да будет ясно твое небо, да будет светла и безмятежна милая улыбка твоя, да будешь ты благословенна хоть за минуту блаженства и счастья, которое дала другому, одинокому, благодарному сердцу».

Не правда ли, слова эти сотканы как будто из лунного света? В них то же спокойствие, то же самоограничение, та же готовность светиться только чужим счастьем.

И вдруг этот тон: «Я человек больной... Я злой человек. Непривлекательный я человек. Я думаю, что у меня болит печень» — слышится мутный рокот из подполья. Перевертываем несколько страниц: «Я убежден, что не только очень много сознания, но даже всякое сознание — болезнь. Я стою на том. Оставим и это на минуту. Скажите мне вот что: отчего так бывало, что как нарочно в те самые, — да, в те самые минуты, в которые я наиболее способен был сознать все тонкости «всего прекрасного и высокого», мне случалось уже не сознавать, а делать такие неприглядные деяния, которые хоть и все делают, но которые как нарочно приходились у меня именно тогда, когда я наиболее сознавал, что их совсем бы не надо делать? Чем более я сознавал о добре и о всем этом «прекрасном и высоком», тем глубже я и опускался в мою тину и тем способнее был совершенно завязнуть в ней». Перелистываем дальше: «Законный, непосредственный плод сознания — это инерция. Усиленно повторяю: все непосредственные люди и деятели потому и деятельны, что они тупы и ограничены. Как это объяснить? А вот как: они, вследствие своей ограниченности, ближайšie и второстепенные причины за первоначальные принимают; таким образом, скорее и легче других убеждаются, что непреложное основание своему делу нашли, — ну, и успокоиваются, а, ведь, это главное. Ведь, чтоб начать действовать, нужно быть совершенно успокоенным предварительно и чтоб сомнений уж никаких не оставалось. Ну, а как я, например, себя успокою? Где у меня первоначальные причины, на которые я упрусь, где основания? Откуда я их возьму? Я упражняюсь

в мышлении, а следственно, у меня всякая первоначальная причина тотчас же тащит за собой другую, еще первоначальнее, и т. д. в бесконечность. Такова именно сущность всякого сознания и мышления. Это уже опять, стало быть, законы природы».

Мелькают постыдные признания и гениальная диалектика, показываются золотые булавки, которые скучающая Клеопатра втыкает в груди своих невольниц, топчется «поэзия» известных стихов:

Когда из мрака заблужденья
Горячим словом убежденья
Я душу падшую извлек...

и на бессильно опустившемся теле девушки, возрожденной и потом истерзанной, выскакивает какая-то гнусная фигура, без имени и без образа, и кричит: «Я — человек».

Да, думаете вы, этот человек силен. Душа, в которой зародились столь различные звуки и образы, и все эти мысли,— способна побороться со всем, с чем человек в силах бороться. Он может быть не выслушан, может быть не понят: никакой пророк не обратит песок пустыни в чутких слушателей. Но на безбрежных равнинах истории не вечно же будет лежать песок,— и тогда жатва его придет.

Одновременно с этим писателем, который так привлекает нас, выступает группа других. Вот задумчивый сквозь сон Гончаров, с его артистической любовью к человеку, при ярком освещении солнца, среди безграничного мира Божия следит, не замечая ни этого солнца, ни этого мира, один уголок его, и медленно рисует свой узор. Вот суетный и слабый Тургенев, столь даровитый, так много думавший, вводит нас в чарующий мир своего слова, роняет мысли, так запоминающиеся, и выводит ряд образов, несколько бледных и, однако, всегда привлекательных. Наконец, вот и Толстой, для мощи которого, кажется, нет пределов, открывает необъятную панораму человеческой жизни всюду, где завершилась она в твердые формы. Мы колеблемся; погруженные в выполнение своей миссии, ни одним взглядом не отрываясь от нее, эти великие художники неотразимо влекут к себе всех. Сравнительно с созданиями их, как неправильно все то, что создает писатель, за которым мы хотели бы последовать: его образы нередко искажены, его речи недостает гармонии; это как будто хаос, к которому еще не приложены мера и число, или как будто уже смешались в нем все числа и меры. Особенно сильно наше колебание при взгляде на мир Толстого: здесь не одна невыразимая прелесть созданий влечет нас, тут есть нечто другое, более глубокое и

удерживающее. Для нас очевидно, что он прикоснулся к Элевзинским тайнам природы, и слушает глухие звуки, и всматривается в неясные тени, припав к Матери-земле, из которой растет все живое. Он старается уловить смысл всякого рождения и каждой смерти, в узком пределе которых заключено бедное существование человека. Но древние предания говорят нам, что и там, в настоящих Элевзиниях, для посвященных открывался смысл жизни и умирания только издали и в аллегорических образах. По-видимому, этим одним навсегда суждено ограничиться человеку.

Как ни привлекателен мир красоты, есть нечто еще более привлекательное, нежели он: это — падения человеческой души, странная дисгармония жизни, далеко заглушающая ее немногие стройные звуки. В формах этой дисгармонии проходят тысячелетние судьбы человечества. И если мы посмотрим на всемирную литературу, мы увидим, что ни чей взор в ней не был устремлен с таким проникновением на причины этой дисгармонии, как взор писателя, которого мы избираем. Оттого, среди всего хаоса его произведений, мы ни у кого не найдем такой цельности и полноты, есть что-то кощунственное в нем и вместе религиозное. Он не избирает ни одной картины в природе, чтобы любить ее и воссоздавать; его интересуют только швы, которыми стянуты все эти картины, он, как холодный аналитик, всматривается в них и хочет узнать, почему весь образ Божьего мира так искажен и неправилен. И с этим анализом он непостижимым образом соединил в себе чувство самой горячей любви ко всему страдающему. Как будто то искажение, которое проходит по лицу Божия мира, особенно глубоко прошло по нем самом, тронуло его внутренний мир, и, как никто другой, он ярко почувствовал и все страдание, которое «сущая тварь» несет в себе, и приблизился к пониманию его скрытой сущности. Отсюда вытекает глубокая субъективность его произведений и их страстность: он не извне зовет нас пойти и разделить с ним его интересы, которыми мы можем заняться наравне со всякими другими, его голос доходит до нас как будто издали, и когда мы приближаемся, мы видим одиозное и странное существо там, где никого другого нет, и оно говорит нам о нестерпимых мучениях человеческой природы, о совершенной невозможности выносить их и о необходимости найти какие-нибудь пути, чтобы из них выйти. Отсюда — болезненный тон всех его произведений, отсутствие в них внешней гармонии частей, и мир неутолимого страдания, который он открывает, переплетенный с мыслью о его непонятных причинах, о его непостижимых целях.

Это-то и сообщает его произведениям вековечный смысл, неумирающее значение. Было бы анахронизмом в настоящее время разбирать характеры, выведенные, напр., Тургеневым, хотя со времени их создания прошло немного лет: они ответили на интересы своей минуты, были поняты в свое время и теперь за ними осталась привлекательность исключительно художественная. Мы их любим, как живые образы, но нам уже нечего в них разгадывать. Совершенно обратное мы находим у Достоевского: тревога и сомнения, разлитые в его произведениях, есть наша тревога и сомнения, и таковыми останутся они для всякого времени. В эпохи, когда жизнь катится особенно легко или когда ее трудность не сознается, этот писатель может быть даже совсем забыт и нечитаем. Но всякий раз, когда в путях исторической жизни почувствуется что-либо неловкое, когда идущие по ним народы будут чем-либо потрясены или смущены, имя и образ писателя, так много думавшего об этих путях, пробудится с нисколько не утраченной силой.

Туда, куда зовет он — в мире искажения и страдания, к рассмотрению самых швов, которыми скреплена природа, можно пойти действительно, забыв и мир красоты, открываемый в искусствах и поэзии, и холодные сферы науки, слишком далекие от нашей бедной земли, которой забыть мы никак не можем. Ведь идти туда — значит удовлетворить глубочайшим потребностям своего сердца, которому как-то сродно страдание, оно имеет необъяснимый уклон к нему; и пойти с такой целью, — это значит ответить на главный запрос ума, который он снова и снова высказывает сквозь все, чем пытается развлечь его наука и философия.

IV

В 1863 г. Достоевский оставил на несколько дней Париж, в котором он проводил тогда свое время, чтоб посетить Лондон и его всемирную выставку. В несколько беспорядочной по виду, но, в сущности, глубоко связной и сосредоточенной статье, он передает о впечатлении, которое оставил в нем этот «день и ночь суетящийся и необъятный как море город», с визгом и завыванием его машин, с бегущими по крышам кварталов рельсами, с хаосом движений своих и мощью замыслов. «Отравленная Темза, воздух, пропитанный каменным углем, великолепные скверы и парки, и страшные углы города, как *Вайтchapель*, с его полуголым, диким и голодным населением» — все сложилось у него в цельную картину, части которой неразъединимы. Как и повсюду, мимо частных и бегущих

интересов, он задумывается над общим смыслом этой картины, ее вековечным значением: «Вы чувствуете страшную силу, которая соединила тут всех этих бесчисленных людей, пришедших со всего мира, в едино стадо; вы сознаете исполинскую мысль; вы чувствуете, что *тут что-то уже достигнуто, что тут победа, торжество...* Вам отчего-то становится страшно. *Уж не это ли, в самом деле, достигнутый идеал?* думаете вы; не конец ли тут? Не это ли уж в самом деле «*едино стадо*»... Дух ваш теснит: все это так торжественно, победно и гордо. Вы смотрите на эти сотни тысяч, на эти миллионы людей, *покорно текущих сюда со всего земного шара* — людей, пришедших с *одною мыслью*, тихо, упорно и молча толпящихся в этом колоссальном дворце (говорится о Хрустальном дворце выставки), и чувствуете, что *тут что-то окончательное совершилось, совершилось и закончилось. Это какая-то библейская картина, что-то о Вавилоне, какое-то пророчество из Апокалипсиса, воочию совершающееся.* Вы чувствуете, что много надо вековечного, духовного отпора и отрицания, чтоб не поддаться, не подчиниться впечатлению, не поклониться факту и не обоготворить Ваала, т. е. *не принять существующего за свой идеал.*»

Во всем, что открывается его наблюдению, он высматривает самостоятельно возникшее, и следовательно мощное, все же заимствованное, и следовательно слабое, он упускает. В Риме он хотел видеть папу, но в Лондоне он даже не взглянул на Собор св. Павла. Зато он посетил «шабаш белых негров», как называет он ночь с субботы на воскресенье в рабочих кварталах города: «Полмиллиона работников и работниц, с их детьми, разливаются как море и празднуют всю ночь, до пяти часов, *надеясь и напиваясь за всю неделю.* Все это несет сюда свои еженедельные экономии, *все наработанное тяжким трудом и проклятием...* Толстейшими пучками горит газ, ярко освещая улицы. *Точно бал устраивается для этих белых негров.* Народ толпится в отворенных тавернах и в улицах. Тут же едят и пьют. Пивные лавки разубраны как дворцы. Все пьяно, но без веселья, а мрачно, тяжело,— и все как-то странно молчаливо. Только иногда ругательства и кровавые потасовки нарушают эту подозрительную и грустно действующую на вас молчаливость. Все это поскорее торопится напиться до потери сознания... Жены не отстают от мужей и напиваются вместе с мужьями; дети бегают и ползают между ними». Он замечает, что в этой потере сознания есть что-то «систематическое, покорное, *поощряемое*». Своим обобщающим умом он стремится уловить скрытый смысл и этого факта, связать его с тем, что он видел днем и что так гордо своею законченностью, своим

совершенством: этот пот, этот угрюмый разврат, эта жажда забыться хоть на несколько часов в неделю, все это мерещится ему, как миллионы человеческих душ, *положенных в угол возводимой башни*, которая, правда, чуть не достигает до неба, но зато как страшно давит на землю! Для этих париев «долго еще не сбудется пророчество, долго не дадут им пальмовых ветвей и белых одежд, и долго еще будут они взывать к престолу Всевышнего: «Доколе, Господи!»

Библейские образы — это ведь только величайшее обобщение фактов, до какого могли додуматься история и философия; «пальмовые ветви и белые одежды» — это только жажда радости и света для миллионов задавленных существ, теперь — необходимых придатков к чудовищным машинам с совершенно ненужными остатками какого-то в себе сознания. Достоевский понимает факт во всей его целостности и полноте: он видит не ноги, которым холодно, не руки, которые устали; он видит человека, который раздавлен, и спрашивает: разве он не так же алчет и достоин духовной радости, как и все мы, которые не можем без нее жить?

Но это только задавленные существа, но еще не извращенные: образ Божий в них померк, но по крайней мере не искажен. Он посетил Гай-Маркет, квартал, где ночью толпятся тысячами публичные женщины. Ярко освещенные улицы, кофейни, разубранные зеркалами и золотом, где в одно и то же время «и сборища, и приюты; жутко входить в эту толпу. И так странно она составлена. Тут и старухи, тут и красавицы, перед которыми останавливаешься в изумлении. Во всем мире нет такого красивого типа женщин, как англичанки. Все это, не умещаясь на тротуарах, толпится на улицах, тесно, густо. Все это ждет добычи и бросается с бесстыдным цинизмом на первого встречного. Тут и блестящие дорогие одежды, и почти лохмотья, и резкое различие лет,— все вместе. В этой ужасной толпе толкается и пьяный бродяга, сюда же заходит и титулованный богач. Слышны ругательства, ссоры, зазыванье и тихий, призывный шепот еще робкой красавицы. И какая иногда красота!». Он описывает поразительной наружности молодую женщину, с задумчивым развитым лицом, которая пила джин; около нее сидел молодой человек, очевидно непривычный посетитель этого квартала. «Что-то затаенное было в ее прекрасном и немного гордом взгляде, что-то мыслящее и тоскующее. Она была, она не могла не быть выше всей этой толпы несчастных женщин своим развитием; иначе что же значит лицо человеческое». Видно было, что молодой человек отыскивал ее здесь или что это было условленное сви-

дание. Оба были задумчивы и грустны и говорили отрывками, часто умолкая; очевидно, что-то важное оставалось между ними недосказанным. Наконец он встал, заплатил за водку, пожал ей руку и пошел; она, с красными пятнами на бледном лице, затерялась в толпе промышляющих женщин. *«В Гай-Маркете я заметил матерей, которые приводят на промысел своих малолетних дочерей. Маленькие девочки, лет по двенадцати, хватают вас за руку и просят, чтобы вы шли за ними. Помню, раз я увидел одну девочку, лет шести не более, всю в лохмотьях, грязную, босую, испитую и избитую: просвечивавшее сквозь лохмотья тело ее было в синяках. Она пла как бы не помня себя, не торопясь никуда, бог знает зачем, шатаясь в толпе; может быть она была голодна. На нее никто не обращал внимания. Но что больше всего меня поразило,— она шла с видом такого горя, такого безвыходного отчаяния в лице, что видеть это маленькое создание, тоже несущее на себе столько проклятия и отчаяния, было даже как-то неестественно и ужасно больно. Она все качала своею всклокоченною головой из стороны в сторону, точно рассуждая о чем-то, раздвигала врозь свои маленькие руки, жестикулируя ими, и потом вдруг всплескивала их вместе и прижимала к своей голенькой груди. Я воротился и дал ей полшиллинга. Она взяла серебряную монету, потом дико, с боязливым изумлением посмотрела мне в глаза и вдруг бросилась бежать, точно боясь, что я отниму у нее деньги».*

И мы можем повторить: «Доколе, Господи!» Всемирная выставка, Хрустальный дворец, и там где-нибудь лекция знаменитого физика с блестящими опытами — стоит ли все это горя крошечного создания, бьющего себя худыми ручонками в грудь, и этих женщин, которые ведут малолетних дочерей отдать всякому, кто бросит за это монету. Скажут: «Так всегда было и даже хуже»; это уже говорят в оправдание и ссылаются на каннибальство диких народов, не желая вернуться к которому мы должны, будто бы, терпеть свое зло, специфический яд цивилизации. Но это неправда, и не всегда так было. У народа, жившего под заповедями Божиими, не было ни каннибальства, ни матерей, торгующих детьми: там были матери, собирающие колосья, нарочно оставленные на полях богатыми людьми. И этого не было бы у нас, *не смело бы быть*, если бы оставленные нам слова: «Ищите прежде царствия Божия и все остальное приложится вам» — мы не читали с конца, не применяли бы наоборот.

«Но когда проходит ночь и начинается день, тот же гордый и мрачный дух снова царственно проносится над исполинским

ородом. Он не тревожится тем, что было ночью, не тревожится и тем, что видит кругом себя днем. Ваал царит и даже не требует покорности, потому что в ней убежден. Вера его в себя безгранична; он *презрительно и спокойно, чтоб только отвязаться, подает организованную милостыню*. Он не прячет от себя диких, подозрительных и тревожных явлений жизни. Бедность, страдание, ропот и оупение массы его не тревожат нисколько».

Всем этим фактам, равно и тревоге по поводу их, можно дать следующую формулу: в нормальном процессе всякого развития *благоденствие самого развивающегося существа есть цель*; так, дерево растет, чтобы осуществлять полноту своих форм, — и то же можно сказать о всем другом. Из всех процессов, которые мы наблюдаем в природе, есть только один, в котором этот закон нарушен — это процесс истории. *Человек* есть развивающееся в нем, и, следовательно, он *есть цель*; но это лишь в идее, в иллюзии: *в действительности он есть средство, а цель — это учреждения, сложность общественных отношений, цвет наук и искусств, мощь промышленности и торговли*. Все это неудержимо растет, и никогда не придет на мысль бедному человеку хоть когда-нибудь не дать переступить через себя всему этому, не лечь перед торжествующею колесницею Ваала и не обрызгать колес ее кровью. И народы стелются перед нею; задавив миллионы у себя, колесница уже переходит в другие страны, к тем каннибалам, которые до сих пор наивно в одиночку пожирали друг друга и которых теперь, по-видимому, готовится зараз пожрать Европа.

С величайшей способностью к обобщению в Достоевском удивительным образом была соединена чуткая восприимчивость ко всему частному, индивидуальному. Поэтому он не только понял общий, главный смысл того, что совершается в истории, но и почувствовал нестерпимый его ужас, как будто сам переживая все то личное страдание, которое порождается нарушением главного закона развития. Тотчас за «Зимними заметками о летних впечатлениях» появились сумрачные «Записки из подполья», о которых уже упоминали мы выше.

Чтение их невольно вызывает мысль о необходимости у нас комментированных изданий, комментированных не со стороны формы и генезиса литературных произведений, как это уже есть, но со стороны их содержания и смысла, — для того, чтобы решить, наконец, вопрос: верна ли данная мысль, или она ложна и почему? и решить это совокупными усилиями, решить обстоятельно и строго, как это доступно только для науки. Например, «Записки из подполья» важны каждою своею

строкою, их невозможно почти свести к общим формулам; и вместе утверждения, которые в них высказаны, нельзя охватить без обсуждения никакому мыслящему человеку.

В литературе нашей никогда не появлялось писателя, идеалы которого были бы так совершенно отделены от текущей действительности. Удержать ее и лишь кое в чем исправить — эта мысль никогда не останавливала Достоевского даже на минуту. В силу обобщающего склада своего ума, он со всем интересом приник ко злу, которое скрывается в общем строе исторически возникшей жизни; отсюда его неприязнь и пренебрежение ко всякой надежде что-либо улучшить посредством частных изменений, отсюда вражда его к нашим партиям прогрессистов и западников. Созерцая лишь общее, он от действительности непосредственно переходил к предельному в идее, и первое, что находил здесь, это — надежду с помощью разума возвести здание человеческой жизни настолько совершенное, чтобы оно дало успокоение человеку, завершило историю и уничтожило страдание. Критика этой идеи проходит через все его сочинения, впервые же и притом с наибольшими подробностями она высказана была в «Записках из подполья».

Подпольный человек — это человек, ушедший в глубину себя, возненавидевший жизнь и злобно критикующий идеал рациональных утопистов на основании точного знания человеческой природы, которое он вынес из уединенного и продолжительного наблюдения над собой и над историей.

Общий смысл этой критики есть следующий: человек несет в себе, в скрытом состоянии, сложный мир задатков, ростков, еще не обнаруженных, — и обнаружение их составит его будущую историю столь же непреодолимо, как уже теперь действительно присутствие этих задатков в нем. Поэтому предопределение нашим разумом истории и венца ее всегда останется только набором слов, не имеющим никакого реального значения.

Между этими задатками, насколько они обнаружили уже в совершившейся истории, есть столько непостижимо странного, иррационального, что нельзя найти никакой разумной формулы для удовлетворения человеческой природы. *Счастье* не составит ли принципа для построения этой формулы: а разве человек не стремится иногда к *страданию*, разве есть наслаждения, за которые Гамлет отдал бы муки своего сознания? *Порядок* и планомерность не составят ли общих черт всякого окончательного устройства человеческих отношений: а, между тем, разве мы не любим иногда *хаос*, разрушение, беспорядок еще жаднее, чем правильность и созидание? Разве можно

найти человека, который делал бы в течение всей своей жизни только *хорошее* и *должное*, и разве не испытывает он, долго ограничивая себя этим, странного *утомления*, и не переходит, хоть на короткое время, к поэзии *безотчетных поступков*? Наконец, не исчезнет ли для человека всякое счастье, когда для него исчезнет ощущение *новизны*, все неожиданное, все прихотливо изменчивое, согласуя с чем теперь свой жизненный путь, он испытывает много огорчений, но и столько радостей? Однообразие *для всех* не противоречит ли коренному началу человеческой природы — *индивидуальности*, а *недвижность* будущего и «идеала» — его свободной воле, жажде *выбрать* то или иное по-своему, иногда вопреки внешнему, хотя бы и разумному, определению? А без свободы и без личности будет ли счастлив человек? Без всего этого, при вековом отсутствии новизны, не проснутся ли с неудержимой силой в человеке такие инстинкты, которые разобьют алмазность всякой формулы: и человек захочет страдания, разрушения, крови, всего, но не того же, к чему на вечность обрекла его формула; подобно тому, как слишком долго заключенный в светлой и теплой комнате изрежет руки о стекла и выйдет неодетый на холод, лишь бы только не оставаться еще среди престарелого? Разве не это ощущение душевного утомления кидало Сенеку в интриги и преступления? и разве не заставляло оно Клеопатру втыкать золотые булавки в груди черных невольниц, жадно смотря им в лицо, на эти дрожащие и улыбающиеся губы, в эти испуганные глаза? Наконец, *неподвижное* обладание достигнутым идеалом удовлетворит ли человека, для которого *желать, стремиться, достигать* — составляет непреодолимую потребность? И разве рассудочность исчерпывает, вообще, человеческую природу: а, очевидно, она одна может быть придана окончательной формуле самым ее творцом, разумом?

Человек в цельности своей природы есть существо иррациональное; поэтому как полное его объяснение недоступно для разума, так недостижимо для него — его удовлетворение. Как бы ни была упорна работа мысли, оно никогда не покроет всей действительности, будет отвечать мнимому человеку, а не действительному. В человеке скрыт *акт творчества*, и он-то именно привнес в него жизнь, наградил его страданиями и радостями, ни понять, ни переделать которых не дано разуму.

Иное, чем рациональное — есть мистическое. И недоступное для прикосновения и мощи науки — может быть еще достигнуто религиею. Отсюда развитие в Достоевском мистического и сосредоточение интереса его на религиозном, что мы все

наблюдаем во втором и главном периоде его деятельности, который открылся «Преступлением и наказанием».

У

Признают Достоевского глубочайшим аналитиком человеческой души. Таким он сделался вследствие того, что в ней увидел сосредоточение всех загадок, над которыми думает человек, и разрешение всех трудностей, преодолеть которые в истории до сих пор не дано было ему.

Мы назвали выше гр. Л. Толстого художником жизни в ее завершившихся формах, которые приобрели твердость; духовный мир человека в пределах этих форм исчерпан им с недосыгаемым совершенством; все малейшие движения сердца, все незаметные ростки мысли в формах установившейся жизни, установившегося духовного строя изображены в его произведениях с отчетливостью, которая не составляет ничего желать. Но два великие момента в исторически развивающейся жизни, зарождения и разложения, не тронуты им; моменты эти несомненно носят в себе нечто болезненное, часто заключают в себе неправильное и иногда преступное. От всего этого он как-то непреодолимо отвращается. Напротив, Достоевский к этому непреодолимо влечется: он восполняет гр. Толстого; в противоположность ему, он аналитик *неустановившегося* в человеческой жизни и в человеческом духе.

Его совершенная отдельность от текущей действительности, отсутствие каких-либо органических связей с нею, симпатий к ней, есть, конечно, главная причина того, что он исключительно останавливается на моментах зарождения и разложения. Полный ожиданий или сожалений, он вечно обращен был к будущему или давно прошедшему, но никогда к настоящему. Поэтому следить, как, разлагаясь — умирает настоящее или как, среди этого умирания — брезжит новая жизнь, всегда было для него высшим удовлетворением. В длинном ряду его романов, от «Преступления и наказания» и до «Братьев Карамазовых», мы видим установившиеся типы только мелькающими, почти издали; на первом плане движутся люди, не принадлежащие ни к какой определенной категории, встревоженные и ищущие, разрушающие или создающие.

От этого психический анализ его носит некоторые особенности: это есть анализ человеческой души *вообще*, в ее различных *состояниях, стадиях, переходах*, но не анализ индивидуальной, обособленной и завершившейся внутренней жизни (как

у графа Л. Н. Толстого). Не образы законченные, каждый со своим внутренним средоточием, движутся перед нами в его произведениях, но ряд теней чего-то одного: как будто различные трансформации, изгибы одного рождающегося или умирающего духовного существа. Поэтому размышление, а не созерцание есть главное, что возбуждают в нас выводимые им лица. Он вскрывает перед нами тайники человеческой совести, пожалуй, развязывает и вскрывает в пределах своих сил тот мистический узел, который есть средоточие иррациональной природы человека.

Но, во всяком случае, в порядке возникновения его интересов психический анализ был только вторичное и обусловленное; он и развивается, начиная лишь с «Преступления и наказания». Главным и все обуславливающим для него было: человеческое страдание и его связь с общим смыслом жизни. Именно оно является уже, но как образ только, в первом его произведении — «Бедные люди», и оно же обсуждается диалектически в последнем («Братья Карамазовы»).

Как выше уже замечено было, коренное зло истории заключается в неправильном соотношении в ней между целью и средствами: человеческая личность, признанная только средством, бросается к подножию возводимого здания цивилизации, и, конечно, никто не может определить, в каких размерах и до каких пор это может быть продолжаемо. Ею раздавлены уже всюду низшие классы, она готовится раздавить первобытные народности, и в воздухе носится иногда идея, что данное живущее поколение людей может быть пожертвовано для блага будущего, для неопределенного числа поколений грядущих. Что-то чудовищное совершается в истории, какой-то призрак охватил и извратил ее: для того, чего никто не видел, чего все ждут только, совершается нечто нестерпимое: человеческое существо, до сих пор вечное средство, бросается уже не единицами, но массами, целыми народами во имя какой-то общей далекой цели, которая еще не показала ни чему живому, о которой мы можем только гадать. И где конец этому, когда же появится человек *как цель*, которому принесено столько жертв — это остается никому не известным.

С мощною идеею этой, которая не высказывается, но совершается, управляя фактами, Достоевский и вступил в борьбу, также не столько сознавая ее отчетливо, сколько чувствуя, ощущая.

Критика возможности окончательного идеала была только первую половиною задачи, выполнение которой предстояло ему. Показав иррациональность человеческой природы и,

следовательно, *мнимость конечной цели**, он выступил на защиту не относительного, но абсолютного достоинства человеческой личности, — каждого данного индивидуума, который никогда и ни для чего не может быть только средством.

Сюда примкнул ряд его религиозных идей. Замечательным и счастливым было то совпадение, которое оказалось между результатом его беспристрастного анализа человеческой природы и между тем, что требовалось задачами его борьбы. Первое, показав иррациональность человеческого существа, обнаружило в нем присутствие чего-то мистического, без сомнения переданного ему в самом акте творчества. И это в высшей степени согласовалось с необходимостью взгляда на человека, как на нечто неизмеримо высшее, чем мы думали о нем, религиозное, священное, неприкосновенное. Как агрегат физиологических функций, между которыми одна есть сознание, человек есть, конечно, только средство, — по крайней мере всякий раз, когда такового требует иное и большее число подобных же физиологических агрегатов. Совершенно иное увидим мы в нем, признав его мистическое происхождение и мистическую природу: он носит отблеск Творца своего, в нем есть Лик Божий, не померкающий, не преклоняющийся, но драгоценный и оберегаемый.

Нужно заметить, что только в религии открывается значение человеческой личности. В праве личность есть только фикция, необходимый центр, к которому относятся договорные обязательства, имущественная принадлежность и пр.; значение ее не выяснено и не обосновано здесь, и если она определяется так или иначе, то подобное определение является первичным, произвольным: оно есть условие, на которое можно и не согласиться. Сама личность, в праве, — может служить предметом договора; и рабство вообще есть естественное последствие чистого, беспримесного юридического строя. В политической экономии личность совершенно исчезает: там есть только рабочая сила, к которой лицо есть совершенно ненужный придаток. Таким образом, путем знания, путем науки недостижимо восстановление личности в истории: мы можем ее уважать, но это не есть необходимость, мы можем ею и пренебрегать, — и это в особенности когда она дурна, порочна. Но уже самое введение этих условий подкашивает абсолютность личности: для греков дурны были все *варвары*, для римлян — все *не граждане*, для католиков — *еретики*, для гуманистов — все *обску-*

* Таким образом, «Записки из подполья» составляют первый, как бы краеугольный камень в литературной деятельности Достоевского, и мысли, здесь изложенные, образуют первую основную линию в его мирозерцании.

ранты, для людей 93-го года — все консерваторы. Этой обусловленности и с ней колебаниям, сомнениям кладет грань религия: личность всякая, которая жива, абсолютна как образ Божий и неприкосновенна.

Вот почему, что касается в частности до рабства, то при религии оно тем более усиливалось, чем слабее она или искаженнее становилась; напротив, при праве оно усиливалось с его последовательностью, чистотою, беспримесностью. В истории наиболее страшно оно было у римского народа, самого совершенного в понимании права: здесь рабов крошили на говядину, которую откармливали рыбу в прудах; наиболее же гуманно оно было у древних евреев, живших под строгою религиею: в юбилейные годы там все рабы должны были возвращаться на свободу, т. е. они были предметом временного пользования, но не владения в строгом смысле, не собственности.

В «Преступлении и наказании» впервые и наиболее обстоятельно* раскрыта Достоевским идея абсолютного значения личности. Среди безысходного страдания, при виде гибнущих и готовящихся погибнуть, возмущается целомудренная душа главного героя этого романа, и он решает переступить закон неприкосновенности человека. Гениальная диалектика подставлена под факт; он совершен. И тотчас же, как произошло это, началось мистическое взаимодействие между убившим, убитою и всеми окружающими людьми. Все, что совершается в душе Раскольникова, иррационально; он до конца не знает, почему ему нельзя было убить процентщицу. И с ним вместе и мы не понимаем умом, диалектически, состояний его совести, качеств его поступка. Но цельным существом своим мы совершенно ясно ощущаем необходимость всех последствий совершенного им факта. Едва разбил он отраженный Лик Божий, правда обезображенный его носителем,— и он почувствовал, как для него самого померк этот Лик и с ним вся природа. «Не старушонку я убил, себя я убил»,— говорит он в одном месте. Точно что-то переместилось в его душе, и с этим перемещением открылось все в новом виде и закрылось навеки то, что он знал прежде. Он почувствовал, что со всеми живыми, оставшимися по сю сторону преступления, у него уже нет ничего общего, соединяющего; и никогда этого не будет. Он переступил по другую сторону чего-то, ушел от всех людей,

* Таким образом, роман этот, в литературном отношении наиболее строгое, и, следовательно, лучшее произведение Достоевского, составляет второй краеугольный камень в развитии его мировоззрения. Идея, выраженная в этом романе, положительно, защищается, но в отрицательных формах, еще в «Бесах».

кажется — туда, где с ним одна убитая старушонка. Мистический узел его существа, который мы именуем условно «душою», точно соединен неощутимую связью с мистическим узлом другого существа, внешнюю форму которого он разбил. Кажется, все отношения между убившим и убитою кончены, — между тем они продолжают; кажется, все отношения между ним и окружающими людьми сохранены и лишь изменены несколько, — между тем они перерваны совершенно. Здесь, в этом анализе преступности, в обнаружении как бы покровов, скорлуп душевности, окружающих каждое «я» и то взаимодействующих, то переставших взаимодействовать, и разгадана глубочайшая тайна человеческой природы, раскрыт великий и священный закон о непереступаемости человеческого существа, его абсолютности. Насколько доступно это мистическое явление не столько объяснению, сколько простому обозначению словами, мы можем его выразить таким образом: то, что мы наблюдаем в человеке, его поступки, слова, желания, все, что о нем знают другие и он знает о себе, не исчерпывает полноты его существа; в нем есть еще иное сверх этого, и притом главное, чего никто не знает. Привязываться, любить в человеке мы должны это главное: поэтому-то и любим мы его иногда вопреки всему, что видим в нем; напротив, ненавидеть в человеке мы можем только внешнее и не главное, какое-то обезображение, которому он подверг себя. Но когда, смешивая то и другое, или, точнее, ничего не зная о существовании в человеке за его наружными проявлениями еще чего-то, мы разбиваем его образ — мы разбиваем целое, которого не подозревали. Мы вдруг касаемся главного, о чем не думали, и испытываем неожиданное, что не входило в наши соображения. Таким образом, только переступив личность человека, мы постигаем все ее значение: для нас открывается мистический и иррациональный смысл ее, но уже поздно. Сделав ненужным подобный опыт, обнаружив со всею убедительностью в гениальном изображении состояние преступной совести, Достоевский оказал великую историческую услугу.

Собственно, разрешением этих двух вопросов он заканчивал выполнение своей задачи, насколько она относилась к человеку, как существу страдающему и попранному. Но за ними поднимался теоретический интерес, и, следуя ему-то, он вступил в безбрежную область рассматривания того, что мы называли швами мироздания. Первый проблеск этого стремления мысли мы находим уже в «Преступлении и наказании».

В невыразимо тяжелой сцене между Раскольниковым и Соней, в душной комнате у этой последней, он ей сказал

о возможности для нее заражения и болезни и о необходимости тогда гибели родной семьи, для прокормления которой она отдала себя:

«— А копить нельзя? на черный день откладывать?— спросил он вдруг, останавливаясь перед ней.

— Нет,— прошептала Соня.

— Разумеется, нет. А *пробовали?*— прибавил он чуть не с насмешкой.

— Пробовала.

— И сорвалось! Ну, да, разумеется! Что и спрашивать! И опять пошел по комнате. Еще прошло с минуту.

— Не каждый день получаете-то?

Соня больше прежнего смутилась, и краска ударила ей в лицо.

— Нет,— прошептала она с мучительным усилием.

— С Полечкой (маленькая сестра ее) наверно то же самое будет,— сказал он вдруг.

— Нет! нет! Не может быть, нет!— как отчаянная, громко вскрикнула Соня, как будто ее вдруг ножом ранили,— Бог, Бог такого ужаса не допустит!..

— *Других допускает же!*

— Нет, нет! Ее Бог защитит, Бог!..— повторила она, не помня себя.

— Да, может, и *Бога-то совсем нет*,— с каким-то злорадством ответил Раскольников, засмеялся и посмотрел на нее. Лицо Сони вдруг страшно изменилось».

В том же романе между Раскольниковым и его alter ego, его второю и дурною половиной, Свидригайловым, происходит разговор на тему о привидениях и загробной жизни.

«— Я согласен,— говорит Свидригайлов,— что привидения являются только больным; но, ведь, это только доказывает, что привидения могут являться не иначе, как только больным, а не то, что их — *нет*, самих по себе. Привидения — это, так сказать, клочки и отрывки других миров, их начало. Здоровому человеку, разумеется, их незачем видеть, потому что здоровый человек есть наиболее земной человек, а стало быть должен жить одною здешнею жизнью, для полноты и для порядка. Ну, а чуть заболел, чуть нарушился нормальный земной порядок в организме, тотчас и начинает сказываться возможность другого мира, и чем больше болен, тем и соприкосновений с другим миром больше, так что, когда умрет совсем человек, то прямо и перейдет в другой мир. Я об этом давно рассуждал. Если в будущую жизнь верите, то и этому рассуждению можно поверить».

— Я не верю в будущую жизнь,— сказал Раскольников. Свидригайлов сидел в задумчивости.

— А что, если там одни пауки или что-нибудь в этом роде,— сказал он вдруг.

«Это помешанный»,— подумал Раскольников.

— Нам вот все представляется вечность, как идея, которую понять нельзя, что-то огромное, огромное! Да почему же непременно огромное? И вдруг, вместо всего этого, представьте себе, будет там одна комнатка, этак вроде деревенской бани; заокптелая, а по всем углам пауки — и вот и вся вечность. Мне, знаете, в этом роде иногда мерещится.

— И неужели, неужели вам ничего не представляется утешительнее и справедливее этого!— с болезненным чувством вскрикнул Раскольников (раньше он ничего не хотел говорить с Свидригайловым).

— Справедливее? А почему знать, *может быть это и есть справедливое*, и, знаете, я бы так непременно нарочно сделал,— отвечал Свидригайлов, неопределенно улыбаясь.

Каким-то холодом охватило Раскольникова при этом безобразном ответе».

Мы чувствуем душную атмосферу каких-то странных идей и чувств. Если в том же романе есть диалектика, оправдывающая преступление, и все-таки в целом своем душа несет кару за него, то здесь мы видим диалектику, которая восходит до признания «новых миров», а чувство в вопросах вечного воздаяния спускается до каких-то пауков. «Дрожащая тварь», как называется здесь раза два человек, ни мелочностью преступлений своих, ни своими бесполезными добродетелями не заслуживает ни больше этого, ни меньше.

Религиозный вопрос затем уже не исчезает в произведениях Достоевского: в каждом романе он касается его, но так, что мы живо чувствуем, как он только откладывает его до минуты, когда в силах будет сделать это без внешних помех, неторопливо и свободно. Наконец минута эта настала, и появились «Братья Карамазовы».

VI

Самый период времени, когда появился этот роман, был в высшей степени замечателен: шли последние годы прошлого царствования. Заговоры анархистов, колебания правительства, шумная и влиятельная пресса — все распространяло в обществе тревогу и ожидания. Борьба партий достигла высшего напряжения, но из них та, которая совпадала с двухвековым

направлением нашей истории — мы разумеем партию западников и приверженцев реформ — пользовалась неизмеримым преобладанием в литературе и в обществе. Собственно, что всем надеждам и уже почти требованиям этой партии суждено сбыться, — в этом слабо сомневались даже противники ее; и все, к чему еще усиливались эти последние, состояло в том, чтобы хоть на некоторое время задержать ее окончательное торжество.

В это-то время, почти один вслед за другим, выступили со своим окончательным словом три наиболее влиятельные писателя: Тургенев, гр. Л. Толстой и, последним, Достоевский. Каждый, кто только раскрыл бы эти произведения и даже не анализировал их, тотчас почувствовал бы, до чего сомнительна минута, в которую они появляются, как все неверно в обществе, настроением которого они вызваны.

Как и всегда, Тургенев в «Нови» ответил текущим стремлением времени и только смягчил их несколько и ограничил. Разносторонность и широта его образования, отсутствие перво-родной крепости и хоть невысказанное, но ясное безразличие ко всему, кроме искусства — все это заставило его и теперь, как прежде, попытаться войти в круг идей и стремлений, с которыми, очевидно, у него не было ничего родственного. Он, однажды высказавший, что в Венере Милосской есть нечто более несомненное и вечное, чем в принципах первой французской революции, на склоне лет своих, и вопреки всему, чему отдавал жизнь, захотел войти во вкусы людей, для которых весь мир красоты и искусства не заключал в себе никакой значительности и смысла. Но эта противоестественная попытка, как и можно было ожидать, вышла до того вымученною и жалкою, что все, для кого он был дорог своими прежними произведениями, не могли смотреть на нее иначе, как с чувством глубочайшей печали. Эту печаль, это сожаление о себе не мог не ощутить и сам творец, и она именно придала оживление и особый колорит его самым последним произведениям. Каждый, как человек, так и писатель, в дарах природы своей несет и горечь и сладость своей жизни. Тургеневу первому из наших писателей привелось снискать европейскую известность; и когда он достиг ее и уже не было времени стремиться еще к чему-нибудь, он вдруг увидел, что достиг чего-то самого малого: все же значительное и ценное от него ускользнуло.

Напротив, оба другие писатели, которые до тех пор несколько заслонялись Тургеневым, заговорили с силою, как никогда прежде, и голос их зазвучал противоречиво всему, чего хотело общество и что оно думало. И если нужно в истории искать

примера, где значение и влияние личности было бы несомненно и отчетливо видно, ясно, — то нельзя найти лучшего, как в последнем фазисе деятельности этих двух писателей. В самый разгар увлечения внешними реформами, в минуту безусловного отрицания всего внутреннего, религиозного, мистического в жизни и в человеке, они отвергли, как совершенно незначущее, все внешнее, — и обратились к внутреннему и религиозному. И общество, сперва удивленное и негодующее, но и очарованное их словом, вначале поодиночке и потом массами, точно поволоклось ими в противоположную сторону, чем куда шло; в жизни его совершился перелом, и мы стоим теперь на совершенно иных путях, нежели те, на каких стояли еще так недавно.

В «Анне Карениной» с недостижимым совершенством формы соединилось глубокое и строгое содержание. Более, нежели в «Войне и мире», над всеми группами выведенных лиц здесь господствует мысль художника, это теснее сжимает их и придает всему произведению больше единства и цельности. Группы и сцены менее широко разбрасываются, не так свободно живут, все устремляется как будто к одному невидимому центру, который впереди. Взамен эпического спокойствия, которое царит в «Войне и мире», придавая всем событиям, и лицам этого романа размеренную неторопливость, в «Анне Карениной» мы ощущаем присутствие чего-то встревоженного и ищущего. Это сообщает всему произведению лиризм. Оставляя «Войну и мир», читатель испытывает ясное удовлетворение; напротив, окончив «Анну Каренину», он чувствует себя встревоженным и смущенным. Ощущение горести, душевного ужаса, ненависти к жизни и жалости к судьбе человека — все это смешивается в нем, становится невыносимо; и, не имея силы бороться с собою, он ищет помощи у великого художника, который так возмутил его покой. И этот последний не заставил долго ожидать своего слова; «Анна Каренина» оказалась только великим прологом к учению, которое то прямо, то в аллегориях вот уже десять лет развивает ее автор. Переходя от сомнения к вере и из веры падая опять в сомнение, твердый только в отрицаниях и колеблющийся в утверждениях, он всем рядом своих последних трудов как бы олицетворяет ищущий разрешения скептицизм. «Что я верю в какого-то Бога, это я чувствую; но в *какого* Бога я верю — вот что темно для меня», — как будто говорит он всем смыслом своих последних трудов.

Резко отличаясь по форме, растянутый, эпизодический, роман Достоевского глубоко однороден с «Анной Карениной»

по духу, по заключенному в нем смыслу. Он также есть синтез душевного анализа, философских идей и борьбы религиозных стремлений с сомнением. Но задача взята в нем шире: в то время как там показано, как непреодолимо и страшно гибнет человек, раз сошедший с путей, не им предустановленных, здесь раскрыто таинственное зарождение новой жизни среди умирающей. Старик Карамазов — это как бы символ смерти и разложения, все стихии его духовной природы точно потеряли скрепляющий центр, и мы чувствуем трупный запах, который он распространяет собою. Нет более регулирующей нормы в нем, и все смрадное, что есть в человеческой душе, неудержимо полезло из него, грязня и пачкая все, к чему он ни прикасается. Никогда не появлялось в нашей литературе лица, для которого менее бы существовал какой-нибудь внешний или внутренний закон, нежели для этого человека: беззаконник, ругатель всякого закона, пачкающий всякую святость — вот его имя, его определение. Наше общество, идущее вперед без преданий, недоразвившееся ни до какой религии, ни до какого долга и, однако, думающее, что оно переросло уже всякую религию и всякий долг, широкое лишь вследствие внутренней расслабленности, — в основных чертах верно, хотя и слишком жестоко, символизировано в этом лице. Вскрыта главная его черта, отсутствие внутренней сдерживающей нормы, и, как следствие этого — обнаженная похоть на все, с наглой усмешкой в ответ каждому, кто встал бы перед ним с укором. Среди зловония этого разлагающегося трупа возрастает его порождение. Между всеми четырьмя сыновьями его можно найти внутреннее соотношение, которое подчинено закону противоположности. Смердяков, этот миазм, эта гниющая шелуха «павшего в землю и умершего зерна», есть как бы противоположный полюс чистого Алеши, который несет в себе новую жизнь, подобно тому, как свежий росток выносит из своей темной могилки на свет солнца жизнь и закон умершего материнского организма. Тайна возрождения всего умирающего прекрасно выражена в этом противополжении. Третий сын, Иван Федорович, сдержанный и замкнутый, представляет собою противоположность Димитрию, раскидывающемуся, болтливому, несущему в себе добрые стремления, но без какой-либо нормы, — тогда как эта норма в высочайшей степени сосредоточена в Иване. Как Димитрий тяготеет к Алеше, так у Ивана есть нечто связующее и общее со Смердяковым. Он «высоко ценит» Алешу, но, конечно, — как свою противоположность, и притом равносильную. Но с Димитрием у него нет ничего общего; все отношения этих двух братьев чисто внешние, и это важнее, чем то, что они в конце

становятся даже враждебными. Напротив, со Смердяковым у Ивана есть что-то родственное: они с полуслова, с намека понимают один другого, заговаривают так, как будто и в молчании между ними не прерывалось общение. Их связь, таким образом, несомненна, как и связь Алеши с Димитрием. И как в Алеше выделилась в очищенном виде мощь утверждения и жизни, так и в Иване в очищенном же виде сосредоточилась мощь отрицания и смерти, мощь зла. Смердяков есть только шелуха его, гниющий отбросок, и, конечно, зло, лежащее в человеческой природе, не настолько мало, чтобы выразиться только в уродстве. В нем есть сила, есть обаяние, и они сосредоточены в Иване. Димитрию суждено возродиться к жизни; через страдание он очистится; он, уже только готовясь принять его, ощутил в себе «нового человека» и готовится там, в холодной Сибири, из рудников, из-под земли, запеть «гимн Богу». Вместе с очищением, в нем пробуждается сила жизни: «В тысяче мук — я *есмь*, в корче мучусь — но *есмь*», — говорит он накануне суда, который, он чувствовал, окончится для него обвинением. В этой жажде бытия и в неутолимой же жажде стать достойным его хотя бы через страдание опять угадана Достоевским глубочайшая черта истории, самая существенная, быть может центральная. Едва ли не в ней одной еще сохранился в человеке перевес добра над злом, в которое он так страшно погружен, которым является каждый единичный его поступок, всякая его мысль. Но под ними, под всею грязью, в тине которой ползет человек целые тысячелетия, неутолимая жажда все-таки ползти и когда-нибудь увидеть же свет — высоко поднимает человека над всею природою, есть залог неокончательной его гибели среди всякого страдания, каких бы то ни было бедствий. Здесь и лежит объяснение того, почему с таким содроганием мы отворачиваем лицо свое при виде самоубийства, отчего оно кажется нам сумрачнее даже убийства, нарушает какой-то еще высший закон, — и религия осуждает его как преступление, которого нельзя искупить. С рациональной точки зрения мы должны бы относиться к нему индифферентно, предоставляя каждому решать, лучше ли ему жить или не жить. Но общий и высший закон, конечно мистического происхождения, принудительно заставляет нас всех — *жить*, требует этого как *долга*, бремени которого мы не можем сложить с себя. Если Димитрий Карамазов, порочный и несчастный, возрождается к жизни вследствие того, что в основе его все-таки лежит добро, — то Иван, которому извне открывается широкий путь жизни, несмотря на высокое развитие, несмотря на сильный характер, все-таки стоит при начале того уклона, по которому скользнул

и умер Смердяков. Мощный носитель отрицания и зла, он долго и сильно будет бороться со смертью, этим естественным выводом из отрицания; и все-таки вечные законы природы преодолют его мощь, силы его утомятся, и он умрет так же, как умер Смердяков.

Поразительны последние дни этого четвертого брата, переданные в первом, втором и третьем свиданиях с ним Ивана. Мы и здесь, как в «Преступлении и наказании», каким-то особым приемом, тайна которого была известна только Достоевскому, опять погружаемся в особую психическую атмосферу, удушающую, темную, — и, еще ничего не видя, еще не дойдя до самого факта, испытываем мистический ужас от приближения к какому-то нарушению законов природы, к чему-то преступному; и уже содрогаемся от ожидания. Эта ненависть, с которой он смотрит теперь на Ивана, внушившего ему, что «все позволено»; эта книга «Иже во святых отца нашего Исаака Сирина», сменившая под его подушкой французские вокабулы, и какие-то припадки исступления, о которых передает встревоженная хозяйка, хотя мы сами не замечаем в нем ничего особенного; наконец, эта пачка бумажек, которую он тащит у себя из-под чулка, а Иван дрожит, еще не зная — отчего, и пьется к стене; и самый рассказ о том, как совершилось убийство, с этою беспричинною боязнью жертвы к своему убийце, к своему незаконному сыну и доверенному лакею, к малосильному трусу и идиоту — все это поразительно, тягостно до последней степени и еще раз вводит нас в мир преступности. Замечательно, что как закон природы, нарушенный здесь, выше, чем тот, который нарушен в «Преступлении и наказании», так и атмосфера, окружающая преступника, как-то еще удушливее и теснее, нежели та, которую мы ощущаем около Раскольникова. Вот почему последний не наложил на себя рук; ему еще было чем жить, и, через несколько лет искупления, он вышел же из своей атмосферы к свету и солнцу. Смердякову нечем было жить; и, хотя и для него может быть было где-нибудь солнце и свет, но совершенно ясно, что он не мог дойти до них и упал при первых же шагах задушенный. Последнее его прощание с Иваном, отдача ему денег, из-за которых совершилось убийство, слова о Провидении — все это вводит нас в душу человека в последние часы перед самоубийством: тайна, еще никем не изображенная, никому из живых не переданная.

Здесь нам хотелось бы сказать несколько слов о характере припадков двух братьев, одного отцеубийцы и другого, замешанного в отцеубийстве. Последний, как известно, жалуется-

ся на посещение его бесом, «дрянным, мелким бесом»; первый говорит о Провидении, о посещающем его Боге. Ранее оба были атеистами, и притом довольно убежденными. Вчитываясь в рассказ Достоевского, не трудно заметить, что именно галлюцинации составляют *главную* муку Ивана Федоровича. Вспомним, как он говорит Алеше: «Это он тебе сказал»; как оживляется всякий раз, когда неясные слова собеседника дают повод думать, что говорящий также знает о возможности появления беса («кто он, кто находится, кто третий», — испуганно спрашивает он Смердякова); наконец, вспомним ледяной холод, который вдруг прилип к его сердцу, когда он подошел к своему дому после третьего свидания со Смердяковым, с мыслью, что вот уже там его дожидается «посетитель», и — почти плачущий тон его жалоб после галлюцинации: «Нет, он знает, чем меня мучить... он зверски хитер»... «Алеша, кто смеет предлагать мне такие вопросы... Это он тебя испугался, чистого херувима», и пр. Если мы вспомним холодный и суровый тон этого атеиста, его действительно мощную натуру, то это превращение сильного человека в жалующегося ребенка, в плачущую женщину всего яснее может дать нам понять о степени мучительности его галлюцинаций. «Завтра крест, но не виселица», — решает он, готовясь рассказать все на суде после той же галлюцинации. По аналогии, мы должны допустить, что предмет главного мучения и для Смердякова составляло нечто подобное. Собственно раскаяние и воспоминание об убийстве должно бы быть сильнее в первые дни после него, и, между тем, Смердяков в это время еще совершенно спокоен; болезнь и иступление начались несколько недель спустя; и они так же, как у Ивана Федоровича, не непрерывны, но происходят время от времени. Разница только в том, что «третий этот», в присутствии которого он уверен даже при посетителе — есть Бог, «самое это Провидение-с», хотя и говорит он тут же, как о чем-то не относящемся к предмету, на вопрос Ивана о Боге: «Нет, не уверовал-с». Очевидно, то, о чем они беседовали в свое время и что порешили, было нечто совершенно другое, нежели оказавшееся, когда закон природы был ими нарушен. Поэтому, ощутив один то, что он называет «бесом», а другой то, что он называет «Провидением», они ощутили нечто совершенно неожиданное; все же прежние слова их о загробном существовании и о Боге оказались ни к чему не относящимися. Продолжая аналогию с Иваном, мы должны думать, что именно ужас ожидания «посещения» и приводил Смердякова в иступленное смятение, он и привел его к самоубийству. Как и всегда человек, он скользнул по уклону меньшего страдания. Перенести физиче-

скую боль удушения, очевидно, было для него легче, нежели еще раз почувствовать ледяное прикосновение мучающего его призрака.

Припадки Смердякова, очевидно более тяжелые, нам не описаны, и сделано только подробное описание припадка Ивана Федоровича. Есть известие, что, когда печатались «Братья Карамазовы», один доктор-психиатр написал Достоевскому письмо, в котором удивляется глубокому соответствию его художественного описания с тем, что открывается в припадках для объективного наблюдения; последнее, конечно, не знает внутреннего содержания галлюцинаций, которое именно дается у Достоевского. Этот последний обставляет свое описание несколько насмешливым тоном, но, вчитываясь в весь ряд его сочинений, мы видим, как постоянно он обставляет в начале и конце легкую иронию и свои любимые идеи* — по крайней мере делал это всякий раз, когда ожидал, что они могут подвергнуться насмешке. Он не хотел, очевидно, слишком восстанав-лять против себя читающую массу,— но и оставить невысказанным то или другое ему тоже было трудно. Иван Федорович во все время галлюцинации не верит ее объективности, т. е. не верит, пока болен; и, напротив, ее реальности он верит все время, как здоров, когда уже более ее не испытывает; и даже ее только боится, об ней одной думает. Слишком уже серьезные слова больного именно в здоровом-то его состоянии, и слишком упорно сосредоточен делается автор, как только подходит к ним. Все это заставляет нас видеть двойственное и скрытое в Достоевском, когда он передает «кошмар Ивана Федоровича»: едва ли он хотел нам дать только описание галлюцинации, чуть ли под насмешливым тоном у него не скрыто действительное убеждение;— и весьма тонкое соображение Свидригайлова (см. выше) о возможности «иных миров, клочки которых открываются человеку в болезненном состоянии», едва ли не есть мысль самого Достоевского. По крайней мере вот слова, которые он влагает старцу Зосиме, уже без всякой иронии:

«Многое на земле от нас скрыто, но взамен того даровано нам тайное сокровенное ощущение живой связи нашей с миром иным, с миром горним и высоким, *да и корни наших мыслей и чувств не здесь, а в мирах иных.* Вот почему и сущности вещей нельзя постичь на земле. *Бог взял семена из миров иных*

* Такова, напр., в «Братьях Карамазовых» речь прокурора на суде, которая вся ведется в тоне, иронизирующем над прокурором; и, однако, многие из мыслей этой речи содержат повторение мыслей, высказанных Достоевским от своего имени в «Дневнике писателя».

и посеял на сей земле и взрастил сад Свой, и возшло все, что могло взойти, но возвращенное живет и живо лишь чувством соприкосновения своего с таинственным миром иным; если ослабевает или уничтожается в тебе сие чувство, то умирает и возвращенное в тебе. Тогда станешь к жизни равнодушен и даже возненавидишь ее».

Удивительны слова эти и по глубине заключенной в них мысли, и по красоте образов, кажется очень близко соответствующих скрытой действительности вещей, и по силе убежденности. Это уже во второй раз* наша художественная литература, так неизмеримо опередившая вялое движение наших наук, поднимается на высоту созерцаний, на которой удерживался только Платон и немногие другие. В том, что ощущает преступник, Достоевский несомненно видел прикосновение к «мирам иным», вдруг становящееся отчетливым, ощутимым, тогда как для всех других людей, не переступивших законов природы, оно есть, но не сознается, оно вполне неощутимо и безотчетно.

Что Достоевский был далек от какой-нибудь грубой ошибки, и что мы также не впадаем в нее, вскрывая его невысказанную мысль, в этом нас убеждает решение, которое мы должны дать на два вопроса, невольно возникающие при чтении как «Преступления и наказания», так и при описании свиданий отцеубийц в «Братьях Карамазовых»: отчего мы так понимаем верность изображенного душевного состояния преступников, хотя сами не испытали его? и отчего, совершив преступление и, следовательно, вдруг упав среди окружающих людей на всю его высоту, преступник в каком-то одном отношении, напротив, поднимается над ними всеми? Смердяков, дрожащее насекомое перед Иваном до преступления,— совершив его, говорит с ним, как власть имеющий, как господствующий. Сам Иван изумляется этому и произносит: «Ты серьезен, ты умнее, чем я думал». Раскольников, только primus inter pares** между другими людьми перед преступлением, положительно выходит из их уровня после него; один Свидригайлов, тоже убийца, говорит с ним, как равносильный, насмешливо указывая, что у них есть «какая-то общая точка соприкосновения». Все это требует объяснения, и мы выскажем то, которое нам кажется вероятным. Если для нас, никогда не совершавших убийства, душевное состояние преступника понятно и, читая

* Разумею известное стихотворение Лермонтова «По небу полуночи ангел летел» и пр.

** Первый среди равных (лат.).

Достоевского, мы удивляемся не прихотливости его фантазии, но искусству и глубине его анализа, то не совершенно ли ясно, что у нас есть какое-то средство оценки, имея которое мы произносим свой суд над правдоподобием в изображении того, что должно бы быть для нас совершенно неизвестным. Не очевидно ли, что таким средством может быть только уже предварительное знание этого самого состояния, хотя в нем мы и не даем себе отчета; но вот другой изображает нам еще не испытанные нами ощущения, — и в ответ тому, что говорит он, в нас пробуждается знание, дотоле скрытое. И только потому, что это пробуждающееся знание сливается, совпадая, с тем, которое дается нам извне, мы заключаем о правдоподобии, об истинности этого последнего. В случае несовпадения мы сказали бы, что оно ложно, — сказали бы о том, о чем, по-видимому, у нас не может быть никакой мысли, никакого представления. Этот странный факт вскрывает перед нами глубочайшую тайну нашей души — ее сложность: она состоит не из одного того, что в ней отчетливо наблюдается (напр., наш ум состоит не из одних сведений, мыслей, представлений, которые он сознает); в ней есть многое, чего мы и не подозреваем в себе, но оно ощутимо начинает действовать только в некоторые моменты, очень исключительные. И, большею частью, мы до самой смерти не знаем истинного содержания своей души; не знаем и истинного образа того мира, среди которого живем, так как он изменяется соответственно той мысли или тому чувству, какие к нему мы прилагаем. С преступлением вскрывается один из этих темных родников наших идей и ощущений, и тотчас вскрываются перед нами духовные нити, связывающие мироздание и все живое в нем. Знание этого-то именно, что еще закрыто для всех других людей, и возвышает в некотором смысле преступника над этими последними. Законы жизни и смерти становятся ощутимыми для него, как только, переступив через них, он неожиданно чувствует, что в одном месте перервал одну из таких нитей, и, перервав — как-то странно сам погиб. То, что губит его, что можно ощущать, только нарушая, — и есть в своем роде «иной мир, с которым он соприкасается»; мы же только предчувствуем его, угадываем каким-то темным знанием.

Мы сказали, что в «Братьях Карамазовых» великий аналитик человеческой души представил нам возрождение новой жизни из умирающей старой. По необъяснимым, таинственным законам, природа вся подлежит таким возрождениям; и главное, что мы находим в них — это неотделимость жизни от смерти, невозможность осуществиться для первой вполне,

если не осуществилась вторая. Здесь и находит свое объяснение эпиграф, взятый Достоевским для своего последнего произведения: «Истинно, истинно говорю вам: если пшеничное зерно, падши на землю, не умрет, то останется одно; а если умрет, то принесет много плода» (Ев. от Иоанна, XII, 24). Падение, смерть, разложение — это только залог новой и лучшей жизни. Так должны мы смотреть на историю; к этому взгляду должны приучаться, смотря и на элементы разложения в окружающей нас жизни: он один может спасти нас от отчаяния и исполнить самой крепкой веры в минуты, когда уже настает, кажется, конец для всякой веры. Он один соответствует действительным и мощным силам, направляющим поток времен, а не слабо мерцающий свет нашего ума, не наши страхи и заботы, которыми мы наполняем историю, но несколько не руководим ею.

Но широко задуманная Достоевским картина осталась недорисованною. С пониманием мрака, хаоса, разрушения без сомнения связано было в душе самого художника некоторое отсутствие гармонии, стройности, последовательности. Собственно, в «Братьях Карамазовых» изображено только, как умирает старое; а то, что возрождается, хотя и очерчено, но сжато и *извне*; и как именно происходит самое возрождение — эта тайна унесена Достоевским в могилу. Судя по заключительной странице «Преступления и наказания», он всю жизнь готовился к этому изображению, и оно должно было, наконец, появиться в последующих томах «Братьев Карамазовых»; но, за смертью автора, этому не суждено было сбыться. Важнейшую задачу своей жизни он только наметил, но не выполнил.

Но то, что стояло в преддверии к ней, выполнено им с широтою замысла и с глубиною понимания, которые не имеют себе ничего подобного как в нашей литературе, так и в других. Мы разумеем «Легенду о Великом Инквизиторе». Уже выше замечено было, что, умирая, всякая жизнь, представляющая собою соединение добра и зла, выделяет в себе, в чистом виде, как добро, так и зло. Именно последнее, которому, конечно, предстоит погибнуть, но не ранее как после упорной борьбы с добром, — выражено с беспремерною силою в «Легенде».

VII

В маленьком трактире, за перегородкою, впервые сходятся два брата: Алеша, мечтательный и религиозный юноша, любимый послушник старца Зосимы, так спокойно свернувший с обычной жизненной колеи на путь монастырского уединения,

и старший его годами и опытностью Иван. Из всех четырех братьев только они были единоутробные, Дмитрий же и Смердяков были им братьями лишь по отцу. Уже четыре месяца прошло, как они встретились, впервые после долгой разлуки, — и вот только теперь, накануне новой разлуки, быть может навсегда, они сходятся и говорят с глазу на глаз. В течение этих месяцев Алеша с любопытством рассматривал своего брата, об убеждениях и высоком образовании которого он знал; и, в свою очередь, подмечал на себе иногда его долгие взгляды. Они молчали друг с другом, и, однако, только друг с другом им было о чем высказаться, тогда как с прочими они говорили или безучастно, или подчиняясь (Алеша с Зосимою), или господствуя (Иван с Миусовым). Их соединяла некоторая исходная точка; и хотя именно начиная от нее они разошлись в противоположные стороны и потом уже не соприкасались ни в чем, однако сближение в ней одной было значительнее, жизненнее, чем сближение боковыми ветвями или вершинами своего духовного развития, которое одно было у них со всеми окружающими. Это хорошо выражено в следующем вступительном эпизоде их беседы:

«— Ты что беспокоишься, что я уезжаю, — говорит Иван Алеше. — У нас с тобой еще Бог знает сколько времени до отъезда. Целая вечность времени, бессмертие!

— Если ты завтра уезжаешь, то какая же вечность?

— Да нас с тобой чем это касается? — засмеялся Иван. — Ведь, *свое-то мы успеem все-таки переговорить*, свое-то, для чего мы пришли сюда? Чего ты глядишь с удивлением? Отвечай: мы для чего здесь сошлись? Чтобы говорить о старике и о Дмитрии? о загранице? о роковом положении России? об императоре Наполеоне? Так ли, для этого ли?

— Нет, не для этого.

— Сам понимаешь, значит, для чего. Другим одно, а нам, желторотым, — другое; *нам прежде всего надо предвечные вопросы решить*. Вся молодая Россия только лишь о вековых вопросах теперь и толкует. Именно теперь, как старики все полезли вдруг практическими вопросами заниматься. Ты из-за чего все три месяца глядел на меня в ожидании? Что-бы допросить меня: «Какое веруеши или вовсе не веруеши»?..

— Пожалуй что и так, — улыбнулся Алеша. — Ты, ведь, не смеешься теперь надо мною, брат?

— Я-то смеюсь? Не захочу я огорчить моего братишку, который три месяца глядел на меня в ожидании. Алеша, взгляни прямо: я ведь и сам точь-в-точь такой же маленький мальчик, как и ты, разве только вот не послушник. Ведь рус-

ские мальчишки как до сих пор орудуют,— иные то есть? Вот, например, здешний вонючий трактор, вот они и сходятся, засели в угол. Всю жизнь прежде не знали друг друга, а выйдут из трактора — сорок лет опять не будут знать друг друга: ну и что ж, о чем они будут рассуждать, пока поймали минутку в тракторе-то? О мировых вопросах, не иначе: есть ли Бог, есть ли бессмертие? А которые в Бога не веруют, ну, те о социализме и об анархизме заговорят, о переделке всего человечества по новому штату,— так, ведь, это один же черт выйдет, все те же вопросы, только с другого конца. И множество, множество самых оригинальных мальчишек только и делают, что о вековых вопросах говорят у нас в наше время. Разве не так?

— Да, настоящим русским вопросы о том: есть ли Бог и есть ли бессмертие, или, как вот ты говоришь, вопросы с другого конца — конечно, первые вопросы и прежде всего, да так и надо,— проговорил Алеша, все с тою же тихой и испытующею улыбкой вглядываясь в брата.

На этом-то «так и надо» и сошлись братья.— Приведенное место навсегда останется историческим, и, кажется, действительно было время, когда люди сходились и расходились на «вековых вопросах», роднясь на интересе к ним ближе, нежели даже на узах родства, не говоря уже об общности положения или состояния. Счастливое время и счастливые люди: от них далеко было нравственное растрепанье. Но, кажется, все это минуло, и быть может довольно прочно. Как это сделалось, что самое интересное очень скоро стало у нас самым неинтересным — об этом произнесет свой суд будущая история. Несомненно только, что умственный индифферентизм, равнодушие ко всяким вопросам никогда еще не было так беззащитно, как в подрастающих на смену нам поколениях.

Чувствуя общность в главном, братья уже не стесняются друг друга в остальном, и Иван высказывает перед послушником Алешей свою натуру: жажда жизни есть главное, что он находит в себе. «Не веруй я в жизнь,— говорит он,— разуверься в дорогой женщине, разуверься в порядке вещей, убедись даже, что все, напротив, беспорядочный, проклятый и, быть может, бесовский хаос, порази меня хоть все ужасы человеческого разочарования,— а я все-таки захочу жить, и уж как припал к этому кубку — то не оторвусь от него, пока весь не осилю. Впрочем, к тридцати годам наверно брошу кубок, хоть и не допью всего, и отойду... не знаю куда». Эта жажда жизни непосредственна и безотчетна. «Центростремительной еще силы много в нашей земле», — замечает он, затрудняясь

в ее объяснении. «Я живу, потому что хочется жить, хотя бы и вопреки логике». Есть что-то родственное в человеке с жизнью природы и с тою другою жизнью, которая развертывается на ее лоне и которую мы зовем историею; и человек липнет ко всему этому: нити, гораздо более прочные и жизненные, нежели холодные связи умозаключения, привязывают его к земле, и он любит ее необъяснимою, высокою любовью: «Дороги мне клейкие, распускающиеся весной листочки, дорого голубое небо, дорог иной человек, которого иногда не знаешь, за что и любишь, дорог иной подвиг человеческий, в который давно уже, может быть, перестал и верить, а все-таки, по старой памяти, чтить его сердцем...»

«— Я думаю, что *все должны прежде всего на свете жизнь полюбить*,— говорит задумчиво Алеша.

— Жизнь полюбить больше, чем *смысл* ее?»

Алеша говорит, что «да», и что за непосредственную любовь к жизни всегда последует и понимание ее смысла,— ранее или позже.

С любовью к жизни дремлющей природы, к «клейким весенним листочкам», у Ивана нераздельна любовь и к той другой природе, которая живет полным сознанием: мы говорим о человеке и чудном мире, им созданном. «Я хочу в Европу съездить»,— говорит он. У него были две тысячи руб., оставленные по завещанию воспитательницею его и Алеши, которая их подобрала из жалости, ради памяти к их матери, когда их бросил отец. Теперь, окончив университет, он собирался съездить за границу, думая употребить на поездку эти деньги.

«Отсюда и поеду, Алеша,— продолжает он.— И ведь я знаю, что поеду лишь на кладбище, но *на самое, на самое дорогое кладбище*, вот что! Дорогие там лежат покойники; *каждый камень над ними гласит о такой горячей минувшей жизни, о такой страстной вере в свой подвиг, в свою истину, в свою борьбу и в свою науку, что я, знаю заранее, паду на землю и буду целовать эти камни и плакать над ними*,— в то же время убежденный всем сердцем моим, что все это давно уже кладбище и никак не более. И не от отчаяния буду плакать, а лишь просто потому, что буду счастлив пролитыми слезами моими».

Эти проникновенные слова вскрывают перед нами великое сердце и великий ум, и всю ту грусть, которую не может не носить в себе такая душа. Грусть вытекает здесь из силы любви и вместе из высокого сознания, которое от нее неотделимо и ей противоречит. Отрицать диалектически, не испытывая привязанности, или быть привязанным безотчетно, не понимая,—

это два отношения к Европе, одинаково легкие и потому исключительно почти господствующие у нас. Редкие поднимаются до соединения того и другого, и, конечно, подобное соединение не может не вызывать самого глубокого страдания. Но в нем одном — истина, и, как это ни трудно, каждый, кто хочет быть правым, должен усиливаться развить в себе способность и к этому чувству любви, и к этому сознанию, что любимое — уже умирает.

Всякий, кто носит в себе великий интерес к чему-нибудь постороннему, что с ним лично не связано, не может не быть искренен и правдив. Его мысль слишком сосредоточена на этом интересе, чтобы заниматься всем тем мелочным, чем обычно старается обставить себя человек, чтобы скрыть свою незначительность. От этого истинное величие всегда бывает так просто; и от этого же, конечно, оно никогда не получает при жизни признания, которое всегда достается ложному и потому драпирующемуся величию. Душевное одиночество, неразделенность своих мыслей — есть только необходимое последствие этого положения вещей, и оно, в конце концов, обращается и в замкнутость, в нежелание делиться. И, между тем, потребность высказаться все-таки существует, — и здесь-то и лежит объяснение тех моментов встреч и глубоких признаний, которых еще за минуту нельзя было предвидеть и которые оставляют в собеседниках впечатление на всю жизнь.

«У меня нет друзей, Алеша, — говорит Иван, — и я бы хотел с тобой сойтись». Все то, что проводило такую непереступаемую грань между им и другими, вдруг падает теперь; Алеша шутит с ним, с которым никто не шутил, и он сам говорит ему, смеясь «как маленький кроткий мальчик»: «Братишко, не тебя я хочу развратить и сдвинуть с твоего устоя; я, может быть, себя хотел бы исцелить тобою». Алеша смотрит на него с удивлением; никогда он не видал его таким.

VIII

«С чего же начинать, с Бога?» — спрашивает Иван и развивает идею о несовместимости Бога страдающего с человечеством страдающим и Бога справедливого с преступлением неотомщенным.

«Один старый грешник, — так начинает Иван, — сказал в прошлом веке, что если бы не было Бога, то следовало бы его выдумать. И не то странно, не то было бы дивно, что Бог в самом деле существует; но то дивно, что такая мысль — мысль о необходимости Бога — могла залезть в голову такому ди-

кому и злomu животному, как человек: *до того она свята, до того она трогательна, до того премудра и до того она делает честь человеку*».

Испорченность человека и святость религии есть, таким образом, то, что прежде всего стремится он утвердить. Религия есть нечто высокое: и сделать ее возможно для человека, стать способным войти в ее мирозерцание — это есть высшая цель, высшее удовлетворение, которого может достигнуть он. Но достигнуть этого *правдиво, искренно* он может не вопреки своим способностям усвоения, но только следуя им, как они устроены ему Творцом, о котором учит сама же религия.

Таким образом, здесь нет и тени враждебности, высокомерия или презрительности к тому, что сейчас будет оспариваться с такою силой; и в этом лежит глубочайшая оригинальность самого приема. Во всемирной литературе, где подобные оспаривания были так часты, мы чувствуем, что подходим к чему-то особенному, что еще никогда не появлялось в ней, к точке зрения, на которую никто не становился. И мы чувствуем также, что эта точка зрения есть единственно серьезная со стороны нападающей и, пожалуй, единственно угрожающая для стороны нападаемой.

И эта оригинальность в движении мысли сохраняется и далее: бытие Божие, недоказуемость которого для *ума* человека (как в философии, так и в науке) обыкновенно ставится первым преткновением для религиозного мирозерцания, здесь переступается как возражение, несколько не останавливающее. То, что всего более силится защитить религия, что она затрудняется защитить,— вовсе не подвергается нападению, уступает без оспаривания. И строгую научность этого приема нельзя не признать: *относительность* и *условность* человеческого мышления есть самая тонкая и глубокая истина, которая тысячелетия оставалась скрытою от человека, но наконец — обнаружена. Поразительным, ярким свидетельством этой относительности в самое недавнее время явилось сомнение, исчерпывается ли *действительное* пространство тем, которое одно *знает* человек, одно для него *мыслимо и представимо*. Возникновение так называемой Не-Евклидовой геометрии, которая разрабатывается теперь лучшими математиками Европы и в которой параллельные линии сходятся, а сумма углов треугольника несколько меньше двух прямых — есть факт бесспорный, для всех ясный, и он не оставляет никакого сомнения в том, что *действительность* бытия не покрывается мыслимым в разуме. К тому, что немислимо и, однако же,

существует, может относиться и бытие Божие, недоказуемость которого не есть какое-либо возражение против его реальности. Исходя из этой относительности человеческого мышления, Иван отказывается судить, правы или нет утверждения религии о Том, Кто есть источник всякого бытия и определитель и законодатель всякого мышления. «Я смиренно сознаюсь,— говорит он,— что у меня нет никаких способностей разрешать такие вопросы, у меня ум эвклидовский, земной, а потому где нам решать о том, что не от мира сего. Да и тебе советую никогда об этом не думать: *есть* ли Он или *нет*. Все это вопросы совершенно несвойственные уму, созданному с понятием лишь о трех измерениях. Итак, принимаю Бога, и не только с охотой, но, мало того, принимаю и премудрость Его, и цель Его,— нам совершенно уже неизвестные; верую в порядок, в смысл жизни, верую в вечную гармонию, в которой мы, будто бы, все сольемся; верую в Слово, к которому стремится вселенная и которое Само «бе к Богу» и которое есть Само — Бог».

IX

«Но я мира Божьего не принимаю» — так оканчивает он свое признание.

Мы опять встречаемся с оборотом мышления, совершенно неизвестным: тварь не отрицает Творца своего, она Его признает и знает; она *восстает* против Него, отрицает творение Его и с ним — себя, ощутив *в порядке этого творения* несовместимое, с тем, как *именно сама она сотворена*. Воля высшая и мудрая, из непостижимого Источника излитая в мироздание, в одной частице его, которая именуется человеком, восстает против себя самой и ропщет на законы, по которым она действует.

«Я тебе должен сделать одно признание,— говорит Иван,— я никогда не мог понять, как можно любить своих ближних. Именно ближних-то, по-моему, и невозможно любить, а разве лишь дальних. Я вот читал когда-то и где-то про *Иоанна Милостивого* (одного святого), что он, когда к нему пришел голодный и обмерзший прохожий и попросил согреть его,— лег с ним вместе в постель, обнял его и начал ему дышать в гноящийся и зловонный от какой-то ужасной болезни рот его. Я убежден, что он это делал с надрывом лжи, из-за заказанной долгом любви, из-за натащенной на себя эпитимии. Чтобы полюбить человека, надо, чтобы тот спрятался... Отвлеченно еще можно любить ближнего, и даже иногда издали, но вблизи — почти никогда».

В словах этих слышится страшная ненависть, в основе которой лежит какая-то великая горечь. «Никто же плоть свою возненавидит, но всякий питает и греет ее» — сказано о человеке, сказано как общий закон его природы. Здесь мы именно видим ненависть против своей плоти, желание не «согреть и напитать ее», но, напротив, растерзать и истребить. Пример взят неудачно, от какой-то смятенной торопливости: конечно, со счастьем, с радостью делал свое дело Иоанн Милостивый, и почти не нужно объяснять этого. Но эта ошибка в мелькнущем образе ничего не поправляет; мы пропускаем ее и слушаем далее.

«— Мне надо было поставить тебя, — продолжает Иван, — на мою точку. Я хотел заговорить о страдании человечества вообще, но лучше уж остановимся на страданиях одних детей... Во-первых, деток можно любить даже и вблизи, даже и грязных, даже дурных лицом (мне, однако же, кажется, что детки никогда не бывают дурны лицом). Во-вторых, о больших я и потому еще говорить не буду, что кроме того, что они отвратительны и любви не заслуживают, у них есть и возмездие: они съели яблоко, и познали добро и зло, и стали «яко божи». Продолжают и теперь есть его. *Но деточки ничего не съели и пока еще ни в чем не виновны.* Любишь ты деток, Алеша? Знаю, что любишь, и тебе будет понятно, для чего я про них одних хочу говорить. *Если они на земле тоже ужасно страдают, то уж, конечно, за отцов своих, наказаны за отцов своих, съевших яблоко, — но ведь это рассуждение из другого мира, сердцу же человеческому здесь, на земле, непонятное? Нельзя страдать неповинному за другого, да еще такому неповинному!* Подивись на меня, Алеша, я тоже ужасно люблю деточек. И заметь себе, жестокие люди, страстные, плотоядные, карамазовцы — иногда очень любят детей. Дети, пока дети, до семи, напр., лет, страшно отстоят от людей: совсем будто другое существо и с другою природой. Я знал одного разбойника в остроге: ему случалось, в прежнее время, резать и детей. Но, сидя в остроге, он их до странности любил. Из окна острога он только и делал, что смотрел на играющих на дворе детей. Одного маленького мальчика он приучил приходить под окно, и тот даже сдружился с ним... *Ты не знаешь, для чего я это все говорю, Алеша? У меня как-то голова болит и мне грустно.*

— Ты говоришь с странным видом, — с беспокойством заметил Алеша, — точно ты в каком безумии».

Причинение страдания из жажды сострадать есть черта полярности души человеческой, таинственная и необъяснимая,

которую вскрывает здесь Достоевский. Сам он, как известно, часто и с величайшей мучительностью останавливается в своих сочинениях на страданиях детей, изображая их так, что всегда видно, как и страдает он их страданием, и как умеет проникать в это страдание: рисуемая картина, своими изгибами, как нож в дрожащее тело глубже и глубже проникает в безвинное, бьющееся существо, слезы которого жгут сердце художника, как струящаяся кровь жжет руку убийце. Можно чувствовать преступность этого, можно жаждать разорвать свою плоть, которая так устроена; но пока она не разорвана, пока искажение души человеческой не исправлено, было бы напрасною попыткой закрывать глаза на то, что это *есть* или, по крайней мере, встречается по какому-то необъяснимому закону природы. Но, конечно, высказав это признание, можно прийти к «безумию» от сознания, что еще история человеческая не кончается и еще тысячелетия предстоит этой *неустроенной* плоти жить, мучить и страдать.

«Выражаются иногда про *зверскую* жестокость человека, — продолжает Иван, оправившись, — но это страшно несправедливо и обидно для зверей: зверь никогда не может быть так жесток, как человек. Тигр просто грызет, рвет — и *только это и умеет*». Напротив, человек в жестокость свою влагает какую-то утонченность, тайное и наслаждающееся злорадство. От этой черты не освобождает его ни национальность, ни образование, или, наоборот, первобытность, ни даже религия; она вечна и неистребима в человеке. Клеопатра, утонченная гречанка, когда ее утомляло однообразие все только счастливой жизни, разнообразила его то страницей из Софокла или Платона, то изменяющеюся улыбкой на побледневшем лице невольницы, в которое она смотрела и оно смотрело ей в глаза, между тем как рука ее впускала булавку в ее черную грудь. Турки, магометане и варвары, притом занятые хлопотливом восстанием, все-таки урывают время, чтобы испытать высшее для человека наслаждение — наслаждение безмерностью чужого страдания; вот они входят в избу и находят испуганную мать с грудным ребенком.

«— Они ласкают младенца, смеются, чтобы его рассмешить, им удается, младенец рассмеялся. В эту минуту турок наводит на него пистолет в четырех верхках расстояния от его лица. Мальчик радостно хохочет, тянется ручонками, чтобы схватить пистолет, и вдруг артист спускает курок прямо ему в лицо и раздробляет ему головку. Кстати, турки, говорят, очень любят сладкое.

— Брат, к чему это все? — спросил Алеша.

— Я думаю, что если дьявол не существует и, стало быть, создал его человек,— то создал он его по своему образу и подобию.

— А ты удивительно умеешь оборачивать словечки, как говорит Полоний в *Гамлете*,— засмеялся Иван.— Пусть, я рад; хорош же Бог, коль его создал человек по образу своему и подобию».

И он продолжает развивать картину человеческого страдания. В мирной Швейцарии, трудолюбивой и протестантской, всего лет пять назад, случилась казнь преступника, замечательная своими подробностями. Некто Ришар еще младенцем был отдан своими родителями, прижившими его вне брака, каким-то пастухам, которые приняли его, как будущую рабочую силу. Как вещь он был отдан им, и как с вещью обращались с ним. В непогоду, в холод, почти без одежды и никогда не накормленный, он пас у них стадо в горах. «Сам Ришар свидетельствует, что в те годы он, как блудный сын в Евангелии, желал ужасно поест хоть того месива, которое давали откармливаемым на продажу свиньям; но ему не давали даже и этого и били, когда он крал его у свиней. И так он провел все детство свое и свою юность до тех пор, пока возрос и, укрепившись в силах, пошел сам воровать. Дикарь стал добывать деньги поденною работой в Женеве, добытое пропивал, жил как изверг и кончил тем, что убил какого-то старика и ограбил. Его схватили, судили и присудили к смерти». Уже приговоренного, уже погибшего — общество, религия и государство окружают вниманием и заботою. В тюрьму приходят к нему пасторы, и впервые раскрывается перед ним свет Христова учения; он выучивается чтению и письму, он сознается в преступлении и сам пишет суду о себе, что он — изверг «и вот, наконец, удостоился, что и его озарил Господь и послал ему благодать». Общество умиляется и волнуется; к нему идут, его целуют и обнимают: «И на тебя сошла благодать, ты брат наш во Господе!» ...Ришар плачет; новые, никогда не испытанные впечатления сошли ему в душу и смягчили и умилили ее. Дикарь и звереныш, воровавший корм у свиней, он вдруг узнал, что и он человек, что он не всем чужой и одинокий, что и ему есть близкие, которые его любят, согревают и утешают. «И я удостоился благодати,— говорит он, растроганный,— умираю во Господе». — «Да, да, Ришар, умри во Господе, ты пролил кровь и должен умереть во Господе. Пусть ты не виновен, что не знал совсем Господа, когда завидовал свиному корму и когда тебя били за то, что ты крал его (что ты делал очень нехорошо, потому что красть не по-

зволено), но ты пролил кровь и должен умереть». И вот наступает последний день. «Это лучший из дней моих,— говорит он,— я иду к Господу». — «Да,— говорят ему,— это счастливейший день твой, ибо ты идешь к Господу!» Позорную колесницу, на которой везут его на площадь, окружают несметные толпы народа, и все глядят на него с умилением и любовью. Вот остановились перед эшафотом; «Умри, брат наш, умри во Господе, удостоившийся благодати!» — говорят окружающие. С ним прощаются, его покрывают поцелуями, он всходит и кладет голову в ошейник гильотины; нож скользит, и голова, так долго бывшая во мраке и, наконец, озаренная, падает отрезанная к ногам озаривших его и плачущих братьев. Соединение чувства любви и этой теплой крови, которая еще более согревает и возбуждает его, есть услаждение неустроенной души человека, в своем роде столь же утонченное, как и соединение играющей невинности с насмешливым замыслом через минуту раздробить на куски эту невинность.

Человек не только страдает и развратен сам, он вводит растление и муку всюду, где может, во всю природу. Приноравливая к себе, он искажил самые инстинкты животных, он вымучил у них и у растений небывалые формы, принуждая их к противоестественным скрещиваниям, которым не знал бы и границ, если бы не встретил упорного сопротивления в таинственных законах природы. Гнусный беззаконник, он стоит перед этими законами, все еще усиливаясь придумать, как бы нарушить их, как бы раздвинуть все грани и переступить через них своим развратом и злом. Он торопливо хватается в природе всякое уродство, каждую болезнь,— и хранит и бережет все это,— увеличивает еще. Он перемешал климаты, изменил все условия жизни, смесил не смешивавшееся и разделил сродненное, снял с природы лик Божий и наложил на нее свой искаженный лик. И среди всего этого разрушения сидит сам, ее властелин и мучитель, и, мучаясь, слагает поэзию о делах рук своих.

Переходя от далеких стран и иных типов страдания на родную почву, к нашему родному страданию, Иван останавливается мельком и на поэзии этой. Правда, не поняв всего уродства, какое вносит человек в природу, нельзя и понять всей глубины зла, которое он несет с собой. «У нас хоть нелепо рубить голову брату потому только, что он стал нам *брат* и что на него сошла *благодать*, но у нас есть свое, почти что не хуже. У нас — историческое, непосредственное и ближайшее наслаждение истязанием битья. У Некрасова есть стихи о том, как мужик сечет лошадь по глазам, по «кротким глазам». Это кто ж не видал, это русизм. Он описывает, как слабосильная ло-

шаденка, на которую навалили слишком, завязла с возом и не может вытащить. Мужик бьет ее, бьет с остервенением, бьет, наконец, не понимая, что делает; в опьянении битья сечет больно, бессчетно: «Хошь ты и не в силах, а вези, умри да вези!» Клячонка рвется,— и вот он начинает сечь ее, беззащитную, по плачущим, по «кротким глазам». Вне себя она рванула и вывезла и пошла «вся дрожа, не дыша, как-то боком, с какою-то припрыжкой, как-то неестественно и позорно».

Именно в неестественности и позорности, которые внес человек в младенческую природу, и заключается здесь ужас. Но если битье лошади по «кротким глазам» может распалить кровь, то неизмеримо больше распалют ее крики ребенка, своего ребенка, который в вас же ищет защиты от вас. «Образованный господин и его дама секут собственную дочку, младенца лет семи, розгами». Отец выбирает прутья с сучьями. «Садче будет»,— говорит он. «Секут минуту, секут наконец пять минут, секут десять минут, дальше, больше, чаще, садче. Ребенок кричит, ребенок, наконец, не может кричать, задыхается: «Папа, папа, папочка, папочка». В другой раз почтенные, образованные и чиновные родители возненавидели почему-то своего ребенка, пятилетнюю девочку, били ее, пинали ногами и, наконец, даже дошли до того, что «в холод запирали ее на всю ночь в отхожее место; и за то, что она не просилась ночью (как будто пятилетний ребенок, спящий своим ангельским крепким сном, еще может в эти лета научиться проситься)— за это обмазывали ей лицо калом и заставляли ее есть этот кал; и это мать, мать заставляла! И эта мать могла спать, когда ночью слышались стоны бедного ребеночка, запертого в подлом месте! Понимаешь ли ты это,— говорит Иван,— когда маленькое существо, еще не умеющее даже осмыслить, что с ней делается, бьет себя в подлом месте, в темноте и в холоде, крошечным своим кулачком в надорванную грудку, и плачет своими кровавыми, незлобивыми, кроткими слезками к «Боженьке», чтобы Тот «защитил его»,— понимаешь ли ты эту ахинею, друг мой и брат мой, послушник ты мой Божий и смиренный, понимаешь ли ты, для чего эта ахинея так нужна и создана? Без нее, говорят, и пробыть бы не мог человек на земле, ибо не познал бы добра и зла. Для чего познавать это чертово добро и зло, когда это столького стоит? Да, ведь, весь мир познания не стóит, тогда, этих слезок ребеночка к «Боженьке». Я не говорю про страдания больших,— те яблоко съели, и черт с ними, и пусть бы их всех черт взял, но эти, эти! Мучаю я тебя, Алеша? ты как будто бы не в себе? Я перестану, если хочешь.

— Ничего, я тоже хочу мучиться,— пробормотал Алеша.

— Одну, только одну еще картинку»,— продолжает неукрепимо Иван и рассказывает, как в мрачную пору крепостного права один дворовый мальчик, лет восьми, за то, что зашиб нечаянно ногу камнем любимой гончей собаке помещика, был, по приказанию этого последнего, растерзан псами на глазах матери. С бесчисленными собаками своими и псарями, проживавший на покое генерал выехал в морозное утро на охоту. Собрана была «для вразумления» вся дворня, и впереди ее поставили мать ребенка: сам он был взят от нее уже с вечера накануне. Его вывели и раздели донага; «он дрожит, обезумел от страха, не смеет пикнуть. «Гони его»,— кричит генерал; «Беги, беги!»— кричат псари, и, когда он в беспамятстве бежит, генерал бросает на него всю стаю борзых и через минуту от мальчика даже ключев не осталось. Ну... что же его? Расстрелять? Для удовлетворения нравственного чувства — расстрелять? Говори!

— Расстрелять,— тихо проговорил Алеша, с бледною перекосившеюся какою-то улыбкой, подняв взор на брата.

— Bravo,— завопил Иван в каком-то восторге,— уж если ты сказал, значит...

— Я сказал нелепость, но...

— То-то и есть, что но...— кричал Иван.— *Знай, послушник, что нелепости слишком нужны на земле. На нелепостях мир стоит и без них, может быть, в нем совсем ничего бы и не произошло. Мы знаем, что знаем!*

«— Я ничего не понимаю,— продолжал Иван, как бы в бреду,— я и не могу теперь ничего понимать. Я хочу оставаться при факте. Я давно решил не понимать. Если я захочу что-нибудь понимать, то тотчас же изменю факты, а я решил оставаться при факте...

— Для чего ты меня испытываешь?— с надрывом горестно воскликнул Алеша,— скажешь ли мне, наконец?

— Конечно, скажу, к тому и вел,— говорит Иван и выводит свое заключение:— Слушай, я взял одних деток для того, чтобы вышло очевиднее. Об остальных слезах человеческих, которыми пропитана вся земля от коры до центра — я уж ни слова не говорю, я тему мою нарочно сузил. Я — клоп, и признаю со всем принижением, что ничего не могу понять, для чего все так устроено... О, по моему, по жалкому, земному, эвклидовскому уму моему, я знаю лишь то, что страдание есть, что виновных нет, что все одно из другого выходит прямо и просто, что все течет и уравнивается,— но ведь это лишь эвклидовская дичь, ведь я знаю же это; ведь жить

по ней я не могу же согласиться! Чтó мне в том, что виновных нет и что я это знаю — мне *надо возмездие*, иначе *ведь я истреблю себя*. И возмездие не в бесконечности, где-нибудь и когда-нибудь, а здесь уже, на земле, и чтоб я его сам увидал. Я веровал, я хочу сам и видеть; я если к тому часу буду уже мертв, то пусть воскресят меня, ибо если все без меня произойдет, то будет слишком обидно. *Не для того же я страдал, чтобы собой, злодействами и страстями моими, унавозить кому-то будущую гармонию*. Я хочу видеть своими глазами, как лань ляжет подле льва и как зарезанный встанет и обнимется с убишим его. *Я хочу быть тут, когда все вдруг узнают, для чего все так было*. На этом желании зиждутся все религии на земле, а я — верую. *Но вот, однако же, детки, — и чтó я с ними стану тогда делать? Это вопрос, который я не могу решить...* Если все должны страдать, чтобы страдать, — чтобы страданиями купить вечную гармонию, то при чем тут дети, скажи мне пожалуйста? Совсем непонятно, для чего должны были страдать и они, и зачем им покупать страданиями гармонию? Для чего они попали тоже в материал и унавозили собою для кого-то будущую гармонию? Солидарность в грехе между людьми я понимаю, понимаю солидарность и в возмездии, но не с *детками же солидарность в грехе?! И если правда, в самом деле, в том, что и они солидарны с отцами их во всех злодействах отцов, — то уж, конечно, правда эта не от мира сего и мне непонятна*. Иной шутник скажет, пожалуй, что все равно дитя вырастет и успеет нагрешить; но вот же он не вырос, его восьмилетнего затравили собаками. О, Алеша, я не богохульствую! Понимаю же я, каково должно быть сотрясение вселенной, когда все на небе и над землею сольется в один хвалебный глас, и все живое и жившее воскликнет: *«Прав Ты, Господи, ибо открылись пути Твои!»* Уж когда мать обнимется с мучителем, растерзавшим псами сына ее, и все трое возгласят со слезами: *«Прав Ты, Господи»*, то уж, конечно, настанет *венец познания, и все объяснится*. Но вот... *этого-то я и не могу принять*. И пока я на земле, я спешу взять свои меры. Видишь ли, Алеша, ведь, может быть, и действительно так случится, что, когда я сам доживу до того момента, или воскресну, чтобы увидеть его, то и сам я воскликну, пожалуй, со всеми, смотря на мать, обнявшуюся с мучителем ее дитяти: *«Прав Ты, Господи!»* Но я не хочу тогда *восклицать*. Пока еще время, спешу себя оградить, а потому от *высшей гармонии совсем отказываюсь*. Не стоит она слезенок хотя бы одного только того замученного ребенка, который бил себя кулачком в грудь и молился в зловонной конуре своей неисккупленными слезами своими

к «Боженке»! Не стоит, потому что слезки его остались не-искупленными. Они должны быть искуплены, иначе не может быть и гармонии. Но чем, чем ты искупишь их? Разве это возможно? Неужто тем, что они будут отомщены? Но зачем мне их отмщение, зачем мне ад для мучителей, что тут ад может поправить, когда те уже замучены? И какая же гармония, если ад: я простить хочу и обняться хочу, я не хочу, чтобы страдали больше. И если страдания детей пошли на пополнение той суммы страданий, которая необходима была для покупки истины, то я утверждаю заранее, что вся истина не стоит такой цены. *Не хочу я, наконец*, чтобы мать обнималась с мучителем, растерзавшим ее сына псами! Не смеет она прощать ему! Если хочет, пусть простит за себя, пусть простит мучителю материнское безмерное страдание свое; но страдания своего растерзанного ребенка она не имеет права простить, не смеет простить мучителя, хотя бы сам ребенок простил их ему! А если так, если они не смеют простить, где же гармония? Есть ли во всем мире существо, которое могло бы и имело право простить? *Не хочу гармонии, из-за любви к человечеству не хочу!* Я хочу оставаться лучше со страданиями неотмщенными. Лучше уж я останусь при неотмщенном страдании моем и неутоленном негодовании моем, хотя бы я был не прав. Да и слишком дорого оценили гармонию, не по карману нашему вовсе столько платить за вход. А потому свой билет на вход спешу возвратить обратно. И если только я честный человек, то обязан возвратить его как можно заранее. Это и делаю. Не Бога я не принимаю, Алеша, я только билет ему почтительнейше возвращаю».

Х

«Это бунт,— тихо и потупившись проговорил Алеша».

Приведенное слово — самое горькое, какое выдалось у человека за его историю. Не отвергая Бога, он отвергает свое лицо от Него; не сомневаясь в конечном воздаянии за свои муки — не хочет более этого воздаяния. Что-то до того драгоценное извращено в нем, до того святое — оскорблено, что он поднимает свой взор к небу и, полный горести, молит, чтобы, наконец, это оскорбление не искупалось, это извращение — не снималось: «Ты, Который вложил в мою природу похоть терзать ближнего и силою похоти этой вырвал детей моих и истерзал, зачем дал любовь к ним, которая даже против Тебя возроптала? Зачем смешал Ты мою душу, перервал в ней все начала и все концы, так что не могу ни любить я, ни не-

навидеть, ни знать, ни оставаться в неведении, ни быть праведным только, ни только грешным? И если смесил ее плод, который вошел в меня от древа познания добра и зла, зачем взрастил Ты это древо на соблазн мне, или почему не оградил его гранью непереступаемую? Наконец почему, создавая меня, вложил в меня менее крепости послушания, нежели похоти к соблазну? Верно, в воздаяние; но вот дети мои погибли, — и пусть воздаяние идет мимо меня. Погаси во мне сознание и с ним дай забвение, смеси снова с землею, от которой взял меня. Но если сознание мое не потухнет, хочу лучше плакать о растерзанных детях моих, нежели созерцать торжество правды Твоей. Не хочу утешения, хочу в муках сердца моего всю вечность разделять муку моих погибших детей».

Здесь сказывается надломленность человеческих сил, неспособность их продолжать тот путь, по которому от скрытого начала к скрытому же концу ведется человек Провидением. Он шел по этому пути тысячелетия, и покорно выносил все в надежде, что конечное познание и конечное торжество правды Божией утолит когда-нибудь его сердце. Но вот, наконец, это страдание возросло до такой силы, что он невольно останавливается, не может далее идти. Он оглядывается на весь пройденный путь, припоминает все, взвешивает бремя свое и остаток сил своих и спрашивает: куда я иду и могу ли дойти? безумие была надежда моя и зло в воле той, которая внушила мне ее.

Без сомнения, высочайшее созерцание судеб человека на земле содержится в религии. Ни история, ни философия или точные науки не имеют в себе и тени той *общности* и *цельности* представления, какое есть в религии. Это — одна из причин, почему она так дорога человеку и почему так возвышает его ум, так просвещает его. Зная целое и общее, уже легко найтись, определить себя в частностях; напротив, как бы много частностей мы ни знали — а они одни даются историей, науками, философией, — всегда можно встретить новые, которые поставят нас в затруднение. Отсюда — твердость жизни, ее устойчивость, когда она религиозна.

Три великие, мистические акта служат в религиозном созерцании опорными точками, к которым как бы прикреплены судьбы человека, на которых они висят как на своих опорах. Это — акт *грехопадения*: он *объясняет* то, что есть; акт *искупления*: он *укрепляет* человека в том, что есть; акт вечного возмездия за добро и за зло, окончательного *торжества правды*: он влечет человека *в будущее*.

Потрясти судьбы человека можно, только поколебав которую-нибудь из этих основных точек. Без этого, каким бы

бедствиям человек ни подвергался: войне, голоду, мору, уничтожению целых народностей, он все это вынесет, потому что во всем этом самое существо его сохранится; будут гибнуть *люди*, но останется *человек*, и люди возродятся; перемена коснется проявлений, но не коснется проявляемой сущности; листья будут оборваны, но сохранится завязь и плодник. Одного не вынесет человек — это разрыва своего бытия и сознания с тремя мистическими актами, верую в которые он живет. Без всяких бедствий, в полном довольстве, он погибнет, как-то замешавшись; проявления, просуществовав некоторое время, исчезнут, потому что исчезнет скрытая за ними сущность; люди не возродятся, потому что умрет человек.

Отсюда понятна та ненависть, с которою смотрит человек на всякое враждебное приближение к этим опорным точкам своего существования. «Не прикасайся, я этим живу», — как будто говорит он всякому, кто пытается к ним подойти, кто их хочет взвесить или измерить, поправить в чем-нибудь, дополнить или очистить. В этом чувстве инстинктивной ненависти лежит объяснение всех религиозных преследований, какие когда-либо совершались в истории, — преследований, вызывавших наиболее сочувствия в широких массах народных, как бы они жестоки ни были.

Именно эти три акта, три опорных точки земных судеб человека, источник ведения его о себе, источник сил его — и колеблются с помощью диалектики, часть которой мы привели. Акт искупления, второй и связующий два крайние акта, здесь еще не затронут. Но подвергнут сомнению первый акт — грехопадение людей, и отвергнут последний, — акт вечного возмездия за добро и зло, акт окончательного торжества Божеской правды. Он отвергнут не потому, что он невозможен, его не будет; но потому, что он *не нужен более*, не будет принят человеком.

Нужно заметить, что в столь мощном виде, как здесь, диалектика никогда не направлялась против религии. Обыкновенно исходила она из злого чувства к ней и принадлежала немногим людям, от нее отпавшим. Здесь она исходит от человека, очевидно преданного религии более, чем всему остальному в природе, в жизни, в истории, и опирается положительно на добрые стороны в человеческой природе. Можно сказать, что здесь восстает на Бога божеское же в человеке: именно, чувство в нем справедливости и сознание им своего достоинства.

Это-то и сообщает всей диалектике опасный, несколько сатанинский характер. Уже о первом отпавшем Ангеле сказано, что он был «выше всех остальных», стоял «ближе их к Богу»,

т. е. был особенно Ему *подобен*, — конечно *по чистоте* своей, *по святости*. Некоторый религиозный характер лежит на этой диалектике, и то чувство преданности, которое внушает к себе всякая религия, и та ненависть, которую вызывает против себя каждый, кто ее затрогивает, становится как бы покровом и над ней, хотя она именно направлена против религии. Пытаться разрушить эту диалектику, всю исходящую из любящего трепета за человека, кажется, можно, только не любя его. Ею подкапываются опоры бытия человеческого, и это сделано так, что невозможно защищать их, не вызывая в человеке горького чувства оскорбления. Он сам невольно вовлекается в защиту своей гибели, не временной или частной, но всеобщей и окончательной.

Построить опровержение этой диалектики, столь же глубокое и строгое, как она сама, без сомнения составит одну из труднейших задач нашей философской и богословской литературы в будущем, — конечно, если эта последняя сознает когда-нибудь свой долг разрешать тревожные сомнения, бродящие в нашем обществе, а не служит только удостоверением в немецкой грамотности нескольких людей, которые почему-либо обязаны действительно быть с ней знакомы. Не делая попытки к такому построению, мы выскажем только два замечания.

Отказ принять воздаяние или даже только видеть торжество Божией правды основывается, в приведенных выше словах, действительно на одной верной, тонко подмеченной особенности человеческой души: всякий раз, когда ее страдание слишком велико, оскорбление нестерпимо — в ней пробуждается жажда не расставаться с этим страданием, не снимать с себя этого оскорбления. Есть что-то утешающее самое страдание в сознании, что оно *не заслужено* (как страдания детей, предполагается) и что оно не вознаграждено; и как только это вознаграждение является, *исчезает утешение* и *боль* страдания *становится нестерпимой*. Таким образом, вознаграждение *приходит новою, другою радостью*; но оно *вовсе не становится на место прежней горечи*, нисколько не вытесняет ее. И это закон души человеческой, как она дана, устроена. Нельзя отрицать, что в черте этой есть много благородного, и вытекает она из сознания человеком в себе достоинства, из некоторой гордости и вместе смирения, но без какой-либо дурной примеси.

Так; и пока человек остается в тех формах, своего духовного и физического бытия, в какие заключен теперь, какие одни знает в себе, он действительно захочет остаться «лучше с неотмщенным страданием своим», нежели принять за него возмездие и примириться с ним. Но думать, что эти формы

его бытия есть нечто абсолютное и вечное, ничем не обусловленное, было бы величайшею ошибкою. Тесно, слишком тесно дух человеческий связан в идеях своих, в понятиях и чувствах с таинственной организацией его тела; он прикреплен к ней, связан и обусловлен ею, как рождающийся, но еще не рожденный связан с чревом своей матери. Но это связанное состояние есть только временное; и если течение наших идей изменяется со всякою переменой в нашей организации, то мы и представить себе затрудняемся, что почувствует наш дух и что подумает он, когда станет от нее свободен и чист. Как невозможно, действительно невозможно для него теперь примирение, так, быть может, необходимо и невольно будет оно тогда. И станет «земля новая и небо новое», сказано о последнем дне, в который «отрет Бог всякую слезу», и в этих словах указано разрешение затруднения, которое *пока* для нас непреодолимо.

Далее, страдания детей, столь несовместные, по-видимому, с действием высшей справедливости, могут быть несколько поняты при более строгом взгляде на первородный грех, природу души человеческой и акт рождения. Выше уже сказали мы, что в душе человеческой сверх того, что в ней выражено ясно и отчетливо, заключен еще целый мир содержания, *не выраженный, не проявленный*. Когда человек совершает что-либо преступное, то *исполнение* им этого есть только вторичное и менее важное, первичное же и главное есть то *душевное движение*, которое ему предшествовало, из которого родился преступный акт. Оно кладет особую складку, проводит неизгладимую черту на человеческой душе, подвергает ее некоторому искажению. Спрашивается, на том ли только проводится эта черта, то ли одно приемлет в себя искажение, что ясно выражено в душе: память с заключенными в ней сведениями, текущие желания, мелькнувшие чувства? Ясно, что нет: *зло* входит в нее, как *в целое*, искажается она в полноте своего содержания,— как в ясной его части, так и в непроявленной еще. О всем преступном мы знаем, что и зарождается оно в человеке неясными путями, идет из темных недр его души. Далее, в акте *рождения*, без сомнения, передается родившим рожденному не только его организация, но и то, что служит как бы ее законом и скрепляющим центром, т. е. самая *душа*. *Наследственность* характеров, особых дарований или порочных наклонностей слишком общеизвестный теперь факт, чтобы мы могли теперь в этом сколько-нибудь сомневаться. Множественность актов рождения и индивидуальные особенности рожденных дают основание думать, что в каждом порознь

акте передается некоторая часть того сложного содержания, которое входит в душу рождающего; причем, когда передаются части выраженные — наблюдается наследственность, когда *передается невыраженное* — она, по-видимому, *отсутствует*. Каждая часть, именно в силу таковой природы своей, содержит в себе *способность восстанавливаться до целого*, вызывать появление недостающих частей, которые все, равно как и порядок их, предустановлены в ней именно ее прежним отношением к целому, из которого она вышла; как, напр., в самой малой дуге, оставшейся от окружности, предустановлены все исчезнувшие ее части, и по ней они могут быть восстановлены. Эти восстанавливаемые части психического организма каждого рождаемого организма могут быть рассматриваемы как нечто новое; но среди их, без сомнения, есть и *прежняя часть*, не возникшая, но только *перешедшая*. Она несет в себе общее искажение, которое было присуще душе родившего, а иногда и некоторое особое, глубокое зло, некоторое *преступление*, которое в ней было *частью*, терявшеюся между другими, а теперь *осталось одно и восстановило около себя целое*. А неся в себе преступление, она несет и *вину его*, и неизбежность *возмездия*. Таким образом, беспорочность детей и, следовательно, невиновность их есть явление, только кажущееся: в них уже скрыта *порочность отцов их*, и с нею — их *виновность*; она только не проявляется, не выказывается в каких-нибудь разрушительных актах, т. е. не ведет за собою новой вины: но *старая вина*, насколько она не получила возмездия, *в них уже есть*. Это возмездие они и получают в своем страдании. Проступок, совершенный отцом, может быть настолько тяжел, что и не может быть возмещен на нем, ни даже посредством его смерти: он растлил, положим, ребенка, развратил существо чистое, которое к нему доверчиво приблизилось. Может ли за это преступление ответить он существом своим? Нет, и преступление его остается скрытым, ненаказанным. Но вот проходят поколения, и возмездие является — в страдании, которое по-видимому непонятно и нарушает законы правды. В действительности же оно восполняет ее.

Одно очень глубокое явление в духовной жизни человека получает здесь свое объяснение: это — *очищающее значение всякого страдания*. Мы несем в себе массу преступности, и с нею — страшную виновность, которая еще ничем не искуплена; и хотя мы ее не знаем в себе, не ощущаем отчетливо, она тяготит нас глубоко, наполняет душу нашу необъяснимым мраком. И всякий раз, когда мы испытываем какое-нибудь страдание, искупляется часть нашей виновности, нечто преступное вы-

ходит из нас, и мы ощущаем свет и радость, становимся более высокими и чистыми. Всякую горесть должен человек благословлять, потому что в ней посещает его Бог. Напротив, чья жизнь проходит легко, те должны тревожиться воздаянием, которое для них отложено.

Возможность такого объяснения не приходила на мысль Достоевскому, и он думал, что страдания детей есть нечто абсолютное, *прившедшее вновь в мир без всякой предшествующей вины*; отсюда понятен его вопрос: кто может простить виновника этого страдания? С этим затруднением связан вопрос об искуплении, втором и центральном мистическом акте, с которым соединены судьбы человека. По имени Искупителя, самая религия наша называется «христианством»; оно и вовлекается в обсуждение здесь в дальнейшей диалектике. Оспаривается искупление, как ранее оспаривалось грехопадение и вечный суд. Эта вторая часть его диалектики, которую, в противоположность первой, *библейской*, можно назвать по ее предмету *евангельскою*, и заключена в несколько причудливую форму «Легенды об инквизиторе».

С критикою акта искупления у Достоевского соединилось изложение скрытой идеи католицизма. Именно идея эта, раскрывая свое содержание, в нем высказывает свой *суд над жизнью и учением Христа* и одновременно обосновывает необходимость своего появления на земле. Анализируя природу человека и сопоставляя ее с учением Христа, престарелый инквизитор, раскрывающий идею своей Церкви, находит несоответствие между первою и вторым. Дары, принесенные Христом на землю, *слишком высоки и не могут быть вмещены человеком*; а поэтому человек и не в силах принять их, т. е. как уразуметь слово Христа, так и привести в исполнение Его заветы. От этого несоответствия требований и способностей, идеала и действительности, человек должен оставаться вечно несчастным: только немногие, сильные духом, могли и могут спастись, следуя Христу и понимая тайну искупления. Таким образом, Христос, отнесшись к человеку с столь высоким уважением, поступил, *«как бы вовсе не любя его»*. Он не рассчитал его природы и совершил нечто великое и святое, но вместе *невозможное, неосуществимое*. Католицизм и есть *поправка к Его делу*, есть понижение небесного учения *до земного понимания*, приспособление божеского к *человеческому*. Но, совершив это, он скрыл тайну изменения в себе; народы же, следуя ему, думают, что следуют Христу. Выносить эту тайну обмана, одна сторона которого обращена к Богу, другая к человечеству, сто́ит глубокого страдания; и его приняли на себя немногие,

руководящие Западною Церковью, ради избавления от страдания всего остального человечества и ради устроения земных его судеб. Таким образом, и здесь любовь к человеку есть движущее начало всей диалектики, а ее орудием является анализ его природы.

Общий же смысл всего этого заключается в том, что самого акта искупления не было: была лишь ошибка; и религии, как хранительницы религиозных тайн — нет, а есть лишь иллюзия, которую необходимо человеку быть обманутым, чтобы хоть как-нибудь устроиться на земле.

И, как окончательный вывод из всей диалектики — отсутствие в действительности религии и абсолютная невозможность ее за отсутствием внешнего для нее основания: мистических актов грехопадения, искупления и вечного суда.

Переходим теперь к детальному обозрению этой мысли, которой только тему мы изложили. На восклицание Алеша: «Это бунт» — Иван отвечает проникновенно:

«— Бунт? Я бы не хотел от тебя такого слова. *Можно ли жить бунтом, а я хочу жить.* Скажи мне сам прямо, я зову тебя, — отвечай: представь, что это ты сам возводишь здание судьбы человеческой с целью в финале осчастливить людей, дать им, наконец, мир и покой: но для этого необходимо и неминуемо предстояло бы замучить всего лишь только крохотное созданище, вот того самого ребеночка, бывшего себя кулачком в грудь, и на неотмытых слезках его основать это здание, согласился ли бы ты быть архитектором на этих условиях, скажи и не лги!

— Нет, не согласился бы, — тихо проговорил Алеша.

— И можешь ли ты допустить идею, что люди, для которых ты строишь, согласились бы сами принять свое счастье на неоправданной крови маленького замученного, а приняв — остаться навеки счастливыми?»

Вот к какой великой и благородной черте человеческой совести, которая одна возносит ее обладателя над безжалостною природой к милосердному Богу, сведен вопрос о восстании против самого Бога. Нельзя колебаться в ответе: если человечество скажет: «Да, могу принять», то оно тотчас же и перестанет быть человечеством, «образом и подобием Божиим», и обратится в собрание зверей; ответ же отрицательный утверждает и оправдывает отказ от вечной гармонии, — и тем все обращает в хаос...

Алеша в смятении; он отвергает возможность принять мировую гармонию на этом условии, и вдруг проговорил, засверкав глазами:

«— Брат, ты сказал сейчас: есть ли во всем мире Существо, которое могло бы и имело право простить? Но Существо это есть, и Оно может все простить, всех и вся и за все, потому что Само отдало неповинную кровь свою за всех и за все. Ты забыл о Нем, а на Нем-то и созиждется здание и это Ему воскликнут: «Прав ты, Господи, ибо открылись пути Твои».

— А, это *Единый безгрешный* и Его кровь»,— говорит Иван, и, вместо ответа, предлагает брату рассказать одну легенду, которая вырисовалась в его уме при размышлении обо всех этих вопросах. Алеша приготовлялся слушать, и Иван начинает.

XI

Сцена переносится в далекую страну, на крайний запад, века раздвигаются, и открывается XVI-е столетие, эпоха смешения и борьбы различных элементов европейской цивилизации: первых путешествий в новооткрытую Америку и религиозных войн, Лютера и Лойолы, шумливых гуманистов и первых генералов ордена иезуитов. Шум и смятение этой борьбы происходят, однако, в центре материка; там же, за Пиренеями, в Испании, только видят далекую борьбу, крепче замыкаются в себе и остаются неподвижны. Еще дальше, в темной глубине времен, виднеется бедная обожженная солнцем страна, где совершилась великая тайна искупления, была пролита на землю кровь за грехи этой земли, для спасения страждущего человечества. Пятнадцать веков уже прошло, как тайна совершилась: погибла чудовищная империя, и на ее остове возник мир иных и свежих народов и государств, которые просветились новою верою, укрепились искупляющею кровью своего Бога и спасителя. С неугасимою жаждою и надеждою они ждут Его, ждут исполнения обетования, которое оставил Его Ученик: «Се, грядущему скоро»— и о времени которого Он сам изрек на земле: «О дне же сем и час не знает даже и Сын, то токмо Отец мой небесный». Даже с большею еще верою ждут Его, ибо «пятнадцать веков уже минуло с тех пор, как прекратили залогом с небес человеку:

Верь тому, что сердце скажет,
Нет залогов от небес»...

и только безграничное упование в святыню слова поддерживает человека. «Но дьявол не дремлет, и в человечестве началось уже сомнение. Как раз явилась тогда на севере, в Германии, страшная новая ересь. Огромная звезда, подобная светильнику,

пала на источники вод, и стали они горьки». Но тем пламеннее верят оставшиеся верными. Слезы человечества восходят к Нему; по-прежнему ждуть Его, любят Его, надеются на Него, жаждут пострадать и умереть за Него, как и прежде. И «вот столько веков молило человечество с верой и пламенем: *бо, Господи, явися нам!* столько веков взывало к Нему, что Он, в неизмеримом сострадании своем, возжелал снизойти к молящим».

Сцена сдвигается, и рассказ сосредоточивается. Открывается Севилья, на знойные улицы которой спускается тихий вечер. Толпы народа расходятся туда и сюда; вдруг появляется Он, — «тихо, незаметно, в том самом образе человеческом, в котором ходил 33 года между людьми пятнадцать веков назад». По виду, по внешности, Он ничем не отличается от остальных, — но, странное дело, «все узнают Его. Народ непобедимою силой стремится к Нему, окружает Его, нарастает кругом Него, следует за Ним. Он молча проходит среди них с тихою улыбкой бесконечного сострадания. Солнце любви горит в Его сердце, лучи Света, Просвещения и Силы текут из очей Его и, изливаясь на людей, сотрясают их сердца ответною любовью. Он простирает к ним руки, благословляет их, и от прикосновения к Нему, даже лишь к одеждам Его, исходит целительная сила. Вот из толпы восклицает старик, слепой с детских лет: *«Господи, исцели меня, да и я Тебя узрю»*, — и вот как бы чешуя сходит с глаз его, и слепой Его видит. Народ плачет и целует землю, по которой идет Он. Дети бросают перед Ним цветы, поют и вопиют Ему: *«Осанна!» «Это Он, это сам Он,* — повторяют все, — *это должен быть Он! это никто как Он!»* Он останавливается на паперти Севильского собора в ту самую минуту, когда во храм вносят с плачем детский открытый белый гробик: в нем семилетняя девочка, единственная дочь одного знатного гражданина. Мертвый ребенок лежит весь в цветах. *«Он воскресит твое дитя»*, — кричат из толпы плачущей матери. Вышедший на встречу гроба соборный патер смотрит в недоумении и хмурит брови. Но вот раздается вопль матери умершего ребенка, она повергается к ногам Его. *«Если это Ты, то воскреси дитя мое!»* — восклицает она, простирая к Нему руки. Процессия останавливается, гробик опускают к ногам Его, Он глядит с состраданием, и уста Его тихо еще раз произносят: *«Талифа куми»* — «и возста девица». Девочка подымается в гробе, садится и смотрит, улыбаясь, удивленными, раскрытыми глазками кругом. В руках ее букет белых роз, с которым она лежала в гробу. В народе смятение, крики, рыдания».

В это самое время проходит мимо собора девяностолетний

старик, с исхудалым лицом, в грубой волосяной рясе, кардинал Римской церкви и вместе Великий Инквизитор страны. Он останавливается, издали наблюдает все происходящее, и взгляд его омрачается. Крики народа доносятся до него, он слышит рыдания стариков и «осанна» из детских уст, видит поднимающегося из гроба ребенка; и вот, обертываясь, он подзывает жестом священную стражу и указывает ей на Виновника смятения и торжества. И народ, «уже приученный, покорный и трепетный», раздвигается; воины подходят к Нему, берут Его и уводят. Толпа склоняется до земли перед сумрачным стариком, он благословляет народ и проходит далее. Пленник приводится в темное подземелье Святого Судилища и запирается там.

Вечер кончается, и настает «тихая и бездыханная» южная ночь. Воздух горяч еще и сильнее наполнен ароматом цветущего лавра и лимона. Среди тишины вдруг заскрипели ржавые петли тюремной двери, она отворяется, и в подземелье входит старик-Инквизитор. Дверь запирается за ним тотчас, и он остается наедине со своим Пленником. Долго он всматривается в Его лицо, ставит тусклый светильник на стол, подходит ближе и шепчет: «Это Ты? Ты? — Но, не получая ответа, быстро прибавляет: — Не отвечай, молчи. Да и что бы Ты мог сказать? Я слишком знаю, что Ты скажешь. Да Ты и права не имеешь ничего прибавить к тому, что уже сказано Тобою прежде. *Зачем же Ты пришел нам мешать?* Ибо Ты пришел нам мешать, и Сам это знаешь. Но знаешь ли, что будет завтра? Я не знаю, кто Ты, и знать не хочу: Ты ли это, или только подобие Его, но завтра же я осужу и сожгу Тебя на костре, как злейшего из еретиков, и тот самый народ, который сегодня целовал Твои ноги, завтра же, по одному моему мановению, бросится подгребать к Твоему костру угли, — знаешь Ты это? Да, Ты, может быть, это знаешь», — прибавил он в проникновенном раздумье, ни на мгновение не отрываясь взглядом от своего Пленника.

В этих напряженных, порывистых словах уже взяты все вариации последующей диалектики: признание Божественного^с сохранено до ясности ощущения Его, до созерцания; и ненависть к Нему простирается до угрозы — завтра же истребить Его, сжечь и растоптать. Это — величайшее в истории соединение и одновременно разъединение человеческой души с ее Предвечным Источником. Вдали, как в перспективе, показывается какое-то странное отношение к народу, к миллионам пасомых душ: в этом отношении есть несомненно тревожная забота, т. е. уже *любовь*, и вместе *презрение*, и какой-то *обман*,

что-то скрытое. В молчании Пленника и в словах: «Да, Ты, можешь быть, это знаешь» — скользит кощунственная мысль, что для самого Спасителя открывающаяся сцена обнаруживает что-то новое и неожиданное, какую-то великую тайну, которой Он не знал ранее и начинает понимать только теперь. И тайну эту хочет Ему высказать человек: «дрожащая тварь» чувствует в себе такую силу убеждения, вынесенного из всей своей судьбы, что не боится встать с ним и за него перед своим Творцом и Богом.

Во всем дальнейшем исповедании, которое высказывает старик, раскрывается движущая идея Римской Церкви; но очень трудно отрешиться от мысли, что эта идея есть вместе и исповедание всего человечества, самое мудрое и проникновенное сознание им судеб своих, и притом как минувших, так, и это главным образом, будущих. Западная Церковь, конечно, есть только романское понимание христианства, как Православие — греко-славянское его понимание, и протестантизм — германское. Но дело в том, что из этих трех ветвей, на которые распалась всемирная Церковь, только первая возросла во всю величину своих сил; другие же две лишь возрастают. Католицизм закончен, завершен в своем внутреннем сложении, он отчетливо сознал свой смысл и непреодолимо до нашего времени стремится провести его в жизнь, подчинить ему историю; напротив, другие две Церкви чужды столь ясного о себе сознания. Вот почему, повторяем, невозможно удержаться от того, чтобы не обобщить до крайней степени, до объема всего человечества и всей истории, странное признание Инквизитора, высказываемое наедине Христу.

Он начинает с утверждения, что все завещанное Христом учение, как оно сохранено Провидением, есть нечто вечное и неподвижное, и как изъять из него ничего нельзя, так нельзя и ничего к нему надбавить. Оно вошло уже, как камень во главу угла, в воздвигнувшуюся часть всемирной истории, и было бы поздно теперь что-нибудь поправлять, уяснять или ограничивать в нем: это пошатнуло бы пятнадцать веков зиждательной работы. И это не только по отношению к человечеству, которое не может же постоянно перестраиваться, но и в отношении Бога — чем было бы новое откровение, *дополнение* к сказанному, как не сознание *недостаточности* сказанного уже, и кем же? сказанного самим Богом! Наконец, и это самое главное, подобное дополнение было бы нарушением человеческой свободы: Христос оставил человечеству образ Свой, которому оно могло бы следовать свободным сердцем, как идеалу, соответствующему его (скрыто божественной) природе, отвечаю-

щему его смутным влечениям. Следование это должно быть свободно, в этом именно состоит его нравственное достоинство. Между тем, всякое новое откровение с неба явилось бы как *чудо* и внесло бы в историю *принуждение*, отняло бы у людей свободу выбора и с ним нравственную заслугу. Поэтому, смотря на Христа и думая о втором обещанном пришествии Его на Землю, Инквизитор говорит: «Теперь Ты не приходи хоть вовсе не приходи до времени, по крайней мере», — поправляется он, думая о незавершенности пока своего дела на земле.

Он все время странно задумчив; перед ликом Спасителя, контраст между великими заветами Его и действительностью представляется ему особенно ярким и вызывает в нем грустную иронию. Он припоминает Христа, как часто, пятнадцать веков назад, он говорил людям: «Хочу сделать вас *свободными*» — и добавляет: «Вот, Ты теперь увидел этих свободных людей». Ирония замечания этого относится не только к тем, кого хотел возвысить Христос своим учением, но и к Нему самому. «Это дело, — продолжает он, — нам дорого стоило, но мы докончили его — во имя Твое. Пятнадцать веков мучились мы с этою свободой, но теперь это кончено, и конечно крепко».

Здесь говорится про начало авторитета, которое всегда и глубоко проникало Римскую Церковь и было причиною гораздо большей ее нетерпимости ко всяким отступлениям от догмы, нежели какая была присуща другим Церквам. В XVI веке, к которому относится описываемая сцена, необходимость авторитета и нерассуждающего подчинения была особенно сильно сознана Римом в виду угрожающего движения реформации, нарушившей тысячелетнее духовное единство Западной Европы. Явления, в которых оно выразилось, были: введение инквизиции и цензуры книг; проводниками этой идеи выступили: Тридентский собор и орден иезуитов с его учением о безусловном подчинении старшим, о совершенном подавлении индивидуальной воли. Но, как и повсюду в рассматриваемой «Легенде», указание на основную черту католицизма сделано потому только, что она ответила собою на некоторую вековую нужду человечества, и, следовательно, выразила в себе вечную же необходимую особенность его истории. Это становится ясно из дальнейших объяснений Инквизитора; он говорит:

«Только теперь, когда мы поборолли свободу, стало возможным помыслить в первый раз о *счастьи людей*. Человек был устроен бунтовщиком; разве бунтовщики могут быть счастливыми?» — спрашивает он.

Христос принес на землю *истину*; Инквизитор же говорит,

что земная жизнь человека управляется законом *страдания*, вечного убегания от него или, когда это невозможно — вечного следования по пути наименьшего страдания. Между истиною, которая безотносительна и присуща только абсолютному Богу, и между этим законом страдания, которому подчинен человек вследствие относительности своей природы, лежит непереступаемая бездна. Пусть, кто может, влечет человека по пути первой; он будет следовать всегда по пути второго. Это именно и высказывает Инквизитор: не отрицая высоты принесенной Спасителем истины, он отрицает только соответствие этой истины с природою человека и, с тем вместе, отрицает возможность следования его за ней. Другими словами, он отвергает, как невозможное, построение земных судеб человека на заветах Спасителя и, следовательно, утверждает необходимость построения их на каких-то *иных* началах.

К ним он тотчас и переходит. Но прежде чем обратиться к их рассмотрению, отметим факт коренного изменения в воззрении Достоевского на человеческую свободу, которое произошло у него со времени «Записок из подполья». Там, так же как и здесь, свободная воля человека выставляется как главное препятствие к окончательному устройению человеческих судеб на земле; но, в силу этого, отрицается только необходимость и возможность подобного устройства, а сама свобода остается человеку, как его драгоценнейшая черта. Во взгляде на эту свободу там есть что-то одобрительное, и в этой одобрительности слышен бодрый тон еще не усталого человека. Достоевский с видимым удовольствием рисует себе картину, как в момент всеобщего благополучия, наконец достигнутого, вдруг явится человек «с ретроградною и насмешливою физиономией», который скажет своим счастливым и только несколько скучающим братьям: «А что, не столкнуть ли нам все это благоразумие с одного разу, ногой, прахом,— единственно с тою целью, чтобы все эти логарифмы отправились к черту и чтоб нам опять на своей глупой воле пожить». С тех пор многое в воззрениях Достоевского изменилось, нет прежней бодрости в его тоне, и также нет более насмешливости и шуток. Сколько страдания за человека выносил он в себе и сколько ненависти к человеку — об этом свидетельствует весь ряд его последующих произведений, и между ними «Преступление и наказание», с его безотчетными мучениками, с его бессмысленными мучителями. Усталость и скорбь сменили в нем прежнюю уверенность, и жажда успокоения сказывается всего сильнее в «Легенде». Высокие дары свободы, истины, нравственного подвига — все это отстраняется, как тягостное, как из-

лишнее для человека; и зовется одно: *какое-нибудь* счастье, *какой-нибудь* отдых для «жалкого бунтовщика» и все-таки измученного, все-таки болящего существа, сострадание к которому заглушает все остальное в его сердце, всякий порыв к божескому и высокочеловеческому. «Легенду об Инквизиторе» до известной степени можно рассматривать как идею окончательного устройства судеб человека, что безусловно было отвергнуто в «Записках из подполья»; но с тою разницею, что тогда как там говорилось об устройении *рациональном*, основанном на тонком и детальном изучении законов физической природы и общественных отношений, здесь говорится об устройении *религиозном*, исходящем из глубочайшего проникновения в *психический строй человека*.

«Тебя предупреждали,— говорит Инквизитор Христу.— Ты не имел недостатка в предупреждениях и указаниях, но Ты не послушал их и отверг единственный путь, которым можно было устроить людей счастливыми». И затем он высказывает свою идею, следя за которою серьезно, невозможно не ощутить некоторого ужаса, который тем сильнее возрастает, чем яснее чувствуешь ее неотразимость. Нити всемирной истории, как она совершилась уже, будущие судьбы человека, как их можно предугадывать, мистический полусвет и непостижимое соединение неутолимой жажды веры с отчаянием в бытии для нее какого-либо объекта, все это сплелось здесь удивительным способом и в целом своем образовало слово, которое мы не можем не принять как самое глубокое, самое проникновенное и мудрое, что — с одной возможной для человека точки зрения — было когда-нибудь им о себе подумано.

XII

«Страшный и умный Дух, Дух самоуничтожения и небытия — так начинает Инквизитор.— Великий Дух говорил с Тобою в пустыне, и нам передано в книгах, что он будто бы *искушал* Тебя... Так ли это? И можно ли было сказать хоть что-нибудь истиннее того, что он возвестил Тебе в трех вопросах,* и что Ты отверг и что в книгах названо *искушениями*? А между тем, если было когда-нибудь на земле совершено настоящее, громовое чудо, то это в тот день, в день этих трех искушений. Именно в появлении этих трех вопросов и заключалось чудо. Если бы возможно было помыслить, лишь для пробы и для примера, что три эти вопроса Страшного Духа бесследно утрачены в книгах и что их надо восстановить, вновь придумать и сочинить, чтобы внести опять в книги, и для этого

собрать всех мудрецов земных — правителей, первосвященников, ученых, поэтов — и задать им задачу: придумай, сочини три вопроса, но такие, которые мало того, что соответствовали бы размеру события, но и выражали бы, сверх того, в трех словах, в трех только фразах человеческих *всю будущую историю мира и человечества* — то думаешь ли Ты, что вся премудрость земли, вместе соединившаяся, могла бы придумать хоть что-нибудь подобное по силе и по глубине тем трем вопросам, которые действительно были предложены Тебе тогда могучим и умным Духом в пустыне? Уж по одним вопросам этим, лишь по чуду их появления, можно понимать, что имеешь дело не с человеческим текущим умом, но с вековечным и абсолютным. Ибо в этих трех вопросах как бы совокуплена в одно целое и предсказана вся дальнейшая история человеческая, — и явлены три образа, в которых сойдутся все неразрешимые исторические противоречия человеческой природы на всей земле. Тогда это не могло быть еще так видно, ибо будущее было неизвестно; но теперь, когда прошло пятнадцать веков, — мы видим, что все в этих трех вопросах до того угадано и предсказано, и до того оправдалось, что прибавить к ним или убавить от них ничего нельзя более».

Пятнадцать веков минувшей истории здесь названы потому только, что самый разговор Инквизитора с Христом представляется происходящим в XVI-м столетии; но он писался в XIX в., и, если бы возможно было сделать это без грубого нарушения правдоподобия, Инквизитору следовало бы согласиться на все девятнадцать веков: все, о чем он говорит далее и на что указал словами — «это не могло быть видно тогда» — обнаружилось окончательно только в наше, текущее столетие, и никаких даже предвестников этого не было еще в эпоху, когда происходила описываемая сцена. Как это ни странно, перенесение исторических противоречий, раскрывшихся в XIX веке, в беседу, происходящую в XVI веке, не производит никакого дурного впечатления и даже не замечается: в разбираемой «Легенде» все временное до того отходит на задний план и выступают вперед черты только глубокого и вечного в человеке, что смешение в ней прошлого, будущего и настоящего, как бы совмещение всего исторического времени в одном моменте, не только не является чем-то чудовищным, но, напротив, совершенно уместно и кажется необходимым. Уже в приведенных словах Инквизитора мы чувствуем, что он как будто сам забывает, что обращает свою речь к другому: она звучит, как *монолог*, как *исповедь веры* 90-летнего старика, и чем далее она развивается, тем яснее выступает из-за

его «высокой и прямой фигуры» небольшая и истощенная фигурка человека XII века, выносившая в душе своей гораздо более, нежели мог выносить старик, хотя бы и «вкушавший акриды и мед в пустыне» и сожигавший потом еретиков сотнями «ad maiorem gloriam Dei»*.

Инквизитор с точки зрения трех искушений, как бы образно представивших будущие судьбы человека, начинает говорить об этих судьбах, анализируя смысл самых искушений. Таким образом, вскрытие смысла истории и как бы измерение нравственных сил человека делается здесь в виде обширного толкования на краткий текст Евангелия. Вот как записано о самом искушении и первом «вопросе Духа» у Евангелиста Матфея: «Тогда Иисус возведен был духом в пустыню искутиться от Дявола. И постился дней сорок и ночей сорок, но напоследок взалкал. И приступил к Нему Искуситель, и сказал: *Если ты Сын Божий, то скажи, чтобы камни эти стали хлебами.* Он же, отвечая, сказал ему: *Написано: не хлебом одним жив будет человек, но всяким словом, исходящим из уст Божиих»* (IV, 1—3).

«Реши же Сам,— говорит Инквизитор,— кто был прав, Ты или тот, который тогда вопрошал Тебя? Вспомни первый вопрос; хоть и не буквально, но смысл его тот: «Ты хочешь идти в мир и идешь с голыми руками, с каким-то обетом свободы, которого они, в простоте своей и в прирожденном бесчинстве своем, не могут и осмыслить, которого боятся они и страшатся,— ибо никогда и ничего не было для человека и для человеческого общества невыносимее свободы! А видишь ли сии камни в этой нагой и раскаленной пустыне? *Обрати их в хлебы, и за Тобой побежит человечество, как стадо, благодарное и послушное, хотя и вечно трепещущее, что Ты отымешь руку Свою и прекратятся им хлебы Твои.* Но Ты не захотел лишить человека свободы и отверг предложение: ибо какая же свобода, рассудил Ты, если послушание куплено хлебами. Ты возразил, что человек жив не единым хлебом: *но знаешь ли, что во имя этого самого хлеба земного и восстанет на Тебя Дух Земли, и сразится с тобою, и победит Тебя, и все пойдут за ним, восклицая: «Кто подобен Зверю сему,— он дал нам огонь с небеси!»*»

Здесь в апокалиптическом образе представлено восстание всего земного, тяготеющего долу в человеке, против всего небесного в нем, что устремляется вверх, и указан победный исход этого восстания, которого мы все — грустные свидетели. Нужда, гнетущее горе, боль несогретых членов и голодного желудка

* К вящей славе божией (лат.).

заглушит искру божественного в человеческой душе, и он отвернется от всего святого и преклонится, как перед новою святынею, перед грубым и даже низким, но кормящим и согревающим. Он осмеет, как ненужных людей, своих прежних праведников и преклонится перед новыми праведниками, станет составлять из них новые календари святых и чтить день их рождения, как «благодетелей человечества». Уже Ог. Конт на место христианства, которое он считал отживающею религиею, пытался изобрести некоторое подобие нового религиозного культа, с празднествами и чествованием памяти великих людей, — и культ служения человечеству все сильнее и сильнее распространяется в наше время, по мере того, как ослабевает служение Богу. Человечество обоготворяет себя, оно прислушивается теперь только к своим страданиям, и утомленными глазами ищет кругом, кто бы утолил их, утишил или, по крайней мере, заглушил. Робкое и дрожащее, оно готово кинуться за всяким, кто что-нибудь для него сделает, готово благоговейно преклониться перед тем, кто удачною машиною облегчит его труд, новым составом удобрит его поле, заглушит хотя бы путем вечной отравы его временную боль. И смятенное, страдающее, оно точно утратило смысл целого, как будто не видит за подробностями жизни своей главного и чудовищного зла, со всех сторон на нее надвигающегося: что чем более пытается человек побороть свое страдание, тем сильнее оно возрастает и всеобъемлющее становится, — и люди уже гибнут не единицами, не тысячами, но миллионами и народами, все быстрее и все неудержимее, забыв Бога и проклиная себя.

Мы приведем величественный образ из Откровения св. Иоанна, — откровения о судьбах Церкви Божией на земле и также рода человеческого, около нее волнующегося, ее усиливающегося поглотить; образы здесь выражают иносказательно циклы в развитии этих судеб и своим характером определяют их общий, отвлеченный от всех подробностей, смысл: «И стал я на песке морском и увидел выходящего из моря Зверя с семью головами и десятью рогами: на рогах его было десять диадем, а на головах его — имена богохульные. И дал ему Дракон силу свою, и престол свой, и власть великую. И видел я, что одна из голов его как бы смертельно была ранена; но эта смертельная рана исцелела. И дивилась вся земля, следя за Зверем, и поклонились Дракону, который дал власть Зверю, говоря: *Кто подобен Зверю сему? и кто может сразиться с ним?* И даны были ему уста, говорящие гордо и богохульно; и дана была власть действовать сорок два месяца. И отверз он уста свои для хулы на Бога, чтобы хулить имя Его, и жилище

его, и живущих на небесах. И дано было ему вести брань со святыми и победить их; и дана была ему власть над всяким коленом людей, и над родом, и языком и племенем. И поклонятся ему все живущие на земле, которых имена не написаны в книге жизни у Агнца, закланного от создания мира. Кто имеет ухо — да слышит. Если кого в пленение возьмет — в пленение пойдет, если кого оружием убьет — подобает ему быть оружием убитым. Здесь — терпение и вера святых» (Апок., XIII).

Знание кормящее, но уже не просвещающее человека, великий промен духовных даров на вещественные дары, чистой совести — на сытое брюхо, представлены в этом поразительном образе. С заботою об «едином хлебе» закроются алтари, исчезнет великая устрояющая сила, и люди вновь примутся за возведение здания на песке, за построение своими силами и своею мудростью Вавилонской башни своей жизни. На все это указывает Инквизитор в проникновенных словах, и тут же предсказывает, чем все это кончится:

«Знаешь ли Ты, — говорит он, — что пройдут века и человечество провозгласит устами своей премудрости и науки, что *преступления — нет*, а, стало быть — *нет и греха*, а есть лишь только голодные». «Накорми, тогда и спрашивай с них добродетели!» — вот что напишут на знамени, которое воздвигнут против Тебя и который *разрушится храм Твой*. На месте храма Твоего воздвигнется новое здание, воздвигнется вновь страшная Вавилонская башня; и хотя и эта не достроится, как и прежняя, но все же Ты бы мог избежать этой новой башни и на тысячу лет сократить страдания людей, — *ибо к нам же, ведь, придут они, промучавшись тысячу лет со своего башнею!* Они отыщут нас тогда опять под землей, в катакомбах, скрывающихся — ибо мы будем вновь гонимы и мучимы, — найдут нас и возопиют к нам: «Накормите нас, ибо те, которые обещали нам огонь с небеси, его не дали». И тогда уже *мы и достроим их башню*, ибо достроит тот, кто накормит, а накормим лишь мы, во имя Твое, — и солжем, что во имя Твое. *О, никогда, никогда без нас они не накормят себя!* Никакая им наука не даст хлеба, пока они будут оставаться свободными, но кончится тем, что они принесут свою свободу к ногам нашим и скажут нам: «Лучше *поработите* нас, но *накормите* нас». Поймут наконец сами, что свобода и хлеб земной вдоволь для всякого — вместе немислимы: ибо никогда не сумеют они разделиться между собою! Убедятся тоже, что не могут быть никогда свободными, потому что малосильны, порочны, ничтожны и бунтовщики. Ты обещал им хлеб небесный, но, повторяю опять, может ли

он сравниться в глазах слабого, вечно порочного и вечно неблагодарного людского племени — с земным? И если за Тобою, во имя хлеба небесного, пойдут тысячи и десятки тысяч, то что станется с миллионами и с десятками тысяч миллионов существ, которые не в силах будут пренебречь хлебом земным для небесного?»?

XIII

«Или Тебе дороги, — продолжает Инквизитор, — лишь десятки тысяч великих и сильных, — остальные же миллионы, многочисленные как песок морской, слабых, но любящих Тебя, должны лишь послужить матерьялом для великих и сильных?»?

Этими словами начинается поворот в его мысли, обращение ее к вечному смыслу истории, который несовместим с абсолютной правдой и милосердием. Пока этот смысл только мельком указывается, но затем на нем именно Инквизитор и оснует свое отрицание.

Слишком известен взгляд, по которому высший цвет культуры вырабатывается только немногими избранными, людьми высших способностей; и для того, чтобы они могли выполнять свою миссию свободно и неторопливо, им доставляется обеспечение и досуг трудом и страданиями нищенской жизни огромных народных масс. Мы пройдем мимо этот взгляд, слишком грубый, чтобы на нем останавливаться, и приведем, чтобы сделать ясною последующую речь Инквизитора, слова из Откровения св. Иоанна, «о малом числе избранных и оправданных» в день Последнего Суда. Очевидно, этот именно высший и проникающий в сердце образ имеет он в виду, развивая далее свою мысль:

«И взглянул я, и вот Агнец стоит на горе Сионе, и с Ним сто сорок четыре тысячи, у которых имя Отца Его написано на челах.

И услышал я голос с неба, как шум от множества вод и как звук сильного грома; и услышал голос как бы гуслистов, играющих на гуслиях своих.

Они поют как бы новую песнь пред Престолом и пред четырьмя животными и старцами: и никто не мог научиться этой песне, кроме сих ста сорока четырех тысяч, искупленных от земли.

Это те, которые не осквернились с женами — ибо они девственники; это те, которые следуют за Агнцем, куда бы Он

ни пошел. Они искуплены из людей, как первенцы Богу и Агнцу.

И в устах их нет лукавства, они непорочны пред Престолом Божиим» (Апокал., г. XIV, ст. 1—5).

Какой чудный, зовущий идеал в этом образе; как поднимает он в нас тоскующее желание; как мало удивляемся мы, только взглянув на него, глубокому и быстрому перевороту, какой совершило Евангелие на переходе из древнего мира в новый.

И, все-таки, именно потому, что красота этого идеала так велика, что один уже порыв к нему дает счастье — в нас тотчас пробуждается неодолимая жалость к тем «многочисленным как песок морской» человеческим существам, которые, выделив из себя эти «сто сорок четыре тысячи» — остались где-то забытыми и затоптанными в истории.

Это чувство жалости наполняет и душу Инквизитора, и он говорит твердо: «Нет, нам дороги и *слабые*», и быстро мелькает в его уме мысль о том, как он и те, которые поймут его, устроятся с этими слабыми: но уже устроятся совершенно одни, *без Него*, хотя, за отсутствием другой устроящей идеи, *во имя Его*:

«Они порочны и бунтовщики, — говорит он, — но под конец они-то и станут послушными. Они будут дивиться на нас и будут считать нас за богов за то, что мы, став во главе их, согласились выносить свободу и над ними господствовать, — так ужасно им станет под конец быть свободными! Но мы скажем, что послушны Тебе и господствуем во имя Твое. Мы их обманем опять, ибо Тебя уже мы не пустим к себе. В обмане этом и будет заключаться наше страдание, ибо мы должны будем лгать».

И затем он переходит к неугасимым требованиям человеческой души, зная которые и отвечая на них, можно и следует воздвигнуть окончательное, вековечное здание его земной жизни. «В вопросе о хлебах, — говорит он, — заключалась великая тайна мира сего; приняв *хлебы*, Ты бы ответил на всеобщую вековечную тоску человеческую — как единоличного существа, так и целого человечества вместе — это: «*перед кем преклониться*». Нет заботы непрерывнее и мучительнее для человека, как, оставшись свободным, — сыскать поскорее то, перед чем преклониться. Но ищет человек преклониться пред тем, что уже бесспорно, столь бесспорно, чтобы все эти люди разом согласились на всеобщее пред ним преклонение. Ибо забота этих жалких созданий не в том только состоит, чтобы сыскать то, пред чем мне или другому преклониться, но чтобы сыскать

такое, чтоб и все уверовали в него и преклонились пред ним, и чтобы непременно *все вместе*. Вот эта потребность *общности* преклонения и есть главнейшее мучение каждого человека единолично, как и целого человечества с начала веков. Из-за всеобщего преклонения они истребляли друг друга мечом. Они созидали богов и зывали друг к другу: «Бросьте ваших богов и придите поклониться нашим, не то смерть вам и богам вашим». И так будет до скончания мира, даже и тогда, когда исчезнут в мире и боги: все равно — падут пред идолами. Ты знал, Ты не мог не знать эту основную тайну природы человеческой; но Ты отверг единственное абсолютное знамя, которое предлагалось Тебе, чтобы заставить всех преклониться пред Тобою бесспорно, — *знамя хлеба земного*, и отверг во имя свободы и хлеба небесного. Взгляни же, что сделал Ты далее, — и все опять во имя свободы! Говорю Тебе, что нет у человека заботы мучительнее, как найти того, кому бы передать поскорее тот дар свободы, с которым это несчастное существо рождается. Но овладевает свободой людей лишь тот, кто успокоит их совесть. С хлебом давалось Тебе бесспорное знамя: дашь хлеб — и человек преклонится, ибо ничего нет бесспорнее хлеба; но если в то же время кто-нибудь овладеет его совестью помимо Тебя, — о, тогда он даже бросит хлеб Твой и пойдет за тем, который обольстит его совесть. В этом Ты был прав. Ибо тайна бытия человеческого заключается не в том, чтобы *только жить*, а в том, *для чего жить*. Без твердого представления себе, *для чего* ему жить, человек не согласится жить, и скорее истребит себя, чем останется на земле, — хотя бы кругом его все были хлебы. Это так. Но что же вышло? Вместо того, чтобы овладеть свободой людей, Ты увеличил им ее еще больше! Или Ты забыл, что спокойствие и даже смерть человеку дороже* свободного выбора в познании добра и зла? Нет ничего обольстительнее для человека, как свобода его совести, но нет ничего и мучительнее. И вот, вместо твердых основ для успокоения совести человеческой раз навсегда — Ты взял все, что есть необычайного, гадательного и неопределенного, взял все, что было не по силам людей, а потому поступил, как бы и не любя их вовсе, — и это Кто же? Тот, Который пришел отдать за них жизнь свою! Вместо того, чтоб овладеть людскою свободой, Ты умножил ее и обременил ее мучениями душевное царство человека навеки. Ты возжелал *свободной любви человека*, чтобы свободно пошел он за То-

* Без сомнения, это обмолвка, и нужно читать: «удобнее, выгоднее, нужнее и лучше».

бою, прельщенный и плененный Тобою. Вместо твердого древнего закона — свободным сердцем должен был человек решать впредь сам, что добро и что зло, имея лишь в руководстве Твой образ пред собою, — но неужели Ты не подумал, что он отвергнет же наконец и оспорит даже и Твой образ и Твою правду, если его угнетут таким страшным бременем, как свобода выбора? Они воскликнут, наконец, что правда не в Тебе, — ибо невозможно было оставить их в смятении и мучении более, чем сделал Ты, оставив им столько забот и неразрешимых задач. Таким образом, сам Ты и положил основание к разрушению Своего же Царства, и не вини в этом никого более».

Другими словами, учение, пришедшее спасти мир — своею высотой и погубило его, внесло в историю не примирение и единство, но хаос и вражду. История не закончена; и, между тем, она должна закончиться, именно этого ищут народы в своей жажде найти предмет общего и согласного поклонения. Они и истребляют друг друга для того, чтобы, хотя путем гибели многих непримиренных, наконец соединились оставшиеся. Христианство не ответило этой потребности человеческого сердца, предоставив все индивидуальному решению, ложно надеявшись на человеческую способность к различению добра и зла. Даже древний, не столь высокий, но точный и суровый закон более удовлетворял этой потребности: побиение камнями извергало всякого, кто отступал от него, и люди оставались в единстве, хотя насильственном. Еще лучше ответило бы этой потребности, правда, уже совсем грубое средство — «земные хлебы», *закрытие* от глаз человека всего *небесного*. Напитав его, оно усыпило бы тревоги его совести.

Мы не отойдем, кажется, далеко от истины, если скажем, что с искушением прибегнуть, овладевая судьбами человечества, к «земным хлебам», здесь разумеется один страшный, но действительно мощный исход из исторических противоречий: это — *понижение психического уровня* в человеке. Погасить в нем все неопределенное, тревожное, мучительное, упростить его природу до ясности коротких желаний, понудить его *в меру* знать, *в меру* чувствовать, *в меру* желать — вот средство удовлетворить его, наконец, и успокоить...

XIV

Все более и более склоняя свою речь к переходу от хаоса, в который ввергло человечество христианство и его учение о свободе, к изображению будущего и окончательного успокоения его на земле, Инквизитор обращается к разбору двух осталь-

ных искушений дьявола. Вот слова, в которых они записаны у Евангелистов Матфея и Луки:

«Тогда берет Его дьявол во Святой Град и поставляет Его на крыле храма и говорит Ему: «Если Ты Сын Божий — бросься вниз; ибо о Том написано: *Ангелом своим заповедает о Тебе сохранить Тебя, и на руках понесут Тебя, да не преткнешься о камень ногою Твоею*». Иисус же сказал ему: «Написано также — *не искушай Господа Бога Твоего*».

И вновь берет Его Дьявол, и, возведя на высокую гору, показывает все царства Вселенной во мгновении времени; и говорит Ему: «Все это дам Тебе, если, падши, поклонись мне». Тогда Иисус говорит ему: «Отойди от меня, Сатана! Ибо написано — *Господу Богу твоему поклоняйся и Ему Единому служи*».

Тогда оставляет Его Дьявол, и се Ангелы приступили и служили ему» (Матф., гл. IV, ст. 5—11, Луки, IV, 5).

Инквизитор, сказав об элементах саморазрушения, которыми наполнено христианство, продолжает, обращаясь к Христу: «Между тем, то ли предлагалось Тебе? Есть три силы, единственные три силы на земле, могущие навеки победить и пленить совесть этих слабосильных бунтовщиков для их счастья. Эти силы: *чудо, тайна и авторитет*. Ты отверг и то, и другое, и третье, и Сам подал пример тому. Когда страшный и премудрый Дух поставил Тебя на вершине Храма и сказал Тебе: «Если хочешь узнать, Сын ли Ты Божий, то верзись вниз, ибо сказано про Того, что ангелы возьмут и понесут Его, и не упадет, и не преткнется, и узнаешь тогда, Сын ли Ты Божий, и докажешь тогда, какова вера Твоя в Отца Твоего», — то Ты, выслушав, отверг предложение и не поддался и не бросился вниз. О, конечно Ты *поступил тут гордо и великолепно, как Бог*, но люди-то, но слабое бунтующее племя это — оно-то боги ли? О, Ты понял тогда, что, сделав лишь шаг, движение броситься вниз, Ты тотчас бы и искусил Господа, и веру в Него всю потерял, и разбился бы о землю, которую спасти пришел, и *возрадовался бы умный Дух*, искушавший Тебя».

Удивительно неверие в мистический акт искупления, выраженное в *первых* отмеченных нами словах, соединенное с совершенною верою в искушение Иисуса и даже в мистическое значение этого искушения, в попытку Дьявола помешать пришествию Его, как Спасителя, в мир, которая выражена в *последних* отмеченных словах.

«Но, повторяю, — продолжает Инквизитор, — много ли таких, как Ты? И неужели Ты в самом деле мог допустить

хоть минуту, что и людям будет под силу подобное искушение? Так ли создана природа человеческая, чтобы отвергнуть чудо,— и в такие страшные моменты жизни, моменты самых страшных, основных и мучительных душевных вопросов своих оставаться лишь с свободным решением сердца? О, Ты знал, что подвиг Твой сохранится в книгах, достигнет глубины времен и последних пределов земли, и понадеялся, что, следуя Тебе, и человек останется с Богом, не нуждаясь в чуде. Но Ты не знал, что чуть лишь человек отвергнет чудо, то тотчас отвергает и Бога, ибо человек ищет не столько Бога, сколько чудес. И так как человек остается без чуда не в силах, то создаст себе новых чудес, уже собственных, и поклонится уже знахарскому чуду, бабьему колдовству, хотя бы он сто раз был бунтовщиком, еретиком и безбожником. Ты не сошел со креста, когда кричали Тебе, издеваясь и дразня Тебя: *сойди со креста — и уверуем, что это ты*. Ты не сошел: потому что опять-таки не захотел поработить человека чудом и жаждал свободной веры, а не чудесной. Жаждал свободной любви, а не рабских восторгов невольника пред могуществом, раз навсегда его ужаснувшим. Но и тут Ты судил о людях слишком высоко, ибо, конечно, они невольники, хотя созданы бунтовщиками. Озрись и суди; вот прошло пятнадцать веков, поди посмотри на них: кого Ты вознес до Себя? *Клянусь, человек слабее и ниже создан, чем Ты о нем думал!*.. Столь уважая его, Ты поступил, как бы перестав ему сострадать, потому что слишком много от него потребовал, и это кто же? — Тот, Который возлюбил его более Самого Себя! Уважая его менее, менее бы от него и потребовал, а это было бы ближе к любви, ибо легче была бы ноша его».

Из чрезмерной высоты заветов Спасителя вытекло непонимание их человеком, сердце которого извращено и ум потемнен. Над их великою непорочностью, чудною простотою и святостью, он наглумится, надругается,— и это одновременно с тем, как преклонится перед вульгарным и грубым, но поражающим его пугливое воображение. Мощными словами Инквизитор рисует картину восстания против религии, только малый уголок которого видела еще всемирная история, и пронизающим взглядом усматривает то, что за этим последует:

«Человек слаб и подл. Что в том, что он теперь повсеместно бунтует против нашей власти, и гордится, что он бунтует! Это гордость ребенка и школьника. Это маленькие дети, взбунтовавшиеся в классе и выгнавшие учителя. Но придет конец и восторгу ребятишек — он будет дорого стоить им. Они ниспровергнут храмы и зальют кровью землю. Но догадаются нако-

нец, глупые дети, что хотя они бунтовщики, но бунтовщики слабосильные, собственного бунта своего не выдерживающие* Обливаясь глупыми слезами своими, они сознаются наконец, что создавший их бунтовщиками, без сомнения, хотел *посмеяться* над ними. Скажут это они в отчаянии, и сказанное ими будет богохульством, от которого они станут еще несчастнее, — ибо природа человеческая не выносит богохульства и, в конце концов, сама же всегда и отмстит за него».

Затем, подводя общий итог совершившемуся в истории, Инквизитор переходит к раскрытию своей тайны, которая состоит в *поправлении* акта искупления через принятие всех трех советов «могучего и умного Духа пустыни», — что, в свою очередь, совершилось ради любви к человечеству, для устройства земных судеб его. Оправдание им этого преступного исправления возводится к тому образу немногих искупаемых, который мы привели выше из XVI гл. Апокалипсиса; припоминая его, он говорит:

«Итак, беспокойство, смятение и несчастье — вот теперешний удел людей после того, как Ты столь претерпел за свободу их! Великий пророк Твой в видении и в иносказании говорит, что видел всех участников первого воскресения и что было их из каждого колена по двенадцати тысяч. Но если было их столько, то были и они как бы не люди, а боги. Они вытерпели крест Твой, они вытерпели десятки лет голодной и нагой пустыни, питаясь акридами и кореньями, — и, уж, конечно, Ты можешь с гордостью указать на этих детей свободы, свободной любви, свободной и великолепной жертвы их во имя Твое. Но вспомни, что их было всего только несколько тысяч, да и то богов, а остальные? И чем виноваты остальные слабые люди, что не могли вытерпеть того, что могучие? *Чем виновата слабая душа, что не в силах вместить столь страшных даров.* Да неужто же и впрямь приходил Ты лишь к избранным и для избранных? Но если так, то тут — тайна, и не понять ее».

* Достоевский, всегда стоя выше своих героев (на которых никогда не любит, но скорее выводит их для выражения своей мысли), любит наблюдать, как, несмотря на великие свои силы, они ослабевают под давлением душевных мук, как они не выдерживают своей собственной «широты» и преступности, хотя прежде возводили это в теорию (последний разговор Н. Ставрогина с Лизой в «Бесах», последнее свидание Ив. Карамазова со Смердяковым). Почти повсюду изображение очень сильного человека, если он не оканчивается раскаянием (как Раскольников), у Достоевского завершается описанием как бы расслабления его сил, унижением и издевательствам над «прежним сильным человеком».

Здесь, на этой непостижимости, что Тайна Искупления, совершившись в высоких формах, оставила *вне себя безвинно слабых*, и начинается вступление диалектики Инквизитора в новый, высший круг: отвержение самого Искупления; как выше, в исповеди Ив. Карамазова, на непостижимости тайны безвинного страдания основывалось отвержение им будущей жизни, Последнего Суда. Отрицания *бытия* этих актов — нет; есть, напротив, яркость их ощущения, доходящая до ослепительности: есть против них *восстание*, есть *отпадение* от Бога, второе на исходе судеб, после завершившейся истории, но во всем подобное тому первому отпадению, какое совершилось и перед началом этих судеб,— однако с сознанием, углубленным на всю их тяготу.

«Если же — *тайна*,— говорит Инквизитор,— то и мы вправе были проповедовать *тайну*, и учить их, что не свободное решение сердец их важно и не любовь, а — *тайна*, которой они повиноваться должны *слепо*, даже *мимо их совести*. Так мы и сделали. Мы исправили подвиг Твой и основали его на *чуде, тайне и авторитете*. И люди обрадовались, что их вновь повели, как стадо, и что с сердец их снят наконец столь страшный дар, принесший им столько муки. Правы мы были, уча и делая так, скажи? Неужели мы не любили человечества, столь смиренно сознав его бессилие, с любовью облегчив его ношу и разрешив слабосильной природе его хотя бы и грех, но с нашего позволения? К чему же теперь Ты пришел нам мешать? И что Ты молча и проникновенно глядишь на меня кроткими глазами своими? Рассердись, я не хочу любви Твоей, потому что сам не люблю Тебя. И что мне скрывать от Тебя? Или я не знаю, с Кем говорю? То, что имею сказать Тебе, все Тебе уже известно, я читаю это в глазах Твоих. И я ли скрою от Тебя тайну нашу? Может быть, Ты именно хочешь услышать ее из уст моих, слушай же: мы не с Тобой, а с *Ним*, вот наша тайна!.. Мы взяли от Него то, что Ты с негодованием отверг: тот последний дар, который он предлагал Тебе, показав Тебе все царства земные: мы взяли от него Рим и меч Кесаря».

С этих только слов начинается раскрытие частной католической идеи в истории. Все, что было сказано раньше, имеет совершенно общее значение, т. е. представляет собою *диалектику христианства* в его основной идее, одинаковой для всех верующих, в связи с раскрытием природы человеческой, осуждением ее и к ней состраданием. Но, развиваясь далее и далее и

наконец заканчиваясь мыслью о религиозном устройении человеческих судеб на земле, окончательном и всеобщем, эта диалектика, до сих пор совершенно абстрактная, — совпала с историческим фактом, ей отвечающим, и невольно вовлекла его в себя, цепляясь оборотами мысли и выдающимися чертами действительности. Этот факт — Римско-Католическая Церковь, с ее универсальными стремлениями, с ее внешнею объединяющею мощью; — христианское семя, выросшее на почве древнего язычества.

Инквизитор, оговариваясь, что дело их еще «не приведено к окончанию», что оно «только началось», высказывает, тем не менее, твердую уверенность, что оно завершится. «Долго еще ждать этого, — говорит он, — и еще много выстрадает земля, но мы достигнем и будем кесарями, и тогда уже помыслим о всемирном счастье людей. А, между тем, Ты мог бы еще и тогда взять меч Кесаря. Зачем Ты отверг этот последний дар? Приняв этот третий совет могучего Духа, Ты восполнил бы все, чего ищет человек на земле, то есть: *пред кем преклониться, кому вручить совесть и каким образом соединиться* наконец всем в беспспорный общий и согласный муравейник. Ибо потребность всемирного соединения есть третья и последняя мучение людей. Всегда человечество в целом своим стремилось устроиться непременно *всемирно*. Много было великих народов с великою историею, но чем выше были эти народы, тем были и несчастнее, ибо сильнее других сознавали потребность всемирности соединения людей. Великие завоеватели, Тимуры и Чингисханы, пролетели как вихрь по земле, стремясь завоевать вселенную; но и те, хотя и бессознательно, выразили ту же самую великую потребность человечества ко всемирному и всеобщему единению. Приняв мир и порфиру Кесаря, Ты основал бы всемирное царство и дал всемирный покой. Ибо кому же владеть людьми, как не тем, которые владеют их совестью и в чьих руках хлеба их. Мы и взяли меч Кесаря, а взяли его, конечно — отвергли Тебя и пошли за *Ним*».

Таким образом, в советах «могучего и умного Духа», искушавшего в пустыне Иисуса, заключалась тайна всемирной истории и ответ на глубочайшие требования человеческой природы; советы эти были преступны, но это потому, что самая природа человека уже извращена. И нет средства иначе как через преступление ответить на ее требования, нет возможности другим способом устроить, сберечь и пожалеть племя извращенных существ, как приняв это самое извращение в основу; — собрать их рассыпавшееся стадо извращенною мыслью, ложь которой ответила бы лжи их природы.

Бóльшего отчаяния, чем какое залегло в эту странную и очень трудно опровержимую идею, никогда не было. Можно сказать, что это — самая грустная мысль, когда-либо проходившая через человеческое сознание, и приведенная страница — самая тяжелая в целой всемирной литературе. Полным отчаянием она и кончается — падением лжи, за которую не стоит никакой правды, разрушением обмана, которым еще только и могут жить люди. Это высказано как толкование на таинственные слова XII, XVII и XVIII глав Откровения св. Иоанна, в которых, по толкованиям богословов, аллегорически представлены, под образом «Жены», судьбы Ветхозаветной и Новозаветной Церкви на земле. Вот эти слова:

«И явилось на небе великое знамение: Жена, облеченная в солнце; под ногами ее луна, и на главе ее венец из двенадцати звезд. Она имела во чреве, и кричала от болей и мук рождения.

И другое знамение явилось на небе: вот большой красный Дракон, с семью головами и десятью рогами, и на головах его семь диадем; хвост его увлек с неба третью часть звезд, и поверг их на землю.

Дракон сей стал перед Женою, которой надлежало родить, дабы, когда она родит, пожрать ее младенца. И родила она младенца мужского пола, которому надлежит пасти все народы железом железным, и восхищено было дитя ее к Богу и Престолу Его.

А Жена убежала в пустыню, где приготовлено было для нее место от Бога, чтобы питать ее там тысячу двести шестьдесят дней»...

Далее описывается судьба Дракона. «И низвержен был великий Дракон, древний Змей, называемый Дьяволом и Сатаною, обольщающий всю вселенную... И услышал я громкий голос, говорящий на небе: ныне настало спасение и сила и царство Бога нашего и власть Христа Его; потому что низвержен клеветник братий наших, клеветавший на них пред Богом нашим день и ночь. Они победили его кровию Агнца и словом свидетельства своего, и не возлюбили души своей, даже до смерти...

Когда же Дракон увидел, что он низвержен на землю, то начал преследовать Жену, которая родила младенца мужского пола. И даны были Жене два крыла большого орла, чтоб она летела в пустыню, в свое место, от лица Змея, и там питалась в течение времени и полвремени. И пустил Змей из

пасти своей вслед Жены воду как реку, дабы увлечь ее рекою. Но земля помогла Жене, и разверзла земля уста свои, и поглотила реку, которую Дракон пустил Дракон из пасти своей.

И расвирепел Дракон на Жену, и пошел, чтобы вступить в брань с прочими от семени ее, сохраняющими заповеди Божии и имеющими свидетельство Иисуса Христа».

Затем образы меняются; является новое видение, о котором было говорено уже выше: из вод морских выходит Зверь, которому Дракон передает свою силу и власть. Очевидно, именно через него он восстает на брань с «сохраняющими заповеди Божии». Вся земля следит за ним с удивлением; народы преклоняются перед его чудною мощью, потому что он творит всякие знамения и даже низводит с небес огонь. Он кладет свою печать на людей, и ее принимают все, «имена которых не написаны в книге Агнца». Видение снова меняется: показывается Агнец, «закланный от создания мира», и с ним сто сорок четыре тысячи, искупленных его кровью, которые не осквернились землею скверною. Пролетает Ангел, в руках которого Вечное Евангелие, чтобы благовествовать живущим на земле, и всякому племени, и колену, и языку, и народу. За ним следует другой Ангел, восклицая: «Пал, пал Вавилон, город великий, потому что он яростным вином блуда своего напоил все народы». Это первое предвозвестие великого падения, изображение которого еще впереди, но оно уже надвигается. Появляется светлое облако, и на нем «подобный Сыну Человеческому», держащий острый серп. Ангел говорит ему: «Пусти серп твой и пожни, потому что пришло время жатвы,— ибо жатва на земле созрела». И великая жатва совершается. Потом открывается новое видение: победившие Зверя и образ его и начертание его и число имени его, стоят, держа гусли Божии, и поют песнь Моисея, раба Божия, и песнь Агнца, говоря: «велики и чудны дела Твои, Господи Боже Вседержитель! Праведны и истинны пути Твои, Царь святых! Кто не убоится Тебя, Господи, и не прославит имени Твоего? Ибо Ты един свят. Все народы придут и поклонятся пред Тобою,— ибо открылись суды Твои!» Вслед за этим выходят семь Ангелов, держащих семь фиалов гнева Божия, и изливают их на землю. Муки постигают людей, поклонившихся образу Звериному и принявших начертание его, вся природа извращается в свойствах своих, и страдания все возрастают. «И они хулили имя Бога, имеющего власть над сими язвами, и не вразумились, чтобы воздать Ему славу». Когда пятый Ангел излил свой фиал,— «Царство Зверя стало мрачно, и люди кусали языки свои от страдания, и хулили Бога небесного от страданий

своих; и не раскаялись в делах своих». Когда излился на землю последний фиал гнева Божия, из таинственного храма на небесах, где стоит Престол Бога, послышался голос, говорящий: «Свершилось», и вслед за тем открывается видение суда над блудницею:

«И пришел один из седми Ангелов, имевших фиалы, и сказал мне: «подойди, я покажу тебе суд над великою блудницею, *сидящею на водах многих*».

С нею блудодействовали цари земные, и вином ее блудодеяния упивались живущие на земле».

И повел меня в духе в пустыню; и я увидел Жену, *сидящую на Звере багряном, преисполненном именами богохульниками, с семью головами и десятью рогами*.

И *Жена облечена была в порфиру и багряницу, украшена золотом, драгоценными камнями и жемчугом, и держала золотую чашу в руке своей, наполненную мерзостью и нечистотою блудодействия ее*.

И *на челе ее написано имя: Тайна, Вавилон Великий, Мать блудницам и мерзостям земным*.

Я видел, что *Жена упоена была кровию святых и кровию свидетелей Иисусовых*, — и видя ее, дивился удивлением великим».

Видя его удивляющимся, Ангел делает ему пояснения: «Воды, которые ты видел, где сидит блудница — суть люди и народы, и племена, и языки».

И *десять рогов, которые ты видел на Звере, сии возненавидят Блудницу, и разорят ее, и обнажат, и плоть ее съедят, и сожгут ее в огне*. Потому что Бог положил им на сердце исполнить волю Его.

Жена же, которую ты видел — есть великий город, царствующий над земными царями».

Вслед за этим наступает видение и самого суда торжествующей блудницы, «введшей волшебством своим в заблуждение все народы» (XIII, 23) и «растлившей землю своим блудодейством» (XIX, 2). Цари земные, которые с нею блудодействовали, и торговцы, обогатившиеся от нее, «стоят вдали, от страха мучений ее, плача и рыдая», и ударяя в груди свои, восклицают горестно и изумленно: „какой великий город был подобен этому!“».

Чтобы стал более понятен смысл всех этих слов, заметим, что после суда над блудницею сходит на последнюю брань со Зверем и с народами, которые поклонились ему, поражены были язвами, но еще не побеждены, «Господь господствующих и царь царствующих», и о Нем повторяются (XIX, 15)

слова, сказанные о младенце, рожденном Женою, которого хотел поглотить Дракон, но он был взят к Богу.

Теперь мы будем продолжать речь Инквизитора уже без перерывов. Сказав, что он, и с ним единомышленные, отвергнув Христа и приняв советы Дьявола, овладеют совестью людей и мечом и царством Кесаря, он так представляет отношение к себе человечества, для которого все это сделано:

«Пройдут еще века бесчинства свободного ума их, их науки и антропофагии, — потому что, начав возводить свою Вавилонскую башню без нас, они кончат антропофагией».

Наука, как точное познание действительности, не заключает в себе никаких неодолимо сдерживающих нравственных начал, — и, возводя, при помощи ее, окончательное здание человеческой жизни, никак нельзя отрицать, что, когда потребуется, не будет употреблено и чего-нибудь жестокого и преступного. Идея Мальтуса (разделяемая даже таким мыслителем, как Д. С. Милль), что единственное средство для рабочих классов удержать на известной высоте заработную плату заключается в воздержании рабочих от брака и семьи, чтобы не размножать свое число, другими словами — в низведении громадной массы женщин на степень только придатка к известной мужской функции, может служить примером жестокости и безнравственности, до которой может доходить теоретическая мысль, когда ей не закрывает уста незыблемый религиозный закон. И в самом деле, так как наукою же найдены безболезненные способы умирать (увеличенные дозы анестезирующих средств), то почему не явиться второму Мальтусу, так же одушевляемому «любовью к ближнему», как и первый, который скажет, что «пусть браки будут, но дети от них пусть поедаются», — что может делаться «не непременно родителями», не будет стоить никакого страдания и станет «выгодным для всего человечества».

«Но тогда-то и приползет к нам Зверь, — продолжает Инквизитор, — и будет лизать ноги наши, и обрызжет их кровавыми слезами из глаз своих. Но мы сядем на Зверя и воздвигнем чашу, и на ней будет написано: *Тайна*. Но тогда лишь, и только тогда настанет для людей царство покоя и счастья. Ты гордишься своими избранниками, но у Тебя лишь *избранники*, а мы успокоим *всех*. Да и так ли еще: сколь многие из этих избранников, из могучих, которые могли бы стать избранниками, *устали, наконец, ожидая Тебя, и понесли и еще понесут силы духа своего и жар сердца своего на иную ниву, — и кончат тем, что на Тебя же и воздвигнут свободное знамя свое. Но Ты сам воздвиг это знамя*».

Какие удивительные слова, какое глубокое понимание всего антирелигиозного движения великих европейских умов в последние столетия, с признанием мощи их и великодушия, с грустью за них, но и вместе с указанием их заблуждения.

«У нас же *все* будут счастливы и не будут более ни бунтовать, ни истреблять друг друга, как в свободе Твоей повсеместно. О, мы убедим их, что они тогда только и станут свободными, когда откажутся от свободы своей *для нас и нам покорятся*. И что же, правы мы будем или солжем? Они сами убедятся, что правы, ибо вспомнят, до каких ужасов рабства и смятения доводила их свобода Твоя. Свобода, свободный ум и наука заведут их в такие дебри и поставят перед такими чудами и неразрешенными тайнами, что одни из них, непокорные и свирепые, истребят себя самих, другие непокорные, но малосильные и несчастные, истребят друг друга, а третьи, оставшиеся, слабосильные и несчастные, приползут к ногам нашим и возопиют к нам: «Да, вы были правы, вы одни овладели тайной Его, и мы возвращаемся к вам: спасите нас от себя самих».

В абсолютной покорности и безволии масс откроется это спасение. Ничего не привнесут нового им мудрые, взявшие у них свободу; но что прежде было недостижимо — они достигнут, мудро направив их волю и распределив их труд:

«Получая от нас хлебы, конечно, они ясно будут видеть, что мы их же хлебы, их же руками добытые, берем у них, чтобы им же раздать, без всякого чуда; увидят, что не обратили мы камней в хлебы, но воистину более, чем самому хлебу, рады они будут тому, что получают его из рук наших! Ибо слишком будут помнить, что прежде, без нас, самые хлебы, добытые ими, обращались в руках их лишь в камни, а когда они воротились к нам, то самые камни обратились в руках их в хлебы».

Это говорится о нашем времени, когда, при свободном соперничестве, несмотря на необъятные массы производимых продуктов — необъятные народные массы едва влачат скудное существование, и все уходит куда-то, расточается, пропадает вследствие несогласованности между собою человеческих желаний и действий. Напротив, когда укоротятся желания роскошествующих теперь и согласуется в одно целое труд всего человечества, даже если он и не будет обременителен, как теперь повсюду — произведенных продуктов хватит для безбедного существования всех.

«Слишком, слишком оценят они, что значит раз навсегда подчиниться! И пока люди не поймут сего, они будут несчастны. Кто более всего способствовал этому непониманию, скажи? Кто раздробил стадо и рассыпал его по путям неведомым?»

Но стадо вновь соберется и вновь покорится, и уже раз навсегда. *Тогда мы дадим им тихое, смиренное счастье, счастье слабосильных существ, какими они и созданы.* О, мы убедим их, наконец, не гордиться, ибо Ты вознес их и тем научил гордиться; докажем им, что они слабосильны, что они только жалкие дети, но *что детское счастье слаще всякого.* Они станут робки и станут прижиматься к нам в страхе, как птенцы к наседке. Они будут дивиться и ужасаться на нас, и гордиться тем, что мы так могучи и так умны, что смогли усмирить такое буйное тысячемиллионное стадо. Они будут расслабленно трепетать гнева нашего, умы их оробеют, глаза их станут слезоточивы, как у детей и женщин, но столь же легко будут переходить они по нашему мановению к веселью и смеху, светлой радости и счастливой детской песенке. Да, мы заставим их работать, но в свободные от труда часы мы устроим им жизнь, как детскую игру, с детскими песнями, хорами, с невинными плясками. О, мы разрешим им и грех; они слабы и бессильны, они будут любить нас, как дети, за то, что мы им позволим грешить. Мы скажем им, что всякий грех будет искуплен, если сделан будет с нашего позволения; позволяем же им грешить потому, что их любим, наказание же за эти грехи, так и быть, возьмем на себя. И возьмем на себя, а нас они будут обожать, как благодетелей, понесших на себе их грехи перед Богом. И не будет у них никаких от нас тайн. Мы будем позволять или запрещать им жить с их женами и любовницами, иметь или не иметь детей, все судя по их послушанию, — и они будут нам покоряться с веселием и радостью. Самые мучительные тайны их совести, — все, все понесут они нам, и мы все разрешим, и они поверят решению нашему с радостью, потому что оно избавит их от великой заботы и страшных теперешних мук решения личного и свободного».

Едва ли в последних словах не содержится указание и на возможность регулировать самое народонаселение, его рост или умаление, — все смотря по нуждам текущего исторического момента. Общая же мысль этого места состоит в том, что весь размах страсти будет удален из человечества, людям будут оставлены лишь подробности и мелочи греха, а его во всей его глубине возьмут те, которые в силах сдержат всякий размах и вынести всякую тягость. Таким образом, и неразрешимые противоречия истории, и непостижимые тайные движения человеческой души — все то, что мешает человеку жить на земле, — будет сосредоточено на плечах немногих, которые в силах выдержать познание добра и зла. Можно сказать — история умолкнет, и останется только тайная история немногих

великих душ, которой, конечно, никогда не будет суждено стать рассказанною.

XVII

«И все будут счастливы,— заканчивает Инквизитор,— все миллионы существ, кроме сотни тысяч управляющих ими. Ибо лишь мы, мы, хранящие *тайну*, только мы будем несчастны. Будут тысячи миллионов счастливых младенцев и сто тысяч страдальцев, взявших на себя проклятие познания добра и зла. Тихо умрут они, тихо угаснут во имя Твое,— и за гробом обрящут лишь смерть. Но мы сохраним секрет и для их же счастья будем манить их наградой небесною и вечною. Ибо *если б и было что на том свете, то уж, конечно, не для таких, как они*».

Гордость слов этих, так просто сказанных, неизъяснима: за ними чувствуется мощь, действительно свободно озирающая нескончаемые пути истории и твердо взвешивающая в своей руке меру человеческого сердца и человеческой мысли. Мы не удивляемся, слыша далее такие слова, относящиеся к приведенному выше Откровению св. Иоанна:

«Говорят и пророчествуют, что Ты придешь и вновь победишь, придешь со своими избранниками, со своими гордыми и могучими: но мы скажем, что они спасли лишь *себя*, а мы спасли *всех*. Говорят, что опозорена будет Блудница, сидящая на Звере и держащая в руках своих *тайну*, что взбунтуются вновь малосильные, что разорвут порфиру ее и обнажат ее «гадкое» тело. Но я тогда встану и укажу Тебе на тысячи миллионов счастливых младенцев, не знавших греха. И мы, взявшие грехи их для счастья их на себя, мы станем пред Тобою и скажем: *суди нас, если можешь и смеешь*. Знай, что я не боюсь Тебя. Знай, что и я был в пустыне, что и я питался акридами и кореньями, что и я благословлял свободу, которую Ты благословил людей, и я готовился стать в число избранников Твоих, в число могучих и сильных с жаждой «восполнить число». Но я очнулся и не захотел служить безумию. Я воротился и примкнул к сонму тех, которые *исправили* подвиг Твой. Я ушел от гордых и воротился к смиренным для счастья этих смиренных. То, что я говорю Тебе, сбудется, и царство наше соиздается. Повторяю Тебе, завтра же Ты увидишь это послушное стадо, которое по первому мановению моему бросится подгребать горячие угли к костру Твоему, на котором сожгу Тебя за то, что пришел нам мешать. Ибо

если был, кто более всех заслужил наш костер, то это — Ты. Завтра сожгу Тебя. Dixi»*.

Инквизитор останавливается. Среди глубокого безмолвия тесной сводчатой тюрьмы он глядит на своего Узника и ждет Его ответа. Ему тягостно молчание и тягостен проникновенный и тихий взгляд, которым Он продолжает еще смотреть на него, как и во все время речи. Пусть бы что-нибудь горькое и страшное сказал Он, но только не оставлял бы его без ответа. Вдруг Узник приближается к нему и молча целует его в его бледные, старческие уста. «Вот и весь ответ». Инквизитор вздрогнул, что-то зашевелилось в его губах. Он подходит к двери, отворяет ее и говорит Ему: «Ступай и не приходи более... не приходи вовсе... никогда, никогда!» Узник выходит на «темные стогна града». Севильская ночь также бездыханна. С темных небес яркие звезды льют тихий свет на безмятежную землю. Город спит; и только старик стоит и смотрит на дремлющую природу, у отворенной двери, с тяжелым ключом в руке. На его сердце горит поцелуй, но... «он остается в прежней идее» и... его Царство созиждется.

Так оканчивается поэма. Века снова сдвигаются, умершие уходят в землю, и перед нами снова маленький трактир, где двое братьев час тому назад заговорили о разных тревожных вопросах. Но, что бы они ни говорили теперь, мы их не будем более слушать. Душа наша полна иных мыслей, и в ушах все звучит точно какая-то мефистофелевская песнь, пропетая с надзвездной высоты над нашей бедною землей.

Мы расчленили ее на части и вдумались в каждое ее слово; но вот они прозвучали все, и у нас остается только воспоминание о целом, в котором мы еще не отдали себе отчета.

Прежде всего нас поражает необыкновенная сложность ее и разнообразие, соединенные с величайшим единством. Самая горячая любовь к человеку в ней сливается с совершенным к нему презрением, безбрежный скептицизм — с пламенной верою, сомнение в зыбких силах человека — с твердою верою в достаточность своих сил для всякого подвига; наконец, замысел величайшего преступления, какое было совершено когда-либо в истории, с неизъяснимо высоким пониманием праведного и святого. Все в ней необыкновенно, все чудно. Точно те зыбкие струи добра и зла, которые льются и переливаются в истории, сплетая ее в многосложный узор, вдруг соединились, слились между собою; и, как в тот первый момент, когда человек впервые научился различать их и начал свою историю,

* Так я сказал (*лат.*).

мы снова видим их нераздельными, — и так же, как он тогда, поражены ужасом и недоумением. «Где Бог, и истина, и путь?» — спрашиваем мы себя, потому что вдруг, как никогда еще, чувствуем неудержимую свою гибель, ощущаем приближение страшного и отвратительного существа, о котором нам так много передавали в поэзии и прозе, что мы серьезно начали считать его простой забавой фантазии, и вдруг теперь слышим его леденящее прикосновение и звук его голоса. Один человек, который жил между нами, но, конечно, не был похож ни на кого из нас, непостижимым и таинственным образом почувствовал *действительное* отсутствие Бога и присутствие *другого* и, перед тем как умереть, передал нам ужас своей души, своего одинокого сердца, бессильно бьющегося любовью к Тому, кого — нет, бессильно убегающего от того, кто — есть. Всю жизнь он проповедовал Бога, и из тех, которые слышали его, одни смеялись над его постоянством и негодовали на его привязчивость, другие ей умилялись, на него указывали. Но он будто не слышал ни этого негодования, ни этого умиления. Он все говорил одно, и только удивительно было всем, почему он, с такою радостною, утешительною идеею в сердце, сам так беспросветно сумрачен, так тосклив и тревожен. Он говорил о радости в Боге, он указывал на религию, как на единоспасительную для человека, и слова его звучали горячо и страстно, и самую природу, о которой он никогда не упоминал обыкновенно, он как будто начинал любить в это время, понимать ее трепет, красоту и жизнь. Точно как и она увяла от дыхания какого-то ледяного ощущения в душе его, и оживала, когда он забывался от него хоть в звуке своих слов. Были и признания в его словах, но они все были непоняты. Он проговаривался, что человек, у которого действительно нет Бога в душе, тем и страшен, что «приходит с именем Бога на устах». Эти слова читали, но их смысла никто не уразумевал. И он сошел в могилу неузнанный, но тайну души своей не унес с собою; точно толкаемый каким-то инстинктом, вовсе не чувствуя еще приближения смерти, он оставил нам удивительный образ, взглянув на который мы, наконец, все понимаем. «И ты с ним» — эти слова, которые обращает горестно Алеша к своему брату, когда выслушал его рассказ, мы неудержимо обращаем к самому автору, который так ясно стоит за ним: «И ты с *ним*, с могучим и умным Духом, предлагавшим искушающие советы в пустыне Тому, Кто пришел спасти мир, и которые ты так хорошо понял и истолковал, как будто придумал их сам!» Признание в частном письме, которое делает Достоевский задолго до написания романа и которое мы указали

выше, и слова, написанные им в своей записной книжке незадолго до своей смерти: «Моя осанна сквозь горнило испытаний прошла», и ссылка при этом именно на «Легенду»; наконец, совершенная отдельность легенды от романа и вместе центральное ее положение не только в нем, но и во всем длинном ряде его произведений — все это не оставляет в нас более сомнений насчет истинного ее смысла. Душа автора, очевидно, вплелась во все удивительные строки, которые мы выписали выше, лица перемешиваются перед нами, сквозя одно из-за другого, мы забываем говорящее лицо за Инквизитором, мы видим даже и не Инквизитора, перед нами стоит Злой Дух, с коблующимся и туманным образом, и, как две тысячи лет назад, развивает свое искусительное слово, так кратко сказанное тогда. И в самом деле, ему нужно говорить подробнее: его слушают теперь люди, и нельзя перед ними в двух-трех словах замыкать всю историю.

XVIII

Тонкая, искусительная и могучая диалектика его так и начинается, как она должна была начаться. Он называется «клеветником», — с клеветы на человека и начинается его речь.

Человеческая природа — есть ли она в основе своей добрая и только искажена привнесенным злом? или она от начала злая и только бессильно стремится подняться к чему-то лучшему? — вот затруднение, решив которое в одну сторону, он основал на нем всю свою мысль. Человек померкающая ли искра, или он — холодный пепел, который можно только зажечь со стороны; что такое он в сокровенной своей сущности — вот на что мы должны ответить, прежде чем решимся бороться с ней далее.

Только раз дрогнула его речь, только однажды он оговорился: это когда заметил, что за тем, кто поманит человека истинной, он побегит, «бросив даже и хлебы». «В этом Ты был прав», — оговорился он. В мимолетном смущении этом не раскрылась ли, чтобы вновь закрыться, настоящая истина? и если — да, то существуют ли какие-нибудь способы вывести ее к свету нашего ясного сознания?

Искусительно развивается его диалектика: он берет самое важное — отношение человека к Богу, и этим отношением измеряет низость и постоянство его падения. Стоя перед ликом Бога, между Ним и человечеством в его тысячелетних судьбах, он указывает на Его святой образ и, показав, что даже и над Ним сумел надругаться человек, спрашивает о мере его

истинного достоинства. Кажется, что защищать себя — значит здесь не чувствовать святости образа, уже одною попыткою к оправданию — лишаться всякого на него права; как, подобным же образом, ранее одна попытка не отказаться от правосудия Божия казалась ужасающим оскорблением для безвинно страдающих в роде людском. Чудная, в самом деле, речь перед нами: Божество и соединенный с Ним человек непреодолимо разъединяются, и всякое усилие помешать этому кажется восстанием именно против Божества или против самого человека.

Но фактами временного отпадения человека от Бога нельзя разрешить вопроса о добре и зле, заложенном, как основа, в его природу. Разве не столько же есть фактов неудержимого влечения человека к Богу? Разве те мученики, которых накануне своего монолога сжег Инквизитор, не горели за то самое, что не преклонились перед его бесовскою мыслью и до конца сохранили верность истине? Разве рыдания, которые раздались в народе, когда ему почудилось, что «Он, Он *Сам* сошел к ним увидеть их горести и страдания», ничего не говорят нам о человеческом сердце? Разве пятнадцать веков неколеблущегося ожидания ничего не значат? Кто смеет, взяв минуты человеческого падения, даже если бы они тянулись века, — скажем яснее, прямо отвечая на скрытый вопрос автора: кто может, видя падение и низость своего века и негодование возводя в право, сказать клевету на *всю человеческую историю* и отвергнуть, что *в целом своем* она есть чудное и высокое проявление если не человеческой мудрости (в чем можно сомневаться), то бескорыстного стремления к истине и бессильного желания осуществить какую-то правду?

Но и фактами высоты человеческого духа, как бы много их ни было набрано, можно только поколебать доказывающее значение обратных фактов, но вовсе нельзя разрешить вопроса, какова именно природа человека, к которой, как к узлу своему, восходят эти ряды столь противоположных, взаимно отрицающих друг друга, явлений.

Есть иной и твердый способ, могущий пролить самый отчетливый свет на это затруднение, от решения которого в ту или другую сторону зависит так много наших надежд и верований. Устраняя смешанные и противоречивые факты истории, как бы снимая нарост их с человека, можно взять его природу в ее *первозданной чистоте* и определить ее необходимое соотношение с вечными идеалами, стремление к которым никогда не может быть заподозрено: с *истиною*, с *добром* и с *свободою*.

В сознании человека что *предшествовало* одно другому —

ложь правде или *правда* лжи? вот простой вопрос, ответ на который кладет начало непреодолимому разрешению и общего вопроса о всей человеческой природе. Мы не можем здесь колебаться: ложь сама по себе есть нечто *вторичное*, она есть *нарушенная правда*, и ясно, что прежде, нежели нарушиться, правда уже *должна была существовать*. Она есть, таким образом, первожданное, от начала родившееся; ложь же есть *прившедшее, появившееся потом*. Ее происхождение все в *истории*; происхождение же правды в *самом человеке*. Она исходит от него, и вечно исходила бы одна, если бы на пути своем он не встречал препятствий, отклоняющих его от нее. Но это показывает, что причина всякой лжи лежит вне его. Первое движение человека всегда есть движение к истине, и мы не можем представить себе иного, если он свободен, т. е. если чист от всяких привходящих влияний, действует в силу одного устройства своих способностей. Можем ли мы представить себе, чтобы первый человек, взглянув на мир, окружающий его, и почувствовав первый восторг в себе, сказал ложь об этом мире: притворился, что он не видит его, или, подавив в себе чувство благоговения, сказал, что он ощущает гадливость. И также всякий раз, когда человек не боится, не достигает, когда никакое стороннее желание не отвлекает его от простого созерцания, — не произносит ли он об этом созерцаемом одной истины? И когда под влиянием страха, или повинаясь какому-нибудь влечению, он произносит ложь, разве он не ощущает всякий раз некоторого страдания, некоторой внутренней боли, происходящей оттого, что его мысль на пути к своему внешнему выражению подверглась некоторому искажающему влиянию? Разве, чтобы произвести его в себе, чтобы нечто подавить в истине или прибавить к ней, не требуется всякий раз некоторое усилие; и откуда было бы оно, если бы уже от начала человеческая природа была безразлично наклонна как ко лжи, так и к истине?

Итак, между разумом человека, с одной стороны, и между истиною, как вечно достигаемым объектом, с другой, существует не простое отношение, но *соотношение*. Вторая так же неощутимо предустановлена в первом, как для линии, к которой склонилась другая линия, неощутимо предустановлена точка далекого с ней соединения. Ложь и заблуждение, т. е. зло, есть только препятствие к этому соединению или отклонение от него; но оно не есть нечто самостоятельное, в самом себе замкнутое или цельное, что разрывалось бы истиной. Истина безотносительна; это есть простое и нормальное взаимодействие между разумом человека и миром, в котором живет

он; напротив, ложь всегда относительна и частична: именно она относится к какой-нибудь частной мысли, правильность которой нарушает. Поэтому как мир целен, так может быть цельное мирозерцанье, т. е. система гармонически соединенных истин; напротив, ложь не может быть устроена ни в какую систему, и особенно в такую, в которой и принципы построения были бы ложные. При всякой попытке создавать непременно ложные мысли и непременно ложно соединять их, разум почувствует нестерпимое страдание,— и, даже заглушая его, все-таки не достигнет своей цели, где-нибудь в построение введет невольную правильность; напротив, создание истинных мыслей и соединение их в правильную систему всегда доставляло и доставляет разуму величайшее наслаждение, и оно тем выше становится, чем ближе строяемое им к чистой и безупречной истине. Это страдание и это наслаждение есть показатель истинной природы человека; они определяют ее как благую, но только в первоначальном состоянии; напротив, как изменившуюся в истории, они показывают ее померкнувшей.

Вот почему если в науке или философии мы иногда находим как будто нечто злое, чему непреодолимо противится наша природа, мы можем без предварительного исследования думать, что та часть ее, которая вызывает подобное смущение, содержит в себе нечто ложное. И более внимательное изучение этой части, изучение способа ее происхождения, всегда и наверное откроет, что под нею лежит не чистая мысль, но мысль, искаженная каким-нибудь прившедшим чувством, каким-нибудь страхом или влечением. Так, в упомянутом законе Мальтуса истинна только основа его, что в *некоторые* времена количество народонаселения увеличивается в геометрической прогрессии, а количество продуктов производимых — в арифметической; но совершенно ложно произвостественное требование, будто бы рабочие классы должны воздерживаться от браков. Под этим требованием лежит забота, как бы роскошествующие не потеряли права на роскошь, и страх, как бы бедные не начали наконец умирать с голоду. О первой можно сказать, что она суетна, о втором — что он поспешен, потому что иные и более глубокие законы, законы самой рождаемости, очевидно оберегают людей от подобного бедствия; и хотя исторического времени прошло уже достаточно, чтобы закон Мальтуса начал действовать, однако никогда и нигде родители не начинали пожирать детей своих, не оставались безбрачными, но всегда и всюду находили пищу себе и детям своим.

Чистая же мысль, в абстрактной своей деятельности, может

создать только благое; и всякая наука и философия, насколько они не изменяют природе своей — благи и совершенны перед человеком и перед Богом. Смещение областей мышления и чувства, искажение первой вторым или второго первым, порождает все зло, какое когда-либо могло поднимать ропот даже и на свою природу, сетовать на слишком большую глубину сознания или на неудержимость страстей своих.

Напротив, когда области эти не извращены вмешательством друг друга, они являются нам как чистые от зла. Рассмотрев первую из них, область мышления, мы перейдем ко второй.

Чувство в первоначальной природе своей стремится ли к *доброму* и причиняет его, или оно стремится к *злому* и ищет его? вот вопрос, ответ на который продолжит начатое нами обнаружение первоначальной природы человека. И здесь, опять, разрешение затруднения не может возбуждать колебаний. Жажда причинить другому зло есть всегда *ответная*, и она вызывается уже страданием, перенесенным от другого. Таким образом, характер *дурного чувства* так же необходимо *вторичен* и *произведен*, как и характер лжи. Как невозможно представить себе, чтобы первый человек, взглянув на природу, *солгал* о ней, так нельзя допустить, чтобы тот же первый человек, ощутив около себя второго и уже каким-нибудь образом узнав, *что такое боль и страдание*, захотел бы его *подвергнуть* им; чтобы он не оттолкнул его от дерева, которое грозит его задавить, не предупредил бы его о глубине воды, в которой сам раз тонул, или не позвал к себе под одинокий куст во время палящего зноя полудня. И повсюду, как в этих примерах, раз мы найдем человека не воспринявшим из окружающего или из прошедшего какого-нибудь зла, мы найдем его природу *расположенную только к добру*. Оно есть *первое*, к чему влечется человеческое чувство, зло же всегда есть второе и привходящее извне. Чувства внутреннего страдания или внутренней радости и здесь могут служить такими же верными указателями истины, как в сфере сознания. Первое смутно и непреодолимо овладевает человеком и возрастает по мере того, как его душою овладевает зло; напротив, светлая ясность сопровождает благожелательную жизнь, какими бы физическими бедствиями она ни угнеталась. Страдание здесь вытекает из несоответствия зла с человеческою природою, а ясность духа — из их гармонии.

На ответном происхождении всякого зла основывается и глубокое учение о несопротивлении ему: действительно,

насколько учение это выполняется, настолько выделяется, исчезая, из жизни зло. Удержание себя от того, чтобы отвечать на зло злом, отсекает его в корне; оно утишает в отдельных точках ту взволнованность друг за друга цепляющихся страстей, которою переполнена уже вся жизнь и оплетена воля каждой личности. Трудное в начале и совершенно незаметное по своим последствиям, оно с каждым шагом делается легче, и его следствия — ощутительнее. Страсти, переставая возбуждать друг друга, постепенно утишают, и каждое причиненное зло, не возбуждая никакого ответа, неизбежно умирает. Для тех, кто привык думать, что история и вся прелесть жизни состоит именно из игры страстей и что лучше уже переносить зло, нежели лишиться его свободной и обольстительной красоты, можно заметить, что радость ощущения внутренней чистоты своей и ощущения гармонии со своим духом всей окружающей жизни с избытком вознаградит человеческое сердце за то утраченное, чем так мучительно и слепо наслаждается оно теперь.

Относительно третьей стороны человеческой природы, *воли*, вопрос о ее первоначальной чистоте или испорченности разрешается исследованием: находится ли она в соответствии с последним великим идеалом, к которому может стремиться человек — *свободой*. И здесь мысленный опыт дает ясное разрешение. Свобода есть внешняя деятельность, соответствующая внутренней, и она является осуществленною вполне, когда первая без остатка есть следствие второй. Ясно, что если бы человек мог быть разобщенным с прошедшим и окружающим, его внешняя деятельность, которая, однако, должна иметь свою причину, могла бы иметь ее только во внутренней психической деятельности, т. е. его воля вне посторонних влияний безусловно свободна. В действительности же, когда он соединен с прошедшим и окружающим, его внешняя деятельность перестает гармонировать с внутреннею, и притом всегда в той именно мере, с какою силою действует на него внешность. Это значит, что *умаление человеческой свободы*, ее подавленность или извращение, *идет не изнутри его природы, но извне*. Страдание, которое всегда сопровождает это чувство подавленности, и здесь указывает на истинный характер этой стороны человеческого духа.

Истина, добро и свобода суть главные и постоянные идеалы, к осуществлению которых направляется человеческая природа в главных элементах своих — *разуме, чувстве и воле*. Между этими идеалами и первоначальным устройством

человека есть соответствие, в силу которого она неудержимо стремится к ним. И так как идеалы эти ни в каком случае не могут быть признаны дурными, то и *природа человеческая в своей первоначальной основе должна быть признана добротой, благою.*

ХІХ

Это и подкапывает основание диалектики Инквизитора. «Иго мое *благо* и бремя мое *легко*» (Матф., XI, 30), — сказал Спаситель о своем учении. Действительно, исполненное высочайшей правды, призывая всех людей к единению в любви, оставляя человеку свободно следовать лучшему, оно всем смыслом своим отвечает глубочайшим образом первозданной природе человека и будит ее снова сквозь тысячелетний грех, который обременил ее игом тягостным и ненавистным. Покаяться и последовать Спасителю — это и значит снять с себя ненавистное «иго»; это значит почувствовать себя так радостно и легко, как чувствовал себя человек в первый день своего творения.

Здесь и лежит тайна нравственного перерождения, совершаемая Христом в каждом из нас, когда мы обращаемся к Нему всем сердцем. Нет иного слова, как «свет», «радость», «восторг», которым можно бы было выразить это особенное состояние, испытываемое истинными христианами. От этого то уныние признается Церковью таким тяжким грехом: оно есть внешняя печать удаления от Бога, и что бы ни говорили уста человека, ему подпавшего — его сердце далеко от Бога. Вот почему всякие утраты и все внешние бедствия для истинно христианина и для общества людей, живущих по-христиански — то же, что завывания ветра для людей, сидящих в крепком, хорошо согретом и светлом доме. Христианское общество бессмертно, неразруσιμο, — настолько и до тех пор, пока и в какой мере оно христианское. Напротив, началами разрушения проникнута бывает всякая жизнь, которая став однажды христианскою, потом обратилась к иным источникам бытия и жизни. Несмотря на внешние успехи, при всей наружной мощи, она переполняет веянием смерти, и это веяние неопреодолимо налагает свою печать на всякий индивидуальный ум, на каждую единичную совесть.

«Легенду об Инквизиторе», в отношении к истории, можно рассматривать как мощное и великое отражение этого особенного духа. Отсюда вся скорь ее, отсюда — беспросветный сумрак, который накидывает она на всю жизнь. Будь она истин-

ною — человеку невозможно было бы жить, ему оставалось бы, произнеся этот суровый приговор над собою, — только умереть. Да этим отчаянием она и кончается. Можно представить себе тот ужас, когда человечество, наконец устроившееся во имя высшей истины, вдруг узнает, что в основу устройства его положен обман и что сделано это потому, что нет вообще никакой истины, кроме той, что спастись все-таки нужно и спастись нечем. В сущности, смысл этого именно утверждения и имеют последние слова Инквизитора, которые в день страшного восстания народов он готовится обратиться к Христу: «Суди меня, если можешь и смеешь». Сумрак и отчаяние здесь — сумрак неведения. «Кто я на земле? и что такое эта земля? и зачем все, что делаю я и другие?» — вот слова, которые слышатся сквозь «Легенду». Это и высказано в конце ее. На слова Алеши брату: «Твой Инквизитор просто в Бога не верует» — тот отвечает: «*Наконец-то ты догадался*».

Это и определяет ее историческое положение. Вот уже более двух веков минуло, как великий завет Спасителя: «Ищите прежде Царствия Божия и все остальное приложится вам» — европейское человечество исполняет наоборот, хотя оно и продолжает называться христианским. Нельзя и не следует скрывать от себя, что в основе этого лежит тайное, вслух не высказываемое сомнение в божественности самого завета: Богу веруют и повинуются ему слепо. Этого-то и не находим мы: интересы государства, даже успехи наук и искусств, наконец, простое увеличение производительности — все это выдвигается вперед без какой-либо мысли о противодействии им; и все, что есть в жизни поверх этого — религия, нравственность, человеческая совесть, — все это клонится, раздвигается, давится этими интересами, которые признаны высшими для человечества. Великие успехи Европы в сфере внешней культуры все объясняются этим изменением. Внимание к внешнему, став *безраздельным*, естественно углубилось и уточнилось; последовали открытия, каких и не предполагали прежде, настали изобретения, которые справедливо вызывают изумление в самих изобретателях. Все это слишком объяснимо, слишком понятно, всего этого следовало ожидать еще два века назад. Но слишком же понятно и другое, что с этим неразъединимо слилось: постепенное затемнение и наконец утрата высшего смысла жизни.

Необозримое множество подробностей и отсутствие среди их чего-либо главного и связующего — вот характерное отличие европейской жизни, как она сложилась за два последние века. Никакая общая мысль не связует более народов, никакое

общее чувство не управляет ими,— каждый и во всяком народе трудится только над своим особым делом. Отсутствие согласующего центра в неумолкающем труде, в вечном созидании частей, которые никуда не устремляются, есть только наружное последствие этой утраты жизненного смысла. Другое и внутреннее его последствие заключается во всеобщем и неудержимом исчезновении интереса к жизни. Величественный образ Апокалипсиса, где говорится о «подобии светильника», ниспадающем в конце времен на землю, от которого «стали источники ее горьки», гораздо более, чем к реформации, применим к просвещению новых веков. Результат стольких усилий самых возвышенных умов в человечестве, оно никого более не удовлетворяет, и всего менее тех, которые над ним трудятся. Как холодного пепла остается тем больше, чем сильнее и ярче горело пламя, так и это просвещение тем более увеличивает необъяснимую грусть, чем жаднее приникаешь к нему вначале. Отсюда глубокая печаль всей новой поэзии, сменяющаяся кощунством или злобою; отсюда особенный характер господствующих философских идей. Все сумрачное, безотрадное неудержимо влечет к себе современное человечество, потому что нет более радости в его сердце. Спокойствие старинного расказа, веселость прежней поэзии, какую бы красотой это ни сопровождалось, не интересует и не привлекает более никого: люди дико сторонятся от всего подобного, им невыносима дисгармония светлых впечатлений, идущих снаружи, с отсутствием какого-либо света в их собственной душе. И поодиночке, злобно или насмешливо высказываясь, они оставляют жизнь. Наука определяет цифры этих «оставляющих», указывает, в каких странах и когда они повышаются и понижаются, а современный читатель, где-нибудь в одиноком углу, невольно думает про себя: «Что в том, что они повышаются или понижаются, когда мне нечем жить,— и никто не хочет или не может дать мне то, чем можно жить!»

Отсюда — обращение к религии, тревожное и тоскливое, с пламенной ненавистью ко всему, что его задерживает, и вместе с ощущением бессилия слиться в религиозном настроении с миллионами людей, которые оставались в стороне от просветительного движения новых веков. Пламенность и скептицизм, глухое отчаяние и риторика слов, которою, за неимением лучшего, заглушается потребность сердца — все удивительным образом смешивается в этих порывах к религии. Жизнь иссякает в своих источниках и распадается, выступают непримиримые противоречия в истории и нестерпимый хаос в единичной совести,— и религия представляется, как

последний еще неиспытанный выход из всего этого. Но дар религиозного чувства приобретается, быть может, труднее всех остальных даров. Уже надежды есть, бесчисленные извивы диалектики подкрепляют их; есть и любовь, с готовностью отдать все ближнему, за малейшую радость его пожертвовать всем счастьем своей жизни, а между тем — веры нет; и все здание доказательств и чувств, нагроможденных друг на друга и взаимно скрепленных, оказывается чем-то похожим на прекрасное жилище, в котором некому обитать. Века слишком большой ясности в понятиях и отношениях, привычка и уже потребность вращаться сознанием исключительно в сфере доказуемого и отчетливого настолько истребили всякую способность мистических восприятий и ощущений, что, когда от них зависит даже и спасение, она не пробуждается.

Все отмеченные черты глубоко запечатлелись на «Легенде»: она есть единственный в истории синтез самой пламенной жажды религиозного с совершенною неспособностью к нему. Вместе с этим в ней мы находим глубокое сознание человеческой слабости, граничащее с презрением к человеку, и одновременно любовь к нему, простирающуюся до готовности — оставить Бога и пойти разделить унижение человека, зверство и глупость его, но и вместе — страдание.

XX

Нам остается отметить еще последнюю черту этой «Легенды»: ее отношение к великим формам, в которые уже вылилось религиозное сознание европейских народов. В своем характере, в своем происхождении оно, это отношение, в высшей степени независимо: очень похоже на то, что человек, разошедшийся с религиозными формами какого бы то ни было народа и какого бы то ни было времени, начинает тревогами своей совести приводиться к мысли о религии и развивает ее самостоятельно, исключительно из этих тревог. Строго говоря, в ней только мелькают имена Христианства и Католицизма; но из первого взято для критики только высокое понятие о человеке, а из второго — презрение к нему и страшная попытка сковать его судьбы и волю индивидуальной мудростью и силой. Бурно, неодолимо развертывающаяся мысль, как будто почував в двух фактах истории что-то подобное себе, потянула их к себе, искажая и перемалывая их в оборотах диалектики, ничем, кроме законов души, в недрах которой она зародилась, не управляемой.

Абстрактный, обобщающий склад этой души сказался в том,

что «Легенда» только опирается на внутренние потребности человеческой природы, но отвечает не им, а историческим противоречиям. Устроить судьбы человечества на земле, воспользовавшись слабостями человека — вот ее замысел. И эту сторону свою она совпала с тем, что можно было предполагать в одной из установившихся форм религиозного сознания, — в Римско-Католической Церкви. Отсюда фабула «Легенды», канва, в которую вотканы ее мысли. Но здесь, заговорив об ее отношении к предполагаемой католической идее, мы должны высказать взгляд вообще на взаимное соотношение трех главных христианских Церквей. В нем откроется и окончательная точка зрения, с которой следует смотреть на эту «Легенду» в ее целом.

Стремление к *универсальному* составляет самую общую и самую постоянную черту Католической Церкви, как стремление к *индивидуальному, особенному* — коренную черту Протестантизма. Но если бы мы предположили, что эти, различные в основе своей, черты оригинальны в самых Церквах или что они каким бы то ни было образом вытекают из духа Христианства — мы глубоко ошиблись бы. Универсальность есть отличительная черта романских рас, как индивидуализм — германских; и только поэтому Христианство, распространяясь по Западной Европе, восприняло эти особые черты, встретившись с этими двумя противоположными типами народов. Что бы мы ни взяли, будем ли мы всматриваться в одиночные факты или в общее течение истории, обратимся ли к праву, к науке, к религии — всюду заметим мы, как управляющую идею, в одном случае направление к всеобщему, в другом — к частному. Правовые формулы древнего Рима, абстрактные, как и его боги, так же годны для всякого народа и для всякого времени, как и принципы 89-го года, с их обращением к человеку, с стремлением на его праве утверждать и право француза. Искание всеобщего с уверенностью подвести под него все частное слишком ясно здесь сказывается. Философия Декарта, единственная великая у романских рас, так же пытается свести все разнообразие живой природы к двум великим типам существования, протяжению и мышлению, — как Гораций и Буало пытались свести к простым и ясным правилам порывы поэтического восторга, как Кювье свел к вечным немногим типам животный мир и целый ряд великих математиков Франции познание природы свели к познанию алгебры, найдя слишком конкретными даже геометрические чертежи. Интерес и влечение ко всеобщему и некоторая слепота к частному произвела все эти великие факты в умственном мире латинизированных

рас; и им отвечают не менее великие факты их политической истории. Жажда объединять, сперва охватывая и, наконец, стирая индивидуальное — есть не умирающая жажда Рима и всего, что вырастает из его почвы. Этот глубокий, бессознательный и неудержимый инстинкт заставил римские легионы, вопреки ясным расчетам, переходить из страны в страну, дальше и дальше, и наконец — туда, куда не захватывал уже и глаз и ум; и он же повлек миссионеров римского епископа сперва в Германию и Англию, а несколько веков спустя — в далекие и неизвестные страны центральной Африки, внутреннего Китая и дальней Японии. Сама Римская Церковь, непреодолимо отвращаясь от всего частного, разбросанного и единичного, точно свертывалась в великие духовные ордена — явление совершенно исключительное во всемирной истории, не связанное ни с какою чертою Христианства и возникшее во всех своих разнообразных формах и в разные времена на одной романской почве. Как будто дух монашества, дух отшельничества и уединения от мира, переселясь на эту почву — пошел в мир, чтобы подчинить его своим требованиям, понятиям, формам своего воззрения и своего быта. В то время, как аскеты всех стран, времен и народов, отвращаясь от грешного человечества, бежали от него в пустыню и там спасали себя, аскеты Католической Церкви, дружно соединяясь в одно, шли на это самое человечество, чтобы привести его к тому, о чем для себя одних они никогда не могли думать. С этим стремлением к универсальному неотделимо слилось у романских рас непонимание индивидуального, как бы слепота к нему, — неспособность всмотреться в его природу или пожалеть его страдания. Слова римского легата, говорившего воинам: «Убивайте всех, Бог на Последнем Суде отделит католиков от еретиков», были сказаны, быть может, с слишком большою задумчивостью; по крайней мере, по хроникам с точностью известно, что крестное ополчение, двинувшееся на Лангедок, было одушевлено таким высоким религиозным духом, оно было так серьезно, что всякое наше желание принять эти слова за циничское кощунство — должно быть оставлено. Учение Кальвина, распространявшееся трудно по Франции, грозило ей гораздо меньшим, чем Германии пламя, зажженное Лютером; и, однако, Варфоломеевская ночь вспыхнула именно в ней. Члены одной и той же семьи истребляли друг друга, чтобы были одинаковы французы; как три века спустя, за другие принципы и с такою же жестокостью, члены Конвента истребляли отличных от себя людей во Франции, а потом и в собственных недрах своих, чувствуя тень всякого отличия в убеждениях —

как преступление. Пренебрежение к человеческой личности, слабый интерес к совести другого, насильственность к человеку, к племени, к миру есть коренное и неуничтожимое свойство романских рас, сказавшееся в великих фактах Римской империи, французской централизации, в наступательных войнах католической реакции и первой революции, в ордене иезуитов, в инквизиции, в социализме. Всегда и повсюду, с крестом или с пушками, под знаменами республики или под орлами Цезаря, во имя различных истин в разные эпохи, народы, почувшие в своих жилах римскую кровь, шли на другие мирные народы, чтобы, не заглядывая глубоко им в душу, заставить их принять формы своего мышления, своей веры, своего общественного устройства. Безжалостность к человеку и неспособность понять его, вместе с великою способностью устроения человечества, сделала народы эти как бы цементом, связующим в великое целое другие части, иногда неизмеримо более ценные, но всегда более мелкие. Ничто само по себе великое, истинное или святое не произведено романским гением; кроме одного — связи между всем великим, истинным и святым, что создано было другими народами, но почему оно и образует в целом своем историю. Отсюда притягательная сила форм всех романских цивилизаций; отсюда лиризм, вечное устремление к чему-то, которое нас поражает в католической музыке. Иные народы, хотя бы более глубокие и содержательные, непреодолимо приковываются к этим цивилизациям, к этой Церкви, науке, литературе. В них всех пробуждается тайный инстинкт *единства*, и они с тоскующим чувством гасят свой высший гений, и идут, и сливаются с чудным зданием, вековечным, все возрастающим, холодным, но и прекрасным.

Дух германской расы, наоборот, повсюду и всегда, что бы его ни занимало, устремляется к *частному, особенному, индивидуальному*. В противоположность обнимающему взгляду романца, взгляд германца есть проникающий, и отсюда — все особенности их права, науки, церкви, поэзии. Человеческая совесть вместо судеб человечества, домашний быт взамен политических столкновений, созерцание глубин собственного я вместо познания мира — все это различные последствия одного факта. Можно считать за результаты великого недоразумения принадлежность германских народов к Католической Церкви, и она сохранялась столько веков потому лишь, что они не видели истинных стремлений Рима, ни Рим не всматривался слишком подробно и близко в то, что было за Альпами. Реформационное движение, обнимающее два века и разделившее Европу на два пышущие враждою лагеря, было

только обнаружением этого недоразумения, удивительным равно для обеих сторон, с тех пор и навечно разошедшихся. Когда Лютер, бедный августинский монах, забыв о своем ордене, об империи, о всемирной Церкви и только прислушиваясь к тревогам своей совести, твердо сказал, что он не признает себя заблуждающимся, пока ему не докажут этого «словом Божиим»,— в нем, в этом упорном противопоставлении своего я всему миру, впервые высказалась германская сущность и стала твердым фактом в истории, отныне не покоряющимся, но покоряющим. Мир религиозных сект, отсюда выросших, это странное исповедание Бога по-своему чуть не в каждой местности, без какого-либо желания согласовать свою веру с верою других, есть в сфере религиозного сознания то же, чем был ранее в сфере общественно-политической феодализм, это другое странное желание делать повсюду центром своих понятий и интересов личное я, как нечто безусловное, что ни с чем не согласуется, но с чем должно согласоваться все другое. Наконец, третий великий факт, внесенный германскою расою в историю — ее особый способ воззрения на природу, ее философия,— есть также только последствие этого направления души. Как в сфере религиозной, как в сфере политической, так и здесь, в умственной области, собственное я было признано высшими выразителями этой расы за источник норм, граней и связей, какие мы наблюдаем в природе. И углубленное изучение мира, которое для всех народов от начала истории было любопытным рассматриванием его и размышлением о виденном,— для ряда великих прозорливцев, начиная с Канта, стало только познанием сокровенных движений собственного внутреннего существа. «Разум диктует свои законы природе», «мир есть *мое* представление», он есть «развитие *идеи*, мною сознанный», все эти слова, с удивлением выслушанные и повторенные Европою, так глубоко предопределены особым психическим складом германской расы, что, думая о них и длинном ряде доводов, на который они, по-видимому, беспристрастно опираются, мы, наконец, совсем теряем границу между предметным познанием и субъективною иллюзией, и спрашиваем: какие же есть средства для человека пробиться сквозь условия века, места и племени? и как, будучи столь связан даже этими условиями, он мог когда-нибудь надеяться переступить даже через условия своей человеческой организации и достигнуть знания абсолютного по полноте и истинности?

И что бы другое, более мелкое, мы ни взяли, повсюду отметим на нем то же тяготение германского духа к частному.

Его поэзия, в противоположность героической поэзии романских народов, избрала предметом своим мир частных отношений, семью вместо форума, сердце простого бюргера взамен высокого долга и сложных забот короля, завоевателя или их советников. Мещанская драма, нравоописательный роман, и к ним примыкающая деятельность Лессинга и Аддисона, наконец, даже Гете, с миром неопределенных внутренних тревог своего Фауста — все это, на чем мы хотели бы видеть печать личного гения, носит на себе только печать гения своего народа. Понимание индивидуального в праве создало в далеком сумраке средних веков суд 12 присяжников, которые выносят приговор из глубины своей совести, а не находят его в заранее предустановленной норме общего для всех случаев закона. Оно же непреодолимо отвращает английский народ от кодификации законов своих, растянувшихся на тысячелетие, и вызвало глубокомысленные исследования немецких ученых над правом средневековым, над историческим его развитием, наконец, над правом всех народов, где, наряду с самым высоким, внимательно обсуждается и самое первобытное. Слова великого Гердера, что «каждое время и каждое место живет для себя самого», открыли истинную эру в понимании истории, указав на мир индивидуального и своеобразного, который должен быть познан в ней. И как удивительно этим словам, обнимающим смысл того, что жило и умерло, отвечают слова другого мыслителя Германии, обращенные к совести всего живого: «Смотри на всякого, себе подобного, как на цель, которая никогда и ни для чего не может быть средством». Это царство целей, для себя существующих, эта нравственная монадология Канта в какой живой связи находится с идеями Лейбница, — и весь он, этот германский мир, точно рассыпавшийся на мириады средоточий, из которых каждое только себя чувствует и через себя все познает, всему верует, на все действует, — как удивительно этот мир соответствует тому другому миру, о котором мы говорили ранее, что он обнимает, господствует, определяет формы, но бессилен создать какое-нибудь содержание. Точно эти две противоположные и соответствующие одна другой расы отражают края какой-то великой ступни, которой движения делают историю, влекут века и разделяют народы, в своем свободном гении лишь отпечатлевающие волю иного чего-то и высшего, в чью мысль прозреть им никогда не суждено.

Безбрежный мистицизм протестантства, жажда залить подвигом где-нибудь среди дикарей великую грусть своего сердца, так же чувствуется в германской расе, как тоскующее жела-

ние — в звуках романской музыки, ее поэзии, в неустанной деятельности ее великих политиков. Непреодолимо разъединенные и вечно ощущая недостаток другого, они полны внутренней дисгармонии, и эту дисгармонию из глубины своего духа вносят в жизнь и в историю, которую создают. Их вечная борьба и неустанное созидание есть только борьба противоположностей, которые никогда не смогут понять друг друга, и подготовка формы и содержания, которые не сливаются в живое целое. Отсюда чувство неудовлетворительности, разлитое по всей истории, вечное достижение и недовольство всем достигнутым.

XXI

Внесение гармонии в жизнь и в историю, соединение красок и полотна в живую картину — вот что не выполнено человеком на земле и чего так страшно недостает ему. Недостает «пальмовых ветвей» и «белых одежд», внутреннего мира и радости, чтобы благословить Бога, свою судьбу, благословить друг друга и всякое дело рук своих.

Каким внутренним движением совершится это, как ощутится тот восторг души, которого хватит на утоление всякой скорби, на примирение всякой ненависти,— этого мы не можем знать. Мы можем только жаждать и ожидать этого, да уж и жаждут и ожидают все народы, как чего-то должного и необходимого.

Раса, последнею выступившая на историческое поприще, к которой принадлежим и мы, в особенностях своего психического склада несет наибольшую способность выполнить эту великую задачу. Одинаково чуждая стремления как к внешнему объединению разнородных элементов, так и к безграничному уединению каждого элемента внутри себя, она исполнена ясности, гармонии, влечения к внутреннему согласованию как себя со всем окружающим, так и всего окружающего между собою и через себя. Взамен насильственного стремления романских рас все соединить единством формы, не заглядывая в индивидуальный дух и не щадя его, и взамен упорного стремления германских рас отъединиться от целого и уйти в нескончаемый мир подробностей,— раса славянская входит как внутреннее единство в самые разнообразные и, по-видимому, непримиримые противоположности. Дух сострадания и терпимости, которому нет конца, и одновременно отвращение ко всему хаотичному и сумрачному, заставляет ее, без какой-либо насильственности, медленно, но и вечно сози-

дать ту гармонию, которая почувствуется же когда-нибудь и другими народами; и, вместо того, чтобы, губя себя, разрушать ее, они подчинятся ее духу и пойдут, утомленные, ей навстречу.

Сознание недостаточности тех идеалов, которые преследуются другими расами, всего более может сосредоточить наши силы на собственном. Мы должны, наконец, понять, что все неисчислимо страдание, которое несет человек в истории и благословляет его, потому что оно дало ему будто бы «познание добра и зла», в действительности несется все-таки напрасно и он так же далек от этого познания, как и тогда, когда впервые протянул к нему руку. Непереступаемые границы, которыми определен он и связан, дают ему только просвет к этому познанию, тревожащий его и дразнящий, но через который никогда не суждено ему взглянуть прямо на солнце правды. И мы должны также понять, что неустанное стремление «соединить рассыпавшееся стадо» человечества только разделило его непримиримую враждою и она всегда становилась тем яростней, чем страстнее и насильственнее были самые попытки к соединению. Поняв это, мы сознаем, как обманчиво то величие, к которому влекся человек в своей истории. Смирив свой дух, мы увидим, что его задачи на земле ограниченные. Перестав вечно обращаться мыслью и желанием к чему-то далекому, мы снова почувствуем полноту сил, возвратившихся к нам из бесплодного скитания. И мы пойдем, как только произойдет это, высоту тех задач, которые ранее казались нам так незначительными и неинтересными. Мы пойдем, что успокоить одно встревоженное сердце, утолить чью-нибудь тоску — это больше и выше, нежели сделать самое блестящее открытие или удивить мир ненужным подвигом. Подвиги наши станут к нам близки, они сведутся к утишению той скорби, которую залил себя мир в своих бесплодных стремлениях. И одновременно с тем, как покорится наша гордость, возрастет наше истинное достоинство. Поняв слабость своих сил перед великими целями, мы перестанем бросать человеческую личность к подножию их. Мы не будем более громоздить страдание на страдание, чтобы подняться на высоту, откуда нас видели бы самые далекие народы и будущие времена. Мы пойдем абсолютную значительность человека, пойдем, что радость и свет в его сердце, на каждом отдельном лице — есть высшее, лучшее и драгоценнейшее в истории.

Осуществление и разлитие этой гармонии в жизни вовсе не создается, как высшая задача человека на земле. Долго еще не «перекуются мечи на орала», и, конечно, перекуются они

силою внутренней радости, а не путем внешнего логического сознания. Последнее, даже и предпочитая «орала», предвзвременно накует мечей, чтобы ими погнать людей к оралам. Но не будем обращаться к тревожным мыслям — они исчерпаны «Легендою». Мы же, ища, чем побороть их, обратимся к рассмотрению третьей великой ветви, на которую распался христианский мир.

Как Католицизм есть романское понимание Христианства, и протестантизм — германское, так Православие есть его славянское понимание. Хотя корни его держатся в греческой почве, и на этой же почве сложились его догматы, но весь тот особенный дух, которым он светится в истории, живо отражает на себя черты славянской расы. И он-то именно значащ в исторических судьбах народов, а не догматические различия, которые, по-видимому, одни разделяют Церкви и кажутся так легко устранимы. Без сомнения, не *filioque** вызвало инквизицию, хотя инквизиция была только там, где и *filioque*. Догматическая разница совпадала с характером, с направлением и духом, который не имеет никакой связи с нею и вытекает исключительно из расовых особенностей романского племени. И если бы этой разницы не было, можно быть уверенным, что народы германские и славянские все равно неуждимо разошлись бы в понимании Христианства и его практике с народами романскими, и потом разошлись бы еще между собой. И теперь потому так упорно каждая Церковь противится слиянию с которою-нибудь другой, что, в сущности, не в догматах только, но во всем своем внутреннем сложении, в каждой черте своего характера, она есть нечто глубоко своеобразное и совершенно особенное от прочих Церквей. И это потому, что жизнь, которая бьется в них, бьется в каждой по особому типу.

И, однако, одно Евангелие и один дух светится в нем. Если мы захотим себе дать отчет, который же из трех типов жизни соответствует ему, мы непреодолимо и невольно должны будем сказать, что это — дух Православия. Когда нам будут указывать на неизъяснимое величие Католицизма, на безбрежность мысли, заложенной в нем, которою он увидит и обоснован с седой схоластики и до наших дней,— мы согласимся со всем этим и признаем также, что ничего подобного нет в нашей Церкви и ее истории. Если нам будут указывать

* И сына (*лат.*). Догмат католической церкви, признающей, в отличие от церкви православной, исхождение святого духа не только от бога-отца, но и от бога-сына (*Примеч. ред.*).

на все плоды протестантизма, на эту богобоязненность жизни, на свободу критики в нем и высокое просвещение, которое отсюда вытекло — мы скажем, что все это видим и никогда не закрывали на это глаза. Мы спросим только: но христианство, но дух евангельский, но то, чему учил нас словом и жизнью Спаситель? Ничего нет у нас, ни высоких подвигов, ни блеска завоеваний умственных, ни замыслов направить пути истории. Но вот перед вами бедная церковь, вокруг рассеянные, около нее группирующиеся домики. Войдите в нее и прислушайтесь к нестройному пению дьячка и какого-то мальчика, Бог знает откуда приходящего помогать ему. Седой высокий священник служит всенощную. Посреди церкви, на аналое, лежит образ, и неторопливо тянутся к нему из своих углов несколько стариков и старух. Всмотритесь в лица всех этих людей, прислушайтесь к голосу их. Вы увидите, что то, что уже утеряно всюду, что не приходит на помощь любви и не укрепляет надежду — *вера* — живет в этих людях. То сокровище, без которого неудержимо иссякает жизнь, которого не находят мудрые, которое убегает от бессильно жаждущих и гибнущих — оно светится в этих простых сердцах; и те страшные мысли, которые смущают нас и тяготят мир, очевидно никогда не тревожат их ум и совесть. Они имеют веру, и с нею надеются, при ее помощи любят. Что в том, что дьячок невнятно читает на клиросе молитвы: но он верит смыслу их, и те, которые слушают его, несколько не сомневаются, что за этот смысл он умрет, если будет нужно, и ввидет в царство небесное; как и все, они умрут и по делам своим примут мзду, к которой готовятся.

С этим покоем сердца, с этою твердостью жизни могут ли сравниться экзальтация протестантизма и всемирные замыслы великой и гибнущей Церкви? Уныние в первом, тоскующее желание во второй не есть ли симптомы утраты чего-то, без чего храм остается только зданием и толпа молящихся — только собравшеюся толпою? И весь блеск искусств, которым они окружают себя, эта несравненная живопись, эта влекущая музыка, эти величественные кафедралы — не вытекает ли все это из желания пробудить в себе то, что в тех бедных молящихся никогда не засыпало, найти утраченное, что в той невидной церкви не было потеряно. Весь необъятный порыв желания, которым полна и трепещет Европа, не есть ли только желание залить великую грусть, которую она хочет и не может пересилить; и вся красота, величие и разнообразие ее жизни, ее цивилизации не напоминает ли великолепную ризу, в которую никогда более не облечется священник?

Так-то произошло в истории это необъяснимое и глубокое явление, по которому у «неимущего отнялось и имущему прибавилось». В прекрасном евангельском образе Марии и Марфы, принявших в свой дом Спасителя, как будто высказаны эти неисповедимые судьбы церкви. Марфа, когда вошел Он, смутилась и заторопилась; она думала о богатом угощении и, в хлопотах о них, забыла даже о Том, для Кого они. «Мария же, сестра ее, села у ног Иисуса и слушала слово Его». Измученная и раздраженная на нее, Марфа подошла к Учителю и сказала: «Господи, или Тебе нужды нет, что сестра моя одну меня оставила служить?» И тогда произнес Он слова, в которых звучит смысл всей жизни и истории: «Ты заботишься о многом, Марфа, а одно только нужно; Мария же избрала благую часть, которая не отнимется у нее».

Нашей Святой Церкви, по неисповедимым путям Промысла, суждено было избрать это «единое», которое только и нужно. Она только верила в Спасителя, слушала слово Его. Будем молиться, чтобы эта вера никогда не была отнята у нас, и не будем, по завету Учителя, сожалеть, что наши суетливые сестры так много успели сделать.

XXII

Насколько иссякает в нас сокровище веры, настолько мы начинаем тревожиться идеалами, которыми живут другие Церкви — безбрежным развитием внутреннего чувства и субъективного мышления, или заботами о судьбах человечества и его внешнем устройении. Этими заботами мы силимся наполнить пустоту, которая образуется в нашей душе с утратой веры, и это происходит всякий раз, когда почему-либо мы теряем живые связи со своим народом. «Легенда о Великом Инквизиторе» есть выражение подобной тревоги — высшее, какое когда-либо появлялось; потому что пустота, которую она замещает, — зияющая, в которой дно не только очень глубоко, но, кажется, его и совсем нет. Вспомним слова Ивана в ответ Алеше: «Наконец-то ты *догадался*» — и на что они были отвечены.

В этом смысле, т. е. в отношении к нашей исторической жизни, она есть самая ядовитая капля, которая стекла, наконец, и отделилась из той фазы духовного развития, которую мы проходим вот уже два века. Большей горечи, большего отчаяния и, прибавим также, большего величия в своем отрицании родных основ жизни мы не только не переживали никогда, но, нельзя в этом сомневаться, и не будем переживать.

«Легенда» вообще есть нечто единственное в своем роде. Шутливые и двумысленные слова, которыми Фауст отделяется от вопросов Маргариты о Боге, темнота религиозного сознания в Гамлете — все это только бедный лепет в сравнении с тем, что было сказано и что спрошено в маленьком трактире за перегородкой, куда прихотливо наш великий художник ввел выразителей своих дум, а потом, раздвинув века — показал чудную картину явления Христа «смаданому и страдающему человечеству», и, введя Его в мрачное подземелье инквизиции — снова показал оттуда далекую пустыню полторы тысячи лет назад, и в ней Его, готового выступить на спасение человеческого рода, и перед ним Искушителя, который говорит, что это *не нужно, что не сумеет* Он спасти людей, не зная их *истинной природы*, и ранее или позже за это спасение придется взяться ему, лучше знающему эту природу и... *любящему людей не менее, нежели Он.*

Черты истинно сатанинские, не то, что мог бы подумать человек о Злом Духе, его подстерегающем, но что мог бы сказать о себе сам Злой Дух — удивительным и непостижимым образом вылились в этой «Легенде». Алеша, бедный, трепещущий Алеша, только еще растущий, бессильно поднимающий руки к небу — истинное олицетворение малого роста в огромном гниющем семени жизни — как бы разбит и подавлен этим мощным исповеданием зла, признаниями «умного Духа пустыни, Духа смерти и разрушения». Повторяем, образы инквизитора, студента, самого художника и Искушающего Духа, который стоит за всеми ими, мелькают один из-за другого, теряют резкость индивидуальных очертаний и сливаются в одно существо, голос которого мы слышим и понимаем, лица же и имени его не различаем. Как бы растерянный, не находя ни в чем опоры, он хватается за свое сердце, за ту *жизнь*, которая в нем бьется, законов которой он не знает, — и знает, однако, что она хороша. В непостижимой силе и красоте жизни, нам данной и нами благословляемой, но и непостижимой для нас, таинственной, он находит эту опору против Злого Духа:

«Брат, как же ты будешь жить?» — спрашивает он.

В этом восклицании и лежит весь смысл и вся сила опровержения: признание ограниченности своего ума, который даже такого близкого, нам родного явления, как жизнь, не может не только постигнуть, но и сколько-нибудь приблизиться к его пониманию, и уже, конечно, не в силах постичь строение мироздания и источники добра и зла. Прилепленные к жизни, даже «не понимая ее смысла», мы непреодолимо начинаем думать, что есть в ней нечто неизмеримо более глубокое, не-

жели тот жалкий смысл, который мы хотели бы в ней видеть, и, найдя только его, готовы были бы примириться с нею, «принять ее». Ощущение мистического, в чем коренится наше бытие, хотя мы его не видим, наполняет нашу душу, смиряет наш ум, но и возвращает нам силу жизни. «Прав Ты, Господи, и неисповедимы пути Твои»,— невольно говорим мы в своей душе, когда, после всех неизъяснимых тревог и мук сознания, снова возвращаемся к покою простой веры, к этому прочному следствию исповедания непостижимого.

С прочностью веры этой соединены и надежды наши. В «Легенде», которую мы разбирали, есть один пропуск: говоря об «оправданных», она ничего не говорит о *прощенных*. Между тем, тотчас после слов Откровения, в которых сказано, что первых будет сто сорок четыре тысячи, сделано радостное обетование *и об остальных*. Мы приведем это обетование, и пусть святые звуки его превозмогут тот сумрак и отчаяние, среди которого мы так долго вращались, говоря о «Легенде»:

«После сего взглянул я,— говорит Св. Иоанн о своем видении,— и вот, великое множество людей, которого никто не мог перечесть, из всех племен и колен и народов и языков, стояло перед престолом и перед Агнцем в белых одеждах и с пальмовыми ветвями в руках своих.

И восклицали громким голосом, говоря: спасение Богу нашему, сидящему на Престоле, и Агнцу!

И все Ангелы стояли вокруг Престола и старцев и четырех животных, и пали перед Престолом на лица свои, и поклонились Богу, говоря: «Аминь, благословение и слава и премудрость и благодарение и честь и сила и крепость Богу нашему во веки веков».

И начав речь, один из старцев спросил меня: сии облеченные в белые одежды *кто и откуда* пришли?

Я сказал ему:— Ты знаешь, господин. И он сказал мне:— Это те, которые пришли от великой скорби; они омыли одежды свои и убелили их кровью Агнца.

За это они пребывают ныне пред Престолом Бога и служат Ему день и ночь в Храме Его, и Сидящий на престоле будет обитать в них.

Они не будут уже ни алкать, ни жаждать, и не будет палить их солнце и никакой зной.

Ибо Агнец, который среди Престола, будет пасти их и водить их на живые источники вод; и отрет Бог всякую слезу с очей их» (гл. VII, ст. 9—17).

В великом образе этом явлено заключение земных судеб

человека. В словах книги Бытия, приведенных нами в самом начале, указана исходная точка, откуда начались его скитания. Сама же «Легенда» — это горький его плач, когда, потеряв невинность и оставленный Богом, он вдруг понял, что теперь совершенно один, со своею слабостью, со своим грехом, с борьбою света и тьмы в душе своей.

Преодолевать эту тьму, помогать этому свету — вот все, что может человек в своем земном странствии и что он должен делать, чтобы успокоить свою встревоженную совесть, так отягощенную, так больную, так неспособную более выносить свои страдания. Ясное познание того, откуда этот свет и откуда тьма, может более всего укрепить его надежду, что не вечно же суждено ему оставаться ареною борьбы их.

1891 г.

О ГОГОЛЕ
(Приложение двух этюдов)

ПУШКИН И ГОГОЛЬ¹

В первых главах статьи «Легенда о Великом Инквизиторе» Ф. М. Достоевского мне пришлось коснуться творчества Гоголя и, в частности, его отношения к действительности, которое не повторялось у последующих писателей наших и вызвало их противодействие. Мысль эта встретила в нашем уважаемом критике, г. Николаеве, несколько возражений, в частности имеющих в виду точнее определить значение личности Гоголя, и также — его творчества. Так как, за всем высказанным с той и другой стороны, многое еще остается неясным и оспоримым в самом предмете, то мне показалось удобным и небезынтересным остановить на нем еще раз внимание читателей.

Прежде всего считаю долгом оговориться, что я не имел в виду Пушкина, говоря, что «в литературе позднейшей (у Тургенева, графа Толстого и др.) *впервые* появляются живые лица»: я сказал это только в отношении к самому Гоголю, а не к тому, что лежало еще позади его. Но о Пушкине — ниже, теперь же вернемся к главной сущности вопроса.

I

Гоголь есть родоначальник иронического настроения в нашем обществе и литературе; он создал ту форму, тот тип, впадая в который и забывая свое первоначальное и естественное направление, вот уже несколько десятилетий текут все наши мысли и наши чувства. Идеи, которых он вовсе не высказывал, ощуще-

* По поводу статьи Говорухи-Отрока (под псевдонимом Ю. Николаева): «Нечто о Гоголе и Достоевском».

ния, которых совсем не возбуждал, возникнув много времени спустя после его смерти — все, однако, формируются по одному определенному типу, источник которого находится в его творениях. С тех пор, как эти творения лежат пред нами, все, что не в духе Гоголя, — не имеет силы, и, напротив, все, что согласуется с ним, как бы ни было слабо само по себе, — растет и укрепляется. Душевная жизнь исторически развивающегося общества получила в его личности изгиб, после которого пошла непреодолимо по одному уклону, разбивая одни понятия, формируя другие, — но все и постоянно в одном роде. Каков смысл этого изгиба? Вопрос этот разрешается, в частности, отношением Гоголя к Пушкину.

Мой критик сравнивает их и находит «равноценными»; но прежде всего — они разнородны. Их даже невозможно сравнивать, и, обобщая в одном понятии «красоты», «искусства», мы совершенно упускаем из виду их внутреннее отношение, которое позднее развивалось и в жизни и в литературе, раз они привзошли в нее, как факт. Разнообразный, всесторонний Пушкин составляет антитезу к Гоголю, который движется только в двух направлениях: напряженной и беспредметной лирики, уходящей ввысь, и иронии, обращенной ко всему, что лежит внизу. Но сверх этой противоположности в форме, во внешних чертах, их творчество имеет противоположность и в самом существе своем.

Пушкин есть как бы символ жизни: он — весь в движении, и от этого-то так разнообразно его творчество. Все, что живет — влечет его, и подходя ко всему — он любит его и воплощает. Слова его никогда не остаются без отношения к действительности, они покрывают ее и чрез нее становятся образами, очерчениями. Это он есть истинный основатель *натуральной школы*, всегда верный природе человека, верный и судьбе его. Ничего напряженного в нем нет, никакого болезненного воображения или неправильного чувства.

Отсюда — индивидуализм в его лицах, вовсе не сводимых к общим типам. Тип в литературе — это уже недостаток, это обобщение; то есть некоторая переделка действительности, хотя и очень тонкая. Лица не слагаются в типы, они просто живут в действительности, каждое своею особенною жизнью, неся в самом себе свою цель и значение. Этим именно, несливаемостью своего лица ни с каким другим, и отличается человек ото всего другого в природе, где все обобщается в роды и виды и неделимое есть только их местное повторение. Этой-то главной драгоценности в человеке искусство и не должно бы касаться, — и оно не касается его у Пушкина. Из новых только граф Лев Толстой, и

то в несовершенной степени, сумел достигнуть того же: и зато он считается высшим представителем натурализма в нашей литературе. Но мы не должны забывать, что это уже было у Пушкина, и только почему-то осталось незамеченным.

Во всяком случае это есть величайший признак того, что в произведениях сохранена жизнь, перенесенная из действительности. Но и не только как воплотитель Пушкин дает норму для правильного отношения к действительности: в его поэзии содержится указание, как само искусство, уже воплотив жизнь, должно обратно на нее действовать. В этом действии не должно быть ничего уторопляющего или формирующего: поэзия лишь просветляет действительность и согревает ее, но не переиначивает, не искажает, не отклоняет от того направления, которое уже заложено в живой природе самого человека. Она *не мешает* жизни — и это также вследствие того, что в ней отсутствует болезненное воображение, которое часто творит второй мир поверх действительного и к этому второму миру силится приспособить первый. Пушкин научает нас чище и благороднее чувствовать, отгоняет в сторону всякий нагар душевный, но он не налагает на нас никакой удушливой формы. И, любя его поэзию, каждый остается *самим собою*.

Все это и делает его поэзию идеалом нормального, здорового развития. В ней заложены уже направления, следуя которым, сколько бы ни усложнялась жизнь — она не отклонится в сторону; станет полнее, разнообразнее, наконец — глубже: но от этого не потеряет ни прежнего единства и цельности, ни спокойствия и ясности. Иное поймется в ней, иное совершится, нежели что могло быть понято и совершено в эпоху Пушкина; но все понятое также правильно ляжет на душу, и, совершаясь, ничто не примет уродливости в движениях.

II

Но вот появился Гоголь. Не различая типов в психическом развитии людей, мы все гениальное в творчестве группируем в одно целое; и, вообще, думаем, что оно не разъединено, внутренне согласно, что оно усиливает друг друга. Но это не так: только гений же может быть губителен для гения, и именно — гений другого, противоположного типа. Известно, как затосковал Гоголь, когда безвременно погиб Пушкин. В это время «Мертвые души» уже вырастали в нем, но они еще не появились, а того, кто последующими своими созданиями мог бы уравновесить их, — уже не стало. Без сомнения, вся тайна гения неизвестна и ему самому; но что он мощь свою ощущает и знает гра-

ницы ее — это ясно. Если уже мы, открыв случайно «Мертвые души», к какому бы нужному делу ни спешили, перевернем еще и еще страницу, то сам-то дивный творец их уже, конечно, знал, какая сила грядет с ним в мир. И он, носитель этой силы, был теперь один. Он знал, он не мог не знать, что он погасит Пушкина в сознании людей и с ним — все то, что несла его поэзия. Вот откуда вытекает тревога его по мере того, как стали выходить главы «Мертвых душ». В письмах к друзьям он выискивает их впечатление, спрашивает о качестве его и сам упорно молчит о смысле поэмы. Слава, несущаяся о нем, его не занимает; он глубже и глубже уходит в себя, тон писем становится все беспокойнее и страннее. Более, чем о ком-нибудь, можно сказать о гение, что центр и направление его лежит в «мирах иных»; но он-то, личный носитель его, все-таки видит и знает это направление, хотя и бессилён помешать ему. Последние главы «Мертвых душ» Гоголь сжег; но и те, которые успели выйти, исказили совершенно иначе духовный лик нашего общества, нежели как начал уже его выводить Пушкин.

Где причина, что один равнозначный гений был, однако вытеснен* другим? Объяснение этого лежит в самой сущности их разнородного творчества и в особом действии каждого на душу. Если, открыв параллельно страницу из «Мертвых душ» и страницу же из «Капитанской дочки» или из «Пиковой дамы», мы начнем их сравнивать и изучать получаемое впечатление, то тотчас заметим, что впечатление от Пушкина не так устойчиво. Его слово, его сцена, как волна входит в душу и, как волна же, освежив и всколыхав ее — отходит назад, обратно: черта, проведенная ею в душе нашей, закрывается и зарастает; напротив, черта, проведенная Гоголем, остается неподвижною: она не увеличивается, не уменьшается, но как выдавились однажды — так и остается навсегда. Как преднамеренно ошибся Собакевич, составляя список мертвых душ, или как Коробочка не понимала Чичикова — это все мы помним в подробностях, прочитав только один раз и очень давно; но что именно случилось с Германом во время карточной игры, — для того, чтобы вспомнить это, нужно еще раз открыть «Пиковую даму». И это еще более удивительно, если принять во внимание непрерывное однообразие «Мертвых душ» на всем их протяжении и, напротив, своеобразие и романтичность сцен Пушкина. Где же тайна

* Совершенно несправедлива и унижительна для памяти Пушкина мысль, что он был вытеснен из живого сознания нашего общества критикой 60-х годов: он уже не читался, когда эта критика появилась, и потому именно она для всех была внятна; с какого же времени он перестал читаться?

этой особенной силы гоголевского творчества и, вместе, конечно его сущность? Откроем первую страницу «Мертвых душ»:

«Въезд его не произвел в городе совершенно никакого шума и не был сопровожден ничем особенным; только два русские мужика, стоявшие у дверей кабака, против гостиницы, сделали кое-какие замечания, относившиеся, впрочем, более к экипажу, чем к сидевшему в нем. «Вишь ты,— сказал один другому,— вон какое колесо! Что ты думаешь, доедет то колесо, если б случилось, в Москву, или не доедет?» — «Доедет»,— отвечал другой. «А в Казань-то, я думаю, не доедет?» — «В Казань не доедет»,— отвечал другой. Этим разговор и кончился. Да еще, когда бричка подъехала к гостинице, встретился молодой человек в белых канифасовых панталонах, весьма узких и коротких, во фраке с покушеньями на моду, из-под которого видна была манишка, застегнутая тульской булавкою с бронзовым пистолетом. Молодой человек оборотился назад, посмотрел экипаж, придержал рукою картуз, чуть не слетевший от ветра, и пошел своею дорогой».

Всмотримся в течение этой речи — и мы увидим, что оно безжизненно. Это восковой язык, в котором ничего не шевелится, ни одно слово не выдвигается вперед и не хочет сказать больше, чем сказано во всех других. И где бы мы ни открыли книгу, на какую бы смешную сцену ни попали, мы увидим всюду эту же мертвую ткань языка, в которую обернуты все выведенные фигуры, как в свой общий саван. Уже отсюда, как обусловленное и вторичное, вытекает то, что у всех этих фигур мысли не продолжают, впечатления не связываются, но все они стоят неподвижно, с чертами, докуда довел их автор, и не растут далее ни внутри себя, ни в душе читателя, на которого ложится впечатление. Отсюда — неизгладимость этого впечатления: оно не закрывается, не зарастает, потому что тут нечему зарости. Это — мертвая ткань, которая какою введена была в душу читателя, таковою в ней и останется навсегда.

Ничего этого не было понято у Гоголя, и он сочтен был основателем «натуральной школы», то есть как будто бы *передающей* действительность в своих произведениях. Только к этому наивному утверждению и относятся мои отрицания, и подтверждение их можно было бы найти во всех воспоминаниях о нем близких людей:

«В январе 1850 года,— пишет С. Т. Аксаков (Соч., т. III, стр. 358),— Гоголь прочел нам в другой раз первую главу «Мертвых душ». Мы были поражены удивлением: глава показала нам еще лучше и как будто написана вновь. Гоголь был очень доволен таким впечатлением и сказал: «Вот что значит,

когда живописец дал последний туш своей картине. Поправки, по-видимому, самые ничтожные: там *одно слово убавлено, здесь прибавлено, а тут переставлено* (мой курс.) — и все выходит другое. Тогда надо напечатать, когда все главы будут так отделаны...» Слово «картина», *то есть срисованное*, здесь, очевидно, поставлено ошибочно: это не кисть живописца, не краски, исполненные разнообразия и жизни, которые воспроизводят разнообразие другой действительности; это скорее какая-то *мозаика слов*, приставляемых одно к другому, которой тайна была известна одному Гоголю. Не в нашей только, но и во всемирной литературе он стоит одиноким гением, и мир его не похож ни на какой мир. Он один жил в нем; но и нам входить в этот мир, связывать его со своею жизнью и даже судить о ней по громадной восковой картине, выкованной чудным мастером,— это значило бы убийственно поднимать на себя руку.

На этой картине совершенно нет живых лиц: это крошечные восковые фигурки, но все они делают так искусно свои гримасы, что мы долго подозревали, что уж не шевелятся ли они. Но они неподвижны; всмотритесь еще раз в приведенный выше отрывок: картуз есть единственное живое лицо там, которое хочет жить, но и оно придерживается вовемя. Все остальные передвигают руками и ногами, но вовсе не потому, чтобы хотели это делать; это за них автор переступает ногами, поворачивается, спрашивает и отвечает: они сами неспособны к этому. И это не потому вовсе, что они бессмысленны: бессмысленность — второе здесь, что уже само собою вытекает из безжизненности. Помните Плюшкина: это в самом деле удивительный образ, но вовсе не потому, как оригинально он задуман, а лишь потому, как оригинально он выполнен. Вот рядом с ним стоит Скупой рыцарь, человек с головы до ног, который понимает и что такое искусство, и что такое преступление, и только надо всем этим господствует своею страстью. Его можно бояться, можно ненавидеть, но нельзя не уважать: он человек. Но разве человек Плюшкин? Разве это имя можно применить к кому-нибудь из тех, с кем вели свои беседы и дела Чичиков? Они все, как и Плюшкин, произошли каким-то особым способом, ничего общего не имеющим с естественным рождением: они сделаны из какой-то восковой массы слов, и тайну этого художественного делания знал один Гоголь. Мы над ними смеемся: но замечательно, что это не есть живой смех, которым мы отвечаем на то, что, встретив в жизни,— отрицаем, с чем боремся. Мир Гоголя — чудно отошедший от нас вдале мир, который мы рассматриваем как бы в увеличительное стекло; многому в нем удивляемся, всему смеемся, виденного не забываем; но никогда ни с кем из виденного не

имеем ничего общего, связующего, и — не в одном только положительном смысле, но также — в отрицательном.

Мой критик указывает на высокую нравственную сторону в Гоголе. Ее, действительно, нельзя достаточно оценить: то, на что он решился, не сделал еще никто в истории. Мы уже сказали ранее, что направление и источник гения всего менее лежит в воле его личного обладателя. Но *сознать* этот гений, но *оценить* его для людей и для будущего — это он может. Гоголь *погасил свой гений*. Неужели и это недостаточное свидетельство того, чем он был?

III

Благодаря образам Пушкина и благодаря новой литературе, которая все силится восстановить его, поборая Гоголя, и в нашей жизни раньше или позже этот гений погаснет. И в самом деле, его ирония к всему живому уже неоднократно заставляла свертываться самый высокий энтузиазм. Вспомним речь Достоевского на Пушкинском празднике: в минуту такого порыва, такого обаяния для всех, он упал, как скошенный, когда к его ногам были брошены гоголевские мертвецы. Отсюда — мучительное раздражение, с которым он отвечал профессору Градовскому. Он понял, что сколько бы ни говорил он далее, к какой бы диалектике ни прибегал — все это не будет ясно, и ясны для всех эти вековые мертвецы, и с ними — истина, что человек может только презирать человека. И действительно, все в его полемике забыто, никто не помнит подробностей спора, но верно всякий помнит мысль, что в прежнее время людям высшей души некуда было и деваться, как только уходить в цыганские таборы от ходячих мертвецов, населявших города. Но то же можно сказать и о всяком времени: непреодолимою преградой незабываемые фигуры Гоголя разбедили людей, заставляя их не стремиться друг к другу, но бежать друг от друга, не ютиться каждому около всех, но от всех и всякому удаляться. Его восторженная лирика, плод изнуренного воображения*, сделала то, что

* В ранних произведениях полную аналогию к этой лирике представляют описания природы («как упоителен, как роскошен летний день в Малороссии» и пр.), всегда напряженные, всегда абстрактные, представляющие только общую панораму, а не собрание частных, из которых каждая дорога и привлекательна. Если сравнивать их с описаниями природы, например, у Тургенева, то тотчас можно заметить, что Тургенев видел, знал и любил природу: множество подробностей у него, очевидно, *запало в душу*, и он их *воспроизвел*, хотя, может быть, и бессознательно. В описаниях Гоголя чувствуешь человека, который никогда и не *взглянул даже* с любопытством на природу (см. также и воспоминания о нем разных лиц). Вообще замечательна в Гого-

всякий стал любить и уважать только свои мечты, в то же время чувствуя отвращение ко всему действительному, частному, индивидуальному. Все живое не притягивает нас более, и от этого — вся жизнь наша, наши характеры и замыслы стали так полны фантастического. Прочтите «Невский проспект», это удивительное сплетение самого грубого реализма и самого болезненного идеализма, — и вы поймете, что он был прологом, открывшим нить событий, сложивших очень грустную историю. Великие люди своим психическим складом живут, разлагаясь в психический склад миллионов людей, из которого рождаются потом с необходимостью и осязаемые факты.

Успокоение — вот то, в чем мы всего более нуждаемся. Нет ясности в нашем сознании, нет естественности в движении нашего чувства, нет простоты в нашем отношении к действительности. Мы возбуждены, встревожены — и это возбуждение, эта тревога сказывается конвульсивностью наших действий и беспорядочностью мыслей. Развитие дальнейшее, при таком состоянии, может подняться на очень большую высоту; но оно никогда не будет при этом развитием нормальным, здоровым.

На пути к этому естественному развитию, не столь ускоренному, но непременно имеющему подняться на большую высоту, действительно стоит Гоголь. Он стоит на пути к нему не столько своею иронией, отсутствием доверия и уважения к человеку, сколько всем складом своего гения, который стал складом нашей души и нашей истории. Его воображение, не так относящееся к действительности, не так относящееся и к мечте, *растлило* наши души и разорвало жизнь, исполнив то и другое глубочайшего страдания. Неужели мы не должны сознать это, неужели мы настолько уже испорчены, что живую жизнь начинаем любить менее, чем... игру теней в зеркале.

К счастью, в самом творчестве Гоголя есть черты, по которым мы можем, наконец, определить его сущность. Мы возвратимся к частному факту, чтоб уяснить все сказанное и укрепить его, как кажется, непреодолимо. По какой-то обратной иронии, которая смеется над самыми мудрыми, в искусно выполненную поэму Гоголя замешались две детские фигурки. Это знаменитые Фемистоклос и Алкид, не похожие ни на что в детском мире —

ле эта особенность, что он все явления и предметы рассматривает не в их действительности, но в их пределе: отсюда поэзия его украинских рассказов, вовсе не похожая на простую действительность Малороссии; отсюда его петербургские повести, «Мертвые души» и «Ревизор», возводящие обыкновенную серенькую жизнь до предела пошлости. С Гоголя, именно, начинается в нашем обществе *потеря чувства действительности*, равно как от него же идет начало и *отвращения к ней*.

ни действительном, ни опозитизированном. Ведь о *них*-то уже мы можем думать, что они были чисты и прекрасны и что никакого «оплотнения» души, о коем говорит г. Николаев, в них еще не было. И все-таки они — куклы, жалкие и смешные, как и все прочие фигуры «Мертвых душ». Не вскрывает ли это с очевидностью пред нами, каков состав и остального содержания поэмы? «Не мешайте этим приходиться ко Мне», — сказал Спаситель о детях; даже Он не смотрел на них с высоты и осуждающим взором, но протягивал к ним руки и привлекал их к Себе; как равно и «оплотненных» душой Он укорял и учил, но никогда не осмеивал. Как же мы можем говорить о какой-то «религиозной высоте», в свете которой знаменитый сатирик судил людей? Если это — высота, то она не имеет ничего общего с тою, с которой смотрел на людей Христос, где лежит Его Евангелие и крест и куда, конечно, должны направляться народы, уходя от всего, что обманчиво блистает для них с противоположной стороны, к счастью — всегда в очень различных точках.

1891 г.

КАК ПРОИЗОШЕЛ
ТИП АКАКИЯ АКАКЬЕВИЧА

Просматривая сочинения Гоголя в классическом издании их, сделанном недавно умершим ученым нашим Н. С. Тихонравовым, я случайно ознакомился из него, как и в каком точном отношении к действительности произошел тип Акакия Акакиевича (в повести «Шинель»), столь характерный для всего творчества Гоголя и, до известной степени, объединяющий в чертах своих если и не все, то главные им созданные типы. К удивлению, это сообщение неожиданно и ярко подтвердилось, и уже фактически, все, что, смутно ища и, быть может, впадая в побочные ошибки, я пытался высказать ранее. Почти не нуждающийся в комментариях, вот этот факт:

«Сообщая о небольшом кружке писателей, — говорит Н. С. Тихонравов, — собиравшихся к Гоголю потолковать преимущественно о явлениях искусства, П. В. Анненков замечает, что «никогда, однако ж, даже среди одушевленных и жарких прений, не покидала его лица постоянная, как бы приросшая к нему наблюдательность. Для Гоголя как здесь, так и в других сферах жизни ничего не пропадало даром. Он прислушивался к замечаниям, описаниям, анекдотам, наблюдениям своего круга — и, случалось, пользовался ими. В этом, да и в свободном

изложении своих мыслей и мнений, кружок работал на него. Однажды при Гоголе рассказан был канцелярский анекдот о каком-то бедном чиновнике, страстно охотнике за птицей, который необычайною экономией и неутомимыми, усиленными трудами сверх должности накопил сумму, достаточную на покупку хорошего лепажевского ружья рублей в 200 (асс.). В первый раз, как на маленькой своей лодочке он пустился по Финскому заливу — за добычей, положив драгоценное ружье перед собою на нос, он находился, по его собственному уверению, в каком-то самозабвении и пришел в себя только тогда, как, взглянув на нос, не увидел своей обновки. Ружье было стянуто в воду густым тростником, через который он где-то проезжал, и все усилія отыскать его были тщетны. Чиновник возвратился домой, лег в постель и уже не встал: он схватил горячку. Только общию подпиской его товарищей, узнавших о происшествии и купивших ему новое ружье, возвращен он был к жизни, но о страшном событии он уже не мог никогда вспомнить без смертельной бледности в лице» (т. II, стр. 610—611).

Мы почти видим этого чиновничка, конечно получающего крохотное содержание, корпящего над бумагами, людям несравненно беднейшим его духовно нужными, но который в этой глупой действительности, для него созданной, сумел, как бы хорясь из нее, создать себе новую, осмысленную, до известной степени поэтическую: ведь страсть к охоте — это прежде всего страсть к природе, т. е. некоторое чуткое к ней внимание, ее живое ощущение. И в этой ненужной своей привязанности, без сомнения по чуткому вниманию уже к нему, к его желанию уйти из города в природу, он никем из окружающих товарищей не осуждается: они не критикуют его раздраженно, не смеются над ним, как посмеялись бы над неуместною затеей и не вознаградили бы утрату ненужной вещи. Из столь же крохотных своих сбережений и, конечно, отказывая через это себе в необходимом, они покупают ему опять ружье! Здесь, в этой «складчине», нам слышится их общее сожаление к себе, сознание о положении, созданном для них и для тысяч подобных описанным, рассказанным, увенчанным историей гением Сперанского, который, как исполинский костяк, без мускулов и без нервов, налег на живую Россию с начала века и до сих пор все в ней давит собою.

Во всяком случае, в смысле рассказанного в кругу приятелей факта не было и тени указания на *безжизненность*, глухую *инертность среды*, в которой он совершился; и также ничего не говорено о *духовной суженности* главного, в нем упомянутого, лица.

«Все смеялись анекдоту, — продолжает Анненков, — имев-

шему в основании истинное происшествие, исключая Гоголя, который выслушал его задумчиво и опустил голову. Анекдот был первою мыслью чудной повести его «Шинель», и она заронила в душу его в тот же самый вечер». Нисколько не чувствуя важности факта, перед ним лежащего и бросающего свет на все творчество Гоголя, ученый издатель его трудов заключает: «Собрания кружка, о которых рассказывает Анненков, происходили в квартире Гоголя на Малой Морской, в доме Лепена; а на этой квартире Гоголь жил в 1834 году. Итак, первая мысль о повести «Шинель» заронила в душу Гоголя в 1834 году» (там же, стр. 611).

Разбирая в мельчайших деталях рукописи Гоголя, проф. Тихонравов открыл в Московском Публичном Музее все последовательные наброски знаменитой повести и между ними — начальный, переписанный рукою Погодина, который он приводит в примечаниях к окончательному тексту повести, со всеми в нем поправками, недописанными и наконец зачеркнутыми словами, из буквы в букву. По этому-то черновику, с его поправками, который так мало обширен, что в нем можно видеть работу одного-двух вечеров, мы, как бы присутствуя в кабинете самого Гоголя, можем следить за работою его воображения над данным действительностью фактом и через это определить весь внутренний ее смысл. Заметив, что в первой этой рукописи (на трех страничках почтового листка в 8^о) еще не появляется и самое имя Акакия Акакиевича, а только содержится как бы художественный очерк безыменного лица, позднее, в других приведенных набросках (в известном эпизоде о его крещении) уже получающего себе и имя, мы приведем его без пропусков, отмечая в скобках выставленные рукою самого Гоголя (над погодинским текстом) слова:

«*Повесть о чиновнике, крадущем шинели.* В департаменте податей и сборов, — который, впрочем, иногда называют департаментом подлостей и вздоров, не потому, чтобы в самом деле были там подлости, но потому, что господа чиновники любят так же, как и военные офицеры, немножко поострить, — итак, в этом департаменте служил чиновник, собой не очень взрачный — *низенький, плешивый, рябоват, красноват*, даже на вид несколько *подслеповат*. (Служил он очень беспорочно). В то время еще не выходил указ о том, чтобы застегнуть чиновников в вицмундиры. Он ходил во фраке цвету коровьей коврижки. Он был (очень) доволен службою и чином титулярного советника. Никаких замыслов на коллежского асессора, ни надежд на прибавку жалованья. (Был он то, что называют вечный титулярный советник, — чин, над которым, как известно, наостри-

лись не мало разные писатели, которых сочинения еще смешат разных невинных читателей, любящих почитать от скуки и для препровождения времени). *В существе своем это было очень доброе животное, и то, что называют благонамеренный человек, — ибо в самом деле от него почти не слышали ни дурного, ни доброго слова. Он совершенно жил и наслаждался своим должностным занятием, и потому на себя почти никогда не глядел, даже брился без зеркала. На фраке у него вечно были перья, и он имел особенное искусство, ходя по улице, попевать под окно в то самое время, когда из него выбрасывали какую-нибудь дрянь, и потому он вечно уносил на своей шляпе арбузные и дынные корки и тому подобный вздор.* Зато нужно было поглядеть на него, когда он сидел в присутствии за столом и переписывал, нужно было видеть наслаждение, выражавшееся на лице его. Некоторые буквы у него были фавориты, до которых если он добирался, то на лице у него просто был восторг (то чувствовал такой восторг, что описать нельзя: и подсмеивался, и подмигивал, и голову совсем на бок, так что иногда для охотника можно в лице читать было всякую букву: живете, мыслете, слово, твердо. Губы его невольно и сжимались, и послаблялись, и как будто отчасти даже помогали. Тогда он не глядел ни на что и не слушал ничего: рассказывал ли один чиновник другому, что он заказал новый фрак, и почем сукно, или споры о том, кто лучше шьет, о Петергофе, о театре, или хоть даже анекдот весьма интересный, потому что довольно старый и знакомый, о том, как одному коменданту сказали, что у статуи Петра отрублен хвост). Он всегда приходил раньше всех. Если не было переписывать, подшивал бумаги, перечинивал перья. (Конечно, это было немного, но большего даже трудно было и дать ему, потому что, когда один раз попробовали употребить на дело немаловажное, именно (дали) поручено было ему из готового дела составить отношение в какое-то присутственное место, — все дело состояло в том, чтобы переменить только заглавие и поставить в третьем лице все то, что находилось в первом, — это задало ему такую головоломку, что он вспотел совершенно: тер лоб и сказал, чтобы дали ему переписать что-нибудь.) Словом, служил очень ревностно на пользу отечества, но выслужил (кажется, что-то очень немного, — только) пряжку в петлицу да гемморрой в поясницу (— вот и всего). Несмотря на то, уважения к нему было очень немного: чиновники над ним подсмеивались и сыпали на голову ему бумажки, что называли снегом, старые швыряли ему бумаги, говоря: на, перепиши. Сторожа даже не приподнимались с мест своих, когда он проходил. Жалованья ему было четыреста рублей в год. На это жалованье он

ел (доставлял себе множество наслаждений) что-то вроде (щей или супа, Бог его знает, впрочем) и какое-то блюдо из говядины (пахнувшее страшно), прошпигованное немилосердно луком; *отлеживался во всю волю на кровати* (валялся в узенькой комнате) в комнате, над сараями, в Свечном переулке, и платил за помещение заплаток на свои панталоны, почти (вечно) на одном и том же месте — и все это за те же 400 рублей, и даже ему оставалось на поставку пары подметок в год на сапоги (подметок на сапоги, которые он очень *берег*, и потому дома, *по праздникам, на квартире всегда сидел в чулках*). Право, не помню его фамилии. Дело в том, что это был бы первый на свете человек, довольный своим состоянием, если бы не одно маленькое, очень затруднительное, впрочем, обстоятельство. В то время, когда Петербург дрожит от холода и двадцатиградусный мороз дает свои колючие щелчки по носам даже действительных тайных советников первого и второго класса, бедные титулярные советники остаются решительно без всякой защиты. Чиновник, о котором идет дело, укрывал кое-как, как знал, свой *нос*, впрочем очень незамечательный, *тупой* и несколько *похожий на то пирожное*, которое делают (некоторым чиновникам) кухарки в Петербурге, называемое пышками. Он его упрятывал во что-то больше похожее на капот, чем на шинель, что-то очень неопределенное и очень поношенное. Он уже издавна стал замечать, что шинель становится, чем далее, как будто бы немного холоднее. Рассмотревши ее всю насквозь, — к свету и так, — он решил снести ее к портному (которому эта шинель была решительно так же знакома, как собственная, и он знал совершенно местоположенья всех худых и дырявых мест), который, несмотря на свой *кривой* глаз (*рябизну* по всему телу), занимался довольно удачно починкой чиновничьих и всяких других панталон и фраков» (стр. 613—614).

Здесь и оканчивается первоначальный набросок. Всматриваясь в него, а также в последующие переделки и в окончательную редакцию повести, мы заметим, что сущность художественной рисовки у Гоголя заключалась в подборе к одной избранной, как бы *тематической*, черте создаваемого образа других *все подобных же, ее только* продолжающих и усиливающих черт, с строгим наблюдением, чтобы среди их *не замешалась хоть одна, дисгармонирующая и.м.* или просто с ними не связанная черта (в лице и фигуре Акакия Акакиевича нет ничего не безобразного, в характере — ничего не забитого). Совокупность этих подобранных черт, как хорошо собранный вогнутым зеркалом пук однородно направленных лучей, и бьет ярко, неизбежно в память читателя; но конечно — это не свет естественный,

рассеянный, какой мы знаем в природе, а искусственно полученный в лаборатории. И видеть какую-нибудь фигуру, точнее — одну в ней черту под лучом этого света, когда все прочие ее черты оставлены в совершенной темноте, — значит узнать о ней менее, как если бы в обыкновенном свете (позднейшее наше художество) мы видели полную фигуру в соединении всех ее черт. Известно, что последующие томы «Мертвых душ» имели задачей своей вывести положительные образы; но при том способе рисовки, какой был присущ Гоголю — и они все равно бы были сужением действительности, ее упрощением, обеднением (ведь таковы и есть *начатые* образы Улиньки, Костанжогло). Но мы знаем, что в первом томе этого труда он выполнил лишь отрицательную половину занимавшей его задачи; не ясно ли, что уже не сужение, но *искалечение* человека против того, что и каков он в действительности есть, мы здесь находим.

Судя по переделкам, мы в этом процессе его рисовки можем отметить одну общую тенденцию: первым движением воображения он стремится захватить в картину возможно большее число предметов; позднее ненужные из них отбрасываются, действие вогнутого зеркала как бы сосредоточивается, но и то, что оно делает с предметом, перед ним стоящим, — усиливается. Отчасти это можно видеть из приведенных выше в скобках *добавлений*, сделанных рукою самого Гоголя к первому, начальному тексту повести; но еще более это заметно при сравнении его с окончательною редакциею. Так, в последней начало повести *упрощено*:

«В департаменте... но лучше не называть, в каком департаменте...»

т. е. отброшены ненужные «подлости и вздоры», и также «господа чиновники и военные офицеры». Зато на жалкую фигуру Акакия Акакиевича в этих же первых строках накинута одна-две еще увеличивающие его безобразные черты.

«...Итак, в одном департаменте служил один чиновник, — чиновник нельзя сказать, чтобы очень замечательный: низенького роста, несколько рябоват, несколько рыжеват, несколько даже на вид подслеповат, с небольшою лысиною на лбу, с *морщинами по обеим сторонам щек и цветом лица, что называется, геморроидальным*».

Далее, ниже несколькими строками, краски, рисующие как его внешность, так и внутреннее содержание, сгущены против первоначального наброска и доведены до непереступаемой степени яркости:

«...Вицмундир у него был не зеленый, а какого-то рыжева-

то-мучного цвета. *Воротничок* на нем был *узенький, низенький*, так что *шея* его, несмотря на то что не была длинна, выходя из воротника, *казалась* необыкновенно длинною, как у тех *гипсовых котенков*, болтающих головами, которых носят на головах целыми десятками русские иностранцы. И *всегда что-нибудь* да прилипало к его *вицмундиру*: или *сенца кусочек*, или какая-нибудь *ниточка...* «Он если и *глядел на что*, то *видел на всем свои чистые, ровным почерком выписанные строки*, — и только разве, если, неизвестно откуда взявшись, лошадиная морда помещалась ему на плечо и напускала ноздрями целый ветер ему в щеку, тогда только замечал он, что он не на середине строки, а скорее на середине улицы...» «Приходя домой, хлебал наскоро щи... не замечая их вкуса, ел все это с мухами. Заметивши, что желудок начинает пучиться, вставал из-за стола, *вынимал баночку с чернилами и переписывал бумаги, принесенные на дом*. Если же таких не случалось, он снимал нарочно, для собственного удовольствия, копию для себя, — особенно если бумага была замечательна, не по красоте слога, но по адресу к какому-нибудь новому или важному лицу...» «Написавшись всласть, он ложился спать, улыбаясь заранее при мысли о завтрашнем дне, — *что-то Бог пошлет переписывать завтра*. Так протекла мирная жизнь человека, который с четырьмястами жалованья умел быть довольным своим жребием», и т. д.; следует переход к «сильному врагу всех» таких чиновников, северному морозу, — что уже содержится в конце первой редакции повести, и, следовательно, все вставки эти сделаны именно на приведенном первом наброске начала повести.

Обратимся от приемов этой рисовки к самому рисующему художнику. Слова *первого же* наброска, *выпущенные* в позднейших переработках: «*в существе своем это было доброе животное*», ставят нас на точку зрения, с которой рисовался портрет: и взглянув на него, мы уже объясняем себе, почему именно понижающая черта избрана в рисуемом портрете: животное, безыдейное, неощущающее — такова была его тема; и, между тем, мелькнула она в уме художника при рассказе, именно показывающем человека одухотворенным, полным мысли, чувства радости о Божием мире. Достаточно вспомнить о *самозабвении* охотника, выехавшего после долгого, быть может, ожидания на гладь Финского залива, с *бесчувственностью* канцеляриста, который, переходя улицу, тогда только замечает, что он «не на середине строки», когда лошадь тычет его из-за плеча мордой, чтобы понять, чем было творчество Гоголя *в отношении к действительности*, какую *ее рисовкой*. Гоголь не только не передавал ее в своих созданиях; и как человек, встречаясь с ее явления-

ми или слыша о них — он чудился ее, съезживался, уходил от нее, как уходили от холода его чиновники «в свои поношенные капоты», в странный мир болезненного воображения, где рядом с образами блистающих «Аннунциат» (см. «Рим») жили оскопленные, с облезлыми на голове волосами, с морщинистыми щеками образы Акакиев Акакиевичей и подобных; но как эти, так и те, «блистающие», — равно без жизни, без естественного на себе света, без движений, без способности в себе продолжающейся мысли, развивающегося чувства* С этими странными образами одними он жил, ими тяготился, их выразил; и, делая это, — и сам верил, и заставил силою своего мастерства несколько поколений людей думать, что не причудливый и одинокий мир своей души он изображал, а яркую, перед ним игравшую, но им *не увиденную, не услышанную, не ощущенную* жизнь.

И, однако, если бы только «Мертвые души» и «Ревизора» оставил нам Гоголь, то, оставаясь изумителен для нас как художник, он не был бы еще велик, как человек. Есть, сверх отмеченной главной в нем черты, *сужения* и *принижения* человека, другая, которую он стал так непонятен, таинствен для всех и которую влечет к себе наше сердце, зовет к себе будущее, — как первую чертою очаровывает наш ум, отталкивает прошлое. Эта черта — и она также сейчас объяснится из его черновых бумаг — есть его бесконечный *лиризм*, оторванный, как и прочее, от связи с действительностью. К чему он относится? Только к этой иронии, с нею связан, без нее не появлялся. Лиризм Гоголя всегда есть только жалость, скорбь, «незримые слезы сквозь видимый смех», как-то мешающиеся с этим смехом: но, замечательно, не предшествуя ему, но всегда за ним *следует*. Это — великая жалость к человеку, так изображенному, скорбь художника о законе своего творчества, плач его над изумительною картиною, которую он не умеет нарисовать иначе (вспомним *попытку* создать 2-й т. «Мертвых душ»), и, нарисовав так, хоть ею и любитесь, но ее презирает, ненавидит. Ранний проблеск этого лиризма мы находим в разбираемой теперь повести, и из содержания черновых бумаг убеждаемся, что его вовсе не было в первоначальных текстах, он только появился *вставкою* в окончательный текст, т. е. когда собственно *рисующая* работа была

* Замечательно, что ни в одном произведении Гоголя нет *развития* в человеке страсти, характера, и пр.; мы знаем у него лишь *портреты* человека *in statu*, не движущегося, не изменяющегося, не растущего или умалющегося. И, кажется, так же относится он к природе: *бури, ветра, даже шелестящих* листьев или травы он не описал; но на всей огромной панораме его живописи ничто не движется, — и это, конечно, не без связи с характером его гения.

уже окончена. Мы приведем его в контексте с этою последнею, дабы видно было отсутствие всякой между ними связи:

«Молодые чиновники подсмеивались и острили над ним, во сколько хватало канцелярского остроумия; рассказывали тут же, перед ним, разные составленные против него истории; про его хозяйку, семидесятилетнюю старуху, говорили, что она бьет его; спрашивали, когда будет их свадьба; сыпали на голову его бумажки, называя это снегом...»

И вот, как бы прерывая этот поток издевательств, ударяя рисующую неудержимо их руку, — какую-то припискою сбоку, позднее прилепленную наклейкой, следует:

«...но ни одного слова не отвечал Акакий Акакиевич, как будто бы никого и не было перед ним. Это не имело даже влияния на занятия его: среди всех этих докук, он не делал ни одной ошибки в письме. Только если уж слишком была невыносима шутка, когда толкали его под руку, мешая заниматься своим делом, он произносил: «Оставьте меня! Зачем вы меня обижаете?» *И что-то странное заключалось в словах и в голосе, с каким они были произнесены. В нем слышалось что-то такое преклоняющее на жалость, что один молодой человек, недавно определившийся, который, по примеру других, позволил было себе пошутиться над ним — вдруг остановился, как будто все переменялось перед ним и показалось в другом виде; какая-то неестественная сила оттолкнула его от товарищей, с которыми он познакомился, приняв их за приличных, светских людей. И долго потом, среди самых веселых минут, представлялся ему низенький чиновник с лысиной на лбу, со своими проникающими словами: «Оставьте меня! Зачем вы меня обижаете?» И в этих проникающих словах звенели другие слова: «Я брат твой». И закрывал себя рукою бедный молодой человек, много раз содрогался он потом на веку своем, видя, как много в человеке бесчеловечья, как много свирепой грубости в утонченной, образованной светскости, и, боже! даже в том человеке, которого свет признает благородным и честным».*

И далее опять:

«...Вряд ли где можно было найти человека, который так жил бы в своей должности. Мало сказать — он служил ревностно; нет, он служил с любовью. Там, в этом переписывании, ему виделся какой-то свой разнообразный и приятный мир. Наслаждение выражалось на лице его; некоторые буквы у него были фавориты, до которых если он добирался, то был сам не свой: и подсмеивался, и подмигивал, и помогал губами, так что в лице его, казалось, можно было прочесть всякую букву, которую выводило перо его. Если бы соразмерно его рвению давали ему на-

град», и т. д. (та же 92 стр.) сыплются и сыплются те же «бумажки» на голову» в существе своем доброго животного», как раньше. Вне всякого сомнения, приведенный лирический отрывок есть вспышка глубокой скорби в творце при виде сотворенного; это он «содрогается», окончив создание «свирепой грубости», и «закрывает себя рукою», и повторяет звенящие в ушах слова: «Я брат твой», которые чем далее, тем громче будут звучать в его душе, по мере того, как творческий его гений будет восходить к высшим и высшим в зрелости своей созданиям. Мы их услышим, этот плач художника над своею душой, в лирических отступлениях «Мертвых душ», в речи первого комического актера «Развязки к Ревизору», в заключительной строке «Повести о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем»*; он нам звучит из множества частных его писем глубочайшей значительности и, наконец, все собою заглушает, сгоняет остатки всякого «смеха» в «Авторской исповеди», в «Завещании», в «Выбранных местах из переписки с друзьями». И — вот он, весь Гоголь, в полноте образа своего, без исключения из него какой-нибудь черты: великий человек, в котором гениальный ум разошелся с простым сердцем и надолго победил его, заглушил естественный против себя ропот, но в конце — был им побежден, скован, отброшен после борьбы, которая, однако, человеку стоила жизни.

И если все это в нем было непонятно, мы не должны этому удивляться: ведь бороться с собою — это так чуждо нам, так не понятно в себе; могли ли понять и оценить мы это в другом? Нам все казалось, что, как и мы, он «боролся с печальною действительностью»; целая половина его деятельности становилась, при таком взгляде, необъяснима в нем; необъясним он весь, как человек, с его мучительным скитальчеством из страны в страну, с жаждой бежать из родной земли, молитвой, аскетизмом, поездкой в Иерусалим, сожжением 2-го тома «Мертвых душ». Что за дело до *него*; ведь зато он становился помощником *нам*. Но великий человек достоин того, чтобы его рассматривали в самом себе. В истории души своей, хотя бы единичной, он,

* Любопытно, что всюду, где он умеет создавать не отрицательные образы (в «Вечерах на хуторе близ Диканьки», в «Миргороде»), у него эти лирические отступления отсутствуют; хотя, по течению речи, там преимущественно и следовало бы ожидать, что он к ним подымет. И рисуя отрицательное — лишь там, где живопись достигает самой яркой выпуклости, самой высокой напряженности (как и в примере Акакия Акакиевича) — скорбь охватывает душу творца и изливается в лирическом отступлении, по закону художественной объективации обращаемом к изображаемому человеку, но в истине своей — о самом *изображении* и о *себе*, изобразившем.

быть может, значительнее, чем целое общество в истории своих мелких забот, треволнений, ожиданий, злобы. И если венчавшее его могилу камнем, похвалой и готовое увенчать бронзою непонимание и тщеславие при этом изменившемся на него взгляде возьмем *свое* назад, — с его образа сбегут только ему навязанные черты, и он останется для нас в том именно особом величии, какое было в нем и какое он в себе указал нам; но мы к словам его не прислушались.

1894 г.

ТРИ МОМЕНТА В РАЗВИТИИ РУССКОЙ КРИТИКИ

I

Как и художественная литература, наша критика успела уже пережить в своем развитии несколько фазисов. Смена этих последних обуславливалась изменениями в целях, которые она поставляла перед собою.

Отделить в литературных произведениях прекрасное от посредственного и выяснить эстетическое достоинство первого, это составляло цель и смысл раннего периода нашей критики. Деятельность Белинского, многолетняя и плодотворная, была высшим выражением этого стремления; и так как в литературе наиболее существенным всегда останется именно прекрасное, — то, каковы бы ни были дальнейшие судьбы нашей критики, как бы ни углубилась она в своем содержании, эта деятельность никогда не будет затемнена и отстранена, но всегда и только — дополнена. Он сделал то, что необходимо было раньше всего сделать в отношении к литературе, и в то же время — это было самое существенное, важное. Знать, что именно следует ценить в ней и чем пренебрегать, это значило для общества начать ею воспитываться, и для писателей — стать относительно других литератур в положение оценивающего зрителя, а не слепого подражателя. С величайшею чуткостью к красоте, какую обладал Белинский, с чуткостью к ней именно в единичном, индивидуальном, быть может нераздельна некоторая слабость в теоретических обобщениях — и это было причиной, почему до конца жизни он не установил никакого общего мерила для прекрасного, никакого постоянного критерия для отделения в литературных произведениях хорошего от дурного. Он был похож на тех людей, самых нужных и самых лучших, которых мы иногда наблюдаем в окружающей нас жизни: с изумительным совер-

шенством и безошибочностью они различают хорошее и дурное, сами воздерживаются от последнего и удерживают от него других и, однако, совершенно не знают, почему именно одно всегда бывает дурно и другое всегда хорошо; тогда как рядом с ними мы видим бледных теоретиков, которые истощили силы своего ума над отыскиванием всеобщих оснований для хорошего и дурного и теряются в бессильных колебаниях при встрече с самым простым фактом в жизни своей или себе близких. Однако, как бы ни предпочитали мы безошибочное понимание частного знанию всеобщего, мы не должны отвергать и важности последнего, и тот, кто своею теоретическою мыслью сумел бы выяснить всеобщее мерило хорошего и дурного в сфере поэтических и художественных произведений, без сомнения, сделал бы нечто не только в высшей степени трудное, но и высоко достойное и необходимое.

II

Связать литературу с жизнью, заставив первую служить последней и понимая последнюю через явления первой — это составило смысл и задачу второго периода нашей критики, высшим выразителем которого явился Добролюбов. Прекрасное в литературе было отодвинуто на второй план, как и наслаждение только им было признано мало достойным. Как на самое существенное указывалось в ней на то, что она может глубже и вернее, нежели что-либо другое, отражать в себе жизнь, и притом не только с внешней стороны, которую одну мы наблюдаем в действительности, но и с внутренней, более глубокой, которая часто ускользает от нас. Художник или поэт есть как бы бессознательный мудрец, который в выводимых им образах или передаваемых фактах концентрирует рассеянные черты жизни, иногда схватывает глубочайшую их сущность и даже угадывает их причины. Поэтому, изучая литературу, мы изучаем самую жизнь, а с тем вместе и научаемся, как относиться к последней. Но не всякое литературное произведение выполняет все эти задачи одинаково совершенно: несмотря на совершенство, например, в изображении и обобщении, оно может неверно определять смысл изображаемого или, еще чаще, может погрешать в указании его причин. Задача критики и состоит в том, чтобы внести поправки ко всему этому. Она есть строгий и обстоятельный комментарий к литературе, который вносит в нее недостающее, исправляет неправильно сказанное, осуждает и отбрасывает ложное, и все это — на основании сравнения ее содержания с живою текущею действительностью, как ее понимает критик.

Невозможно было придать литературе более жизненное значение, пробудить к ней более глубокий интерес, так слить ее с душой исторически развивающегося общества, чем как это сделал подобный взгляд на ее сущность и на задачи критики. Именно под его влиянием литература приобрела в нашей жизни такое колоссальное значение. Не знать ее, не любить ее, не интересоваться ею — это значило с того времени стать отщепенцем своего общества и народа, ненужным отброском родной истории, узким и невежественным эгоистом, которому никто не нужен и который сам никому не нужен. Писатель стал главным, центральным лицом в нашем обществе и истории, к мысли которого все прислушиваются. И все это совершилось без слов, даже без видимых, осязаемых влияний, просто через изменение взгляда на литературу, через новое отношение к ней, в которое стала критика, и за ней — общество.

Великое значение исторически развивающейся жизни заключается в том, что она, в своем ровном и могущественном течении, удерживает в себе все истинное и дорогое, что в нее вносится индивидуальной волею, дает рост ему и силу, и сама от него возрастает; ложное же и дурное почти все и без усилий оставляет в стороне. Деятельность Добролюбова, как ни кратка она была по времени, вошла органическим звеном в духовное развитие нашего общества, и трогательные слова, написанные им в предвидении близкой смерти, в виду ранней и незаслуженной могилы:

Но зато родному краю
Верно буду я известен

осуществились так, как только он сам мог пожелать для себя, даже более — как мог он пожелать для самых дорогих своих надежд. Целый ряд поколений, как-то быстро выступивших и быстро же сошедших со сцены, неотразимо подчинился его влиянию, усвоил тот особый душевный склад, тот оттенок чувства и направление мысли, которое жило в этом еще так молодом и уже так странно могущественном человеке. И кто из нас теперь живущих и уже свободных от этого влияния людей, обратясь к лучшим годам своей юности, не вспомнит, как за томом сочинений Добролюбова забывались и университетские лекции, и вся мудрость, ветхая и великая, которая могла быть усвоена из разных старых и новых книг. К нему примыкали все наши надежды, вся любовь и всякая ненависть.

В этом состоит, но этим и ограничивается положительная сторона его деятельности. Весь исполненный желаний, он на желания же и хотел влиять, и так как он делал это через крити-

ку, то есть через литературу, то косвенно и невольно подчинил ей желания общества. Отсюда и вытекает характер переворота, который произвел он; и с этим же характером неотделимо связана и отрицательная сторона его деятельности: именно ложность почти всех литературных оценок, которые он сделал. Натура всего менее рефлексивная и пассивная, он совершенно неспособен был, отрешившись от себя, подчиниться на время произведению, которое ему нужно было понять, войти в мир образов и идей его творца. Совершенное непонимание художественного отношения к жизни было его отличительной чертой — естественное последствие исключительности его духовного склада.

Два течения в нашей литературе ведут отсюда свое начало: упадок критики и обращение почти всей литературы в тенденциозную — с одной стороны; отделение от этого течения и совершенно свободное, вне всякой зависимости от критики, развитие нескольких самобытных дарований — с другой. Это произошло таким образом: не будучи способен понять что-либо разнородное с собою, Добролюбов подчинил своему влиянию все третьестепенные дарования, которые впали в смысл его критики, и он, в свою очередь, совпал своею критикой с их смыслом (Марко-Вовчок, Некрасов — большою частью своих произведений, Щедрин — почти всеми, и многие другие). Напротив, все действительно великие дарования последнего цикла нашей литературы (Достоевский, Тургенев, Островский, Гончаров, Л. Толстой), видя, как критика говорит что-то, хотя и по поводу их, однако как бы к ним совсем не относящееся, отделились от нее, перестали принимать ее указания в какое-либо соображение. Ряд последующих критиков, видя только внешние черты влияния Добролюбова и не понимая, как тесно они были связаны с его особым душевным складом, — хотя и не имели в себе ничего подобного, однако хотели во всем следовать ему: произошло явление в высшей степени слабое и незначущее, как не имеющее под собою никакого другого основания, кроме подражательности. Тон силы и влияния, замысел руководить обществом и направлять течение жизни — все это сохранено было ими; но в формах этого тона, в пределах этого замысла произносились ими бессильные, незначущие слова: они были похожи на певцов, широко раскрывающих рот, из которого выходят едва слышные звуки. Однако нет человека настолько слабого, чтобы не нашлось еще другого слабейшего, который захотел бы подчиниться ему. Если прежде третьестепенные дарования подчинялись критике, то теперь люди безо всяких дарований стали выступать на литературное поприще, в надежде единственно

своим подчинением критике снискать для себя читателей и даже некоторое влияние. Это породило необозримую литературу беллетристических произведений и стихотворческих работ. В толстых журналах, которым и теперь еще принадлежало главное значение в нашей литературе, обыкновенно в одном отделе появлялись эти романы, повести и стихи, а в другом отделе, «идейном», они же разбирались, кое в чем ограничивались, но в общем одобрялись — явление, по своей беззастенчивости, совершенно невозможное ни в период критики Белинского, ни во время Добролюбова. И в то время как этими произведениями критика пространно занималась, она высокомерно обходила молчанием или произносила краткие и небрежные слова о произведениях другого, отделившегося литературного течения. Вскоре, однако, незначительность делаемого дела все яснее начала чувствоваться самими критиками: их раздражение от этого возрастало, они тоскливо смотрели на настоящее и безнадежно на будущее. Единственно радостное было у них в воспоминаниях, когда то же самое дело и как будто также делалось с успехом, влиянием и силою. Сознание отсутствия в себе какого-либо исторического значения видимо тяготило их: они постоянно говорили, что их направление все-таки сослужило великую службу обществу, но они никогда не говорили о себе в отдельности, а всегда и исключительно — о себе в связи с Добролюбовым. В общем, они были злы и дурны, как все несчастные люди. Мало-помалу это направление стало иссякать количественно: все меньше становилось критик, все короче они становились, и мы теперь видим, наконец, как некогда столь цветущая у нас эта ветвь литературы почти прекращается. Она существует лишь как традиционно обязательный отдел во всяком периодическом издании. Чего-либо ведущего, направляющего, какой-либо внутренней силы в ней не осталось и следа.

Одно явление, чрезвычайно яркое и одиночное, вспыхнуло и закончило все значащее в этом течении критики. Мы разумеем разбор романа «Анны Карениной» в критическом этюде М. С. Громеки «Последние произведения гр. Л. Н. Толстого» (М., 1884 г.). По прекрасному языку, глубокому чувству, в нем разлитому, и своеобразию приемов — это есть классическое произведение не только критики нашей, но и нашей литературы вообще. Мы не можем лучше определить его значение, как сказав, что оно имеет смысл и силу вовсе не только как комментарий к разбираемому им роману: независимо от этого, оно и само по себе есть одно из глубоких и прекрасных проявлений того нравственного перелома, который с восьмидесятых годов начался в нашем обществе. Несмотря на противоположность прони-

кающего его смысла смыслу критики Добролюбова, мы относим его, однако, к течению, которое было начато ею: это потому, что и в нем волевой элемент преобладает над рефлексивным, и оно, подобно критике Добролюбова, разбирая литературное произведение, собственно разбирает в нем нарождающееся явление жизни, страстно отстаивая его против других, еще могущественных, хотя и стареющих ее течений.

Мы сказали, что с возникновением критики Добролюбова произошло раздвоение нашей литературы: все слабое и количественно обильное подчинилось ей; напротив, все сильное отделилось и пошло самостоятельным путем. Собственно, только этот второй поток и образует собою новый фазис в развитии нашей литературы. Немногие и очень сильные дарования, которые составляют его, все запечатлены глубокою индивидуальностью: каждое из них шло самостоятельным путем, вне всякого влияния остальных; их индивидуализму способствовало, может быть, и то, что они развивались вне какой бы то ни было зависимости от своей оценки в обществе или в критике. Последняя смотрела на них почти враждебно, и если перечитать все критические отзывы, явившиеся, например, по поводу «Обрыва», и все разборы какого-нибудь современного ему и уже давно забытого литературного произведения, то можно видеть, насколько второе одобрялось более, или по крайней мере менее порицалось, нежели роман Гончарова. Причина враждебности заключалась здесь в том, что, не будь этих дарований, текущая критика могла бы еще колебаться в сознании своей ненужности: слабостью *всей* литературы она могла бы оправдывать *свою* слабость; незначительностью предметов, которые обсуждала, могла бы объяснить незначительность своего содержания. Но когда в литературе существовали художественные дарования и она не умела связать о них нескольких значащих слов; когда общество зачитывалось их произведениями, несмотря на злобное отношение к ним критики, а одобряемых ею романов и повестей никто не читал — критике невозможно было не почувствовать всей бесплодности своего существования.

III

Третье течение нашей критики возникло одновременно со вторым. Его начинателем и полным выразителем был Ап. Григорьев; тонким, настойчивым и успешным истолкователем является в наше время г. Страхов.

Научность составляет отличительную черту этого течения. Если в первом своем периоде наша критика выясняла эстетиче-

ское достоинство литературных произведений, во втором — их жизненное значение, то в этом она задалась целью *объяснить, истолковывать* их. Это достигалось, во-первых, раскрытием существенных и своеобразных черт в каждом литературном произведении, и, во-вторых, определением его исторического положения, то есть органической связи с предыдущим и отношения к последующему.

Обилие мысли и богатство собственных, уже пережитых, настроений дало возможность А. Григорьеву понять и своеобразие каждого литературного произведения, и внутреннюю, духовную связь многих из них между собою. К сожалению, при редкой даровитости в истинном, глубоком значении этого слова, он не обладал даровитостью внешнею — теми внешними качествами блестящего изложения, остроумия или игровой шутки, которые так привлекают к себе читателей. Несерьезность широких масс нашего читающего общества и господствующих течений нашей литературы ярко сказалась в том, что ни первое, ни вторая не сумели рассмотреть мысли, которая заключена была не в блестящих формах. Перевес Добролюбова и даже его преемников над Ап. Григорьевым был, собственно, перевесом литературного стиля над мыслью. А между тем, вчитываясь в сочинения Ап. Григорьева (т. 1, 1876 г.), испытывалось невольное, как, в конце концов, мысль *совершеннее* всего остального в человеке, как отходят перед нею и бледнеют и художественный восторг, и исполненная сжатой страсти речь. Как ни много писалось о Пушкине, как ни умел ценить его Белинский, каким высоким пафосом ни запечатлены его статьи о нем, всеобъясняющая мысль Ап. Григорьева покрывает все это — и вместе с прекрасным и великим образом нашего поэта, впервые понятым, в читателе неотделимо вырастает и чувство самого глубокого удивления к его критике. Понятие о народности в поэзии, которое так часто произносится и почти не сопровождается объяснениями, считаясь слишком простым, впервые раскрывает здесь свой сложный смысл; и впервые же становится понятно, как много нужно было сил, чтобы стать народным поэтом, и к каким это привело результатам. Сведение всего вопроса на психическую почву, как это сделал Ап. Григорьев, было приемом глубоко философским. Рассматривая ряд народностей, в своей совокупности создавших европейскую цивилизацию, как выразителей особых *психических типов*, он видит и в европейской литературе ряд отражений этих типов; отсюда — местные особенности в ней, например постоянное сходство английской и французской литератур или еще общее — всех германских литератур со всеми романскими, при родственности отдельных на-

циональных литератур в пределах каждого из двух великих семейств, на которые распадается население Западной Европы. Но отдельные народности в Европе не живут изолированно: они связаны между собою единством цивилизации, и с нею — единством целей своих в одно время, успехом в достижении их или неуспехом — в другое. Ряд переживаемых надежд и разочарований, общих для всей Европы в одно и то же время и несходных друг с другом в различные времена, порождает смену *исторических настроений*, которые также все отражаются в литературе: например, настроение средневековое, под которым написана была «Божественная комедия», и настроение Возрождения, под которым написан был «Декамерон». Совокупность национальных типов, различных по этнографической среде, и психических настроений, различных по историческим эпохам, переплетаясь взаимно, — и составляют всю сеть, всю гармонию отдельных тонов, которые, сливаясь в одно стройное, многовековое созвучие, образуют собою европейскую литературу. Изучать эту последнюю — значит расчленять эту гармонию на отдельные тоны и следить за звуком каждого из них, то заглушаемым, то заглушающим; понимать ее смысл — значит находить в себе и пробуждать к жизни душевное настроение, звучащее во всяком тоне.

Отсюда не трудно понять и отношение к западноевропейской литературе литературы каждой иной народности, которая долгое время развивалась изолированно и потом примкнула к общему потоку европейской цивилизации.

Усвоение форм литературного творчества есть для нее первый шаг к сближению и подчинению, но шаг еще незначительный, подчинение чисто внешнее, и при нем она может сохранять глубокую внутреннюю самобытность, может оставаться вполне национальною. Такова была вся русская литература XVIII века, исполненная надежд *своего* народа, тревог *своего* времени, повсюду под заимствованными формами отражая особый склад *его* ума и чувства. В комедиях Фонвизина, в одах Державина, в сатирах Новикова, в Феофане Прокоповиче или в Кантемире, несмотря на их чуждое, внешнее убранство, мы слышим тон и звук, которые совершенно национальны, вытекают прямо из духа и жизни своего времени и народа. Херасков писал свою «Россиаду», как Петр Великий замышлял Академию наук, как его современник, неизвестный автор «Записной книжки любопытных замечаний» *, путешествуя по

* Писано в 1697—98 гг., изд. в С.-Петербурге в 1788 г. Это один из самых любопытных памятников нашей литературы, и ее историк не ошибся бы, если бы с подробного его анализа начал изложение ее хода за два последние века.

Европе, при виде всего замечательного, на что ему показывали, брался прежде всего за аршин, чтоб его измерять. Предметами внимания их были создания чужой жизни и истории; но и они, внимавшие, и самое внимание их не заключали в себе ничего привнесенного, были продуктом своей земли и своей истории.

Карамзин был первый русский европеец, уже не по предметам своего внимания, но по самому вниманию, по всему душевному строю — и в этом лежит тайна его обаяния для современников и его значения в нашей истории. В нем первом европейская цивилизация коснулась уже не форм нашего быта, поэтического творчества и мышления, но тронула внутреннее содержание наше, коснулась самой души. Глубокая ли впечатлительность его, подвижность всей натуры или ранние впечатления детства, проведенного с чужеземными музами, были причиною этого — решить трудно: но уже в первых его произведениях вполне чувствуется вся его будущность, весь переворот, который ему суждено было совершить в нашем духовном развитии. Стоит сравнить его примечания к своему переводу поэмы Галлера «О происхождении зла» (Москва, 1786 г.) с примечаниями Кантемира к его переводу Фонтенеловых «Разговоров о множестве миров», чтобы оценить всю глубину пропасти, которая их разделяет. В «Письмах русского путешественника» впервые склонилась, плакала, любила и понимала русская душа чудный мир Западной Европы, тогда как раньше, в течение века, она смотрела на него тусклыми, лишь отражающими предмет, но не отвечающими ему глазами.

С этого времени, и до нашего почти, знойным наслаждением для русской души стало переживать в себе настроения Европы, вбирать в себя капли духовной жизни, выделяемые цветком, который зрел полтора тысячелетия. Настроение, созданное в нашей литературе Карамзиным, было первою такою каплей, и мы не удивляемся, читая, как его современники ходили на Лизин пруд помечтать и, быть может, поплакать. За первою каплей последовали другие, и ощущение их становилось все жгучее, влечение к ним — неотразимое. Что значило удивление наивного современника Петра пред «птицею стратикомил» или пред «капищем всех болванов» (Пантеон Агриппы) и все осязаемое, видимое, что поражало его зрение, в сравнении с тем неуловимым, неосязаемым миром идей и чувств, который открылся Карамзину и людям его времени? Раньше мы похожи были на людей, которые, увидев инструмент неизвестного происхождения и назначения, с любопытством осматривали его огромные трубы и их прихотливые изгибы, но, подивившись

всему довольно, затем спокойно возвращались к своим делам и ежедневным заботам; теперь же мы слышали самые звуки, чудные мелодии полились в наш слух, шевельнулось, как никогда, наше сердце, и, возвратившись домой, уже неохотно и машинально принимались мы за свои дела, душа же наша полна была и на родине чужих звуков. Тоскуя по ним, сознавая невозможность без них жить, мы, наконец, решились положить свою душу в том, чтоб и у себя слышать и извлекать те же обворожившие нас звуки. Мы возненавидели родные песни — простые, грубые песни; мы снесли и изломали свои волынки и гусли, чтобы построить из их материала хотя подобие того, что слышали раз и забыть чего никогда не могли. И наши усилия увенчались успехом. Быстро формировался наш язык; целый ряд тружеников жил и умер для одной идеи; и если не они, то их дети слышали, наконец, мелодии — те самые, которые грезилась их отцам, но уже в звуках родного языка. Разве не дух германских народов живет в поэзии Жуковского; разве в балладах его не слышатся средние века? Разве не светлая и спокойная древность дышит в стихах Батюшкова? То, что казалось невозможным, было сделано: что было неуловимо — было уловлено. Как, какую ценой совершилось это?

Шаг за шагом, далее и далее вступала русская душа в сеть тех духовных типов и тех исторических настроений, о которых мы сказали выше. Можно удивляться, как, в самом деле, глубоко переживала она их и как одинаково была способна к самым противоположным. За миром поэзии — миром чувства, открылся мир мысли — наук и философии; мы вступили и в него, и тайны Гегелевой диалектики, казалось, влекли нас еще более, чем пафос Шиллера или очарования Байрона. Читая произведения нашей литературы, невозможно почти понять, каким образом возникли они, не имея под собой никакой в сущности действительности: как факты жизни нашей, дела катились одною стороною, тогда как душа бродила по иным и фантастическим мирам, как будто вовсе ничего не зная об этих фактах и делах. «Ундина» Жуковского, мелкие стихотворения Лермонтова, подражания древним Пушкина, его же «Пир во время чумы» — как мы можем подумать, чтобы там, на родине всех этих душевных настроений, последние вылились когда-нибудь более совершенно, еще искреннее, с сильнейшею любовью, чем в этих произведениях далекой и чуждой, покрытой снежным покровом страны?

И все-таки о дереве, приносившем столь прекрасные плоды, можно было сожалеть, что оно не успело дать *своих*. Никто не знал ни вкуса их, ни других достоинств, и мысль о том, что

погублено что-то еще нежившее, быть может, тяготила многих.

Здесь и лежит объяснение Пушкина. Уже Белинский заметил, что он как бы *совместил* в себе по тону, по настроению всех своих предшественников, а позднее Н. Н. Страхов отметил, что у него *в формах* нет никаких нововведений*. Таким образом, для всякого, кто стал бы рассматривать его лишь поверхностно, и притом не пересмотрел всех его произведений, и особенно самых поздних, невольно могло бы представиться отсутствие в нем оригинальности, самобытности и, следовательно, какого-либо величия в историческом положении. Так это и понимается многими даже до настоящего времени.

Не вступая в борьбу с усвоенными формами поэтического творчества, он в пределах их пережил все душевные настроения, исторически сложившиеся в Западной Европе и только частью отраженные в нашей прежней поэзии**, — и каждый раз переживая которое-нибудь из них, верил в него как в окончательное и совершенное (откуда глубина и страстность его разнообразной поэзии). Однако, в противоположность его ожиданиям, ни одно из них не насытило его окончательно, и, когда душа его утомилась всеми ими, он возвратился к народному. Это возвращение выразилось у него в известном стихотворении «Возрождение», где он говорит о своей «измученной душе», в которой пробуждаются чудные видения

Первоначальных чистых дней.

Его последние произведения: вторая половина «Евгения Онегина», «Капитанская дочка», «Повести Белкина» — это все, что так смутило его современников, и между ними самого Белинского, которые, ожидая от него все большей душевной сложности, все дальнейшего углубления в таинственный мир европейских идеалов, были возмущены его возвращением к простому и доброму, что живет как высший идеал душевной красоты в нашем народе. Типы иной красоты, которым он поклонился некогда и, как и другие русские поэты, облил их слезами своей любви, в конце концов были побеждены типом духовной красоты, сложившимся в нашей жизни, выросшим из нашей действительности. Отсюда же, от этого последнего фазиса в деятельности Пушкина, ведет свое начало и трезвое простое отношение к действительности, которое с тех пор стало господ-

* <Страхов Н.> Заметки о Пушкине и других поэтах. Спб., 1888, стр. 37—41.

** См. речь о Пушкине Достоевского, например замечание о стихотворении «Однажды странствуя среди долины дикой» и т. д.

ствующим в нашей литературе. Сергей Аксаков в «Семейной хронике» непосредственно примыкает к «Капитанской дочке»; к ним обоим примыкает Л. Н. Толстой с семейной хроникой Ростовых и Болконских — «Войной и миром»; как эпизоды, как разорванные нити этих хроник, могут быть рассматриваемы и лучшие образцы нашего семейного романа — «Обрыв», «Дворянское гнездо», отчасти «Обломов». Повести Тургенева представляют еще дальнейшую суженность и индивидуализацию этого течения нашей жизни: на ее общем бытовом фоне выделяются люди с особенным выражением лица и необычною судьбой (*Рудин*, тип Базарова). Полный разрыв с этой бытовой основой и уклонение в сторону гениального и уродливого, как в изображаемом, так и в самом изображении, представляет собою Ф. М. Достоевский.

Теперь если мы подумаем, что ни один из наших поэтов и художников, начиная от Жуковского и кончая Л. Толстым, не был носителем более нежели одного духовного настроения; и далее, если примем во внимание, что даже такой человек, как Лермонтов, до конца дней своих не мог высвободиться из-под очарования поэзией Байрона, жил настроением его музыки, то необъятная мощь пушкинского гения станет для нас ясна. С другой стороны, если мы признаем, что в сфере литературы мы и до сих пор движемся в пределах направления, им данного, только разрабатываем это направление и этой разработке не видно еще конца — мы пойдем его историческое положение. Он привнес всю свою деятельность, ее характером и судьбой, новое слово в нашу историю, подобного которому по значительности ни разу не произносилось.

В истолковании и доказательстве этой истины, далеко не сознанной еще, далеко не признанной и теперь, состояла великая заслуга критической деятельности Ап. Григорьева.

Доходят известия, что, когда с университетской кафедры приходится касаться нашей новой литературы (XIX века), во всех объяснениях своих ученые невольно становятся на точки зрения, утвержденные Ап. Григорьевым (так поступал, например, покойный Ор. Ф. Миллер). Наука, как объяснение, ничего другого и не может сделать: истолкование нашей новой литературы было сделано им только, как оценка ее — Белинским, как возведение ее на степень самого глубокого и важного жизненного дела — Добролюбовым.

По этим трем господствующим целям мы можем дать определяющие названия и самим фазисам нашей критики: первый из них был *эстетический*, второй — *этический*, третий — *научный*.

Всякий раз, когда критика наша, выразив уже все, что могла, в пределах одного фазиса, переходила к другому, представители этого последнего относились враждебно к идеям и стремлениям предыдущего. Так, известно отношение школы Добролюбова к эстетическим теориям и оценкам и школы Ап. Григорьева (например, г. Н. Страхова) к школе Добролюбова. Враждебность эта была естественна, как стремление нового явления утвердить себя среди старых, сознать внутри себя и сделать очевидным для других правоту свою, ту правду, во имя которой оно появилось и хотело жить.

Но должна ли эта враждебность быть чем-нибудь постоянным? Мы могли бы сказать «да», если бы в котором-нибудь из фазисов не доставало этой правды, его особенной своеобразной правды, но она есть, и в ней заключается его право на жизнь, на всеобщее и постоянное признание, но только в границах его своеобразного и исключительного утверждения. За этими границами начинается в каждом фазисе недостающее, которое и было восполнено другим фазисом. Правый в утверждениях, каждый фазис был не прав в своих отрицаниях. И в самом деле: что значит восставать против эстетиков, как не утверждать в конце концов, что писать плохо лучше, чем хорошо, что рубленая проза лучше поэзии, что вялые и деланные повести и рассказы все-таки могут быть хороши даже как повести и рассказы? И с другой стороны, восставать против школы Добролюбова — не значило ли бы говорить, что произведение, исполненное глубокого смысла и жизненной правды, ниже, чем оно же, лишненное всего этого? Отымите из «Анны Карениной» ту «рассудочную тенденцию», о которой говорит Громека, — ту глубокую и особенную идею, которая звучит в каждом ее слове и во всех ее удивительных образах, — и, хотя бы вся живость этого романа осталась, мы сами разбили бы эту живопись, изорвали бы все эти сцены и описания, если б нам оставили только их, взамен того чудного целого, которым мы теперь наслаждаемся. Наконец, всему этому чем может мешать научное рассмотрение литературы? или что из указанного может мешать ему?

Таким образом, все фазисы нашей критики были частями, которым естественно было возрасти до целого. Закончено ли оно? Это значит: теми отношениями, в которые последовательно становилась наша критика к предмету своему — литературе, исчерпаны ли уже все возможности и должные отношения к ней?

Мы уже имели случай заметить, что писатели последних десятилетий запечатлены одною чертою — глубокою индиви-

дуальностью, отсутствием обоюдного влияния друг на друга. В прежних периодах нашей литературы мы этого не замечаем или, по крайней мере, черта эта была в них менее выражена: Жуковский впадает по временам в тон Дмитриева; Пушкин впадает в тоны Жуковского, Батюшкова, Языкова и др.; все они родственны, взаимно симпатизируют друг другу, переливаются один в другого. Совершенно обратное мы видели в 50—70 годы: духовный взор писателей этого времени как будто обращен был внутрь себя, они не чувствовали друг друга, даже не читали друг друга; они создавали, прислушиваясь к движениям только своего сердца и своей мысли. Далее, если мы обратим внимание на то, как именно изучала научно-историческая критика наших писателей, то увидим, что она преимущественно брала их в связь друг с другом, то есть каждого в отдельности писателя рассматривала как бы обращенным к другим писателям: к тем, которые находились позади его, и к тем, которым суждено было выступить позднее. Нити в духовной жизни, за которыми она особенно и с любовью следила, были все *исходящие*: она отмечала, как, выйдя из субъективного духа поэта, эти нити распространились по всем направлениям и сплетались с мирозерцанием или с настроением чувства в других поэтах. Ее направление, таким образом, было объективное; по крайней мере, по преимуществу.

Глубокий индивидуализм всех новых писателей невольно вызывает мысль о недостаточности этого отношения, о возможности и необходимости иного — противоположного. И в самом деле, хотя всякий писатель, как и всякий человек, есть, конечно, преемник и предшественник — обращен и к прошедшему, и к будущему, но и в первое и во второе он врос лишь вершинами своего духовного развития, но не корнями его. Как на всякую душу, правильно и на дух поэта смотреть как на нечто глубокое, своеобразное, замкнутое в себе: «из иных миров» он приносит с собою в жизнь нечто особенное, исключительное; оно растет в нем и развивается, лишь питаясь, как материалом, всем предыдущим, и также питая последующее, в свою очередь становясь материалом. Но за усвояемым и процессом усвоения скрывается усвояющее: оно-то и есть самое главное, существенное.

Возможно рассматривать литературу, как ряд подобных средоточий, как ряд прежде всего индивидуальных миров. С этой точки зрения предметом нашего особенного внимания должны стать в творчестве писателя все *входящие* нити. Уловив эти нити в его созданиях, мы должны идти, руководимые ими, в дух самого писателя и вскрывать его содержание, его строй.

Там они соединяются, и узел их образует то, чем очевидно жил он, что принес с собой на землю, что его и мучительно, и радостно тревожило и, оторвав от частной жизни, бросило на широкую арену истории.

Рассматривать с этой точки зрения писателей представляет глубокий интерес. Быть может, кроме того, это и единственно правильный взгляд на них. Мы до того привыкли к безличному процессу истории, что всякого человека рассматриваем только как средство для чего-то, ступень к чему-то. Это, наконец, утомляет; это, наконец, недостойно. Человек вовсе не хочет быть только средством, он не вечный учитель в словах своих, не выючное животное, которое несет какие-то вклады в «великую сокровищницу человечества», с благодарностью от современников и в назидание потомства. Он просто свободный человек, со своею скорбью и со всеми радостями, с особенными мыслями, которые его занимают вовсе не потому, что ими можно пополнить «сокровищницу». Разве недостаточно измучен человек, чтоб еще растягивать его по всем направлениям, приравливая к одному, дотягивая до другого, обрубая на третьем. Оставьте его одного, с собою: он вовсе не материал для теории, он живая личность, «богоподобный человек». Умейте подходить к нему с любовью и интересом, и он раскроет перед вами такие тайны души своей, о которых вы и не догадываетесь.

1892 г.

О ДОСТОЕВСКОМ

(Отрывок из биографии, приложенной
к собранию сочинений

Ф. М. Достоевского, изд. «Нивы»)

I

Теперь, когда с нумерами «Нивы» полное собрание сочинений Достоевского будет разнесено по самым далеким и укромным уголкам России, действие его на умственное и нравственное развитие нашего общества получит, наконец, те размеры, к каким оно способно по внутренним своим качествам, без всяких внешних задерживающих обстоятельств. Толпа слушателей, какую только может пожелать себе мыслитель или художник, невидимо, неощутимо собрана: что скажет он ей — в этом и ни в чем другом теперь весь вопрос. Невольно является смущение при мысли: что же в немногих строках, в краткие минуты, какие мне уделены на то, чтобы сказать этой толпе об этом писателе, *следует* сказать?

Что нужно ей от писателя? Зачем, отрываясь от насущных дел, забот, иногда обязанностей, читатель берет книгу и уединяется с нею — уединяется в себя, но зачем-то в сообществе с человеком, давно умершим или далеким, которого он не знает и, однако, в эти минуты уединения предпочитает всем, кого знает? Какой смысл в книге, в чтении? Наслаждение ли? Но в непосредственных созерцаниях, в реальных ощущениях действительности оно может быть всегда ярче. Красота ли? Но разве для нее уединяется человек? Он уединяется, чтобы, на минуту оторвавшись от частных, от подробностей своей жизни, своих тревог, обнять их в целом, понять эту жизнь в ее общем значении. Что скажет, что может сказать он мне обо мне самом и обо всем, что так тяготит меня и смущает в жизни, — вот вопрос, который определяет выбор нами того, кого мы зовем с собою в уединение, или книги, какую избираем. «Помоги мне разобратся в моей жизни, освети, научи» — вот самая серьезная мысль, с какою может читатель обратиться к писателю; думаем даже, что это есть единственная

серьезная мысль, на которой может истинно скрепиться их общение. Вне этого, все отношения писателя к нашим индивидуальным тревогам, заботам, опасениям, празден смысл самого чтения, незначаче появление книги, мишурно все, что в необъятных размерах мы называем литературою и чем любуемся или гордимся, как народ, но можем гордиться и любоваться с правом тогда лишь, когда она удовлетворяет только что определенной нужде.

В индивидуальном — основание истории, ее главный центр, ее смысл, ее значительность: ведь человек, в противоположность животному, всегда *лицо*, ни с кем не сливаемое, никого не повторяющее собою; он — никогда не «род»; родовое — в нем несущественно, а существенно особенное, чего ни в ком нет, что впервые пришло с ним на землю и уйдет с нее, когда он сам отойдет от нее в «миры иные». Не от этого ли и попытки дать философию истории в смысле законов исторического развития всегда были напрасны: ведь эти законы, если они и есть, обнимают самое незначачее в истории; в противоположность природе, где, обнимая родовое, общее, — они обнимают существенное. В Цезаре, в Петре, в тебе, читатель, и во мне, который пишет эти строки, разве главное — то, в чем мы не отличаемся от всех других людей? Как главное в планетах — конечно, не их разное расстояние от солнца, а фигура эллипсиса и законы, повинующься которым они по этой фигуре все одинаково движутся. Здесь — тайна безуспешности науки и философии понять человека, его жизнь, его историю; тайна безуспешности их истинно в ней наставить, просветить; и, к удивлению, проблески истинного знания о себе, какое человек почерпает в областях, ничего общего с его умствованиями не имеющих — в религии и в высоком искусстве. Они не знают законов и не ищут их; но, не находя их, не находят только несущественного; они обращены к сердцу человека, всегда говорят его лицу — главному, что есть в нем; и, зная это сердце, проникая в самые его сокровенные движения, говорят этому лицу с глубочайшим знанием, какого только может он допытаться о себе самом. Вот где понятная нам, уразумеваемая в истории сторона значительности религии; вот где тайна, почему так прилепляется человек к высокому искусству — первое любит его в истории, с последним им расстается, обращается к нему в тревожные и светлые минуты своей жизни.

Как, однако, художник достигает этой силы научения и в чем, вообще, значение гения в истории? Не в другом чем, как в обширности духовного опыта, которым он превосходит других

людей, зная то, что порознь рассеяно в тысячах их, что иногда скрывается в самых темных, невысказывающихся характерах; знает, наконец, и многое такое, что никогда еще не было пережито человеком, и только им, в необъятно богатой его внутренней жизни, было уже испытано, измерено и оценено. Можно сказать, что в то время, как другие люди по преимуществу только *существуют*, гений — по преимуществу *живет*: т. е. он никогда не остается все тем же, разные душевные состояния слагаются в нем и разлагаются, миры созданий проходят через его сердце — и все это без сколько-нибудь прочного, уловимого отношения к действительности. Посмотрите на великих художников, поэтов: разве жизнь их особенно богата событиями, разве поле их наблюдения так особенно превосходит наше? И, однако, какое необъятное множество лиц, положений, движений сердца, просветлений человека и падений его совести отражено в их произведениях? Как узко поле их фактической жизни сравнительно с полем какой-то другой жизни, где все это они видели уже, все поняли, и, поняв, по одной черте сходства определяют характер и судьбу реальных явлений их окружающей действительности. Высокий поэт или художник есть всегда вместе и провидец; и это потому, что он уже *видел* многое, что для остальных людей остается на степени возможного, что для них только будущий вероятный факт. От этого, посмотрите, как много встревоженного в лице их, когда так мало причин для этих тревог в действительности; какой перевес в задумчивости над другими людьми, когда предметов для нее у них вовсе не более, чем у остальных людей; и еще более удивительный, столь же общий факт: какая растерянность среди практической жизни, рассеянное невнимание к ней. К чему же, на что, не отрываясь, устремлено это внимание?.. Но если все, что мы сказали, действительно так, то как не искать нам в самом деле научения у того, кто столь превосходит нас опытом и, следовательно, плодом его — мудростью?

Какая же мудрость заключается в произведениях, лежащих теперь перед читателем? В чем духовный опыт творца их? На что главным образом было устремлено его внимание?

II

Три момента мы можем различить в душевном развитии каждого человека, пожалуй, всякого народа и целого человечества. Не все они переживаются каждым, развитие может быть не окончено у индивидуума ли, у народа или даже у целой их группы, слагающей совокупно жизнью обширный цикл исто-

рии. Но всегда, когда это развитие полно, оно протекает три фазиса: непосредственной первоначальной ясности, падения, возрождения. Есть целые эпохи истории, которые выражают собою только один который-нибудь из этих моментов; так жизнь некоторых людей, которым мы удивляемся, которых понять не можем, является утверждением и развитием подобного же единичного момента. В обоих случаях, однако, это суть только части цельного процесса, однородность которых объясняется из совершенной их противоположности с другими смежными частями. Все, что, рождаясь, достигает естественного конца и вместе одарено высшим сознанием, не может избегнуть ни одного из этих моментов.

Если, однако, мы посмотримся в их соотношение, то увидим, что в наблюдаемой действительности средний момент чрезмерно преобладает над остальными двумя. В истории падение, преступление, грех — это центральное явление; в нем бьются бессильно индивидуумы, народы; о нем учит и с ним борется религия; тенью своею оно задевает, наконец, и высокое искусство. И между тем смысл этого момента только относительный: преступное, греховное — это преступное против чего-то, что ранее ему предшествовало и было лучше его; — это падение, от которого нужно подняться к чему-то, вновь возродиться. Этим значением своим, обращенным к прошедшему и будущему, он указывает на другие два момента, которых, однако, только просвет, только краевое сияние мы наблюдаем в текущей действительности и истории; и вот почему их яркое выражение, полное осуществление человек переносит за границы им проходимого на земле бытия — к своему доземному существованию и послезагробному. Мысль о бессмертии своей души, так трудная, так непостижимая, не только постигается человеком, но и становится неотделимою от его сознания, как только он глубоко погружается в смысл греха, и еще более, когда он погружается в него не мыслью одною своею, но всею природою — когда он глубоко греховен, преступен. Нет человека, кто бы он ни был, как бы ни был он полон отрицания, сомнения, который, преступив какой-нибудь коренной закон своего существа, в меру того, как преступил, — не почувствовал бы тотчас, как напрасны были все его верования, что с землею для него кончается все; нет народов, которые на исходе своего исторического труда, и труда серьезного, не были бы проникнуты этим же убеждением. Только в светлые, юные моменты жизни своей народы ли или отдельные люди равно бывають далеки от этих идей: рождаясь и умирая в том краевом сиянии, о котором мы упомянули, они думают, что

им, эту смесь относительной темноты и относительного света, исчерпывается все возможное бытие. Как бы то ни было, но в законе, что именно среди глубочайшего мрака человеком постигается главная истина его бытия, содержится условие перехода его к утверждению этой истины в своем сознании и жизни; сущность греха такова, что она предполагает возрождение:

Чем ночь темней — тем звезды ярче,
Чем глубже скорбь — тем ближе Бог.

В этих двух стихах — смысл всей истории и история развития тысяч душ.

Проникновение в закон этот, и не только умом своим, но сердцем, совестью, составляет особую, ни с кем не разделенную сферу духовного опыта Достоевского. Можно сказать, что в то время, как другие великие художники, его современники (Гончаров, Тургенев, Островский, гр. Л. Толстой), заняты были воспроизведением первого момента — это было великолепное рисование общества и народа в его исторически сложившемся быте, в его непосредственной ясности, — все его произведения посвящены изображению момента второго и указанию из него выхода. В этом последнем указании — объяснение особого характера его романов, повестей, все зовущих куда-то или грозящих, хотя, по-видимому, они только изображают, рисуют. Он кончил «Дневником писателя» — субъективнейшею формой беседы ли с собою или, как в данном случае, обращения к окружающим; страницами этого дневника, в сущности, были и все его романы, повести, с однообразным колоритом, на всех их лежащим, одним языком, которым говорят все лица. Это относится к форме его творчества; напротив, если мы обратимся к главному в нем, к содержанию, мы и самый «Дневник», и все остальные произведения поймем, как обширный и разнообразный комментарий к самому совершенному его произведению — «Преступление и наказание». В романе этом нам дано изображение всех тех условий, которые, захватывая душу человеческую, влекут ее к преступлению; видим самое преступление; и тотчас, как совершено оно, с душою преступника мы вступаем в незнакомую нам ранее атмосферу ужаса и мрака, в которой нам почти так же трудно дышать, как и ему. Общий дух романа, неуловимый, неопределимый, еще гораздо замечательнее всех отдельных поразительных его эпизодов: как — это тайна автора — но он действительно подносит нам и дает ощутить преступность всеми внутренними фибрами нашего существа; сами мы ведь не совершили ничего, и, однако, окончив чтение, точно выходим на воздух из какой-то

тесной могилы, где были заключены с живым лицом, в ней похоронившим себя, и с ним вместе дышали отравленным воздухом мертвых костей и разлезающих внутренностей. Колорит этого романа, и уже затем эпизоды его, весь он в своей неразрывной цельности — есть новое и удивительное явление во всемирной литературе, есть одно из глубочайших слов, подуманных человеком о себе. Возрождение — здесь только издали показано нам; «его история должна бы составить новый роман...» — никогда не написанный; мы и в других произведениях Достоевского имеем все только этот же колорит; дышим все тою же атмосферой душевного ужаса и мрака; среди него играют лучи ослепительного света, также ниоткуда еще нам не известной душевной чистоты и светлости. Вот все, что мы у него находим; но, ведь, это и *все*, чем в глубочайшей сущности исчерпывается человек и его земное странствие. Прочее — за гробом, прочее — в ожидании, в надежде; да и могли ли бы мы, в этой брэнной оболочке своей, в этих земных условиях, недолго вынести этот ослепительный свет? Умереть, узнав о себе окончательную истину, это так естественно, почти необходимо; для чего бы еще жить, мястись душою, изменяться, когда самого условия для этого, неведения, — нет более?

Зов к этому свету, к этому выходу — вот что составляет второй момент в деятельности покойного писателя, то, что так поверхностно, так не глубоко, приравнивая к *своему*, звали его «публицистикой»; о, конечно, это было обращение, но уже почти не к читателю, а к *ближнему* своему, которого он предостерегал, которому грозил, от которого требовал. Да это был, если уж нельзя отвязаться от неприятного слова, всемирно-исторический публицист, интересы которого были вне своего дня, зов которого был обращен к векам и народам, взор — устремлен в вечность. Нет, это ошибка сказать, что он был «публицист 60—70 годов»; к этим ли годам относится «Легенда о Великом Инквизиторе», к ним ли — изображение будущего атеистического состояния людей (разговор Версилова со своим сыном в «Подростке») или «Сон смешного человека»? Конечно, не более к ним, чем и к цельной всемирной истории, возвести к глубочайшему смыслу которой свой преходящий момент — вот что составляло его задачу и что сказать о нем — значит действительно определить его значение. Печать эпохи его, встревоженной, мятущейся, лежит и на его взволнованных трудах; к счастью, однако, он уберется от обычных путей своего времени даже еще в ученические годы и в своем мощном воображении, гениальном уме и сердце, на тех уединенных путях, которыми проходил жизнь, несколько переиначив действительность,

возвел ее к вечному смыслу и значительности. 60—70-е годы почти уже умерли в своем *точном* и *ограниченном* смысле; не так уже смотрим мы на дела их и речи, многое растеряли из них и не особенно дорожим оставшимся; еще всплеск исторической волны, и все будет залито там; но какое время, какие новые заботы, более высокие созерцания зальют бессмертные страницы «Преступления и наказания», «Братьев Карамазовых», где все, что *было* в то время, что на минуту условно и ограничено *мелькнуло* в ту эпоху, — в гениальном уме их творца вошло на вечное *есть*, стало для всех времен неумирающей *их* тревогой?

Все остальные черты в творчестве Достоевского, нередко выставляемые как главные, составляют только детальную разработку этой основной темы. Неутолимое страдание, нищета, разврат — что так широко разлито на его страницах — это только гноище, на котором по закону необходимости вырастает преступное; искаженные характеры, то возвышающиеся до гениальности, то ниспадающие до слабоумия, — это отражение того же преступного в человеческих генерациях, наконец, это борьба с ним человека и бессилие его победить. Среди хаоса беспорядочных сцен, забавно-нелепых разговоров (быть может, умышленно награжденных автором) — чудные диалоги и монологи, содержащие высочайшее созерцание судеб человека на земле: здесь и бред, и ропот, и высокое умиление его страдающей души. Все в общем образует картину, одновременно и изумительно верную действительности, и удаленную от нее в какую-то бесконечную абстракцию, где черты высокого искусства перемешиваются с чертами морали, политики, философии, наконец, религии, везде с жаждой, скорее потребностью не столько передать, сколько сотворить или по крайней мере переиначить. Удивительно: в эпоху совершенно безрелигиозную, в эпоху существенным образом разлагающуюся, хаотически смешивающуюся — создается ряд произведений, образующих в целом что-то напоминающее религиозную эпопею, однако со всеми чертами кощунства и хаоса своего времени. Все подробности здесь — *наше*; это — *мы*, в своей плоти и крови, бесконечном грехе и искажении говорим в его произведениях; и, однако, во все эти подробности вложен не наш смысл, или по крайней мере смысл, которого мы в себе не знали. Точно кто-то, взяв наши хулящие Бога языки и ничего не изменяя в них, сложил их так, так сочетал тысячи разнородных их звуков, что уже не хулу мы слышим в окончательном и общем созвучии, но хвалу Богу; и, ей удивляясь, ее дичась — к ней влечемся.

Миросозерцание народное, как общая *почва*, на которой может единственно правильно возрасти всякое индивидуальное развитие; Россия, исторически возникшая — как фундамент и ряд звеньев, на который налагая дальнейшие звенья мы только и можем правильно трудиться — вот вкратце формула тех взглядов, которые проводил Достоевский в своей публицистической деятельности и на которых он сошелся с рядом писателей, образующих единственную у нас школу оригинальной мысли (И. Киреевский, Хомяков, Константин и Иван Аксаковы, Ю. Самарин, Ап. Григорьев, Н. Данилевский, К. Леонтьев, Н. Страхов и др.): эта, так называемая, школа *славянофилов* — название очень узкое и едва ли точно выражающее смысл школы. Правильнее было бы назвать ее школою протеста психологического склада русского народа против всего, что создано психическим складом романо-германских народов, — протеста, сперва выразившегося в смутном, безотчетном отчуждении, а потом и в полной сознательной критике и отвержении этих созданий и тех начал, из которых они вышли. Начала противоположные, и частью высшие, были указаны ими в народе нашем: начало гармонии, *согласия* частей, взамен антагонизма их, какой мы видим на Западе в борьбе сословий, положений, классов, в противоположении церкви государству; начало *доверия*, как естественное выражение этого согласия, которое, при его отсутствии, заменилось подозрительным подсматриванием друг за другом, системою договоров, гарантий, хартий, — конституционализмом Запада, его парламентаризмом; начало *цельности* в отношении ко всякой действительности, даже к самой истине, которую народ наш различает и ищет не обособленным рассудком (рационализм, философия), но и нравственною стороною своею, полнотою своего существа; наконец, в церкви — начало *соборности*, венчающая все собою любовь, слиянность с ближним — что так противоположно римскому католицизму, с его внешним механизмом папства, подавляющим собою, но не организующим в себе жизнь духа, — и не похоже также на протестантизм, который отвергнув это давящее извне единство, не поняв начала внутреннего согласия, кинулся в разрозненность, думая в ней сохранить свободу и сохраняя только произвол. Все эти начала, следы которых еще сохраняются в нашем простом народе, в его «мирском» владении землей, в его склонности к артельной форме труда, в преданности его верховной власти, безусловно свободной в своих решениях, но и зато прислушивающейся без страха к свобод-

ному же выражению боли, страдания, к голосу «земли» (народа), — начала эти обещали бы в полном своем развитии жизнь более высокую, гармоничную, примиренную, нежели в какой томится Европа, вовсе не догадывающаяся о причинах этого томления, о ложности самых принципов, на которых построена ее цивилизация. Славянофильская школа, долгое время гонимая официально и пренебрегаемая нашим темным обществом, только в последнее время получила если не в жизни (все еще текущей по инерции в прежнем направлении), то в сознании лучшей части образованных кругов России свое признание и торжество. И ничто не способствовало этому в такой мере, как распространение Достоевского; его творения, всюду читаемые, его речь на Пушкинском празднике — это такие памятные слова, которые не могли не врезаться в мысль каждого; и с ними — новые начала сознания, внесенные славянофилами, стали печатью в душевном складе каждого, только более или менее мешающеюся с другими, но никогда и ни в ком не исчезающею. «Правда народная» получила в лице Достоевского такого по силе и настойчивости выразителя, какого не имела никогда ранее. Он был ее Аароном, и речь его потому именно звучала так твердо, что он чувствовал за собою несметные народные толпы, которые, не будь они немые, заговорили бы то именно и так именно, что и как говорил он.

IV

Биографические черты, чрезвычайно значащие для объяснения душевного склада самого Достоевского, мы находим в четырех его произведениях — в «Игроке», в «Униженных и оскорбленных» (и его прототипе — «Белых ночах»), «Идиоте» и в «Записках из подполья». Можно сказать, что повсюду в письмах, в воспоминаниях, в самом художественном творчестве он является с чертами которого-нибудь из главных выведенных здесь лиц; как *георетик* — это человек угрюмого подполья, гениальный диалектик, недоверчивый и презирующий людей, — и в то же время ненавидящий действительность; как журналист, как человек своего времени, отчасти как член общества — это задушевный, простой, измученный своим сердцем и нуждою друг Наташи («Униж. и оскорбл.»); в своем дурачестве, пренебрежении к жизни, к будущему, в своей вульгарной стороне — это «игрок». В «идиоте» отражено его сердце в идеальном успокоении, вместе и отчужденное от людей на какую-то бесконечную высоту, и совершенно слитое с их нуждами, страданиями; этот странный образ есть до известной

степени то, что каждый поэт зовет своею «музою». «Преступление и наказание» — самое законченное в своей форме и глубокое по содержанию произведение Достоевского, в котором он выразил свой взгляд на природу человека, его назначение и законы, которым он подчинен, как личность. Но «Идиот» — это было его любимое создание; кажется — самое свободное, наименее связанное с волнениями текущей действительности. Станный колорит лежит на этом романе; все фантастично здесь, и вместе как будто это фантастическое — звездный, мерцающий свет, падающий на серую нашу действительность из далекого, далекого будущего. Колорит этого романа, но уже с чертами более ясными и паразитическими в своем смысле, повторяется в двух только произведениях: «Сон смешного человека» (в «Дневнике писателя») и в разговоре Версилова с «подростком» (см. «Подросток»), и отчасти в знаменитой Пушкинской речи. Аскетизмом, чистотой и высшим духом примирения и с страданием человека, и с его бедностью духовною веет от всех этих произведений, глубоко однородных и представляющих как бы антитезу мучительно-беспокойным созданиям вроде «Записок из подполья», «Pro и Contra» и «Легенды о Великом Инквизиторе»; это — рафаэлевские черты, это — его успокоение, которое мелькает нам сквозь бури Микель-Анджело.

В течение всей жизни, с ранних лет, Достоевский хранил в себе какой-то особенный культ Пушкина; нет сомнений, что в натуре своей, тревожной, мятущейся, тоскливой, он не только не имел ничего родственного с спокойным и ясным Пушкиным, но и был как бы противоположением ему, сближаясь с Гоголем и, еще далее, быть может, с Лермонтовым; с тем различием, однако, что он вечно жаждал успокоения, как те, тревожась, искали новых тревог. Пушкин был для него этим успокоением; он любил его, как хранителя своего, как лучшего оберегателя от смущающих идей, позывов — всего, что он хотел бы согнать в темь небытия и никогда не мог. Этим оберегателем, он чувствовал, Пушкин может стать и для каждого; может стать им, наконец, для народов, и особенно в моменты великих внутренних тревог, в которые, по-видимому, все они более или менее входят. С дивною гармонией его поэзии не могут бороться хаотические начала человеческой души; они улегаются от нее, противоречия смолкают, сомнения и темные помыслы отходят далее; его муза — как арфа Давида: она и невыносима для нашего слуха, но, если бы мы могли ее вынести, принять в свое сердце, в ее звуках нашли бы успокоение для своей души. Вот невысказанные и, быть может, не

сознанные основы великой любви творца «Легенды об Инквизиторе», «Рго» и «Соптра» к творцу «Онегина», «Капитанской дочери»; создателя образов Свидригайлова, Карамазовых — к создателю Татьяны, летописца Пимена.

Во всем этом есть, однако, некоторая ошибка, скорее иллюзия, и она сказалась в знаменитой Пушкинской речи: этот экстаз, этот призыв к всемирному братству, этот вопрос об единичной человеческой душе, на замученности которой посмеет ли человечество устроить свое окончательное счастье, — разве это Пушкинское? Разве это *его* покой? Разве это покой какой-нибудь? Пушкинское осталось в безграничной дали, отделенное от слов этих беспроектным хаосом, из которого, однако, душа великого художника имела силы подняться к новому свету. Но тот ли это свет? Первоначальный ли, естественный, эпически ясный? Это — *просветление, возрождение*; это уже свет другой и по происхождению, и по природе, и по его влиянию на человеческую душу. Известен взрыв особенных чувств, который вызвала речь Достоевского; здесь были слезы, кажется мучительные слезы. И Пушкин читал свои произведения — там был восторг, но кто же «едва имея силы добраться до эстрады, упал без чувств»... Мы хотим сказать, что не в слушающих только, но и в сердце, из которого лились эти проникновенные слова, была уже совершенно другая психическая атмосфера, нежели какую жили и дышали люди Пушкинской эпохи; то время умерло, и навсегда; худшее или лучшее, но навсегда же наступило другое время.

V

«Карамазовщина» — это название все более и более становится столь же нарицательным и употребительным, как ранее его возникшее название «обломовщина»; в последнем думали видеть определение русского характера; но вот оказывается, что он определяется и в «карамазовщине». Не правильнее ли будет думать, что «обломовщина» — это состояние человека в его первоначальной непосредственной ясности: это он — *детски чистый, эпически спокойный*, — в момент, когда выходит из лона бессознательной истории, чтобы перейти в ее бури, в хаос ее мучительных и уродливых усилий ко всякому новому рождению; «карамазовщина» — это именно уродливость и мука, когда законы повседневной жизни сняты с человека, новых он еще не нашел, но, в жажде найти их, испытывает движение во все стороны, чтобы из самого страдания своего в момент нарушения известных и священных заветов — найти, наконец,

эти последние и подчиниться им. Главы «Братьев Карамазовых» «Рго» и «Сонтга» и «Великий Инквизитор» — центральные не только по отношению к роману, в котором они содержатся, но и по отношению ко всему длинному ряду произведений Достоевского, который можно рассматривать, как предварительные, неясные и неполные вариации мучительной темы, вылившейся неожиданно почти, почти без связи с самим романом, в этих главах, по времени написания — почти предсмертных. Гений писателя поднимается здесь на высоту, на которую еще не восходил до него никто в искусстве: в чудной сцене, где представляются, в узком подземельи, вновь сведенными Христос и человек,— Бог принимает исповедь от твари своей за все тысячелетия ее страданий, смрада, греха и могучих и напрасных усилий превозмочь это. Было бы затруднительно в целой всемирной литературе найти какие-нибудь аналогии этой сцене; чтобы отыскать их, нужно обратиться к памятникам письменности совсем другого рода. Это опять пред нами Иов, но, сообразно новым тысячелетиям страданий и опыта, речь его становится сложнее, мысль проникновеннее, да и он сам говорит уже не о своих страданиях, не о странной причудливости своей только судьбы, но за все человечество, за века его необъяснимых судеб. Событие тесное, частный эпизод в земле Уц, с похищенными стадами, потерянными детьми, как будто раздвинулось в необозримую панораму всемирной истории, сохранив, однако, свой смысл и имея для себя тех же виновников. Только положение этих виновников взаимно переместилось,— и это есть, кажется, самая важная черта, какую новые века внесли в смысл сетований, столь древних: дерзкий вопрос уже не находит себе ответа, спрашивающий — до конца спрашивает, и, наконец, мы не различаем, кто же именно спрашивает? Граница между человеком и искушающим Бога дьяволом исчезает, их образы сливаются, смысл их слов становится тождествен, и весь эпизод получает невыразимо тягостный смысл. Нет более праведного Иова и не будет для него утешения; есть Иов другой, без утешения, без веры, который так же покрыт проказой, на том же сидит гноище, но уже без какого-либо смысла своего страдания только ощущающий его боль и ропот которого переходит в темный хаос слов. Вера ли это? Безверие ли? Какой окончательный смысл сцены? Его договорит история — мы же знаем только, что никогда не являлось более точного, более правильного выражения того, до чего Высшим Промыслом доведена эта история к нашему многозначительному и тревожному моменту.

ДЕКАДЕНТЫ

Погребенных воскресенье
И, среди глубокой тьмы,
Петуха ночное пенье,
Холод утра — это мы...

Мы для новой красоты
Преступаем все законы,
Нарушаем все черты.

Д. Мережковский

Увлечение пляскою передавалось от человека к человеку, от одной деревни к другой, и вскоре вся долина в окрестностях г. Си-чу была заражена нервным недугом. Но китайцы вскоре справились с эпидемией — они послали войско, перепороли плясунов, и болезнь как рукой сняло.

Поганин, из «Путешествия по Китаю»

I

Под именем символизма и декадентства разумеется новый род не столько поэзии, сколько стихотворческого искусства, чрезвычайно резко отделяющийся по форме и содержанию от всех когда-либо возникавших видов литературного творчества. Возникнув всего 15—20 лет назад, он с чрезвычайно быстрой распространился во всех странах образованного мира, очевидно всюду находя для себя хорошо подготовленную почву, какие-то общие предрасполагающие условия. Как образчики этого рода искусства, приведем два-три стихотворения:

Мертвецы, освещенные газом!
Алая лента на грешной невесте!
О! мы пойдем целоваться к окну!
Видишь, как бледны лица умерших?
Это — больница, где в трауре дети...
Это — на льду олеандры...
Это — обложка романсов без слов...
Милая, в окна не видно луны.
Наши души — цветок у тебя в бутоньерке.

(В. Даров)

В несколько более оживленном размере:

Тень несозданных созданий
Кольхается во сне,
Словно лопасти латаний
На эмалевой стене.
Фиолетовые руки
На эмалевой стене
Полусонно чертят звуки
В звонко-звучной глубине,
Вырастают точно блески
При лазерной луне.
Всходит месяц обнаженный
При лазерной луне;
Звуки реют полусонно,
Звуки ластятся ко мне.
Тайны созданных созданий
С лаской ластятся ко мне,
И трепещет тень латаний
На эмалевой стене.

(Русские символисты, кн. III)

Два приведенные стихотворения — наши русские; вот стихотворение, принадлежащее знаменитому Метерлинку:

Моя душа больна весь день,
Моя душа больна прощаньем,
Моя душа в борьбе с молчаньем,
Глаза мои встречают тень.
Я вижу призраки охот;
Полузабытый след ведет
Собак секретного желанья
Во глубь забывчивых лесов.
Лиловых грез несутся своры,
И стрелы желтые — укоры —
Казнят оленей лживых снов.
Увы, увы! везде желанья,
Везде вернувшиеся сны,
И слишком синее дыханье,
На сердце меркнет лик луны.

То, что есть в содержании символизма бесспорного и понятного — это общее тяготение его к эротизму. Старый, как мать-природа, бог, казалось изгнанный из деловой поэзии 50—70-х годов, вторгся в сферу, ему всегда принадлежавшую, им издревне любимую, но — в форме изуродованной и странной, в форме бесстыдно-обнаженной:

О, чудно нежная и страстная болезнь!
В тебе вся жизнь моя и милый идеал!
Ты звездно обняла меня, как землю плеснь,
Как ржавчина в бою измученный кинжал!
Ты волю мне дала, я грозен и велик

Не желчной грубостью, не силою, не знаньем:
Усеян язвами смятенный мой язык,
И заражать могу одним своим дыханьем
Весталок, стариков, беспомощных детей;
Всех награждать могу болезнию нагою.
Я презираю жизнь, природу и людей,
Смеюся над тоской, над горем и слезою.

(Емельянов-Коханский)

Также и в следующем, чрезвычайно безобразном даже по форме:

Не входите, присенники!
У меня ль не ноги белые?
У меня ль не руки сплетаются?
Не входите, присенники!
Обезумею, обессилею
За собольчатым пологом...
Заплету я руки змеистые,
Прикоснусь моих плеч обнаженных,
Зацелую очи смуглые...
Не входите!..

(А. Добролюбов)

Этот же мотив один отчетливо выделяется в прозе:

«О чем молишь, Светлый? Не очей ли ты жаждешь неразгаданных, не сдержанного ли дыхания страсти? Не улыбки ли, одетой слезами, не росистой ли души молодости?»

Я дам тебе тело девственное, бесстыдные, смелые ноги, уста опьяняющие... К ложу утреннему ты приближись — Суровый!

Я ли не молода? Сплетутся руки змеистые. Бледная белая ночь побледнеет от моих объятий и уйдет из покоя — за окно — на волю.

Светлый! Мне уютно... Мне больно, Светлый! Белая ночь глядит на тебя бездонными глазами. Она не уходит. Словно вдова, грустит ночь... Словно вопленица, плачет она. Плачет она о кладбищенском утре. Мне страшно... Светлый!»

(А. Добролюбов. Natura naturata)

Эрос не одет здесь более поэзией, не затуманен, не скрыт; весь смысл, вся красота, все бесконечные муки и радости, из которых исходит акт любви и которые позднее, с иным характером поэзии и другими заботами, из него следуют — все это здесь отброшено; отброшено самое лицо любимого существа: на него, как на лицо оперируемое, набрасывается в этой новой «поэзии» покрывал, чтобы своим выражением страдания, ужаса, мольбы оно не мешало чему-то «существенному», что

должно быть совершено тут, около этого лица, но без какого-либо к нему внимания. Женщина не только без образа, но и всегда без имени фигурирует обычно в этой «поззии», где голова в объекте изображаемом играет почти столь же ничтожную роль, как и у субъекта изображающего; как это, например, видно в следующем классическом по своей краткости стихотворении, исчерпываемом одной строкой:

О, закрой свои бледные ноги!

(Брюсов).

Угол зрения на человека и, кажется, на все человеческие отношения, т. е. на самую жизнь, здесь открывается не сверху, идет не от лица, проникнут не смыслом, но поднимается откуда-то снизу, от ног, и проникнут ощущениями и желаниями, ничего общего со смыслом не имеющими.

II

Родина символизма и декадентства, как известно, есть Франция; и здесь, в этой новой «поззии», она едва ли не первый раз в своей истории выступила не как руководительница чужих идей и пбзвов, но как руководительница и наставница в некотором новом роде «вкусов». Отечество маркиза де-Сада, наконец, ясно высказало, в чем оно бесспорно господствует среди всех цивилизованных народов и вовсе не располагает у них чему-нибудь научиться. С тем вместе оно вдруг и с совершенно неожиданною силой выразило, чем истинно интересовалось и интересуется в то время, как на ее поверхности, на глазах волнующегося и часто восхищенного мира раздавались звуки тревог политических, религиозных, экономических, других. Художество более чутко, чем что-либо, к будущему; оно яснее высказывает сокровенное нашей души. Несколько лет тому назад, в так называемом «художественном» отделе французской выставки в Москве, простодушные россияне, если бы они были проникательнее, могли бы уже читать «декадентство», выраженное не в стихотворениях без рифм, без размера, без смысла, но с «ногами»,— а в ряде картин без аксессуаров, без обстановки, без света дня или ночи, без платья, но с неизменною «живописью» женской наготы «со всеми подробностями». Странное впечатление производил, едва лишь переступал зритель порог галереи, длинный ряд полотен, среди которых совершенно отсутствовали всякие иные сюжеты, не было ни природы, ни моря, ни гор, ни солнца, ни цветов, ни уличных видов, ни домашних сцен, но только — вытянутые на один почти манер

женские фигуры, с отвратительно истощенными лицами, как бы вытягивающиеся перед «художественным воображением» живописцев*. Очевидно, для этих последних — умерла история; умер человек, умерла природа; и даже в «сюжетах» любимых умерло лицо, имя, прошлое человека, его будущее, и, как для декадентов наших дней, из этой немоты молчания, из этой темы небытия торчали только «бледные ноги», которые никак не хотели спрятаться из болезненно настроенного воображения.

Но отсутствие лиц, не только осмысленно-выразительных, но просто красивых или молодых и свежих, составляло не главную особенность этой галереи голых тел. Поражала здесь вымученность воображения, которое усиливалось и не могло выразить еще и еще что-нибудь из сферы «голового». Так, я помню картину, представлявшую глубину морскую, в которую падал луч солнца; внимательнее всматриваясь, я заметил, что какая-то рогатая раковина, вытягиваясь кверху и сплетаясь с крутящимися водами, поднималась навстречу этому лучу, обнимала его, принимала его в себя; и, еще внимательнее всматриваясь, увидел с некоторым удивлением и гадливостью, что то́ не пучина и не изгибающаяся форма раковины тянулись вверх, а в форме их — судорожно изгибающееся, прозрачное женское тело охватывало своими формами луч.

Не нужно быть философом культуры человеческой, чтобы, видя эту живопись, предугадывать, какова должна быть и словесность этой страны за эти годы. Мне (к сожалению) не случилось что-нибудь прочесть из Мопассана или Золя, но вот выдержка из Мопассана, как она передана была в одной критической о нем статье (г. Н. Л-на: «Гюи де-Мопассан» в «Русск. вестн.», 1894 г., ноябрь) и где мы уже вступаем в сферу декадентства, хотя страница эта и была написана задолго до появления знаменитой «школы»:

«...Любить, страстно любить можно, только *не видя предмета своей любви*. Видеть — значит понимать, *понимать — значит презирать*. Любить женщину нужно *опьяняясь, как вином*, опьяняясь до того, что *не чувствуешь более, что именно пьешь*. И пить, пить, пить, *не переводя духа, днем и ночью*».

Это (пишет рецензент) — запись героя одного рассказа в дневнике своем *до* брака; *после* брака он продолжает дневник:

«Женившись на ней, я подчинился бессознательному влечению, которое толкает нас к женщине.

Она теперь моя жена. Пока я только душой стремился к ней, она казалась мне *воплощением* моей несбыточной мечты, *готовой осуществиться*. Но как

* Рассказывали на выставке, что покойный государь Александр III, посетивший выставку, прежде всего направился в художественный отдел, но, едва дойдя до двери и взглянув в зал — повернулся назад и не захотел смотреть это «французское искусство».

только я заключил ее в мои объятия, я увидел в ней лишь *орудие, которым пользовалась природа* для того, чтобы обмануть мои ожидания.

Обманула ли она (т. е. жена) их? Нет. Но *она опротивела* мне, опротивела до того, что *я не могу прикоснуться к ней, не чувствуя в душе невыразимого отвращения* — быть может даже не к ней именно, а *отвращение высшего порядка*, более глубокое, *отвращение к любовному слиянию вообще*, до того омерзительному, что существо с высшей организацией (?) должны бы скрывать этот постыдный акт, говорить о нем только шепотом, краснея...

Я не могу более переносить вида моей жены, когда она подходит ко мне, обнимает меня, зовет улыбкой, взглядом. Еще недавно мне казалось, что поцелуй ее унесет меня в небеса! Однажды она заболела кратковременной лихорадкой, и я почувствовал в ее *дыхании* легкий, тонкий, почти *неуловимый запах разложения*; я был охвачен ужасом.

О, бренное тело, очаровательный живой навоз! О, движущееся, мыслящее, говорящее, смеющееся разложение, такое розовое, соблазнительное, красивое, — и такое обманчивое, как сама душа!

Мы чувствуем за этими словами ту степень физического плотского изнеможения, которая исключает возможность реального сближения, и это изнеможение, как можно видеть из некоторых отмеченных слов, не есть следствие богатой траты богатых сил, но изнурительной работы воображения над известного рода «сюжетами» и гораздо ранее, чем они приблизились и стали доступными *in re* *. И вот, ходячий труп, однако предполагающий о себе, что он принадлежит к природе «высшим образом организованных» существ (см. выше), пишет далее, позднее, в том же «Дневнике»:

«...Я люблю цветы, как живые существа. Я провожу дни и ночи в *оранжерее*, где скрываю их, как скрывают женщин в гареме. У меня есть оранжерея, куда никто, кроме меня и садовника, не проникает.

Я вступаю туда, как в место тайных наслаждений. В высокой стеклянной галерее сначала пробираюсь среди двух рядов *венчикообразных цветов*, которые поднимаются ступенями от земли до крыши. Они посылают мне первый поцелуй.

Эти цветы, украшающие *переднюю моего таинственного гарема* — мои скромные служанки. Миловидные, кокетливые, они приветствуют меня усилением своего блеска и благоухания. Занимая восемь ступеней по одну сторону и восемь по другую, они так стиснуты, что кажутся садами, с обеих сторон спускающимися к моим ногам. Сердце мое усиленно бьется, глаза зажигаются страстью при виде их, кровь приливает, и руки трепещут от желания схватить их. Но я прохожу мимо. В конце этой высокой галереи виднеются три *запертые двери*. Я могу выбирать. У меня три гарема».

Чаще всего (продолжает критик) он заходит к орхидеям.

«Они трепещут на своих стебельках, точно собираются улететь. Прилетят ли они ко мне? Нет, душа моя полетит к ним, будет витать над ними, душа мистического самца, истерзанного любовью.

...Цветы, цветы — одни цветы в природе так чудно благоухают — эти яркие или бледные цветы, нежные оттенки которых заставляют так сильно биться мое сердце и огумливают мои глаза! Они так прекрасны, нежны, так чувствительны, полураскрытые, более соблазнительные, нежели уста женщины, — полые, с вывернутыми, зубчатыми, мясистыми губами, осыпанными

* В действительности (лат.).

зародышами жизни, возбуждающими в каждом из них специфический аромат. Они, одни они во всей природе размножаются без позора для своего неприкосновенного (?) рода, распространяя вокруг себя дивный аромат своей любви, своих ласк, благоухание несравненной плоти, полной невыразимой прелести, одаренной необыкновенным богатством форм и цветов и опьяняющим соблазном самых разнообразных благоуханий?»

Этот в своем роде «свадебный полет» к цветам, уединенным в гареме-оранжерее, напоминает аналогичный случай, имевший действительно место в древнем мире, где один грек воспылил подобною же страстью к мраморной статуе и дошел в экстазе до того, что обнимал ее со сладострастным чувством, как живую. История запомнила этот случай, и рассказ о нем дошел до нас. Очевидно, язычники-греки были удивлены им в такой мере, что не могли пройти его молчанием, и не только на шумных площадях своих, но и в книгах. Теперь христианский писатель падает воображением до низин подобной же животности, и даже глубже — до низин не одухотворенной природы; но он не только падает сюда, но и обобщает, узаконяет свое падение, облакая его в красоту литературных форм; он, наконец, ему поет гимны при внимательно-чутком прислушивании «критиков» всех стран, к удовольствию необозримой толпы слушателей-читателей — и только, к сожалению, не без ущерба для своего здоровья. Главное, однако, не в этом.

Приведенные отрывки из «Дневника», в двух отделах своих, человекообразном и животном, представляют ярко выраженный каданс человека и его воображения. Прежде, чем его автор дошел «до» цветов «с мясистыми, вывернутыми губами, осыпанными зародышами жизни», пока он сохранял еще некоторый облик человека и не убежал из людского общества — его воображение так же действовало, тому же закону повиновалось, какому повиновалось воображение и тех «художников» кисти, которые привезли показать свои произведения московским Кит Китычам. То же отсутствие подробностей, аксессуаров; отсутствие в рисуемом человеке — лица; молчание — истории, неведение — природы. Нет ни городского шума, ни домашней сцены; ни прошлого *ее*, ни *ее* — *нужд, надежд*, напр. на детей. Умерло старое римское «*matrimonium liberorum quaerendorum causa*»*, библейское: «*плодитесь, размножайтесь, наполняйте землю и обладайте ею*», евангельское «что Бог сочел — человек да не разлучает». Умер «душевный» человек и остался только физиологический. В живописи мы видели это в изображении раковины-женщины, поглощающей в себя солнечный луч, в беллетристике — в образе «мистического

* Брак с целью производства потомства (*лат.*).

самца», порхающего над женоподобными цветами. Там и здесь уродливое впало в бессмысленное, и мы не чувствуем никакого *удивления*, не видим ничего *нового*, читая после *той* прозы такие, например, стихи:

Всходит месяц обнаженный
При лазоревой луне;
Звуки реют полусонно
Звуки ласться ко мне.

или:

Мертвецы, освещенные газом!
Алая лента на грешной невесте!
О, мы пойдем целоваться к окну.

или такие:

Моя душа больна весь день,
Моя душа больна прощаньем,
Моя душа в борьбе с молчаньем,
Глаза мои встречают тень.

Это все лишь — «орхидей, трепещущие на стебельках своих, точно собираются улетать. Прилетят ли они ко мне? Нет, душа моя полетит к ним, будет витать над ними, душа мистического самца, истерзанного любовью» (Гюи де-Мопассан).

Таким образом, символизм и декадентство не есть *особая новая школа*, появившаяся во Франции и распространившаяся на всю Европу: это есть окончание, вершина, голова некоторой другой школы, звенья которой были очень длинны и корни уходят за начальную грань нашего века. Выводимый без труда из Мопассана, он выводится, далее, из Золя, Флобера, Бальзака, из *ультрареализма*, как антитезы ранее развивавшемуся *ультраидеализму* (романтизм и «возрожденный» классицизм). Именно этот элемент *ultra*, раз замешавшийся в литературу и никогда потом из нее не вытесненный, как результат *ultra* в самой жизни, в ее нравах, в ее идеях, ее влечениях, ее позовах, и сказался в конце концов таким уродливым явлением, как декадентство и символизм. Декадентство — это *ultra* без того, к чему оно относилось бы: это — утрировка без утрируемого; вычурность в форме при исчезнувшем содержании: без рифм, без размера, однако же и без смысла «поэзия» — вот *decadence*.

III

Великое самоограничение человека, предварительно тянувшееся десять веков, дало между XIV и XVI веками нашей эры весь цвет так называемого «Возрождения». Корень и обычно

не бывает по виду похож на плод, но между силою и сочностью корня и красотой и вкусом плода — есть несомненная связь. Средние века, кажется, ничего общего не имеют с Возрождением, во всем ему противоположны; между тем, вся пышность, все трепетание сил человеческих в эпоху Возрождения имеет основание свое вовсе не в мнимо возрождавшемся классическом мире, не в подражаемых Virgилie и Платоне, не в открываемых из подвалов старых монастырей манускриптах, но именно в этих монастырях, в этих суровых францисканцах, жестоких доминиканцах, в св. Бонавентуре, в Анзельме Кентерберийском, в Бернарде Клервосском. Средние века были великим кладохранилищем сил человеческих; в их аскетизме, в их отречении человека от себя, в презрении его к красоте своей, к силам своим, к уму своему — эти силы, это сердце, этот ум были сбережены до времени. Эпоха Возрождения была эпохой открытия этого клада; тонкий слой прикрывавшей почвы вдруг был отброшен, и, к изумлению ряда последующих веков, из-под него засверкали ослепительные, несметные сокровища. Вчерашний бедняк, убогий нищий, который умел только на перекрестках орать нескладным голосом псалмы — зацвел вдруг поэзией, силой, красотой, умом. Откуда все это? Из истоцившегося ли в себе самом античного мира? Из заплесневелых ли пергаментов? Но разве Платон писал свои диалоги с тем живым восхищением, с каким Марсилио Фичино их перечитывал? Или римляне, читая греков, разве переживали то же, что переживал Петрарка, который, за незнанием греческого языка, только перекладывал с места на место драгоценные рукописи, по временам целовал их, и с тоскою смотрел на непонятный текст? Все эти манускрипты, в удобных и точных изданиях, лежат и перед нами: отчего же *нас* они не «возрождают»? отчего греки не «возродили» Рима? или греко-римская литература не произвела в Галии и Африке ничего подобного итальянскому Renaissance? Тайна Возрождения XIV—XVI веков лежит не в древней литературе: она была только заступом, сбросившим землю с зарытых в ней сокровищ; тайна лежит в самых сокровищах; в том, что между IV и XIV веками, под влиянием сурового аскетического идеала, умерщвления плоти в себе и ограничения порывов своего духа, человек только сберегал и ничего не умел тратить. В этом великом тысячелетнем молчании его душа созрела для *Divina Commedia**, в этом насильственном закрывании глаз на мир, все-таки интересный, хоть и греховный, вызрели Галилей, Коперник и школа обдуманного опыта,

* Божественная комедия (*ит.*).

которую создал Бэкон; борьбою с маврами — выковался Мурильо; и в тысячелетних молитвах ранее XVI века вырисовались образы мадонн этого века, на которые мы умеем молиться и которым никто не умеет подражать.

С XIV и до XIX века мы только тратим несметные сокровища, тогда открывшиеся, расходует великий запас сил, к этому времени собранных. Отсюда — новая история есть антитеза средним векам. Человек не хочет и не умеет более о себе молчать: всякое малейшее чувство, всякую новую шевельнувшуюся мысль он торопится высказать другим, разрисовать ее в красках, расцветить в звуках, непременно закрепить печатным станком. Можно сказать, как сильно он таился до XIV века, так становится болтлив, переступив за грань этого века и во все последующие. Не только мудрое, не только благородное, но и смешное, глупое, наконец, даже уродливое в себе он облекает в стихи и прозу, кладет на музыку и очень хотел бы, но только не умеет, выразить в мраморе или запечатлеть в архитектурных линиях. Замечательно, что архитектура, этот сорт безличного искусства, эта форма созидания, где создающий слит с эпохой и народом, где он не возвышается над ними, не выделяет на их фоне своего я — падает, как только мы переступаем в новую историю; и ни разу в ней не поднимается к великому или прекрасному.

Это — слишком *бескорыстный* вид искусства; а, между тем, новый человек решительно не находит, как, каким способом, через посредство чего он не мог бы почувствовать бескорыстным. Он все более и более разучается молиться: молитва есть обращение души к Богу, а, между тем, его душа обращается только к себе. Все, что сжимает его, теснит, что мешает независимому обнаружению своего я, будет ли это я низко или благородно, содержательно или пусто, — для него становится невыносимо. В XVI веке он сбрасывает с себя церковь, говоря: «Я — церковь»; в XVIII веке сбрасывает государство, говоря: «Я — государство» (*souveraineté du peuple, suffrage universel**); он декларирует права этого я революция «*declaration de droits***»; он поэтизирует глубины этого я («Фауст» и «Вертер», Байрон); он говорит, что и «весь мир есть только отражение этого я» (философия германского идеализма, Кант, Фихте): — до тех пор, пока это я, превознесенное, изукрашенное, огражденное законодательствами, на развалинах всех великих *связующих* институтов: церкви, отчества, семьи, не определяет себя, к

* Суверенитет народа, всеобщее голосование (*франц.*).

** Декларация прав (*франц.*).

исходу XIX века, в этом неожиданно кратком, но и вместе выразительном пожелании:

О, закрой свои бледные ноги!

причем по точке, замыкающей эту строку, и по пустому полю листа, ее окружающему, мы заключаем, что в нем без какого-либо остатка выражено все внутреннее содержание некоторого «субъекта».

IV

Религия своего я, поэзия этого я, философия того же я, произведя, от Поджо и Филельфо до Байрона и Гете, ряд изумительных по глубине и яркости созданий, исчерпали, наконец, его содержание; и в «поэзии» *decadenc'a* мы видим стремительное низвержение пустой оболочки этого я. Мы выше заметили об утрировке без утрируемого, о вычурном без субъекта вычурности в этой «поэзии»: это так — со стороны формы; со стороны же внутреннего содержания, хотя и отрицательно выражаемого, декадентство есть прежде всего беспросветный *эгоизм*. Мир, как предмет любви или интереса, даже как предмет негодования или презрения, — исчез из этой «поэзии»; он исчез не только как объект, возбуждающий к себе что-нибудь у бессодержательного я, но и как зритель и возможный судья этого я, как просто *присутствующий*:

Это — на льду олеандры,
Это — обложки романсов без слов.

Вот что осталось от него в зыбком, не любящем, не любопытствующем воспоминании опустошенного и павшего я. Едва ли во всей этой словесности можно найти собственное имя, имя города, название местности и часа. Перед ледяным «я» проносятся чисто абстрактные видения, не цепляющиеся ни за какую реальную действительность, ничего из реального мира не несущие в себе, кроме отдельных слов, названий предметов, обрывков сцен, которые чередуются в произвольном порядке. Среди этих сцен предметов, слов, захваченных зыбким воспоминанием из мира действительности и несущихся вперед без намерения и смысла, попадают как бы брошенные, как бы потерянные мысли, без развития, даже без сколько-нибудь необходимой связи.

Нет причин думать, чтобы декадентство — очевидно, историческое явление великой необходимости и смысла — ограничилось поэзией. Мы должны ожидать, в более или менее отда-

ленном будущем, декадентство философии и, наконец, декадентство морали, политики, бытовых форм. До известной степени, Ницше уже можно считать декадентом человеческой мысли; по крайней мере в той степени, как Мопассана можно, в некоторых *заключительных* чертах его «художества», считать декадентом человеческого чувства. Как и Мопассан, Ницше кончил помешательством; как и у Мопассана, у Ницше культ своего *я* теряет всякие сдерживающие границы. Мир, история, лицо человеческое, его труды, его законные требования — исчезли равно из представления обоих. Оба, кажется, были в достаточной степени «мистические самцы». Только одному больше хотелось «порхать» над «трепещущими орхидеями», а другому нравилось в какой-то пещере или с какой-то горы объявлять человечеству новую религию, в качестве возродившегося «Зоратустры». Религию «сверхчеловека», объяснял он... Но они все, и Мопассан тоже, уже были «сверх»-человеками по совершенному отсутствию для них нужды в «человеческом» и по отсутствию какой-либо в них самих необходимости для человека. На этом новом в своем роде *nisus formativ's'e** человеческой культуры мы должны ожидать увидеть великие странности, великое уродство, быть может, великие бедствия и опасности...

Еще два слова о нем. Мы можем очень тонкими нитями связать генетически бессмысленный и уродливый символизм наших дней с таким богатым по мысли и ярким по красоте созданием, как «Фауст». В обоих выразилась и еще выражается «свободная человечность»: только в одном она является при истоке и богатая силами, в другом — при заключении и лишенная сил. Но существо именно «свободы» и именно «человечности» равно есть главное, равно есть характерное в обоих. Скажем более: вторая часть «Фауста», вышедшая субъективно из того же духа, как и первая, но только в пору истощенности его сил, представляет все черты символизма и декадентства, но только в построении целого; части его столь же бессвязны порознь и вычурно соединены, как и строчки «символических» стихотворений. Там уже есть немножко «эмалевых латаний», и все начинается с явления Елены Троянской... Мы хотим сказать, что символизм и декадентство, отрицательное отношение к которому бесспорно для всякого, кроме «соучаствующих», — генетически связывается со всем гениальным и высоким, что создано было «не связанною личностью», «свободною человечностью» западной культуры за этот период времени, от возрождения и до Эдиссона; напротив, грань, для него не пере-

* Подъем (лат.).

ступаемая, кладется там, где человек понимал себя всегда *свя-
занным* как идейно, так и особенно фактически. Великий мате-
рик истории, материк *реальных дел*, практических *потребно-
стей*, и более чем этого всего — религии *переданной*, церкви
сложившейся: вот на берег чего никогда не сможет
выползти это смрадное чудовище; и куда, убегая его, мы хотим
указать — может всегда спастись человек. Там, где подымается
монастырская стена, *это* движение неверных волн истории,
какую бы оно силу и распространение вокруг ни получило —
окончится и отхлынет назад.

1896 г.

«ВЕЧНО ПЕЧАЛЬНАЯ ДУЭЛЬ»

Этим названием г. Мартынов, сын Н. Мартынова, имевшего прискорбную судьбу убить Лермонтова на дуэли, определяет («Русское обозрение», 1898 г., январь) ее характер и значение. В статье, передающей неизвестные до сих пор подробности дуэли, он слагает часть тяготеющего над его отцом упрека на секундантов, кн. Васильчикова и Глебова, не сделавших никакого усилия к примирению друзей-недрузгов. Есть что-то темное и действительно тягостное для памяти всех окружающих людей в этой дуэли. Как объясняет и доказывает письмом Глебова Мартынов-сын, отец его вовсе не умел стрелять из пистолета и на дуэли «стрелял третий раз в жизни; второй — когда у него разорвало пистолет, и на дуэли — в третий» (стр. 321). Пусть так; пусть смерть поэта была нечаянностью для стрелявшего: все же остается бесспорным, что Мартынов, если бы не хотел убить поэта, мог преднамеренно настолько взять в сторону, чтобы не задеть противника. У него не было «уменья стрелять»; но, к прискорбию, та доля уменья наводит дуло, какая была, совпала с желанием правильно его навести и оказалась достаточною.

Далее, секунданты. Оказывается из передачи Мартынова-сына, что вызов на дуэль последовал около Петрова дня, т. е. 29-го июня, а не 13-го июля, как до сих пор принималось в биографиях Лермонтова на основании показаний живых участников дуэли, и между днем вызова и самою дуэлью прошло две недели, а не «трехдневная отсрочка, в течение которой сокрушились все наши усилия», как писал действительно темно и неясно, очевидно что-то замаскировывая, кн. Васильчиков. Глебов тотчас после дуэли писал Мартынову: «Покажи на

следствии, что мы тебя уговаривали с начала до конца, что ты не соглашался, говоря, что ты Лермонтова предупреждал, чтобы он не шутил на твой счет, и особенно настаивай» на таких-то его словах (стр. 321). Мартынов согласился это сделать, но писал обоим секундантам: «Вину всю я приму на себя и покажу на суде о всех ваших усилиях примирить меня с Лермонтовым, но требую, чтобы после окончания дела вы восстановили всю истину для очищения моего имени и опубликовали дело, как оно действительно было» (стр. 320). В течение всей долгой жизни участников дуэли действительно было удивительно их упорное молчание. Мартынов все время молчал, не проронив ни слова, как бы чем-то связанный, и теперь становится очевидно, что он был обязан «чувством чести», ожидая, но молча и терпеливо, что подробности, несколько оправдывающие его, будут опубликованы секундантами. С другой стороны, становится понятна и психика странного объяснения кн. Васильчикова, столь скупого в фактической стороне, но так усиленно настаивающего на «несносном характере» Лермонтова, на «невозможности для Мартынова не вызвать Лермонтова, не быть против Лермонтова естественно раздраженным». Тут есть нечто убаюкивающее, обеляющее Мартынова, но именно только морально, без дачи фактического матерьяла, которого Мартынов ждал тоже от «друзей-недрузгов», но именно фактического-то они и не хотели дать, им было больно дать. Теперь оказывается, что Лермонтов не только задел Мартынова на вечере у Верзилиных, но что несколько ранее он распечатал и похитил письмо-дневник сестры Мартынова, данное ему для передачи брату; он это сделал, любя девушку и, кажется, имея на нее более серьезные намерения: это о ней были написаны знаменитые его стихи: «Я, Матьер Божия, ныне с молитвою» и т. д. В силу этого, в двухнедельный промежуток между вызовом и дуэлью, Лермонтов, несколько о дуэли не думавший серьезно, сказал как-то князю Васильчикову: «Нет, я сознаю себя настолько виновным перед Мартыновым, что чувствую — рука моя на него не подымется» (стр. 324). «Передай мне об этих словах Васильчиков или кто-либо другой, я Лермонтову протянул бы руку примирения и нашей дуэли, конечно, не было бы», — заметил как-то отец сыну. О том, что Лермонтов «прежде сказал секунданту, что стрелять не будет», упоминает из передачи секунданта Глебова и Эмилия Шан-Гирей, рожденная Верзилина, которая послужила «яблоком раздора» между друзьями и на балу у матери которой произошла их стычка («Воспоминания о дуэли и смерти Лермонтова» — «Русский архив» 1889 года). Таким образом, факт совершенной мирности души Лермонтова

и нечаянности для него исхода дуэли теперь может считаться твердо установленным из двух показаний. Из объяснений Мартынова-сына видно, что некоторая светская щекотливость нудила секундантов желать, чтобы дуэль не была «пустою»: именно за год перед этим бывшая дуэль Лермонтова с Барантом, сперва на пистолетах и затем на шпагах, кончилась простой царапиной, и это произвело впечатление смешного как в петербургских великосветских, так и в кавказских военных кружках, и тень этой смешливости пала и на секундантов прошлого года; секунданты нового года не хотели этой смешливости для себя и естественно желали, чтобы дуэль была несколько серьезнее. Здесь, в этом незаметном на первый взгляд обстоятельстве, в сущности, и лежит вся тяжесть дела. «Случай» удачного выстрела совпал с «серьезным» отношением к дуэли секундантов: но все вышло гораздо «серьезнее», чем ожидал кто-нибудь из участников; вышло тягостно и страшно — «вечно печальная» дуэль.

Не в русском духе, однако, ставить укор над памятью умерших. Итак, оставим дравшихся и свидетелей, и разовьем только мысль о «вечной печали» самой дуэли. Но сперва одно слово в защиту личности поэта, на которую особенно темную тень «несносности» наложил кн. Васильчиков. Да, это участь гения, прежде всего для него самого тягостная — быть несколько неуравновешенным; и эта нервность духа часто переходит в желчность, придирчивость. Во всем зависевший от Ив. Ив. Шувалова и даже им благодетельствованный — Ломоносов с ним ссорится; Гоголь написал «другу» Погдину письмо, читая которое тот плакал от оскорбления как мальчик. Поэт есть роза и несет около себя неизбежные шипы; мы настаиваем, что острейшие из этих шипов вонзены в собственное его существо. Вспомним Руссо, который так мучил, так мучился. Но роза благоухает; она благоухает не для одного своего времени; и есть некоторая обязанность у пользующихся благоуханием сообразовать свое поведение с ее шипами. Поэт и всякий вообще духовный гений — есть дар великих, часто вековых зиждительных усилий в таинственном росте поколений; его краткая жизнь, зримо огорчающая и часто незримо горькая, есть все-таки редкое и трудно создающееся в истории миро, которое окружающая современность не должна расплескать до времени. «Après quoi Martynow croit de son devoir de se mettre en position»*: эта шутка на балу у Верзилиных, около 29 июня 1841 года, — как она легка, бегуча, воздушна перед тягостною утратою,

* После чего Мартынов считает своим долгом встать в позицию (*франц.*).

которую мы из-за нее понесли. «Вечно печальная дуэль».

Лермонтов мог бы присутствовать на открытии памятника Пушкину в Москве, рядом с седоволосым Тургеневым, плечом к плечу — с Достоевским, Островским. Какое предположение! Т. е. мы чувствуем, что, будь это так, ни Тургенев, ни особенно Достоевский не удержали бы своего характера, и их литературная деятельность вытянулась бы в совершенно другую линию, по другому плану. В Лермонтове срезана была самая кронка нашей литературы, общее — духовный жизни, а не был сломен, хотя бы и огромный, но только побочный сук. «Вечно печальная» дуэль; мы решаемся твердо это сказать, что в поэте таились эмбрионы таких созданий, которые совершенно в иную и теперь неразгадываемую форму вылили бы все наше последующее развитие. Кронка была срезана, и дерево пошло в суки. Критика наша, как известно, выводит всю последующую литературу из Пушкина или Гоголя; «серьезная» критика, или, точней, серьезничающая, вообще как-то стесняется признать особенное, огромное, и именно умственно-огромное значение в «27-летнем» Лермонтове, авторе ломаного:

И скучно, и грустно...

или ходульно-преувеличенного «Демона», как и множества фальшивых страниц и сцен «Героя нашего времени». — Он «не дозрел до простоты», вот глубокое словечко Гоголя, прикидывая которое к Лермонтову мы обыкновенно отказываемся признать в нем значительность. Нужно заметить, что критика в этом взгляде только последует нашим большим писателям: С. Т. Аксаков, в пространных литературных воспоминаниях, едва раза два-три упоминает имя Лермонтова; Гоголь в «Выбранных местах из переписки с друзьями» — также проходит лишь упоминанием Лермонтова и несравненно больше говорит об Языкове; Л. Толстой в начале «Казачков», не называя имени Лермонтова, явно смеется над его изображениями Кавказа; Достоевский в первых выпусках «Дневника писателя» и еще кой-где в художественных созданиях выказывает несомненную нелюбовь к Лермонтову, между прочим за его «жестокость». «Не дозрел до простоты» — как и отсутствие ласки, «простосердечной» любви к «ближнему» — затенило в Лермонтове все качества и ото всех скрыло его значение. Все вывели себя или друг друга из ясного, уравновешенного Пушкина или из «незримых слез» Гоголя, его «натурализма». Но это — не так.

Связь с Пушкиным последующей литературы вообще про-

блематична. В Пушкине есть одна, мало замеченная черта: по структуре своего духа он обращен к прошлому, а не к будущему. Великая гармония его сердца и какая-то опытность ума, ясная уже в очень ранних созданиях, вытекает из того, что он существенно заканчивает в себе огромное умственное и вообще духовное движение от Петра и до себя. Белинский не без причины отметил в колорите его и содержании элементы Батюшкова, Карамзина, даже Державина («Клеветникам России»), Жуковского; и даже есть у него кой-что из Крылова («Летопись села Горохина», «Сцены из рыцарских времен» — в конце). Страхов в прекрасных «Заметках о Пушкине», анализом фактуры его стиха, доказывает, что у него вовсе не было «новых форм», и относит это к его «скромности», «смирению», нежеланию быть оригинальным в форме. Не было у него новых «ритмических биений» — внесем мы поправку к Страхову, но и сейчас же закончим наблюдения этих критиков: Пушкин не имел вообще лично и оригинально возникавшего в нем нового; но все, ранее его бывшее — в нем поднялось до непревосходимой красоты выражения, до совершенной глубины и, вместе, прозрачности и тихости сознания. Это — штиль вечера, которым закончился долгий и прекрасный исторический день. Отсюда его покой, отсутствие мучительно-тревожного в нем, дивное его целомудрие, даже и в «Графе Нулине», «Руслане и Людмиле»; «власть заклинать демонические стихии природы человеческой» — как определил Апол. Григорьев, или, точнее, как показалось и не могло не показаться этому критику. Заклинать «стихии»: о, нет! Которую же из «мучительных» стихий имел он «власть» заклясть у Гоголя? у Лермонтова? у Достоевского? А они все перед ним преклонились и так готовы были бы что-нибудь из «мучительного» и «тревожного» в себе «заклясть» через него. «Хотели» бы, но не могли; и совершенно очевидно, что, дав «сюжеты» «Мертвых душ» и «Ревизора» Гоголю — Пушкин на самый характер его творчества, дивную и властительную его «мертвенность» и «умерщвляемость» живого — не имел ни капли, ни малейшего влияния. Гоголь, да и остальные два, именно в «стихийности» своей неизмеримо властительнее Пушкина; и так «готовые» бы поддаться перед Пушкиным, подчиниться ему — не уступили ему ни пяди из личного и оригинального в себе, из того существенно «нового», что было в них и что в них единственно значительно. Итак, с версией происхождения нашей литературы «от Пушкина» — надо покончить. Далее, если мы возьмем Гоголя, как второго предполагаемого «родоначальника» последующего развития, — то, конечно, напр. «Бедных людей» мы можем вывести из

«поправленной» его «Шинели»*; но ведь не в «Бедных людях» особенное, новое, характерное у Достоевского; и что же из его «карамазовщины» мы могли бы отнести к Гоголю? К которым гоголевским фигурам могли бы приурочить длинные размышления Раскольникова, порывы Свидригайлова, судьбу Сони Мармеладовой и всю «бесовщину», включительно до «Легенды об инквизиторе», от которой этот писатель хотел освободить русское общество и не умел освободиться сам. Остановимся на Толстом. Ни у Гоголя, ни у Пушкина нет никаких зачатков размышлений раненного на Аустерлицком поле князя Болконского, истинно «стихийной» игры и сплетения страстей у Анны Карениной; ни тревог автора в «Смерти Ивана Ильича» и «Крейцеровой сонате», т. е. ничего именно типического и оригинального у Толстого. Напротив, оба эти писателя, и еще третий — сам Гоголь, имеют родственное себе в Лермонтове, и, собственно, искаженно и частью грязно, «пойдя в сук», они раскрыли собою лежавшие в нем эмбрионы. Это очень трудно доказать, потому что Лермонтов только начал выражаться, и показать это можно только уловляя

В дымных тучках пурпур розы,

т. е. бегучие тени и полутени роднящих настроений:

Но я без страха жду довременный конец:
Давно пора мне мир увидеть новый...

— это тревога Лермонтова, почти постоянное его чувство, вызвавшее чрезвычайно много новых «ритмов» в его поэзии. «Есть миры иные», — тревожно сказал Достоевский устами старца Зосимы в «Братьях Карамазовых»; «есть мир иной» — разве не говорит это нам, не предостерегает нас об этом в «Смерти Ивана Ильича» Толстой? Вот родство, уже внутреннее и гораздо более тесное, чем «сюжет» «Мертвых душ», переданный Пушкиным Гоголю, но который Пушкин без сомнения выполнил бы совершенно противоположно Гоголю, с небесною улыбкою своею, какую он дал увидеть нам в «Онегине», «Капитанской дочке», «Дубровском», и решительно без всяких «незримых слез», вулканических рыданий под корою ледяного смеха. В указанной, пусть мимолетной пока, черте есть связь не «сюжета», но содержания души, «умоначертания», связь сердца, умственных догадок, тревожащих сомнений.

* Взгляд Ап. Григорьева, Страхова и Ив. С. Аксакова: «Достоевский развился из «Шинели» гоголевской, но привнес в нее поправку милосердия».

И вижу я себя ребенком; и кругом
Родные все места: высокий барский дом,
И сад с разрушенной теплицей.
Зеленой сетью трав подернут спящий пруд,
А за прудом село дымится — и встают
Вдали туманы над полями...
(«1-е января»)

Разве это не тема «Детства и отрочества» Толстого? Не та же тоска, очарование, тревога?

В аллею темную вхожу я; сквозь кусты
Глядит вечерний луч; и желтые листья...

«Не хочу я уезжать за границу», — говорит одно характерное лицо в «Преступлении и наказании», — не то чтобы что-нибудь, а вот — Неаполитанский залив, косые вечерние лучи заходящего солнца, и как-то грустно станет». Эти характерные «косые лучи» солнца еще повторяются в «Подростке», «Бесах» и личной биографии в самых интимных и патетических местах, так что искусившийся в чтении Достоевского, встретив их — уже знает, что сейчас последует что-нибудь важное и, так сказать, автобиографическое у него; как, упомянув о них, заволновался и Лермонтов:

Глядит вечерний луч...
И странная тоска теснит уж грудь мою.
Я думаю о ней, я плачу и люблю —
Люблю мечты моей созданье,
С глазами полными лазурного огня,
С улыбкой розовой...

Конечно, это не так громоздко, уловимо и доказательно, как «сюжет», «данный» и «взятый», но это — общность в ощущении природы, в волнении, вызываемом какою-нибудь ее частностью; что-то близкое, так сказать, в самой походке, в органическом сложении двух людей, так далеко разошедшихся в манерах и очерке лица.

...И желтые листья
Шумят...

«— Видели вы лист? С дерева лист?

— Видел.

— Я видел недавно желтый, немного зеленого, с краев подгнил. Ветром носило. Когда мне было десять лет, я зимой закрывал глаза нарочно и представлял лист зеленый, яркий с жилками и солнце блестит. Я открывал глаза и не верил, потому что очень хорошо, и опять закрывал.

— Это что же, аллегория?

— Н-нет... Зачем? Я не аллегорю, я просто лист, один лист. Лист хорош. Все хорошо.

— Все?

— Все. Человек несчастлив потому, что не знает, что он счастлив — только потому. Это все, все! Кто узнает, тотчас сейчас станет счастлив, сию минуту. Эта свекровь умрет, а девочка останется — все хорошо. Я вдруг открыл...

— Уж не вы ли и лампадку зажигаете.

— Да, это я зажег» («Бесы», т. VIII, стр. 215, 216 изд. 1882 г.).

Кто знает всю внешнюю хаотичность созданий Достоевского и внутреннюю психическую последовательность текущих у него настроений, тот без труда догадается, что этот «среди зимы» представляемый «изумрудно-зеленый» лист — и сейчас же «все хороши», «зажег лампаду», есть собственно мотив предсмертного лермонтовского:

Засох и увял он от холода, зноя и горя
И в степь укатился...
У Черного моря чинара стоит молодая;
С ней шепчется ветер, зеленые ветки лаская,
На ветвях зеленых качаются райские птицы...

И странник прижался у корня...

Связка ощущений космического декабря, «зимы», и «изумрудной зелени», т. е. космического же «апреля», — здесь и там, в сущности, одна: «лист желтый, немного зеленого, с краев подгнил», т. е. смерть и жизнь в каком-то их касании. И вот у Лермонтова:

...Я плачу и люблю —
Люблю мечты моей создание...

И у Достоевского:

«— Вы зажгли лампаду?

— Я зажег».

Я знаю, что тысячи людей и все «серьезные» критики скажут, что это — «пустяки», что тут «ничего еще значительного нет»; я отвечу только, что это — настроение, вырастающее до «я плачу» у одного, до «все хороши», «зажег лампаду» — у другого, под сочетанием странных и нам непонятных почти, но совершенно очевидно, одних и тех же представлений, оригинально, т. е. без внешнего заимствования «сюжета», у обоих них возникающих. Именно родственное в «походке», при крайнем разнообразии «лиц». Но будем следить дальше, ловить роднящие черточки:

Посыпал пеплом я главу,
Из городов бежал я...

— разве это не Гоголь, с его «бегством» из России в Рим? не Толстой — с угрюмым отшельничеством в Ясной Поляне? и не Достоевский, с его душевным затворничеством, откуда он высылал миру листки «Дневника писателя»?

Смотрите — вот пример для вас:
Он горд был, не ужился с нами...

Это — упрек в «гордыне» Гоголю, выраженный Белинским и повторенный Тургеневым; Достоевскому этот же упрек был повторен после Пушкинской речи проф. Градовским; и его слышит сейчас «сопротивляющийся» всяким увещаниям, не «миролюбивый» Толстой. Т. е. духовный образ всех трех обнимается формулой стихотворения, в котором «27-летний» юноша выразил какую-то нужду души своей, какое-то ласкающее его душу представление. Замечательно, что ни одна строка пушкинского «Пророка» (заимствованного) не может быть отнесена, не льнет к трем этим писателям.

Дам тебе я на дорогу
Образок святой;
Ты его, моляся Богу,
Ставь перед собой

— не это разве, как мать трепетно любимому сыну, совал Достоевский растерянному, нигилистическому и, в сущности, только забывчивому и юному русскому обществу; припомним «Бесов» и как в заключительной главе этого романа Степан Тимофейч читает с книгоношею-девушкой Евангелие и преображается, «воскресает».

Ты его, моляся Богу,
Ставь перед собой

— вот тема всего Достоевского в религиозной части его движения. Мы делаем только намеки, указываем тонкие нити, но уже в самом настроении, которые связывают с Лермонтовым главных последующих писателей наших. Но если бы кто-нибудь потребовал крупных указаний, мы ответили бы, что характернейшие фигуры, напр., Достоевского и Толстого — Раскольников и Свидригайлов в их двойственности, и вместе странной «близости», кн. Андрей Болконский, Анна Каренина — все эти люди богатой рефлексии и сильных страстей все-таки кой-что имеют себе родственного в Печорине ли, в Арбенине, но

более всего — лично в самом Лермонтове; но ничего, решительно ничего родственного они не имеют в «простых» героях «Капитанской дочки», как и в благоуханной, но также простой, нисколько не «стихийной» душе Пушкина. Власть эти стихии «заклинать» именно и была у Лермонтова:

Когда волнуется желтеющая нива,
И свежий лес шумит при звуке ветерка...
Когда росой обрызганный душистой,
Мне ландыш серебристый...
Приветливо кивает головой...
Тогда смиряется души моей тревога,
Тогда расходятся морщины на челе
И в небесах я вижу Бога.

Он знал тайну выхода из природы — в бога, из «стихий» к небу; т. е. этот «27-летний» юноша имел ключ той «гармонии», о которой вечно и смутно говорил Достоевский, обещая еще в эпилоге «Преступления и наказания» указать ее, но так никогда и не указав, не разъяснив, явно — не найдя для нее слов и образов. Ибо «когда волнуется желтеющая нива» есть собственно заключительный аккорд к страшному, истинно «стихийному», предсмертному сну Свидригайлова, когда ему мерещились: «цветы, цветы, везде стояли цветы... гроб, 14-летняя девочка-самоубийца», но около гроба «ни зажженных свечей, ни образа не было». Наше сопоставление не представится странным, если мы возьмем из Лермонтова еще промежуточную, связывающую картинку.

...шторы

Опущены: с трудом лишь может глаз
Следить ковра восточные узоры;
Приятный трепет вдруг объемлет вас,
И, девственным дыханьем напоенный,
Огнем в лицо вам дышит воздух сонный.
Вот ручка, вот плечо, и возле них
На кисее подушек кружевных,
Рисуетя младой, но строгий профиль...
И на него взирает Мефистофель.

В сущности — это и есть сюжет сна Свидригайлова; в то же время вечный сюжет Лермонтова:

Ночевала тучка золотая
На груди утеса великана.

Или:

Слушай, дядя — дар бесценный!
Что другие все дары.

Труп казачки молодой.

И старик во блеске власти
Встал могучий, как гроза.

(«Дары Терека»)

Сочетание, как мы выразились, космического октября и апреля с заключительным —

Мучительный, ужасный крик
(«Демон»)

— что в полную картину, в широкий образ раздвинул Достоевский; и кто присматривался к его собственному творчеству, мог в нем заметить, что тема сочетания октября с апрелем есть и его постоянная тема (Свидригайлов — в «Преступлении и наказании», Ник. Ставрогин — в «Бесах», мимолетные сценки в «Униженных и оскорбленных», идея «карамазовщины»), но уже без выхода:

...смиряется души моей тревога...
...я вижу Бога.

Волнение: «я плачу и люблю», «я — зажег лампаду», при воспоминании среди «зимы» об «изумительно-зеленом листке», полнее объясняется из этих сопоставлений и картин.

Вернемся к Пушкину: он, конечно, богаче, роскошнее, многодумнее и разнообразнее Лермонтова, точнее — лермонтовских «27 лет»; он в общем и милее нам, но не откажемся же признаться: он нам милее по свойству нашей лени, апатии, недвижимости; все мы любим осень, «камелек», теплую фуфайку и валеные сапоги. Пушкин был «эхо»; он дал нам «отзвуки» всемирной красоты в их замирающих аккордах, и от него их без труда получая, мы образуемся*, мы благодарим его:

Ревет ли зверь...
Поет ли дева...
На всякий звук
Свой отклик
Родишь ты вдруг...

Как это понятие «музы», определение поэзии глубоко противоположно музые Гоголя; до чего противоположно — Толстому; тоже — Достоевскому, у коих всех —

* Замечательно определение Пушкина Островским, при открытии в Москве памятника: «Через него всякий становится умнее, кто способен помнеть».

одной лишь думы власть,
Одна, но пламенная страсть.
(«Мицери»)

И это есть характерно не пушкинский, но характерно лермонтовский стих. Мы видим, что родство здесь открывается уже более, чем в отдельных настроениях: но, так сказать, в самом характере зарождения души, которая лишь одна и варьируется у трех главных наших писателей, но начиная четвертым — Лермонтовым. Это все суть типично-«стихийные» души, души «пробуждающейся» весны, мутной, местами грязной, но везде могущественной. Тургенев, Гончаров, Островский, и как последняя ниспавшая капля «тургеневского» в литературе — г. П. Боборыкин, вот раздробившееся и окончательно замершее «эхо» Пушкина. Россия вся пошла в «весну», в сосредоточенность:

...одной лишь думы власть,
Одну, но пламенную страсть,—

и вот почему, казалось бы, «ужасно консервативный» Достоевский, довольно «консервативный» Толстой, как ранее тоже консервативный Гоголь стали «хорегами» и «мистагогами» нашего общества. «Эхо» замерло, «весна» выросла в «лето», довольно знойное: но она стала расти сюда именно от Лермонтова. Он умер в годы, когда Гоголь написал только «Вечера на хуторе близ Диканьки» и «Миргород», Достоевский — «Бедных людей» и «Неточку Незванову», Толстой — «Детство и отрочество» и кой-что о Севастополе и Кавказе: т. е. «вечно печальной дуэлью» от нас унесена собственно вся литературная деятельность Лермонтова; кроме первых и еще неверных шагов. Пушкин, в своей деятельности — *весь* очерчен; он мог сотворить лучшие создания, чем какие дал, но в том же духе; вероятно, что-нибудь из тем

Отцы пустынники и жены непорочны —

возведенное в перл обширных и сложных, стихотворных или прозаических эпоей. Но он — угадываем в будущем; напротив, Лермонтов — даже неугадываем, как по «Бедным людям» нельзя было бы открыть творца «Карамазовых» и «Преступления и наказания», в «Детстве и отрочестве» — творца «Анны Карениной» и «Смерти Ивана Ильича», в «Миргороде» — автора «Мертвых душ». Но вот, даже и не раскрывшись, даже непредугадываемый — общим инстинктом читателей Лермонтов поставлен сейчас за Пушкиным и почти впереди Гоголя. Дело в том, что по мощи гения он несравненно превосходит Пушкина, не говоря о последующих; он весь рассыпается в

скульптуры; скульптурность, изобразительность его созданий не имеет равного себе, и, может быть, не в одной нашей литературе:

Если б знал ты Виргинию нашу, то жалость стеснила б
Сердце твое, равнодушное к прелестям мира: как часто
Дряхлые старцы, любуясь на белые плечи, волнистые кудри,
На темные очи ее — молодели; юноши страстным
Взором ее провожали, когда, напевая простую
Песню, амфору держа над головой, осторожно тропинкой
К Тибру спускалась она за водою, иль в пляске,
Перед домашним порогом, подруг побеждала искусством,
Звонким ребяческим смехом родительский слух утешая.

Это что-то фидиасовское в словах, по полноте очерка, по обилию движения; и между тем это только недоконченный отрывок, даже без заглавия, 1841-го года. Около него как бледна «Аннунциата» (из «Рима») Гоголя! Подобным же образом «резал на стали» только Гоголь и только в самых зрелых, уже поздних своих созданиях; но он «резал», принижая, спуская действительность в «грязнотцу». Параллелизм (и, следовательно, родственность) между Гоголем и Лермонтовым удивителен: это — зенит и надир, высшая и низшая точки «круга небесного». Среди решительно всех созданий Лермонтова нет ни одного «с пятнышком»; у Гоголя почти вся словесность есть сплошной «лишай», «кора проказы», покрывающая человека. Именно — надир, но до глубины и окончательно вырисовавшийся, когда «зенитная» точка едва была намечена. Далее, в созданиях Лермонтова есть какая-то прототипичность (опять — параллель Гоголю): он воссоздавал какие-то вечные типы отношений, универсальные образы; печать случайного и минутного в высшей степени исключена из его поэзии. «Три пальмы» его, его «Спор» — запомнены и незабвенны, как решительно ни одно из стихотворений Пушкина; они незабываемы, как незабываемы, только обратные по рисунку, фигуры «Мертвых душ», «Ревизора». Вечные типы человека, природы, отношений, положений, но — в противоположность Гоголю — «зенитные», над нами поставленные:

Сквозь туман кремнистый путь блестит;
Ночь тиха, пустыня внемлет Богу,
И звезда с звездою говорит.

Таких многозначительно-простых и вечно понятных строк, выражающих вечно повторяющееся в человеке настроение, не написал Пушкин.

Дальше: вечно чуждый тени,
Моет желтый Нил

Раскаленные ступени
Царственных могил.

В четырех строчках это не образ, но скорее — идея страны. Названы точки, становясь на которые созерцаешь целое. И какая воздушность видения:

И снился мне сияющий огнями
Вечерний пир в родимой стороне:
Меж юных жён, увенчанных цветами

И снилась ей долина Дагестана...

Это какая-то послесмертная телепатия; связь снов, когда люди не видят друг друга и когда один даже уснул «вечным сном». Удивительная красота очерка, и совершенная оригинальность, новизна в замысле. Пушкин не знал этой тайны существовавших новых слов, новых движений сердца и отсюда «новых ритмов». Мы упомянули о смерти. Вот еще точка расхождения с Пушкиным (и родственности — Толстому, Достоевскому, Гоголю). Идея «смерти», как «небытия», вовсе у него отсутствует. Слова Гамлета:

Умереть — уснуть...

в нём были живым, веруемым ощущением. Смерть только открывает для него «новый мир», с ласками и очарованиями почти здешнего:

Я б хотел забыться и заснуть...
Но не тем холодным сном могилы...
Я б желал навеки так заснуть,
Чтоб в груди дрожали жизни силы,
Чтоб, дыша, вздымалась тихо грудь;
Чтоб всю ночь, весь день мой слух лелея,
Про любовь мне сладкий голос пел,
Надо мной чтоб, вечно зеленея,
Темный дуб склонялся и шумел.

У Пушкина есть аналогичная тема, но какая разница:

И пусть у гробового входа
Младая будет жизнь играть,
И равнодушная природа
Красою вечною сиять.

Природа у него существенно минеральна; у Лермонтова она существенно жизненна. У Пушкина «около могилы» играет иная, чужая жизнь; сам он не живет более, слившись как атом, как «персть» с «равнодушной природой»; и «равнодушные» самой природы вытекают из того именно, что в ней эта «персть», эта «красная глина» преобладает над «дыханием Божиим». Осеннее чувство — ощущение и концепция осени,

почти зимы; у Лермонтова — концепция и живое ощущение весны, «дрожание сил», взламывающих вешний лед, бегущих веселыми, шумными ручейками. Тут мы опять входим в идеи «гармонии», «я вижу Бога», «я — зажег лампаду», — которые присущи всем и роднят всех этих «мистагогов» русской литературы. «Вечная жизнь» их, «веруемая» жизнь, и есть жизнь «изумрудно-зеленого листа», «клейких весенних листочков», как записал Достоевский в «Карамазовых»: они уловили «миры иные» и «Бога» в самом этом пульсе жизненного биения, выказывающем в лоне природы новые и новые «листки». Отсюда их пантеизм, живой и жизненный, немного животный (у Толстого, Достоевского — у одного в «карамазовщине»; у другого — в «загорелых солдатских спинах», «Толстой шее, на которую с чувством собственности смотрела Китти»), в противоположность скептическому стиху Пушкина:

Устами праздными вращаем имя Бога

— замирающее «эхо» которого сказалось в известном безверии Тургенева, в легкомыслии г. Боборыкина. Лермонтов недаром кончил «Пророком», и притом оригинально нового построения, без «заимствования сюжета». Струя «весеннего» пророчества уже потекла у нас в литературе, и это — очень далеких устремлений струя.

Но его собственные пророческие, истинно пророческие видения были прерваны фатально-неумелым выстрелом Мартынова. Как часто, внимательно расчлняя по годам им написанное, мы с болью видели, что, отняв только написанное за шесть месяцев рокового 1841 года, мы уже не имели бы Лермонтова в том объеме и значительности, как имеем его теперь. До того быстро, бурно, именно «вешним способом» шло, подымаясь и подымаясь, его творчество. В этом последнем году им написано: «Есть речи — значенье», «Люблю отчизну я, но странною любовью», «Последнее новоселье», «Из-под таинственной, холодной полумаски», «Это случилось в последние годы», «Не смейся над моей пророческой тоскою», «Сказка для детей», «Спор», «В полдневный жар», «Ночевала тучка», «Дубовый листок», «Выхожу один я», «Морская царевна», «Пророк». Если бы еще полгода, полтора года; если бы хоть небольшая еще пук таких стихов... «Вечно печальная» дуэль!

О ПУШКИНСКОЙ АКАДЕМИИ

Наперерыв вся Россия думает, как еще и еще увенчать своего Пушкина. Италия, страна художеств, давала capitoлийское венчание избранникам; смотря на всероссийские сборы к торжеству столетия рождения великого поэта, невольно приходит на ум, что Россия впервые дает избраннику ума и муз что-то похожее на это capitoлийское венчание. Ко дню этому готовятся целые города. В газетах появляется известие, что вот «такой-то город» «так-то думает отпраздновать юбилей». И, главное, нет инициатора этих приготовлений; даже нет никого главного в них; нет руководителя. Готовится *Россия*, готовятся все, и все делается *само собою*. Это самая замечательная сторона в плетении венка, самая симпатичная.

Да будет позволено сказать два слова об одном особенном увековечении памяти поэта, которое нам приходит на ум.

Если что не идет к Пушкину, то это стих Лермонтова о себе:

Я знал *одной* лишь думы власть,
Одну, но пламенную, страсть...

Напротив, Пушкина можно определять лишь отрицательно, т. е. отвечая «нет!», «нет!» и «нет!» — на попытку указать в нем *одну* господствующую думу, или — постоянно *одно и то же*, нерассеиваемое, настроение. Монотонность совершенно исключена из его гения; выразимся в терминах, особенно понятных: ему чужда монотонность, и, может быть, чужд в идейном смысле, в поэтическом смысле — монотеизм. Он — *все*-божник, т. е. идеал его дрожал на каждом листочке Божьего творения; в каждом лице человеческом, поискав, он мог или, по крайней

мере, готов был его найти. Вся его жизнь и была таким-то собиранием этих идеалов — прогулкой в Саду Божиим, где он указывал человечеству: «А вот *еще* что можно любить!»... «или — вот это!..». «Но оглянитесь, разве *то* — хуже?!..» Никто не оспорит, что в этом его суть. Чувства гневливости почти отсутствуют в нем. В этом отношении замечателен один отрывок, посмертно найденный в его бумагах; он в нем отвечал на упреки друзей, отчасти и на недоумение врагов, отчего он не отвечал ничего на жестокие критические приговоры, какие ему случалось читать о себе? Оправдание его вполне серьезно и почти пунктуально, но оканчивается припискою, которая в сущности зачеркивает все пункты: «Никогда не мог преодолеть в себе *смертной скуки* подобного ответа». Не буквально, но смысл этот, и он отвечает всему, что мы знаем о поэте. Однако не только поверхностно, но и плоско было бы думать о нем, что он страдал и, так сказать, тонул в какой-то любвеобильности, в вечном пылании положительными чувствами. Эта бенедиктовщина души также была совершенно исключена из его настроения. Нет, — он был серьезен, был вдумчив; ходя в Саду Божиим, — он не издал ни одного «аха», но как бы вторично, в уме и поэтическом даре, он насаждал его, повторял дело Божиих рук... Но уже выходили не вещи, а идеи о вещах, — не цветок, но песня о цветке, однако покрывающая глубиною и красотою всю полноту его сложного строения. Так получился «Пушкин», эти «семь томов» обильно комментируемых созданий, где мы находим своеобразный и замкнутый, совершенно закругленный «мир» как «космос», как «украшенное Божие творение». Можно Пушкиным питаться и можно им одним пропитаться всю жизнь. Попробуйте жить Гоголем, попробуйте жить Лермонтовым: вы будете задушены их (сердечным и умственным) монотеизмом... Через немного времени вы почувствуете ужасную удушьяемость себя, как в комнате с закрытыми окнами и насыщенной ароматом сильно пахнущих цветов, и броситесь к двери с криком: «простора!» «воздуха!..» У Пушкина — все двери открыты, да и нет дверей, потому что нет стен, нет самой комнаты: это — в точности сад, где вы не устаете.

Конечно, Россия никогда не станет «жить Пушкиным», как греки, не остановившись на Гомере, перешли к Пиндару, Софоклу; перешли к Аристофану. Но тут не недостаточность поэта, а потребность движения. В этом движении — потребность, между прочим, подышать и атмосферой *исключительных настроений*. «Мертвые души» и «Мцыри» — почти современны

Пушкину, и замечательно, что из сада его поэзии Россия так быстро заглянула в эти два исключительные и фантастические кабинета. Вернемся к Пушкину. «Циклос», «круг» его созданий сам по себе, без отношения к историческому народному движению, вполне способен насытить человека и дать ему прожить собою всю жизнь. Скажем более: если Россия в некоторых исключительных своих душах, составляющих нить исторического вперед ее движения, конечно, вечно будет обогащаться исключительностями, — будет искать ударных форм разного в веках, но единичного порознь и в каждую минуту, поэтического и философского монотеизма, — то в заурядных своих частях, которые трудятся, у коих есть практика жизни и теория не стала жизнью, она спокойно и до конца может питаться и жить одним Пушкиным. Т. е. Пушкин может быть таким же духовным родителем для России, как для Греции был — до самого ее конца — Гомер. Вы ищете сказки — он дает вам сказку; вы ищете светской шалости — вот она:

Отдай любви
Младые лета,
И в шуме света
Люби, Адель,
Мою свирель.

На каждую вашу нужду, и в каждый миг, когда вы захотели бы сорвать цветок и закрепить им память дорогого мгновения, заложить ее в дорогую страницу книги своей жизни — он подает вам цветок-стихотворение. И это не только относительно беспечальных мгновений, но и самых печальных, ледящих душу:

Итак — хвала тебе, Чума!
Нам не страшна могилы тьма,
Нас не смутит твое призванье!
Бокалы пеним дружно мы,
И Девы-Розы пьем дыханье,
Быть может — полное чумы.

И сейчас — какая перемена тона:

— «Безбожный пир! Безбожные безумцы!»

По этому-то богатству тонов, которые не исчерпаны ни обществом нашим, ни литературою, и в себе самих даже неисчерпаемы — «дондеже умрем» — мы и сказали, что Пушкин способен пропитать Россию до могилы не в исключительных ее натурах.

Что же это значит? Откуда это богатство? Что это за особый строй души? Критика русская давно (еще с Белинского) его определила термином — «художественность». Художник есть тот, кто, может быть, и заражает, но ранее — сам заражается; в отличие от пророка, который только заражает, но — если позволительно перенесение узкого медицинского термина — заражается только Богом; им слушаем, ему — *Он* открыт. «И небеса отверзты» — пророку: а художнику вечно открыта только земля, и, как это было с Пушкиным, — ему открыта бывает иногда *вся земля*. Не будем обманываться, что у Пушкина есть «Пророк»; это страница сирийской истории, сирийской пустыни, которую он отразил в прозрачном лоне своей души, как отразились в нем и страницы Аль-Корана:

О, жены чистые Пророка!..
От всех вы жен отличены:
Страшна для вас и тень порока.
Под сладкой тенью тишины
Живите скромно: вам пристало
Безбрачной девы покрывало.
Храните верные сердца.
Для нег законных и стыдливых:
Да взор лукавый нечестивых
Не узрит вашего лица.
А вы, о гости Магомета,
Стекаясь к вечера его,
Брегитесь суетами света
Смутить пророка моего.
В пареньи дум благочестивых
Не любит он велеречивых
И слов нескромных и пустых...
Почтите пир его смиреньем
И целомудренным склоненьем
Его невольниц молодых.

И рядом с этою мусульманскою рапсодией — дивный православный канон:

Отцы-пустыяники и жены непорочны,
Чтоб сердцем улетать во области заочны,
Чтоб укреплять его средь дольних бурь и битв,
Сложили множество божественных молитв...
Но ни одна из них меня не умиляет,
Как та, которую священник повторяет
Во дни печальные великого поста.
Всех чаще мне она приходит на уста —
И падшего свежит неведомою силой:
«Владыка дней моих! дух праздности унылой,
Любоначала, змеи сокрытой сей,
И празднословия, — не дай душе моей!

Но дай мне зреть мои, о Боже, прегрешенья,
Да брат мой от меня не примет осужденья,
И дух смирения, терпения, любви
И целомудрия — мне в сердце оживи».

Какая противоположность! Но один и другой тон равно серьезны. То есть истинно серьезное и оригинально серьезное в Пушкине было, так сказать, не звуки, которые он ловил, но ухо его. Есть знаменитое выражение, в Апокалипсисе и у Иезекииля, о небесных существах, «исполненных очей спереди и сзади, внутри и снаружи», т. е. существ — как *ткани «очей»*, как *полногы «очей»*. Всё «очи, очи и очи», и вот — *все* существо; может быть — тайна *всякого* существа, каждого из нас?.. Тайна эта разгадывается в великих людях. Что такое Рафаэль, как не какой-то всемирный Глаз, человек, ставший *Глазом*, оформившийся весь в это огромное и необозримое видение, в котором переливались и переплелись земные и небесные краски, земные и небесные тени, штрихи?.. Он *все* видит, и этим *только* видением он ограничен. Звуков он не слышит, не понимает; не понимает же мыслей, или очень ограниченно их понимает. И таков был Бетховен, столь же всемирное и такое же вековечное *Ухо*. Читатель простит, что я пишу нарицательные имена с большой буквы: до того очевидно, что нарицательное, т. е. общее свойство, стало собственным и *личным* и *именуемым* у этих людей. Пушкин был всемирное *внимание*, всемирная *вдумчивость*. Не только было бы напрасно искать у него *одного* господствующего тона, но совершенно очевидно, что этого тона и *не было*; что он пришел на землю не чтобы принести, но чтобы полюбить: полюбить эту прекрасную землю и, ничем исключительно новым не утолщив ее богатств, — скорее вознести ее к небу, и уж если обогатить, то самое небо — земными предметами, земным содержанием, земными тонами. Чувство трансцендентного ему совершенно чуждо, в противоположность Гоголю, Лермонтову, из новых — Достоевскому и Толстому. Самая молитва, как приведенная: «Отцы-пустынники...» — у него всегда феномен, а не ноумен; поэтому рассеивается, а не стоит постоянно; и, в конце концов,—

Ревет ли зверь в лесу ночном,
Поет ли дева за холмом,
На *всякий* звук
Родит он *отзвук*...

Преображенная земля, преобразуемая земля! Не падающие на землю зигзаги электричества, совсем нет! — но какое-то пресыщение изяществом всего, растущего с земли и из земли:

Я помню чудное мгновенье:
Передо мной явилась ты
Как мимолетное виденье,
Как гений чистой красоты

— это стихотворение к А. П. Керн, повторенное в отношении к тысяче предметов, и образует поэзию Пушкина, ценное у Пушкина, правду Пушкина.

Шли годы. Бурь порыв мятежный
Рассеял прежние мечты,
И я забыл твой голос нежный,
Твои небесные черты.

(из того же стихотворения)

И все также *забывал* Пушкин, и на этом забвении основывалась его сила; т. е. сила к новому и столь же правдивому восхищению перед совершенно противоположным! *Дар* вечно *нового* (перед своим прежним) в поэзии, именно необозримое в поэзии *много-божие*, много-обожение, как последствие свободы ума от заповеди монотеистичной и немного монотонной, по крайней мере, в поэзии монотонной: «Аз есмь Бог твой... и не будут тебе *инии* божи...» Ведь *забывать*, — это и для каждого из нас есть условие *вновь узнавать*; и мы даже не научились бы, ничему бы не научились, если б в секунду научения каким-то волшебством не забывали совершенно всего, кроме этого единичного, что в данную секунду познаем. Монотеисты-евреи так и не образовали никакой науки. У них не было и нет дара забвения.

* * *

Но довольно о Пушкине и несколько слов — об его увенчании. Это — Академия Изыщных Искусств, — которую мы хотели бы, чтобы она наименовалась *Пушкинскою Академией*.

В самом деле, в России нет ее, России нужна она. И нет имени, нет памяти, нет гения, к коему она так приурочивалась бы, как к Пушкину. Пушкин — это земное изящество, это — универсальное изящество. И только. Но изящество, действительно возведенное к апофеозу, — отбежавшее от внешней красоты и приблизившееся к внутренней, к доброте и правде:

Подруга дней моих суровых,
Голубка дряхлая моя!
Одна в глуши лесов сосновых
Давно, давно ты ждешь меня!
Ты под окном своей светлицы
Горюешь будто на часах,
И медлят поминутно спицы
В твоих наморщенных руках.

В самом деле, в одном отношении мы можем назвать Пушкина самым красивым во всемирной литературе поэтом, потому что красота у него сошла вглубь, пошла внутрь. Тут две тысячи лет нового углубления, христианского развития сердца, но пошедшего не специально в религию, а отраженно бросившего зарю на искусство. И в самом деле —

Голубка дряхлая моя

— о няне старой: почему это не есть Небесная Афродита, христианская Афродита, которую предчувствовал Платон, сумрачно говоря «нет! нет! нет!» по отношению к своим, к афинским, смазливым и ограниченным богам. Земные боги умерли; сошли небесные боги.

Академия Изыщных Искусств, — в Петербурге ли или еще лучше в Царском Селе, — это питомник изящества и всяких изящных дисциплин, без всякого ограничения; питомник, в который войдя великий поэт повторил бы собственный стих:

...весел вхожу, ваятель, в твою мастерскую:
Гипсу ты мысли даешь, мрамор послушен тебе.
Сколько богов, и богинь, и героев.

Тут Аполлон — идеал, там Ниобея — печаль...
Весело мне!

Мы воспользовались стихом, чтобы весело очертить радостную мысль собственным словом художника и, так сказать, ввести читателя в мир душевной его, поэта, радости, если б он вошел в питомник изящества, в самом деле над ним воздвигнутый мавзолеем. Кстати, в мастерской художника, средь Аполлонов и Ниобей, Пушкин вспомнил усопшего же:

...в толпе молчаливых кумиров
Грустен гуляю: со мной доброго Дельвига нет;
В темной могиле почил художников друг и советник.
Как бы он обнял тебя, как бы гордился тобой!

Конечно, мы даже и отдаленно не разумеем здесь Школы Живописи или Ваяния *в их изолированности*, что все уже есть, — хотя, конечно, ничему не помешает параллелизм в них или к ним: *Есть изящные вещи*, но есть еще *самó изящество*, коего и живопись, и ваяния суть только факультеты. И как помимо Медицинской Академии есть Университет, — так, *может быть*, и настоль же *нужна* около специальных художественных школ Академия Изыщных Искусств: которая была бы столько же академиею архитектуры, как и академиею вокального совершенствования, музыкальных упражнений, равно чтений из

Магабараты и Рамааны, и все прочее. На Западе давно есть наука искусства, история искусства; искусство вообще есть нечто разнородное с наукой, есть даже огромная поправка к науке, может быть — *другой* мир, великое *ограничение* разума и его претензий. Для наук — пусть недостаточно — но все же много у нас сделано. И если не ничего, то чрезвычайно мало сделано для искусств. Даже нельзя скоро найти и, может быть, даже вовсе нельзя найти в России места, куда прийдя можно было бы совершенно быть уверенным, что вот здесь *узнаешь о плодах работ Винкельмана* или *о результатах критики Лессинга*. «Критики»... Какая богатая область у нас, в нашей собственной истории и развитии! — но кафедры *истории русской критики*, или кафедры *истории критики всемирной*, или — *теории критики* нигде в России нет. Вот — для проектируемой нами Академии — ряд кафедр, которые достаточно назвать, чтобы почувствовать, как они нужны, как они уместны в России.

Наш театр... Разве он не пережил эпоху Оффенбаха, и разве ее допустила бы серьезная, доминирующая в стране школа, как именно *Университет Изящного*, с свободным карающим бичом в руке? Какова роль Шекспира на нашем театре? Чтó мы успеваем сделать для народного театра? Вы видите, что не только *кафедры* на этот зов, на эту мысль бегут, но и бегут *темы*, т. е. *нужды дня*, и, сбегаясь на улице, так сказать, роют уже фундамент нового здания, на фронтоне которого были бы

И мраморные циркули и лиры,
И свитки — в мраморных руках.

И наряду с нею, этую воспоминаемую красотою,—

...арфа серафима,

который умел внимать

В священном ужасе поэт.

Академия Изящных Искусств непременно стала бы *авторитетом изящества, критиком* в изящном. И когда все виды красоты так глубоко падают теперь и Афродита уличная решительно не дает прохода добрым людям, даже обывателям, сторонним искусству, — право же, в *такое время* не лишне два раза «отмерять» прежде, чем решительно и строго отказать на просьбу «о неуместной затее»...

Да встретит слово это добрую минуту...

ЗАМЕТКА О ПУШКИНЕ

Гоголь, приехав в Петербург, поспешил к светилу русской поэзии. Был час дня уже поздний.

«Барин еще спит»,— равнодушно сказал ему лакей.

«Верно, всю ночь писал?» — спросил автор Ганса Кюхель-гартена.

«Нет, всю ночь играл в карты».

Диалог этот — многозначителен, т. е. в вопросе Гоголя. Как *не пусты* уже его юношеские письма, напр., между прочим к матери! Это — послушник в стихаре, вообще какой-то член церковной службы, коего речь постоянно сбивается на поученье. Несравненный рассказчик, в письмах он не умеет рассказывать. Но письма суть самый *не надуманный* вид литературы, и вот именно в них — какая-то вечная надуманность у Гоголя, т. е. вдумчивость, дума.

Печально я гляжу на наше поколенье

эта строфа Лермонтова — почти эпитафия к «Выбранным местам из переписки с друзьями», да и вообще ко всем моральным фрагментам Гоголя. Вечная, говорю я, надуманность, так что, переходя от переписки Гоголя к его «творениям», чувствуешь некоторую их искусственность: он «не от души» рассказывал, как милейший почтмейстер о капитане Копейкине. Напротив, садясь «сочинять», он ставил тему, он ее развивал и доводил до конца. Отсюда необыкновенная зрелость *мысли* в его «творениях». Их высокое совершенство есть уже плод его технического гения, «таланта», «богоданной» руки, что вообще никак нельзя сливать с «думкою» человека, «пением» его сердца, порывом, потоком, течением то слез, то радости. Гоголь имел гений

комической техники при странно трагическом сложении души. Во всяком случае вопрос:

«— Верно всю ночь писал?»

— характерен. Гоголь всю бы ночь писал, как и Лермонтов:

Бывают тягостные ночи:
Без сна, горят и плачут очи.
На сердце — жадная тоска;
Дрожа, холодная рука
Подушку жаркую объемлет;
Невольный страх власы подьемлет;
Болезненный, безумный крик
Из груди рвется — и язык
Лепечет громко, без сознанья.

Тогда — пишу.

Что строки эти списаны с природы и представляют как бы портрет самого художника, снятый с отражения лица своего в зеркале, — видно из того, что знаменитый этот отрывок есть собственно *вставка, прерывающая* течение пьесы «Журналист, читатель и писатель» — и даже повторяющаяся в теме предшествующий абзац, но повторяющая его *истиннее и действительнее*:

О чем писать?.. Бывает время,
Когда забот спадает бремя,
Дни вдохновенного труда...

Поэт как бы *перебивает* и *исправляет*:

Бывают тягостные ночи...

Мы не умеем доказать, но кто много писал и знает технику писанья, прямо повторит за нами, догадавшись из намека, что монолог

...холодная рука
Подушку жаркую объемлет —

есть автобиографическое даже не «признание», а невольно вырвавшийся крик. И опять это не то, что:

«— Нет, играл в карты всю ночь».

«Боже, как мне писать хочется!» — воскликнул Толстой, где-то около родных своих Хамовников, в Москве, возвращаясь домой, среди толпы знакомых и друзей. Была ночь; верно, звездная ночь. И вот, остановившись и как бы не помня себя, он прошептал вслух:

«— Как же мне писать хочется».

Опять это как у Лермонтова, как у Гоголя; и характерно противоположно тому, как у Пушкина. О Достоевском записано:

«Любимым местом его занятий была амбразура окна в угловой (так называемой круглой камере) спальне роты, выходящей на Фонтанку. В этом, *изолированном* от других столиков, месте сидел и занимался Ф. М. Достоевский; случалось нередко, что он не замечал ничего, что кругом его делалось; в известные установленные часы товарищи его строились к ужину, проходили по круглой камере в столовую, потом с шумом проходили в рекреационную залу, к молитве, снова расходились по камерам; Достоевский только тогда убирал в столик свои книги и тетради, когда проходивший по спальням барабанщик, бивший вечернюю зорю, принуждал его прекратить свои занятия. Бывало, в глубокую ночь, можно было заметить Ф. М. у столика сидящим за работою. Набросив на себя одеяло сверх белья, он, казалось, не замечал, что от окна, где он сидел, сильно дуло; щиты, которые ставились к рамам, нисколько не предохраняли от внешнего холода; особенно это было чувствительно подле окна, где Ф. М. любил заниматься. Нередко на замечания мои, что здоровее вставать ранее и заниматься в платье, Ф. М. любезно соглашался, складывал свои тетради и, по-видимому, ложился спать, но проходило немало времени, его можно было видеть опять в том же наряде, у того же столика, сидящим за работою. В то время нельзя было думать, чтобы предметом занятий Ф. М. был его первый роман «Бедные люди», но, зная способности и прилежание его в учебных занятиях, нельзя было предполагать, чтобы Ф. М-чу недоставало днем времени для этих занятий; я тогда же допускал, что постоянная усидчивая его работа, работа письменная, ночью, когда никто ему не мешал, была литературная, и, конечно, не для газеты, издававшейся в роте под заглавием «Рижский сняток», а для более серьезного предмета. Но какая это была работа, отгадать было трудно; сам же Ф. М. никому об ней не говорил».

Т. е. опять, у этого третьего:

...Диктует совесть,
Пером сердитый водит ум.

Что-то *подобное* в настроении, потому что *подобное* в манере письма.

Осень, ненастная осень была лучшим временем для писания у Пушкина; ссылка и карантин — это два места и внешние положения, два условия труда, среди которых и были созданы, по его собственному признанию и разысканиям биографов, все лучшие его создания. Что это значит?.. Тогда как Гоголь для

писания вырвался в Рим, Достоевский — сквозь нищету никогда не искал службы и обеспечения. Лермонтов вечно рвался — то на Кавказ, то куда-нибудь. Для одних простор, внешний, почти пространственный простор, есть требуемое и достигаемое условие созидания; для другого условием созидания служит внешнее и почти пространственное же ограничение.

Пушкин писал не всегда. Ночь, Свобода. Досуг:

— Верно, всю ночь писал?

— Нет, всю ночь играл в карты.

Он любил жизнь и людей. Ясная осень, даже просто настолько ясная, что можно выйти, пусть по сырому грунту, в калошах,— и он непременно выходил. Нет карантина, хотя бы в виде непролазной грязи,— и он с друзьями. Вот еще черта различия: Пушкин — всегда среди друзей, он — *дружный* человек; и, применяя его глагол о «гордом славянине» и архаизм исторических его симпатий, мы можем «дружный человек» переделать в «дружинный человек». — «Хоровое начало», как ревели на своих сходках и в неуклюжих журналах славянофилы. Достоевский, Толстой, Лермонтов имеют только видимость знакомств. «Его никто не знал», — замечает о Гоголе С. Т. Аксаков («Воспоминания»), «знавший» его чуть не 20 лет. Т. е. «знать» Гоголя, как равно Лермонтова, Достоевского, — значило просто ничего не знать о них и даже вовсе почти не быть знакомым с ними. Какая-то вешалка с платьем, а *не человек*: вот кого или скорей бездушное что-то, что обнимали Погодин, Аксаковы или, пожалуй, Савельев, Ризенкампф, А. Майков и, далее, Краевский или Столыпин — в Достоевском и Лермонтове. Душа их, свободная, вечно витала где-то: как «душа Катерины», в «Страшной мести», которую вызывал Пан-Отец, и она являлась к нему в замок всякий раз, когда сама Катерина имела неосторожность заснуть.

«— Меня сон так и клонит, мой любимый муж... Мне думается, я боюсь... что опять засну».

Но что же все это значит, т. е. эта разница в условиях и, так сказать, «пространстве и времени» работы?

Ничего, кроме того, что ярко написано в этой разнице: душа *не нудила* Пушкина сесть, пусть в самую лучшую погоду и звездно-уединенную ночь, за стол, перед листом бумаги; тех трех — она нудила, и, собственно, абсолютной внешней свободы, «в Риме», «на белом свете» они искали как условия, где их никто не позовет в гости, к ним не придет в гости никто. Отсюда восклицание Достоевского, через героя-автора «Записок о мертвом доме» — об этом испытанном им мертвом доме:

«Едва я вошел в камеру (острог), как одна мысль с осо-

бенным и даже исключительным ужасом встала в душе моей:
я никогда больше не буду один... долго, годы не буду»:

...и язык

Лепечет громко, без сознания,
Давно забытые названья;
Давно забытые черты
В сиянии прежней красоты
Рисует память своевольно:
В очах любовь, в устах — обман,
И веришь снова им невольно,
И как-то весело и больно
Тревожить язвы старых ран...
Тогда пишу.

Что «пишу», что «написал»? Даже и не разберешь: какой-то набор слов, точно бормотанье пьяного человека. Да, они все, т. е. эти три, — были пьяны, т. е. *опьянены*, когда Пушкин был существенно *трезв*. Три новых писателя, существенно новых — суть оргиасты в том значении, и, кажется, с тем же родником, как и Пифия, когда она садилась на треножник. «В расщелине скалы была дыра, в которую выходили серные одуряющие пары», — записано о Дельфийской пророчице. И они все, т. е. эти три писателя, побывали в Дельфах и принесли нам существенно древнее, но вечно новое, каждому поколению нужное, языческое пророчество. Есть некоторый всемирный пифизм, не как особенность Дельф, но как принадлежность истории и, может быть, как существенное качество мира, космоса. По крайней мере, когда я думаю о движении по кругам небесных светил, я не могу не поправлять космографов: «хороводы», «танец», «пляска» и, в конце концов, — именно *пифизм* светил, как свежая их *самовозбужденность*, «под одуряющими внешними парами». Ведь и подтверждают же новые ученые, в кинетической теории газов, старую картезианскую гипотезу космических, влекущих «вихрей». Этот пифизм, коего капелька была даже у Ломоносова:

Восторг внезапный ум пленил...

и была его бездна у Державина: он исчез, испарился, выдохся у Пушкина, оголив для мира и поучения потомков его громадный ум. Да, Пушкин больше ум, чем поэтический гений. У него был гений всех минувших поэтических форм; дивный набор октав и ямбов, которым он распоряжался свободно; и сверх старческого ума — душа как резонатор всемирных звуков:

Ревет ли зверь...
Поет ли дева...

На всякий звук
Родишь ты отклик.

Он принимал в себя звуки с целого мира, но «пифийской расщелины» в нем не было, из которой вырвался бы существенно для мира новый звук и мир обогатил бы. Можно сказать — мир стал лучше после Пушкина: так многому в этом мире, т. е. в сфере его мысли и чувства, он придал чекан последнего совершенства. Но после Пушкина мир не стал богаче, *обильнее*. Вот почему в звездную ночь:

«— Барин всю ночь играл в карты»

— и, кто знает, не в эту ли и не об этой ли самой ночи Лермонтов написал:

Ночь тиха. Пустыня внемлет Богу,
И звезда с звездою говорит.

Как хорошо. Почти — Вифлеемская ночь; да ведь почти и слышится «Слава в вышних богу»:

В небесах торжественно и чудно,
Спит земля в сияньи голубом...

но поэт не догадывается о родстве ночи и ночи, как ничего не сознает и об одуряющих «парах». Он только «дурочка»-Пифия, и от этого одного неясность настроения его.

Что же мне так больно и так трудно...
Жду ль чего? Жалею ли о чем?..

И посмотрите — «нет друзей», «не надо друзей»:

Уж не жду от жизни ничего я,
И не жаль мне прошлого ничуть;
Я ищу свободы и покоя —

таковы-то все они: и сейчас — в видения, видения; «душка» их полетит не то в замок к Пану-Отцу, как у Катерины, не то — подлинно к богу:

«Пани моя, Катерина, теперь заснула, а я и обрадовалась тому, вспорхнула и полетела. Мне было так радостно. Я была в том самом месте, где родилась и прожила пятнадцать лет. О, как хорошо там! Как зелен и пушист тот луг, где я играла в детстве; и полевые цветочки те же, и хата наша, и огород. О, как обняла меня добрая моя мать! Какая любовь у нее в очах! Она приголубливала меня, целовала в уста и щеки, расчесывала частым гребнем мою русую косу» («Страшная месть»).

Я б хотел забыться и заснуть.

.....
Чтоб — всю ночь, весь день мой слух лелея —
Про любовь мне сладкий голос пел;
Надо мной чтоб, вечно зеленея,
Темный дуб склонялся и шумел,

— и, еще лучше, если бы шумела целая «дуброва Мамврийская» (в еврейском подлиннике — не «дуб», а «дуброва Мамврийская»).

Отношение в древнем мире Гомера к позднейшим трагикам может дать аналогию отношения у нас Пушкина к последующим главным творцам. Гомер богаче и роскошнее порознь Эсхила, Софокла, Эврипида. Но пришел нужный день — и из лона земли вышли Эсхил, Софокл, Эврипид, чтобы сменить и оставить лишь в качестве школьного научения, а не живого руководителя толпы, священного рапсода. Пушкин, по многогранности, по *все*-гранности своей, — вечный для нас и во всем наставник. Но он слишком строг. Это — во-первых. Но и далее, тут уже начинается наша правота: его грани суть всего менее длинные и тонкие корни и прямо не могут следовать и ни в чем не могут помочь нашей душе, которая растет глубже, чем возможно было в его время, в землю, и особенно растет живее и жизненнее, чем опять же возможно было в его время и чем как он сам рос. Есть множество тем у нашего времени, на которые он, и зная даже об них, не мог бы *никак* отозваться; есть много более у нас, которым он уже не сможет дать *утешения*; он слеп, «как старец Гомер», — для множества случаев. О, как зорче... Эврипид, даже Софокл; конечно — зорче и нашего Гомера Достоевский, Толстой, Гоголь. Они нам нужнее, как ночью, в лесу — умелые провожатые. И вот эта практическая нужность создает обильное им чтение, как ее же отсутствие есть главная причина удаленности от нас Пушкина в какую-то академическую пустыньность и обожание. Мы его «обожали»: так поступали и древние с людьми, «которых нет больше». «Ромул» умер; на небо вознесся «бог Квирин».

ЕЩЕ О СМЕРТИ ПУШКИНА

I

Смерть великого человека, явившаяся неожиданно, вызывает на размышления. Что такое произошло? *Он* ли тому причина, *окружающие* ли, *Провидение* ли — об этом мы спрашиваем при виде неожиданной смерти обыкновенного человека, просто при виде *факта* раскрывшегося зева «пожирательницы людей». И этот вопрос становится длительнее, упорнее, когда тот же зев неожиданно поглощает великого, дорогого, нужного. «Куда? Зачем?» это мы произносим горестно и бессильно, когда не можем произнести единственно нужного: «постой!»

Когда литература лишается *двух* величайших гигантов своих *одним* способом, равно неожиданно и безвременно, мысль о роковом и страшном невольно закрадывается в ум. «Тут кто-то *шалит*», «это кому-то *надо*», «кто-то *уносит* у нас величайшие сокровища», и слова: «судьба», «немезида», «рок», эти затасканные и все-таки оставшиеся в памяти человеческой имена, невольно шепчет язык. Море никак не хотело принять Поликратова перстня; то же море, какое-то мистическое море, обратно от нас требует «драгоценных перстней». Ну, бросили один — нет, мало. «Поганое место». Я хочу сказать, что когда в одном и том же месте реки эту весну утонул один мальчик, на следующий год — другой, мы восклицаем: «поганое место», «нечистая тут сила». Непонятно. Страшно. Не хочу подходить к этому месту, хочу обойти это место.

В ужасно смешной (в *предметом* отношении, в отношении к *Пушкину* и его *смерти*) статье «Судьба Пушкина» г. Влад. Соловьев попытался доказать, что это не «нечистый» унес у нас Пушкина, а ангел; что это не «поганое место», где тонут мальчики, а «святое место», «место святого упокоения невин-

ных детей». В век, когда люди только *по книгам* помнят Бога, а не в живом ощущении, они прежде всего начинают смешивать «черта» и «Бога». Человек погиб. Мальчик утонул. «Кто это?» — «Это — Бог!» — «Нет, это — *черт*». Грешный человек, я следую в этом случае маловозрастным мальчикам и вместе с ними шепчу о потерянном их товарище: «Это — *нечистый* унес его», и все тут «погано», «страшно», «неодолимо».

...Если б им была дана
Земная форма, по рогам и платью
Я мог бы сволочь различать со знатью.
Но дух — известно, что такое дух:
Жизнь, сила, чувство, зренье, голос, слух
И мысль без тела — часто в видах разных;
Бесов вообще рисуют безобразных.

Это неприятное и жуткое ощущение, которое через 50 лет, конечно, становится глухо, но у современников и очевидцев события, вероятно, было сильно, рассеялось несколько и у меня, когда в № 21-22 «Мира иск.» я прочел о смерти Пушкина прекрасную статью П. П. Перцова. «Ну,— сказал я себе,— больше не буду думать о Пушкине. Тут все так просто разъяснено, так правильно (в фактическом отношении) и правдиво (в моральном), что и возвращаться к вопросу нечего. Человек взглянул не *ангельским* и не чертовым взглядом на события, а как простой, добрый и нравственный человек. Он не искал быть *гениально-умным* в объяснениях, не говорил себе: «Ну, тут-то я и пофилософствую»,— и нашел истинную философию в объяснении все-таки загадочного и трагического события. Мистическое не отвергнуто им, но оставлено как *тень добавления* около действительных событий и отношений в жизни поэта, и самая жизнь эта в отношении к *теме* не передана как ряд эмпирических данных, но как цепь полунравственных, полуэстетических, полуфизиологических событий, словом, «дух и тело смешаны (в статье) в надлежащей пропорции».

Это впечатление было нарушено резким ответом предыдущему автору — нового. («Еще о судьбе Пушкина», г. Рцы. № 1-2 «Мира искусства», 1900 г.). В сущности, г. Рцы *сбивает* все объяснение на первое и самое раннее, которое было дано уже в незаметном лермонтовском *упреке* Пушкину:

И он погиб и взят могилой

*Зачем от мирных нег и дружбы простодушной
Вступил он в этот свет, завистливый и душный
Для сердца вольного и пламенных страстей?
Зачем он руку дал клеветникам безбожным,*

Зачем поверил он словам и ласкам ложным,
Он, с юных лет постигнувший людей?

С этим объяснением совершенно совпадают центральные слова в статье г. Рцы: «Не клади, Сашенька, пальчика в огонь. Ан, хочю! Ну, тогда тебе не избежать и логики Петербурга (курс автора). Ну, тогда тебе не избежать и логики Петербурга (опять его курс.), тогда судьба твоя роковым образом вовлечется в цепь следствий и причин, породивших самый Петербург с его прошлым обществом, былыми нравами, героями того времени — Дантесами... Мы сами себе (его курс.) даем пощечины. И мы глубоко верим, что если бы Пушкин опомнился, понял невозможность *человечески* (его курс.) спастись, если бы он упал на колени с горячею мольбою: Господи, спаси меня! Вот польстился я на пустую петербургскую ливрею, и вот позорят жену мою, и очаг мой, и дом мой, и нет прибежища душе моей, — *наверное* (курс. его) спасся бы».

Тут есть немножко и соловьевского объяснения («поехал бы на Афон»), и обыкновенного, даже самого либерального объяснения («надел ливрею»), и, словом, неясно-деликатные упреки Лермонтова переложены во что-то мещанское (да простит автор мне упрек этот): «Он носил ливрею, когда ему нужно было петь «на седьмой глас»: «Господи, воззвах». Очевидно, ни на Афон Пушкин бы не поехал (гипотеза Соловьева), ни «воззвах» не стал бы и не хотел читать, — ибо не таково было настроение его души, и правда его души, и *факт* его души *в это время* грусти, смятения, гнева. О, господа, ведь есть логика и у страсти, и не думайте, что права и *свята* логика только «посмертных рассуждений», но и *при-жизненных* страстей логика может быть *свята*. Я верю, что Пушкин *вспыхнул* правдою — и погиб; что он был прав и свят в эти 3—5 предсмертных дней, когда

Восстал «во блеске власти»

— но он действительно, как объясняет г. Перцов, был неправ 3—5 предсмертных лет, и... «все произошло так, как должно было произойти».

Я счастливый муж, любящий; у меня все исправно в дому. — за моей женой ухаживают. — Сделайте милость! Рассказывают об ее успехах:

Вот, братец мой, потеха!
Ей-ей умру,
Ей-ей умру,
Ей-ей умру от смеха.

В «Графе Нулине» Пушкин это отлично выразил в заключительных стихах:

Когда коляска ускакала,
Жена все мужу рассказала
И подвиг графа моего
Всему соседству описала.
*Но кто же более всего
С Натальей Павловной смеялся?*
Не угадать вам!— Почему ж?
Муж?— Как не так. Совсем не муж.
*Он очень этим оскорблялся,
Он говорил, что граф дурак,
Молокосос; что если так,
То графа он визжать заставит,
Что псами он его затравит.*

Все это очень важно, все это очень на кого-то похоже; но самое важное и, так сказать, центральное — в последних двух строчках:

*Смеялся Лидин, их сосед,
Помещик двадцати трех лет!*

Когда «муж» и «любовник» совпадают, тогда гомерический, чудесный гомерический хохот покрывает и Дантеса, и Нулина, и «женихов» Пенелопы. «Дом мой — твердыня моя: кого убоюся?!» Не совершенно ли очевидно, что суть пушкинской драмы заключалась... о, не в Наталье Николаевне, — а в том, что Пушкин не имел в собственных данных фундамента спокойствия и уверенности, чтобы сказать с Улисом и Лидиным: «Дом мой — твердыня моя: кого убоюся!»

Попытка Нулина, может быть, имела бы совершенно другой исход, этот другой исход возможен, он *психологически и даже метафизически мыслим*, если бы около нее не было «23-х летнего Лидина». А теперь она — крепость от Нулина и всякого, т. е. чистосердечие ее смеха с Лидиным (ведь не в одиночку же он смеялся!) исключало со стороны последнего решительно всякое подозрение и подозрительность, и он никогда бы не забормотал, не заскрежетал:

Молокосос! и если так,
То графа я визжать заставлю!

Очень нужно! Очень нужно вызывать на дуэль. Почему же затревожился Пушкин? Веселый насмешник, написавший Нулина и Руслана, вещим, гениальным и *простым* умом он *почуял*, что если «ничего еще нет», то «психологически и метафизически уже возможно», уже настало время ему самому испить черную чашу и вместе весь непререкаемый и фатальный комизм Черномора ли, старушки ли Наины... о, ведь дело не в

летах именно, а в седине и даже дряхлости опыта, хотя бы и в 35 лет:

Прошла моя, твоя весна,
Мы оба постареть успели.
Но, друг, послушай: не беда
Неверной младости утрата.
Конечно, я теперь седа,
Немножко, может быть, горбата,
Не то, что в старину была,
Не так жива, не так мила.
Зато, — прибавила болтунья, —
Открою тайну — я колдунья!

Точка в точку с великою и вещею мудростью поэта, с его универсальным умом, что для 16-ти лет может представиться «умом колдуна», весьма мало говорящим сердцу девушки. Ее *вниманье* — совсем иное будет, чем его *речи*:

Мое седое божество
Ко мне пылало новой страстью.
Скривив улыбкой страшный рот,
Могильным голосом урод
Бормочет мне любви признание:
«Так — сердце я теперь узнала.
Я вижу, верный друг, оно
Для нежной страсти рождено;
Проснулись чувства, я сгораю,
Томлюсь желаньями любви...
Приди в объятия мои...
О, милый, милый, умираю...»

И что же ответил Финн, когда-то *сам* и *первый* полюбивший Наину, т. е. стоявший к ней в неизмеримо ближайшем, по возрасту и *главное по опыту*, расстоянию, чем поэт к своей невесте, и потом жене:

Я трепетал, потупя взор!

Что делать — это роковое! А ведь вещун-Пушкин, колдун-Пушкин все видел, все знал, «на три аршина под землю» он видел не только в 35 лет, но и в 25, когда писал «Руслана» и «Нулина», и в последнем эти насмешливые строки:

Она все мужу рассказала...
Всему соседству описала.
...
Смеялся — Лидин!

Увы, так. Но поспешим к нашей задаче, оставляя иллюстрации. Не было *совершенного чистосердечия* и «гомеровского

хохота» в ее рассказах Пушкину о Дантесе. Не тот смех, не та психика. Смеется, смеется, и вдруг глаза поблекнут. — «Ну, продолжай же, Наташа! Так ты его...» — «Ну, хорошо, уж поздно: доскажу завтра». Речи недоговаривались, смех *не раскатывался*; так — улыбнется, *мертвенно* улыбнется». — «Да что ты, Наташа?» — «Ничего, утомлена. Я рано встала». И вечно утомлена. — «Верна?» — «Конечно!!» — «Довольна?» — «Довольна!» — «Счастлива?» — «Счастлива!» — «Не упрекаешь (меня)?» — «Нет». — «Детей любишь?» — «Люблю». — «Но поговори же, но расскажи же: так ты этого молокососа...» — «Ну, оборвала, ну, и только, и спать хочу, и дети нездоровы, и завтра надо рано вставать...»

Она совершенно нравственна или, пожалуй, «корректна» в отношении к детям и мужу, и... и... не распинайте же вы ее и не требуйте, чтобы она *вдруг* запела песенку над ребенком:

Спи, дитя мое родное,
Баюшки-баю...

Ничего у нее грешного. Но здесь и кончено все. Она не грешает. Но ведь вы требуете *святого*, как положительного, вы ищете небесной поволоки глаз, взамен мертвенной улыбки ожидаете воздушного смеха:

Проказница младая,
Насмешливый потупя взор
И губки алые кусая,
Заводит скромный разговор
О том, о сем. Сперва смущенный,
Но постепенно ободренный,
С улыбкой отвечает он. (Нулин на другой день)

Вдруг шум в передней...
«Наташа, здравствуй!»

— Ах, мой боже!

Граф, вот мой муж!»

Ну, ради Бога, объясните вы все, распинающие «плоть»: откуда взят этот «отрывок» бытия, серебристый звон голоса, когда его *нет!* Просто — *нет!* А ведь Пушкин психолог и понимает, что когда этого — нет, то вообще ничего нет между ними, кроме довольно скучного, *скучающего* «общего ложа» и привычной, конечно, милой, но не восхитительной столовой. Серебро — общее; посуда — общая; пожалуй, интересы — общие, и, конечно, знакомые. Но *не общий смех*:

...Потупя взор
И губки алые кусая...

Это — не к нему, не к Пушкину обращено; могло бы обратиться к «Лидину», а за неимением его — вообще *отсутствует*.

Да — нет, и только. Нет смеха; но вы требуете добродетели?! Плохие психологи. Пушкин им не был. Начертав эти стихи, он, конечно, конечно, понимал, что... ничего-то, ничевохенько общего между ним и женой — нет и что тут — не *ее* вина (слова его о ней в день смерти: как он ее ценил!), а уж если и есть чья, то, после Бога, устроившего законы мира и бросившего солнце в *свой* путь, луну — в *свой* же *другой*, то еще вина — *его*, *Пушкина*, не нашедшего в мире своих путей или не пошедшего по своим путям. Да, как Перцов объясняет, — «вина» Пушкина, и именно здесь — в сфере «своего дома».

Пушкин был решительно груб с «Наташей» (да будет прощена дерзость так ее называть). Он мог гениально ее ценить, но создать и *выжать из себя* форм обращения и быта, бытия, «житья-бытья» с той, о которой он записал *первые, ранние* впечатления:

Все в ней — гармония...
Все — выше мира и страстей:
Она *покоится стыдливо*
В красе *торжественной* своей,
Она кругом себя *взирает* —
Ей нет соперниц, *нет подруг*;
Красавиц наших *бледный* круг
В *ее сияньи* *исчезает*

— он не сумел.

В письме к жене, приведенном г. Рцы, Пушкин заговорил несколько как мастеровой. Пусть читатель перечтет письмо, справится.

«Наташа» получила письмо. Села, грустно откинулась назад. И уж не знаю, в какую минуту, но мы слышим из спаленки девушки, — увы, и в замужестве девушки:

Любви роскошная звезда,
Ты закатилась навсегда!

Да, и в замужестве девушки! Дайте договорить мысль! Она только фактически стала супругой и матерью, а поэтически и религиозно так и замерла, *умерла* девушкой. Ведь совершенно очевидно, что если есть поэзия и религия

...святыня красоты

в девстве и *девственнице*, то должна была настать и святость супружества, святость материнства:

Спи, дитя мое родное,
Баюшки-баю!

«Я не знаю, я не понимаю, я неопытна, однако тоже, перефразируя стихи поэта,

Не множеством картин старинных мастеров
Украсить я хотела бы обитель:

В простом углу моем, средь медленных трудов,
Одну картину я б хотела вечно видеть:
...Чтоб на меня с холста, как с облаков,
Пречистая и наш Божественный Спаситель,
Она — с величием, он — с разумом в очах,
Взирали, кроткие, во славе и в лучах,
Одни, без ангелов, под пальмою Сиона».

Она могла этого не написать, но она могла это почувствовать и даже, так сказать, *практически к этому приуготовиться*; как он мог *написать*, но вот практически-то к этому приуготовиться и *не мог!* Не тот тон. Совсем другие речи. И в основе всего — просто не тот возраст и не то «прошлое, прошлое!» — которого «не вернуть!». Пушкин в 16 лет написал — и с странным, страстно-нежным тоном в заключительной строке — «Леду», — сюжет, который, ей-ей, я узнал и он мне пришел в голову за 30 лет! Таким образом, этот маленький «Эрос», который мы называем Пушкиным, «зрелым» почти родился, и дальше все «зрел» и «перегорал».

«Конечно, она не виновна. Но, виноват... мир, Бог, Дантес, Геккерен, «ибо я так чрезмерно страдаю», «так мне дурно»... Она обо мне не думает; я о ней всечасно думаю и почти перестал писать стихи, разучился писать (последний, какой-то *пустынный* фазис деятельности Пушкина), ибо все та же мысль сожрала, пожрала меня. Молюсь — и не вижу «образа». Он не отвернулся, а просто поблек, *умер* в линиях, ушел куда-то внутрь».

Г. Рцы, приведа указанное выше письмо, пишет: *Чудные* отношения (везде его курсивы). Дай Бог каждому из нас найти такой *верный* тон, так гениально суметь избежать приторности, сантиментальности, прикрыв грубоватую корою товарищеских угловатостей эту чарующую нежность, эту сердечность, эту ласку... Он ее не любил!! Или она его? Да Ромео и Юлия так не любили друг друга, как *могли* любить друг друга Пушкины в браке, *оставайся только несчастный поэт в Москве* (последний курсив мой)... и т. д. Строки до известной степени драгоценные, ибо именно так рассуждал, вероятно, не раз рассчитывая свое счастье по пальцам, Пушкин.

Дело в том, что тон письма Пушкина, действительно чудный и «Ромеовский», не есть «Ромеовский» *универсально*, но только *резко определенной, узкой полосы* бытия нашего, кото-

рый и для Гончаровой должен был настать и, по-видимому, настал со вторым мужем, и она ему была «твердыней», успокоенною и счастливой; но с Пушкиным, в 17—22 года, не настал. Она имела *свой* тон, *свои* струны «Ромеовского» счастья, по которым не мог и не умел ударить... поэт.

Тут только и можно разобраться, «вознеся руку на сердце», ибо «законно» и внешне, как равно критически и литературно, мы, все, конечно, решим «по Пушкину» и «для Пушкина». Но ведь что в *нашем*-то, этаким решении? Ведь он, участник драмы, жалкое ее лицо — вещун, он — вещей.

— «Я же верна тебе, — ну что же еще».

И она заплакала. Скажите, ради Христа, в какой закон и в какое Евангелие вы впишете эти слезы, или, пожалуй, из какого Евангелия или от какого Христа вы возьмете окрик, или даже просто *упрек* — этим слезам. «Я плачу, ну и только». «Ваша — и никуда не бегу». Пушкин заметался. О, тут кто-то... судьба, Бог, Дантес, Геккерен, но я должен, мне нужно убить, потому что я так ужасно страдаю, мне так трудно, и *неисцелимо трудно*. Убить и даже... убивать, убивать; или — умереть. Он умер. Конечно, это легчайшее.

II

«В чем дело, — пишет г. Рцы, — Пушкин *переступил* через чужую жизнь? Пушкин, как Мазепа, *заклевал голубку* — какую? Свою собственную жену... Что за притча? И в каком смысле *заклевал*? А вот в каком. Для Наташи, для бедной (несчастливая московская барышня, очевидно, судьбой предназначенная по крайности для действительного статского советника), для бедной Наташи все были жребии равны. *Еще* равны... (центральная, совершенно справедливая мысль г. Перцова). Она еще никого не любила, не доспела, но потом, отлежавшись, как груша хороших поздних сортов, могла полюбить, а тут Пушкин, коллежский секретарь Пушкин, некстати подвернулся...»

Чудак. Он пишет: «Этак у каждого из нас, проживши мирно десяток лет, жена вдруг нальется соком и станет вздыхать по *суженом, настоящем*, которого она проглядела, не дождалась».

Какое рассуждение; ну, и в самом деле, пусть жена «начала вздыхать»: как же муж *прервет* эти вздохи? Увы, брак не был бы «тайнством», если б он не был «членом веры». И вот, когда верующий, — о, не изменяет своему символу, но *вдыхает*, как я, как, может быть, он, как Лютер в 22 года, о какой-то далекой, новой, возможной вере, в условиях поблекшей настоящей, что же, г. Рцы и этот *религиозный вздох* прервет!? Нет, он этого

не сделает. Но не то ли же самое и в таинстве, которое мы рассматриваем, где так же, как и в вере, в религии, в догматике, вздоха прервать *нельзя* и вздох прервать *преступно*. Да просто — нельзя (нет средств, сил)!

Какой-то *всеобщий* страх у г. Рцы — суетен, неоснователен.

Подруга дней моих суровых,
Голубка дряхлая моя

— это повторит тысяча мужей о своих «старухах», не променявая их стоптанных башмаков на новые модные туфли; мужей, говорю я,— но также это скажет и тысяча жен. Пушкин — не «Мазепа», который «заклевал»... Вот именно Мазепа-то и не заклевал:

Не серна под утес уходит,
Орла послыша тяжкий лет;
Одна в сених невеста бродит,
Трепещет и решенья ждет.

Это — Мария Кочубей ожидает приговора родителей, когда седоусый гетман приехал формально ее сватать:

Не только первый пух ланит
Да русы кудри молодые,
Порой и *старца строгий вид*.
Рубцы чела, власы седые
В воображенье красоты
Влагают страстные мечты.
И вскоре слуха Кочубея
Коснулась роковая весть:
Она забыла стыд и честь,
Она — в объятиях злодея...

Не отпустил отец, сама ушла. Что делать — так!! Так было покоен веков и так останется, пока «три кита» не вывернутся из-под земли; и, наконец, так бог благословил. Но почему же *если* Мазепа, то *все-таки не* Пушкин? Это вы прочтите у Лермонтова о Каспии:

о, старец — *Море*.

Но, склонясь на мягкий берег,
Каспий стихнул, *будто спит...*

Не правда ли, в стихах Лермонтова — будто психология Мазепы, в его притворных письмах к Петру. А вот, у него же, и в той же дивно краткой поэме, и эпизод с Марией Кочубей, во всех деталях:

«Слушай, дядя, дар бесценный:
Я примчу тебе с волнами
Труп казачки молодой
С темно-бледными плечами
С светло-русою косой».

И старик, во блеске власти,
Встал, могучий как гроза,
И оделись влагой страсти
Темно-синие глаза.
Он взыграл, веселья полный,
И в объятия свои
Набегающие волны
Принял с ропотом любви.

Тысяча романов в действительности — на подобный сюжет; и Наташа Гончарова, за 2—3 года до встречи с Пушкиным (совершенное отрочество), легко могла бы сбежать к какому-нибудь петербургскому Мазепе, совершенно так же и с теми же последствиями, но *никогда бы не сбежала к Пушкину*. Мазепа... старый бандурист, коего песни до сих пор не забыты Малороссией, строитель церквей, тряхнувший — да как! — Малороссией, и забурливший около своего имени Россию, Швецию, Польшу. Пушкину бесконечно хотелось съездить за границу, но он... так-таки никогда и не решился сесть на пароход без паспорта. Этот несносный Бенкендорф — потому и несносный, что Пушкин никак не умел от него освободиться. Вот уж не Каспий... Что же ему сравниваться с Мазепой *в линии данной темы*. Да он и был для 16-летней Наташи Гончаровой тем «действительным статским советником», хлопотавшим у правительства разрешения издавать журнал, — к которому ее приревновал г. Рцы; а Мазепа и был, по его же терминологии, — «Он»... Ну, — Он, «Озирис», «Зевс»...

... Дух — известно, что такое дух:
Жизнь, сила, чувство, зреньё, голос, слух.

По всему описанию видно («Полтава»), и, конечно, так и было в действительности, что не Мазепа хотел Марии Кочубей: он только заметил ее, позволил ей, а *ринулась*-то она сама к нему и, пожалуй, действительно к Нему. Седой усач; поэт — но *в меру* (Пушкин — без меры); какие речи! какой взгляд! И — седина, седина; «ветхое деньми». Тут не у одной Марии закружилась бы голова... И, главное, великий и страстный политик, молитвенник, художник, Мазепа и в 63 года был свежее и чище, был более похож на Иосифа Прекрасного, чем Пушкин, далеко отошедший от Иосифа в 16 лет («Вишня»). Да, целомудрие старости — обаятельно, и у Марии, а могло бы

быть и у Наташи Гончаровой, закружилась голова. И решительно она не закружилась от Пушкина, который, *в отношении к данной теме*, так ужасно походил на «действительного статского советника», с положением и связями, восходившими до Бенкендорфа. Но известно, что у генералов, военных и статских, бывают счастливые адъютанты, и вот в Дантесе Пушкин почувствовал, заподозрил, имел *психологический и метафизический фундамент* заподозрить такого счастливого «адъютанта», «помещика 23 лет Лидина», и, словом... Феба, Эсмеральда и Феб. Вы помните «Собор Парижской богородицы» и там этот странный, горестный (до слез) роман. Эсмеральда — само упоение; ею упилась *Европа*; она увидела (кажется, ни слова не сказала) кавалериста Феба, которому Гюго даже не дал никакого собственного имени, до того он был *безличен*. Эсмеральда поблекла. Забыла свою козочку. Вот тут пусть г. Рцы рассудит и бросит в Эсмеральду тот камень, который он бросает в Гончарову. Зачем Эсмеральда полюбила Феба, а не того угрюмого, ученого, *гениального* монаха, который полюбил ее почти страстно-нежно и безнадежно, как Пушкин — Наташу. Да, зачем?! Пусть учит г. Рцы — он умен; я же только и могу припомнить: «И к мужу — *влечение твое*» (Бытие, 3). Да, «к мужу» и «влечение», т. е. «муж» и есть этот «Каспий», «море», «Озирис», Феб, Дантес, уже потому «роковые», что их ни обойти, ни объехать. Погибла Эсмеральда, погибла Кочубей, могла бы погибнуть Гончарова-Пушкина. Но, с другой стороны — погиб тот желчный монах («Соб. Пар. богородицы»), погиб Пушкин, *может* погибнуть Рцы, я, наш читатель. И, вообще, это любопытно, что где-нибудь, то там, то здесь, но *вечно* «бог семьи и брака» требует и *получает* себе дымящуюся человеческую кровь. Ужасно, но факт.

Ужасно, непостижимо. Сейчас я разъясню это. Конечно, можно представить, как по-видимому мечтает г. Рцы, что человечество можно было бы, поломав как лучинку, разместить попарно, и что не было бы ни страданий, ни расхождений, ни приключений. Но «лучинки» бы *не рождали!* Я хочу сказать, что в тот миг, как «кровавые заклинания» (на этой почве) окончательно прекратятся на земле — человек перестанет рождать. Я не могу постигнуть, почему и как, но чувствую, что *рождение ребенка* требует «жертвы», без нее не будет беременности и того, о чем писал и к чему готовился Пушкин, возвращаясь домой. Попробую еще объяснить. Шампанское — *играет*; если бы оно не играло, не пенилось, оно было бы смиреннее и не рвало пробку, не разрывало проволоку и иногда не брызгало вам в лицо, а при неосторожности — не ранило бы вас осколком стекла в

лицо, в руку. Но *тогда оно было бы водой*, без игры, пены и ран... Идея г. Рцы, испуг его «как мужа» есть в сущности жажда смирить женщину и... тогда она *потеряет силу*, не будет рожать, как Татьяна в скорбном своем романе:

К ней дамы подвигались ближе,
Старушки улыбались ей;
Мужчины кланялись ниже,
Ловили взор ее очей;
Девицы проходили тише
Пред ней по зале; и всех выше
И нос и плечи подымал
Вошедший с нею генерал.
Никто б не мог ее прекрасной
Назвать, но с головы до ног
Никто бы в ней найти не мог
Того, что модой самовластной
В высоком лондонском кругу
Зовется vulgar.

А *дети*? Что вы мне суετε «старушек, которые ей улыбались», кавалеров, которые ей «почтительно кланялись», когда идет *жена*,— и я спрашиваю: а где же ее дети? Вот что забыл Пушкин, рисуя свой «милый идеал», и о чем забыл, что кощунственно выкинул из головы Достоевский, в знаменитом анализе «Пушкинского и русского идеала женщины»? О, любители безкровных жертв, взамен древних, ягнячьих, голубиных,— как иногда можно ненавидеть вас и ваше!..

В ней сохранился тот же тон,
Был так же тих ее поклон.

Ведь, плакать хочется,— не знаю, как читателю, но мне хочется.

Она спросила:

Давно ль он здесь, откуда он (*Онегин*)
И не из их ли уж сторон?
Потом к супругу обратила
Усталый взгляд...

Страшен этот «усталый взгляд»! Сегодня усталый, завтра усталый, следующий год усталый. Ох, «устала»; кто-то поддержит? Нет держащего. И Пушкин, и Достоевский — оба отказались. Пушкин устал от Бенкендорфа, Достоевский устал от бедности и либералов.

С Татьяной — никого. Только старушки покланялись на рауте.

Устала Татьяна. Братья-люди, да ведь *вы* же устаете? почему же только *жена* не может устать?

Поэт, усмири волны свои и *любезно рассмейся*, низко поклонясь Бенкендорфу. «Низко поклонясь?!» Но позвольте, ведь Татьяна куда-куда больше «низких поклонов» должна отдавать тому, кто ей *чужд* и *на нее не похож*, как на вас Бенкендорф?.. И почему же то, от чего гиганты силы заскрежетали зубами, Пушкин, Достоевский, или мы, средненькие, Рцы, я, только для «бедной Тани» под силу? Но ведь на самом деле так. Ведь Таня тоже мечтала:

Не множеством картин старинных мастеров
Украсила бы я смиренную обитель...

И почему, почему, когда Бог отнял у женщины гений письма, когда она не слагает пушкинских строф, не дает ни рафаэлевских рисунков, ни музыки, как Моцарт, ни побед, как Наполеон, — почему, как Давид в могуществе своем отнял у соседа Урии его «последнюю овечку», вы отнимаете «единую славу» у нее: детскую и спальню, семью и *настоящего мужа*. У Урии — только Вирсавия. У Давида — царство, слава, арфа и псалмы. У Татьяны, Натальи — только возможность приласкать, но уж любимого человека, а тут явился воин, богач, в ласках царских, в исторической славе, или явился поэт, купающийся в волнах народной молвы:

— «Ну, вот, Наташа, Татьяна, теперь тебе есть муж».

Татьяна уступила. Наташа уступила. — «Да, мне все равно!» И усмехнулась.

Но перервем, оставим.

Конечно, Пушкин был виновен перед Гончаровой, и потому, что он не понял необходимости глубокого *индивидуализма* семьи, без чего она есть квартира, но не есть «дом» в лучах религии и поэзии. «Святой дом» — вот чего до очевидности ясно не выходило у них.

Пушкин, и тысячи, — между ними Достоевский, — воображают, что пол есть функция, а не мистическое лицо в нас, второго, ноуменального порядка, и что как можно составить по произволу меню для *table d'hôte*'а*, так же можно мистический узел семьи, мистическую *душу* семьи, *ангела* семьи образовать на почве искусственного согласия, формального соглашения на «общение в этой функции». Ангела нет. Души нет. Семьи нет. Ничего нет, есть только то, о чем условливались: функция. Она — в слезах, он — в бешенстве; или — она в терпении, он —

* Общий стол (*франц.*).

в унынии. Да что же случилось? Да нет лица, не вспыхнуло *ангельское между ними* лицо. Вы *говорить* можете со всяким из 1 200 000 петербургских жителей; обедать — не со всеми, но по крайней мере с тысячами из этого миллиона; но читать книгу?.. О, тут индивидуальность суживается: Пушкин не может читать с Бенкендорфом, — ему нужно Пушина; Достоевский не может, пусть дал бы обещание, «обет», «присягу», целый год читать романы и прозу, стихи и рассуждения со Стасюлевичем; я не мог бы читать «задушевно и со вкусом», со всяким; может быть, не мог бы со всяким читать и Рцы. Вышло бы не «чтение» с засосом, вышла бы алгебра, читаемая Петрушкой, и которую, кроме Петрушки, на этот раз слушают Стасюлевич и Достоевский. Но почему мы *говорим* с 1 200 000, *обедаем* — с 200 000, *читаем* — с 20?! Потому что «разговор», «трапеза», «чтение» — все *одухотворяются* и *одухотворяются*, становятся *личнее* и *личнее*, *интимнее* и *интимнее*. Но общенье в предполагаемой функции супружества — насколько же оно интимнее, таинственнее, сокровеннее и главное, главное личнее, не говорю — разговора или еды, но и чтения?! Читать вечно только с Петрушкой, — нет, тут обломилась бы «кошачья живучесть», которую гордился в себе Достоевский. Итак, секрет и тайна раскрываются: «читать» можно только с немногими; но, как думать можно только с собою, и при *такой* думе вспыхивает гений, поэзия, — так гений и поэзия семьи вспыхивают тогда, когда есть *единство субъективного лица* в кажущихся двоих. — «Ну, давайте думать вдвоем, я и Рцы». Правда, «братья Гонкуры» писали «вместе» романы, но эти романы были плохи, они не были «Войною и миром» или «Карениной». Попробуйте «сочинять вместе» «Преступление и наказание»?! Хороша вышла бы каша. Каким же образом семью, которая, как *произведение*, конечно, выше гением и мистицизмом «Преступления и наказания» и «Войны и мира», можно, «согласившись», «начать сочинять вдвоем». Тут нужно, чтобы бог *согласил*, т. е. семью, которая немислима без двух. Эти двое тогда ткнут, когда их устроил бог в одно (одно *лицо*). Великие поиски семьи, — то, что я, петербуржец, нахожу свою «судьбу», положим, не в нашей улице, не в нашем городе, в при случайной и единственной поездке в Сибирь, — отсюда вытекают, и из подобных фактов ясно, что это божеское единство двух есть вообще проблема, случай, загадка, но никогда не произвол. «Я женюсь, и вот будет семья». Ничего подобного. Ведь вас двое, а семья именно там, где есть «одно». Вот устранение этих-то «двоих» и есть мука, наука и, конечно, непостроимая наука семьи. У Пушкиных все было «двое»: «Гончарова» и «Пушкин». А нужно было, чтобы не

было уже «ни Пушкина», ни «Гончаровой», а — бог. Пушкин метнулся; Рцы говорит: «Ведь они были повенчаны». Я же спрашиваю, где Бог и *одно*?! Совершенно очевидно, что это «Бог и *одно*» у них не существовало и даже не начиналось, не было привнесено в их дом. Что же совершилось? Пусть рассуждают мудрые. История рассказывает, что вышла кровь; трудно спорить меня, что Бога — не было и что гроза разразилась в точке, где люди вздумали «согласно позавтракать», тогда как тут стояло святилище очень мало им ведомого бога. И, конечно, старейший и опытнейший был виновен в неуместном пиршестве, и он один и потерпел.

1900 г.

М. Ю. ЛЕРМОНТОВ

(К 60-летию кончины)

Сегодня исполняется 60 лет со дня кончины Лермонтова, и вот приходится взяться за перо, чтобы отметить этот день в памяти и мысли читателя. Умершему было 26 лет от роду в день смерти. Не правда ли, таким юным заслужить воспоминание о себе через 60 лет — значит вырасти уже к этому возрасту в такую серьезную величину, как в равный возраст не достигал у нас ни один человек на умственном или политическом поприще. «Необыкновенный человек», — скажет всякий. «Да, необыкновенный и странный человек», — это, кажется, можно произнести о нем, как общий итог сведений и размышлений.

Им бесконечно интересовались при жизни и сейчас же после смерти. О жизни, скудной фактами, в сущности — прозаической, похожей на жизнь множества офицеров его времени, были собраны и записаны мельчайшие штрихи. И как он «вошел в комнату», какую сказал остроуту, как шалил, какие у него бывали глаза, — о всем спрашивают, все ищут, все записывают, а читатели не устают об этом читать. Странное явление. Точно производят обыск в комнате, где что-то необыкновенное случилось. И отходят со словами: «Искали, все перерыли, но ничего не нашли». Есть у нас еще писатель, о котором «все перерыли, и ничего не нашли», — это Гоголь. Письма его, начиная с издания Кулиша, зарегистрированы с тщательностью, с какой регистрируются документы, прилагаемые к судебному «делу». Ищeyки ищут, явно чего-то ищут, хотя, может быть, и бессознательно.

О Гоголе записал сейчас же после его смерти С. Т. Аксаков: «Его знали мы 17 лет, со всеми в доме он был на ты — но знаем ли мы сколько-нибудь его? Нисколько». Без перемен эти слова можно отнести к Лермонтову. Именно как бы вошли в комнату,

где совершилось что-то необыкновенное; осмотрели в ней мебель, заглянули за обивку, пощупали обои, все с ожиданием: вот-вот надавится пружина и откроется таинственный ящик, с таинственными секретными документами, из которых пойдем наконец все; но никакой пружины нет или не находится; все обыкновенно; а между тем необыкновенное в этой комнате для всех ощутимо.

Мы, может быть, прибавим верный штрих к психологии биографических поисков как относительно Лермонтова, так и Гоголя, сказав, что все кружатся здесь и неутомимо кружатся вокруг явно чудесного, вокруг какого-то маленького волшебства, загадки. Мотив биографии и истории как науки — разгадка загадок. Посему истории и биографы жадно бегут к точке, где всеобщий голос и всеобщий инстинкт указывают присутствие необыкновенного. Такими необыкновенными точками в истории русского духовного развития являются Лермонтов и Гоголь, великий поэт и великий прозаик, великий лирик и великий сатирик, и являются не только величием своего обаятельного творчества, но и лично, биографически, сами. «Он жил между нами, и мы его не знали; его творения в наших руках — но сколько в них непонятого для нас!»

Что же непонятого? И темы, и стиль. Остановимся на последнем. Давно сказано и никем не отвергается, что «стиль автора есть сам автор». По-видимому, имея перед собою биографическую загадку и никакого матерьяла к ее разрешению, мы прежде всего должны броситься к стилю двух великих писателей. Он необыкновенен и чарующ. Но что мы в нем открываем? Глубокую непрозаичность, глубочайшее отвлечение от земли, как бы забывчивость земли; дыханье грез, волшебства — все противоположное данным их биографии. Читатель простит меня, если я позволю себе привести два отрывка из одного и другого писателя, отрывки известные, но которые нужно иметь перед глазами и внимательно перечесть их 2—3 раза, чтобы почувствовать, напр., такую вещь, как глубокое родство и единство стиля Гоголя и Лермонтова. «Тихо светит по всему миру: то месяц показался из-за горы. Будто дамасскою дорогою и белою как снег кисеею покрыл он гористый берег Днепра, и тень ушла еще далее в чащу сосен... Любо глянуть с середины Днепра на высокие горы, на широкие луга, на зеленые леса. Горы те не горы: подошвы у них нет, внизу их, как и сверху, острая вершина, и под ними и над ними высокое небо. Те леса, что стоят на холмах — не леса: то волосы, поросшие на косматой голове лесного деда. Под нею в воде моется борода, и под бородою, и над волосами высокое небо. Те луга не луга: то зеленый

пояс, препоясавший посредине круглое небо, и в верхней половине и в нижней половине прогуливается месяц» («Страшная месья», II).

Протираем глаза и спрашиваем себя, о чем речь? где движется рассказ и где рассказчик? Да рассказчик — малоросс, все это выдавший, но грезит-то он о совсем другом мире, никем не виденном, и грезит так беззастенчиво, точно в самом деле потерял сознание границы между действительностью и вымыслом или не обращает никакого внимания на то, что мы-то, его читатели, уж конечно знаем эту границу и остановим автора. Перед нами сомнамбулист. Конечно, никаких таких гор нет около Днепра; да кто видал и настоящие горы, Карпаты или даже Кавказ, хорошо знает, что никак о них нельзя сказать: «подшвы у них нет», «острые у них вершины». Все гораздо проще для наблюдателя. О, и Гоголь имеет тайну искусства так нарисовать действительность, так ее подметить в самомалейших реальных подробностях, как никто. Но он имеет тайную силу вдруг заснуть и увидеть то, чего вовсе не содержится в действительности, увидеть правдоподобно, ярко... точно «пани Катерина» в этой же «Страшной мести», душу которой вызывал ее страшный отец: «Пани моя, Катерина, теперь заснула, а я и обрадовалась тому, вспорхнула и полетела», — говорит «душа» странной сновидицы. Так и Гоголь. Какая-то внутренняя метаморфоза, и вдруг хорошо знакомый Аксаковым малоросс отделяется от своего тела, странствует по каким-то мирам, и потом, когда возвращается в свое «тело», друзья, знакомые говорят: «Мы ничего о нем существенного не знаем: существенное — в его загробных почти странствованиях, в сомнамбулических видениях, в неисследимой и неисповедимой организации его души, а в руках у нас — матерьялы скучнейшей его биографии, совершенно с этими видениями не связанной». Но мы заговорили о стиле и что есть тут родство между Гоголем и Лермонтовым:

Задумчиво столбы дворцов немых
По берегам теснились, как тени,
И в пене вод — гранитных крылец их
Купались широкие ступени;
Минувших лет событий роковых
Волна следы смывала роковые,
И улыбались звезды голубые,
Глядя с высот...

(«Сказка для детей»)

Опять протираем глаза и спрашиваем себя: что это, Венеция описана? Нет, Петербург! Немного выше читаем:

Над городом таинственные звуки,
Как грешных снов нескромные слова,
Не ясно раздавались — и Нева,
Меж кораблей сверкая на просторе,
Журча — с волной их уносила в море.

Один писатель взяв «Днепр», и другой — «Петербург» взяли реальные предметы, но тотчас они почувствовали или какое-то отвращение, или скуку к теме; надпись, заголовок — остались: «Днепр», «Петербург»; но уже в их голове зашуршали какие-то нисколько не текущие из темы мысли, о которых Лермонтов оставляет даже след в стихотворении: «грешных снов неясные слова», «следы роковые роковых событий», «голубые звезды», — и смело, мужественно, беззастенчиво в отношении к читателю оба унеслись в рисовку картин неправдоподобных и, однако, для самого читателя становящихся дорогами, милыми, чарующими. У Гоголя в самом тоне слов: «Тихо светит по всему миру», — появляется какая-то нега, какое-то очарование, описание получает тон космополитический. Это — не Днепр рисует автор, он рисует свою душу, но душу, тянущуюся ко всему миру, и странные слова о горах, которых «ни подошвы, ни вершины не охватить глазом», ни малейше не удивляют читателя, не шокируют его. «Мало ли что есть в свете, мало ли чего нет в мире: Гоголь все видит, все знает, и если его горы не похожи ни на какие земные, то, может быть, они похожи на горы Луны или Марса. Где-то, что-то подобное есть, и Гоголь мне показывает, и я плачу и благодарю, что он раздвинул мое знание, показал воочию мои предчувствия». Этот-то характер рисовки, не правдоподобной и столь напряженно страстной, что она создает иллюзию полного правдоподобия, и заставил когда-то воскликнуть Белинского, что «степи Гоголя лучше степей Малороссии», как и Петербург Лермонтова лучше Петербурга, в котором мы живем. И, однако, Лермонтов, когда хочет, может быть таким же натуралистом, как Гоголь. В «Бородине», «Купце Калашникове», «Люблю отчизну я...» он дает такие штрихи действительности, является таким ловцом скрупулезного, незаметного и характерного в ней, как это доступно было Гоголю только и последующим нашим натуралистам писателям:

Люблю дымок спаленной жнивы

С резными ставнями окно...
С отрадой, многим незнакомой,
Я вижу полное гумно.

Тут уже взят полный аккорд нашего народничества и этнографии 60-х годов. Но не здесь «родина» странного поэта; тут только мощь его. Сомнамбулист сочетает в себе величайший реализм и несбыточное, он идет по карнизам, крышам домов, не отступаясь, с величайшей точностью, и в то же время он явно руководствуется такою мыслью своего сновидения, которая очевидно не связана с действительностью. Вот это-то и было у них обоих, Гоголя и Лермонтова. Оба они имеют параллелизм в себе жизни здешней и какой-то не здешней. Но родной их мир — именно не здешний. Отсюда некоторое их отвращение к реальным темам: знаменитые «лирические места» у Гоголя. Возьмем его «Мертвые души»; как они не похожи на выполнение аналогичных сюжетов — «Базар житейской суеты» у Теккерея или великолепный «Пиквик» у Диккенса. Гоголь явно страдает, страдает от темы, страдает от манеры письма. Он не «гуляет», как в фантастических малороссийских вымыслах. Рассказ узок, эпопея удушлива, тесна; ни одного лишнего слова в ней; автор точно надел на себя терновый венец, и идет, сколько будет сил идти. Но вот колена подгибаются, и вдруг — прыжок в сторону, прыжок в свою сомнамбулу, «лирическое место», где тон сатиры вдруг забыт, является восторженность, упоение, счастье сновидца. Это он в родном мире, и опять мы не можем не сравнить его с страшными путешествиями души пани Катерины в старый замок ее грозного отца. «О, зачем ты меня вызвал, отец. Мне было так радостно. Я была в том самом месте, где родилась и прожила пятнадцать лет. О, как хорошо там! Как зелен и душист тот луг, где я играла в детстве; и полевые цветочки те же, и хата наша, и огород!» Тоска виденья, какую знал и Лермонтов:

И вижу я себя ребенком; и кругом
Родные все места: высокий барский дом
И сад с разрушенной теплицей;
Зеленой сетью трав подернут спящий пруд
И за прудом село дымится — и встают
Вдали туманы над водами,
В аллею темную вхожу я...

(«1-е января»)

Автор грезит об этом... на балу в Московском дворянском собрании 1-го января, — место столь же неудобное для засыпания, для видения, для сомнамбулических странствований, как и та мирная печка, на которой заснула казачка Катерина, а «пан-отец» позвал ее к себе. Вообще, если от характера живописи мы обратимся к самым темам, мы найдем и здесь близость Лермонтова и Гоголя. Известно, как дивился Белинский, что 26-лет-

ний Лермонтов, офицер и дуэлист, проник с изумительной правдою в материнские чувства в «Казачьей колыбельной песне». Но что такое, как не эта же песнь причитанья матери Андрея и Остапа Бульбы в ночь перед отправлением их в «Сечь». Одна мысль, одно чувство, и как выраженное, с какою пронзительностью, у малоросса-сатирика и петербургского денди.

* * *

Входя в мир тем нашего поэта, нельзя не остановиться на том, что зовут его «демонизмом». Но и здесь поможет нам параллелизм Гоголя. «Приподняв иконы вверх, уже есаул готовился сказать краткую молитву,— как вдруг закричали, перепугавшись, игравшие на земле дети, а вслед за ними попятился народ, и все показывали со страхом пальцами на стоявшего посреди их казака.

Кто он таков — никто не знал. Но уж он протанцовал на славу казачка и уже успел насмешить обступившую его толпу. Когда же есаул поднял иконы, вдруг все лицо казака переменялось: нос вырос и наклонился в сторону, вместо карих — запрыгали зеленые очи, губы засинели, подбородок задрожал и заострился, как копье, изо рта выбежал клык, из-за головы поднялся горб, и стал казак — старик» («Страшная месть»).

Как похоже... на Гоголя, который уже «насмешил всю почтеннейшую публику», отплясав казачка в «повестях Рудого Панько», и когда все ожидали, что он такое еще выкинет, «вдруг поднялся у казака горб из-за спины», он состарился, осунулся в петербургских своих рассказах и, наконец, в «Переписке с друзьями» и «Авторском завещании» заговорил самые необыкновенные вещи, а умер фантастично и покаянно, как будто нагрешил самые несбыточные грехи. Как хотите, нельзя отделаться от впечатления, что Гоголь уже слишком по-родственному, а не по-авторски только знал батюшку Катерины, как и Лермонтов решительно не мог бы только о литературном сюжете написать этих положительно рыдающих строк:

Но я не так всегда воображал
Врага святых и чистых побуждений,
Мой юный ум, бывало, возмущал
Могучий образ. Меж иных видений
Как царь, немой и гордый он сиял
Такой волшебной-сладкой красотою,
Что было страшно... И душа тоскою
Сжималася — и этот дикий бред
Преследовал мой разум много лет...

Это слишком субъективно, слишком биографично. Это — было, а не выдуманно. «Быль» эту своей биографии Лермонтов выразил в «Демоне», сюжет которого подвергал нескольким переработкам и о котором покойный наш Вл. С. Соловьев, человек весьма начитанный, замечает в одном месте, что он совершенно не знает во всемирной литературе аналогий этому сюжету и совершенно не понимает, о чем тут (в «Демоне») идет речь, т. е. что реальное можно вообразить под этим сюжетом. Между тем, эта несбыточная «сказка», очевидно, и была душою Лермонтова, ибо нельзя же не заметить, что и в «Герое нашего времени», и «1-го января», «Пророк», «Выхожу один я на дорогу», да и везде, решительно везде в его созданиях, мы находим как бы фрагменты, новые и новые переработки сюжета этой же ранней повести. Точно он всю жизнь высекал одну статую, — но ее не высек, если не считать юношеской неудачной куклы («Демон») и совершенных по форме, но крайне отрывочных, осколков целого в последующих созданиях. Чудные волосы, дивный взгляд, там — палец, здесь — ступня ноги, но целой статуи нет, она осталась не извлеченной из глыбы мрамора, над которою всю жизнь работал рано умерший певец.

Они были пассивны, эти темные души — так я хочу назвать и Гоголя, и Лермонтова. Вот уж рабы своей миссии. Да Лермонтов прямо об этом и записал:

Есть речи — значенье

Но в храме, средь боя
И где я ни буду,
Услышав, его я
Узнаю повсюду;
Не кончив молитвы
На звук тот отвечу
И брошусь из битвы
Ему я навстречу.

Черновой набросок этого стихотворения еще выразительнее:

Лишь сердца родного
Коснутся в дни муки
Волшебного слова
Целебные звуки,
Душа их с молением
Как ангела встретит,
И долгим биеньем
Им сердце ответит.

Оба писателя явно были внушаемы; были обладаемы. Были любимы небом, скажем смелое слово, но любимы лично, а не вообще и не в том смысле, что имели особенную даровитость. Таким образом, я хочу сказать, что между ними и совершенно загробным, поту-светлым «х» была некоторая связь, которой мы все или не имеем, или ее не чувствуем по слабости; в них же эта связь была такова, что они могли не верить во что угодно, но в это не верить — не могли. Отсюда их гордость и свобода. Заметно, что на обоих их никто не влиял ощутимо, т. е. они никому в темпераменте, в настроении, в «потемках» души — не подчинились; и оба шли паразитально гордою, свободною поступью.

Поэт, не дорожи любовью народной.

Это они сумели, и без усилий, без напряжения, выполнить совершеннее, чем творец знаменитого сонета. Ясно — над ними был авторитет сильнее земного, рационального, исторического. Они знали «господина» большего, чем человек; ну, от термина «господин» не большое филологическое преобразование до «Господь». «Господин» не здешний — это и есть «Господь», «Адоннаи» Сиона, «Адон» Сидона-Тира, «Господь страшный и милостивый», явления которого так пугали Лермонтова, что он (см. «Сказку для детей») кричал и плакал. Вот это то и составляет необыкновенное их личности и судьбы, что создало импульс биографического «обыска». Но «ничего не нашли». Лермонтов, как бы предчувствуя поиски биографов, бросил им насмешливое объяснение.

Но дух... известно, что такое дух:
Жизнь, сила, чувство, зреньё, голос, слух,
И мысль без тела — часто в видах разных
Бесов вообще рисуют безобразных.

Оба были до того испуганы этими бестелесными явлениями, и самые явления — сколько можно судить по их писаниям — до того не отвечали привычным им с детства представлениям о религиозном, о святом, что они дали им ярлык, свидетельствующий об отвращении, негодовании: «колдун», «демон», «бес». Это — только штемпель несходства с привычным, или ожидаемым, или общепринятым. В «Демоне» Лермонтов, в сущности, слагает целый миф о мучащем его «господине»; да, это — миф, начало мифологии, возможность мифологии; может быть, метафизический и психологический ключ к мифологии Греции, Востока, имея который перед собою, мы можем отпереть их лабиринт. Но, повторяем, имя «бес» здесь штемпель не сход-

ного, память об испуге. Ибо что мы наблюдаем позднее? Известно, как умер Гоголь: на коленях, в молитве, со словами друзьям и докторам: «Оставьте меня, мне хорошо!» Лермонтов созидает, параллельно со своим мифом, ряд подлинных молитв, оригинальных, творческих, не подражательных, как «Отцы пустынноики...». Его «Выхожу один я на дорогу», «Когда волнуется желтеющая нива», «Я, Матерь Божия», наконец — одновременное с «Демоном» — «По небу полуночи» суть гимны, суть оригинальные и личные гимны. Да и вся его поэзия — или начало мифа («Мцыри», «Дары Терека», «Три пальмы», «Спор», «Сказка для детей», неоконченные «Отрывки»), или начало гимна. Но какого? Нашего ли? Трудные вопросы.

* * *

Гимны его напряжены, страстны, тревожны и вместе воздушны, звездны. Вся его лирика в целом и каждое стихотворение порознь представляют соединение глубочайше-личного чувства, только ему исключительно принадлежащего, переживания иногда одной только минуты, но чувства, сейчас же раздвигающегося в обширнейшие панорамы, как будто весь мир его обязан слушать, как будто в том, что совершается в его сердце, почему-то заинтересован весь мир. Нет поэта более космического и более личного. Но и кроме того: он — раб природы, ее страстнейший любовник, совершенно покорный ее чарам, ее власти над собою; и как будто вместе — господин ее, то упрекающий ее, то негодующий на нее. Казалось бы, еще немного мощи — и он будет управлять природой. Он как будто знает главные и общие пружины ее. Всякий другой поэт возьмет ландшафт, воспевает птичку, опишет вечер или утро; Лермонтов всегда берет панораму, так сказать, качает и захватывает строку целый бок вселенной, страну, горизонт.

В «Споре» даны изумительные, никому до него не доступные ранее, описания стран и народов: это — орел пролетает и называет, перечисляет свои страны, провинции, богатство свое:

Дальше — вечно чуждый тени
Моет желтый Нил
Раскаленные ступени
Царственных могил.

В четырех строчках и география, и история, и смысл прошлого, и слезы о невозвратимом.

И, склонясь в дыму кальяна
На цветной диван,

У жемчужного фонтана
Дремлет Тегеран.

Невозможно даже переложить в прозу — выйдет бессмыслица. Но хозяин знает свое, он не описывает, а только намекает, и сжато брошенные слова выражают целое, и как выражают! У Лермонтова есть чувство собственности к природе: «Она мною владеет, она меня зачаровала; но это пошло так глубоко, тронуло такие центры во мне, что и обратно — чего никто не знает и никто этому не поверит — я тоже могу ее зачаровывать и двигать и чуть-чуть, немножко ею повелевать». Это, пожалуй, и образует в нем вторую половину того, что называют «демонизмом». Все знают и он сам рассказывает, что плакал и приходил в смятение от видений «демона»; но публика безотчетно и в нем самом чует демона. «Вас — двое, и кто вас разберет, который которым владеет». Но тайна тут в том, что действительно чувство сверхъестественного, напряженное, яркое в нем, яркое до последних границ возможного и переносимого, наконец, перешло и в маленькую личную сверхъестественность. Так сказать, электротехник в конце концов пропитался электричеством, с которым постоянно имел дело, и уж не только он извлекает искру от проволоки, но и из него самого можно извлечь искру. «Бог», «природа», «я» (его лермонтовское) склублились в ком, и уж где вы этот ком ни троньте — получите и Бога, и природу вслед за «я», или вслед за Богом является его «я» среди ландышей полевых («Когда волнуется желтеющая нива»), около звезды, на сгибе радуги (многие места в «Демоне»).

То, что у всякого поэта показалось бы неестественным, преувеличенным или смешной претенциозностью, напр., это братанье со звездами:

Когда бегущая комета
Улыбкой ласковой привета
Любила поменяться с ним —

у Лермонтова не имеет неестественности, и это составляет самую удивительную его особенность. Кто бы ни говорил так, мы отбросили бы его с презрением. «Бери звезды у начальства, но не трогай небесных». Между тем Лермонтов не только трогает небесные звезды, но имеет очевидное право это сделать, и мы у него, только у него одного, не осмеливаемся оспорить этого права. Тут уж начинается наша какая-то слабость перед ним, его очевидно особенная и исключительная, таинственная сила. Маленький «бог», бог с маленькой буквы, «бесенок», «демон», — определения эти шепчет язык «как он смеет!» Но он все смеет:

...с звезды восточной
Сорву венец я золотой;
Возьму с цветов росы полночной;
Его усыплю той росой...
Лучом румяного заката
Твой стан, как лентой, обовью.

Язык его тверд, отчеканен; просто он перебирает свои богатства, он ничего не похищает, он не Пугачев, пробирающийся к царству, а подлинный порфиродный юноша, которому осталось немного лет до коронования. Звездное и царственное — этого нельзя отнять у Лермонтова; подлинно стихийное, «лешее начало» — этого нельзя у него оспорить. Тут он знал больше нас, тут он владел большим, чем мы, и это есть просто факт его биографии и личности.

1901 г.

ГОГОЛЬ

Есть стиль языка. Но есть еще стиль души человеческой и, соответственно этому, стиль целостного творчества, исходящего из этой души. Что такое стиль? Это план или дух, объемлющий все подробности и подчиняющий их себе. Слово «стиль» взято из архитектуры и перенесено на словесные произведения. Стиль готический, романский, греческий, славянский, византийский обозначают дух эпохи, характер племени и века, как-то связанный и понятно выражающийся в линиях зданий, храмов, дворцов. Стиль автора есть особаяковка языка или характер избираемых им для воплощения сюжетов, наконец — способ обработки этих сюжетов, связанный с духом автора и вполне выражающий этот дух. Известно, что каждый сильный автор имеет свой стиль; и только имеющий свой стиль автор образует школу, вызывая подражателей. Чем оригинальнее, поразительнее и новее стиль, чем, наконец, он прекраснее, тем большее могущество вносит с собою писатель в литературу.

За XIX век русская литература пережила три стиля: карамзинский, пушкинский и гоголевский. Кажется, не нужно объяснять, каковы они. Достаточно спросить читателя, правильно ли мы угадали дело. Стиль Карамзина равно владеет формой и содержанием, отражаясь на ковке фразы и выборе предметов повествования, стихотворного пения и изучения. Гениальный создатель «Истории государства Российского» не был или пренебрегал быть творцом-фантастом, довольствуясь не сотворением идеалов, а идеальным освещением действительности. Мало кто так доверчиво и благородно любил действительность, как он. Это отразилось на его слогe. То величественный, как в «Истории», то оживленный, как в «Письмах русского путешествен-

ника», он везде благоразумен, избегает излишнего, не бурлит чувствами, и его творения похожи на прекрасную римскую тогу, с легким греческим оттенком, которую добрый скиф накидывает на плечи варваров и варварства. Россия с любовью посмотрелась в зеркало, которое он ей подставил; и хотя немного обманулась, увидя красивое свое отражение в стекле, но обманулась самым благородным образом, даже самым полезным, все время оправляясь, улучшаясь по показаниям немного неправдивого зеркала, которое и льстило, и манило, и давало силы и бодрость к улучшениям. Язык и все творения Карамзина прекрасно-однообразны. Он все восходил к более серьезному, к более серьезным темам. Но он никогда не менялся сам. Лоб его, чело его царственно господствовали над остальными силами души, благоразумно правя ими, как патриций вольноотпущенными и клиентами. Это был барин-помещик-вельможа екатерининского духа, но с царством в умственной сфере. Все захотели быть, все побежали стать «крепостными» этого великолепного экземпляра русской породы, и лет на двадцать образовался в литературе, письменности, печати, даже в нравах гостиных, «карамзинский стиль».

Пушкин всегда любил и не мог не любить Карамзина. Всякий благородный русский должен любить Карамзина. Но Пушкин был более мудр, чем он. Он кое-что убрал из римских черт русской тоги, он пошевелил под нею плечами скифа; он вообще догадался, что мы — скифы. Но, гениальное сердце, он в этом скифе открыл сокровища, которых, пожалуй, не было в Капитолии. Сущность Пушкина выражается в совершенной естественности в нем русского, возвеличившегося до величайшей, до глубочайшей и высочайшей общечеловечности. От поэм и романов до мельчайших смехотворных шуток, от таких, по-видимому, иноземных сюжетов, как «сцены из рыцарских времен», и до стихотворений с не русскими именами, как, напр., «Играй, Адель, не знай печали», он везде является скифом, туземцем, но не самодовольным, а который мудрым оком и внимательным сердцем озирает панораму мира и народов; и мудрейшие слова слагает о них в сердце своем. Если бы еще Пушкин видел мир, путешествовал, что бы мы от него имели! Карамзин украшал русского. Пушкин показал красоту его. Он разбил зеркало. Он велел дурнушке оставаться дурнушкою; но взамен внешней красоты, которой ей недостает, он речами своими и манерой обращенья вызвал всю душу ее наружу, так сказать, потащил душу на лицо: и дурнушка стала бесконечно милым и дорогим для русского сердца существом. Только с Пушкиным начинается русский настоящий патрио-

тизм, как уважение русского к душе своей, как сознание русского о душе своей. Пушкин открыл русскую душу — вот его заслуга.

Подвиг Пушкина был до такой степени труден и он в такой мере зависел от гармонии души его, что собственно в «школе» его мы имеем одно бессилие и внешность. «Петь» природу, «как она есть», вовсе не значит быть хотя бы мелкою гранью алмаза-Пушкина. Все это не то. Не будет доставать внутреннего. Самые страдания Пушкина (биографические) и счастье слились в какую-то гармонию. Вообще в Пушкине было много, так сказать, исторической «удачи». Пушкин просто «удался» матушке-истории; как и образование чудного алмаза ведь всего только «дается» пластам земли, а не выделяется их преднамеренными усилиями. Ни объяснить алмаза и Пушкина, ни дать теорию их — невозможно. Можно ими обоими только пользоваться. Пушкин никогда не повторялся, и, напр., Языков, Дельвиг, Боратынский — составляют лишь слабое выражение его школы. Скорее Пушкин отражается или имеет себе «школу» в огромных частях (но не в целом) творчества позднейших великих наших прозаиков; в Тургеневе он более живет, чем в Языкове; огромные полосы в сотворении «Войны и мира» имеют в себе пушкинскую ткань. Хотя и Тургенев, и Толстой, уже по силе и самостоятельности своей, сами суть школа, суть солнца-человеки, а не спутники-планеты другого солнца.

Гоголь — какой-то кудесник. Он создал третий стиль. Этот стиль называли «натуральным». Но никто, и Пушкин не создавал таких чудодейственных фантазий, как Гоголь. «Вий» и «Страшная месть» суть единственные в русской литературе, по фантастичности вымысла, повести, и притом такие, которым автор сообщил живучесть, смысл, какое-то странное доверие читателя и свое. Я хочу сказать — в них чуешь какую-то истину, хотя их фабула переступает границы всякой возможности. Разве меньше, так сказать, фантазии мысли, фантазии мышления, узких и странных его коридорчиков, в «Невском проспекте», в «Риме»? Наконец, что за странность рассказывается нам в «Носе»? Но при этом действительно, рядом с этим могуществом и с этим призванием к фантастическому, Гоголь имел равное могущество и равное призвание и к натуральному, натуралистическому. Иногда кажется, что он носил в субъекте своем мир, совершенно подобный внешнему, и уже последний *знал* раньше, чем на него начинал глядеть! Как мало, в сущности, он видел Россию. В Москве был остановками, в Петербурге жил не долго, по «губерниям» только проехался, но поставил зеркало, перед которым канула вся Россия. И сколько он мелочей в ней заме-

тил, духовных подробностей, но ценных, но важных, и на которые до него никому не приходило в голову обратить внимание. Наконец, как он уловил «стиль по преимуществу немощей ее». «Знаете, на таможене: обрадовался — вот отечество. Но первая фраза, какую я услышал на русском языке, было слово одного таможенного чиновника другому: Чин чина почитай. Право». И все. И все это слышали, или подобное; слышали и забывали. Но Гоголь пригвоздил, «распял на кресте» этот «стиль» России. И Россия должна быть бесконечно благодарна ему, что силою чрезвычайного дарования своего он убил этот гнусный стиль. При Карамзине мы мечтали. Пушкин дал нам утешение. Но Гоголь дал нам неутешное зрелище себя, и заплакал, и зарыдал о нем. И жгучие слезы прошли по сердцу России. И она, может быть, не стала лучше. Но тот конкретный образ, какой он ненавидел в ней, она сбросила, и очень быстро. Реформ Александра II, в их самоуверенности и энергии, нельзя себе представить без предварительного Гоголя. После Гоголя стало не страшно ломать, стало не жалко ломать. Таким образом, творец «Мертвых душ» и «Ревизора» был величайшим у нас, вне сравнения с ним кого-нибудь, политическим писателем. Царь-реформатор пришел тем вторым и подлинным «реvisorом», о котором только упомянул, не выведя его, Гоголь. Да уж и не хотел ли сатирик сказать комедией современникам: «Вы все только Хлестаковы, предварительные и не настоящие; шуму от вас много, много от вас страху, а дела нет: но, подождите, будет настоящий ревизор». Кто знает, не заключалась ли тут негласная сатира на все 25-летие, от декабристов до Севастополя. Не забудем, что Гоголь чрезвычайно любил абстракции, обобщения, панорамы. Что все его творения, в особенности деловые, сатирические, в сущности, есть схемы.

Гоголь — пример великого человека. Выложите вы его из русской действительности, жизни, духовного развития: право, потерять всю Белоруссию не страшнее станет. Огромная зияющая пропасть останется на месте, где стоит краткое «Гоголь». Сколько дел, лиц исторических, сколько течений общественных и духовных явлений, если вырвать из них «Гоголя» и «гоголевское», получит сейчас другое течение, другую формировку, вовсе другое значение. Гоголь — огромный край русского бытия. Но с чем же он пришел к нам, чтобы столько совершить? Только с душою своею, странною, необыкновенною. Ни средств, ни положения, ни, как говорится, «связей». Вот уж Агамемнон без армии, взявший Троию; вот хитроумно устроенный деревянный конь Улисса, который зажег пожар и убийства в старом городе Приама, куда его ввезли. Так Гоголь, маленький, неза-

метный чиновничек «департамента подлостей и вздоров» («Шинель»), сжег николаевскую Русь. Не обращено, кажется, внимания, что в своих Костанжогло и Муразовых он предсказал Губониных, Кокоревых, Кауфманов, Барановых. Бенардаки даже и по фамилии похоже на Костанжогло. Из самой рисовки этих типов, типов Александровской эпохи, так чудодейственно угаданных, видно, что «Илион» императора Николая он в самом деле обрек в уме своем «на сожжение» и начинал «Ревизором» и «Мертвыми душами» пожар едва ли только «художнически-бессознательно». Гоголь — великий творец-фантаст; но припомним же, сколько в нем было преднамеренности, обдумчивости, сколько было дальновидной хитрости в его хилом и странном телце.

Биографы гадают и по всему вероятно никогда не разгадают Гоголя. А есть что разгадывать. Все знают о его скрытности и притворстве; но нельзя же отрицать, что в творчестве своем он был безмерно искренен, горел, пылал в нем и не притворным смехом, и не притворною любовью. И все-таки общее резюме о нем биографов: «Гоголь молчалив и загадочен, как могила; ничего в нем не понимаем». При бесспорной искренности его творений, к которым мы так мало имеем окончательного «ключа», остается думать, что Гоголь принадлежал к тем редким мягущимся и странным натурам, которые и сами от себя не имеют «ключа». «Посланец божий» — вот ему и всем таким имя. Гоголь не имел очень большого самообладания. Посмотрите: он впечатлителен, он отдается влияниям, от Пушкина до священника Матвея Ржевского, — он, столь могущественный человек. Он слаб, он ищет опоры, этот насмешник и скрытый человек. Что же это значит? Он вечно борется с собою: он вечно кого-то поборает в себе. «В нем был легион бесов, — как сказано о ком-то в Евангелии: — и они мучат и кричат в нем». И Гоголь был похож на такого «бесноватого», или, пожалуй, на «ящик Пандоры» с запертými в нем самыми противоположными ветрами. Он вечно боится что-то «выпустить» из себя, таится, хитрит, не говорит о себе всего другим; и вместе в этих других явно ищет опоры против кого же, если не против себя. Он даже о своих творениях объяснял, что писание их составляло ступени его внутренней с собою борьбы, «улучшенный» себя. Он вечно кается — непонятно в чем. Такой умеренный и благоразумный с виду человек. Мы всё склонны объяснять болезнью. «Болезнь» да «болезнь» — какое легкое объяснение: это *deus ex machina** не умных биографов. Ибо по-

* Бог из машины (*лат.*) — разрешение безвыходного положения.

чему, читатель, у нас с вами не быть такой гениальной болезни, с такими же причудами? Но у нас есть только ревматизмы и тому подобные рациональные пустяки. Гоголь был, конечно, болен нравственными заболеваниями от чрезмерности душевных глубин своих. Его трясло, как деревню на вулкане. Но в чем секрет его вулкана, из которого сверкали по ночному небу зигзаги молний, текла лава, сыпался песок и лилась грязь: этого, не заглянув туда, нельзя сказать. А заглянуть — тоже нельзя. Только и можно сказать, что вулкан был огромный, могучий, планетный; что это «дух земли» заговорил в нем. Но больше этих поверхностных слов что же мы можем сказать о нем. И Гоголь вечно, всю свою биографию, говорил: «Мне трудно». А что такое «трудно» и в чем трудно — не умел и, вероятнее всего, не в силах был объяснить. «Темно во мне», «и сам в себе дна не вижу», «вам около меня грозно, а мне с собою страшно», — право, это как будто рвется из его биографии. Но ничего более ясного.

И вот этот «труждающийся» человек то давал нам «Нос», «Коляску», то выкладывал «Мертвые души» и «Ревизора», и в самые еще юные годы рассказал о «Страшной мести». Какая натуральная там фигура пана Данилы: «Отчего же, отец, ты галушки отказываешься есть. Это христианское кушанье, и его все святые угодники Божии кушали». Но поморщился панотец и, отодвинув казацкое кушанье, молча потянул из фляжки какой-то черной водицы. Вот иногда кажется, что у Гоголя было немножко такой «черной водицы», где был и талисман его силы, и источник его вздохов. «Уж проплясал на славу казачка, уж рассмешил всех: когда же есаул поднял иконы, вдруг все закричали, попятились, сторонясь от танцующего казака: нос у него удлинился и загнулся в сторону, запрыгали зеленые глаза, из-за спины поднялся горб, и стал казак — старик». Как это похоже на биографию Гоголя, с смехотворностью его «сорочинской ярмарки» и разных сказочных диковинок, из-за которых вдруг полезли всем неожиданные глаголы, вплоть до непостижимой «Авторской исповеди».

И попятились все назад, и закричали, хватаясь за руки друга друга: «Это колдун».

Во всяком случае «чародей», даже с преобладающими добрыми намерениями, так сказать, «колдун с филантропическим образом мыслей», но все-таки с этим именно древним ведовским в себе началом, был в натуре Гоголя; от этого «Вия» в нем, «огромного, во всю стену обросшего землей, с железными веками на очах» — шла его таинственная и рациональная сила,

его ведение настоящего и в значительной степени будущего. Только такой «ведун» мог написать «Невский проспект», «Портрет», «Коляску» и около нее «Рим»; задумать и Собакевича и Улиньку; смешаться и в слезах, и в смехе, удивляя друзей и оставляя недоумение в потомстве.

1902 г.

ПОЕЗДКА В ЯСНУЮ ПОЛЯНУ

Быть русским и не увидеть гр. Л. Н. Толстого — это казалось мне всегда так же печальным, как быть европейцем и не увидеть Альп. Но не было случая, посредствующего знакомства и проч. Между тем годы уходили и, не увидев Толстого скоро, я мог и вовсе не увидеть его. Тогда я написал ему о своем желании и, получив приглашение, поехал в Ясную Поляну. Это было зимою, года три тому назад. Больше я его никогда не видал, и передам впечатление почти только физическое. Хотя оно и не ограничилось физикою.

Дом в Ясной Поляне сделал на меня впечатление пустынное. Такое впечатление делает на меня всякий дом, где нет детей. Должны быть свои, или дети детей, — внуки. И как большой барский дом не шумел детскими криками, вознею и капризами, то мне казалось в нем скучновато. «Графов» еще не было, когда я приехал часу в 11-м или 10-м утра, а в столовой сидели один или два господина и, помнится — женщины. Но особенного они ничего собою не представляли. Я только был счастлив, что сижу в Ясной Поляне, т. е. идеей, что вот приехал, «достиг» и скоро увижу.

Да, я думаю, по близости к Л-у Н-у Толстому и все должно показаться скучным, кроме него. Приехав в Альпы, станешь ли рассматривать холмы и пригорки?

Вошла графиня Софья Андреевна, и я сейчас же ее определил, как «бурю». Платье шумит. Голос твердый, уверенный. Красива, несмотря на годы. Она их сказала на мое удивление — «58 лет и человек 14 (приблизительно) детей» (с умершими). Это хорошо и классично. Мне казалось, что ей все хочет повино-

ваться или не может не повиноваться; она же и не может и не хочет ничему повиноваться. Явно — умна, но несколько практически-умом. «Жена великого писателя с головы до ног», как Лир был «королем с головы до ног». Но и это неинтересно, когда ожидаешь Толстого.

И вот он вышел. Но почему он такой маленький, с меня или немного больше меня ростом? Я ожидал большого роста — по портретам и оттого, что он — «Альпы». Кажется ли вам Авраам или Моисей «небольшого роста»? Микелю Анджело Моисей представлялся колоссом, как он изваял его; а может быть, в сущности, Моисей был плюгавым. Я замечал, что душа и тело, величие души и тела, тенденции души и тела и, наконец, красота души и тела находятся иногда во взаимном отрицании, во взаимном попираии. Но это — в идее. А когда увидишь — удивляешься.

И я внутренне удивлялся, когда ко мне тихо-тихо и, казалось, даже застенчиво подходил согбенный годами седой старичок. Автор «Войны и мира»! Я не верил глазам, т. е. счастью, что вижу. Старичок все шел, подняв на меня глаза, и я тоже к нему подходил. Поздоровались. О чем-то заговорили, незначащем, житейском. Но мой глаз и мой ум все как-то вертелись не около слов, которые ведь бывают всякие, а около фигуры, которая явно — единственная.

«Вот сегодня посмотрю и больше никогда не увижу». И хотелось сказать времени: «остановись», годам: «остановитесь!.. Ведь он скоро умрет, а я останусь жить и больше никогда его не увижу».

Было печально и досадно, отчего я раньше не постарался его увидеть.

Мне он показался безусловно прекрасен. «Именно так, как ему должно быть». Только не здесь, не в барской усадьбе. Как все это не идет к нему, отлепилось от него! Сидеть бы ему на завалинке около села или жить у ворот монастыря, — в хибарочке «старцем»; молиться, думать, говорить, не с «гостями», а с прохожими, со странниками, — и самому быть странником. В самом деле, идея «Альп» была в нем выражена в том отношении, что в каком бы доме, казалось, он ни жил, «дом» был бы мал для него, несоизмерим с ним; а соизмеримым с ним, «идушим к нему», было поле, лес, природа, село, народ, т. е. страна и история. Он явно вышел, перерос условия видного индивидуального существования, положения в обществе, «профессии», художества и литературы. «Исповедь» его, по которой он *изо всего вышел*, — была в высшей степени отражена в его фигуре, которая явно тоже *изо всего вышла*, осталась

одна и единственна, одинока и грустна, но велика и своеобразна.

Я еще раз посмотрел на пустые, далекие от великолепия комнаты. «Здесь не стала бы танцевать Анна Каренина». И мне представилось, что если бы старец разрушил эту квартиру, этот дом, да и все вокруг, — разрушил без борьбы, собою («Мне ничего не нужно»), то *душа* вещей, та незримая душа, какая есть во всякой вещи, умерла бы в обстановке Толстого, почувствовав, что на нее не любителю хозяин. Так умирает верная собака, когда она не нужна хозяину. Все вещи стояли некрасиво; все вещи были некрасивы; чувствовалось, что им не хочется жить. «Скоро вынесут», — как бы говорила каждая про себя.

Человек — центр вещей. Здесь, «в центре», стоял человек, которому вещи были не нужны. И они рассыпались, потеряли гармонию, связанность, красоту, смысл. От этого незримого отталкивания рассыпался и «дом», хотя физически еще и продолжал удерживаться.

Л. Н. был одет в старый халат-пальто-шляфрок, подвязанный ремнем. Одежда на Толстом страшно важна: она одна гармонирует с ним, и надо бы запомнить, знать и описать, какие одежды он обычно носил. Это важнее, чем Ясная Поляна, от которой он давно отстал. В одежде было то же простое и тихое, что было во всем в нем. Тишь, которая сильнее бури; нравственная тишина, которая неодолима раздражения и ярости. Разве не тишиною (кротостью) Иисус победил мир, и полетели в пропасть Парфеноны и Капитолии, сброшенные таинственно *тишиною*?

Вот эта мировая тишина, особенная, многозначительная, религиозная, была и в Толстом. Не она ли есть то «неделание», которое представляется таким незначительным в его проповеди, т. е. незначительным в формуле; тогда как в *существо* как *жизнь*, как *метод жизни*, она, конечно, ворочает горами. А мы, читая его бледные слова и не понимая, в чем дело, смеемся и отрицаем. И я смеялся и отрицал (в литературе); а когда *увидел*, то сказал: «Хорошо». Хорошо таким быть, хорошо бы *такому всему* быть. Зачем грозы, зачем бури, шум? Это ненужно и мелко.

Тишина — в ней бездонная глубь...

Я приехал не один. В комнате была и Софья Андреевна. И заговорили, «как в обществе», ненужные, тяжелые, скучные речи. Это уже не были «Альпы», это были переулочки и пригорки в Женеве, близ Монблана.

Тут нечего было помнить, и я ничего не запомнил.

И обедал он как бы один, и особо. Подавал лакей в перчатках, нам — мясное и яичницу, ему — кисель или кашу, что-то нетвердое и, конечно, безубойное. Сидел он за одним столом и смешиваясь и не смешиваясь с остальными. Через это отделение в пищу, вообще, он страшно отделился, удалился от людей, как наши сектанты, не едящие с «никонианами». Пища вообще есть большое разделение или соединение людей, и разницу категорий людей можно узнать по охоте или неохоте, с которою они едят «вместе» или «одни». Евреи не едят тrefного, татары не едят свинины. Зато они «жрут» конину, которой мы не станем есть. «Новая религия» до известной степени начинается с «новой еды»; ведь и христианство пошло не только от Голгофы, но и от постов; или, точнее, Голгофа не ранее начала побеждать мир, как когда она соединилась с постом, нашла секрет действия на души людей в грибе, каше и супе. Теперь цивилизация всеядно-неопределенная, и «стиль» эпохи потерян.

* * *

Кроме «Альп», был у меня и особенный мотив увидеть Толстого. Мне хотелось попросить его об одной вещи, которой я был особенно предан. Мне казалось, что это может выполнить только человек с всемирным авторитетом, коего *морально* обвинить ни у кого не подымется язык и совесть. Дело шло об убийстве внебрачных детей, — чему посвящены страницы «Воскресения», о чем явно глубоко и со страхом думал Толстой, тревожился об этом глубокою сердечною тревогою. И мне хотелось полу-спросить его, полу-упрекнуть его и полу-попросить в том смысле: почему он, *всемирно моральный авторитет*, не отдает своих дочерей замуж «так», без венчания, чему был бы подан пример во всей Европе, и великий его авторитет санкционировал бы эту *абсолютно-личную* и *абсолютно-частную* форму брака, которая войдет в права общества, войдя в дух общества, она могла бы санкционировать вневенчанное рождение, а следовательно, и избавить вообще всяких детей от убийства. Для него это было явно последовательно, ибо внешние авторитеты он отверг; для дочерей его это явно было бы удобно: ибо необеспеченность и бедность одни гонят девушек в «законное супружество», плодящее Кит-Китычей, они же обеспечены, всегда прокормятся и прокормят детей. Мне это представлялось около него, старца, как цветущий сад размножения — счастливый и благородный, идиллический и философский.

Сколько проблем было бы разрешено! И неужели этому препятствует то, что он «граф», «дворянин», «великий писатель»?..

Какие пустяки! Какой вздор перед Катюшей Масловой и судьбой ее ребенка, который «загорвел» и умер!

Так я думал. Мне хотелось и просить, и спросить. Перед вечерним чаем, когда он (слабый и полубольной) позвал меня в кабинет к себе, я, однако, не выговорил своей темы. Но речь зашла (может быть, я завел, стараясь приблизиться к теме)— о поле, о половой чистоте и нечистоте, о страстях и борьбе с ними, о супружестве. Было ли напряжение моей мысли велико в направлении мучившего меня недоумения, и это передалось ему, или от какой другой причины, но он мне, иллюстрируя свои объяснения, сказал, прямо ответив на мой вопрос.

Были и другие разговоры, более существенные и сложные. Все было хорошо. Все было высокопоучительно; я почувствовал, до чего разбогател бы, углубился и вырос, проведя в таких разговорах неделю с ним! Так много нового было и в движениях его мысли, и так было ново, поучительно и любопытно наблюдать его. Учился и из слов и из него. Он не давал впечатления морали, учительства, хотя, конечно, всякий честный человек есть учитель, — но это уже последующее и само собою. Я видел ересь собою горящего человека, с внутренним шумом (тут уж «тишины» не было, но мы были уединенны), бесконечным интересующегося, бесконечным владевшего, о веренице бесконечных вопросов думавшего. Так это все было любопытно; и я учился, наблюдал и учился.

Старик был чуден. Палкой, на которую он опирался, выходя из спальни, он все время вертел, как франт, кругообразно, от уторопленности, от волнения, от преданности темам разговора. Арабский бегун бежал в пустыне, а за спиной его было 76 лет. Это было хорошо видеть. И когда он так хорошо говорил о русских, с таким бесконечным пониманием и чувством говорил о русском народе, думалось:

«Какой ты хороший, русский! Какой ты хороший, русский народ!»

Уверен (по словам его), что он *эту память* о себе, *эти слова* будущего о себе предпочел бы «вероучителю», «праведнику», «святому», как равно второму Будде, Соломону, Шопенгауэру (любимые имена в период «Исповеди»), за которые едва ли теперь цепляется. И вообще мне показалось, что я вижу точно то, чего и ожидал, — феномен природы, — «Альпы». *Нагура* Толстого — вот главное, «народ русский», в нем — вот существенное. Все остальное только «приложится», все другое — кружево около главного.

Натура эта, честная, благородная, — повела его и к проповеди, или, точнее, — к проповедям, которые были разны.

Натура из романиста сделала проповедника. «Это нужнее, а я хочу быть нужным народу».

Все у него из «натуры»...

А натура — от Бога... Из «отца с матушкой», из глубоких недр земли, из темных глубин истории. Ведь из этих глубин вышли и Шопенгауэр, и Будда, и Соломон. Только Иисус не из этих глубин. И, не сливаясь с Шопенгауэром, Буддой и Соломоном, в Ясной Поляне прожил и живет четвертый около них, совсем другой, чем они, совсем на них непохожий, наш родной, мучительно-кровный; и он нам милее еврейских, немецких и индусских мудрецов.

Так я увидел «Монблан» нашей жизни. Был 10-й или 9-й час ночи. Подали лошадей, зазвенел колокольчик у крыльца.

Прощаясь, я поцеловал его и поцеловал его руку, — ту благородную руку, которая написала «Войну и мир» и «Анну Каренину», и столько, столько еще, что, читая, мы были так счастливы и говорили про себя:

«Как хорошо, что я живу, когда живет он, не раньше, не до него: и вот теперь так счастлив за этими страницами художества, поэзии и мудрости».

*Петербург,
1908. Апрель.*

ГОГОЛЕВСКИЕ ДНИ В МОСКВЕ

Всякое удовольствие стоит труда, и иногда большого: за эти три дня, 26, 27 и 28 апреля, когда Москва сыпала на головы своих гостей всяческие умственные, литературные, музыкальные и художественные удовольствия, я до того устал, как не уставал за много лет, и даже кажется — никогда. Боль в спине, изломанные ноги, голова, точно налитая свинцом и, ко всему, раздражение на вся и всех, на удовольствия и доставивших их — вот осязаемый результат праздников, с которыми на четвертый день я беспомощно лежал на кушетке, как умирающий цирковой боец. Недаром я так смутился, когда мне было предложено поехать на эти дни в Москву «возложить венок» и проч... Я попал в пасть чудовища, именуемого «удовольствием», которое съело скромного журналиста почти до сапогов.

В Москве — снег, дождь и всякая гадость валится с неба. «Неужели не прояснеет к завтраму? — думал, конечно, не один я. — Как же открывать памятник? Как соберутся толпы детей из школ к его подножию? Нельзя церемонию окончить в один час, а несколько часов под дождем и снегом, в некоторые минуты с непокрытою головою, — это пытка».

Но Бог сжалился: настало 26 апреля, и утро прояснилось. С неба ничего не падает; земля сырая, частью мокрая, но без луж. Открытие памятника вполне возможно и, может быть, даже будет приятно. Во всяком случае неожиданно хорошая погода после дурной разлила на все лица заметное удовольствие, и день этот, открытие памятника, и вся связанные с открытием «чтения», встречались оживленно и почти весело.

Второй большой памятник великому писателю, — второму

после Пушкина. Теперь очередь за Грибоедовым: следующий памятник будет ему; или — коллективный памятник славянофильству и славянофилам, этому великому московскому явлению, великому московскому умственному движению.

Заупокойная литургия в храме Спасителя протекала торжественно и красиво, как все архиерейские службы. Был полный порядок: народ не теснился, никто никого не сбил с ног. Но вот 12 часов — и все поспешили к памятнику.

«Эстрады не будут заняты: осмотр накануне привел к убеждению в их непрочности, и не велено пускать туда зрителей, во избежание не наверной, но возможной катастрофы». Это, конечно, хорошо, что накануне осмотрели, но если бы осмотрели за неделю, то, наверное, указали бы и приказали укрепить эстрады, и тогда бы не было в день открытия растерявшейся толпы, которая, не будучи пущена на заготовленные здесь места и уже придя к памятнику, естественно кинулась на ту тесную площадку около самого памятника, которую должны бы были занимать только лица, делегации и группы их, которые имели непосредственное отношение к открытию памятника, связь с открытием. Множество венков, так бережно принесенных сюда, почти мялись или были под угрозой вот-вот измяться. Несколько генералов и печальных профессоров бродили у подножия, вплотную к памятнику, беспомощно разводя руками, когда их просили о введении какого-нибудь порядка, о сбережении венков. И венконосцы почти все вступали в брань и толкотню с толпой, которая напирала и напирала.

Но вот полотно сдернулось... Не все знали или помнили проект памятника, и многие смотрели на него и оценивали его свежим впечатлением первого взгляда. Так смотрел на него и я...

Памятник хорош и не хорош; и очень хорош и очень не хорош...

Председатель Общества любителей российской словесности, А. Е. Грузинский, произнес речь перед памятником, — довольно длинную, но которой никто не слышал (обыкновенный голос на площади)... Затем вереницей пошли «чествования» и «торжества»... *Зачем они? кому они?..* «Нам» в сущности, — а «к Гоголю» их отношение слабо или ничтожно... «Нам», разумеется, надо периодически оживляться, и для этого в повод избирается манифест, праздник, юбилей «события» или «героя», и — вот такое «открытие памятника»... Как было бы ярко и красиво, если бы готовый памятник обнажался от закутывающего полотна в ночь, в тиши, в безмолвии: и назавтра утром все *нашли бы* его, увидели бы что — он *есть*... Без шума, без речей и

вообще без запыленных листьев старого веника, которым вымели пол. «Открытие памятника» правда — точно «метут пол»: все вещи сдвинуты с места и все ходят осовелые, не находя себе приюта.

Слуги стали гасить огни, — но мы упросили не гасить одной залы. Это было где-то, *где* — не помню, но только зал было множество, и все были убраны «бюстиками Гоголя», повторяющими фигуру его на памятнике... Они наскучили, как «орел» на пятаке... Сидели, пили, кто платил — не знаю, были беллетрист Б. З. и его жена, еще кто-то, и еще кто-то, и наконец маленького роста, пожилого возраста, мягкий в фигуре преподаватель гимназии, который повторял часто:

— Я, батюшка, — *шестидесятник*...

Кажется, прибавлял еще:

— И на *этом* остаюсь...

Всяком явлении «хорошо в самом себе». За много лет я пережил впервые *свежее впечатление* людей тех лет, или учеников тех лет, — и не могу передать, как оно было мило, хорошо, приятно. Несносная сторона «гоголевских дней в Москве» заключалась в том, что все несколько ломались, все говорили «не очень *себе* нужное», — и этот учитель с упорною жизнью в *себе* и для *себя*, и с благородной привязанностью к годам, которые в сущности и прошли и не могли его поблагодарить, не могли даже его услышать — был необыкновенно красив. Он чувствовал себя окруженным — тут за вином, тут за столом — «новейшей русской литературой», отчасти декадентством, отчасти мистицизмом, отчасти черт знает чем, и, наливая вино, без вражды и без сочувствия, без гнева и дружбы, очерчивал как бы магический круг вокруг себя, в котором чувствовал себя совершенно хорошо, удобно и счастливо, как бы история никуда далее не шла, а главное — он сам никуда не пойдет вместе с этой историей.

Мне что-то почудилось в нем *единолично*, может быть, торжествовавшее «открытие памятника великому реалисту Гоголю», он мне представлялся *единолично* принесшим *настоящий венок* Гоголю, — как его истолковывали 60-ые годы, Чернышевский и «Современник», истолковывали вообще «все». Может быть, это истолкование и узко, может быть, и даже наверно — оно ложно. Не в этом дело. Наши иллюзии творят жизнь не менее, чем самые заправские факты. Пусть в *субъекте* своем Гоголь не был ни реалистом, ни натуралистом: творило

«дело» не то, чем он был в «субъекте», но творило дело то, чем он казался в «объекте», — казался зрителям, современникам, читателям. Жизнь и историю сотворило, и — огромную жизнь сотворило, именно *принятие его за натуралиста и реалиста*, именно то, что и «Ревизора» и «Мертвые души» все сочли (пусть ложно) за копию с действительности, подписав под творениями — «с *подлинным* верно».

Настаивание на этом — детское, нелепое, не умное — принадлежит последнему фазису деятельности Белинского и особенно 60-м годам. Оно-то, таковое понимание, пусть равное полному непониманию, однако и произвело весь «бурелом» в истории, оно и сообщило Гоголю огромную силу ломающего лома, — поистине значение того архимедовского рычага, которым великий механик обещал бы перевернуть землю, «если бы нашел *точку опоры*». Гоголь в «Мертвых душах» и мелочнее в «Ревизоре» и дал вот для русской ломающей силы такую «*точку опоры*». Он показал всю Россию бездоблестной, — небытием. Показал с такой невероятной силой и яркостью, что зрители ослепли и на минуту перестали видеть действительность, перестали что-нибудь *знать*, перестали понимать, что ничего подобного «Мертвым душам», конечно, нет в живой жизни и в *полноте* живой жизни... Один вой, жалобный, убитый, пронесся по стране: «*Ничего нет!..*» «*Пусто!*»... «*Пуст Божий мир!*»... И явился взрыв такой деятельности, такого подъема, какого за десятилетие нельзя было ожидать в довольно спокойной и эпической России...

Вот что значат иллюзии...

Мы пили. Лампы не гасли. Наконец с укоряющими лицами слуги стали гасить их «*помаленьку*». Решительно не хотелось мне расставаться с учительком, — ни с розами, которые кто-то поставил на столе и которые мы рвали и осыпали ими друг друга. Все было весело и по-братски. Первый раз в жизни я испытал действие вина, которое не переношу, т. е. испытал, что в вине есть «добро»...

Из речей была очень хороша речь харьковского проф. Багаля; очень умна, смела и дерзка речь Брюсова; и «Господи, ты один знаешь, что это такое» — речь профессора в актовом зале Университета, который говорил с час... о службе Гоголя в Московском университете в должности преподавателя всеобщей истории... Исчислил все его «повышения по службе» и проч. и проч., — все это с самым серьезным видом.

«Знатные иностранцы», которых было позвано много,— говорили тоже хорошо. Между ними я увидел впервые Де-Вогюз, которому так много обязана русская литература в деле признания ее и усвоения ее западными литературами. Издавна говорилось ему в сердце «спасибо» и «спасибо»...

Вообще было много хорошего. Но ничего подобного тому, что произошло при открытии памятника Пушкину в Москве же, когда говорили Достоевский, Тургенев, Островский... Кто мог бы скрасить празднество — это Ключевский: но он вовсе не показался на открытии памятника, кажется, за недолго перед тем потеряв жену и угнетенный в душе... Это незаменимое «отсутствие» не было вознаграждено ни одним из сереньких «присутствий». Выслушать взгляд Ключевского на Гоголя — это было бы целое событие. Бог его не дал нам...

1909—1913 гг.

ОТЧЕГО НЕ УДАЛСЯ ПАМЯТНИК ГОГОЛЮ?

Об этом очень много говорят в Петербурге, — вероятно, говорят или в свое время подумала вся Москва; это, без сомнения, легло печальною мыслью по всей России. Памятника, по крайней мере в Москве, — второго Гоголю не будет: и то, что испорчено «на этом месте и в этот год», естественно, никогда не исправится. Это, конечно, безмерно печально. Все говорят это с каким-то осуждением Москве, — как будто памятник ставила не вся Россия. «Но Москва не умела подумать», «не умела выбрать». Мне кажется, тут больше виновата печать: она не умела своевременно критикою проекта заставить отложить его или переделать его.

Мне ужасно жаль художника Андреева: представляю его смущение! Он, вероятно, никак не ожидал такого впечатления от своей работы «в деле», — так как проект ведь всем нравился и имел причины понравиться! В самом Андрееве, как он работал над моделью, видно одушевление: ведь лицо Гоголя на памятнике — совсем не то, что на памятнике же лицо Пушкина! Там — только схема и, позволим выразиться грубо, только бронзовая «болванка» того, кого мы любим под именем «Александра Сергеевича»; но Гоголь — это чувствуется — был таким, как его представил г. Андреев. Ну, был — *в последний момент*, уже не творческий момент: однако все-таки же — *был!* Это — портрет *живого, натурального* человека, что очень много для памятника, который всегда являет схему или идею изображенного человека, по несчастному неумению русских. В памятнике Гоголя есть несомненно «что-то» необыкновенно ценное, — и редкое. Рассматриваемый

вблизи, он чрезвычайно нравится, *заинтересовывает*. А ведь, например, памятник Пушкину в Москве до того шаблонен, что на него невозможно долго смотреть: *скучно!* Этой ужасной скуки нет в памятнике Гоголю; но печаль состоит в том, что в нем совершенно ничего не видно, едва вы отделились от него на некоторое расстояние. Сзади же он представляет положительное и бессмысленное безобразие.

Степень раздражения, высказываемого по адресу г. Андреева, так велика, что мне привелось раз услышать ревнивое к чести Гоголя и к чести Москвы замечание, что работу Андреева «нужно взорвать, уничтожить»; — «тогда по крайней мере когда-нибудь, кто-нибудь воздвигнет достойное и Гоголя и Москвы».

* * *

Это было сказано в горячем споре со мною, — горячем и упорном. Спорщик был молчаливый, умный человек. А я чувствовал какую-то тоску от всего, что он говорил, сознавая, что тут есть и какая-то осязаемая правда, — потому что что же за памятник, в котором ничего *не видно*, — и вместе какая-то неправда, но которую я не умел опровергнуть. Споривший сам не видал памятника и полагался на множество сообщений о нем, вторивших в одну ногу: «памятник не годится», «он поставлен не великому человеку, а какому-то, большому существу, до которого нам дела нет». Споривший передавал эти порицания своих корреспондентов.

— Кому «дела нет»? — переспросил я.

Он остановился в недоумении.

— Никому. Гоголь написал великие вещи, и за великие вещи ему поставили памятник. За *болезни* памятников не ставят.

— Знаете, — ответил я, — «*памятник Гоголю*», «Гоголь, *изваянный в бронзе*», — задача неразрешимая. Здесь существо увековечивания, существо бронзирования, существо памятникоделания, — простите чудовищное выражение, — встречает неодолимые преграды в лице того, кому монумент воздвигается. Черная плита, как на могиле Гоголя в Даниловом монастыре... да, это — *так*, это — *можно*, хорошо и «идет». Там — никаких изображений, ни — портрета его. И настоящий «памятник Гоголю в Москве» бы и останется единственно этот массивный, тяжелый, глухой и слепой гранит на его могиле; работа же Андреева — просто *ничего*. Это — неудачно решенная на доске задача ученика, которую, если хотите, можно стереть мокрой губкой. Но «не удалась» задача не оттого, что художник слаб,

что неумел или глуп, что он не был воодушевлен или старателен: вовсе нет! Но была *неверность* в самой задаче, в самом задании, о чем не подумали тридцать лет назад. Нельзя вообще задавать «изобразить Гоголя» или — «увековечить память о его творениях»...

— Отчего нельзя?

— Вы раньше упомянули, говоря об *идеалах* Гоголя, о его *молодых* повестях, и назвали особенно его «Тараса Бульбу». Но ведь не *за это же* поставили ему памятник. Все вами названное — только опыты, только «пробы пера». Кто же увековечивает начинания, а не конец? Это противоречит идее «памятника». «Памятник» ставится «всему» в человеке, ставится «целому» человека и творца. Это — непременно. Андреев так невольно и взял: взял — конец! Но тут идея памятника столкнулась с фактом в человеке: «конец» Гоголя есть сожжение 2-го тома «Мертвых душ», безумие и смерть. Андреев волею-неволею взялся за это, и его Гоголь с упреком, недоумением и негодованием смотрит в толпу у своего подножия, — готовый бросить в печь свои творения...

— Это — болезнь, *этого* конца не надо было изображать. Тут — *психиатрия*, до которой *литературе* нет дела...

— Но что же вы делаете и как поступите, если в факте колоссальной *литературной* значительности развивался все время другой *психиатрический* факт, — но не медицинско-психиатрический, а метафизико-психиатрический. От души «Ивана Ивановича» до души Платона — неизмеримая разница; и если медик, с заботой прописать лекарство, изучает пульс Ивана Ивановича, прописывает ему бром и холодные компрессы на голову, то все это забавно в отношении Платона, который, однако, в лучшем своем трактате, «Пире», высказал тезис, что «только люди, способные к безумию, и именно в пароксизмах безумия, приносят на землю глубокие откровения истины». Согласитесь, что бром очень мало помогает против такой философии. Гоголь кончил безумием, но гениальным и гениально, — как мог бы им кончить в другой обстановке и среди других людей Платон, — как *на границе* этого «безумия» прожил всю жизнь знаменитый Паскаль, коего «Pensées» не то же самое, а, однако, родственны с «Перепискою» Гоголя. Но оставим сравнения, которые всегда только приблизительны. Указывая на Паскаля — математика, физика, святого, философа, экзальтированного меланхолика, — я хочу только указать, до какой степени в самом деле не сходны души человеческие от «Ивана Ивановича» до некоторых исключительных натур, которые уже с детства, с 11-ти лет, кажутся странными своим

родителям и всем окружающим, кажутся болезненными, внушают тревогу; и доктора только оттого, что их не зовут, — не прописывают уже с детства им своего брома и холодных компрессов. Паскаль всю жизнь носил под одеждою что-то вроде вериг, усеянных маленькими гвоздиками, и когда чувствовал, что мысль его течет «не туда», куда надо было его суровой морали, — натягивал веревочку на теле, и гвоздики впивались в него. Эта тайная внутренняя инквизиция в таком математике, как Паскаль, «несоизмерима» со «здравым умом» гимназических учителей и практикующих медиков. Но они новых теорем не изобрели, а Паскаль изобрел. Я веду свою речь к тому, что измерения и емкость души человеческой очень мало известны не только обыкновенному наблюдателю, но даже и науке. И некоторые формы гениальности, или, вернее, «приступы» гениальности — сродни безумию, или вытекают из форм безумия, почти безумия: безумия не в логическом смысле, не в смысле умения *связывать мысли, сочетать понятия* и проч., а безумия в смысле *смятения* всех чувств, необыкновенного внутреннего волнения, «пожара» души, «революции» в душе. Заметьте, что с «помешанными» необыкновенно скучно; «помешательство» не интересно ни для кого, кроме медика. Помешательство — минус души, а не плюс души. Но с Гоголем никак не было неинтересно в миг сожжения им рукописи; Гоголь наводил скуку своим экстазом, своими уверениями, что он «счастлив» и «оставьте меня одного», именно только на медиков, и — потому, что они не могли прописать ему бром; но наверное можно сказать, что в этот миг на него бы взглянул огромным, расширенным глазом Пушкин, что ему мог бы сказать проникающее до глубины души слово Лермонтов; что с ним повел бы взаимно-понятную речь Паскаль. Итак, это безумие — особого рода, не медицинское, а — метафизическое, где менее безумствует мысль и более безумствует воля, сердце, совесть, «грех» в нас, «святость» в нас; где миры здешний и «тамошний» странно перепутываются, взаимодействуют, человеку открываются «небеса», и вообще он ощущает, видит и знает много вещей, весьма странных с точки зрения аптекарского магазина и департамента железнодорожных дел, но не очень уже странных для священника, для отшельника, для святого, для ясновидящего, для Платона, Паскаля и, может быть, для каких-нибудь мудрецов Индии или сектантов Ирана. В Гоголе с детства, с десяти лет, когда он был уже странным мальчиком в семье и школе, а я думаю — с самого рождения, т. е. уже врожденно, — жило, росло и развивалось это гениальное, особенное, исключительное безумие, которое перёд

концом всем овладело, разлилось «вовсю», но и ранее «конца» было в нем единственно растущим, деятельным, движущим началом. Разве в заключительной строчке «Ссора Ивана Ивановича с Иваном Никифоровичем»: «Скучно на этом свете, господа», — такой коротенькой, такой неожиданной, — уже не сказался весь дух и настроение «Мертвых душ», не глянули из-под веселого рассказца меланхолические глаза, тускло и странно уставленные на мир? Гоголь никогда не менялся, не перестраивался. Он был всегда таким, каким родился, — и только рос. Рос в странное уединение свое, в безумие свое, в тоску свою, — увы, слишком явную! И самую тоску он не мог ни рассеять, ни раскидать; едва ли даже умел постичь... «Нашла туча — и задавила. Как темно, — боже, как темно в сем мире!»... И — ничего больше, ничего — более понятного. Но я возвращаюсь к теме памятника... Как же вы хотите, чтобы такое «коронование» человека, — а памятник есть «коронование», — удалось, вышло удачным и даже просто осмысленным? Гоголю вообще невозможно поставить хорошего памятника. И не нужно. Ему лично вовсе не нужно, «не благопотребно», как говорят семинаристы; но и для России тоже не нужно. Смотрите, сколько у нас «божественных» изображений: а в Библии и у евреев — не было ни одного. Почему? Потому что у евреев священное было *не* изобразимо, не вырази́мо. Так от религии эта разница переходит и в другие области. Есть вещи, просящиеся под резец, так сказать, «монументальные» уже в существе своем, в натуре своей, во вдохновении своем, в идее своей. Легко Фальконету было делать Петра; не трудно было делать памятник и Крылову, — чуть ли не единственно удачные у нас памятники. Но и Фальконет «измарал бы дело», будь перед ним поставлена тема: «памятник Гоголю». Как делать? Натурально? Не натурально? Реально, символически? Не устроить ли где-нибудь сбоку Аполлона с лирою? Не дать ли в руки самому Гоголю лиру? Фальконет сломал бы орудия мастерства перед задачей выполнить неисполнимое. Ведь Гоголь и лирик, и натуралист. Но сочетать эти понятия можно именно только в слове, можно об этом рассказать, можно об этом рассуждать, но *представить* соединение лиризма и натурализма невозможно. Ничего нет легче, как прочитать лекцию о Гоголе и дивно иллюстрировать ее отрывками из его творений. В слове все выйдет красочно, великолепно. А в лепке? — Попробуйте только вылепить Плюшкина или Собакевича. В чте-нии это — хорошо, а в бронзе — безобразно, потому что лепка есть тело, лепка есть форма, и повинуетя она всем законам осязаемого и осязаемого. Как вы изваяете «бесплот-

ных духов» Гоголя и его самого, который в значительной степени был тоже «бесплотным духом»... и, добавлю безумное определение: видимость полного человека — имел, а *натуру полного человека — вовсе не имел!* Вот в этой-то «неполноте» его и заключается настоящая причина прямо невозможности его изобразить, иначе как в лицевом или бюстовом портрете, притом на плоскости, в красках, а — не в объеме, не в бронзе, и, уж конечно — не в полном росте! Изобразите-ко Гоголя в полном росте на памятнике: дети будут разбегаться, да и взрослые отвернутся.

«Мертвые души» и «Ревизор» все венчают: но что это такое? Отрицание монументальности, отрицание нужности самого портрета. Гоголь нарисовал *последний* портрет этих «душ», предсмертный портрет. И так нарисовал, что вся Россия закричала:— «*Похоронить* их! — похоронить как можно скорее!! Засыпать землю, чтобы и лица их не видно было, не слышно было запаха их!» Согласитесь, что тут не до монументов; что тут монументу совершенно нечего делать. Самая суть дела и суть «пришествия в Россию Гоголя» заключалась именно в том, что Россия была или, по крайней мере, представлялась сама по себе «монументальною», величественною, значительною: Гоголь же прошелся по всем этим «монументам», воображаемым или действительным, и смял их все, могущественно смял своими тощими, бессильными ногами, так что и следа от них не осталось, а осталась одна безобразная каша...

— Помните ли вы тот разговор Чичикова с генералом Бетрищевым, где упоминается об «Истории генералов 12-го года»? Если придвинуть сюда еще «Историю о капитане Копейкине», то оба эти эпизода составят всего несколько страниц великой и грустной поэмы, великой и страшной поэмы: но их впечатление до того неотразимо, что у читающего совершенно ничего не остается от впитанного с детства восторга к Отечественной войне. Труд этого года, страдания этого года, и, наконец, *подлинное величие* его — куда-то улечучивается. А никакого порицания нет, никакой сатиры нет. Нет насмешки, глумления. Страницы как страницы. Только как-то *словечки поставлены особенно*. Как они поставлены, — секрет этого знал один Гоголь. «Словечки» у него тоже были какие-то бессмертные духи, как-то умело каждое словечко свое нужное сказать, свое нужное дело сделать. И как оно залезает под череп читателя — никакими стальными щипцами этого словечка оттуда не вытащишь. И живет этот «душок» — словечко под черепом, и грызет он вашу душу, наводя тоже какое-то безумие на вас, пока вы не скажете с Гоголем:

— «Темно... Боже, как темно в этом мире!»

— «Боже, как грустна наша Россия!» — сказал Пушкин, прочтя первые главы «Мертвых душ», — сказал это вот-вот после войны 12-го года, после царствования Екатерины II, и давший знаменитый о России ответ Чаадаеву.

Чаадаеву он мог ответить. Но Гоголю — не смог. Случилось хуже: он вдруг не захотел ответить ему, Пушкин вдруг согласился с Гоголем; ибо выражение его после прочтения «Мертвых душ»: «Боже, как грустна наша Россия» — есть подпись под поэмою, есть согласие с творцом поэмы. Это удивительно. Тайна Гоголя, как-то связанная с его «безумием», заключается в совершенной неодолимости всего, что он говорил в унижительном направлении, мнущем, раздавливающим, дробящем; тогда как против его лирики, пафоса и «выспренности» устоять было не трудно. Это последнее было просто «так», веяло вне черт его таинственного гения.

Ну, что же тут ставить памятник? Кому? Чему? Пыли, которая одна легла следом по той дорожке, по которой прошелся Гоголь? Воздвигают *созидателю*, воздвигают *стойтелю*, воздвигают тому, кто несет в руках яблоки, — мировые яблоки на мирское вкушение. Но самая суть пафоса и вдохновения у Гоголя шла по обратному, антимонументальному направлению: пустыня, ничего. Один Бог над землею, да яркие звезды в небе, — с которыми умеет говорить пустынный-поэт, худой, изнеможенный. И только он и умеет смотреть на них, вверх; а как оглянется кругом — все вдруг начинает уходить под землю, вниз, в могилу: и целая планета становится могилою своего обитателя-человека.

— «Грустно на этом свете, господа».

И не могло не быть «грустно» душе такой особенной, и одинокой, и зловещей. С зловещею звездою над собой, пожалуй — с черною звездою в себе.

НАШ «АНТОША ЧЕХОНТЕ»

Мечта юности, или грусть юности,— как и первая любовь, не забывается до старости. Она кладет на личность человека неизгладимый отпечаток.

Теперь среди портретов «любимых писателей» вы во всякой образованной семье, в комнатке всякого студента или курсистки встретите портрет или карточку «Антон Чехова»... И среди бородатых, могучих в лепке матушки-натуры или глубоко оригинальных фигур Тургенева, Толстого, Плещеева, Мея, Некрасова, Добролюбова, Чернышевского — фигура или, точнее, фигурка Чехова представляется такою незначительною, обыкновенною... Слишком «наш брат», то же, что «мы, грешные», — слабые, небольшие и вместе недурные люди. Положенная нога на ногу, подпертая рукой голова, волосы и небольшие, и не маленькие, не вовсе гладкие и не слишком волнистые, вероятно, русые,— и это пенсне, до того у всех обычное,— наконец, выражение лица скорее скучающее, чем грустное,— конечно, умное, но без всяких мировых вопросов на себе, без «запросов духа», «мировой скорби» и «политического негодования», — все это как будто сводит Чехова во второй ряд литературных величин!..

«Эх, обывательщина!..»

Это — наша собственная фигура, когда в пору студенчества мы мотались по урокам, или — знакомого, неокончившего курс студента, который, поступая на медицинский факультет, вышел было в юристы, но и юриста из него не вышло, и вот он живет теперь «так», словом, лицо и фигура «обыкновенного русского человека из образованных», сплошь все милых и сплошь все жалких, которые ни в чем не могут помочь и явно

нуждаются во вспомоществовании. Гения нет, силы — небольшие, дум, как серых мышей, — толпы, но все незначительных, обыкновенных, которые не могут дать человеку большой судьбы.

«Эх, русское бессилие!..»

Но все так умно, душевно, — как вы не встретите у заграничного «авиатора», — «завоевывающего воздух», черт бы его побрал. У «авиатора» такая же деревянная душа, как и весь его деревянный аппарат, и только удивительным образом на этом «ничто-человеке» выросла одна чудовищной величины способность вот к авиации или к передаче звука по проволоке. Чехов, конечно, никогда не выдумал бы даже новой зубочистки, «более удобной и приспособленной к культуре», хотя бы из него тянули жилы. И ничего не выдумал бы, да и действительно никогда ничего не выдумал бедный «Антоша Чехонте», которому не удалась медицина, юриста тоже из него не вышло, — и вот, в раздумье и безденежье, он начал писать, что видел и что слышал, и помещать где-то в «Листках» и читаемых по портерным иллюстрированным журнальчикам. Как это поется в нетрезвой песенке:

Фонарики-сударики
Горят себе, горят...
Что видели, что слышали
Про то не говорят.

Чехов начал рассказывать, — и, вместо «медицины», у него вышла «литература». Как «обыкновенно у русских»... Именно, как ночной мигающий фонарик, мимо которого бегут люди, спешит преступление, готовится скандал, и фонарь всем светит, «добрым и злым», богатым и бедным, никого не удерживая, никому не помогая, но все видит и знает... Так «Антоша Чехонте» начал писать свои миниатюрные рассказы, в 3—4 страницы, в фельетон длиной, в полфельетона.

— Пока не устал и как длинно выйдет. Точку везде поставить можно.

Оглянулась гордая литература на него, взором назад и вниз:
— Это еще что такое?..

Бедный «Антоша Чехонте» съезжился... Еще бы не съезжиться под величественным вопросом Михайловского, у которого что мысль, то — гора: «о прогрессе истории», о «правде-истине и правде-справедливости», «герои и толпа», «вольница и подвижники». Но была нужда, да и в душе было что-то такое, что пело... Все «поется и поется», и «Антоша Чехонте» все «писал и писал»... почти не смея выйти в большую литера-

туру, где сидели люди с такими бородами... Как ассирийские боги.

Почти до смерти Чехова продолжалось это недоумение:

Напрасно ухо поражая,
К какой он цели нас ведет?
О чем бренчит? Чему нас учит?

О, наш всевидец, Пушкин: за сколько лет он предсказал критические вопросы Михайловского о Чехове, установившие тон отношения к нему больших журналов... но не публики. «Публика», серая и непретенциозная, полюбила «Антошу Чехонте», «своего Чехонте», — этого человека в пенсне, совершенно обыкновенного.

Чехов довел до виртуозности, до гения обыкновенное изображение обыкновенной жизни. «Без героя», — так можно озаглавить все его сочинения, и про себя добавить не без грусти: «без героизма». В самом деле, такого отсутствия крутой волны, большого вала, как у Чехова, мы, кажется, ни у кого еще не встречаем. И как характерно, что самый даже объем рассказов у Чехова — маленький. Какая противоположность многотомным романам Достоевского, Гончарова; какая противоположность вечно героическому, рвущемуся в небеса Лермонтову...

У Чехова все стелется по земле. Именно, даже не идет, а стелется... Вернее, растет по земле.

Как жизнь, как природа, как все.

«Сударики-фонарики»

мигающими глазами своими видят, может быть, самое важное в жизни, потому что они видят *самое обыкновенное* в ней, т. е. везде бывающее и чему суждено всегда остаться.

Утешимся, как слагатель народных присказок, изрекший:

Дождичек идет
Перед солнышком...
Солнышко взойдет —
Перед дождичком.

Без героического и величия земля тоже не прожила бы, как и без травы и мхов ее не бывает. Даже более: тот гений, та виртуозность, до которой Чехов довел обыкновенный рассказ об обыкновенном событии, свидетельствует, как и всякий апогей и вершина, что мы подошли к краю, за которым начинается «перевал к другому»... Чехов довел нас как раз до взрыва, — поднятия большой волны. И его «Дядя Ваня», «Три сестры»,

«Вишневый сад» по времени почти сливаются, немного отступая назад, с «Песнью буревестника».

Дождик моросит
Перед солнышком...

Но я оставляю в стороне историческое положение беззвучной, глухой музыки Чехова... Это — особая линия размышлений. Мне хочется еще докончить об его музыке.

В юности и героически настроенный человек, конечно, ищет гор, препятствий, борьбы. «Ступай на погибельный Кавказ». Все бог дал, и все бог устроил, — в природе и в жизни.

Но в полдень нет уж той отваги,—
Порастрясло нас, нам страшней
И косогоры, и овраги.
Кричим: «Полегче, дуралей!»
Катит по-прежнему телега,
Под вечер мы привыкли к ней
И, дремля, едем до ночлега,
А время гонит лошадей.

Этот усталый полдень жизни и еще более усталый и немного сонный вечер жизни — его и рисовал Чехов с миной горькой и усмешливой. Чехов не был бы Чеховым, не был бы «русским интеллигентом», если бы к простодушной и доброй его поэзии не примешивалась везде эта кислотца. Не жгучая, не острая, — для этого он был слишком «русским», — но все-таки именно кислотца. «Люблю кислые щи с кашей, но на этот раз они уже слишком перекисли, да и каша распирает бока», — вот Чехов и его отношение к жизни, прощающее, с усмешкой, любящее, но не уважающее.

«Что же тут уважать? Конечно, все плохо... И всем ужасно скучно».

Это — припев и «Вани», и «Сестер», и старожилы «Вишневого сада».

Толстого или Достоевского, даже Тургенева, наконец, ленивого Гончарова Бог или Natura-Genitrix* вырубали из большого дерева большим топором. Все крупно, сильно, — в творчестве, в лице их. Сотворение Чехова все шло иным способом. На небольшой дощечке дорогого палисандрового или благочестивого кипарисного дерева, из мирных стран Востока, тонкою иглой начертан образ тихого, изящного человека, «вот как мы все», но от «всех» отличающийся чрезвычайным благородством

* Природа-мать (лат.).

рисунка, всех линий. В Чехове Россия полюбила себя. Никто так не выразил ее собирательный тип, как он, не только в сочинениях своих, но, наконец, даже и в лице своем, фигуре, манерах и, кажется, образе жизни и поведении. «Все вышло, как у всех русских: учился одному, а стал делать другое; конечно, не дожил полных лет. Кто у нас доживает? Гнезда не имел, был странствующий. И все немного музыканил или мурлыкал себе под нос. Ни звука резкого, ни мысли большой. Но что-то такое во всем этом есть, чего нигде еще нет. Что бы это такое? Да, скучно без этого было бы жить. С другим было бы удачнее, счастливее, благополучнее, но скучнее. А этого вот слушаешь, слушаешь, и забываешь, что дождь идет, что так глупо все, и не то что мириться с глупым,— этого нет,— но в безмерно глупую и дождливую эпоху находишь силы как-нибудь просуществовать, пересуществовать ее, перетягиваться по ней».

Спасибо тебе, поэт. Ты нас баловал, когда всем было очень тяжело. Но в музыке твоей всегда звучала струна, по которой мы знали, что «есть край иной». И суть твоей песни заключалась в том, что пела-то она об одном, вот «об этом», а грезы навевала-то совершенно о другом, «вот о том». И мы под звуки твоей и спали и не спали.

* * *

А впрочем, и настанет «все то же», мы нашего «Антошу Чехонте» не позабудем... Есть «погибельный Кавказ», и есть срединная, плоская «Россия», куда обширнее кавказских стремнин... Настоящая мудрость заключается в том, чтобы в героическую эпоху жить героически, а в негероическую эпоху все-таки не разбивать о стену голову. Великое «что делать» всегда останется под солнцем: «что делать» — как недоумение, «что делать» — как бессилие. Беспримерно героическая натура, Достоевский, устами Мити Карамазова сказал:

— В тысяче мук я *есмь*. Корчусь — и все-таки *есмь*.

Это говорит Митя перед каторгой; но сам Достоевский, в горчайшую минуту личного существования, в одном частном письме, порассказав приятелю все напасти, кончает:

— Не правда ли, живуч я, *как кошка*.

Это — когда ее выкинут из третьего этажа в окно, а она перевернется и все-таки побежит.

«Есмь» — самое главное; «есмь» — первое. Рождаемся мы не все для варенья и яблок, но, между прочим, и для кислого существования. «Что делать!» «Быть человеком» важнее, чем быть «сытым человеком» и даже «нравственным человеком»,

«добрым человеком», ибо, черт возьми, *кто* же будет «сыт-то» или «нравственен», если «*меня* нет», существа с желудком и 10 заповедями? И поэтому я всегда сперва подумаю о том, чтобы «мне остаться на земле», и уже потом подумаю, какими заповедями обставлюсь и по сколько фунтов хлеба буду съедать в день. Все *после* «жизни», все «позади» жизни... Не знаю, для чего мне после этих строк о грустном Чехове хочется кончить, обращаясь в особенности к юности:

— Не убивайте себя!

Никогда, ни за что, ни в каких обстоятельствах, ни даже после преступления или перед ним,— все-таки не убивайте.

Нить, которая *раз* оборвется,— никогда не завяжется. А все прочее, ей-ей, все, не только тяжесть жизни, но и грех ее, даже ужасный грех,— все-таки можно связать ею «вторичный узелок».

* * *

Эту мысль о жизни внушает Чехов тем, что грустная дума и тон его весь полон полужизни. Мерцает, мигает, теплится, но не горит. И, глядя на это «мигающее», долго глядя, вдруг преисполняешься мистического страха: «Вдруг погаснет». И кричишь: «Зажигай все, лучше все зажигай, неужели эти ужасные темень и хлад, когда вдруг все погаснет!»

1910 г.

ДОМИК ПУШКИНА В МОСКВЕ

Мне как-то пришлось описать домик во Франкфурте-на-Майне, где родился Гете. Вскоре я получил из Москвы письмо, где сообщается о домике в Первопрестольной, где родился Пушкин. Письмо так кратко, выразительно и обстоятельно, что позволю себе привести его,— тем более, что оно писано студентом, и притом техником. Так как интереса теперешних студентов к Пушкину никто не предполагает, то письмо прочтется с двояким и удвоенным любопытством. «Недавно я прочел вашу статью о домике Гете. И мне сейчас же пришло сравнение: состояние этого домика, так оберегаемого немцами — с тем домом, *где родился* наш русский Гете, Пушкин. Мне, как студенту Московского технического училища, каждый день приходится видеть этот дом. Он стоит на Немецкой улице (в Лефортовской части? *В. Р.*). И вот чуть ли не в той самой комнате, где появился на свет будущий поэт, гордость нашей родины, там помещается мастерская сапожника. Что это, издевательство или какое-то преступное отношение перед памятью дорогого для России человека? Ведь там (не где-либо, а именно там, т. е. вот в этой комнате, где родился Пушкин) надо устроить музей или что-либо, посвященное его памяти; и во всяком случае сделать так, чтобы эта комната не сдавалась внаем... Что же смотрит Академия, *Пушкинский* Лицей и друг.? Следовало бы обратить на это внимание в печати, сопоставив отношение нас, русских — к своему писателю, и хотя бы немцев — к Гете».

Что же сказать? «Некому вспомнить», «некогда вспомнить». Все «текущие дела» у каждого. И у Академии, и у «Пушкинского» лицея... Ах, эти «текущие дела»: хоть бы они единовременно, ну, по крайней мере, на несколько дней, проваливались

все к черту: и тогда мы, освободив душу в «беззаботность», вспомнили бы сразу все важные дела, о которых при «текущей суете» решительно невозможно никому вспомнить. Полагаю, что и студент-техник оттого вспомнил о домике Пушкина, заметил его, даже вошел внутрь и рассмотрел там мастерскую сапожника, что он давно отлынивает от лекций, и про себя, в душе, «забастовал» от техники, политики,— и украдкой читает стихи... Ах, эта ученическая лень: она имеет свою прелесть. Как начнешь лениться, так чему-нибудь и научишься. Так, тоже «бастуя» от лекций греческого языка немца Шварца, я, помню, выучил почти наизусть всего Лермонтова в университете...

«Кому вспомнить?»... А в самом деле — *кому?* Мне кажется, у нас пребывает «в лежащем положении» один изумительный человек и даже целая компания изумительных людей. Это не та «теплая» или «темная компания», о которой препирались в Г. Думе: это — золотая компания, благочестиво издающая «Старые годы», воспроизводящая в изумительных снимках умирающие реликвии Руси, вероятно почти разорвавшаяся на изданиях, без сомнения никем не поддерживаемая из тех «теплых» и «темных» компаний, которые «княжат и владеют» Русью и русскими делами, и проч., и проч., и проч. Ну, вот ей и надо сказать:

— Встань, спящий!

— И зри, и храни!

— И имей власть на это! Имей право «veto», когда дело идет о разрушении; и право — приказать, в пределах некоторого небольшого ассигнования, что-нибудь реставрировать, хранить и проч.

Знаю, знаю, что у нас есть какая-то «комиссия», которой поручено «охранять»: но ведь у нее конечно завелись «текущие дела», и она от них не может же оторваться к домику Пушкина, да, кроме того, этой комиссии конечно дана «инструкция» и, может, целый «устав», где 1) перечислено подробнейшим образом, что именно она должна «охранять», а через это, косвенно, ей и «запрещено» касаться вещей, в перечень не вошедших, и 2) указаны способы охранения, т. е. «отнестись к губернатору» или «обратить внимание епархиального архиерея». Конечно, — в «предмет» охранения вошли церкви, монастыри, иконы, «градские» каменные стены времен боярства и татарщины: а о «домиках, где рождались», например, поэты, ученые, замечательные деятели, должно быть, не упомянуто. «Нельзя всего вспомнить»... Но, я думаю, «вспомнит» тот, кто любит и свободен. Т. е. любит и трудится без «устава» и «инст-

рукций». Такова-то и есть благочестивая компания «Старых годов».

Ну, вот, взамен возни со всякими академиями и лицеями, ей и следует сказать краткое прутковское:

— Бодрствуй!

И как домик Пушкина в Москве, так и прелестный домик Лермонтова в Пятигорске, где он жил и создал великие свои создания, где сохранились в том самом виде все комнатки, весь сад (небольшой), с старыми, вековыми деревьями, которые знал и любил поэт,— все это будет бережною и умною рукою как бы поставлено под стеклянный колпак, для любви и поклонения потомства.

Это — нужно. Этому — время.

1911 г.

ВОЗЛЕ «РУССКОЙ ИДЕИ»...

Г-н Т. Ардов напечатал в «Утре России» несколько в высшей степени интересных статей о настоящем и будущем России... И не интересных только, но даже волнующих. Автор начал с пересказа одного эпизода в «Подростке» Достоевского: застрелился некто Крафт, обруселый немец, юноша, что-то вроде студента. И когда стали узнавать, *отчего* он застрелился, то стали говорить, будто причиной смерти послужили мысли, в которых находился последнее время этот Крафт: именно, что по его взгляду, очень долго зревшему, Россия — «второстепенное место» в истории, никакого всемирного призвания не заключающее и ни к какой всемирной роли не способная. Идеальный юноша так полюбил свою вторую мать, что не мог вынести этой печальной мысли и покончил с собою. Нужно заметить, примеры такой любви к России, и именно немцев, — встречаются!.. Меня в свое время это место из «Подростка» так же поразило, как и г-на Ардова. И тоже, окончив роман, — я возвращался к этим 2—3-м страничкам в начале его. Эпизод разителен тем, что лицо Крафта даже не выведено в повествовании, не показано: много-много, что он на какой-то странице «напился чаю» или сказал кому-то: «Я к вам приду»... Таким образом, этот наклеенный сбоку романа кусочек печатной бумаги весьма походит на записочку, которую положили вам под подушку на ночь, — и она всю ночь будет вам сниться... Г-н Ардов весьма правдоподобно говорит, что это — мысль самого Достоевского; не постоянная его мысль, ибо вообще-то он стоял за «великое призвание России», но так... стоявшая у него «уголком» в душе мысль и которую он в душу читателя вставил тоже «уголком»...

— Можно с ума сойти... Может быть, бред есть все, что мы думаем о великом призвании России... И тогда — удар в висок свинцового куска... И вечная Ночь... Ибо для меня вечная Ночь переносимее, нежели мысль, что из России ничего не выйдет... А кажется — ничего не выйдет.

Это был «бес» Достоевского; его поистине «кошмар» и «черт» («Брат. Карамазовы»)... «Своя же мысль, но в отвратительном виде», — как он толкует там «беса». — «Господин в сером пиджаке, приживальщик»... «Мое подлое я, — которое убить бы, но убить — нет сил, оно — трансцендентно, оно — вечно». Крафт убил себя из-за этой мысли: а Достоевскому, поверь он в нее окончательно, т. е. окончательно разувься в «будущности России», пришлось бы перелицевать всю свою литературную деятельность и попросту и смиренно пойти в «приживальщики» к М. М. Стасюлевичу, Спасовичу, Градовскому, Пыпину...

— Вот, мы же и говорили, Федор Михайлович, что все дело — в Западе, а Россия — пустое место. А вы нервничали; оскорбляли нас за эту прозаическую истину. Проза всегда сильнее стихов... Вы стишки очень любите, и это вредно, а главное — затемняет истину.

И Шиллер-Достоевский-Крафт выкрикнули:

— Нет, лучше пулю в висок... Лучше мозги пусть по стенам разбрызгаются, чем эта смердяковщина...

Замечательно, что та мысль, от которой благородный Крафт застрелился (Достоевский несколько раз называет его «благородным»), — эта же самая мысль внушает Смердякову его знаменитые «романсы». В человеке «с гитарой» описывается, как этот лакей хохлится со своею невестою, и то «развивает ее», то очаровывает пением. «Россия-с, Марья Ивановна — одно невежество. Россию завоевать нужно. Придут французы и покорят ее: а тогда я в Париже открою парикмахерскую».

Это та же «мысль Крафта», переданная «подлецу-приживальщику», бесу «в смокинге», который страшнее всех демонов в плаще и сиянии. Единственный подлинный дьявол, — о, какой подлинный!

«Мое — подлое я, но — трансцендентное».

— «Дьявол с Богом борется: а поле борьбы — сердца людей».

И Достоевский помогал и помогает своему «Богу»:

— Знаете ли вы, что есть только один Народ-Богоносец; и этот народ — русский... Когда народы начинают *смешивать* богов своих, то они исчезают: всякий народ *утверждает* себя

в истории, *себя одного* и своего Бога, — а других всех прочих богов и другие народы отвергает, уничтожает...

— Нет, Шатов, — поправляет его Ставрогин, коего «прежние мысли» излагал «бесталанный» друг... — Нет, я не смеюсь теперь: я даже говорил еще властнее, еще гордее и абсолютнее... У вас «Бог» выходит каким-то только *атрибутом народности*, — его мечтой или «идеей», его «составной частью»... А ведь подлинно-то есть Бог, перед Которым народы — ничто, и вот это Он, Вечный, избирает преемственно себе тот или иной народ в «сыновство»... Так что «Русский народ-Богоносец» — эту мысль нужно читать наоборот, чем вы сказали: Истинный Вечный Бог избрал убогий народ наш, за его смирение и терпение, за его невидность и неблистанье, в союз с Собою: и этим народом Он покорит весь мир своей истине, которая есть именно — смирение, безвидность, простота, ясность, доброта.

Отсюда:

— *Смирись*, гордый человек! — брошенное русской интеллигенции, — т. е. «не изменяй своему Богу, Богу *смирения*, Который призвал тебя в *сыновство*». Ибо тогда, без идеала и мощи Божией, — мы погибнем.

И —

Образ кроткой Татьяны, безмолвной Татьяны, «покорной судьбе своей», — который он бросил всем на Пушкинском празднике.

Таким образом, около «идеи Крафта», можно сказать, «танцует весь Достоевский», — как около своего «беса», своей «мучительной идеи», своей «тоски за всю жизнь»...

— Позвольте, позвольте, — говорит прокурор в «Бр. Карамазовых»: если в гоголевскую «тройку», так быстро и роскошно мчащуюся, что перед нею «сторонятся все народы», впрячь только героев этой самой «великой поэмы», ну — напр., Собакевича, Чичикова и Ноздрева, — то ведь что же тогда выйдет?.. Не далеко ускачет такая «тройка»... Да, знаете, «народы»-то, пожалуй, и «сторонятся» перед Россией: но — от отвращения, от омерзения. И уже давненько подумывают: как им защититься от этой дикости, от этого исступленного преступления, от всех наших чудовищных пороков и низости... Как *связать* и *укротить* эту «бешено мчащуюся тройку», это бешеный «развал» и «нигилизм»...

Опять — идея Крафта и Смердякова... А «прокурор» не похож ни на Крафта, ни на Смердякова. Прокурор — просто «порядочный человек», с некоторым чувством закона и долга;

в то же время человек практический и трезвый, видящий, что делается вокруг. Он — человек маленький, но умный; но вот это небольшое, и, однако же, насущно-нужное в общезитии, чувство долга, закона и порядочности, заставило его сказать о России... похоронное слово... Стасюлевич и Пыпин, люди не гениальные, тем именно и сильны и необоримы, что они говорят все время «маленькую нужную идею», без которой «никак не обойтись»... Тут случилось странное *qui pro quo**: именно Стасюлевичу и Пыпину выпала роль «смиренной Татьяны», убогая скромная роль сказать провинциальную истину, затхлую истину, «с сельского погоста», что: 1) нельзя обижать мужиков, вообще — сирот; 2) надо побольше школ; 3) мужика и бабу его надо лечить. Да,— не «сногшибательные» истины, не «нищешанского» полета, без плаща, перьев и пламени:

— Не надо воровать носовых платков.

А Достоевский перед этой «простенькой истиной», в «платице Татьяны», со своим «Народом-Богоносцем» и «Смирись, гордый человек»,— ну, идеями великими, восторженно-чудными,— играл все-таки роль «печального демона»...

Печальный демон, дух изгнания,
Летал над грешною землей...

и манил ее несказанными обещаниями «усыновления Божия»... Но на скромной земле «наседка-курица»,— вот этот Стасюлевич, вот этот Пыпин,— сжались крыльями над своим «земным выводком» и дерзко закричали: «Не хочу! Не хотим! Никому не дам и ни для чего не дам, ни ради каких обещаний, деревенскую нужду, деревенскую обиду, бабу, мужика и нуждающихся в ремонте дороги».

— Мы — ремонтеры, Ваше Преосвященство: и вашей обедни нам пока некогда слушать.

Вот диалог между Достоевским и Стасюлевичем; между Стасюлевичем и Крафтом-Смердяковым-«прокурором»...

* * *

Одно воспоминание: когда я в молодости был учителем, то у меня был товарищ, ныне покойный, Серг. Ив. Саркисов, армянин. Был умен, пылок, преподавал греческий язык. Беззаветно любил одну русскую женщину, увы (по-русски) — чужую жену. Был счастлив с нею. Был в то же время страстный армянский патриот; составил армянскую грамматику и сделал в ней некоторые новые объяснения. Нашего, и в то же время его

* Одно вместо другого, путаница (*лат.*).

учителя, Ф. И. Буслаева он за филологический талант называл «богом», как и немецкого лингвиста Боппа, и своего летописца Моисея Хоренского. Вот он раз и говорит мне:

— Знаете ли вы одно место из Достоевского, где он говорит о *народах* в истории?

Я, конечно, знал. Но он раскрыл о «Народе-Богоносце» и прочел страстно, по-южному, декламируя. И заключил словами:

— Это — Евангелие истории... Евангелие и для всякого народа в унижении. Я не знаю еще таких слов на человеческом языке: это пророк говорил своему народу. Для русских это — Священное Писание.

Он, почему-то, еще очень восхищался Верою в «Обрыве» Гончарова, говоря, что лучшего типа девушки во всемирной литературе не знает. Не скрою, что в свое время и я был «закружен» им. Да, думаю, что это и вообще — так. Но это — в сторону, хоть может и пригодиться ниже. А пока вернусь к г. Ардову и его мыслям «около Крафта».

* * *

Он привел — впрочем, известное — выражение императора Вильгельма, когда ему кто-то напомнил, что нужно думать не о «желтой опасности», а о «славянской угрозе».

— Что вы, Ваше Величество, тревожите мир указаниями на «желтую опасность». Она — далеко. Германия вся облегается славянскими народами. Славянский мир — вот где кроется опасность для Германии.

Тогда, будто бы, Вильгельм отвел в сторону говорившего и сказал ему вполголоса:

— Нет!.. Никакой опасности — от славян... Славяне — это вовсе не нация, это только удобрение для настоящей нации. Настоящая нация — мы, немцы; и славяне призваны к тому, чтобы унавозить поля, на которых со временем раскинется будущая Великая Германия.

Этому отвечает выражение Франца-Иосифа, — фактический ответ его каким-то славянским депутатам, прочтенный мною лет шесть назад в газетах:

— Я предпочту стоять часовым солдатом возле немецкой палатки, в германском военном лагере, чем титуловаться «королем» вашим или вообще какого бы то ни было славянского народа.

То же презрение. Та же мысль: «Это — пустое место, для меня вовсе неинтересное».

Можно вообще допустить или угадывать, что *государственно* «по ту сторону Вержболова» эта мысль царит как аксиома. «Славяне — это туманность, которая разрешится в германское солнце». Славяне умрут, духовно, этнографически, всячески. Они просто — *не нужны миру*; и — потому, что в них *ничего нет*.

Мысль — Крафта, «прокурора», Смердякова; мысль Стасюлевича... «Что такое *особенное*? Ничего нет, ничего не *вижу*»...

— А я *вижу!*! — вопил Достоевский и указывал на то, о чем говорит далее г. Ардов и говорил гораздо ранее его Бисмарк.

Бисмарк одно время был послан в Петербург и приглядывался к русскому характеру, к «русским людям»... Гениальному человеку, вот как и Гоголь, достаточно «проехаться по стране», чтобы заприметить в ней такое важное, чего «тутошные люди», век живя, — не заметят. И Гоголь это, только «проехавшись по России», заметил; и Бисмарк заметил, только «побывав в Петербурге послом».

С ним случился раз анекдот: он заблудился на медвежьей охоте. Поднялась пурга, дорога была потеряна, и Бисмарк очутился в положении поляков с Сусаниным. Лес, болото, снег, никуда дороги. Он считал себя погибшим:

— *Ничего!* — обернулся мужичок с облучка.

Он был один, с этим мужиком. Без русской речи, кроме каких-нибудь слов.

Мужичок все обертывался и утешал железного барина:

— *Ничего, выберемся!*

«Выберемся» он уже не понимал. А только запомнил это «ничего», много раз повторявшееся. И когда стал канцлером, то в затруднительных случаях любил повторять на непонятном языке:

— *Ничего. Nitschevo.*

Распространительно: «Бог не выдаст — свинья не съест». «Не пришел *час гибели* — и не погибнем. А пришел этот час, то как ни кудахтайся — не выберешься». В общем: «Ничего».

Так вот этот Бисмарк и говаривал:

— Все русские женственны. И в сочетании с мужественною тевтонскою расою — они дали бы, или дадут со временем, чудесный *человеческий матерьял для истории*.

Эту мысль Бисмарка — она же и мысль Вильгельма, а в конце концов, и мысль Крафта, Смердякова, Стасюлевича и «прокурора», — развивает от себя г. Ардов, и очень интересно:

— Германцы — хищническое племя. Вся Германия стоит на

костях погибших славянских народностей, этих «поморян» Померании и «лабов» по реке Эльбе... Немецкий титул «граф» происходит от «грабить» и выражает волевое и мысленное движение — «грабь!», а немецкий глагол haben, т. е. «иметь», одного корня с «хапать», хватать, похищать. Немцы — мужское племя, с огромным инстинктом насильничества, господства, власти. Это — одна сторона, которая с запада Германии нашла себе ограничение в сильном и тоже мужском племени кельтов. Не то с востока: здесь Германия прилегает всем своим огромным боком к племени женственному, слабому, нежному, мягкому, уступчивому — к славянам, к русским. И то, что совершилось с прибалтийскими славянами, превращенными в рабов ливонскими рыцарями, немецкими грабительскими «графами», — неодолимо раньше или позже совершится вообще со всем славянством, начиная от поляков и малороссов и кончая русскими. Везде «slavi» будут «sclavi», как говорит и имя их: «славяне» значит «рабы». Неодолимо: ибо это вытекает из соотношения характеров, рас, психологий. «И посмотрите,— продолжает Ардов (отсюда и начинается интерес его мысли),— этому действительно отвечает наша народная психология, особенно как она сказалась в самом ярком и многозначительном своем выражении, в великой русской литературе. Она прекрасна: но обратите же внимание, в чем лежит это ее «прекрасное». Тургенев, Толстой, Достоевский, Гончаров, целый ряд беллетристов-народников, все с поразительным *единством и без какого-либо* значительного *исключения*, возводят в перл нравственной красоты и духовного изящества слабого человека, безвольного человека, в сущности — ничтожного человека, еще страшнее и глубже — безжизненного человека, который не умеет ни бороться, ни жить, ни созидать, ни вообще что-либо делать: а, вот видите ли,— великолепно умирает и терпит!!! Это такая ужасная психология!.. и, что страшно, она так правдива и из «натуры», что голова кружится. От Татьяны, сказавшей:

Но я другому *отдана*
И буду *век* ему *верна* —

от этого ужасного слова, в сущности всемирного слова всякого рабства, всякого «оруженосца», «пажа», отнюдь не рыцаря, и не воина, не самостоятельного «я», — через «бедных людей» Достоевского (какой ужасный смысл в самом имени: Макар *Девушкин*) и его же «Честного вора» (аншлаг для всей Руси), через Платона Каратаева, через безвольных героев Тургенева, — проходит один стон векового раба: о том, откуда бы ему взять «господина», взять «господство» над собою... Это еще от

новогородской Руси: «приидите *володеть* и *княжити* над нами». Перекидываясь от Рюрика и Трувора прямо в XIX-й век, что мы усмотрим во всех этих переводных изданиях Павленкова, в этом чисто женственном отдавании себя Боклю, Спенсеру, Дрэперу, Льюису, Мошоту, как раньше Гегелю, как недавно Ницше и перед ним Шопенгауэру, как не такое же «призвание князей», как не Татьянин ответ, как не вечное сознание: «Я сама — ничто; дурнушка, деревенская девушка... Но придет рыцарь, придет Солнышко, и от Него я рожу дитя-богатыря».

О, сущий «Макар Девушкин»!.. и имя-то себе выбрал мужчина — девичье. Ну, что тут поделаешь, если «от Рюрика»...

* * *

Но вспоминается бисмарковское:

— «Ничего».

Прежде, однако, чем перейти к «ничего», dokonчим Ардовскую мысль:

Ардов и говорит: «Да вся русская литература, а за нею и все общественные наши идеалы, общественные тенденции, суть женские, женственные. На вековечный крик самца-мужчины, ну, напр., самца-тевтона: «Я — хочу» — русское племя, устами по крайней мере литературы своей, отвечает: «Возьми меня!»

По-видимому: «сон Вильгельма совсем сбудется». Если бы не мужичок, успокоивавший посла:

— «Ничего, барин!.. Вывезет».

Ардов парирует «сон Вильгельма» следующим:

— Да посмотрите на русскую историю, не сейчас, а как она совершилась *сначала*. Достоевский и Толстой пришли только теперь, а ведь *что-то было и до них*. Не все были Рудины и тургеневские «нервы». Да в русской истории положено столько *железа*, столько *мужчины*, такие *бронзовые характеры* «сколачивали Русь», как, может быть, этого не было у самих немцев, только к XVII-му веку сколотившихся в Пруссию. Суворов — уже это не «честный вор» из Достоевского; воины Бородина — не «Макары Девушкины»; сподвижники Екатерины и Петра — люди, которые никак не уступят в закале, в воле, энергии, в даре и силе созидания сподвижникам Фридриха Великого и старца Вильгельма.

* * *

Указав на это, в конце статей он, однако, отказывается от этого «железного созидания», — перенося все свои симпатии

к мягкотелой «культурной работе». Вообще, мысль его интереснее началась, чем кончилась. «Загвоздка Крафта» остается невынутой. «Культурное соизидание» еще лучше нас могут выполнить немцы: и тогда правильна мысль Смердякова — «пусть умная нация покорит глупую». Ардов предоставляет России роль какой-то ненужной, необъяснимо почему нужной, «связи» между «армянами, литовцами, хохлами, поляками, евреями, финнами» и проч. и проч. Роль чисто механическая, отнюдь не духовная. Все это сводится опять к «идеи Крафта»: а Крафт был «благородный человек» и кончил из-за нее самоубийством. Кстати, почему «Крафт», а не «Иванов»? И благороднейшего медика в «Бр. Карам.» Достоевский назвал «Герценштубе», и даже приписал где-то, что, «если вы захвораете серьезно, зовите к себе врача с немецким именем»; «это вам говорю я, русский из русских», — прибавил он.

«Крафт» — тот же «Даль», тот же «Гельфердинг», та же семья «Гротов». «Верный немец» — «верный» идее своей, привязанности. «Верный и последовательный» в своей идее. Оттого и «застрелился», — как застрелился бы Даль или еще «Востоков» (тоже — немец), «разуверься он в красоте и будущности русского языка, русских и России».

* * *

Осмотримся.

Бисмарк, вращавшийся в пору петербургского посольства в нашем обществе и присматривавшийся к русским характерам, говорил, что они «необыкновенно женственны»; и прибавил, что «в сочетании с мужественным германским элементом они могли бы дать чудный материал для истории». Эту же мысль, у Бисмарка не звучавшую уничтожительно, император Вильгельм выразил так: «Славяне — не нация: это — только материал и почва, на которой вырастет другая нация, с историческим призванием». Он разумел будущую Германию. Оба тезиса поднимают вопрос о «мужественном» и «женственном» в истории.

«Муж есть глава дома»... Да... Но хозяйкою бывает жена. Та «жена», которая при замужестве потеряла свое имя, а во Франции не может распорядиться своим имуществом и даже своим заработком. Но и во Франции, как и в России, как решительно везде, жена наполняет «своей атмосферой» весь дом, сообщает ему прелесть или делает его грубым; всех привле-

кает к нему или от него отталкивает; и, в конце концов, она «управляет» и самим мужем, как шея движениями своими ставит *так и этак* голову, заставляет смотреть *туда* или *сюда* его глаза и, в глубине вещей, *нашептывает* ему мысли и решения...

Муж, положим, «глава»; но — на «шее», от которой и зависит «поворот головы».

Вот что можно ответить Вильгельму и Бисмарку на их указания о «женственном характере» славян, в частности — русских, и на «печальную роль подчиненности и даже рабства» в будущем, которую они нам предрекают, основываясь на нашей «женственности».

Достоевский, много мысли отдавший «будущему России», не сказал этой формулы, которую я говорю здесь, — формулы ясной и неопровержимой, ибо она физиологична и вместе духовна; но он тянулся именно сюда, указывая на «всемирную отзывчивость русских», на их «способность примирить в себе противоречия европейской культуры», на то, что «русские наиболее служат всемирному призванию своему, когда *наиболее от себя отрываются*»... Пушкинская речь его, сказанная в этих тонах, известна; но гораздо менее известно одно место из «Подростка», именно диалог Версилова со своим сыном от крепостной девушки, где эта идея выражена с таким поэтическим обаянием, до того нежно и глубоко, так, наконец, всемирно-прекрасно, как ему не удавалось этого никогда потом... Много лет меня занимает мысль разобрать этот диалог: здесь выразилось «святое святых» души Достоевского, и тут он стоит не ниже, но, пожалуй, еще выше, чем в «Легенде об инквизиторе» и в монологе Шатова — Ставрогина о «Народе-Богоносце»... Эти слова грустного русского странника; бедного русского странника, бежавшего за границу чуть ли не от долгов, а в сущности — от скуки, от «нечего делать», с гордым заключительным: «Из них (европейцев) настоящим европейцем был *один я*... Ибо я *один* из всех их сознавал тоску Европы, сознавал судьбу Европы», и проч., — удивительны. Но тут нельзя передавать: поэзия цитируется, а не рассказывается. В этой идее Достоевский и выразил «святое святых» своей души, указав на особую внутреннюю миссию России в Европе, в христианстве, а затем и во всемирной истории: именно «докончить» дом ее, строительство ее, как женщина доканчивает холостую квартиру, когда входит в нее «невестою и женою» домохозяйина.

Женщина *уступчива* и говорит «*возьми меня*» мужчине; да, но едва он ее «берет», как глубоко *весь* *переменяется*. «Же-нишься — переменяешься» — многодунная вековая поговорка. Это не жена *теряет* свое имя; так — лишь по документам, для полиции, дворников и консistorии. На самом деле имя свое и, главное, лицо и *душу* теряет мужчина, муж. Как редко при муже живут его мать, его отец; а при «замужней дочери» обычно живет и мать. Жена не только «входит в дом мужа»: она входит как ласка и нежность в первый миг, но уже во второй — она делается «госпожою». Точнее, «господство» ей отдает муж, *добровольно и счастливо*.

Что это так выходит и в истории, можно видеть из того, что, например, у «женственных» русских никакого «варяжского периода», «норманского периода» (мужской элемент) истории, быта, существования не было, не чувствовалось, не замечается. Тех, кого «женственная народность» призвала «володети и княжити над собою», — эти воинственные, железные норманы, при-дя, точно сами отдали кому-то власть; об их «власти», гор-дости и притеснениях нет никакого рассказа, они просто «сели» и начали «пировать и охотиться», да «воевать» с кочевниками. Переженились, народили детей и стали «Русью» — русскими, хлебосолами и православными, без памяти своего языка, ро-дины, без памяти своих обычаев и законов. Нужно читать у Огюстена Тьери «Историю завоевания Англии норманнами», чтобы видеть, какой это был ужас, какая кровь и особенно какое ужасное *вековое угнетение*, наведшее черты искаженности на всю последующую английскую историю. Ничего подобного — у нас!..

Если мы перекинемся от тех давних времен, в *подробном образе* нам не известных, к векам XVIII и XIX-му, когда опять началось живое общение русских с «мужским» западным нача-лом, — то опять увидим повторение этой же истории. Как будто снаружи и сначала — «подчинение русских», но затем сейчас же происходит более *внутреннее овладевание* этими самыми подчи-нителями, всасывание их, засасывание их. «Женственное ка-чество» — налицо: уступчивость, мягкость. Но оно сказывается как *сила*, обладание, овладение. Увы, не муж «обладает же-ною»; это только кажется так. На самом деле жена «обладает мужем», даже до поглощения. И не властью, не прямо, а вот этим таинственным «безволием», которое чарует «волящего» и грубого и покоряет его себе, как нежность и миловидность. Что будет «мило» мне, — то, поверьте, станет и «законом» мне. Вот на что не обратили внимания Бисмарк и Вильгельм. Даже Бисмарк заметил и *запомнил* «милого мужичка», утешавшего

его своим «ничего», когда тот заблудился в снежных дебрях на охоте; а у мужичка едва ли сохранилась большая память о немецком барине, кроме того, что он его тогда «вызволил», — и «слава Богу», — за что получил, верно, «пятишницу» на чай. «Бисмарковского периода» в жизни мужика не было, но в необычайную сложность биографии Бисмарка все-таки вплелся русский взгляд, русский прием сказать «ничего!» в отчаянном положении. Не железный ли человек был Миних? А какое он принес «свое влияние» на Русь? Был суровый, даже до жестокости, командир; ругали, проклинали, но не больше. Однако же его сын писал по-русски «Добавления к запискам господина Манштейна», — писал как русский патриот, как русский служилый человек, как добрый работник на необозримой русской ниве. И теперь есть русские дворяне «Минихи», совершенно то же, как «Ивановы».

* * *

Русские имеют свойство отдаваться беззаветно чужим влияниям... Именно, вот как невеста и жена — мужу... Но чем эта «отдача» беззаветнее, чище, бескорыстнее, даже до «убийства себя», тем таинственным образом она сильнее действует на того, кому была «отдача». И в супружестве не ветреная жена владеет мужем, но самая покорная, безропотная, отдающаяся «вся»... За «верную жену» муж сам обратно «умрет», — это уж закон великодушия и мужества. Тут происходит буквально святое *взаимокормление*; и вот его-то *силу* не учли историки, считающие, что процесс истории есть соперничество сил и интересов, соперничество властей, — и только. Оглядываясь назад, укажем: да отдавали ли мы какому-нибудь русскому мыслителю, — ну, Новикову, ну, Радищеву, Чаадаеву, Герцену, — столько сил и энтузиазма, столько чтения и бессонных ночей, сколько их отдали мы Боклю и Спенсеру?! А Ницше последних лет? Его «Зоратустру» цитировали как любимые стихотворения, как заветную, гонящую сон сказку; и Пушкин совершенно *никогда не знал* такой поры увлечения им, как была пора «Ницше» в его золотые дни. То же было за немного времени перед тем с Шопенгауэром. Факт этот до такой степени всеобщ и постоянен, что даже нельзя представить себе «образ русского общества», каким он был бы под воздействием «русского же увлечения». Если бы Русь зачиталась вдруг Пушкиным, стала его цитировать на перекрестках улиц, в каждом номере газет, во всяком журнале... — нельзя представить и вооб-

разить!! «Русские бы стали на себя не похожи»: до такой степени увлекаться чем-нибудь непременно *из Европы* есть единственно «похожее на себя» у русских, у России... Женщина, вечно ищущая «жениха, главу и мужа»...

Сейчас совершенно еще не видно, что из этого выйдет; об этом пока тоскуют одни славянофилы,— «почти не русские». Но неизбежно что-то огромное должно выйти отсюда. Я думаю, отсюда-то именно и вытечет, через век, через $1/2$ века, огромное «нашептывающее» влияние русских на европейскую культуру в ее целом. Под воздействием этой непрерывной и страшной любви к себе, полной такого самозабвения, такого пламени, уже скучающая «мещанскою скукою» Европа не может не податься куда-то в сторону от своего эгоизма и сухости, своей деловитости и практицизма. Тут предсказывать невозможно: можно только указать на «Минихов», на Даля, на Востокова, Гротов, на еврея — собирателя русских народных песен Шейна, и добавить, что «русских католиков», как Волконские, как Мартынов и Гагарин, было меньше численно, а главное — они все были *меньшего значения*... Главное, тут что выходит: что русские, так страстно отдаваясь чужому, сохраняют в самой «отдаче» свое «женственное я»: *непременно* требуют в том, чему отдаются, — кротости, любви, простоты, ясности; безусловно ничему «грубому», как *таковому*, русские никогда не поклонились, не «отдались», — ни Волконские, ни Гагарин, ни Мартынов. Напротив, когда европейцы «отдаются русскому», то отдаются самой сердцевине их, вот этому «нежному женственному началу», т. е. отрекаются от самой сущности европейского начала, вот этого начала гордыни, захвата, господства. Эту разницу очень нужно иметь в виду: русские в «отдаче» сохраняют свою душу, усваивая лишь тело, формы другого... В католичестве они не «поднимают меч»; олютеранившись, не прибавляют еще сухости и суровости к протестантизму. Наоборот, везде вносят нежность, мягкость. Западные же увлекаются именно «женственностью» в нас... Ее ищут у Тургенева, у Толстого... Таким образом, мы увлекаемся у них «своим», не найдя в «грустной действительности на родине» соответственного *идеалу* своей души (всегда мягкому, всегда нежному); у них же «увлечение русским» всегда есть перемена «внутреннего идеала»... Есть «обрусевшие французы», отнюдь не потому, чтобы они у нас нашли почву для любви к «la gloire»...* Но «офранцузившиеся русские» никогда не говорили себе: «С но-

* Слава (франц.).

вым Наполеоном я или потомки мои дойдем до края света». Никогда! Нет такой мечты!!

Русские принимают тело, но духа не принимают. Чужие, соединяясь с нами, принимают именно дух. Хотя *на словах* мы и увлекаемся будто бы «идейным миром» Европы... Это только так кажется. Укажите «объевропеившегося русского», который объевропеился бы с пылом к «власти», «захвату», «грабежу», к «*grafen*» и «*haben*» как «грабить» и «хапать»; чтобы мы немечились или французились по *мотивам к движению, завоеванию, созиданию*.

Мы надевали европейский сапог с мыслью, что он еще меньше будет жать ногу, чем «домашняя туфля». Но европейцы, когда снимали свой сапог, именно знали, что надевают «русскую туфлю», которая вообще нигде не жмет, но зато и не есть, в сущности, обувь. Они — отрекались; мы — «паче себя утверждали». Вера Фигнер перешла в социализм, когда увидела в Казани оскорбленным администрацией своего любимого учителя (см. ее «Воспоминания о Лесгафте»). Вот русский мотив. Но я не знал немца, который, принимая православие, думал бы: «Теперь у меня пойдут лучше занятия философиєю», или «станет устойчивее фабрика», или «я что-нибудь сочиню даже выше Фауста». Мотивы немецкие исчезли; но у русских русский мотив (жалость, сострадание) усилился (т. е. когда они переходят в европеиство).

Печорин, странный идеалист 40-х годов, перешел в католичество. Что же, он стал «строить козни» лютеранам? А он поступил в иезуитский орден. Нет, он сделался «братом милосердия» в одном из ирландских госпиталей. «Русский мотив» усилился.

Весь русский социализм, в *идеальной и чистой* своей основе, основе *первоначальной*, — женственен; и есть только расширение «русской жалости», «сострадания к несчастным, бедным, нищим», к «немогущим победить зло жизни». (Смотри разительные «Записки» Дебагория Мокриевича.) Но все это — мотивы еще Ульяны Осоргиной, о которой читал Ключевский в своей лекции «Добрые люди древней Руси». Смотри также женские типы Тургенева («собирала больных кошечек, больных птичек» Елена), или у Толстого, в «Воскресении», типы «политических», идущих в Сибирь: «дайте, я понесу вашего большого ребенка; вы сами устали». А социализм — европейская и при этом очень жесткая, денежная и расчетливая идея (марксизм).

И в «дарвинизме» русских втайне увлекло больше всего то,

что он «сшиб гордость у человека», заставив его «происходить» вместе с животными и от них. «Русское смирение» — и только. Везде русский в «западничестве» сохраняет свою душу; точнее, русский вырывается из «русских обстоятельств», все еще для него грубых и жестоких (хотя они несравненно «женственнее» западных), — и ищет в неясном или неведомом Западе, в гипотетическом Западе, условий или возможностей для такого высокого диапазона русских чувств, какому в отечестве грозит «кутузка».

* * *

Западным людям русская литература открыла эру нового нравственного миропорядка. Замечательно, что русские никогда не увлекались нравственными характерами западных литератур, если это не были характеры «дополнительные для русской души»... Например, Корделия увлекательна, но она есть олицетворение жалости к отцу. Герои Диккенса увлекательны, но это все есть «бедные люди» Достоевского и даже скромный герой гоголевской «Шинели». Нужно заметить, что Диккенс «пел» и любил не типичные английские идеалы, не людей «бифштекса» и гигантской работы. Сам Диккенс был изменник родины и «почти русский писатель» (см. Ульяну Осоргину в *древней Руси*). Оттого его на Руси и любили. Но «королей» и «министров» из Расина, Корнеля, из Виктора Гюго, из Дюма — никогда не любили, предпочитая им «воришек» из Эженя Сю. Заметив это, обратимся к Западу. Он преклонился вовсе не перед *художеством* русских писателей, довольно неуловимым в переводе, но перед новым нравственным миропорядком, какой открывался просто картинами русской жизни и характерами русских людей. Минувший год в Наугейме мне пришлось не самому слышать, но через третье лицо услышать рассказ о том необыкновенном и *исцеляющем* действии, какое русская литература производит на иностранцев, на американцев, немцев, англичан «в несчастии», в «ломке жизни», в «крушившейся судьбе».

— Я не знаю, что у нее... Она постоянно печальна. Подолгу и часто она говорит со мной о русской литературе, больше всего о Тургеневе. Она знает мельчайшие его вещи, знает незаметные его афоризмы. И вот, *как Тургенев смотрит на жизнь и на человека* — это неизъяснимо ее волнует, привлекает и, видимо, утешает, успокаивает. Она приводила мне места из его «Фауста» и из «Романа в девяти письмах», каких я и сама не заметила. А я знаю Тургенева и люблю его.

В Мюнхене, позднее, мне приводилось слышать от шведов:

— Мы же знаем русскую жизнь, потому что мы читали Толстого. И ваши деревни, и ваши мужики, и ваша религия — не чужие нам.

В самом деле, «литература — жизнь». Особенно у нас, особенно в «натуральной школе» нашей... Знают литературу, — и им открылась вся громада нашей жизни... ленивой, тихой, незаметной, глубокомысленной.

«В самом деле, русская туфля не жмет».

Есть ли во всей русской литературе хоть одна страница, где была бы сказана насмешка над «оставленною девушкою»? над ребенком? матерью? над бедностью? «Вор», — и тот в «честных» («Честный вор» у Достоевского). Русская литература есть сплошной гимн униженному и оскорбленному. И так как таковых множество всегда, везде, множество в гордой и гигантски работающей Европе, то можно представить взрыв восторга, когда всем им показана страна, показан целый народ, где никогда никто не смеет обидеть «сиротку» не в имущественном, а вот в нравственном смысле, — обидеть «убогого» по положению, по судьбе, по «ломке жизни». Таких слишком много. Что им скажут «короли» Гюго, да и вообще слишком явно «выдуманные сюжеты» западной обычной беллетристики. Но русские рассказы, — тоже «обычно» из настоящей жизни, с несомненными чертами в себе «подлинной верности с действительностью», — могут дать утешение: «Есть страна, целый огромный народ, неизмеримого протяжения, где я не была бы презираема», «не была бы так грубо оскорблена», где всякий «заступился бы за меня», где «взяли бы меня за руку и поставили на ноги». — «Я — окаянная, но — в нашей стране, а не на всей планете».

Вот действие русской литературы: оно многозначительно не по отзывам западной критики, не по шумной ее славе, не по осязательным триумфам, а по неосознательному, по не учитываемому нигде и никем сродству с душой простого читателя, повсеместного читателя, в известном строе этой души, в известном ее положении... «Кому-то русская песня всегда нравится»... Нет, — больше, лучше: «Есть души, которым русская песня одна нужна на свете, милее всего на свете, как ушибленному — его мать, как больному ребенку — опять же мать его, может быть некрасивая женщина и даже не добродетельная женщина». «Добродетели» с русских, конечно, странно спрашивать... «Тройка»... Но вот что есть всегда на Руси: отзывчивость. Она может быть даже оттого и создалась на Руси или преувеличилась на Руси, что слишком уж многих и повсеместно давят

разные «тройки». Как бы то ни было, но «убаюкаться на Руси» многим хочется... Ну, и надеть наши «туфли»...

* * *

«Женственное» — облегает собою мужское, всасывает его. «Женственное» и «мужское» — как «вода» и «земля» или как «вода» и «камень». Сказано — «вода точит камень», но не сказано — «камень точит воду». Он ей только «мешает» бежать, куда нужно, «задерживает», «останавливает». «Мужское» во всяком случае — сила; и она слабее ласки. Ласка всегда переборет силу. «Тевтонское нашествие» упало бы в «Русь», как глыба земли в воду. Замутило бы ее, расплескало бы ее, но, в конце концов, растворилось бы в ней. «Русская стихия» осталась бы последнею и поверх всего. Вильгельм и Бисмарк естественно имели точку зрения «военачальническую» и вообще «начальническую»; но есть еще точка зрения «подданническая». Вот она-то и важна. Она была совсем не видна ни Бисмарку, ни Вильгельму. Заприметь они ее, они бы поняли, до какой степени «сон Вильгельма» несбыточен, невозможен и даже смешон. На Русь пришли лютеране Даль, Гильфердинг, Саблер; к сожалению, не умею назвать немецкую фамилию Востокова. И поразительно, что они все не только потеряли «свое немецкое», придя на Русь, с каковою потерей, естественно, *потускнели бы*. Этого не случилось, а случилось другое: — они *расцвели*, стали ярче, сохранив всю деловитость и упорядоченность форм (немецкое «тело»), но пропитав все это «женственною душою» Востока... В конце концов оставили и свою религию, приняв нашу восточную, — без стеснения, без понуждения, даже без приманки, сами. Решительно невозможно себе представить, чтобы русский, придя в Германию, стал «ух какой вахмистр!». Т. е. немецкую душу совсем не принимают русские, а только — формы. Таким образом, на слова Франца-Иосифа, что он «предпочел бы стоять часовым у немецкой палатки, чем сделаться славянским королем», можно ответить: «ну, ваше величество, сколько мы знаем случаев, что немцы предпочитают служить коллежскими секретарями у нас, чем у вас в полковниках». Как все это сделалось? Как случилось? Почему Саблер сделался энтузиастом консисторского делопроизводства? Почему Даль, чиновник в петербургском департаменте и лютеранин, стал собирать пословицы, поговорки и, наконец, весь «живой говор» Руси? Почему Шейн всю жизнь пробродил по селам и деревням, собирая самые *напевы*, самые *мотивы* бытовых, свадебных, похоронных песен? Он, талмудист-еврей?! Отчего

Гершензон в Москве с такой любовью реставрирует всю старую литературную Русь? «Женственная душа» и немножко «туфля» (должно быть, тоже не мужского покроя) везде прососались, отнюдь не разрушая мужских ихних «форм», мужского «тела», но паче его укрепляя и расцветчивая. Решительно,— они работают по формам, по приемам лучше русских. Оттого Саблер и дошел до обер-прокурора: дело не малое. Но работают в русском духе, для русских целей. Работают в точности и полно *русскую работу*. Вот ряд маленьких *miracula ethinica**, приняв которые во внимание, можно ответить и Бисмарку, и Вильгельму, и Францу-Иосифу, как тот мужичок в лесу:

— Ничего, барин... Вызволимся как-нибудь.

1911 г.

* Чудеса этики (лат.).

ВОЗВРАТ К ПУШКИНУ

(К 75-летию дня его кончины)

27 января 1837—27 января 1912 года

Его еще нет, но его так хочется, этого возвращения. Правда, прошел уже

...суд глупца и смех толпы холодной,

который надвигался на Пушкина при жизни и торжествовал свои триумфы в «разлитом море» 60-х — 70-х годов. Пушкин поставлен на свое место, — и место это, первого русского поэта, утверждено за ним. Но это всероссийское признание, торжественное и национальное, почти государственное, — наконец, признание литературное и ученое, — не то, о чем мечтается и что нужно; нужно не *ему*, а *нам*. Хочется, чтобы он вошел *другом в каждую русскую семью*, стал дядькою-сказочником для русских детей, благородным другом-джентльменом молодых матерей, собеседником старцев. Все это возможно. Для каждого *возраста* Пушкин имеет у себя нечто соответствующее, и мысль о разделении Пушкина и *раздельных его изданиях* «для детей», «для «юношества» и для «зрелого возраста» — приходит на ум. Но это уже техника, и мы ее оставляем в стороне. Вот этого «под кровом домов» — ужасно мало. «Под кровом домов» скорее живут Лермонтов и Гоголь, всякая мельчайшая вещица которых бывает прочитана русским даровитым мальчиком и русскою даровитою девочкою уже к 12 и самое позднее, к 15 годам. Между тем как пушкинские «Летопись села Горохина» или «Сцены из рыцарских времен» неизвестны или «оставлены в пренебрежении» и многими из взрослых. Дивные вещицы из его лирики, как мы неоднократно убеждались из расспросов, из разговоров, — остаются неизвестными или тускло помнятся, с трудом припоминаются, даже иногда

корифеями литературы, не говоря о «людях общества». Пушкин скорее пошел в детальное изучение библиофилов. Вот они спорят и препираются о каждой его строчке. Но эти великие «корректоры текста» скорее мешают введению его под кровы домов. Нет *удобных* изданий Пушкина... Чтоб «взять Пушкина с полки», нужно иметь хороший рост, да и здоровенные руки: академические томы изломают руки, изломают институтке, гимназистке, мальчику. Студент ни за что их не возьмет в руки по «превосходительной учености»; «Петя 11 лет» ни за что не отыщет в десяти толстых томах, с грудами примечаний и вообще ученой работы, «своей дорогой сказочки» о царе Салтане или о работнике Балде. *Ходких изданий* совершенно нет; никакой «Посредник» над ними не трудился. Нет «Пушкина», которого можно было бы «сунуть под подушку», «забыть на ночном столике», «потерять — не жаль», потерять «с милым на прогулке», — сунуть в корзину или в карман, идя в лес по грибы или ягоды. Наконец, нет изданий той чарующей внешности, которые покупаются за обложку. Наши виртуозы обложки, как молодой художник Лансере, которые «возвели обложку к роскоши Шекспира», к «свободе и прелести Гете и Шиллера», — ни разу не коснулись волшебным пером своим «обложки к Пушкину». По-видимому, повинуюсь господину всего, заказу, — они украшают обложки совершенно мертвенных и лишь претенциозных поэтов и прозаиков наших дней. Академии и большим издателям следовало бы давно утилизировать талант рисовальщиков в пользу Пушкина и других классиков.

Если бы Пушкин не только изучался учеными, а вот вошел другом в наши дома, — любовно прочитывался бы, нет — *трепетно переживался бы каждым русским от 15 до 23 лет*, — он предупредил бы и сделал невозможным разлив пошлости в литературе, печати, в журнале и газете, который продолжается вот лет десять уже. Ум Пушкина предохраняет от всего глупого, его благородство предохраняет от всего пошлого, разносторонность его души и занимавших его интересов предохраняет от того, что можно было бы назвать «раннею специализацией души»: так марксизм, которому лет восемь назад отданы были души всего учащегося юношества, совершенно немислим в юношестве, знакомом с Пушкиным. А это было именно время, когда шли «академические издания» Пушкина в редакции ученого Леонида Майкова, когда Лернер собирал свои «Дни и труды Пушкина», и шел спор о подлинности его «Русалки». Вина этому — и семья наша, где Пушкин решительно не «привился», но отчасти — и солидное Министерство народного просвещения. Оно решительно еще не дозрело до Пушкина, находясь на уров-

не «Былин, собранных Рыбниковым» и од Державина. Держась метода «всезнайства», оно пичкает учеников всех разрядов своими «образцами из всего понемножку», образцами из «Домостроя», образцами из Карамзина, «да не забыть бы хоть двух басен И. И. Дмитриева, как предшественника Крылова»; и когда ученики дотаскиваются до Пушкина, то они до того бывают истомлены «предшествующим курсом», а вместе получили такое основательное отвращение к «попам Сильвестрам и Юрию Крижаничу» (все область *науки*, а не педагогики), что, присоединив мысленно Пушкина «тоже к Крижаничу», ограничиваются и из него «требуемыми образцами», переходя в восьмой класс гимназии и на первом курсе университета прямо к Леониду Андрееву, как «сути» всего, как сочетавшему в себе «Манфреда», Шекспира и решительно всех. *Гимназия* — далека от задач *учености* и научного отношения к вещам, в том числе — к литературе. Отроческий возраст и возраст первой юности — время эстетики, годы увлечений, а не «ума холодных наблюдений», которыми его *преждевременно* и *по-старчески* пичкает чиновное Министерство. Вот если бы этим годам увлечения, да нашего русского увлечения, самозабвенного, даны были «в снесь» всего *три писателя*, только три — Пушкин, Лермонтов и кн. Одоевский, — причем они в семь лет могли бы быть разучены со всем энтузиазмом Белинского, прилежанием Лернера и любовью к минувшим дням Анненкова, — то и дома русские, и общество русское, и несчастная наша журналистика были бы предохранены от тысячи не только ложных шагов, но и шагов грязных, марающих. Но нашему Министерству просвещения «хоть кол на голове теши» — оно ничего не понимает. Ну, Бог с ним. Надежда — просто на отцов семьи, на матерей семьи. Пусть они воспользуются принципом педагогики: «не — многое, а — много». Пусть они предостерегают отрочество и юношество от *литературной рассеянности*: один Пушкин — *на много лет*, вот лозунг, вот дверь и путь.

Пушкин — это покой, ясность и уравновешенность. Пушкин — это какая-то *странная вечность*. В то время как романы Гете уже невозможно читать сейчас, или читаются они с невыносимым утомлением и скукою, «Пиковую даму» и «Дубровского» мы читаем с такой живостью и интересом, как бы они *теперь были написаны*. *Ничего не устарело* в языке, в *течении речи*, в *душевном отношении* автора к людям, вещам, общественным отношениям. Это — чудо. Пушкин несколько не состарился; и когда и Достоевский, и Толстой уже несколько устарели, устарели по самой нервозности своей, по идеям, по взглядам некоторым, — Пушкин ни в чем не устарел. И поглядите: лет через

двадцать он будет *моложе и современнее* и Толстого и Достоевского. Как он имеет в себе нечто для всякого возраста, так (мы предчувствуем) в нем сохранится нечто и для всякого века и поколения. «Просто — поэт», как он и определял себя («Эхо»), — на все благородное, давший благородный отзвук. Скажите: когда этому перестанет время, когда это станет «не нужно»? Так же это невозможно, как и то, чтобы «утратили прелесть и необходимость» березовая роща и бегущие весной ручьи. Пушкин был в высшей степени не специален ни в чем: и отсюда-то — его вечность и *общеобразовательность*. Все «уклоняющееся» и «нарочное» он как-то инстинктивно обходил; прошел легкою иронией «нарочное» даже в «Фаусте» и в «Аде» Данте (его пародии), в столь мировых вещах. «Ну, к чему столько», например, мрака и ужасов — у флорентийского поэта? К чему эта задумчивость до чахотки у туманного немца:

...ты думаешь тогда,
Когда не думает никто.

Пушкин всегда с *природою*, и уклоняется от человека везде, где он уклоняется от природы. В *самом человеке* он взял только зверей, полубогу и полуживотному: вот — старость, вот — детство, вот — потехи юности и грезы девушек, вот — труды замужних и отцов, вот — наши бабушки. *Все возрасты* взяты Пушкиным; и каждому возрасту он сказал на ухо скрытые думки его и слово нежного участия, утешения, поддержки. И все — немногословно. О, как все коротко и многодумно! Пушкина нужно «знать от доски до доски», и слова его

Над *вымыслом* слезами *обольюсь*

есть завещание и вместе упрек нам: — его благородный, не язвительный упрек. Заметьте еще: ничего *язвительного* на протяжении всех его томов! Это — прямо чудо... А как он негодовал! Но ядом не облил ни одну свою страницу. Вот почему он так воспитателен и здоров для души. Во всех его томах ни одной страницы *презрения к человеку*. Если мы будем считать, *что у него отсутствует*, то получится почти такое же богатство, как если мы будем пересчитывать, *что у него есть*. Мусора, сора, зависти, — никаких «смертных грехов»... Какая-то удивительно *чистая кровь* — почти суть Пушкина. И он не входит в «Курс русской словесности», а он есть *вся русская словесность*, но не в начальном осуществлении, где было столько «ложных шагов», а в благородной первоначальной задаче. Мы должны любить его, как люди «потерянного рая» любят и воображают о «возвра-

щенном рае»... Но «хоть кол теши»... Оставим. Купите-ка, господа, сегодня своим детишкам «удобного Пушкина» и отберите у них разные «новейшие произведения»... Уберите и крепко запирайте в шкаф, а еще лучше — ключ потеряйте. «Новейшие произведения» тем отмечаются, что польза от них происходит только тогда, когда их теряешь, забываешь у приятеля, когда их «зачитывают» или, наконец, когда какая-нибудь несгорающая «Анафема» (Л. Андреева) наконец сгорает, хоть при пожаре квартиры.

Ну, довольно. Все эти мысли тоже «потерянного рая». К Пушкину, господа! — к Пушкину снова!.. Ондохнул бы на нашу желчь, — и желчь превратилась бы в улыбки. Никто бы не гневался «на теперешних», но никто бы и не читал их...

1912 г.

ОПАВШИЕ ЛИСТЬЯ

Короб второй и последний

Чем старее дерево, тем больше падает с него листьев. Завещая по «†» моей перепечатывать все аналогичные и продолжающие «Уедин.» и «Опав. листья» книги в том непременно виде, как напечатаны они (т. е. с новой страницы каждый новый текст), я, в целях компактности и, след., ускорения печатания «павших листов», отступаю от прежней формы, с крайним удручением духа.

«Опав. Листья» изд. 1913 г. представляет $\frac{1}{2}$ или $\frac{1}{3}$ того, что записалось за 1912 г., причем печатались они в таком состоянии духа, что я их почти не приводил в порядок хронологически. Так, все помеченное «Клиника Елены Павловны» — относится к октябрю, ноябрю и декабрю месяцам, — и должно быть отнесено в конце издания за этот год. Вообще же, печатающееся ныне должно быть как-то «стасовано» («тасуем карты») с изданным в 1913 году, — листок за листом, — и, во всяком случае, не в том порядке и виде, как было издано в 1913 г.

Во 2-м коробе листы лежат в строгом хронологическом порядке, насколько его можно было восстановить по пометкам и по памяти.

Самая почва «нашего времени» испорчена, отравлена. И всякий дурной корень она жадно хватает и произращает из него обильнейшие плоды. А добрый корень умерщвляет.

(смотря на портрет Страхова: почему из «сочинений Страхова» ничего не вышло, а из «сочинений Михайловского» вышли школьные учителя, Тверское земство и множество добросовестно работающих, а частью только болтающих, врачей).



Страшная пустота жизни. О, как она ужасна...



Теперь в новых печках повернул ручку в одну сторону — труба открыта, повернул в другую сторону — труба закрыта.

Это не благочестиво. Потому что нет разума и заботы.

Прежде, возьмешь маленькую вьюшку — и надо ее не склонить ни вправо, ни влево — и она ляжет разом и приятно. Потом большую вьюшку, — и она покрывает ее, как шапка.

Это правильно.

Раз я видел новое жнитво: не мужик, а рабочий сидел в чем-то, ни — телега, ни — другое что, ее тянула пара лошадей; колымага колыхалась, и мужик в ней колыхался. А справа и слева от колымаги, как клешни, вскидывались кверху не то косы, не то грабли. И делали дело, не спорю — за двенадцать девушек. Только девушки-то эти теперь сидели с молодцами за леском и финтили. И сколько им ни наработает рабочий с клешнями, они все профинтят.

Выйдут замуж — и профинтят мужнее.

Муж, видя, что жена финтит — завел себе на стороне «занубушку».

И повалилось хозяйство.

И повалилась деревня.

А когда деревни повалились — зачернел и город.
Потому что не стало головы, разума и Бога.



Несут письма, какие-то теософические журналы (не выписываю). Какое-то «Таро»... Куда это? зачем мне?

«Прочти и загляни».

Да почему я должен во всех вас заглядывать?



Тó знание ценно, которое острой иглой прочертило по душе. Вялые знания — безценны.

(на поданной почтовой квитанции).



С выпученными глазами и облизывающийся — вот я.

Некрасиво?

Что́ делать.



...иногда кажется, что во мне происходит разложение литературы, самого *существова* ее. И, может быть, это есть мое мировое «emploi»*. Тут и моя (особая) мораль, и имморальность. И вообще мои дефекты и качества. Иначе, нельзя понять. Я ввел в литературу самое мелочное, мимолетное, невидимые движения души, паутинки быта. Но вообразить, что это было возможно потому, что «я захотел», никак нельзя. Сущность гораздо глубже, гораздо лучше, но и гораздо страшнее (для меня): безгранично страшно и грустно. Конечно, не бывало еще примера, и повторение его немыслимо в мироздании, чтобы в тот самый миг, как слезы текут, и душа разрывается — я почувствовал не ошибающимся ухом слушателя, что они текут литературно, музыкально, «хоть записывай»: и ведь только потому я записывал («Уединенное», — девочка на вокзале, вентилятор). Это так чудовищно, что Нерон бы позавидовал; и «простимо»

* Занятие, призвание (франц.).

лишь потому, что фатум. Да и простимо ли?.. Но оставим грехи; таким образом, явно во мне есть какое-то завершение литературы; литературности; ее существа, — как потребности отразить и выразить. Больше что же еще выразить? Паутины, вздохи, *последнее уловимое*. О, фантазировать, творить еще можно: но ведь суть литературы не в *вымысле же*, а в потребности *сказать сердце*. И вот с этой точки я кончаю и кончил. И у меня мелькает странное чувство, что я *последний* писатель, с которым литература вообще прекратится, кроме хлама, который тоже прекратится скоро. Люди станут просто *жить*, считая смешным, и ненужным, и отвратительным литераторствовать. От этого, может быть, у меня и сознание какого-то «последнего несчастья», сливающегося в моем чувстве с «я». «Я» это ужасно, гадко, огромно, трагично последней трагедией: ибо в нем как-то диалектически «разломилось и исчезло» колоссальное тысячелетнее «я» литературы.

— Фу, гад! Исчезни и пропади!

Это частое мое чувство. И как тяжело с ним жить.

(дожидаясь очереди пройти исповедываться). (1-ая гимназия).



Какие хорошие бывают (иногда) попы. Иван Павлиныч взял под мышку мою голову и, дотронувшись пальцем до лба, сказал: «Да и что мы можем знать с нашей *черепушкой*»? (мозгом, разумом, черепом). Я ему сказал разные экивоки и «сомнения» за годы Рел.-фил. собраний. И так сладко было у него поцеловать руку. Исповедывал кратко. Ждут. Служба и доходы. Так «быт» мешается с небесным глаголом, — и не забывай о быте, слушая глагол, а, смотря на быт, вспомни, что ты, однако, слышал и глаголы. Но Слободской — глубоко бескорыстен. Спасибо ему. Милый. Милый и умный (очень).



Есть люди, которые рождаются «ладно» и которые рождаются «не ладно».

Я рожден «не ладно»: и от этого такая странная, колючая биография, но довольно любопытная.

«Не ладно» рожденный человек всегда чувствует себя «не в своем месте»: вот, именно, как я всегда чувствовал себя.

Противоположность — бабушка (А. А. Руднева). И ее благо-родная жизнь. Вот кто родился... «ладно». И в бедности, ничто-жестве положения — какой непрерывный свет от нее. И польза. От меня, я думаю, никакой «пользы». От меня — «смута».



Я мог бы наполнить багровыми клубами дыма мир... Но не хочу.

[«Люди лунного света» (если бы настаи-вать); 22 марта 1912 г.]

И сгорело бы все... Но не хочу.
Пусть моя могилка будет тиха и «в сторонке».

(«Люди лун. св.», тогда же).



Работа и страдание — вот вся моя жизнь. И утешением — что я видел заботу «друга» около себя.

Нет: что я видел «друга» в самом себе. «Портретное» пре-восходило «рабочее». Она еще более меня страдала и еще боль-ше работала.

Когда рука уже висела, — в гневе на недвижность (весна 1912 года), она, остановясь среди комнаты — несколько раз взмахнула обеими руками: правая делала полный оборот, а ле-вая — поднималась только на небольшую дугу, и со слезами стала выкрикивать, как бы топая на больную руку:

— Работай! Работай! Работай! Работай!

У нее было все лицо в слезах. Я замер. И в восторге, и в жа-лости.

(левая рука имеет жизнь только в плече и локте).



«Ты тронь *кожу* его», — искушал Сатана Господа об Иове... Эта «кожа» есть у всякого, у всех, но только она не одинаковая. У писателей, таких великодушных и готовых «умереть за человека» (человечество), вы попробуйте задеть их *авторство*, сказав: «*Плохо пишете*, господа, и *скучно* вас читать», — и они с вас *кожу* сдерут. Филантропы, кажется, очень не любят «*отчета о деньгах*». Что касается «духовного лица», то оно, конечно, «все в благодати»: но вы затроньте его со стороны «рубля» и наград — к празднику — «палицей», «крестом или камиллавкой: и «лицо» начнет так ругаться, как бы русские никогда не были крещены при Владимире...

(получив письмо попа Альбова).



Ну, а у тебя, Вас. Вас., где «кожа»?
Сейчас не приходит на ум, но, конечно — *есть*.



Поразительно, что у «друга» и Устьянского нет «кожи». У «друга» — наверное, у Устьянского — кажется, наверное. Я никогда не видел «друга» оскорбившимся *и в ответ разгневанным* (в этом все дело, об этом Сатана и говорил). Восхитительное в нем — полная и спокойная гордость, молчаливая, и которая ни разу не сжалась и, разогнувшись пружиной, ответила бы ударом (в *этом* дело). Когда ее теснят — она посторонится; когда нагло смотрят на нее — она отходит в сторону, отступает. Она никогда не поспорила, «кому сойти с тротуара», кому стать «на коврик», — всегда и первая уступая каждому, до зоба, до спора. Но вот прелесть: когда она отступала — она всегда была царицею, а кто «вступал на коврик» — был и *казался* в этот миг «так себе». Кто учил?

Врожденное.

Прелесть манер и поведения — всегда врожденное. Этому нельзя научить и выучиться. «В моей походке — душа». К сожалению, у меня, кажется, преотвратительная походка.



Цензор только тогда начинает «понимать», когда его Краевский с Некрасовым кормят обедом. Тогда у него начинается пищеварение, и он догадывается, что «Щедрина надо пропустить».



Один 40-ка лет сказал мне (57 л.): — «Мы понимаем *все, что и вы*». — Да, у них «диплом от Скабичевского» (кончил университет). Что же я скажу ему? — «Да, я тоже учился только в университете, и дальше некуда было пойти». Но печальна была бы образованность, если бы дальше нас и цензорам некуда было «ходить».

Они грубы, глупы и толстокожи. Ничего не поделаешь.

Из цензоров был *литературен* один — Мих. П. Соловьев. Но на него заорали Щедрины: «Он нас не пропускает! Он консерватор». Для всей печати «в цензора» желателен один Балалайкин, человек ловкий, обходительный и либеральный. Уж при нем-то литература процветет.

(арестовали «Уедин.» по распоряжению петроградск. цензуры).



Почему я издал «Уедин.»?

Нужно.

Там были и побочные цели (главная и ясная — соединение с «другом»). Но и еще сверх этого, слепое, неодолимое

Н У Ж Н О.



Точно потянуло чем-то, когда я почти автоматически начал нумеровать листочки и отправил в типографию.



Да, «эготизм»: но чего это стоило!



Отсюда и «Уед.» как попытка выйти из-за ужасной «занавески», из-за которой не то чтобы я не хотел, но не *мог* выйти... Это не физическая стена, а духовная, — о, как страшной физической.



Отсюда же и привязанность или, вернее, какая-то таинственная *зависимость* моя от «друга»... В которой *одной* я сыскал что-то *нужное* мне... Тогда как суть «стены» заключается в «не нужен я» — «не нужно мне»... Вот это «не нужно» до того ужасно, плачевно, рыдательно, это такая метафизическая пустота, в которой невозможно жить: где, как в углекислоте, «все задыхается».

И, между тем, во мне есть «дыханье». «Друг» и дал мне возможность дыханья. А «Уед.» есть усилие расширить дыхание, и прорваться к люд., кот. я искренне и глубоко люблю.

Люблю, а не чувствую. Ловлю — но воздух. И как будто хочу сказать слово, а пустота не отражает звука.

Ведь я никогда не умел себе представить читателя (совет Страхова). Знал — читают. И как будто не читают. И «не читают», «не читает ни один человек» — живее и действительнее, чем что читают многие.

И тороплюсь издавать. Считаю деньги. Значит, *знаю*, что «читают»: но момент, что-то перестроилось перед глазами, перед мыслью, и — «не читают» и «ничего вообще нет».

Как будто глаз мой (дух) на уровне с доской стола. И стол — тоненький лист. Дрогнуло: и мне открыто *под столом* — вовсе другое, нежели *на столе*. Зрение переместилось на миллиметр. «На столе» — наша жизнь, «читают», «хлопочу»; «под столом» — ничего вообще нет или совсем другой вид.



Любить — значит «не могу без тебя быть», «мне тяжело без тебя»; «везде скучно, где не ты».

Это внешнее описание, но самое точное.

Любовь вовсе не огонь (часто определяют), любовь — воздух. Без нее — нет дыхания, а при ней «дышится легко».

Вот и все.



Печальны и запутанны наши общественные и исторические дела... Всегда передо мною гипсовая маска покойного нашего философа и критика, Н. Н. Страхова, — снятая с него в гробу. И когда я взглядываю на это лицо человека, прошедшего в жизни нашей какую-то тенью, а не реальностью, — только от того одного, что он не шумел, не кричал, не агитировал, не обличал, а сидел тихо и тихо писал книги, — у меня душа мутится... Судьба Константина Леонтьева и Говорухи-Отрока...

Да и сколько таких. Поистине, прогресс наш может быть встречен словами: «*morituri te salutant*»* — из уст философов, поэтов, одиночек-мыслителей. «Прогресс наш» совершился при «непременном требовании», — как говорится в полицейских требованиях и распоряжениях, — чтобы были убраны «с глаз долой» все люди с задумчивостью, пытливостью, с оглядкой на себя и обстоятельства.

С старой любовью к старой родине...

Боже! если бы стотысячная, пожалуй, даже миллионная толпа «читающих» теперь людей в России с таким же вниманием, жаром, страстью прочитала и *продумала* из страницы в страницу Толстого и Достоевского, — задумалась бы над каждым их рассуждением и каждым художественным штрихом, — как это она сделала с *каждою страницей* Горького и Л. Андреева, то общество наше выросло бы *уже теперь* в страшно серьезную величину. Ибо даже без всякого *школьного учения*, без знания *географии* и *истории*, — просто «передумать» только Толстого и Достоевского — значит стать как бы Сократом по уму, или Эпиктетом, или М. Аврелием, — люди тоже не очень «знавшие географию» и «не кончившие курса в гимназии».

* Обреченные на смерть тебя приветствуют (*лат.*).

Вся Греция и Рим питались только литературою: школ, в нашем смысле, вовсе не было! И как возросли. Литература, собственно, есть *естественная школа* народа, и она может быть *единственною* и *достаточною* школою... Но, конечно, при условии, что весь народ читает «Войну и мир», а «Мальву» и «Трое» Горького читают только специалисты-любители.

И это *было* бы, конечно, если бы критика, печать так же «задыхались от волнения» при появлении каждой новой главы «Карениной» и «Войны и мира», как они буквально задыхались и продолжают задыхаться при появлении каждой «вещи» в 40 страничек Леонида Андреева и М. Горького.

Одно это неравенство весов отодвинуло на сто лет назад русское духовное развитие, — как бы вдруг в гимназиях были срезаны старшие классы, и оставлены одни младшие, одна прогимназия.

Но откуда это? почему?

Как же: и Л. Андреев, и М. Горький были «прогрессивные писатели», а Достоевский и Толстой — русские одиночки-гении. «Гений — это так мало»...

Достоевский, видевший все это «сложение обстоятельств», желчно написал строки:

«И вот, в XXI столетии, — при всеобщем реве ликующей толпы, блузник с сапожным ножом в руке поднимается по лестнице к чудному Лику Сикстинской Мадонны: и раздерет этот Лик во имя всеобщего равенства и братства»... «Не надо гениев: ибо это — аристократия». Сам Достоевский был бедняк и демократ: и в этих словах, отнесенных к будущему торжеству «равенства и братства», он сказал за век или за два «отходную» будущему торжеству этого строя.



Чего я совершенно не умею представить себе — это чтобы он запел песню или сочинил хоть в две строчки стихотворение. В нем совершенно не было певческого, музыкального начала. Душа его была совершенно без музыки.

И в то же время он был весь шум, гам. Но без нот, без темпов и мелодии.

Базар. Целый базар в одном человеке. Вот — Герцен. Оттого так много написал: но ни над одной страницей не впадает в задумчивость читатель, не заплачет девушка. Не заплачет, не замечается и даже не вздохнет. Как это бедно. Герцен и богач, и бедняк.



«Я до времени не беспокоил ваше благородие, по тому самому, что мне хотелось накрыть их тепленькими».

Этот фольклор мне нравится.

Я думаю, в воровском и в полицейском языке есть нечто художественное.

Сюда Далю не мешало бы заглянуть.

(на процессе Бутурлина мелкий чиновничек, выслеживавший в подражание Шерлоку Холмсу Обриена-де-Ласси и Панченко).



Вся «цивилизация XIX-го века» есть медленное, неодолимое и, наконец, восторжествовавшее просачивание всюду кабака.

Кабак просочился в политику — это «европейские (не английский) парламенты».

Кабак прошел в книгопечатание. Ведь до XIX-го века газет почти не было (было кое-что), а была только литература. К концу XIX-го века газеты заняли господствующее положение в печати, а литература — почти исчезла.

Кабак просочился в «милое хозяйство», в «свое угодье». Это — банк, министерство финансов и социализм.

Кабак просочился в труд: это фабрика и техника.

Раз я видел работу «жатвенной машины». И подумал: тут нет Бога.



Бога вообще в «кабаке» нет. И сущность XIX-го века заключается в оставлении Богом человека.



Измайлов (критик) не верил, будто я «не читал Щедрина». Между тем как в круге людей нашего созерцания считалось

бы невежливостью в отношении ума своего *читать* Щедрина.

За 6 лет личного знакомства с Страховым я ни разу не слышал произнесенным это имя. И не по вражде. Но — «не приходит на ум».

Тоже Рцы, Флоренский, Рачинский (С. А.): никогда не слышал.

Хотя, конечно, все знали *суть* его. Но:

— Мы все-таки учились в университете.

(май 1912 г.)



Из всего «духовного» ему нравилась больше всего основательная дубовая кожаная мебель.

И чин погребения.

Входит в начале лета и говорит:

— Меня приглашают на шхуну, в Ледовитый океан. Два месяца плавания. Виды, воздух. Гостем, бесплатно.

— Какие же вопросы? Поезжайте!!

— И я так думал и дал согласие.

— Отлично.

— Да. Но я отказался.

— Отказались?!

— Как же: ведь я могу заболеть в море и умереть.

— Все мы умрем.

— Позвольте. Вы умрете на суше, и вас погребут по полному чину православного погребения. Все пропоют и все прочитают. Но на кораблях совершенно не так: там просто по доске спускают в воду зашитого в саван человека, прочитывая «напутственную молитву». Да и ее лишь на военном корабле читает священник, а на торговом судне священника нет, и молитву говорит капитан. Это что же за безобразие. Такого я не хочу.

— Но, позвольте: ведь вы *уже умрете тогда*, — сказал я со страхом.

— Те-те-те... Я так не хочу!!! И отказался. Это безобразие.

Черные кудри его, по обыкновению, тряслись. Штаны хлопались, как паруса, около тоненьких ног. Штиблеты были с французскими каблуками.

Мне почудилось, что через живого человека, т. е. почти живого, «все-таки», — оскалила зубы маска Вольтера.

(наш Мадмазелькин).



Хороши делают чемоданы англичане, а у нас хороши народные пословицы.

(собираюсь в Киев) † Столыпин).



Только то чтение удовлетворительно, когда книга *переживается*. Читать «для удовольствия» не стоит. И даже для «пользы» едва ли стоит. Больше пользы приобретешь «на ногах», — просто живя, делая.

Я *переживал* Леонтьева (К.) и еще отчасти Талмуд. *Начал* «переживать» Метерлинка: страниц 8 я читал неделю, впадая почти после каждых 8-ми строк в часовую задумчивость (читал в конке). И бросил от *труда* переживания, — великолепного, но слишком утомляющего.

Зачем «читал» другое — не знаю. Ничего нового и ничего паразитического.



Пушкин... я его *ел*. Уже знаешь страницу, сцену: и перечтешь вновь; но это — *еда*. Вошло в меня, бежит в крови, освежает мозг, чистит душу от грехов. Его

Когда для смертного умолкнет шумный день

одинаково с 50-м псалмом («Помилуй мя, Боже»). Так же велико, оглушительно и религиозно. Такая же правда.



Слабохарактерность — главнейший источник неправдивости. Первая (неодолимая) неправда — из боязни обидеть другого.

И вот почему Бог не церемонится с человеком. Мы все церемонимся друг с другом и все лжем.

(за нумизматикой).



Что́ я все нападаю на Венгерова и Кареева. Это даже мелко...

Не говоря о том, что тут никакой нет «добродетели».



Труды его почтенны. А что он всю жизнь работает над Пушкиным, то это даже трогательно. В личном обращении (раз) почти приятное впечатление. Но как взгляну на живот — уже пишу (мысленно) огненную статью.



Ужасно много *гнева* прошло в моей литерат. деятельности. И все это напрасно. Почему я не люблю Венгерова? Странно сказать: оттого, что толст и черен (как брюхатый таракан).



Александр Македонский с 30-ти тысячным войском решил покорить монархии персов. Это что́ нам, русским: Пестель и Волконский решили с двумя тысячами гвардейцев покорить Россию...

И пишут, пишут историю этой буффонады. И мемуары, и всякие павлиньи перья. И Некрасов с «русскими женщинами».

(на извозчике).



Нужно разрушить политику... Нужно создать аполитичность. «Бог больше не хочет политики, залившей землю кровью»... обманом, жестокостью.

Как это сделать? Нет, как *возможно* это сделать?

Перепутать все политические идеи... Сделать «красное — желтым», «белое — зеленым», — «разбить все яйца и сделать яичницу»...

Погасить политическое пылание через то, чтобы вдруг «никто ничего не понимал», видя все «запутанным» и «смешавшимся»...

А, вам нравилось, когда я писал об «адогматизме христианства», т. е. об отрицании *твердых*, жестких, не уступчивых костей, *линий* в нем... Аплодировали.

Но почему?

Я-то думал через это мягкое, нежное, во все стороны подающееся христианство — указать возможность «спасти истину». Но аплодировали-то мне *не за это*, я это видел: а — что это сокрушает *догматическую церковь*... «Парное молоко потом само испарится: а пока и сейчас — сломать бы косточки, которые нам мешают и мы справимся с ними не умеем».

Меня пробрал прямо ужас ввиду всеобщих *культурно-разрушительных* тенденций нашего времени... «Все бы — нивелировать... Одна — *пустыня*»... Кому? Зачем?

А вот «нам», «политикам»... В стране, свободной от всего, от церкви, от религии, от поэзии, от философии — Кузьмины-Караваевы и Алексинские разгулялись бы...

Тогда пойдут иные речи...

Но мне, ну вот, именно, *мне* (каприз истории), до последней степени тошно от этих речей. «Земля уже обернулась около оси», и «всемирная скука», указанием на которую я начал книгу о революции, угрожает теперь с другой стороны, — именно из «речей»...

Пусть они *потускнеют*...

Пусть *подсечется нерв в них*...

Савва в рассказе Максима Горького взрывает чудотворный образ, родник «народного энтузиазма», — «суеверного, ложного»... Ну, хорошо. «Потому что христианства не нужно». Вся Россия аплодировала.

«Политики» стали пятой на горло невест, детей, вдов (случай, на которых я остановился в печати). «Кто не оставит отца и матери ради Имени Моего», — кричит политика... «И — детей, и — дома ваши»...

«Хорошо, хорошо», — слушаю я.

Теперь дайте же я полью серною кислотой в самый стержень, на коем «вертится» туда и сюда «политическая дверь»; капну кислотой в самую «сердечку», в самую «душку» их... Что такое? В — *политическое убеждение* (то же, что «догмат» в христианстве). Ну, как? «Спорят»... «партии».

— Господа, — можно иметь *все убеждения*, принадлежать

ко всем партиям... притом совершенно искренне! чистосердечно!! до истерики!!! В то же время не принадлежа и ни к одной и тоже «до истерики».

Я начал, но движение это пойдет: и мы, философы, религиозисты, — люди уж, во всяком случае, «высшего этажа», чем в каком топчутся политики, — разрушим мыслью свою, поэзией своей, своим «другим огнем», своим жаром, — весь этот кроваво-гнойный этаж...

Ведь все партии «доказывают друг другу»... Но чего же мне (и «нам») доказывать, когда «мы совершенно согласны»...

Согласны с тоном и «правых», и «левых»... с «пафосом» их, и — согласны совершенно патетически.

Явно, что когда лично и персонально все партии сольются «в одной душе», — не для чего им и быть как партиям, в противоположании и в споре... Партии исчезнут. А когда исчезнет их сумма — исчезнет и политика, как спор, вражда.

Конечно, останется «управление», останется «ход дел», — но лишь в эмпиризме своем: «вот — факт», «потому что он — нужен»... Без всяких переходов в теорию и общую страсть.

«Нет-с, позвольте, — я принципиально этого не хочу»... Вот «принципиально»-то и будет вырвано из-под ног этих лошадей («политики»). — «Ты, пожалуйста, вези свой воз: а принципы — вовсе не дело вашего этажа». «О принципах» мы будем говорить с оракулами, первосвященниками, и у подножия той чудотворной иконы, которую взорвал ваш неумный Савва.

«Принципы»... о них будет решать «песенка Гретхен», «принципы» будут решать «гуляки праздные» («Моцарт и Сальери»).

Будут решать «мудрецы» (в «Республике» Платона).

Если «политика» и «политики» так страстно восстали против религии, поэзии, философии: то ведь давно надо было догадаться, что, значит, душа религии, поэзии и философии в равной степени враждебна политике и пылает против нее... Что же скрывать? Политики давно «оказывают покровительство» религии, позволяют поэтам петь себе «достойные стихосложения», «глядят по головке» философов, почти со словами — «ты существо, хотя и сумасшедшее, но мирное». Вековые отношения... У «политиков» лица толстые, лоснятся... (почти все члены Г. Думы — огромного роста: замечательно!! Лошадиная порода так и светит из существа дела, «призвания»...) Но не пора ли им сказать, что дух человеческий решительно не умещается в их кожу, что дух человеческий желает не таких больших ушей; что копыта — это мало, нужен и коготь, и крыло. «Мало, мало!» «Тесно, тесно!» Вот лозунг, вот будущее.

Но «переспорить» всех политиков решительно невозможно — такая порода.

Нужно со всеми ими — *согласиться!*

Тогда их упругие ноги (лошадиные) подкосятся; они упадут на колени, как скакун с невозможностью никуда бежать, с бесцельностью бежать. «Ты меня победил и, так сказать, пробежал все пространства, не выходя из ворот». Тогда он упадет.



«Перемена, перемена»... «изменчивость, изменчивость» жалуются.

Столпообразные руины...

— не замечая, что эта «изменчивость» входит в самый план мира... В самом деле, «по эллипсисам», — все «сбивающимся в одну сторону» от прямой линии, все «уклоняющимся и уклоняющимся» от прежнего направления, — движутся все небесные светила. И на этом основано *равновесие* вселенной. Самые «лукавые линии» приводят к вечной *устойчивости*. Не наблюдали ли вы в порядке истории, что *начала* всех вещей хороши... Прекрасно «начинались» папы, когда в лагерь гуннов, к Атилле, они спешили, чтобы, поклонившись варвару, остановить поток полчищ перед ветхими, бессильными, но осмысленными старым смыслом городами Италии. Прекрасно волновалась реформация... Революция в первых шагах — какой расцвет, рассвет... Да не хорошо ли начало всякой любви... И любви, и молитвы, и даже войны. Эти легионы, текущие к границам отечества, чтобы его защитить, — как они трогательны...

Но представьте-ка войну «без конца», — влюбленность, затянувшуюся до 90 лет, папство без реформации, реформацию без отражения ее Тридентским собором...

И вот вещи «сгибаются на сторону» («эллипсис» вместо «прямой линии»), «лукавят», «дрожат»... Вещи — *стареют!!* Как это страшно! Как страшна старость! Как она и, однако, радостна, — ибо из «старости»-то все и юнеет, из «старости» возникает «юность» (*устойчивость* эллиптических линий)... Юная реформация — из постаревшего католицизма, юное христианство — из постаревшего язычества, юная... новая жизнь, *vita nuova* — из беззубой политики... Так я думаю, так мне кажется. Тут (нападение на меня Струве, укору и других) приходит мой «цинизм», «бесстыдство». Однако оглянитесь-ка на прошлое и вдумайтесь в корень жизни. С великих измен начинаются великие *возрождения*.

Тот насаждает истинно новый сад, кто предаёт, предательствует старый, осевший, увядший сад... Глядите, глядите на удивительные вещи истории: христиане-воины *«бесстыдно изменяют твердыням Рима»*, бросая равнодушно на землю копье и щит, — Лютер *«ничего не чувствует при имени Папы и нагло отказывается повиноваться ему»*... Певец ведь вечно *«изменяет политике»*. Люди прежнего одушевления теряются, проклинают, упрекают в *«аморализме»*, что́ есть в сущности *«измена нашей традиции»*, *«перерыв нашего столбового (наследственного) дворянства»*. Клянет язычник христианина, католик — лютеранина и, глубже и основнее всего — политик клянет поэта, философа, религиозного человека. Хватают *«за полы»* бесстыдных. Бессильно. Это Бог *«переломил через колено»* одну *«прямую линию»* истории, и, бросив концы ее в пространство — повелел двигаться совсем иначе небесному телу, земле, луне, человеческой истории. *«Мы же в руках Божиих и делаем то, что Он вложил нам»* ...и своею правдою, и своею неправдою, и своими качествами, и своими пороками даже, без коих *«согнуться в складочку»* не смог бы эллипсис, а ему это *«нужно»*... Великая во всем этом реальность: и *«да будет благословенно имя Господне во век»*.

(размышляя о полемике со Струве).



8-ми лет. Мамаша вошла в комнату.

— Где сахар?

На сахарнице было кусков пять. Одного не доставало.

Я молчал. Сахар съел я.

Она бурно схватила Сережу за белые волосы, больно-больно выдрала его. Сережа заплакал. Ему было лет 6. Я молчал.

Почему я молчал? Много лет (всю жизнь) я упрекал, как это было низко; и только теперь прихожу к убеждению, что низости не было. Ужасная низость, как бы клеветы на другого, получается в материи факта, и если глядеть со стороны. Но я промолчал от испуга перед гневом ее, бурностью, но *не оттого, что будет больно*, когда будет драть. Боль была пустяки. Она постоянно сердилась (сама была несчастна): а именно, как ветер сгибает лозину — гнев взрослого пригнул душонку 8-ми лет. У меня язык не шевелился.

* К новому влечет душа (лат.).

Зато добрый поступок с Сережей. Мы бежали от грозы, а гроза как бы гналась за нами. Бывают такие внезапные, быстрые грозы. Сперва потемнело. Облако. Дом далеко, но мы думали, что успеем. Полянка с бугорками. Вдруг брызнул гром: и мы испуганно кинулись бежать.

Бежали, не останавливая шагу.

Еще бежали, бежали. Я ужасно боялся. «Ударит молния в спину». Сережа был сзади, шагах в четырех. Вдруг он стал замедлять бег.

Я оглянулся. И не сказал — «ну». Остановился. И чуть-чуть, почти идя, но «не выдавая друг друга молнии», пошли рядом.



Бодро, крепко:

— Ну, Варя. Сажусь писать.

— Бог благословит! Бог благословит!

И большим крестом клала три православных пальца на лоб, грудь и плечи.

И выходило лучше. Выходило весело (хорошо на душе).

(все годы).



Много лет спустя, я узнал ее обычай: встав на $1\frac{1}{2}$ часа раньше меня утром, подходила к столу и прочитывала написанное за ночь. И если хорошо было (живо, правдиво, энергично, — в «ход мысли» и «доказательства» она не входила), то ничего не говорила. А если было вяло, устало, безжизненно, — она как-нибудь в день, между делом, замечала мне, что «не нравится» что я написал, иногда — «язык заплетается». И тогда я не продолжал. Но я думал, что она как-нибудь днем прочла, и не знал этого ее *обычая*, — и узнал уже во время последней болезни, года 3 назад.



В грусти человек — естественный христианин. В счастье человек — естественный язычник.

Две эти категории, кажется, известны и первоначальны. Они не принесены «к нам», они — «из нас». Они — *мы сами* в разных состояниях.

Левая рука выздоравливает и «просит древних богов». Правая — заболевает и ищет Христа.

Перед древними нам заплакать? «Позитивные боги», с шутками и вымыслами. Но вдруг «спина болит»: тут уж не до вымыслов, а «помоги! облегчи!». Вот Юпитеру никак не скажешь: «облегчи!» И когда по человечеству прошла великая тоска: — «Облегчи», — явился Христос.

В «облегчи! избави! спаси!» — в муке человечества есть что-то более важное, черное, глубокое, м. б., и страшное, и злое, но, несомненно, и *более глубокое*, чем во всех радостях. Как ни велика загадка рождения, и вся сладость его, восторг: но когда я увидел бы человека в раке, и с другой стороны — «счастливую мать», кормящую ребенка, со всеми ее надеждами — я кинулся бы к больному. Нет, иначе: старец в раке, а хуже — старуха в раке, а по другую сторону — рождающая девица. И вдруг бы выбор: ей — *не родить*, а той — *выздороветь*, или этой родить, зато уж той — *умереть*: и всемирное человеческое чувство воскликнет: лучше погодить родить, лишь бы *выздоровела она*.

Вот победа христианства. Это победа именно над позитивизмом. Весь античный мир, при всей прелести, был все-таки позитивен. Но болезнь прорвала позитивизм, испорошила его: «Хочу *чуда*, Боже, дай *чуда!*» Этот прорыв и есть Христос.

Он плакал.

И только слезам Он открыт. Кто никогда не плачет — никогда не увидит Христа. А кто плачет — увидит Его непременно.

Христос — это слезы человечества, развернувшиеся в поразительный рассказ, поразительное событие.



А кто разгадал тайну слез? Одни *при всяческих несчастиях* не плачут. Другие плачут и при не очень больших. Женская душа вся на слезах стоит. Женская душа — другая, чем мужская («мужланы»). Что же это такое, мир слез? Женский — отчасти, и — страдания, тоже отчасти. Да, это категория вечная. И христианство — вечно.

Христианство нежнее, тоньше, углубленнее язычества. Все «Авраамы» плодущие не стоят плачущей женщины. Вот граница чередующихся в рождениях Рахилей и Лий. Есть великоление душевное, которое заливают все, будущее, «рождение», позитивное стояние мира. Есть то «прекрасное» души, перед чем мы останавливаемся и говорим: «Не надо больше, не надо лучше, ибо лучшее мы имеем и больше его не будет». Это конец и точка, самое рождение прекращается.

Я знал такие экстазы восхищения: как я мог забыть их. Я был очень счастлив (20 лет): и невольно впал в язычество. Присуще счастливому быть язычником, как солнцу — светить, растению — быть зеленым, как ребенку быть глупеньким, милым и ограниченным.

Но он вырастет. И я вырос.

Могу ли я вернуться к язычеству? Если бы совсем выздороветь, и *навсегда* — здоровым: мог бы. Не в этом ли родник, что мы умираем и бодем: т. е. не потому ли и для того ли, чтобы всем открылся Христос.

Чтобы человек не остался без Христа.

Ужасное сплетение понятий. Как мир запутан. Какой это неразглядимый колодезь.

(глубокой ночью).



Шуточки Тургенева над религией — как они *жалки*.



Чего я жадничаю, что «мало обо мне пишут». Это истинно хамское чувство. Много ли пишут о Перцове, о Философове. Как унижительно это сознание в себе хамства. Да... не отвязывайся от самого лакейского в себе. Лакей и гений. Всегдашняя и, м. б., всеобщая человеческая судьба (кроме «друга», который «лакем» никогда, ни на минуту не был, глубоко спокойный к любви и порицаниям. Так же и бабушка, ее мать).



Только такая любовь к человеку есть настоящая, не преуменьшенная против существа любви и ее задачи, — где любящий совершенно не отделяет себя в мысли и не разделяется как бы в самой крови и нервах от любимого.



Одна из удивительных мыслей Рцы. Я вошел к нему с Таней. Он вышел в туфлях и «бабьей кацавейке» в переднюю. Новая квартира. Оглядываюсь и здороваюсь. Он и говорит:

— Как вы молоды! Вы помолодели, и лицо у вас лучше, чем прежде,— чем я его знал много лет.

Мне 57.

— *Теперь* вы в фокусе,— и это признак, что вам остается еще много жить.— Он что-то сделал пальцами вроде щелканья, но не щелканье (было бы грубо).

— Почему «фокус» лица, «фокус» жизни? — спросил я, что-то чувствуя, но еще не понимая.

Он любитель Рембрандта, а в свое время наслаждался Мазини, коего слушал и знал во все возрасты его жизни.

— Как же!.. Сколько есть «автопортретов» Рембрандта... сколько я видел карточек Мазини. И думал, перебирая, рассматривая: «нет, нет... это — *еще не* Мазини», или «это — *уже не* Мазини»... «Не тот, которого мы, замирая, слушали в Большом театре (Москва) и за которым бегала вся Европа»... И наконец, найдя *одну* (он назвал, какого года), говорил: «Вот!! — *Настоящего* Мазини существует только *одна* карточка,— хотя вообще-то их множество; и также *настоящего* Рембрандта — только *один* портрет. Тоже — Бисмарк: конечно, только в *один* момент, т. е. в *одну* эпоху жизни своей, из нескольких, Бисмарк *имел свое настоящее лицо*: это — лицо во власти, в могуществе, в торжестве; а — не там, где он старый, обессиленный кот, на все сердитый и ничего не могущий.

Я слушал и удивлялся.

Он говорил, и я догадывался о его мысли, что *биография* человека и *лицо* его,— его физика и вместе дух,— имеют *фокус*, до которого все идет, расширяясь и вырастая, а *после* которого все идет, умаяясь и умирая; и что этот фокус то приходится на молодые годы,— и тогда человек недолго проживет; то — лет на 40, и тогда он проживет нормально; то на *позже* — даже за 50: и тогда он проживет очень долго. «Жизнь в *горку* и с *горки*». И естественно — в ней есть кульминационный пункт. Но это — не «вообще», а имеет выражение себя в серии меняющихся лиц человека, из которых только об *одном* лице можно сказать, что *тут и в эти свои годы* он... «достиг *себя*».

Как удивительно! Нигде ни читал, ни слышал. Конечно — это магия, магическое постижение вещей.

Тут домовой, тут леший бродит,
Русалка на ветвях сидит.
...И кот ученый
Свои нам сказки говорит.

Седой, некрасивый и — увы! — с давно перейденным «фокусом», Рцы мне показался таким мудрым «котом».

Вот за что я его люблю.

(это было в 1911 или 1910 г.).



Переставешь верить действительности, читая Гоголя.

Свет искусства, льющийся из него, заливает *все*. Теряешь осязание, зрение и веришь только ему.

(за вечерним чаем).



Щедрин около Гоголя как конюх около Александра Македонского.

Да Гоголь и есть Алекс. Мак. Так же велики и обширны завоевания. И «вновь открытые страны». Даже — «Индия» есть.

(за вечерним чаем).



Ни один политик и ни один политический писатель *в мире* не произвел в «политике» так много, как Гоголь.

(за вечерним чаем).



Катков произнес извощицье:

— Тпрру...

И линия журналов и газет ответила ему лошадиным ляганьем.

И вот весь русский консерватизм и либерализм.

Неужели же Стасюлевич, читавший Гизо, не понимал, что нельзя быть образованным человеком, не зная, откуда происходит слово «география», т. е. что есть $\gamma\eta$ * и $\gamma\rho\alpha\phi\omega$ **.

Но он 20 лет набрал воды в рот и не произнес: «Господа, все-таки *ге-о-граф-ию-то* нужно знать».

Но «обозреватели» в его журнале только пожимали плечами и писали: «Это — не ученье, а баллопромышленничество» и «тут не учителя, а — чехи»: тогда как *вопрос шел вовсе не об этом.*

(в вагоне).



Кто не знал горя, не знает и религии.



Демократия имеет под собою одно *право...* хотя, правда, оно очень огромно... *проистекающее из голода...* О, это такое чудовищное право: из него *проистекает* убийство, грабеж, вопль к небу и ко всем концам земли. Оно может и *вправе* потрясти даже религиями. «Голодного» нельзя вообще судить; голодного нельзя осудить, когда он у вас отнял кошелек.

Вот «преисподний» фундамент революции.



Но ни революция, ни демократия, кроме *этого*, не имеют никаких прав. «Да, — ты *зарезал меня*, и, как голодного, я тебя не осуждаю». «Но ты еще говоришь что-то, ты хочешь души моей и рассуждаешь о высших точках зрения: в таком случае, я плюю кровью в бесстыжие глаза твои, ибо ты менее голодный, чем мошенник».



Едва демократия начинает морализировать и философствовать, как она обращается в мошенничество.

Тут-то и положен для нее *исторический предел.*

* Земля (греч.).

** Писать (греч.).

Высший предел демократии, в сущности, в «Книге Иова». Дальше этого она не может пойти, не пошла, не пойдет.

Но есть «Книга Товии сына Товитова». Есть Евангелие. Есть вообще, кроме черных туч, небо. И небо больше всякой тучи, которая «на нем» (часть) и «проходит» (время).

Хижина и богатый дом. В хижине томятся: и все то прекрасное, что сказано о вдове Сарепты Сидонской («испечем последний раз хлеб и умрем») — принадлежит *этой* хижине.

Но в богатом доме также все тихо. Затворясь, хозяин пересматривает счетные книги и подводит месячный итог. Невеста — дочь, чистая и невинная, грезит о женихе. Малыши заснули в спальне. И заботливая мысль бабушки обнимает их всех, обдумывая завтрашний день.

Тут полная чаша. Это — Иов «до несчастья».

И хорошо там, но хорошо и тут. Там благочестие, но и тут не без молитвы.

Почему эти богатые люди хуже тех бедных?

Иное дело «звон бокалов»...

Но ведь и в бедной хижине может быть лязг оттачиваемого на человека ножа.

Но *до порока* — богатство и бедность равночастны.

Но после порока проклято богатство, но проклята также и бедность.

И собственно вместо социал-демократии лежит старая, простая, за обыденностью, пошлая истина, «ее же не преjdeши»:

Живи в богатстве так просто и целомудренно, заботливо и трудолюбиво, как бы ты был беден.



Бывало:

— Варя. Опять дырявые перчатки? Ведь я же купил тебе новые?

Молчит.

— Варя. Где перчатки?

— Я Шуре отдала.

Ей было 12 лет. Она же «дама» и «жена».

Так ходила она всегда «дамой в худых перчатках».

Теперь (2 года) все лежит, и руки сжаты в кулачок.



Забуть землю великим забвением — это хорошо.

*(идя из Окруж. Суда, — об «Уед.»;
затмение солнца).*



Поразительное суждение я услышал от Флоренского (в 1911 г., зима, декабрь): «Ищут Христа *вне Церкви*», «хотят найти Христа *вне Церкви*», но мы не знаем Христа *вне Церкви*, *вне Церкви* — «нет Христа». «Церковь — она именно и дала человечеству Христа».

Он сказал это немного короче, но еще выразительнее. Смысл был почти тот, как бы Церковь родила нам Христа, и (тогда) как же сметь, любя Христа, ополчаться на Церковь?

Смысл был этот, но у него — лучше.

Это меня поразило новизною. Теперь очень распространена риторика о Христе без Церкви, — и сюда упирается все новое либеральное христианство.

Действительно. По мелочам познается и крупное. «Лучшую книгу — переплетаем в лучший переплет»: сколько же Церковь должна была почувствовать в Евангелии, чтобы переплести его в $1\frac{1}{2}$ пудовые, кованые из серебра и золота, переплеты. Это — пустяки: но оно показывает важное. Все «сектанты» читают Евангелие, только раз в неделю собираясь: это — в миг их прозелитизма, взрывчатого начала. А «Церковь», через 1800 лет после начала, не понимает «отслужить службы», днем ли, ночью ли, каждый день — не почитав Евангелия.

Она написала его огромными буквами. Переплет она усыпала драгоценными камнями.

Действительно: именно, Церковь пронесла Христа от края и до края земли, пронесла «как Бога», без колебания, даже до истребления спорящих, сомневающих, колеблющихся.

Таким образом, энтузиазм Церкви ко Христу б. так велик, как «не хватит порохов» у всех сектантов вместе и, конечно, у всех «либеральных христиан» тоже вместе. Действительно, Церковь может сказать: «Евангелие было бы как «Энеида» Вергилия у читателей,— книга чтимая, но не действенная,— и, м. б., просто оно затерялось бы и исчезло. Ведь не читал же всю жизнь Тургенев Евангелия. Он не читал,— могло бы и поколение не читать,— и, наконец, пришло бы поколение, совсем его забывшее, и уже следующее за ним — просто потерявшее самую книгу. Я спасла Евангелие для человечества: как же теперь, вырывая его из моих рук, вы смеете говорить о Христе помимо и обходя Церковь. Я дала человечеству: ну, а нужно ли Евангелие больным, убогим, страждущим, томящимся, нужно ли оно сегодня, будет ли нужно завтра — об этом уже не вам решать».

Поразительно. Так обыкновенно и совершенно ново. И, конечно, одним этим сохранением для человечества Евангелия Церковь выше не то что «наших времен», но и выше всего золотого века Возрождения, спасшего человечеству Вергилия и Гомера.



Есть люди до того робкие, что не смеют сойти со стула, на котором сел.

Таков Михайловский

(размышляя об удивительном заглавии статьи его — полемика со Слонимским — «Страшен сон (!!!), да милостив Бог»).

Михайловский был робкий человек. Это никому не приходило на ум. Таково и личное впечатление (читал лекцию о Щедрине,— торопливо, и все оглядывался, точно его кто хватает).



Правительству нужно бы утилизировать благородные чувства печати, и всякий раз, когда нужно провести что-нибудь в покое и сосредоточенности (только проводит ли оно что-нибудь «сосредоточенно»?) — поднимать дело о «проворовавшемся тайном советнике N», — или о том, что он «содержит актрису». Печать будет $\frac{1}{2}$ года травить его, визжать, стонать. Яблоновский «запишет», Баян «посыплет главу пеплом», «Русское Слово» будет занимать 100 000 подписчиков новыми столбцами á la «Гурко-Лидваль», «Гурко-Лидваль»...

И когда все кончится и нужное дело будет проведено, «пострадавшему (фигтивно) тайному советнику» давать «еще орден через два» («приял раны ради отечества») и объявлять, что «правительство ошиблось в излишней подозрительности».

Без этого отвлечения в сторону правительству нельзя ничего делать. Разве можно делать дело среди шума?



Поэт Майков (Ап. Н.) смиренно ездил в конке.

Я спросил Страхова.

— О, да! Конечно — в конке. Он же беден.

Был «тайный советник» (кажется), и большая должность в цензуре.



Это бедные студенты воображают (или, вернее, их науськал Некрасов), что тайные советники и вообще, «черт их дери, все генералы» едят все «Вальтассаровы пиры» (читал в каком-то левом стихотворении: «Они едят Вальтассаровы пиры, когда народ пухнет с голода»).



В газетах, журналах интересны не «передовики» и фельетонисты. Эти, как *personae certae** и индейские петухи с дру-

* Известные лица (лат.).

гой стороны — нисколько не интересны. Но я люблю в газете зайти, где собирается «пожарная команда», т. е. сидят что-то делающие в ночи. Согнувшись, как Архимед над циркулем, одни сидят «в шашки». Другие шепчутся, как заговорщики, о лошадях (скачки, играют). Тут услышишь последнюю сплетню, с ног сшибательную сенсацию. Вдруг говор, шум, поток: ругают Шварца. Папиросы и «крепкое слово».



Ге о Евг. П. Иванове: «Вот кто *естественный* профессор университета: сколько новых мыслей, какие неожиданные, поразительные замечания, наблюдения, размышления».

Десянов сказал, когда у него спросили, отчего Соловьев (Влад.) не профессор:

— У него *мысли*.

Старик, сам полный мыслей и остроумия, не находил, чтобы они были нужны на кафедре. Но еще удивительнее, что самопополняющаяся коллегия профессоров тоже делает все усилия, чтобы к ним в среду не попал человек с *мыслью*, с творчеством, с воображением, с догадкой.

Ни Иванов, ни Шперк не могли даже кончить русского университета.

Профессор должен быть балаболка. Это его стиль. И дождутся, когда в обществе начнут говорить:

— Быть умным — это «не идет» профессору. Он будет черным вороном среди распутивших хвост павлинов.



Что-то было глухое, слепое, что даже без имени... и все чувствовали — нет *дела*. И некуда приложить силу, добро, порыв.

Теперь все только ждет работы и приложения силы.

Вот «мы» до 1905-6 года и после него. Что-то прорвало и какой-то застой грязи, сырости, болезни безвозвратно унесло потоком.

(после разговора с Ге).



Все мы выражаем в сочинениях субъективную уверенность. Но — обобщая и повелительно. Что же делать, если Дарвин «субъективно чувствовал» происхождение свое от шимпанзе: он так и писал.

Во Франкфурте-на-Майне я впервые увидел в зоол. саду шимпанзе. Действительно, удивительно. Она помогала своему сторожу «собирать» и «убирать» стол (завтрак), сметала крошки, стлала скатерть. Совсем человек!

Я безмолвно дивился.

Дарвина даже есть честь происходить от такой умной обезьяны. Он мог бы произойти и от более мелкой, от более *позитивной* породы.

(рано утром).



Не надо забывать, что Фонвизин бывал «при дворе», — *видал лично императрицу*, — и «просветителей» около нее, — может быть, *лично с нею разговаривал*. Это чрезвычайная высокопоставленность. Он был тем, что *теперь* Арс. Арк. Кутузов или гр. А. К. Толстой. Изобразительный талант (гений?) его несомненен: но *высокое* положение не толкнуло ли его посмотреть слишком *свысока* на окружающую его поместье дворянскую мелкоту, дворянскую обывательщину, и даже губернскую вообще жизнь, быт и нравы. Поэтому яркость его «Недоросля» и «Бригадира», говоря о живописи автора, не является ли пристрастной и неверною в *тоне, в освещении, в понимании?*

«Недоросли» глубокой провинциальной России несли ранец в итальянском походе Суворова, с ним усмиряли Польшу; а «бригадиры» командовали в этих войсках. Каковы они были?

Верить ли Суворову или Фонвизину?



Прогресс технически необходим, для души он вовсе не необходим.

Нужно «усовершенствованное ружье», рантовые сапоги, печи, чтобы не дымили.

Но душа в нем не растет. И душа скорее даже малится в нем.

Это тот «печной горшок», без которого неудобно жить и ради которого мы так часто малим и даже вовсе разрушаем душу.



И борьба между «прогрессистами» и людьми «домашнего строя» очень часто есть борьба за душу или за «обед с каперцами», в котором «каперцы», конечно, побеждают.

(умываясь утром).



Не всякую мысль можно записать, а только если она музыкальна.

И «У.» никто не повторит.



В каждом органе ощущения, кроме его «я знаю» (вижу, слышу, обоняю, осязаю), есть еще — «я хочу». Органы суть не только органы чувств, но еще и — хотения, жажды appetитов. В каждом органе есть жадность к миру, алкание мира; органами не связывается только с миром человек, но органами он *входит* (врезается) в мир, *уродняется* ему. Органами он «съедает мир», как через органы — «мир съедает человека». Съедает — ибо властно *входит в него...*

Человек входит в мир.

Но и мир входит в человека.

Эти «двери» — зрение, вкус, обоняние, осязание, слух.

(на обороте транспаранта).



Легко Ш. Х. разыскивать преступников, когда они говорят, когда он подслушивает — то самое, что ему нужно. Так-то и я бы изловил.

(Шерлок Холмс — один случай).

А когда осматривают труп, то, непременно, в пальцах «зажат волос убийцы».



<...>



Мы прощались с Рцы. В прихожей стояла его семья. Тесно. Он и говорит:

— Все по чину.

— Что? — спрашиваю я.

— Когда Муравьев («Путешествие по св. местам») умирал, то его соборовали. Он лежал, закрыв глаза. Когда сказали «аминь» (последнее), он открыл глаза и проговорил священнику и сослужителям его:

«— Благодарю. Все по чину». Т. е. все было прочитано и спето без пропусков и малейшего отступления от формы.

Закрыв глаза и помер.

У Рцы была та ирония, что каким образом этот столь верующий человек имел столь слабое и, до известной степени, легкомысленное отношение к смерти, что перед лицом ее, перед Сею Великою Минутою, ни о чем не подумал и не вспомнил, кроме как о «наряде церковном» на главу свою. Сия смерть подобна была смерти Вольтера.



Смысл *Литературного Фонда* понятен: «фракция Чернышевского», «особый фонд Добролюбова». Все это понятно каждому, кроме «сфер». Однако из «сфер» они тоже получают тысячи. Что же это такое?

«Я тебе готовлю нож под 4-ое ребро. А предварительно дай все-таки гривенничек на чаек». Это Федька каторжник из «Бесов». Вот что на *это* ответил бы Пешехонов. Отчего об *этом* не напишет «обличительной статьи» Короленко. Нет, господа, о связи себя с *идеализмом* — оставьте.

(вагон).



Кто не любит человека в радости его — не любит и ни в чем.



Вот с этой мыслью как справится аскетизм.

Кто не любит радости человека — не любит и самого человека.



Все критики, признавая ум (уж скорее «гений», т. е. что-то «невообразимое»; а «ума» — ясного, комбинирующего, считающего — не очень много), или не упоминают, или отрицают — *сердце*: но тогда как же произошел «Семейный вопрос в России» и «Сумерки просвещения», два великих отмщения за женщин и за гимназистов.

Еще поразительнее и говорит о благородстве литературы, что о «Семейном вопросе» не было ни одной рецензии, кроме

от Разинькова, Василия Лазаревича,— о которой я его упросил. Все писали о «Трейхмюллере», а на *Семейный вопрос в России* — ни один литератор не оглянулся.



Видали ли вы вождя команчей в пустыне? Я тоже не видал, но читал у Майн-Рида: на диком мустанге, нагой и бронзовый, мчится он,— в ноздрях у него вдеты перья, на голове павлиний хвост, татуировка осыпается с него, как штукатурка...

Но не бойтесь, сограждане, и не очень пугайтесь даже гимназисты: это мчится вовсе не Тугой Лук, а только очень похожий на него профессор канонического права, напр. Заозерский: «правила» всевозможных греческих соборов осыпаются с него, как старая штукатурка, но он полон воинственного жара и, поводя головою, дает видеть торчащие у него из носа «добавочные постановления (novellae) императора Алексея Комнена»... Вот он, весь полный запрещений и угроз, натиска и бури... не замечает вовсе Владимира Карловича, а тоже и Розанова, подсказывающего тому бросить под ноги мустанга решение Апостола:

«А если *через исполнение закона* (и, след., каких бы то *правил*) люди оправдываются перед Богом,— то вообще Христу тогда *незачем было умирать*».

А Он умер — и *оправдал нас*.

(к вопросу о *диакониссах*. 24 марта 1912 г.).



...не верьте, девушки, навеваниям вокруг вас, говорам, жестам, маскам, шумам, мифам...

Верьте, что *что́ есть* — *то́ есть*, что́ *будет* — *будет*, что́ *было* — *было*.

Верьте истории.

Верьте, что историю нельзя закрыть двумя ладонями, сложить ли их «в гробик», «в крестик» или «в умоление».

Будьте неумолимы.



Да, хорошо, я понимаю, что

Вставай, подымайся, рабочий народ...

Но отчего же у вашей супруги каракулевое пальто не в 500—600 р., как обыкновенно*, а в 750 р., и «сама подбирала шкурки».

(из жизни).



С прессой надо справиться именно так: «возите на своих спинах». Тогда «для всех направлений не обидно», и меру увидели бы не политической, а культурной.

Мысль эта занимает меня с 1893 г., когда Берг вычеркнул большое примечание (в страницу) об этом, и я никогда от нее не отказывался. Это — спасение души. Когда-нибудь раздастся это как крик истории.

Пресса толчет души. Как душа будет жить, когда ее постоянно что-то раздробляет со стороны.



Если бы «плотина закрыла реченку» — как вдруг поднялись бы воды. Образовалась бы гладь тихих вод.

И звезды, и небо заиграли бы в них.

Вся та энергишка, которую — тоже издробленную уже — суют авторы в газеты, в ненужные передовицы, в увядшие фельетоны, в шуточку, гримаску, «да хронику-то не забудь», у кого раздавило собаку (уже Алькивиад, отрубивший хвост у дорожной собаки, был первым газетчиком, пустившим «бум» в Афинах)...

Все эти люди, такие несчастные сейчас, вернулись бы к покою, счастью и достоинству.

* Было в год 1904—1905 г.

Число книг *сразу* удесятерилось бы...

Все отрасли знания возросли бы...

Стали бы лучше писать. Появился бы стиль.

Число научных экспедиций, вообще духовной энергии, удесятерилось бы. И словари. И энциклопедии. И великолепная библиография, «бабушка литературы».

Буди! Буди!



А читателю — какой выигрыш: с утра он принимается за дело, свежий, не раздраженный, не опечаленный.

Как теперь он уныло берется за дело, отдав утреннюю свежую душу на запыление, на загрязнение, на измучивание («чтение газет за чаем»), утомив глаза, внимание.



Да: *все* теперь мы принимаемся без внимания за дело. Одно это не подобно ли алкоголизму?

Печатная водка. Проклятая водка. Пришло сто гадов и нагадили у меня в мозг.



«Такой книге нельзя *быть*» (Гип. об «Уед.»). С одной стороны, это — так, и это я чувствовал, отдавая в набор. «Точно усиливаться проглотить и не могу» (ощущение отдачи в набор). Но с другой стороны, столь же истинно, что этой книге непременно *надо быть*, и у меня даже мелькала мысль, что, собствен-

но, все книги — и должны быть такие, т. е. «не причесываясь» и «не надевая кальсон». В сущности, «в кальсонах» (аллегорически) все люди не интересны.



Да, вот когда минует трехсотлетняя давность, тогда какой-нибудь «профессор Преображенский» в Самаркандской Духовной Академии напишет «О некоторых мыслях Розанова касательно Ветхого Завета».



Отчего это окостенение?



Все богословские рассуждения напоминают мне «De civitate veterum Tarantinoꝝ»*, которую я купил студентом у букиниста.



По-видимому (в историю? в планету?), влит определенный % пошлости, который не подлежит умалению. Ну, — пройдет демократическая пошлость и настанет аристократическая. О, как она ужасна, еще ужаснее!! И пройдет позитивная пошлость, и настанет христианская. О, как она чудовищна!!! Эти хромельные-то, это убогонькие-то, с глазами гиен... О! О! О! О!.. «По-христиански» заплачут. Ой! Ой! Ой! Ой!..

(на ходу).

* «О древней культуре тарентийцев» (лат.).



Далеко-далеко мерцает определение: — Да, он, конечно, не мог бы быть Дегаевым; но «пути его были неведомы» — и Судейкиным он очень мог бы быть...

По крайней мере никто в литературе не представляется таким «естественным Судейкиным», с страшным честолюбием, жаждой охвата власти, блестящим талантом и «большим служебным положением».

(Н. Михайловский).



«Встань, спящий»... Я бы взял другое заглавие: «Пробудись, бессовестный».

*(заглавие журнала 1905
Ионы Брехинчева).*



— Байрон был свободен, — неужели же не буду свободен я?! — кричит Арцыбашев.

— Ибо ведь я печатаюсь теми же свинцовыми буквами!

Да, в свинцовых буквах все и дело. Отвоевали свободу не душе, не уму, но свинцу.

Но ведь, господа, может прийти Некто, кто скажет:

— Свинцовые пули. И даже с Гуттенберговой литерой N(aroleon)... — как видел я это огромное N на французских пушках вокруг арсенала в Москве.

(июнь).



До тех пор, пока вы не подчинитесь школе и покорно дадите ей переделать себя в не годного никуда человека, до тех пор вас никуда не пустят, никуда не примут, не дадут никакого места и не допустят ни до какой работы.

(история русских училищ).



Нет хорошего лица, если в нем в то же время нет «чего-то некрасивого». Таков удел земли, в противоположность небесному — что «мы все с чем-то неприятным». Там — веснушка, там — прыщик, тут — подпухла сальная железка. Совершенство — на небесах и в мраморе. В небесах оно безукоризненно, п. ч. *правдиво*, а в мраморе уже возбуждает сомнение, и мне, по крайней мере, не нравится. Обращаясь «сюда», замечу, что хотя заглавия, восстановленные мною «из прежнего» — хуже (некрасивее) тех, какие придал (в своих изданиях) П. П. Перцов некоторым моим статьям, но они *натуральные в отношении того настроения духа*, с каким писались в то время. Эти *запутанные заглавия*, — плетью, — выразили то «запутанное», смутное, колеблющееся, и вместе порывистое и торопливое состояние ума и души, с каким я вторично выступил в литературу в 1889 году, — после неудачи с книгою «О понимании» (1886 г.). Вообще заглавия — всегда органическая часть статьи. Это — тема, которую себе написывает автор, садясь за статью; и если читателю кажется, что это заглавие неудачно или неточно, то опять характерно, как он эту тему теряет в течение статьи. Все это — несовершенства, но которые не должны исчезнуть.

(обдумываю Перцовские издания своих статей; и что ему может показаться печальным, что при втором издании я восстановил свои менее изящные, «долговязые» заглавия. Они характерны и нужны).



У нас Polizien-Revolution*; куда же тут присосались студенты.

А так бедные бегают и бегают. Как таракашки в горячем горшке.

* Полицейская революция (нем.).



Этот поп на пропаганде христианских рабочих людей зарабатывал по несколько десятков тысяч рублей в год. И квартира его — всегда целый этаж (для бессемейной семьи, без домочадцев) — стоила 2—3 тысячи в год. Она вся была уставлена тропическими растениями, а стены завешаны дорогими коврами. Везде, на столах, на стенах, «собственный портрет», — en face, в $\frac{3}{4}$, в профиль... с лицом «вдохновенным» и глазами, устремленными «вперед» и «ввысь»... Совсем «как Он» («Учитель» мой и наш)... Сам он, впрочем, ходил в бедной рясе, суровым, большим шагом, и не флиртовал. За это он мне показался чуть не «Jean Chrisostome», как его вывел Алексей Толстой

К земным утехам *нет участия,*
И взор в грядущее глядит...

Можно же быть такой телятиной, чтобы «Повесть о Капитане Копейкине» счесть за «Историю Наполеона Бонапарте».

(из жизни).



<...>



Когда Надежда Романовна уже умирала, то все просила мужа не ставить ей другого памятника, кроме деревянного креста. Непременно — только *дерево* и *только крест*. Это — христианка.

Не только — «почти ничего» (дерево, ценность), но и — *временное* (сгниет).

И потом — ничего. Ужасное молчание. Небытие. В этом и выражается христианское — «я и *никогда не жила для земли*».

Христианское сердце и выражается в этом. «Я не только не хочу работать для земли, но и не хочу, *чтобы земля меня помнила*». Ужасно... Но и что-то величественное и могущественное.

Надежда Романовна вся была прекрасна. Вполне прекрасна. В ней было что-то трансцендентное.



— Может быть, мы сядем в трамвай: он, кажется, сейчас трогается...

— Ха! ха! ха! ха! ха! ха! ха! ха!

— Он и довезет нас до Знаменской...

— Ха! ха! ха! ха! ха! ха! ха! ха! ха! ха! ха! ха! ха! ха!

(опыты).



<...>



«Разврат» есть слово, которому нет соответствующего предмета. Им обозначена грудя явлений, которых человечество не могло понять. В дурной час ему приснился дурной сон, будто все эти явления,— на самом деле подобные грибам, водорослям и корням в природе,— суть «дурные», уже как «скрываемые» (мысль младенца Соловьева в «Оправдании добра»); и оно занесло их сюда, без дальних счетов и всякого разумения.

(Эйджунен — Берлин, вагон).



Раза три в жизни я наблюдал (издали, не вблизи) или слышал рассказ о матерях, сводничающих своих замужних дочерей. Точно они бросают стадо к... на нее как с... Никогда не «прилаживают к одному», не стараются устроить «уют», хотя бы на почве измены.

Вся картина какого-то «поля» и «рысканья». Удивительно.

Еще поразительнее, что таких жен, *все зная о них*, глубоко любят их мужья. *Плачут* и любят. Любят до *обожания*. А жены, как и тещи, питают почти отвращение к несчастному мужу. Тут еще большая метафизика. Между прочим, такова была знаменитая Фаустина senior, жена Антонина Благочестивого. Она сходилась даже с простолюдинами. А муж, когда она умерла, воздал ей божеские почести (*divinatio*) и воздвиг ее имени, чести и благочестию — храм.

На монетах лицо ее — властительное, гордое. На темени она несет маленькую жемчужную корону (клубочком). По-видимому, хороша собой, во всяком случае «видная». Лицо Антонина Пия — нежное, «задумчивое», отчетливо женственное.

Он — родоначальник добродетелей и философии.

Я знавал двух славянофилов, испытавших эту судьбу. Комично, что один из них водил своего старшего сына (конечно, не от себя) смотреть памятник Минина и Пожарского, и все объяснял ему «русскую историю».

(на представлении переводной пьесы на эту тему; пер. Е. А. Егорова).



Все это тянется как резинка и никакого индивидуального интереса. Только наблюдаешь общие законы (проститутки).

— Мы — мостовая. Каких же надписей ты на нас ищешь?

(о проституции; еду в Киев. † Столыпина).



Несмотря на важность проституции, однако в каком-то отношении, мне не ясном,— они суть действительно «погибшие создания», как бы погаснувшие души. И суть действительно — «небытие»; «не существуют», а только кажется, что они — «есть».

(вагон) (еду в Киев).



О девстве глубокое слово я слышал от А. С. Суворина и от А. В. Карташова.

Первый как-то сказал:

— Нет, я замечал, что когда девушка теряет девство (без замужества), то она теряет и *все*. Она делается *дурною*.

Конечно, он не малейше не имел в виду обычных нравственных суждений, и передал наблюдение «что бывает», «что случается», «что *далее* следует».

Карташов сказал, когда — в их же присутствии — я сказал о двух барышнях типа вечных девственниц (*virgo aeterna*):

— Ведь они никогда не выйдут замуж: непонятно, почему они или почему вообще *такие* не бросят свое девство, кому попало, и, вообще все равно, кто возьмет?

У меня было философское об этом недоумение.

Он ответил:

— Они (он как бы запнулся, придумывая формулу) — *питаются от своего девства*. Да, оно не нарушено и, кажется, не нарушится. Но сказать, чтобы оно *было им и не нужно* — нельзя: оно им не только нужно, но и необходимо. Они *живут им*, и именно — *его целостью*. Это — богатство, которое не тратится, но которое их *обеспечивает*. Обеспечивает что? Их душу, их талант (они были талантливы), их покой и свежесть.

— *Есть* девство — и они трудятся, выставляют работы (художницы), дружатся, знакомятся, читают, размышляют.

— *Не будет* девства — и все разрушится. Так что хотя они и призваны к девству и никакой мужчина им не воспользуется, но это не обозначает, что *их девственность есть ничто*, — *есть не существующая для мира вещь*. Для «мира»-то оно не существует, хотя как их *талант* — и для мира существует; но как телесная нетронутость и целость — оно существует *и для них самих*.

Замечательно глубоко. Несколько месяцев перед этим я спросил одну из этих девушек, что бы она сделала с мужчиною, если бы он «с голоду» взял у нее то, что у нее лишнее (как мне казалось):

— Упекла бы в Сибирь, — ответила она твердо и по-мужски.

— И не пощадили бы?

— Не пощадила бы.

— *Но ведь вам не нужно?* (aeterna virgo).

Она промолчала.

Рассуждение Карташова, так сказать, наполняет речами ее молчание. Она не успела только формулировать; но поступила бы по чувству («засужу»), которое неодолимо и в котором правда.

Вот источник по-видимому непонятно жестоких наказаний, присуждаемых насильвателям.

«Кроме замужества — совокупление есть гибель. Обществу оно безвредно: но оно губит субъекта, лицо».

Тогда конечно — казнь! Как за убийство или ближайшее к убийству!!! Кроме особенных случаев, о которых длинна речь: но как раз именно в нашей цивилизации и приходится принимать во внимание эти «кроме»...



Кроме случая aeternae virginis, который чрезвычайно редок и сам себя отстаивает, во имя чего мы могли бы потребовать у девушки и всех вообще девушек сохранения их девства?

«Мы» здесь — государство, религия, нравственность, старая семья (родители, братья, «Валентин» (Фауст).

Девушка всегда может ответить, или, при молчании, — она будет полна речей:

— *Мотивируйте* мне мое девство: и я его сохраняю.

Но единственного мотива нет: — *замужества*.

Нет *замужества*, рассыпается и *девство!*

Девство только и сохраняется *для мужа*; каждая девушка обязана его хранить — если непременно *каждой девушке замужество обеспечено*. Чем? кем? Status quo* общества, законом, религией, родителями. «Мне до этого дела нет, я в это не вмешиваюсь; я не законодательница», — может ответить девушка, — «*мне лодай мужа*. Вот это — я знаю, и — только это».

Девство есть *вещь*, когда есть (будет) *муж*.

А когда муж «будет или нет», «выйдет или нет», «чет-нечет» и «сколько лепестков у сирени»: то и девство тоже «вый-

* Существующий порядок вещей (лат.).

дет» или «нет», при «чет» — выйдет, а если «нечет» — то и не «выйдет»; и девушка просто выйдет за калитку и бросит его на ветер: ибо «на ветер» бросила целая цивилизация ее *замужество*.

Тут смычок и струна: струна поет ту арию, которую ведет смычок. Смычок — замужество, активная сторона, «хозяин всего дела». И если «хозяин» пьян или дурак: то пусть уж и не слезает с полатей, если у него «из-под полы» все девушки разбегутся.

Девство в наше время потенциально свободно; и оно не сегодня-завтра станет реально свободно. Девушки вырвутся и убегут. Убегут неодолимо, с этими криками дочерей Лота: «Никого нет, кто вошел бы к нам по закону всей земли: напоим отца нашего, и зачнем от него детей, — я, потом — ты».

Это сказала старшая и благоразумнейшая младшей, которой осталось только послушаться. От дев произошли два народа — *моавитяне и аммалекитяне*. Почему сразу случилось? Бог не хотел, с одной стороны, чтобы это *повторялось*: а решительные девушки повторили бы поступок свой, если бы остались пустыми, без зарождения. С другой стороны, однако, сохранив потомство их в веки и веки, до размножения в *целый народ*, — что далеко не с каждой беременной девушкой случается, — Бог тех библейских времен, и не знавший иной награды угодному Ему человеку, как *умножение его потомства*, тем самым явно показал, что таковое твердое, как у дочерей Лота, размножение, уверенное в себе размножение — гордое и смелое, не ползучее, а как бы «верхом на коне, в латах и шлеме» — Ему приятно. Да, и в самом деле, только оно обеспечивает расцвет земли и исполнение воли Божией.

(выпустил из коррект. «Уедин.»).



...«дорого назначаете цену книгам». Но это преднамеренно: книга — не дешевка, не разврат, не пошло, которое заманивает «опустившегося человека». Не дева из цирка, которая соблазняет дешевизною.

Книгу нужно уважать: и первый этого знак — готовность дорого заплатить.

Затем, сказать ли: мои книги — лекарство, а лекарство вообще стоит дороже водки. И приготовление — сложнее, и вещества (душа, мозг) положены более ценные.

(в лесу на прогулке).



Ученых надо *драть за уши*... И мудрые из них это одобряют, а прочие если и рассердятся, то на это нечего обращать внимания.

(на прогулке в лесу).



Удивительна все-таки непроницательность нашей критики... Я добр или по крайней мере совершенно незлобен. Даже лица, причинившие мне неисчерпаемое страдание и унижение, — Афонька и Третий, — не возбуждают во мне собственно злобы, а только смешное и «не желаю смотреть». Но никогда не «играла мысль» о их страданиях. Струве — ну, да, я хотел бы поколотить его, но добродушно, в спину. Господи, если бы мне «ударить» его, я расплакался бы и сказал: «ударь меня вдвое». Таким образом, никогда *мечь* мне не приходила на ум. Она приходила разве в отношении учреждений, государственности, церкви. Но это — не лица, не душа.

Таким образом, самая *суть* моя есть доброта, — самая обыкновенная, без «экивоков». Ничье страданье мне не рисовалось как *мое наслаждение*, — и в этом все дело, в этом суть «демонизма». Которого я совершенно лишен, — до *непредставления его и у кого-нибудь*. Мне кажется, что это все выдуманно, преимущественно дворянами, как Байрон, — и от *молодости*. «Были сказки о домовых», а потом выдумали занимательнее — демон».

Печальный и пр. и пр.

Между тем все статьи обо мне начинаются определениями: «демонизм в Р.». И ищут, ищут. Я читаю: просто — ничего не понимаю. «Это — не я». Впечатление до такой степени *чужое*, что даже странно, что пестрит моя фамилия. Пишут о

«корове», и что она «прыгает», даже потихоньку «танцует», а главное — у нее «клыки» и «по ночам глаза светят зеленым блеском». Это ужасно странно и нелепо, и такое нелепое я выношу изо всего, что обо мне писали Мережковский, Волжский, Закржевский, Куклярский (только у Чуковского строк 8 *индивидуально-верных*, — о давлении крови, о температуре, о множестве сердец). С Ницше... никакого сходства! С Леонтьевым — никакого же личного (сход.). Я только люблю его. Но сходство и «люблю» — разное.

Я самый обыкновенный человек; позвольте полный титул: «коллежский советник Василий Васильевич Розанов, пишущий сочинения».

Теперь, эти «сочинения»... Да, мне многое пришло на ум, чего раньше *никому* не приходило, в том числе и Ницше, и Леонтьеву. По сложности и количеству мыслей (точек зрения, узора мысленной ткани) я считаю себя *первым*. Мне иногда кажется, что я понял *всю историю* так, как бы «держу ее в руке», как бы историю *я сам сотворил*, — с таким же чувством уроднения и полного постижения. Но сюда я выведен был своим «положением» («друг» и история с ним), да и пришли лишь именно *мысли*, а это — не *я сам*. Я — добрый и малый (*parvus*): а если «мысли» действительно великие, то разве мальчик не «открывает солнца», и «звезд», всю «поднебесную», и что «яблоко падает» (открытие Ньютона), и даже труднейшее и глубочайшее — первую молитву. Вот я такой «мальчик с неутертым носом», — «все открывший». Это — мое *положение*, но не — *я*. От этого я считаю себя, что «в Боге»... У меня есть серьезная уверенность: — Бог *для того-то* и подвел меня (точно взяв за руку) встретиться с другом, *чтобы* я безмерно наивным и добрым взглядом *увидел* «море зла и гибели», вообще — *сокрытое* «от премудрых земли», о чем не догадывались никогда деревянные попы, да и «святые» их категории, — не догадывался никто, считая все за «эмпирию», «случай» и «бывающее», тогда как это суть, душа и *от самого источника*. Слушайте, человеки: что для нас самое убедительное? Нечто, что мы сами увидели, узнали, ущупали, унюхали. Ну, словом: *знаю* — и basta. Так для жулика — самое ясное, что он может отпереть всякий замок отверткой; для финансиста — что не ошибется в бирже; для Маркса — что рабочим нужно дать могущество; и прочее. Всякий человек живет немногими знаниями, которые суть плод его жизни, именно *его*; опыта, страдания, нюха и

зрения. Для меня (ведь *внутренность* же свою я знаю) было ясно в Е<льце>, 1886—1891 гг., что я — погибал, что я — не нужен, что я, наконец, — озлоблен (вот тогда «демонизм» был), что я весь гибну, может быть, в разврате, в картах, вернее же в какой-то жалкой уездной пыли, написав лишь свое «О понимании», над которым все смеялись...

Тогда я жил оставленный, брошенный — *без моей вины*. Обошел человек и сделал вред.

Вдруг я встречаю, при умирании третьего (товарищ), слезы... Я удивился... «Что такое слезы?» «Я никогда не плачу». «Не понимаю, не чувствую».

Я весь задервенел в своей злобе и оставленности и мелких «картишках».

Плач, — у гроба *третьего*, — был для меня что яблоко для Ньютона. «Так вот, можно жалеть, плакать»... Удивленный, пораженный (Ньютонов момент), я стал вникать, вслушиваться, смотреть.

Та же судьба, та же оставленность. Но реагирующая на зло *плачем в себе*, без осуждения, без недоумения, без всякой злобы, без догадки, что есть в мире злоба, вот «демонизм», вот «бесовщина».

Я подал руку, — долго не принимаемую, по неуверенности. Ведь я ходил в резиновых глубоких галошах в июне месяце, и вообще был «чучело». Да и «невозможно» было (администрация и проч.). Но колебания быстро прошли: случилось (от нервности) несчастье (оказавшееся через несколько месяцев мнимым), — которое, так сказать, «резиновые калоши» простирало до преисподней и делало меня «совершенно невозможным». Но слезы по «третьем» решили все: именно когда казалось все «разрушенным и погибшим», и до скончания веков, когда *подойти ко мне* значило *погибнуть самому* (особенная личная тайна), и я обо всем этом честно рассказал, — рука протянулась со словами «колебания кончились». Дальше, больше, годы, вдруг бороды лопатой говорят:

— Стоп!

Не обращаю внимания, но за ними и высокопросвещенные люди, как С. А. Рачинский, говорят:

— Нельзя.

«Что такое?!» Будь я «в панталонах мальчик», я ничего особенного бы не понял, не постигнул. Нужно было бесконечно наивной природе (*я*) столкнуться с фактом, чтобы понять... что «ведь это *искусственное дело* падать *вниз* яблоку, оборвавшемуся от ветки: натурально оно должно бы остаться в воздухе, а уж если лететь, то почему же не вверх, а вниз: значит —

земля притягивает». Я понял (и первый я), что не в «лопатах» дело, которым «все равно», и не в Рачинском, который благочестив, ко мне добр, а в другом, от чего Рачинский не хотел отстать, а «лопаты» приставлены «к этому забору». Кому-то далекому-далекому, чему-то великому-великому нужно...

— Чтó нужно?

«— Играйте вы по-прежнему в преферанс,— ну и погибнете, но мало ли же вообще людей гибнет. И этот «друг» ваш (с скрытною уже тогда болезнью)... тоже погибнет... Но ведь чтó же?.. Ведь это вообще *есть, бывает*; — бывает смерть, и болезнь, и разврат, и пустота жизни или лица.. Ну, и чтó же особенного тут, чему же волноваться...»

— Да нет, не в этом дело, а что я был злобен, остервенен, забыл *Бога, людей* мне было не нужно. ...А теперь я совсем *ваш* же, с образами, лампадкой, христианством, Христом, с церковью!.. Я — *ваш*.

«— Именно — *не «наш»,* и такого нам вовсе не нужно, поскольку вы *вдвоем, соединены*. И будете «наши» — лишь *разъединясь»*.

— «Разъединясь»?.. Значит — опять в злобу, в атеизм, вред людям...

«— Это уже наше дело, мы все берем на себя. О злобе вашей помолимся, и атеизм — замолим, и вообще все обойдется, потихоньку и не колко. Ну, *кто* не вредит людям, и разве все так особенно «веруют». А обходится. Будет сохранен порядок: а если вы погибнете в разделении, то ведь людей вообще всяких и постоянно очень много гибнет. Ничего нового и даже, извините, ничего интересного».

Конечно, при «упрямстве» можно было бы «преломить», и вышла бы грубость, но никакого открытия. Но я был именно кроток, — как и наивность или «натуральность» (дикий человек) простиралась до того, что я *годы* ничего не замечал... Как *годы* же потом шло мое «Ньютоновское открытие», что «яблоко очень просто падает на землю» от того-то.

Раз я стоял во Введенской церкви с Таней, которой было три года.

Службы не было, а церковь никогда не запиралась. Это — в Петербурге, на Петербургской стороне. Особенно — тихо, особенно — один. В церковь я любил заходить все с этой Таней, которая была худенькая и необыкновенно грациозна, мы же боялись у нее менингита, как у первого ребенка, и почти не считали, что «выживет». И вот, тихо-тихо... Все прекрасно... Когда вдруг в эту тишину и мир капнула какая-то капля, точно голос прошептал:

«...вы здесь — *чужие*. Зачем вы сюда пришли? К кому? Вас никто не ждал. И не думайте, что вы сделали что-то «так» и «что следует», придя «вдвоем» как «отец и дочка». Вы — «смутьяны», от вас «смута» именно оттого, что вы «отец и дочка» и вот так распоясались и „смело вдвоем“».

И вдруг образа как будто стали темнеть и сморщились, сморщились нанесенною им обидою... Зажались от нас... Ушли в свое «правильное», когда мы были «неправильные». Ушли, отчуждились... и как будто указали или сказали: «Здесь — *не ваше место*, а — других и настоящих, вы же подите в *другое* место, а где его адрес — нам все равно».

Но, повторяю, жулик знает, чем «отвертывать замки», а «кто молится» и счастлив — тоже знает, что он — *молится* именно и — именно счастлив; что у него «хорошо на душе»; и вообще что *в это время*, вот, может быть, *на одну эту минуту в жизни*, — он сам хорош.

Опять настаиваю, что дело в кротости, что я был именно и всегда кроткий, тихий, послушный, миролюбивый человек. «Как все».

Когда я услышал этот голос, может быть и свой собственный, но *впервые эту мысль сказавший*, без предварений и подготовки, как «внезапное», «вдруг», «откуда-то» — то я вышел из церкви, вдруг залившись сиянием и гордостью и *как победитель*. Победитель того, чего никто не побеждал, — даже того, *кого* никто не побеждал.

— Пойдем, Таня, отсюда...

— Пора домой?

— Да... домой пора.

И вышли. Тут все дело в «отмычке», которая *отпирает* и — «в кротости, которую я знал».

Я как бы вынес *кротость с собою*, и мою «к Богу молитву» — с собою же, и Таню — с собою: и что-то (земля и небо) так повернулись около меня, что я почувствовал:

«— Кротость-то у меня, а у вас — стены. И у меня — молитва, а у вас опять же — стены. И Бог со мною. И религия во мне. И в судьбе. Вся судьба и «свелась» для этого мгновения. Чтобы тайное и существовавшее всегда наконец-то сделалось явным, осязательным, очевидным, обоняемым».

...«Вы именно жестоки и горды («отмычка» у меня)... Именно — холодны... Бога в вас нет, и у вас нет, ничего нет, кроме слов... обещаний, надежд, пустоты и звона. Все вы и вся *полнота ваших средств и орудий*, ваших богатств и библиотек, учености и мудрости, и самых, как вы говорите, «благодатных таинств», не могут сотворить капельку добра, живого, наличного, реаль-

ного, если оно ново в веках, не по шаблону и прежде бывавшим примерам: и тут не то, чтобы вы «не можете», — все вы, бороды лопатю, или добры сами по себе, или вам «все равно», а что-то вас задерживает, и новое зло вы легко сотворяете, вот как приходскому духовенству в Петербурге обобрать не приходское, да и вообще много нового злого: а вот на «доброе», тоже новое, — связаны ваши руки какою-то страшною, вам самим неведомою силою, которая так же «далека», «неосязаема» и «повсеместна»... как Ньютоново тяготение. Которое я открыл и с него начинается новая эра миропостижения, все — новое, хоть начинать считать «первый год», «второй год». Это, должно быть, было в 1896 или 1897 году.



«Неужели же так и кончится его деятельная жизнь, посвященная всецело на благо человечества?»

«Ему не хотелось верить, что Провидение уготовило ему столь ужасный конец».

«Он вспомнил о Гарри Таксоне, вспомнил много случаев, когда он освобождал от ужасной смерти этого многообещающего дорогого ему юношу...»

(«Графиня-Преступница»).

Так предсмертно рассуждал Шерлок Холмс, висая в копильне под потолком, среди окороков (туда его поднял на блоке, предварительно оглушив ударом резины, — разбойник), и ожидая близкой минуты, когда будет впущен дым и он прокоптится наравне с этими окороками.

Мне кажется, Шерл. Хол.— то же, что «Страшные приключения Амадиса Гальского», которыми зачитывался, по свидетельству Сервантеса, герой Ламанчский — и которыми без сомнения потихоньку наслаждался и сам Сервантес. Дело в том, что неизвестный составитель книжек о Холмсе (в 48 стр. 7 к. книжка), — вероятно, исключенный за неуспешность и шалости гимназист V — VI-го класса, — найдя такое успешное приложение своих сил, серьезно раскаялся в своих гимназических пороках и написал книжки свои везде с этим пафосом к добродетели и истинным отвращением к преступлению. Книжки его везде нравственны, не циничны, и решительно добропорядочнее множества якобы «литературно-политических» газет и беллетристики.

Есть страшно интересные и милые подробности. В одной книжке идет речь о «первом в Италии воре». Автор принес, очевидно, рукопись издателю: но издатель, найдя, что «король воров» не заманчиво и не интересно для сбыта, зачеркнул это заглавие и надписал свое (издательское): «*Королева воров*». Я читаю-читаю, и жду, когда же выступит *королева воров*? Оказывается, во всей книжке — ее нет: рассказывается только о джентльмене-воре.

Есть еще трогательные места, показывающие дух книжек:
«На мгновение забыл все на свете Шерлок Холмс, в виду такого опасного положения своего возлюбленного ученика. Он поднял Гарри и понес его на террасу, но окно, ведущее в комнаты, оказалось уже запертым.

— А кто этот раненый молодой человек?

— Это честный добрый молодой человек, на вас не похожий, милорд».
(«Только одна капля чернил»).

Еще, в конце:

«— И вы действительно счастливы и довольны своим призванием?

— Так счастлив, так доволен, как только может быть человек. *Раскрыть истину, охранять закон и права* — великое дело, великое призвание.

— Пью за ваше здоровье... Вы — *утешитель несчастных, заступник обиженных, страх и гроза преступников*».

(«Одна капля чернил», конец).

Читая, я всматривался мысленно в отношения Шерлока и Гарри, — с точки зрения «людей лунного света»: нельзя не заметить, что, как их представил автор, они — не замечая того сами — оба влюблены один в другого: Гарри в Холмса — как в старшего по летам своего мужа, благоговейя к его уму, энергии, опытности, зрелости. Он везде бежит около Холмса, как около могучего быка — молодая телушечка, с абсолютным доверием, с абсолютной влюбленностью. Холмс же смотрит на него как

на возлюбленного сына, — с оттенком, когда «сын-юноша» очень похож на девушку. Обоих их *нельзя представить себе женатыми*: и Гарри в сущности — урнинг, и Холмс — вполне урнинг:

К земным утехам нет участия,
И взор в грядущее глядит.

Удовольствие, вкусная еда, роскошь в одежде — им чужда. Незаметно, они суть «монахи хорошего поведения», и имеют один пафос — истребить с лица земли преступников. Это — Тезей, «очищающий дорогу между Аргосом и Афинами от разбойников» и освобождающий человечество от страха злодеев и преступлений. Замечательно, что проступки, с которыми борются Шерлок и Гарри — исключительно отвратительны. Это не проступки нужды или положения, а проступки действительного *злодейства в душе*, совершаемые виконтами, лордами-наследниками, учеными медиками, богачами или извращенными женщинами. Везде лежит вкус к *злодейству*, с которым борется *вкус к добродетели* юноши и мужа, рыцаря и оруженосца. Когда я начал «от скуки» читать их, — я был решительно взволнован. И впервые вырисовался в моем уме человеческое

CRIMEN*

Оно — *есть, есть, есть!!!*.

Есть как особое и *самостоятельное* начало мира, как первая буква особого алфавита, на котором не написаны «наши книги»; а его, этого преступного мира, книги все написаны «вовсе не на нашем языке».

И, помню, я ходил и все думал: crimen! crimen!

«Никогда на ум не приходило»...

И мне представился *суд* впервые, как что-то необходимое и важное. Раньше я думал, что это «рядятся» люди в цепи и прочее, и делают какие-то пустяки, не похожие на дела других людей, и что все это интересно наблюдать единственно в смысле профессий человеческих.

Нет.

Вижу, что — нужно.

Дело.

* Преступление, грех (лат.).



Только у человека: цветет, а завязаться плоду не дают.
*(«сформируется» девушка в 13—14 лет,
а «супружество» отложено до 20-ти лет и
далее).*



...да Элевзинские таинства совершаются и теперь. Только когда их совершают люди, они уже не знают теперь, что это — таинства.



...да ведь совершенно же ясно, что социал-демократия никому решительно не нужна, кроме Департамента государственной Полиции.

Без нее — у Департамента работы нет, как нет удочки и лова без «наживки». Социал-демократия, как доктрина, — есть «наживка» на крючке. И Департамент ловит «живность» этой приманкой.



С этой точки зрения, — а в верности ее нельзя сомневаться, — «Отечественные Записки», «Русское Богатство», «Дело», Михайловский, Щедрин — были в «невюде» правительства и служили наиболее ядовитому его департаменту. Все совершилось «обходом» и Щедрин-Михайловский соработали III-му отделению.

Но вышло «уж чересчур». Неосторожно «наживку» до того развели, что она прорвала сеть и грозит съесть самого рыбака. «Вся Россия — социал-демократична».

Понятно, для чего существует «Русское Богатство». Какой же томящийся питомец учительской семинарии, как и сельский учитель «с светлой головой», не напишет «письмо-души-Тряпичкина» нашему славному Пешехонову или самому великому Короленке. И чем ловить там по губерниям, следить там по губерниям,— легче «прочитать на свет» письма, приходящие к 3-4-10 «левым сотрудникам известного журнала». «Весь улов» и очутится «тут».

Понятно. Математика. Но «переборщили», не заметив, что вся Россия поглупела, опошлела, когда $1/2$ века III-ье отделение «оказывало могущественное покровительство» всем этим дурачкам, служившим ему при блаженной уверенности, что они служат солидарной с ними общечеловеческой социал-демократии.

Департамент сделал революцию бессильной. Но он сам обессилел, революционизировав всю Россию.

Каша и русская «неразбериха». Где «тонко» — там и «рвется».

Но вот объяснение, почему славянофильские журналы один за другим запрещались; запрещались журналы Достоевского. И только какая-то «невидимая могущественная рука» охраняла целый ряд антиправительственных социал-демократических журналов. Почему Благосветлов с «Делом» *не был* гоним, а Аксаков с «Парусом» и «Днем» — гоним *был*.

Пожалуй, и я попал: Куприн, описывая «вовсю» публ. д.— «прошел», а Розанов, заплакавший от страха могилы («Уед.»), — был обвинен в порнографии.



— Пора, сказала мамаша.

И мы вышли в городской сад. На мне был черный сюртук и легнее пальто. Она в белом платье, и сверху что-то. В начале

июня. Экзамены кончились, и на душе никакой заботы. Будущее светло.

Солнце было жаркое. Мы прогуливались по главной аллее, и уже сделали два тура, когда в «боковушке» Ивана Павловича отворилось окно, и, почти закрывая «зычной фигурой» все окно, он показался в нем. Он смеялся и кивнул.

Через минуту он был с нами. Весь огромный, веселый.

— И венцы, Иван Павлович?

— Конечно!

Мы сделали тур.— «Ну, пойдете же». И за ним мы вошли во двор. Он подошел к сторожке.— «Такой-то такой-то (имя и отчество), дайте-ка ключи от церкви».

Старичок подал огромный ключ, как «от крепости» (видал в соборах, «ключ от крепости такой-то, взятой русскими войсками»).

— Пойдемте, я вам все покажу.

Растворилась со звуком тяжелая дверь. Я «что-то стоял»... И, затворив дверь, он звучно ее запер. «Крепко». Лицо в улыбке, боязни — хоть бы тень. Повернулись оба к лестнице:

Стоит моя Варя на коленях... Как войти по лесенке,— ступеней 6,— то сейчас на стене образ; увидав его,— «как осененная» Варя бросилась на колени, и что-то горячо, пламенно шептала.

Я «ничего». Тоже перекрестился.

Вошли.



<...>



...окурочки-то все-таки вытряхиваю. Не всегда, но если с $\frac{1}{2}$ папиросы не докурено. Даже и меньше. «Надо утилизировать» (вторично употребить остатки табаку).

А вырабатываю 12 000 в год, и, конечно, не нуждаюсь в этом. Отчего?

Старая неопрятность рук (детство)... и даже, пожалуй, по сладкой памяти ребяческих лет.

Отчего я так люблю свое детство? Свое измученное и опозоренное детство.

(перебрав в пепельнице окурки и вытряхнув из них табак в свежий табак) (на письме Ольги Ивановны).



Симпатичный шалопаи — да это почти господствующий тип у русских.



Я чувствую, что *метафизически* не связан с детьми, а только с «другом».

Разве с Таней...

И следовательно, связь через рождение еще не вхлестывает в себя метафизику.

С детьми нет какой-то «связующей тайны». Я им нужен — но это эмпирия. На них (часто) люблюсь — и это тоже эмпирия. Нет загадки и нет боли, которые есть между мною и другом. Она-то одна и образует метафизическую связь.

Если она умрет — моя душа умрет. Все будет только волочиться. Пожалуй, писать буду (для денег, «ежедневное содержание»), но это все равно: *меня* не будет.

«Букет» исчезнет из вина и останется одна вода. Вот «моя Варя».



Мамочка никогда не умела отличить *клубов* пара от дыма, и войдя в горячее отделение бани, где я поддал себе на полок, вскрикивала со страхом: «Какой *угар!*...» Также она не умела отпереть никакого замка, если отпирание не заключалось в простом поворачивании ключа *вправо*. Когда я ей объяснил, что нужно же писать «мнѢ» и вообще в дательном падеже — Ъ, то она, не пытаясь вникнуть и разобраться, вообще везде предпочла писать Ъ. Когда я ей объяснил, что лучше везде

писать *e*, то она уже не стала переучиваться, и удержала старую привычку (т. е. везде *Ѣ*).

Вообще она не могла вникнуть ни в какие *хитрости* и ни в какие *глупости* (мелочи): слушая их ухом, она не прилежала к ним *умом*.

Но она высмотрела детям все *лучшие школы* в Петербурге. Пошла к Штембергу (для Васи). Директор ей понравился. Но выйдя на двор, во время роспуска учеников, она стала за ними наблюдать: и, придя, изложила мне, что «все хорошо, и директор, и порядок», но как-то «*вульгарен будет состав товарищей*». Пошла в школу Тенишевой, — и сказала твердое — «туда». Девочкам выбрала гимназию Стоюниной, а нервной, падающей на бок Тане, как и неукротимой Варваре, выбрала школу Левицкой. И, действительно, для *оттенков* детей подошли именно эти *оттенки* школ; она их не угадала, а твердо выверила.

Вообще твердость суждения и поступка — в ней постоянны. Никакой каши и мямленья, нерешительности и колебания. И никогда «сразу», «с азарту», «вдруг». Самое колебание всегда продолжалось 2—3 дня, и она ужасно в них работала умом и всей натурой.

А замка не умела отпереть: ибо это и действительно ведь *глупость*. Ибо замки ведь вообще должны *запирать*, и — *только*, т. е. все «направо»; а что сверх сего — «от лукавого». И она «от лукавого» не понимала.

Однажды мне кой-что грозило, и я между речей сказал ей, что куплю револьвер. Вдруг к вечеру с пылающим лицом она входит в мою квартиру, в доме Рогачевой. И едва поцеловав, заговорила:

— Я сказала Тихону (брат, юрист)... Он сказал, что это *Сибирем пахнет*.

— Сибирью...

— Сибирем, — она поправила, — равнодушная к форме и выговаривая, как восприняло ухо. Она была занята *мыслью о ссылке*, а не грамматикой.

Брепко схватив, я ее осыпал поцелуями. И до сих пор эта тревога за любимого человека у меня неразъединима с «Сибирем пахнет».

Она вся пылала, торопилась и запрещала (т. е. покупать револьвер). Да я и стрелять не умел.

Она вышла из 3-го класса гимназии. Именно, — она все пачкала (замуслякивала) чернилами парту, заметим, что Иван Павлович (Леонов), говоря ученицам объяснения, опирается пальцами на стол (он был огромного роста и толстый). Тот все

пачкался. Пожаловался. И поставили в поведении «4». Мамаша (Ал. Адр. Руднева), вообразив, что «4 в поведении *девушке*» — мирает ее и намекает на «VII заповедь», оскорбилась и сказала:

Не ходи больше. Я возьму тебя из гимназии. Они *не смеют порочить девушку*».



Хорошее — и у чужого хорошо. Худое — и у своего ребенка худо.

Встала в 11-м часу. Отдых, 3 раза будили.

(начало вакации у учащихся детей)
(сержусь).



У Кости Кудрявцева директор (Садоков) спросил на переэкзаменовке:

Скажите, что вы знаете о *кум*?

Костя был толстомордый (особая лепка лица), волосы ежом, взгляд дерзкий и наглый.

А душа нежная.

Улыбнулся и отвечает:

— Ничего не знаю.

— Садитесь. Довольно.

И поставил ему единицу.

Костя мне с отчаянием говорил (я ждал у дверей):

Подлец он этакий: скажи он мне *кум* — и я бы ответил. О *кум* три страницы у Кремера (грамматика). Он, черт этакий, выговорил — *кум*! (есть право и так выговаривать, но им не пользуются). Я подумал: «*кум*! — предлог *с*»; что же об нем отвечать, кроме того, что — «*с* творительным»? ...но это — до того «само собою разумеется», что я счел позорным отвечать для пятого класса.

И исключили. В тот час у него умер и отец. Он поступил на службу (чтобы поддерживать мать с детьми), — сперва в полицейское управление, — и писал мне отчаянные письма («Вася, думали ли мы, что придется служить в проклятой полиции»), потом — на почту, и «теперь работаю в сортировочной» (сортировка писем по городам).

~

В то же время где-нибудь аккуратный и хорошенький мальчик «Сережа Муромцев» учился отлично, директор его гладил по голове, кончил с медалью, в университете — тоже с медалью, наконец — профессор «с небольшой оппозицией»... И, оправдывая некрасовское

...До хорошего местечка
Доползешь ужом, —

вышел в председатели 1-й Госуд. Думы. И произнес знаменитое mot* «Государственная Дума *не может ошибаться*». Неужели мой Костя мог бы так провалиться на государственном экзамене??!

Да, он *кум* не знал: но он был ловок, силен, умен, тактичен «во всяких делах мира». А как греб на лодке! а как — потихоньку — пил пиво и играл на бильярде! И читал запоем.

Где этот милый товарищ?! <...>



Русское хвастовство, прикинувшееся добродетелью, и русская лень, собравшаяся «перевернуть мир»... — вот революция.

(за занятиями).



Отвращение, отвращение от людей... от самого *состава человека*... Боже! с какой бесконечной любви к нему я начинал (гимназия, университет).

•



Отчего это? Неужели это *правда*.

* Слово *(франц.)*.



Торчит пень. А была такая чудная латания. 13 рублей.



Так и мы...



И вся история — голое поле с торчащими пнями.

(купил за 13 с кадкой и жестяным листом на Сенной; оценивали гости в 30 р.; два года прожила; утешала глаз; на 3-й стала чахнуть, и в сентябре, у швейцара на «прилавочке» — огромная кадка и странный пень в ней).



Вполне ли искренне («Уед.»), что я так не желаю славы? Иногда сомневаюсь. Но когда думаю о боли людей — вполне искренне.

«Слава» и «знаменитость» какое-то бламанже на жизнь; когда сыт всем — «давай и этого». Но едва занозил палец, как кричишь: «Никакой славы не хочу». Во всяком случае, это-то уже справедливо, что к славе могут стремиться только пустые люди. И итог: *насколько* я желаю славы — я *ничто*. И, конечно, человечество может поступить тут «в пику». Т. е. плевать «во все лопатки».



«Анунциата была высока ростом и бела, как мрамор» (Голь) — такие слова мог сказать только человек, не взглянувший ни на какую женщину, хоть «с каким-нибудь интересом».

Интересна половая загадка Гоголя. Ни в каком случае она не заключалась в он....., как все предполагают (разговоры). Но в чем? Он, бесспорно, «не знал женщины», т. е. у него не было физиологического аппетита к ней. Что же было? Поразительна яркость кисти везде, где он говорит о покойниках. «Красавица (колдунья) в гробу» — как сейчас видишь. «Мертвецы, поднимающиеся из могил», которых видят Бурульбаш с Катериною, проезжая на лодке мимо кладбища, — поразительны. Тоже — *утопленница* Ганна. Везде покойник у него живет удвоенною жизнью, покойник — нигде не «мертв», тогда как живые люди удивительно мертвы. Это — куклы, схемы, аллегории пороков. Напротив, покойники — и Ганна, и колдунья — прекрасны и *индивидуально интересны*. Это «уж не Собакевич-с». Я и думаю, что половая тайна Гоголя находилась где-то тут, в «прекрасном упокойном мире», — по слову Евангелия: «Где будет *сокровище* ваше — там и *душа* ваша». Поразительно, что ведь ни одного мужского покойника он не описал, точно мужчины не умирают. Но они, конечно, умирают, а только Гоголь несколько ими не интересовался. Он вывел целый пансион покойниц, — и не старух (ни одной), а все молоденьких и хорошеньких. Бурульбаш сказал бы: «Вишь, турецкая душа, чего захотел». И перекрестился бы.

Кстати, я как-то не умею представить себе, чтобы Гоголь «перекрестился». Путешествовал в Палестину — да, был ханжою — да. Но перекреститься не мог. И просто смешно бы вышло. «Гоголь крестится» точно медведь в медузете.

Животных тоже он нигде не описывает, кроме быков, разбодавших поляков (под Дубно). Имя собаки, я не знаю, попадает ли у него. Замечательно, что нравственный идеал — Улейка — похожа на покойницу. Бледна, прозрачна, почти не говорит, и только плачет. «Точно ее вытащили из воды», а она взяла да (для удовольствия Гоголя) и ожила, но самая жизнь проявилась в прелести капающих слез, напоминающих, как каплет вода с утопленницы, вытащенной и поставленной на ноги.

Бездонная глубина и загадка.

(когда болел живот. В саду).



Боже Вечный, стой около меня.
Никогда от меня не отходи.

(часто) (чтобы не грешить).



Какого бы влияния я хотел писательством?
Унежить душу.

— А «убеждения».
Ровно наплевать.



Благородный ли я писатель?

Конечно, я не написал бы ни одной статьи (для денег — да), т. е. не написал бы «от души», если бы не был в этом уверен.

А ложь? Разврат («поощряю»)? Нередкая злоба (больше притворная)?

Как сочетать? согласить? примирить?

Не знаю. Только этот напор в душе убеждения, что у меня это — благородно.

Почему же? Какие аргументы? — «на суде ничего не принимается без доказательств»?

Да, — а что такое неблагородное?

«Подделывался».

Но ни к кому не подделывался.

«Льстил».

Но никому не льстил.

«Писал против своего убеждения».

Никогда.

Если я писал с «хочется» (мнимый «разврат»), то ведь что же мне делать, если мне «хотелось»?

Не потащите же вы корову на виселицу за то, что ей «хотелось».

И если «лгал» (хотя определенно не помню), то просто в то время не хотел говорить правду, ну — «не хочу и не хочу».

Это — дурно.

Не очень и даже совсем не дурно. «Не хочу говорить правды». Что вы за дураки, что не умеете отличить правды от лжи; почему я для вас должен трудиться?

Да и то определенной лжи я совсем не помню.

Правда, я писал однодневно «черные» статьи с эс-эрними. И в обеих был убежден. Разве нет $\frac{1}{100}$ истины в революции? и $\frac{1}{100}$ истины в черносотенстве?

Но зачем в «правом» издании и в «левом»?

По убеждению, что правительство *и подумать не смеет* поступать по «правым» ли, по «левым» ли листкам. Мой лозунг: «если бы я был Кое-кто, то приказал бы обо всем, не исключая «Правительственного Вестника»:

— В мой дом этих прокламаций не вносите.

Я бы уравнил «Русское Знамя» и какую-нибудь «Полярную Звезду».

— Этих прокламаций *мне* не надо.

Как сметь управлять «по 100 газетам», когда *не подали голоса* 100 000 000 людей (мужики, вообще *не имущие*)? не подали бабы? чистые сердцем гимназисты?

Подали, извольте, «люди с пером».

Я бы им такое «чиханье» устроил, что не раскушались бы.

Правительство должно быть абсолютно свободно. И, особенно — от гнета печати. Разумеется, в то же время оно должно быть чрезвычайно *строго к себе*.

Но — *по своему убеждению и своим принципам*.

А то:

— Баян говорит.

— Григорий Спиридоныч желает.

— Амфитеатров из-под Везувия фыркает.

Скажите, пожалуйста, какая «важность»? Как же им не фыркать, не желать и не говорить, когда есть чернильницы и их научили грамоте.

Не более я думал и о себе.

— Все это ерунда.

Это скромность. Именно, что я писал «во всех направлениях» (постоянно искренне, т. е. об $\frac{1}{1000}$ истины в каждом мнении мысли) — было в высшей степени прекрасно, как простое обозначение глубочайшего моего убеждения, что все это «вздор» и «никому не нужно»: правительству же (в душе моей) строжайше запрещено это слушать.

И еще одна хитрость или дальновидность — и м. б. это лучше всего объяснит, что я *сам* считаю в себе притворством. Передам это шутя, как иногда люблю шутить в себе. Эта шутка, *действительно*, мелькала у меня в уме:

— Какое сходство между «Henri IV» и «Розановым»?

— Полное.

Henri IV в один день служил лютеранскую и католическую обедню, и за обеими крестился и наклонял голову. Но Шлоссер, но Чернышевский, не говоря о Добчинском-Бокле, все «химики и естествоиспытатели», все великие умы новой истории — согласно и без противоречий — дали хвалу Henri IV за то, что он принес в жертву *устарелый* религиозный интерес новому *государственному* интересу, тем самым, по Дрэперу, «перейдя из века Чувства в век Разума». Ну, хорошо. Так все хвалили?

Вот и поклонитесь все «Розанову» за то, что он, так сказать, «расквасив» яйца разных курочек, — гусиное, утиное, воробьиное — кадетское, черносотенное, революционное, — выпустил их «на одну сковородку», чтобы нельзя было больше разобрать «правого» и «левого», «черного» и «белого» — *на том фоне, который по существу своему ложен и противен...* И сделал это с восклицанием:

— Со мною Бог.

Никому бы это не удалось. Или удалось бы притворно и неудачно. «Удача» моя заключается в том, что я *в самом деле* не умею здесь различать «черного» и «белого», но не по глупости или наивности, а что там, «где ангелы реют», — в самом деле, не видно, «что Гималаи, что Уральский хребет», где «Каспийское» и «Черное море»...

Даль. Бесконечная даль. Я же и сказал, что «весь ушел в мечту». Пусть это — мечта, т. е. призрак, «нет». Мне все равно. Я — *вижу* партии и *не вижу* их. Знаю, что — и *ложны* они и что — истинны. «Прокламации».

«Век Разума» (мещанская добродетель) опять переходит в героический и святой «Век Порыва»: и как там на сгибе мелкий бес подsunул с насмешкой «Henri IV», который дичиною, ради короны *себе*, на «золотую свою головку» — надсмелся над верами, где страдали суровый Лютер и великий Григорий !

(папа), — так послал Бог в этот другой сгиб человека, сердце которого так во всем перегорело, ум так истончился («О понимании») в анализе, что для него «все политические истины перемешались, и переплелись в ткань, о которой он вполне знает, что она провиденциально должна быть сожжена».



У нас нет совсем *мечты своей родины*.

И на голом месте выросла космополитическая мечтательность.

У греков есть она. Была у римлян. У евреев есть.

У француза — «chère France», у англичан — «старая Англия». У немцев — «наш старый Фриц».

Только у прошедшего русскую гимназию и университет — «проклятая Россия».

Как же удивляться, что всякий русский с 16-ти лет пристает к партии «ниспровержения государственного строя».

Щедрин смеялся над этим. «Девочка 16-ти лет задумала сокрушение государственного строя. Хи-хи-хи! Го-го-го!»

Но ведь Перовская почти 16-ти лет командовала 1-м марта. Да и сатирик отлично все это знал. — «Почитав у вас об отечестве, десятилетний ползет на стену».

У нас слово «отечество» узнается одновременно со словом «проклятие».

Посмотрите названия журналов: «Тарантул», «Оса». Целое издательство — «Скорпион». Еще какое-то среднеазиатское насекомое (был журнал). «Шиповник».

И все «жалят» Россию. «Как бы и куда ей запустить яда». Дивиться ли, что она взбесилась.



И вот простая «История русского нигилизма».



Жалит ее немец. Жалит ее еврей. Жалит армянин, литовец. Разворачивая челюсти, лезет с насмешкой хохол.

И в середине всех, распоясавшись, «сам русский» ступил сапожищем на лицо бабушки-Родины.

(за шасками с дегьми).



Я учился в Костромской гимназии, и в 1-м классе мы учили: «Я человек, хотя и маленький, но у меня 32 зуба и 24 ребра». Потом — позвонки.

Только доучившись до VI класса, я бы узнал, что «был Сусанин», какие-то стихи о котором мы (дома и на улице) распевали еще до поступления в гимназию:

*...не видно ни зги!
...вскричали враги.*

И сердце замирало от восторга о Сусанине, умирающем среди поляков.

Но до VI-го класса (т. е. в Костроме) я не доучился. И очень многие гимназисты до IV-го класса не доходят: все они знают, что у человека «32 позвонка», и не знают, как Сусанин спас царскую семью.

Потом Симбирская гимназия (II и III классы) — и я не знал ничего о Симбирске, о Волге (только учили — «3 600 верст», да и это в IV классе). Не знал, куда и как протекает прелестная местная речка, любимица горожан — Свияга.

Потом Нижегородская гимназия. Там мне ставили двойки по латыни, и я увлекался Боклем! Даже странно было бы сравнивать «Минина и Пожарского» с Боклем: Бокль был подобен «по гордости и славе» с Вавилоном, а те, свои князья, — скучные мещане «нашего закоулка».

Я до тошноты ненавидел «Минина и Пожарского», — и, собственно, за то, что они не написали никакой великой книги вроде «Истории цивилизации в Англии».

Потом университет. «У них была реформация, а у нас нечесаный поп Аввакум». Там — римляне, у русских же — Чичиковы.

Как не взять бомбу; как не примкнуть к партии «ниспровержения существующего строя».

В основе просто:

Учась в Симбирске — ничего о Свияге, о городе, о родных

(тамошних) поэтах — Аксаковых, Карамзине, Языкове; о Волге — там уже прекрасной и великой.

Учась в Костроме — не знал, что это имя — еще имя языческой богини; ничего — о Ипатьевском монастыре. О чудотворном образе (местной) Феодоровской Божией Матери — ничего.

Учась в Нижнем — ничего о «Новгороде низовые земли», о «Макарии, откуда ярмарка», об Унже (река) и ее старовеерах. С 10-ти лет, как какое-то Небо и Вера и Религия:

«Я человек, хотя и маленький, но у меня 24 ребра и 32 зуба», или наоборот, черт бы их брал, черт бы их драл.

Да, еще: учили, что та кость, которая *есть* берцовая, и *называется* берцовой.



Представьте, как если бы годовалому ребенку вместо материнской груди давали, «для скорейшего ознакомления с географией» — кокосового молока, а девочке десяти лет надевали бы французские фижмы, тоже для ознакомления с французской промышленностью и искусством. «Моим детям нет еще одиннадцати лет, но они уже знают историю и географию».

И в 15 лет эти дети — мертвые старички.



...пока еще «цветочки»: погодите, русская литературочка лет через 75 принесет и ягоды.

.



Уже теперь Фаресов, «беллетрист-народник», предложил поскорее, для утешения в горести, «принять в хорошую христианскую семью» немецкую бонну, которая, читая со свечой роман ночью, зажгла пожар, и когда горела 9-летняя Тamarочка Ауэр, то она вытаскивала свои платья и оставила без помощи горевшую Тamarочку. Фаресов, биограф Лескова, написал (в «Петербургской Газете»):

«Это она, бедная, растерялась. Ее скорее надо утешить».

Я бы ему предложил пожертвовать от себя этой гувернантке 25 р. Даю честное слово, что не дал бы.

О гувернантке же двоюродная тетя Тамарочки (Васина учительница) рассказывала, что она уже поступила на место и что получила страховую премию за белье свое, которое якобы сгорело, а оно, на самом деле, было в стирке и, конечно, было благополучно ей возвращено, а она показала его сгоревшим.

Да: но она 1) немка, 2) труженица, 3) интеллигентка. А что такое Тамарочка? Она только кричала, увидев пылающую комнату: «Бедный папочка! — все сгорит, и когда он вернется (из-за границы), он ничего не найдет».

Он не нашел дочери. Вечная память. Еще: она нередко у этой бонны целовала руку, как дитя неразумное, и ее от этого отучали. Она была страшно нежна к окружающим.

Сгорела она в мае. Мать ее умерла в декабре той же зимы, т. е. месяцев за 5—6. Молодой вдовец быстро вновь женился.



<...>



Когда рвалось железо и люди при Цусиме, литературочка вся хихикала, и профессора хихикали:

— Дан ранг капитана — определить высоту мачты (у К. Тимирязева — против Данилевского).

Можно бы профессорам и ответить на это:

— Принесли и положили на стол диссертацию профессора: определить, из скольких немецких лоскутков она сшита?



Лучшее в моей литературной деятельности — что десять человек кормились около нее. Это определенное и твердое. А мысли?..
Что же такое мысли...
Мысли бывают разные.

(вагон).



Люди, которые никуда не торопятся — это и есть Божьи люди.
Люди, которые не задаются никакою целью — тоже Божьи люди.

(вагон).



Правду предсказывал Горький (в очень милом, любящем письме): «Ваше Уд.— разорвут» <...>
Но я довольно стоек. Цв. пишет — «вы затравлены». Ни малейше не чувствую, т. е. ни малейше не больно. Засяду за нумизматику, и «хоть ты тут тресни». Я сам собрал коллекцию богаче (порознь), чем в киевском и чем в московском университетах. И которые собирались *сто лет*.



Любящему мужу в жене сладок каждый кусочек. Любящей жене в муже сладок каждый кусочек.

(на извозчике, похороны Суворина)
(яркое солнечное утро).



Вечное детство брака — вот что мне хочется проповедать. Супруги должны быть детьми, должны быть щенятами. Они должны почти сосать мамку с папкой. Их все должны кормить, заботиться, оберегать. Они же только быть счастливы, и рождать прекрасному обществу прекрасных детей. В будущем веке первый год молодые будут жить не в домах, а в золотых корзинах.

*(на извозчике, похороны Суворина).
(яркое солнечное утро).*



Успех в доброте и доброта в успехе...



Он был всегда ясен, прост и в высшей степени натурален. Никогда не замечал в нем малейшей черты позы, рисовки, «занятости собою», — черты почти всеобщие у журналистов. Никогда — «развалившийся в креслах» (самодовольство), что для писателя почти что Царство Небесное.

Писатель вечно лакомится около своего самолюбия.

(судьба и личность старика-Суворина).



...да я нахожу лучше стоять полицейским на углу двух улиц, — более «гражданским», более полезным, более благородным и соответствующим человеческому достоинству, — чем сидеть с вами «за интеллигентным завтраком» и обсуждать чванливо, до чего «у нас все дурно» и до чего «мы сами хороши», праведны, честны и «готовы пострадать за истину»...

Боже мой: и мог я несколько лет толкаться среди этих людей. Не задохся, и меня не вырвало.

Но, слава Богу, кой-что я за эти годы повидал (у В-ской).

Главное, как они «счастливы» и как им «жаль бедную Россию». И икра. И двухрублевый портвейн.

(читая Изгоев о Суворине, «Русская Мысль»: «сын невежественной попады и николаевского солдата, битого фухтелями»). (Уверен, что этот Изгоев, почему-то никогда не смотрящий прямо в глаза, знает дорожку к Цепному мосту).



Евреи «делают успех» в литературе. И через это стали ее «шефами». Писать они не умеют: но при этом таланте «быть шефом» им и не надо уметь писать. За них напишут все русские, — что они хотят и им нужно.



<...>



5-го августа узнал о болезни Шуры.



Почему я так не могу перенести смерти? перенести *не вечности радостей* земных.

Цари умирали. Умер Александр III. Почему же я не могу перенести?

Не знаю. Но не могу перенести. «Я умру» — это вовсе не то, что «он умрет». С «я умру» сливается (однокачественно) только.... умрет; даже чудовищнее: п. ч. я грешный.

Да, вот в чем дело: для всего мира я тоже — «он умрет», и тоже — «ничего».

Каждый человек только для себя «я». Для всех он — «он». Вот великое solo. Как же при этом не зареветь с отчаянием.

(вагон, 9 авг. 1912 г.).



Церковь об умершем произнесла такие удивительные слова, каких мы не умеем произнести об умершем отце, сыне, жене, подруге. Т. е. она всякого вообще умирающего, умершего человека почувствовала так близко, так «около души», как только мать может почувствовать свое умершее дитя. Как же ей не оставить за это все, что...

(помешали).



Все хотел (1899—1909 гг.) сделать бархатное платье. И все откладывал. Теперь уж поздно. Бархатные отделки были. Как хорошо было (в Белом) светло-серое платье с серебряной отделкой (полоса вертикальная на боку,— и еще немного где-то).

*(у Таратина; жду за покупками для детей;
мама выбирает).*



Все писатели — рабы. Рабы своего читателя.



Но уж *кого* бы там ни было, а все-таки в нем существо *раба*.



Это все Мефистофель-Гутенберг устроил. Черная память.

(8 ч. утра; переезд в город).



Сестра Верочка (умирала в чахотке 19-ти лет) всегда вынимала мякиш из булки и отдавала мне. Я не знал, почему она не ест (не было аппетита). Но эти массы мякиша (из 5-тикопечной булки) я съедал моментально, и это было наслаждение. Она меня же посылала за булкой, и, когда я приносил, скажет: «подожди, Вася». И начинала, разломив вдоль, вынимать бока и середочку.

У нее были темные волосы (но не каштановые), и она носила их «коком», сейчас высоко надо лбом; и затем — гребешок, узкий, полукругом. Была бледна, худа и стройна (в семье я *только* был некрасив). Когда, наконец, решили (не было денег) позвать Лаговского, она лежала в правой зелененькой (во 2-м этаже) комнате. Когда он вошел, она поднялась с кровати, на которой постоянно лежала. Он сказал потом при мне матери:

— Это она похрабрилась и хотела показать, что еще «ничего». Перемените комнату, зеленые обои ей очень вредны. Дело плохо.

Как она умерла и ее хоронили, я ничего не помню.



Однажды она сказала мне: «Вася, принеси ножницы». Мне было лет едва ли 8. Я принес. Из печатного листка она выстригла узкую крошечную полоску и бережно положила к себе в книгу, бросив остальное. Напечатано было: *Самойло*. «Ты не говори никому, Вася». — Я мотнул головой.

Поступив в гимназию, я на естественной истории увидел за учительским столиком преподавателя, которого называли «Самойло». Он был умеренно высокого роста, гладко выбритый в щеках и губах, большие, слегка волнистые волосы, темно-русые, ходил всегда не иначе, как в черном сюртуке (прочие — в синих фраках), и необыкновенно торжественный, или вернее, как-то пышный, величественный. Он никогда не допускал себе сходить со стула и демократически «рассказывать по классу». Вообще в нем ничего не было демократического, простого. Среди других учителей, ужасно ученых, он был, как бог учености и важности. Может быть, за год он улыбнулся раза два, при особенно нелепом ответе ученика, — т. е. губы его чуть-чуть

сжимались в «мешочек», скорее морщились, но с видом снисхождения к забавному в ученике, дозволяя догадываться, что это улыбка. Говоря, т. е. пропуская из губ немногие слова, он всегда держал (рисую по бумаге «штрихи») ручку с пером как можно дальше от пальцев, — и я видел благородные суживающиеся к концу пальцы с очень длинными, заостренными, без черноты под ними, ногтями, обстриженными «в тон» с пальцами (уже, уже, — ноготь: но и он обстрижен с боков конически).

Мы учили по Радонежскому или Ушинскому:

«Я человек хотя и маленький, но у меня 32 позвонка и 12 ребер»... И еще разное, противное. В 3-м классе (брат Федор) он (Самойло) учил ботанике. Это была толстая книга «Ботаника Григорьева»; но это уже были недоступности, на которые я не мог взирать.



В вечной тревоге ума о каком-то неблагополучии.

(мамочкина психология).

Но теперь, как все это разъяснилось, когда она 15 лет уже ясно, ощутимо больна, и никто ее не лечил.



...главная забота, откуда бы получить денежек, через Жуковского исходатайствовать от Двора; и где бы повиднее стать, — в профессору...

Очень хорош был, как профессор. Подвязывал щеку и говорил, что зубы болят, не зная, как читать и о чем читать. Зачем ему надо-то было в профессору.

Да: еще — кому бы прочитать рацею. Даже мамаше еще учеником уездного училища писал поучительные письма.

За всю деятельность и во всем лице ни одной благородной черты.

Все действия без порыва («благородный порыв»), какие-то медленные и тягучие. Точно гад ползет. «Будешь ходить на чреве своем».

(о Гоголе).



— Горе задавило! — (заплакав): — Да!!

(мама о Шуре, 9 авг. 1912 г., на извозчике, — перебив мои о чем-то слова).



Литературная память самая холодная. На тех немногих «литературных похоронах», на которых я бывал (и никогда не любил), меня поражало, до чего идущим за гробом — никакого дела нет до лежащего умершего. Разговоры. «Свои дела». И у «выдающихся» заботливая дума, что он скажет на могиле.

Неужели эти «сказыватели» пойдут за моим гробом. Бррр... То ли дело у простецов: жалость, слезы, все.



Мне кажется, церковь и преданные ей люди ужасно ошибаются, избирая для защиты церкви способы и орудия враждебной стороны — печать. Церковь — безмолвна. Церковь не печатна или «старопечатна». Зачем слово церкви? Слово ее — в литургии, в молитвах. Эти великие сокровища, сокровища церковного слова, уже созданы (еще до книгопечатания) и есть и всегда к пользованию. «Проповеди» едва ли нужны. Разве два-три слова и никогда больше пяти минут речи. Церковь должна быть безмолвна и деятельна.

Разве поцеловать больного, напутствуемого не дело? Это и дело, и слово. Поцелуй заменяет слово, поцелуй тем богаче слова — что, как музыка, он бесконечнее и неопределеннее слова. Провел рукой по волосам. Кающегося и изнеможенного обнял ли. Вот «слово» церкви. Зачем говорить?

Говорят пусть литераторы.

И все церковные журналы и газеты — прах и тление...



— Беспросветный мрак...

*(хоть раз в неделю,— годы,— засыпая на ночь,
или так лежа, и — когда я подойду и спрошу:
«Что ты?»).*



Шура на ходу:

— Когда она лечилась? Никогда она не лечилась.

В самом деле,— не «лечение» же были эти тусклые визитации Наука с бромом, камфарой, digitalis* и хинином.

Он ее «успокаивал», когда таяло вещество мозга и стачивалась ткань сердца.



<...>



При устройении брака (в стране) всегда нужно иметь в виду, что это есть вопрос (нужда) стад, вопрос тельцов,— «множества», «тьмы тьмущей»... и никак нельзя мотивировать на «наше дворянское сословие», вообще на городские привилегии и исключения... Эти и сами при уме устроятся и расположатся. Но «отворяй ворота стаду, стадищу, стадищам»: и естественно эти ворота не должны быть узки, иначе все ломается.

(за нумизматикой).



Обыкновенно каноны (греческой церкви о браке) имели в виду или императорскую фамилию, или патрициев. И через это упустили все (стадо). Патриархи константинопольские естест-

* Наперстянка (лекарственное растение) (лат.).

венно хотели «утереть нос» (через свое право «не разрешать») кесарям, и были от этого горды и свободны в требованиях: и «едва разрешили 3-й брак». Но, споря со дворцами, они забыли «Ваську Буслаевича», который кричит: «подавай мне десятый брак», и что же ему делать (такой вышел случай из 1 000 000 людей), если у него, *без его вины*, померло девять жен, а здоровье брызжет, кровь с молоком. И он орет насмешливо: «Не с подушкой же мне спать», «не на перине жениться».

И были правы патриархи (гордость церкви перед Византийским Двором), но и Васька Буслаевич тоже прав, п. ч. он — *народ* (стадо, тельцы).



Может ли девять жен умереть у мужа *без его вины*? Впрочем, у «жены-самарянки» умерли же, или куда-то от нее отошли, *семь мужей*, что уже не далеко от девяти. А во-вторых, рассказ мне Бакста, задумчивый и удивленный: «Может ли один человек испытать *два железнодорожных крушения в сутки?*». — Я ответил: «Конечно, нет!! Невероятно!!!» — «Представьте, — возразил он мне, — один мой знакомый ехал из Гавра в Лион: и потерпел крушение в поезде *Гавр — Париж*. Избавился, и так рад был продолжать путь, но был убит при крушении поезда *Париж — Лион*. *Однодневное* крушение поездов на *двух* линиях, конечно, возможно и уже не кажется *невероятным*; это вообще — *бывает*, по несколько раз в год. Между тем, в этом совершенно возможном случае будет происходить *невероятное несчастье*: *один и тот же пассажир* испытает *два железнодорожных крушения в один и тот же день*. Это произойдет со всеми теми пассажирами, которые, «уцелев» в одном поезде — следовали дальше в своем пути и пересели в другой поезд, *тоже крушившийся*».

Чудо. А — *есть*. «Невозможно», а — «случается». Ибо — стада, миллионы. Так и в народе и народном браке, т. е. в диктовании законов о браке, церковная иерархия должна «благодарно предположить» все самые невероятные случаи. Дабы по завету Божию — «трости надломленной не переломить» и «льна курящегося не загасить».

Голубой глаз так и смотрит.

Но нет так смотрит *черный глаз*.



Когда Церковь устраивала пол (институт брака), то ведь видно, что она устраивала «не свое».

Устраивала не «своих».

И не «свои» — разбежались (XIX век, — да и всегда раньше; «нравы»).



Нельзя помещать коня в коровник, корову в стойло, собаку в птичник, курицу в собачью конуру.

И только.

(за нумизматикой; как устроен у нас брак; отсутствие развода).



Все убегающее, ускользящее неодолимо влечет нас.

Так в любви и в литературе. Неужели так — в истине? Боже, неужели так и в религии, где «Бога никогда же никто виде»?!!

(за ужином и Шерл. Холмсом, 20 авг.).



Не иллюзия ли это, что я считаю своими читателями только покупателей своих книг, т. е. 2 500 человек? В газете, правда, не отделить «вообще» (чит.) от *преданного тебе*? Но я по письмам знаю, что не читавшие ни одной моей книги — *преданы* мне? В таком случае, сразу иллюзия «нечитаемости» исчезла бы.

Не знаю. Колеблюсь в этот час. По отсутствию покупателей книг я заключил вообще, что «мало известны в России» и не имею никакого влияния.

(глубок. ночью, за Шерл. Холмсом).



Человек искренен в пороке и неискренен в добродетели.



Смотрите, злодеяния льются, как свободная песнь; а добродетельная жизнь тянется, как панихида.

Отчего это? Отчего такой ужас?

Да посмотрите, как хорош «Ад» Данте и как кисло его «Чистилище». То же между «Потерянным Раем» Мильтона и его же «Возвращенным Раем». Отчего? Отчего?!!

Одно исключение, кажется, единственное: олимпийские оды Пиндара, которым не соответствовало никакой басни, насмешки, сатиры.

Т. е. греки IV—V века до Р. Х. — вот они и были счастливы и чисты.

(в каб. уединения).



Порок живописен, а добродетель так тускла.
Что же все это за ужасы?!

(20 авг. 1912 г.).



Герцен напустил целую реку фраз в Россию, воображая, что это «политика» и «история»...

Именно, он есть основатель политического пустозвонства в России. Оно состоит из двух вещей: 1) «я страдаю», и 2) когда это доказано — мели, какой угодно, вздор, все будет «политика».

Т. к. все гимназисты страдают у нас от лени и строгости учителей, то с Герцена началось, что после него всякий гимназист есть «политик», и гимназисты делают политику.

Это не вообще «так», но в $\frac{9}{10}$ — так.



...и все-таки, при всей искренности, есть доля хитрости. Если не в сказанном, то в том, чего не сказано. Значит, и в нашем «вдруг» и в выкриках мы все обращиваем себя шерсткой. «Холодно». «Некрасиво».

Какие же мы зябкие. Какие же мы жалкие.

(об «Уед.», за уборкой книг, осенью 1912 г.)



«Заштампованный человек», который судится и не по материалу, и не по употреблению, а — по «штампу». И кладутся на него «штампы» — один к другому, все глубже. Уже «вся грудь в орденах». И множество таких и составляют «заштампованное отечество».

Которое не хватает силы любить.

И стали класть «штамп» на любовь.

И положили «штамп» на церковь.

Вот наша история.

(выйдя покурить на лестницу).



Осени поздней, цветы запоздалые...

этот стих для меня только миф. Ни осени, ни дерев осенью — не видел никогда (иначе, как в младенчестве).

Только появится грибок,— собирай книжки и отправляйся в город. «Начало ученья». Грибок появляется в августе, а иногда уже к концу августа: и вот этот год только 2 раза сходил с Васей за грибами, и почти ничего не нашел, так, $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{4}$ сковородки, всяких — и подберезовиков, и сыроежек, и лисичек даже. Белый — только один. А местность — грибная.

У детей — всех — чудная лесная память. Лет 6 назад, за Териоками, мы забрались совсем далеко и совсем в глушь, перескочив какие-то плетни и пробравшись через какие-то

болотца. Вдруг — вечереет. Я испугался: мама ждет к ужину, мама будет испугана. «Дети, скорее домой, темнеет!!!» Все — тут в один момент.

Я совершенно беспамятен, и знаю в общем — *куда* идти, но совершенно не помню дороги — *где именно* проходили. А ведь можно попасть в полуболотца и не выбраться до утра. Вдруг дети кричат. «Папа — сюда, папа — туда!!!» И Васька, такой крошечный, едва 7-ми лет, шагает уверенно, как король или старый лесовик. «Вон — береза, мы проходили мимо, вон — бугор, тогда остался влево». Так как уже темнело, то мы почти бежали, а не шли; и не прошло часа, как послышались «ау» прислуги, высланной нам навстречу.

Мама, вся обессилив от испуга, говорила:

— Что же это вы со мной делаете?..

— Ну, мама! — дети наши, как лесовики, их можно, куда угодно, пустить, не заблудятся.

И Таня, и Вера, и Варя — все как герои. Точно выросли, «доведа папу домой». И грибы. Корзинки. И сейчас — чистить на кухне (лучший момент удовольствия, «торжество правды» и «награда за подвиг»).



Чего же, в образовательном отношении, стоит один такой вечер; и неужели его можно заменить знанием:

Много есть имен на is
Masculini generis:
Panis, piscis, crinis, finis*

О, черт бы их драл!!!

Но пусть это жестокая необходимость — в ноябре, в октябре, а не когда

Роняет лес багряный свой убор.

Да, и эта строка для меня тоже миф. Мы ничего теперь этого не видели. Мои бедные дети, такие талантливые все, но которым ученье трудно, — никогда этого не видят.

* Мужского рода: хлеб, рыба, волосы, конец (лат.).

Не видят, действительно, этого оранжевого великолепия лесов. А что ребенок, в 7—11 лет, почувствует, увидев его, — кто исчислил? кто угадал?

Может быть, оранжевый-то лес в детстве спасет его в старости от уныния, тоски, отчаяния? Спасет от безбожия в юности? Спасет отрока от самоубийства.

Ничего не принято во внимание. Бедная наша школа. Такая самодовольная, такая счастливая в убожестве. «Уже проходим алгебру» (с сопляками, не умеющими утереть носа).



Необыкновенной глубины и тревожности замечание Тернавцева, года 3 назад. Я говорил чуть ли не об университетах, о профессорах, может быть, о правительстве и министрах. Он меня перебил:

— Пустое! Околоточный надзиратель — вот кто важен!

Он как-то повел рукой, как бы показывая окрест, как бы проводя над крышами домов (разговор был вечером, ночью):

— Тут вот везде под крышами живут люди. *Какие* люди? *как* они живут? — никто не знает, ни министр, ни ваш профессор. Наука не знает, администрация не знает. И не интересуется никто. Между тем, *какие* люди живут и *как* они живут — это и есть узел всего; узел *важности*, узел *интереса*. Знает это один *околоточный надзиратель*, — знает молча, знает анонимно, и в состав его службы входит — *все знать*, «на случай»; хотя отнюдь не входит в состав службы обо всем докладывать. Он знает *вора*, — он знает *проститутку*, — он знает шулера, человека сомнительных средств жизни, знает изменяющую жену, знает ходы и выезды женщины полусвета. Все, о чем гадают романы, что вывел Горький в «На дне», что выводят Арцыбашевы и другие — вся эта тревожная и романтическая жизнь, тайная и преступная, ужасная и святая, находится, «по долгу службы», в ведении околоточного надзирателя, и еще, «по долгу службы», ни в чем ведении не находится.

Он почти только не договорил, или мысленно я договорил за него:

— Вот бы где служить: где подлинно — *интересно*, где подлинно — *всемогущественно*!

Я только ахнул в душе: «В самом деле — *так!* и — *никому в голову не приходило!*»

Он как-то еще ярче и глубже это сказал. Почти в этом смысле: все службы — призрачны и литературны, а действительная служба одна — это полицейская».

Сам Тернавцев — благороднейший мечтатель, à la Гамлет. И вдруг — такая мысль!

(20 августа, 12 ч.)



<...>



Вся русская «оппозиция» есть оппозиция лакейской комнаты, т. е. какого-то заднего двора — по тону: с глубоким сознанием, что это — задний двор, с глубокой болью — что сами «позади»; с глубоким сознанием и *признанием*, что критикуемое лицо или критикуемые лица суть барин и баре. Вот это-то и мешает слиться с оппозицией, т. е. принять тоже лакейский тон. Самым независимым человеком в литературе я чувствовал Страхова, который никогда даже о «правительстве» не упоминал, и жил, мыслил, и, наконец, служил на государственной службе (мелкая и случайная должность члена Ученого Комитета министерства просвещения с 1 000 р. жалованья), имея какой-то талант или дар, такт или вдохновенье вовсе не интересоваться «правительством». То ли это, что лакей-Михайловский, «зачарованный» Плева, или что «дворовый человек»-Короленко, который не может прожить дня, если ему не удастся укусить исправника или земского начальника или показать кукиш из кармана «своему полтавскому губернатору». «А то — и повыше», — думает он с трясущимися поджилками. «На хорах был пристав: и вот Анненский, сказав после какого-то предостережения, что *пусть нас слушают и там* — показал на хоры», — пишет Любовь Гуревич, — т. е. показал на самого пристава!!! Какая отчаянная храбрость. Страхов провалился бы сквозь землю от неуважения к себе, если бы в речи, имеющей культурное значение, он допустил себе, хоть минуту, подумать о *приставе*. Он счел бы унижением думать даже о министрах внутренних дел, — имея в думах лишь века и историю. Вот

эта прелестная свобода *не радикалов* — к ним и манит, т. е. манит к славянофилам, к русским, которые решительно ничего о «правительстве» не думают, *ни* — «да», *ни* — «нет», «*и* — да», «*и* — нет». Когда хорошо правительство поступает — «да», когда худо, бездарно, беспомощно — «нет». Правительство есть просто орган народа и общества; и член общества, писатель, смотрит на него, как на слугу своего, т. е. слугу таких, как он, обывателей, граждан. Так. образ., признание «верховенства власти» есть у радикалов, и решительно его нет у «нашего брата». Вот чего не разобрано, вот о чем не догадываются. Политическая свобода и гражданское достоинство есть именно у консерваторов, а у «оппозиции» есть только лакейская озлобленность и мука «о своем ужасном положении».



Покорить брак закону любви...

казалось бы, в этом ведь христианство: все — покорять закону согласия, мира, тишины. Но, именно, в христианстве, — не в мусульманстве, не в еврействе, — две тысячи лет бьется другой принцип:

Покорить любовь закону брака.

И все в этом задыхаются.



Кажется, что в нашем браке — и не Евангелие, и не Библия (уж, конечно): это — римский государственный брак. Отцы Церкви были все обывателями Греко-Римской Империи, или — чисто Римской: и понятие об «основной социальной клеточке» взяли из окружающей жизни.



Вот почему мои порывы к новой семье, хотя кажутся и суть «антиканонические», но суть подлинно евангельско-библейские стремления, и только антиримско-языческие, неосторожно взятые в «каноны».

Бог сотворил любовь. Адам и Ева были в любви — и по сему, единственно, Библия их нарекла *иш* и *иша* («сопряженные»), *муж* и *жена*. Любовь древнее «закона брачного». И понятно, что древнейшее и основное не умеет покориться новому и прибавочному.

Не «существительное» согласуется в роде, числе и падеже с «прилагательным», а «прилагательное» согласуется с «существительным».

И следуйте этому, попы; или, во всяком случае, вам не будут повиноваться.

Будете убивать за это, и все-таки вам повиноваться не будут: по слову Писания — «любовь сильнее даже и смерти».



Очень хорошо «расположение образования» в стране: от 8-ми до 22-х лет — прилежное учение. «Долбеж», от которого не поднимешь головы... От 22-х лет до 35-ти — корректная служба, первые чины и первые ордена. В 35-ть лет — статский советник. Женат (с приданым) и первые дети; ну, это — «кухня и спальня». Достигнув статского советника, — карточный стол, мелок, и пока — он проигрывает начальству, а потом — ему будут проигрывать подчиненные. Тогда он будет уже действительный статский советник.

Потом умрет. И в черной кайме «жена и дети» извещают, что «после тяжелой болезни» Иван Иванович, наконец, «скончался».



Это здоровая реакция на «глупости», что гимназисты не учатся.

— Не учитесь, господа. Ну их к черту. Шалите, играйте. Собирайте цветы, влюбляйтесь. Только любите своих родителей

и уважайте попов (ходите потихоньку в церковь). На экзаменах «списывайте», — в удовлетворение министерской ненасытности.

В 20 лет, когда уже будете, конечно, женаты, начинайте полегоньку читать, и читайте все больше и больше, до самой смерти.

Тогда она настанет поздно, и старость ваша будет мудрая.



...а то вас с детства делают старичками, а в старости предложат жениться. «Ибо уже так мудр, что можешь теперь воспитывать детей», которых теперь родить не можешь.

Вы им скажите, взрослым:

— Нет, папаша: я буду за книгами и бумагой, за письменным столом и делами сидеть — под старость. Ибо будет ум «вершить делá». А теперь я — глупенький, побегу в поле, нарву цветов и отнесу их девочке.



Из этих слов И. Христа, что «нельзя разводиться мужу и жене, токмо как по вине прелюбодеяния», духовенство извлекло больше доходов, чем из всех австралийских, и калифорнских, и алтайских золотых россыпей.

И хотя отсюда брызнули кровь и мозг человечества: церковь не может их перетолковать, распространить или усложнить, потому что иначе закроются золотоносные россыпи. И на отстаивание и сохранение буквальными этих слов положено более усилий, чем на защиту всего Евангелия.

Что не отдаст человек за восстановление своего семейного счастья? В эту-то кнопку духовенство и надавило.

(посвящается памяти С. А. Рачинского).



Теряя девственность, девушка теряет свое *определение*. Она не согрешила (закон природы), она никого не обидела. Всеми миру она может сказать: «Вам какое дело». Так.

Но когда с нею будут говорить, как с девушкой, как с «барышней», а — не «барыней», не как с «дамою», ведь она не скажет:

— Я уже *не девушка*.

Она нечто *утаит*. И это на каждом шагу. Всякий день она вынуждена будет солгать. Она окажется в положении, как «с *не своим* паспортом» в дороге; с «ложным видом» в кармане.

Правдивая в девстве, искренняя в девстве, прямая в девстве, — теперь (потеряв девство) она будет вынуждена каждый день согнуться, скривить, сказать «неправду» и упрекнуть себя за «недостаток мужества».

Это такая мука.

Но и еще ужаснее, что, «сгибаемая бурей», она, наконец, начнет расти криво, как-то «боком», неправдиво.

Она вся потускнеет. Сожмется. И вовсе не по «греху», коего несколько не содержится в совокуплении, но по этим обстоятельствам — потеря «девственности», в самом деле, есть «падение». И эмпирически с этого времени девушка обыкновенно «падает» и «падает». «Падает» в должности. «Падает» в труде. Падает «дома».

Но анафемы (общество, старшие): предупредите же это ужасное несчастье детей ваших своевременным, возможно ранним замужеством. И никогда не смейте кричать — «ты пала» (родители дочерям), когда уже 3—4 года прошло, когда она все томилась, ожидая.

(т. е. после «сформирования»); (вообще должен бы быть в законе определен срок «уплаты векселей», срок — пока девушка «обязана ждать». Пока — все обществу, и ничего — девушке. Закон должен, напр., сказать: «После 30 лет сохранения девства не обязательно, и материнство не несет никакого порицания, а ребенок — законен»).



Да, я тоже думаю, что русский прогресс, рожденный выгнанным со службы полицейским и еще клубным шулером, далеко пойдет:

Сейте разумное, доброе, вечное.
Сейте. Спасибо вам скажет сердечное
Русский народ.

Вообще у русского народа от многочисленных «спасибо» шея ломится. Со всех сторон генералы, и где военный попросит одного поклона, литературный генерал заставит «век кланяться».

Щедрина и Некрасову кланяются уж 50 лет.



Все-таки бытовая Русь мне более всего дорога, мила, интимно близка и сочувственна.

Все бы любилась. Все бы женились. Все бы растили деточек.

Немного бы их учили, не утомляя, и потом тоже женили. «Внуки должны быть готовы, когда родители еще цветут» — мой канон.

Только «†» страшна.

(вернувшись со свадьбы Светозара Степановича).



Кто же была Суламифь?

Каждая израильянка в вечер с пятницы на субботу.



«Песнь песней» надо сближать с тем местом Иезекииля (14 или 16-ая глава), где говорит через пророка Б., как он встретил деву Израиля: «и груди (только что) поднялись у тебя»... «и волосы показались»... и «Я взял кольцо и вддел тебе в ноздри, и повесил в уши запястья»... И т. д. «Но ты... всем проходящим по дороге давала жать свои сосцы... и Ассиру, и Египтянину»...

(за газетами утром).



Место это — чудно. Его каждый юноша и каждая девушка должны заучить наизусть, — как *корень* жизни своей, как основание *прав* своих:

Книга пророка Иезекииля, глава XVI:

И было ко мне слово Господне: «Сын человеческий!» выскажи Иерусалиму мерзости его.

«И скажи: так говорит Господь Бог дщери Иерусалима: твой корень и твоя родина в земле Ханаанской; отец твой Аморрей и мать твоя Хаттенянка;

При рождении твоём, в день, как ты родилась, пупа твоего не отрезали, и водою ты не была омыта для очищения, и солью не была осолена, и пеленами не повита.

Ничей глаз не сжалился над тобою, чтобы из милости к тебе сделать тебе что-нибудь из этого; но ты выброшена была на поле, по презрению к жизни твоей, в день рождения твоего.

И проходил Я мимо тебя, и увидел тебя, брошенную на попрание в кровях твоих, и сказал тебе: «в кровях твоих живи!» Так. Я сказал тебе: «в кровях твоих живи».

Умножил тебя, как полевые растения; ты выросла и стала большая, и достигла превосходной красоты: поднялись груди, и волосы у тебя выросли; но ты была нага и непокрыта.

И проходил Я мимо тебя, и увидел тебя, и вот, *это было время твое, время любви; и простер Я воскрылия риз Моих на тебя, и покрыл наготу твою; и покланялся тебе, и вступил в союз с тобою,— говорит Господь Бог; и ты стала Моею.*

Омыл Я тебя водою, и смыл с тебя кровь твою, и помазал тебя елеем.

И надел на тебя узорчатое платье, и обул тебя в сафьянные сандалии, и опоясал тебя виссоном, и покрыл тебя шелковым покрывалом.

И нарядил тебя в наряды, и положил на руки твои запястья и на шею твою ожерелье.

И дал тебе кольцо на твой нос, и серьги к ушам твоим, и на голову твою прекрасный венец.

И пронеслась по народам слава твоя.

И взяла нарядные твои вещи из Моего золота и из Моего серебра, которые Я дал тебе, и сделала себе мужские изобретения, и блудодействовала с ними.

И взяла узорчатые платья твои, и одела их ими, и ставила перед ними елей Мой и фимиам Мой,

И хлеб Мой, который Я давал тебе, пшеничную муку, и елей, и мед, которыми Я питал тебя,— ты поставляла перед ними в приятное благовоние. И это — было, говорит Господь Бог».



Получил два характерных письма.

Многоуважаемый Василий Васильевич!

Я решился обратиться к вам с просьбой, которая вам, быть может, покажется странной и даже нахальной. Я — студент 3-его курса Психологического ин-та. Денег своих не имею. Живу помощью отца.

Эти деньги меня страшно тяготят — прямо «руки жгут».

С удовольствием отказался бы от этой поддержки. Но больше мне неоткуда ждать помощи. Зарабатывать уроками и т. п. — сами знаете, что это такое!..

Я и решил, при первой возможности, отказаться от денег отца. И вот мне пришлось в голову попросить у вас 2 000 руб. Может быть, мои соображения слишком наивны — но когда я узнал, что у вас имеется 35 000 руб. (Уединенное), я решил, что вы вполне можете уделить мне 2 000 руб.

На эти деньги я мог бы еще 4 года проучиться (раньше кончить не удастся), затем стал бы выплачивать самым усердным образом.

Мне будет очень обидно, если вы меня примете за афериста.

На что я решился — мною глубоко продумано. Конечно, гарантии своей честности я вам представить не могу — вы можете мне или поверить, или с омерзением бросить письмо в корзину...

Во всяком случае, для меня — моя просьба вещь серьезная и я прошу вас поверить, что в ней нет ничего шарлатанского.

Мне бы очень хотелось получить от вас ответ.

Г. Ш.

Адр. СПб. Екатерининская ул. д. NN

Студенту Г. И. Ш.

27 авг. 1912 г.

Р. S. Мне желательно, чтоб содержание этого письма осталось между нами.

Г. Ш.

Удивительно: автор, нужду коего я должен заметить, — не заметил в том же «Уед.», что около 35 000 кормятся 11 человек, из них — 5 маленьких детей, и — большая зятяжно годы, жена. «Мне до вас — дела нет»; но вам до меня — есть дело. — Но почему?

— Я студент, будущность России, а вы — старик и ничего. Очень мило.

М. Г.

Частенько в газетах мне приходилось читать: такой-то утопился, такой-то застрелился, та-то отравилась; оставляя перед смертью записку: «Есть нечего», «Нечем было жить». И прочитавши про какое-либо самоубийство, я думал:

«Неправда, не может быть, чтобы человеку, который имеет руки и желает работать, нечем было жить; тут не что иное, как оправдание перед кем-то в своей преждевременной кончине». Я думал, что такой человек имеет какую-то душевную драму, и, не в силах ее пережить — он лишает себя жизни. Записка? — записка открывает лишь часть, малую часть его душевной драмы; простое совпадение обстоятельств.

И так думая, я приходил к такому выводу: Человек, если он может и желает работать, всегда может отыскать для себя труд и прокормить себя, и никогда не решится, исключительно из-за этого, лишить себя жизни. И я это еще увереннее говорил про холостого человека.

Но мне, совершенно неожиданно для меня, пришлось прийти к обратному заключению. И не при помощи каких-либо умозаключений, а просто испытывая это поневоле на себе.

Познакомлю Вас с собой.

Я техник, окончил курс низшего механико-технического училища, где учился первым учеником, и не потому, что я очень зубрил, а потому, что мне очень легко давалось то, что давалось другим с трудом. Служил на одном месте и учился дома; хотел все сдать экзамен на аттестат зрелости. Но видя, что успехи по учению у меня неважные, — репетитора же я не мог нанять, — я решил ехать в Петербург, зная, что здесь (в Петербурге) я могу довольно дешево подготовиться, отдавая для этого свободные вечера.

Приехал. Работу на первое время нашел. Начал приискивать места. Работа кончилась. А места все найти не могу. Вот уже 2 месяца; как я ищу работы или места; но его нет. Я искал его в различных отраслях труда: я мог бы быть чертежником, слесарем, работать на станках по обработке металла или дерева, мог бы ухаживать за паровой машиной, двигателем или динамомашинной, или же быть монтером по электричеству; но где бы я ни просил, соглашаясь вперед на какое угодно жалование, мне всегда отказывали <> «У нас полный комплект служащих». «Все места заняты». Вот тот типичный ответ, который я получал в конторах и правлениях, или же — от сторожа, где не пускали не только работать, но и просить места. Все деньги, которые я привез и заработал, были или прожиты, или израсходованы на объявления; осталось от них всего 3 рубля, — да не улыбающаяся перспектива помирать с голоду. Помереть с голоду! как это звучит? но нет! я до этого не дойду, и лишу себя жизни.

В России с голоду никто не умирал, а я показывать пример не буду. Я пойду старой, протеренной другими, дорожкой.

Правда, есть еще другие выходы: или идти просить милостыню, или пойти служить мальчиком на посылках; но то и другое я сделать не хочу, потому что не могу.

Я хочу жить! Я хочу работать! Я могу работать! У меня свежие силы. Но что же мне делать, когда получаю такой ответ: «Все места заняты!» Что? «Полный комплект служащих. Нам больше не надо».

Тут кипит жизнь! тут идет работа! а я? — Я лишний. Ведь не такой же

я лишний, как лишний пуд для носильщика тяжестей; как лишний в шлюпке человек при кораблекрушении. Положи лишний пуд носильщику на спину, и он упадет и другие не снесет. Посади лишнего человека в лодку, лодка потонет, и никто не спасется. Ведь не такой же я лишний? Как вы думаете?

А время летит. Придет час, и одним человеком меньше станет. Такова жизнь! Всему научили меня,— не то, так другое могу делать; а главному: как жить? как приспособиться к жизни? — и забыли научить. Фонарей в дороге много надавали, а спичек не дали; потухли фонарики один за другим: вот и заблудился! и темно! темно!

Если прибавить к этому письму мой адрес, то я боюсь, что вы подумаете, что я хочу порисоваться,— или, что еще хуже, вы можете подумать, что я прошу помощи: и я решил послать вам это письмо без адреса и фамилии. Так будет лучше! Да!

С почтением к вам пребываю

.ов.

СПБ.

Октября 11 дня

1911 г.

Какое страшное письмо. Усилия мои предупредить несчастье — письмо в газете к анониму — прийти ко мне, уже, вероятно, опоздало.



Толстой удивляет, Достоевский трогает.



Каждое произведение Толстого есть здание. Что бы ни писал или даже ни начинал он писать («отрывки», «начала») — он строит. Везде молот, отвес, мера, план, «задуманное и решенное». Уже от начала всякое его произведение есть в сущности до конца построенное.

И во всем этом нет стрелы (в сущности, нет сердца).

Достоевский — всадник в пустыне, с одним колчаном стрел. И капает кровь, куда попадает его стрела.

Достоевский дорог человеку. Вот «дорогого»-то ничего нет в Толстом. Вечно «убеждает», ну и пусть за ним следуют «убеж-

денные». Из «убеждений» вообще ничего не выходит, кроме стоп бумаги и собирающих эту бумагу, библиотеки, магазины, газетного спора и, в полном случае, металлического памятника.

А Достоевский *живет* в нас. Его музыка никогда не умрет.
(сентябрь).



На том свете, если попадешь в рай, будут вместо воды поить арбузами.

(за арбузом).



— Какой вы хотели бы, чтобы вам поставили памятник?
— Только один: показывающим зрителю кукиш.

(в трудовом дне).



У меня есть какой-то фетишизм мелочей. «Мелочи» суть мои «боги». И я вечно с ними играюсь в день.

А когда их нет: пустыня. И я ее боюсь.



«Пароход идет» писательства — идет при горе, несчастии, муках души... Все «идет» и «идет»... Корректуры, рукописи...

(история рыжей лошадью из Лисино).



Крепче затворяй двери дома, чтобы не надуло.
Не отворяй ее часто. И не выходи на улицу.



Не сходи с лестницы своего дома — там зло.

Дальше дома зло уже потому, что дальше — равнодушие.

(Лисино).



Так, один около одного болтается: Горнфельд трется о спину Короленки, Петрищев где-то между ногами бегаёт, выходит — куча; эта куча трется о такую же кучу «Современного мира». Выходит шум, большею частью, «взаимных симпатий» и обоюдного удивления таланту. Но почему этот «шум литературы» Россия должна принимать за «свой прогресс»?

Не понимаю. Не поймет ни пахарь, ни ремесленник, и разве что согласится чиновник. «Я тоже бумажное царство, — подумает он, — и не разумею, для чего они отделяются от меня. Мы вполне гармоничны».



Ты бы, демократ, лучше не подслушивал у дверей, чем эффектно здороваться со швейцарами и кухарками за руку. От этого жизнь не украсится, а от того, решительно, жизнь воняет. Притом надо иметь слишком много самообольщения и высокомерия, чтобы думать, будто она — будет осчастливлена твоим рукопожатием. У нее есть *свое достоинство*, и, как ни странно, в него входит получить гривенник за «пальто», которого ты никогда не даешь.



— Нет, папа, ты ошибаешься. Когда мы недели 2 там жили, — помнишь, когда вернулись рано с Кавказа, — то я раз утащила на кухне морковку, а она увидела. Ну, что морковка? Я выбежала и, не доев, бросила в канавку, а с испугу сказала, что не брала. Так она мучила меня, мучила. — «Ты дурная, Таня, девочка, украла и солгала. Я маме твоей скажу». И жаловалась на меня маме, что я лгала, когда она приехала. А что морковка?

(социал-пуриганка Лидия Эрастовна).



Отвратительная гнойная муха — не на рогах, а на спине быка, везущего тяжелый воз — вот наша публицистика, и Чернышевский, и Благосветлов: кусающие спину быку.



Россия иногда представляется огромным буйволом, съевшим на лугу траву-зелье, съевшим какую-то «гадину-козулю» с травой: и, отравленный ею, он завертелся в безумном верчении.

(Желябов и К-о).



Дочь курсистка. У нее подруги. Разговоры, шепоты, надежды...

Мы «будем то-то»; мы «этого ни за что не будем»... «Согласимся»... «Не согласимся»...



Все — перед ледяной прорубью, и никто этого им не скажет:

«Едва вы выйдете за волшебный круг Курсов, получив в руки бумажку «об окончании», — как не встретите никого, ни одной руки, ни одного лица, ни одного учреждения, службы, где бы отворилась дверь, и вам сказали: «Ты нам нужна».

И этот ледяной холод — «никому не нужно» — заморозит вас и, может быть, убьет многих.

Но терпите. Боритесь, терпите. Это ледяное море приходится каждому переплывать, и кто его переплывет — выползет на берег.

Без перьев, без шлейфа, кой-какой. Но вылезет.



<...>



Две курсистки и четыре гимназиста, во имя «правды в душе своей», решили совершить переворот в России.

И не знают, бедные, что и без «переворота» им, по окончании (курса), будет глотать нечего. И будут называть «ваше превосходительство», чтобы не умереть с голоду.

И печать их подбодряет: «идите! штурмуйте!» — Азефы, — милые человеки. Азефы, и — не больше.

(Короленке и Пешехонке).



Все люди утруждены своим необразованием, — один Г. находит в этом источник гордости и наслаждения. Прежде, когда он именовал себя «социалистом-народником» (с такой-то фамилией), он говорил в духе социалистов, что «хотя ничему не учился, однако все знает и обо всем может судить». Объяснить ему, что Португалия и Испания — это *разные* государства, нет никакой возможности: ибо он смешивает «Пиринейский полуостров» с «Испанией». Теперь, когда он стал «народником и государственным», он считает не согласным со своими «русскими убеждениями» знать географию Европы. Раз — без всякого повода, но со счастливым видом, — он стал говорить, будто «сказал Столыпину, что его взгляды на Россию совершенно ошибочны».

— Александру Аркадьевичу Столыпину?

Как бы кушая бланманже:

— Н-е-е-т. Петру Аркадьевичу. Я сказал ему, что совершенно ни в чем с ним не согласен. Tout le monde est frappé que G*.

Не знаю, был ли счастлив Столыпин поговорить с Г., но Г. был счастлив поговорить со Столыпиным.

И, уезжая домой, в конке, вероятно, думал:

— Что теперь Столыпин думает обо мне?

Эта занятость Столыпина Г-ом и Г-а Столыпиным мне представляется большим историческим фактом. «В груди истории должен быть положен везде свой камешек». И Г. усердно положил «свой».

(на «приглашение» в Славянское Общество).

* Все удивлены, что Г. (франц.).



К *силе* — все пристает, с *силою* (в *союзе* с нею) — все безопасно: и вот история нигилизма или, точнее, нигилистов в России.

Стоит сравнить тусклую, загнанную, «где-то в уголку» жизнь Страхова, у которого не было иногда щепотки чая, чтобы заварить его пришедшему приятелю, — с шумной, широкой, могущественной жизнью Чернышевского и Добролюбова, которые почти «не удостаивали разговором» самого Тургенева; стоит сравнить убогую жизнь Достоевского в позорном Кузнецком переулке, где стоят только извожичьи дворы и обитают по комнаткам проститутки, — с жизнью женатого на еврейке-миллионерке Стасюлевича, в собственном каменном доме на Галерной улице, где помещалась и «оппозиционная редакция» «Вестника Европы»; стоит сравнить жалкую полужизнь, — жизнь как *несчастье и горе*, — Кон. Леонтьева и Гилярова-Платонова — с жизнью литературного магната Благодетель (1910-11 г.) с его более чем сотнею гостей-членов, с жизнью «Василия Васильевича и Варвары Димитриевны», с Ге и Ивановым за чашкой чаю, — чтобы понять, что нигилисты и отрицатели России давно догадались, где «раки зимуют», и побежали к золоту, побежали к чужому сытному столу, побежали к дорогим винам, побежали везде с торопливостью *неимущего* — к *имущему*. Нигилизм давно *лизет пятки* у богатого — вот в чем дело; нигилизм есть *прихлебатель* у *значного* — вот в чем тоже дело. К «Николаю Константиновичу» на зимнего и весеннего Николу (праздновал именины два раза в год) съезжались не только из Петербурга, но и из Москвы литераторы; из Москвы специально поздравить приезжал Максим Горький (как-то писали), и курсистки — с букетами, и студенты — должно быть пролепетать свою «оппозицию» и «поздравление»; и он раздавал свои порицания и похвалы, как возводил в чин и низвергал из чинов. Об этом неумытом нигилисте Благодетеле я как-то услышал у Суворина рассказ, чуть ли не его самого, что в кабинет его вела дверь из черного дерева с золотой инкрустацией, перед которою стоял слуга-негр, и вообще все «как у графов и князей»; это уж не квартирка бедного Рцы с его Ольгой Ивановной «кое в чем». Вот этих «мелочей» наша доверчивая и наивная провинция не знает, их узнаешь, только приехав в Петербург, и узнав — удивишься великим дивом. Гимназистом в VI-VII-VIII

классах я удивлялся, как правительство, заботящееся о культуре и цивилизации, может допустить существование такого гнусно-отрицательного журнала, где стоном стояла ругань на все существующее, и мне казалось — его издают какие-то пьяные семинаристы, «не окончившие курса», которые пишут свои статьи при сальных огарках, после чего напиваются пьяны и спят на общих кроватях со своими «курсистками»: но «черные двери с негром» мне и нам всем в Нижнем и в голову не приходили... Тогда бы мы повернули дело иначе. «Нигилизм» нам представлялся «отчаянным студенчеством», вот пожалуй «в повалку» с курсистками: но все — «отлично», все — «превосходно», все — «душа в душу» с народом, с простотой, с бедностью. «Грум» (негр) в голову не приходил. Мы входили «в нигилизм» и в «атеизм» как в страдание и бедность, как в смертельную и мучительную борьбу против всего сытого и торжествующего, против всего сидящего за «пиршеством жизни», против всего «давящего на народ» и вот «на нас, бедных студентов»; а в самом нижнем ярусе — и нас, задавленных гимназистов. Я прямо остолбенел от удивления, когда, приехав в Петербург, вдруг увидел, что «и Третий Иванович в оппозиции», а его любимчик, имевший 2 000 «аренды» (неотъемлемая по смерти награда ежегодная по распоряжению Государя), выражается весьма и весьма сочувственно о взрывчатых коробочках: тут у меня ум закружился, тут встал дым и пламя в душу. «Ах, так вот где оппозиция: с орденом Александра Невского и Белого Орла, с тысячами в кармане, с семгой целыми рыбами за столом». — «Это совсем *другое дело*». Потом знакомство со Страховым, который читал «как по-русски» на 5-ти языках и как специалист и виртуоз знал биологию, математику и механику, знал философию и был утонченным критиком и которому в журналистике *некуда было*, кроме плохо платившего «Русского Вестника», пристроить статейку... Потом пришел ушедший от Михайловского Перцов, с его великодушными (при небольших своих средствах) изданиями чужих трудов...

Я понял, что в России «быть в оппозиции» — значит любить и уважать Государя, что «быть бунтовщиком» в России — значит пойти и отстоять обедню, и, наконец, «поступить как Стенька Разин» — это дать в морду Михайловскому с его «2-мя именинами» (смеющийся рассказ Перцова). Я понял, что «Русские Ведомости» — это и есть служебный департамент, «все повышающий в чинах», что Елизавета Кускова — это и есть «чиновная дама», у которой все подходят «к ручке», так как она издавала высокопоставленный журнал «Без загла-

вия». Что «несет шлейф» вовсе не благородная, около нищих и проституток всю жизнь прожившая, княжна Дондукова-Корсакова (поразительна биография, — в книге Стасова о своей сестре), а «несут длинный трэн» эта же Елизавета Кускова, да Софья Ковалевская, и перед ними шествующие «кавалерственные дамы» с Засулич и Перовской во главе, которые великодушную и *святую* Дондукову-Корсакову даже не допустили «на аудиенцию к себе» в Шлиссельбурге. Тогда-то я понял, где оппозиция; что значит быть «с униженными и оскорбленными», что значит быть с «бедными людьми». Я понял, где корыто и где свиньи, и где — терновый венец, и гвозди, и мука.

Потом эта идиотическая цензура, как кислотой выедающая «православие, самодержавие и народность» из книг; непропуск моей статьи «О монархии», в параллель с покровительством социал-демократическим «Делу», «Русскому Богатству» etc. Я вдруг опомнился и понял, что идет в России «кутеж и обман», что в ней встала левая «опричнина», завладевшая всею Россией и плещущая купоросом в лицо каждому, кто не примкнет «к оппозиции с семьей», к «оппозиции с шампанским», к «оппозиции с Кутлером на 6-ти тысячной пенсии»...

И пошел в ту тихую, бессильную, может быть, в самом деле имеющую быть затоптанную оппозицию, которая состоит в:

- 1) помолиться,
- 2) встать рано и работать.

(15 сентября 1912 г.)



Где, однако, погибло русское дело, русский дух? как все это (см. выше) могло стать? сделаться? произойти?

В официальности, торжественности и последующей «наградке».

В той самой «вони», в которой сейчас погибает (?) нигилизм.

Все объясняется лучше всего через *случай*, о коем, где-то вычитав, передавал брат Коля (лет 17 назад).

Однажды ввечеру Государь Николай Павлович проходил по дворцу и услышал, как великие княжны-подростки, собравшись в комнату, поют «Боже Царя храни». Постояв у отворенной в коридор двери, — он, когда кончилось пение, вошел в комнату и сказал ласково и строго:

— Вы хорошо пели, и я знаю, что это из доброго побуждения. Но *удержитесь вперед*: это священный гимн, который нельзя

петь при всяком случае и когда захочется, «к примеру» и почти в игре, почти пробуя голоса. Это можно только очень редко и по очень серьезному поводу.

Разгадка всего.

У нас в гимназиях и, особенно, в тогдашней подлой Симбирской гимназии, при Вишневском и Кильдюшевском, с их оскверняющим и оскорбляющим чиновничеством, от которого душу воротило, заставляли всей гимназией перед портретом Государя петь каждую субботу «Боже Царя храни», да и теперь, при поводе и без повода, везде и всякая толпа поет «Боже Царя храни»...

Как?

— Конечно, *бездушно!*

Нельзя каждую субботу испытывать патриотические чувства, и все мы знали, что это «Кильдюшевскому с Вишневским нужно», чтобы выслужиться перед губернатором Еремеевым: а мы, гимназисты, сделаны орудиями этого низменного выслуживания.

И, конечно, мы «пели», но каждую субботу что-то улетало с зеленого дерева народного чувства в каждом гимназисте: «пели» — а в душонках, маленьких и детских, рос этот желтый, меланхолический и разъяренный нигилизм.

Я помню, что именно *Симбирск* был родиной моего нигилизма. А я был там во II и III классе; в IV-м уже перешел в Нижний.

Вот в этом официально-торжественном, в принудительном «патриотизме» — все дело. Мне иногда думается, что «чиновничество» или, вернее, всякие «службы» пусть бы и остались: но с него нужно снять позументы и нашивки, кстати очень смешные и кургузые, *курьезные*. Как и ордена, кроме разве самых высших, лент и звезд. Все эти служебные «крестики» ни на что не похожи и давно стали посмешищем всех. «Служилый люд» должен быть одет в простой черный кафтан, — и вообще тут может быть придумано нечто строгое, серьезное и простое. Также все эти «поздравления с праздниками начальства», вероятно мешающие только ему отдыхать, веселиться, «разговестись со своими» (в семье) — вся эта поганая шушера должна быть выметена и просто-напросто «в один прекрасный день» запрещена.

Чувство Родины — должно быть строго, сдержано в словах, не речисто, не болтливо, не «размахивая руками» и не выбегая вперед (чтобы показаться).

Чувство Родины должно быть великим горячим молчанием.

(15 сентября).



Теперь вы поищите Магнитских да Русилей, да Аракчеева и Фаддея Венедиктовича Булгарина — в своем лагере, господода.

(радикалам).



Все «наше образование» — не русское, а европейское нашего времени — выразилось в:

— Господа! Предлагаю усопшего почтить вставанием.

Все встают.

Кроме этого лошадиного способа относиться к ужасному, к несбыточному, к неизрекомого факту смерти, потрясающему Небо и Землю, наша цивилизация ничего не нашла, не выдумала, не выдавила из своей души.

— «Встаньте, господа!» — вот и вся любовь.

— «Встаньте, господа!» — вот и вся мудрость.

Дарвин, парламент и войны Наполеона, всем бесчисленным умершим и умирающим, говорят:

— «Мы встали». — «Когда вы умрете — мы встанем».

Это до того рыдательно в смысле наших «способностей», в смысле нашей «любви», в смысле нашего «уважения к человеку», что...

Ну и что же, мы будем «реформировать Церковь» с такими способностями?..

Да ведь ни в ком из нас, *во всей нашей цивилизации*, нет ни одной капельки той любви, нет ни одной капельки того безбрежного уважения к человеку, какие сказаны церковью при соиздании этих (погребальных) обрядов, слов, песнопений, чтений, сказаний, сказаны — и все это запечатлелось как документ. Какой у нас документ любви?!

«Встали! Постояли!!»

— Ослы!

Что скажем еще, кроме «ослы».



Вот эта-то «важная попытка реформации», — попытка с пустым сердцем, попытка с ничтожным умом, — она потрясает Европу... Тут «и декаденты», и «мы», «и эгофутуристы», всякие «обновленцы», и еще «Дума» и Караулов.

Да, «постояли мы» и над Карауловым. Надо было ему с того света чихнуть нам: «Мало».



Рассказ Кускова (Пл. А.):

— Все жалуются, что полиция притесняет бедных обывателей и стесняет гражданскую свободу. «Задыхаемся». «Держи и не пушай». Раз я зашел в далекую улицу, панель — деревянная, и бредет мне навстречу пьяная баба. Только у нее, должно быть, тесемки ослабели, и подол спереди был до земли. Как она все «клюкала» вперед, то и наступала на подол. Он ее задерживал, и в досаде она поддегивала (его) вверх. Но юбка отделилась от кофты, и она, не замечая, дергала сорочку. Дальше больше: и я увидел, что у нее пузо голое. Юбку совсем она «обступала» книзу, и она сползла на бедра, а рубашку вздернула кверху. От омерзения я воскликнул стоявшему тут же городовому:

— Что же ты, братец, смотришь: отведи ее домой или в участок.

Сделав под козырек действ. стат. советнику (Кус.), городской отвечал:

— Никак нет-с, ваше высокоблагородие. Нельзя-с. Она сама идет, и я не могу ее взять, потому нам приказано брать только если пьяный *лежит*.

Кусков никогда не выезжал (до отставки) из Петербурга, и это было в столице.

Минувший год мы ездили с мамой к Романовым, — на Б. Зеленину. И, проезжая небольшую площадку, кажется, у Сытного рынка (Петерб. сторона), — *в 1 час дня*, — в яркий солнечный весенний день, — я вскрикнул и *отвернулся*.

Тотчас же взглянула *туда* жена.

— Молоденькая, лет 18 (сказала).

Vis-à-vis стояла толпа. Рассеянно, не нарочно. Парни, женщины.

И против них эта «18-ти лет» подняла над голыми ногами подол «выше чего не следует» и показала всем.

Столица.

(насколько мелькнуло лицо — не видно было, что бы это была проститутка).



Все что-то где-то ловит: — в какой-то мутной водиче какую-то самолюбивую рыбку.

Но больше срывается, и насадка плохая, и крючок туп. Но не унывает. И опять закидывает.

(рыбак Г. в газетах).



Стиль есть душа вещей.



Уж хвалили их, хвалили...

Уж ласкали их, ласкали...

(революционеры у Богучарского и Глинского).



...дураки этакие, все мои сочинения замешены не на воде и не на масле даже, — а на семени человеческом: как же вам не платить за них дороже?

(на извозчике) (первое естественное восклицание, — затерявшееся; и потом восстановленное лишь в теме в «Оп. Лист.»).



Мамочка не выносила Гоголя и говорила своим твердым и коротким:

— Ненавижу.

Как о духовенстве, будучи сама из него, говорила:

— Ненавижу попов.

— Отчего вы, Варвара Дмитриевна, «ненавидите» священников?

Не торопясь:

— Когда сходят с извозчика, то всегда, отвернув в сторону рясу, вынимают свой кошель и рассчитываются. И это «отвернувшись в сторону, как будто кто у них собирается отнять деньги, — отвратительно. И всегда даст извозчику вместо «5 коп.» этот... с особенным орлом и старый «екатерининский» пятак, который потом не берут у извозчика больше, чем за три копейки.

— А Гоголя почему?

Она не повторяла и не объясняла. Но когда я пытался ей читать что-нибудь из Гоголя, которого Саша Жданова (двоюродная ее) так безумно любила, то, деликатно переждав (пока я читал), говорила:

— Лучше что-нибудь другое.

Это меня поразило. И на все попытки оставалась деликатно (к предлагавшему) глуха.

«— Что такое????! Гоголь!!!» — Я не понимал.

Нередко она сама смеялась своим грациозным смехом, переходившим в счастливейшие минуты в игривость, — небольшую и короткую. Все общее расположение души было деликатное и ласковое (тогда), без тени угрюмости (тоже тогда). Она не анализировала людей и, кажется, не позволяла себе анализировать. «Я еще молода» (26 или 28 лет). Все отношение к людям чрезвычайно ровное и благорасположенное, но без пристрастий и увлечений. В сущности она жила как-то странно: и — «не от мира сего», и — «от сего мира». Что-то среднее, промежуточное. Впереди — ничего; кругом — ничего; позади — счастливый роман первого замужества, тянувшийся года четыре.

Муж медленно погибал на ее глазах от неизвестной причины. Он со страшной медленностью слепнул, и, затем, коротко и бурно помешавшись — помер. «Мне сшили тогда траурное все, но я не надела, и как была в цветном платье — шла за ним» (на кладбище; не имела сил переодеть).

Это цветное платице за гробом осталось у меня в душе. «Отчего она не любит Гоголя? *Не выносит*».

Со всеми приветливо-ласковая, она только не кланялась Евлампие Ивановне С-вой, жене законоучителя и соборного священника.

— Отчего?

— Она ожидает поклона, и я делаю вид, что ее не вижу.

За исключением этих, очень гордых, которых она обходила, она со всеми была «хорошо». Очень любила родственниц, которые были очень хороши: Марью Павловну Глаголеву, Лизу Бутягину (†), подругу ее детства, дяденьку Дмитрия Адриановича.

К прочим была спокойна и, пожалуй, равнодушна. Мать уважала, почитала, повиновалась, но ничего особенного не было. Особенное пробудилось потом, — в замужестве со мною.

Отчего же она не любит Гоголя? и когда читаешь (ей) — явно «пропускает мимо ушей». «Почему? Почему?» — я спрашивал.

— Потому что это мне «не нравится».

— Да что же «не нравится»: ведь это — *верно*, Чичиков, например?

— Ну, и что же «Чичиков»?..

— Скверный такой. Подлец.

— Ну и что же, что...

Слова «подлец» она на выговаривала.

— Ну, вот Гоголь его и осмеял!

— Да зачем?

— Как «зачем», когда такие бывают?!

— Так если «бывают» — вы их не знайте. Если я увижу, тогда и... скажу «подлец». Но зачем же я буду говорить о человеке «подлец», когда я говорю *с вами*, когда мы *здесь*, когда мы что-нибудь читаем или о чем-нибудь говорим, и — слово «подлец» на ум не приходит, потому что вокруг себя я не вижу «подлеца», а вижу или обыкновенных людей, или даже приятных. Я не знаю, к чему это «подлец» относится...

Я распространяю более короткую речь и менее мотивированную. Она упорно отказывалась читать о «подлецах», не понимая или, лучше сказать, осязательно и, так сказать, к «гневу своему» не видя, к чему это относится и с чем это связать.

У нее не было гнева. Злой памяти — не было.

Скорей вся жизнь, — вокруг, в будущем, а более всего в прошлом, — была подернута серым флером, тоскливым и остро-печальным в воспоминаниях.

Чуть ли даже она раз не выговорила:
— Я ненавижу Гоголя потому, что он смеется.
Т. е. что у него есть существо смеха.

Если она с Евлампией Ивановной не кланялась, то не прибавляла к этому никакого порицания, и тем менее — анекдота, рассказа, сплетни. И «пересуживанья» кого-нибудь я от нее потом и за всю жизнь никогда не слышал, хотя были резкие отчуждения, и раза два полные «раззнакомления», но всегда вполне без слов (с Гамбургерами).

Я понял тогда (в 1889 и 1890 г.), что существо смеха Гоголя было несовместимо с тембром души ее, — по серебристому и чистому звуку этого тембра, в коем (тембре) было совершенно исключена грязь и выкрик. Ни сора как *зрелища*, ни выкрика как *протеста* — она не выносила.

Я это внес в оценку Гоголя («Легенда об инквизиторе»), согласившись с нею, что *смеяться* — вообще недостойная вещь, что смех есть низшая категория человеческой души. Смех «от Калибана», а не «от Ариэля» («Буря» Шекспира).

Мамочка этого не понимала, да я ей и не говорил.

Позднее она очень не любила Мережковских, — до пугливости, до «едва сажу в одной комнате», но и тогда не сказала ни одного слова порицания, никакой насмешки или еще «издевательства». Это было совершенно вне ее существования. Поздней, когда и я разошелся с М-ми и на Дм. Серг. стал выливать «язвы», — думал, она будет сочувствовать или хоть «ничего». Но и здесь, оттого что у меня *смех* состоял в «язвах», она не читала или была глуха к моим статьям (пробегала до $\frac{1}{2}$, не кончая), а в отношении их говорила:

— Не воображай, что ты их рассердил. Они, вероятно, только смеются над тобой. Ты сам смешон и жалок в насмешках. Ты злишься, что они тебя не признают, и впадаешь в истерику. Себе — вредишь, а им — ничего.

Так я и не мог привлечь мамочку к своей «сатире». И я думаю вообще, что «сатира» от ада и преисподней, и пока мы не пошли в него и еще живем на земле, т. е. в средних ярусах, — сатира вообще недостойна нашего существования и нашего ума.

Пусть это будет «канонем мамочки».





«...да потому, что *ее* — это принадлежит *мне*».
«А *его* — это принадлежит *мне*», — думает девушка.

На этом основаны соблазнения и свирепые факты.



Так устроено. Что же тут сделать? «Всякий покоряет обетованную ему землю».

(на обороте транспаранта).



Любовь есть совершенная отдача себя другому.
«Меня» уже нет, а «все — твое».
Любовь есть чудо. Нравственное чудо.



Развод — регулятор брака, тела его, души его. Кто захотел бы разрушить брак, но анонимно, тайно, скрыл «дело под сукно» — ему достаточно было бы испортить развод.

«Учение (и законы) о разводе» не есть учение только о разводе, но это то и есть *почти все учение* о самом браке. В нем уже все содержится: мудрость, воля. К сожалению, — «в нашем» о нем учении ничего не содержится, кроме глупости и злоупотреблений.



...как мелкий вор я выходил от Буре, спрятав коробочку с золотой цепочкой в карман (к часам L. Ademars N 10 165). У детей — ни нарядца, мама — больна: а я купил себе удовольствие, в общем на 300 р.

Вечером не сказал, а завтра перед завтраком: «Мамочка — я купил себе обновку». Все обрадовались. И мама. И дети. L. Ademaars — первые часы в свете. Сделаны еще около 1878 года (судя по медалям выставок на специальном к этим часам патентике), и таких теперь больше нигде не готовится, а в истории делания часов этот мастер не был никогда превзойден. Часы — хотя им 30 лет почти — были очень мало в употреблении (вероятно, пролежали в закладе). — Оттого и купил, по случаю.



Задавило женщину и пятерых детей.

Тогда я заволновался и встал.

Темно было. И услышал в ухо: «Ты побалуйся и промолчи, а они потом (6) как знают».

Я отвернул огонь и увидел, что и о «баловстве», и об «оставлении» шептал первый авторитет на земле.

Вот моя победа и моя история. Мог ли я не воскликнуть: — Я победил.



И увидел я вдали смертное ложе. И что умирают победители как побежденные, а побежденные как победители.

И что идет снег и земля пуста.

Тогда я сказал: Боже, отведи это. Боже, удержи.

И победа побледнела в моей душе. Потому — что побледнела душа. П. ч. где умирают, там не сражаются. Не побеждают, не бегут.

Но остаются недвижимыми костями и на них идет снег.



...я знаю, что изображаю того «гноса литературы», к которому она так присосалась, что он валит в нее всякое д. . . .
Это рок и судьба.

У меня никакого нет стеснения в литературе, п. ч. литература есть просто мои штаны. Что есть «еще литераторы», и вообще что она объективно существует, — до этого мне никакого дела.



Да, верно Христово, что «не от плоти и крови» родиться нужно, а «от духа»: я, собственно, «родился вновь» и в сущности просто «родился» — уже 35-ти лет — в Ельце, около теперешней жены моей, ее матери 55-ти лет и внучки 7 лет. И, собственно, «Рудневы-Бутягины» (вдова-дочь) были настоящими моими «родителями», родителями *души моей*.

Помню, на камне, мы обменялись крестами: она дала мне свой золотенький помятый, я ей снял мой голубой с эмалью. И с тех пор на ней все этот мой голубой крестик, а на мне ее помятый.

И вошла в меня ее душа, мягкая, нежная, отзывчивая; в нее же стала таинственно входить моя (до встречи) душа, суровая и осуждающая, критикующая и гневная.

Она все суровела, делалась строже, — к порокам, недостаткам, к самым слабостям. Я же «прощал» все. Но я «прощал» тем счастьем, какое она принесла мне, а она суровела теми терниями, занозами, горечами, какие, увы, я принес ей.

Все-то целуешь у дам ручки (пример Полонского, «школа» Ф-с). Она так и вспыхнет:

— Что ты все облизываешься около дам.

Как противно. Действительно, противно: это в сущности гнусная манера мужчин «подходить к ручке». И до женитьбы я никогда этого не делал (не знал, что «бывает»), а после женитьбы — всегда (от хорошего настроения духа).

И я не мог отстать от этой гадости. И от многих таких же гадостей и сору. А ее это мучило и раздражало. Она говорила с достоинством:

— Ты не понимаешь моих чувств. Мне больно, что ты себя унижаешь, свое достоинство и свои 40 лет, облизываясь, как мальчишка...

Во мне «мальчишка» так и кипел (был этот дух)...

— И что на тебя будут смотреть как на мальчишку — это мне больно.

И — все.

Мне все казались добрыми, и С-ниха, и все. Потому, что я был счастлив. И счастлив от золотого ее креста.

Чего, я даже у С-ной целовал ручки, не подозревая, что это за «особа».



Весь торопясь, я натягивал сапоги, и спросил Надю: — «Не поздно ли?» — «Нет еще, половина одиннадцатого». — «Значит, опоздал! Боже мой. Ведь начинается в девять». — «Нет. В *десять*». В две минуты я надел нарядное платье (в церковь) и написав:

За упокой души старицы Александры

взял извозчика за гривенник до Александра Свирского и уже был там.

Теснота. Духота. Подаю: «Не поздно?» — «Нет». Кладу на бумажку гривенник. «И две свечки по пяти коп.» — И прошел к «кануну».

Первый раз за *усопшего* ставлю свечку «на канун». Всегда любил его, но издали, не подходя. Теперь я увидел дырочки для свеч в мраморной доске, и вставил свою. Поклонился и иду ставить «к Спасителю» о болящей.

Продираюсь. Потно, душно. Какая-то курсистка подпевает «Господи, помилуй», певчим. — «Буду ставить Спасителю свечки, — подумал. — Поможет». А задним умом все думаю о «кануне» и что написал

«О упокоении души»...

Как о «упокоении души»? Значит, она *есть... живет... видит* меня, увы, такого дурного и грешного... да кто всему этому научил?

— **Церковь.**

«Она, пререкаемая, она — позоримая, о которой ругаются газеты, ругается общество, что «долги службы», что там «пахнет тулуном» и «ничего не разберешь в дьячке»...

Научила, о чем едва смел гадать Платон, и доказывал философскими извитиями мысли. Она же прямо и дивно сказала:

— Верь! Клади гривенник! «Выну частицу», и душе будет легче. И она взглянет на тебя оттуда, и ты почувствуешь ее взгляд.

«Гривенник» — так осязательно. Как что две булки за гривенник — несомненно, близко, осязательно, как булка в булочной.



Неужели поверит, что ее постоянная молитва имела этот смысл:

- Отчего они меня не лечат?
- Вразуми их! — Укажи им.



В Мюнхене, в Наугейме (в Луге — и на Сиверской уже не было)... всегда это:

Пишу статью. Весь одушевлен. Строки черным бисером по белому растут и растут... Оглядываюсь... и раз... и два... и три:

— Она подымет глаза от акафиста и кивнет мне. Я улыбнусь ей:

— Что, милая?!

И она опустит глаза на разорванные листочки «Всех скорбящих радости» — и читает.

У меня: недоумение, грусть. «Отчего она все читает один акафист?» И смутная тревога.

Кончит. И встанет. И начнет делать.

На вопрос (об акаф.):

— Меня успокаивает.

Она никогда не читала перед образом, на коленях. Всегда сидя, — почему-то даже не на кушетке, а на кровати. Не помню положения ног, но — не лежа. Скорей сжалась, — и молится, молится «Всех скорбящих радости».

В Луге уже не могла, и я читал ей. Она лежит на кровати, я стоял на коленях на полу, но оборотившись так, что она видела — и я, «еще подвернувшись», тоже мог видеть — образ и перед ним зажженную лампадку.

А по воскресеньям и накануне праздников — так это было хорошо. На старом (без употребления) подносе стоит ряд лампадок. Во все наливается масло. Это — в столовой, и стоят они с огоньками, как свечи «на кануне» в церкви...

И вот эти огоньки уже несутся (в руках) в разные комнаты, в спальню, в детские, в кабинет...

У нее *своей* комнаты (отдельной) никогда не было, и даже в сущности не было (годами) у нас спальни: на ночь вынимался из сундука (в прихожей) матрац, и устраивалась постель в моем кабинете.

(24 сентября).



Революции основаны на энтузиазме, царства — на терпении.



Революции исходят из молодого «я». Царства — из покорности судьбе.



Он был весь в цвету и красоте, женат на младшей из многочисленных сестер, недавно кончившей гимназистке, и пока находился в гостях у ее старшей сестры. Ее муж был старый кашляющий чиновник, собравшийся умирать.

Что у него не болело: печень, почки, сердце, кости. Он был желчен и груб, но с молодым зятем (т. е. с этим мужем сестры жены), о котором знал, что он революционер, — старался быть сдержанным и отмежевывался коротенькими:

— Не знаю-с...

— Как угодно-с...

— избегая речей и более связного разговора. Но жену свою, имея все права на нее, беспощадно ругал и был невыносимо груб, не стесняясь гостями и их революционерством.

Она вышла за него, лет 29, для детей и хозяйства, и вообще «исполнения женского назначения», когда ему было за 40. Теперь ему было за 50, но он представлял труху болезней, и от непереносимости состояния собственно и ругался.

Скоро он умер. И помня, что он все ругался, я спросил Петю (меньшого брата революционера), смиренно готовившегося стать учителем рисования. Он с недоумением выслушал мой негодующий вопрос:

— Нет, он не был худой человек. Ругался? — но оттого, что у него все болело. Последние недели перед смертью он все заболтался, чтобы вдова его не осталась «ни при чем», и хотя он не дослужил до пенсии, но заблаговременно подал о ней прошение и представил свидетельства докторов. Да и имущество, правда бедное, укрепил за нею одной, чтобы не могли вмешиваться другие родственники. Нет, он был хороший человек и хороший муж. Если старый, — то ведь она же пошла за старого.

Володя сидел «в крестах», и жена носила ему обеды. Она была очень некрасива, как-то мужеобразна. Он же был удивительный красавец, высокого роста и стройный, с нежным лицом и юношеским голосом. Наконец, будучи сама без денег, она откуда-то раздобыла 1 000 р. и совсем высвободила его под «залог» этой тысячи.

Я видел их сейчас по освобождении. Она была так полна любовью, а вместе контраст его красоты и ее некрасивости был так велик, что она не могла более нескольких минут быть с ним в одной комнате. И я их не видел вместе, рядом, — разговаривающими.

Она только смотрела на него откуда-то, слушала из другой комнаты его голос. Но как-то избегала, точно в застенчивости, быть «тут».

Он был ласков и хорош, с нею и со всеми. Он был вообще очень добр, очень ласков, очень нежен и очень деликатен.

Он был прекрасный человек. И прекрасный с детства. Любимое дитя любимых родителей.

Это от него я услышал поразительное убеждение:

— Конечно, университет принадлежит *студенчеству*, потому что их *большинство*. И порядок, и ход дел в университете вправе устанавливать *они*.

Это на мое негодование, что они бунтуют, устраивают беспорядки и проч.

Сам, кончив отлично гимназию, он был исключен с медицинского факультета Московского университета, потому что

вместе с другими стучал ногами при появлении в аудитории Захарьина. Захарьин был аристократ и лечил только богатых, а Володя был беден и демократ, и хотел, чтобы он лечил бедных.

Поэтому (стуча ногами) он стал требовать у начальства, чтобы оно выгнало Захарьина, но оно предпочло выгнать несколько студентов и оставить Захарьина, который лечил всю Россию.

Он перешел в «нелегальные», потом эмигрировал. Потом «кресты» и, наконец, — на свободе.

Вскоре он бежал. Но еще до бегства случилась драма.

Посещая его жену, я всегда слышал ответ, что «Володя ушел». Из соседней комнатки вылезала какая-то в ватных юбках и ватной кофте революционерка, до того омерзительная, что я не мог на нее смотреть.

(устал писать). (Володя оставил свою жену, сблизился с еврейкой, которую я мысленно определил лукошком; и которая, хоть жила с ним в одной комнате, но его третировала, и он ужасно страдал. Рассказ его жены, как, уехав на берег моря, близ Риги, она слушала ночами рев волн, — осенью, — и была только с его портретом. Сравнение: революционеры живут для себя, а старые кашляющие чиновники все же живут для жён, ограничивая себя, терпя, не срывая цветочков — как этот Володя — с любви, а трудясь и заботясь о человеке, с которым связала судьба).



Год прошел, — и как многие страницы «Уед.» мне стали чужды: а *отчетливо* помню, что «неверного» (против состояния души) не издал ни одного звука. И «точно летел»...

Теперь — точно «перья» пролетевшей птицы. Лежат в поле одни. Пустые. Никому не нужные.



Не «мы мысли меняем как перчатки», но, увы, мысли наши изнашиваются, как и перчатки. Широко. Не облегает руку. Не облегает душу.

И мы не сбрасываем, а просто перестаем носить.

Перестаем думать думами годичной старости.



Хороша малина, но лучше был окурок. Он курил свернутые сосульки, и по кромке парника лежала где-нибудь коричневая сосуля — сухая (на солнышке), т. е. — сейчас закурить.

Мы ее с Сережей не сразу брали, а указав пальцем, как коршуны над курицей, — стояли несколько времени, мяукая:

— Червонцы.

— Цехины.

Это было имя монет из «Тараса Бульбы» («рубли», конечно, не интересовали, — не романтично): но разыскав 1—2 таких сосули, сажались не видно, под смородину, и, свернув крючок (простонародная курка) — препарировали добро, пересыпали туда, и по очереди — с страшным запретом два раза сплошь не затануться *одному* — выкуривали табак.

Сладкое одурение текло по жилам. На глазах слезы (крепость и глубина затяжки).

Он был слаще всего — ягод, сахара. Женщины мы еще не подозревали. А ведь, пожалуй, это все — наркотики, — и женщины. Ибо отчего же в 7-8 лет табак нам был нужнее хлеба?



Да как же без *amor utriusque sexus** обошлось бы дело? Как же бы мы могли начать относиться к *своим* (*noster sexus*)** с той милотливостью, с тою ласковостью, с тою нежностью, с какою обычно и *по природе* относимся к противоположному полу, к *alter sexus?*..*** без чего нет глубины отношения, а без *amor nostri sexus* нет *закругленности* отношения. *Universaliter debet amor mundi*****. Но тогда явно ласка должна простираться туда и — *сюда*. Таким образом, действительно удивительная приспособленность к этому *in natura regum****** — получает свое объяснение. *Организм индивидуума паразитительно гармонизирует, «созвучит», организму человечества.*

(к организованности человечества и к вопросу о всемирной гармонии).

* Любовь обоих полов (лат.).

** Наш пол (лат.).

*** Другому полу (лат.).

**** Вселенная обязана всемирной любви (лат.).

***** В природе вещей (лат.).



Некоторые из написанных обо мне статей были приятны, — и, конечно, я связан бесконечной благодарностью с людьми, разбиравшими меня (что бы им за дело?): Грифцов, какой-то Закржевский (в Киеве), Волжский. Но в высшей степени было неприятно одно: никакой угадки меня не было у них. То как Байрон «взлетел куда-то». То — как «сатана», черный и в пламени. Да *ничего* подобного: добрейший малый. Сколько черных тараканов повытаскал из ванны, чтобы, случайно отвернув кран, кто-нибудь не затопил их. Ч<уковский> был единственный, кто угадал (точнее — сумел назвать) «состав костей» во мне, натуру, кровь, темперамент. Некоторые из его определений — поразительны. Темы? — да они всем видны, и, по существу, черт ли в темах. «Темы бывают всякие», — скажу я на этот раз цинично. Но он не угадал моего интимного. Это — боль; какая-то беспредметная, беспричинная, и почти непрерывная. Мне кажется, это самое поразительное, по крайней мере — необъяснимое. Мне кажется, с болью я родился; первый ее приступ я помню задолго до гимназии, лет 7-8: я лежал за спинами семинаристов, которые, сидя на кровати и еще на чем-то, пели свои «семинарские песни». Я лежал без всякого впечатления, или с тем — «как хорошо», т. е. лежат и что поют. Вдруг слышу строки:

И над Гамбиею знойной,
Там, где льется Сенегал...

по смыслу выходило, что «над этими местами» пролетает сокол куда-то, к убогой подруге своей, или вообще к какой-то тоске своей. Напев был, правда, заунывный, но ведь слышал же «вообще заунывность» я и ранее. Скорее меня обняло впечатление пустынности и однотонности, пожалуй — невольной разлуки. Но едва звуки коснулись уха, как весь организм мой, весь состав жил как-то сжался во мне: и, затаивая звуки, в подушку, и куда-то, я вылил буквально потоки слез; мне сделалось до того тоскливо, до того «все скучно», дом наш, поющие, мамаша, о братьях и играх — не говорю: и явился тайный порыв «быть с этим соколом», конкретнее — объяла такая тоска об этом соколе, с которым я, конечно, соединял «душу человека», «судьбу человека», что я плакал и плакал, долго плакал...

В другой раз это случилось в 4-м классе гимназии: умер Димитрий Степанович Троицкий, нижегородский врач «для сапожников» (лечил одну бедноту), образованный человек,

и странным образом — мой друг, говоривший со мною о Локке, Маколее, английской революции и проч., и вместе страдавший (форменная болезнь) запоем. Умер и похоронили. Он был братом жены моего брата Коли. Как хоронили, как несли, — ничего не помню. Но вот я стою в моей полутемной комнатке, переделанной из кухни. Тут печальная и сестра покойного, тоже очень любившая брата, и мой брат, очень его уважавший. В минуту, как я остался один, я опять — от мысли о своем *теперь* одиночестве — разразился такими рыданиями, длившимися едва ли менее $1/2$ часа, от которых ни я и никто не мог меня остановить. Это было что-то судорожное, и проникнутое такой горечью и отчаянием, как я не помню, — состояние души было до такой степени страшное, черное, — точно вот имело цвет в самом деле, — как не умею выразить. Ни его мать, ни сестра — ничего подобного не плакали.

Это были *мистические слезы* — иначе не умею выразить; думаю, это определение совершенно верно. Состояние было до того тяжелое, что еще бы утяжелить — и уже нельзя жить, «состав» не выдержит.



Это примыкает к боли. Боль моя всегда относится к чему-то *одинокому*, и чему-то *больному*, и чему-то *далекому*; точнее: что я — одинок, и оттого, что не со мной какая-то *даль*, и что эта даль как-то *болит*, — или я болю, что она только *даль*... Тут есть «порыв», «невозможность» и что я *сам* и *все* «не то, не то»...



Ничто так не обижало во мне «человека» в детстве, как что не позволяли ходить в погреб за квасом «самому».

— Ты не заткнешь втулку хорошо. И квас станет утекать. Вот пойдут большие — пойдешь и ты.

И я ждал. Час. Два. Жажда томит. Квас манит. И почему я «не воткну втулку крепко»? Воткнул бы.



«Кнут» Фл<оренского> как-то месяцы жжет мне душу; «ц<ерковь> бьет кнутом, п. ч. иначе стало бы хуже». Но она не только «бьет кнутом», но иногда и «очищает карманы брата своего», как случилось с 200 священниками домовых церквей в Петербурге. Не понимаю, почему в сем-то случае «стало бы хуже»; а по «сему случаю» заключаю, что и в тех случаях бьет «кнутом» не по заботливости о хорошем, а по глупости, если только еще не хуже...



Неужели этот энтузиаст ц. станет реформатором? п. ч. лет-то через 20 он рассмотрит, что не всегда «для лучше», а иногда и «в мощну», и «в чрево», да и просто «не любим никого».

(Фл., защищающий каноническое право и строгости церковные; развод, эпитимьи разведенных и внебрачные дети).



Все мои пороки мокрые. Огненного ни одного.

Ни честолубие, ни властолюбие, ни зависть не жгли мне душу.

Как же мне судить тех, кто не умеет совладать с огненными пороками (а я их сужу), когда я не умел справиться со своим мокреньким.



Книга должна быть дорога. Книга не кабак, не водка и не гуляющая девушка на улице.

Книга беседует. Книга наставляет. Книга рассказывает.

Книга должна быть дорога.

Она не должна быть навязчива, она должна быть целомудренна.

Она ни за кем не бегаёт, никому не предлагает себя. Она

лежит и даже «не ожидает себе покупателя», а просто лежит. Книгу нужно уметь находить; ее надо отыскивать; и, найдя — беречь, хранить.

Книг не надо «давать читать». Книга, которую «давали читать» — развратница. Она нечто потеряла от духа своего, от невинности и чистоты своей.

«Читальни» и «публичные библиотеки» (кроме императорских, на всю империю, книгохранилищ) и суть «публичные места», развращающие города, как и дома терпимости.



Всем великим людям я бы откусил голову. И для меня выше Наполеона наша горничная Надя, такая кроткая, милая и изредка улыбающаяся.

Наполеон совершенно никому не интересен. Наполеон интересен только дурным людям (базар, толпа).

(на почтовой расписке).



Больная раком, она сидела вся кокетливая у нас за чаем. Сестра ее сказала ей, будто 30 лет назад я был в нее влюблен; тогда мы не были знакомы, и теперь она заехала с сестрою к нам показаться тому, кто «когда-то был влюблен в меня».

Но это ошибка. Только проходя по Комаровской улице (Брянск), я видел маленький домик «К-ких», и видел в окно, как «они все пьют чай». Тогда она была худенькая, деликатная, если не красивая, то почти красивая. Она была такая скромная, что я, пожалуй, был «почти влюблен». Сестра ее была тогда гимназистка. Тогда они были «молодожены», и детей у них еще не было. Он — военный, служил в арсенале. Теперь он седой генерал.

И она сидела и смеялась. У нее отняты обе груди, и «вынуто все под мышками» и «тут» (на боку) — почти до костей. Сестра — хирург, и все «снимала» и «снимала» постепенно.

Никакого несчастья я не видел на лице. «Мне еще бы прожить 6 лет, чтобы младший (12-ти лет) поднялся», — передавала ее слова сестра и приятельница (в то время) нашего дома.

Она была и теперь видная. 40 лет. Приятный белый цвет

лица и что-то «неуловимо-пластическое», чем нравятся женщины.

(объявление о «†» в «Нов. Вр.» 3—4 октября 1912 г.).

Вечная память. Хоть мимолетно встретились — но вечная память ей.

(1913 г.)



Иногда кажется, что я преодолею всю литературу.

И не оттого, что силен. Но «Господь со мною». Это так. Так. Так.

(за упаковкой в дорогу).



Левые «печатники» и не догадываются, что им дают ругаться — как пьяным, или ораторствовать — как провокаторам на сходке.

(смысл русской свободы).



Объяснение особой ревности стариков.

Je ne puis pas tout à fait*.

И остаются вздохи, звезды, распутившиеся цветы и...

Бедный берет розу и обоняет:

Но это — как рисовали 20 лет назад старого толстого францисканца, поднесшего к носу розу:

— Червяк!!

«Человек съел жабу» и в бешенстве убивает того, кто вложил жабу в розу.

* Я совсем не могу (франц.).

Поневоле станешь подозревать, следить, запираешь на ключ. «Вечная опасность вместо вина напиться укуса». С ума сведет.

Бедные очень страдают.

Но тут есть *corrigenda**. Лет 20 назад мне пришлось выслушать странный рассказ, когда средних или чуть-чуть пожилых лет сватался к совсем молоденькой, и, ввиду разности лет, говорил:

— Вы можете жить с кем угодно; но только выйдите за меня замуж. Я хочу быть вашим мужем и около вас, а стеснять я вас ни в чем не стану, и сам не буду вам навязываться.

Я не обратил внимания на рассказ, пока, на похоронах еврейки (жена Цынамгзварова, грузина), молоденькая «проводившая», с которой на пролетку я сел от усталости (дождь, грязь), на мои расспросы о ней — сказала:

— Я на зубоучебных курсах.— Нет, замужняя.— Буду зарабатывать сама хлеб.— По окончании гимназии, я поехала в Златоуст и вышла замуж за офицера.— Молодого.— Оказалось, пьет ужасно. Но не от этого я ушла, а он говорил мне: «Что ты просишь у меня все на хозяйство (денег), я же тебя оставляю глаз на глаз с товарищами, у которых есть средства, и ты всегда можешь быть при деньгах».— Ну, этого я не могла вынести. И ушла.

Тогда мне объяснилось и «предложение» на условиях своды. Но просящее — «будь *моей женой, около меня*».

Конечно, бедняк последний «рвал бы волосы на голове» при мысли об измене. И тут дело вовсе не в том, чтобы «были карманные деньги». Деньги скорее — предлог, оправдание и «введение»... «Все, как будто у всех». Но тонкая *личная струя* здесь вводит в понимание архаичнейшей формы семьи — полиандрии, которая основана главным образом не на инстинкте женщин, а на странном вкусе мужей к «червяку» и «жабе».

Мне один извозчик (ехал в редакцию, к ночи) сказал о своей деревне (Новгородской губернии), — на слова, будто «деревенские девушки или женщины легко отдаются, рубля за 3» (слова мне А. С. Суворина, о поре своей молодости).

— Зачем девушки. Замужние. У нас на деревне всяка за 3 рубля (отдаст). Да хоть мою жену захочет кто взять.

* Поправка, опечатка (*лат.*).

Я даже испугался. Так просто. Он был красавец, с небольшими усиками, тонкий. Молодой. Лет 27-ми.

И не поперхнулся. Ни боли, ни стыда. И значит — никакой ревности.



Кстати, принципиальный вопрос Флоренскому, священникам и профессорам церковного права: должен ли быть расторгнут, т. е. должна ли церковь расторгнуть брак в случае «зубодерки», т. е. когда муж просит жену отдаваться, а она, чувствуя отвращение к таким отношениям и гнусность ко всему этому типу семьи, нося в сердце идеал лучшей семьи — просит церковь освободить ее от неудачно заключенного брака и дать разрешение на вступление в новый?

Есть ли это «прелюбодеяние»? Пока — нет. Т. е. церковь, «комментируемая и изъясняемая духовенством», единственным судиею сего «своего дела», — признает таковой брак расторжению не подлежащим. «Ни свидетелей», «ни жалобы мужа», «ни — измены мужа». Жена не может сказать: «муж мне изменяет», да он и не изменяет. А она? Да и она *может не изменять*. Какой же повод к разводу, формальный? И церковь сохраняет и приказывает сохранять такой чудовищный брак, около которого случайное «прелюбодеяние» мужа или жены, «прелюбодеяние» по налетевшей буре любви, кажется чем-то невинным и детским.

От кого же, господа духовные, идет развал семьи, от вас или от «непослушных жен», как вы традиционно и лениво жалуетесь? От вас, по-моему, по факту. И кто оскорбляет таинство брака? Ваш грязный взгляд на дело, ваши грязнящие брак законы. С «червем» и «жабою».

Да: на т. св. дадут вам покушать за отношение к семье и к семейным людям «червяка» и «жабы».



К разговору с извозчиком:

Толстой (такой ревнивый вообще и поощряющий ревность) гениально подметил это спокойствие крестьян к началу полиандрии:

— Дурак. Я сапогов не захватил.

Любовник прыснул от жены: и муж только жалел, зачем,

«вспугнув» их с места, он не догадался предварительно взять сапоги его, тут же стоявшие.

Муж вернулся после отлучки. Узнав про любовь жены, он побил ее и все, что следует, и не лег с нею спать, а полез на печь. Жена среди ночи встала и пришла к нему. Он еще был сердит, и не хотел пускать. Но она облила его такими нежными словами. У Толстого это удивительно. Муж взял ее. И он все забыл; и она все забыла. Это и есть «полиандрия» в древности и сейчас.

(рассказ об этом в «Посмертных сочинениях» Толстого; заглавие забыл).



Я смотрел на Леву с такою завистью к его росту, к его красивости, к его достоинству.

Он был III-го класса, и я не знал, могу ли к нему подойти поздороваться потом (когда всенощная кончится).

Я был I-го или II-го класса, карапузик. Он обыкновенно ходил с толстой палкой (самодельщина) и мог меня побить, мог всех побить.

Слушал пение (в арке между теплой и холодной церковью). Красиво все. Рассеянность. И будто потянуло что-то.

Я обернулся.

За спиной, шага на 1¹/₂, стояла мамаша и улыбнулась мне. Это была единственная улыбка за всю ее жизнь, которую я видел.

*(в Покровской церкви, в Костроме, 1868 или 1869 год)
(прислонясь к стене на Итальянской ул.).*



Пересматриваю академическое изд. Лермонтова. Хотел отыскать комментарии к «Сашке». Не нашел (какая-то лапша издание). «Может, в I т.»? Ищу и вижу на корешке IV, II, V, III. «Где же первый? Не затерялся ли?» С тревогой ищу I. Вижу только 4 книги. «Затерялся». Еще тревожнее, и вижу, что я аккуратнейше и внимательно надписал на «бумажке обертки»: «Выпуск второй», «Выпуск третий», «четвертый» и «пя-

тый» под печатным: «Том первый», «второй», «третий», «четвертый». Каким образом я, *внимательно* надписывая (радость о покупке) нумерацию томов, мог не заметить, что подписываю неверно под *тут же* (на обложке!) *напечатанными* «первый», «второй», «третий»? Значит, я *рассматривал* и *не видел*. Это сомнамбулизм, сон. И в первый раз прошло извинение о болезни мамы, которое мучило все лето: «что же мне делать, если я *ничего не вижу*», «*родился так*», «*таким уродом*». Это фатум бедной мамочки, что она пошла за Фауста, а не за колл. асессора. Это все-таки грех и несчастье, но — *роковое*.

Сколько, сидя над морем, на высокой горе, я с бумажкой в руке высчитывал процентные бумаги. Было не то 16, не то 18 тыс., и обеспечения детей не выходило. Я перестраивал их так и иначе: «продать» один и «купить» другие. Это был год, когда она была так мрачна, печальна и раздражительна. Я мучился. Зачем же я просиживал? Если бы я также вдумался в состояние души ее, т. е. вдруг затревожился, отчего она тревожна, — я бы разыскал, также бы стал искать, думать, также бороться душою с чем-то неопределенно дурным, и попал бы на след, и, в конце концов, вовремя разыскал бы и позвал Карпинского. И она была бы спасена.

То, что я провозился с деньгами, нумизматикой и сочинениями, вместо здоровья мамы, и есть причина, что пишу «Уедин.». Ошибка всей жизни.



Так мы каркаем бессильно, пройдя ложный путь.



Нет, чувствую я, предвижу, — что, не пристав *здесь*, не пристану — и *туда*. Что же Новоселов, издав столько, сказал ли хоть *одно слово, одну строку, одну страницу* (обобщим так, без подчеркивания), — на мои мучительные темы, на *меня мучащие темы*. Неужели же (стыдно, мучительно сказать) им нужны были строки мои, а *не нужна душа моя*, ну — душа последнего нищего, отнюдь не «писателя» (черт бы его побрал). Поверить ли, что ему, Кожевникову, Щербову *не нужна душа*. Фл-ский промолчит, чувствую, что промолчит. «Неловко», да «и зачем расстраивать согласие», — в сущности «хорошую

компанию». N-в о своей только сказал: «Царство ей небесное, ей там лучше» (в письме ко мне). А о папаше как заботился, чтобы не «там было лучше», а и «здесь хорошо». Но — жонкам христианским вообще «там бы лучше», а камилавки и прочее — «нам останутся» и «износим здесь», или — «покрасуемся здесь»... Что же это в конце концов за ужасы, среди которых я живу, ужаснее которых не будет и светопреставление. Ибо это — друзья, близкие, *самые лучшие встреченные люди*, и если нет у «которых — тепло», то где же еще-то тепло? И вот пришел, *к ним* пришел — и... пожалуй, «тепло», но в *эту специальную сторону тоже холодно и у них*. А между тем особенность судьбы моей привела искать и стучаться, стучаться и искать — *тепла специально в этой области*. Что же Фл-ский написал о N: «кнут» и «нужно промолчать». Какое же это решение?

Неужели же не только судьба, но и Бог мне говорит: «Выйди, выйди, тебе и тут места нет?» Где же «место?» Неужели я без «места» в мире? Между тем, несмотря на слабости и дурное, я чувствую — никакого «каинства» во мне, никакого «демонства», я — самый обыкновенный человек, простой человек, я чувствую — что хороший человек.

Умереть без «места», жить без «места»: нет, главное — все это *без малейшего желания борьбы*.



— Ребенок плачет. Да встань же ты. Ведь рядом и не спишь.

— Если плачет, то что же я? Он и на руках будет плакать. Пожалуй, подержу.

*(отчего семьи разваливаются;
первая Надя).*



Она была так же образована, как и другая, которая (я и не заметил, она потом при случае сказала):

— Когда я брала кормилицу (своего молока не было, — от того же, но мы и доктор не понимали) и деньги шли на то, что я бы должна выполнить, то я тогда отпускала прислугу и сама становилась к плите.

*(отчего семьи крепнут; наша мама)
(15 октября).*



Ах, Бехтерев, Бехтерев,— все мои слезы от вас, через вас...
Если бы не ваш «диагноз» в 1896 (97?)-м году, я прожил бы счастливо еще 10 лет, ровно столько, сколько нужно, чтобы оставить детям 3600 ежегодно на пятерых,— по 300 в месяц, что было бы уже достаточно,— издал бы чудную свою коллекцию греческих монет, издал бы Египет (атлас с объяснениями), «Лев и Агнец» (рукопись), и распределил и сам бы издал книгами отдельные статьи.

(начало октября).



Желание мое умереть — уйти в лес, далеко, далеко. И помолиться и умереть. Никому ничего не сказав.

А услышать? О, как хотелось бы. Но и как при жизни — будет все «с недоговорками» и «уклонениями». А те чужие, болтуны — их совсем не надо.

Значит, и услышать — ничего́.

(глуб. ночью).



Холодок на сердце. Знаете ли вы его?

(в печали).



В 57 лет Бог благословил меня дружбой Цв<еткова>.

(в печали) (октябрь 1912).



Как люблю его. Как уважаю.



Если бы Бехтерев увидел нашу мамочку, лежащую на кушетке, зажав левую большую руку в правой...

Но не увидит. Видит муж.



У них нет сердца. Как было не спасти, когда он *знал по науке*, что можно спасти, есть время и не *упущено еще* оно.



Знаю, физика: левая холоднее правой, и она ее постоянно греет. Но этот *вид* прижатых к груди рук — кулачок в кулачке — как он полон просьбы, мольбы и... безнадежности.

И все он передо мной, целые дни. Повернешь голову назад, подойдешь к стулу сесть, пройдешься по комнате и обратно пойдешь *сюда*: все сжатые кулачки, все сжатые кулачки. Дни, часы, каждый час, все месяцы.

(зима 1912 г.)



Нагими рождаемся, нагими сходим в землю.

Что же такое наши одежды?

Чины, знатность, положение?

Для прогулки.



День ясный, и все высыпали на Невский. Но есть час, когда мы все пойдем «домой». И это «домой» — в землю.

(октябрь).



Как не целовать руку у Церкви, если она и безграмотному дала способ молитвы: зажгла лампадку старуха темная, старая и сказала: «Господи помилуй» (слыхала в церкви, да и «сама собой» скажет)— и положила поклон в землю.

И «помолилась» и утешилась. Легче стало на душе у одинокой, старой.

Кто это придумает? Пифагор не «откроет», Ньютон не «вычислит».

Церковь сделала. Поняла. Сумела.

Церковь научила этому всех. Осанна Церкви,— осанна как Христу — «благословенна Грядущая во имя Господне».



...да, шулер —

ударил по *сердцам* с неведомою силой.

Интересна история нашей литературы.

(у Гершензона об Огаревой,
как ее обобрали старуху).



...>



В 1904-5 г. я хотел написать что-то вроде «гимна свободе»... Строк 8 вышло,— но больше жару не хватило: почувствовал, что загнуло в риторику... А теперь!..

...бежать бы как зарезанная корова, схватившись за голову, за волосы, и реветь, реветь, о *себе* реветь, а конечно не о

том, что «правительство плохо» (вечное *extemporalia** ослов).

(октябрь).



- Какое безобразие ваши сочинения.
- Да. Но все пыхтит в работе.



«Христианство и *не за* пол, и *не против* пола, а перенесло человека совершенно в *другую плоскость*».

(Флор.).

— Хозяин *не* против ремонта дома и *не за* ремонт: а занимается библиографией.

Мне кажется — дом-то развалится. И хотя «библиография» не противоречит домоводству: однако его съедает.

Вопрос о браке ведь в каждой семье, у меня, у вас (будет). Томит дни, ночи, постоянно, всякого. Как же можно сказать: «Я никому не запрещаю, а только уйду в Публичную библиотеку заниматься рукописями».

(8 октября).



Неужели Пушкин виноват, что Писарев его «не читал». И Церковь виновата, что Бюхнер и Молешотт «ее не понимали», и христианство виновато, что болтаем «мы».

•



Страшно, когда наступает озноб души... Душа зябнет.

* Учебное упражнение (лат.).



- Вася, ты уйди, я постоною.
 - Стонай, Варя, при мне...
 - Да я тебе мешаю.
 - Деточка, кто же с тобой останется, если и я уйду?
- Да и мне *хочется* остаться...

(Когда Шура вторично ушла, 23 октября; на счете по изданиям).



Все-таки я умру в полном, в полном недоумении. В религиозном недоумении.

И больше всего в этом Фл. виноват. Его умолчания.
С Б. я никогда не расстанусь. Но остальное...



Ожидаемые и желаемые и высматриваемые качества митрополита Петербургского — скромность.

Ученость — хорошо, святость — прекрасно, подвиг жизни и аскетизм — превосходно: но выше всего скромность.

Молчаливость, тихость и послушание.

Если при этом хороший рост, мелодичный голос и достоинство манер и обращения — то такому «кандидату» не страшен был бы соперником, и Филарет, и Златоуст, и «все три Святителя».

(28 октября перед † митр. Антония за вечерним чаем думаю).



Полуискренность — она сопутствует теперь всем делам церковным.

Ошибаются, кто говорит о неискренности. Ему сейчас укажут патетический голос, великий восторг, умиление, преданность.

Но не *допрашивайте* эту патетичность: щеки ее поблекнут, язык начнет путаться. Все пойдет в маленькую уклончивость и умолчание.

Все теперь — в «полу»... нигде — «полного»...

(тоже, перед † митр. Антония).



Даже если будет все это место полно червями и тлением — я останусь *здесь*.

С глупыми — останусь. С плутами — останусь.

Почему?

Здесь говорят о бессмертии души. О Боге. О Вечной Жизни. О Награде и Наказаниях.

Здесь — Алтарь. Воистину алтарь, один на земле.

И куда же мы все пойдем отсюда...

*(перед кончиной митр. Антония.
28 октября, ночь).*



Может быть, другие не имеют права умереть *сами*, но я имею право умереть *сам*.



И Тиллинг, директор Евангелической больницы, когда «она там лежала» (опасное кровотечение, — на краю могилы), умер.

Рьше в Мюнхене, Наук где-то за границей, теперь вот Тиллинг (такой гигант был), еще раньше, виновный в кровотечении (велел массаж делать, не сняв швов), Рентельн — все † † †. И если Немезида...

Грех! Грех! Грех!!!

(28 окт. ночь).



В случае «если бы» — вот план для издания моих статей, еще не перепечатанных в книги:

1) *Около церковных стен*, III. Статьи о Церкви, об управлении ею, о духовных школах. Это все «в помощь попам», а отчасти в помощь нашему милому духовенству. Передольский хорошо его звал «Божьей родней». Оно — и есть таково: через 1000 лет пронесло и сохранило не колеблясь идею Неба, идею Правды, идею Суда... Да помолится оно о несчастных рабах Божьих «Василии и Варваре». Свящ. Устынский все время о нас молился. Спасибо ему, милому.

2) *О писателях и писательстве*. Тома на 4. Статьи о литературе. Есть предисловие к этой книге, очень одушевленно написанное где-то. — Сюда должны войти (в рукописях) неоконченные статьи «Паскаль», «Христианство и язык», «Фауст» <...>

4) *Сумерки просвещения* — вторым изданием, с дополнениями, а главное — с продолжением: «В обещаниях дня»: сюда собрать статьи, напечатанные в пору ломки и смуты школы и ее растерянности. Таким обр.: «Сумерки просвещения» — 1 т. «В обещаниях света», 1 т. Все — целое. Это — милым гимназистам.

5) *Семейный вопрос в России*, том 3. Там одна статья: «В мире любви, испуганности и стыдливости».

Это — добрым страдалцам.

6) *Эмбрионы*. Из книг, из «Торгово-промышл. газеты» («Из дневника писателя»), «Попутные заметки» (из «Нов. Вр.»), из «Гражданина». Это нужно издавать в формате «Уединенного», начиная каждый афоризм с новой страницы. Смешивать и соединять в одну книгу с «Уединенным» никак не нужно. «Уединенное» — без читателя, «Эмбрионы» — к читателю.

7) *Германские впечатления*. Наугейм, Мюнхен, etc.; сюда же, собственно, надо бы перенести из «Итальянских впечатлений» последний отдел: «По Германии». И даже «Германские впечатления» (книжку) начинать с этих статей о Берлине и Кайзере-Вильгельме.

8) *Кавказские впечатления*.

9) *Русский Нил* (впечатления по Волге). Сюда внести и статьи под заглавием «Израиль» и «В современных настроениях» из «Русск. Слова» за 1907 г., №№ 194 и 200 (ибо это все «Русский Нил», и только редакция переменяла заголовки).

10) «Чиновник. Очерк русской государственности». Статьи из «Русск. Слова» и «Нов. Слова» о чиновничестве.

11) «В связи с искусством». Сюда внести статьи: «Молящая Русь» (о Нестерове), «Где же религия молодости», «Сицилианцы в Петербурге», «Из мыслей зрителя», «Гоголевские дни в Москве», «Памятник Александру III», «Отчего не удался памятник Гоголю», «Актер», «С. С. Боткин», «Памяти Комиссаржевской», «Театр и юность» и, может быть, «Танцы невинности» (о Дункан); «Зембрих».

12) «Литературные изгнанники». «Переписка с Леонтьевым» (с примечаниями) и «переписка с Рачинским» (с примечаниями). Письма ко мне милого Н. Н. Страхова (с портретом его, — художавым, со сложенными руками и в саду, — снятым в Ясной Поляне после операции), письма ко мне Рцы (и портрет мой с Софой, крестницей), т. е. И. Ф. Романова, письма ко мне Шперка и портрет «Умиравший Шперк» (в Халиле, среди семьи: попросить выгравировать В. В. Матэ, адрес — в Академии художеств; гравюра обойдется рублей 200, — но, я думаю, за продажу это окупится), письма ко мне П. А. Флоренского (нужно спросить дозволения; адрес: в Троице-Сергиев Посад, Духовная Академия, Павлу Александровичу Флоренскому), — и Серг, Ал. Цветкова. Редактировать это издание могут П. А. Флоренский или С. А. Цветков. Адрес его: Москва, Остоженка, Молочный пер., д. 2, кв. 2.

13) «Древо жизни и идея скопчества». Статьи о поле, — из «Гражданина» и «Нов. Вр.» (особенно «Пол и душа»).

14) «Черный огонь». Статьи о революции и революционерах из «Нов. Врем.», «Русск. Слова» и «Нового Слова».

15) «Во дворе язычников». «Культура и деревня», «Древнеегипетские обелиски», «О древнеегипетской красоте», «Прорицатель Валаам» еписк. Серафима (библиогр. заметка), «О поклонении зерну» Буткевича — «Неверие XIX в.» (библиогр. заметка), «Афродита-Диана», «О лекции Влад. Соловьева», «Сказочное царство», «Восток» (подп. *Орион*), «Величайшая минута истории», «Занимательный вечер», «Маленькая историческая поправка», «Серия недоразумений (?)», «Чудесное в жизни и истории», «Тема нашего времени», «Эллинизм», «Демон Лермонтова в окружении древних мифов», «Атлантида — была», «Из восточных мотивов» (то же, что «Звезды» — заглавие это не мое, а редакции «Мира искусства»), и сюда прекрасный рисунок пером Бакста.

16) «Лев и Агнец». Громадная рукопись не оконченная, в несгораемом шкафе. Где места пропусков — просто заменить страницей многоточия. Это не нарушит смысла и связи. Редак-

ция пусть будет Флоренского, а если ему некогда — Цветкова, а если и ему некогда — подождать. Помня: «Дело не волк — в лес не убежит».



Встретился с Философовым и Мер<ежковским> в Рел.-фил. собр. Точно ничего не было. Почувствовал дружбу. А ругались (в печати), и они потребовали в «Рус. Сл.», чтобы или меня исключили, или они «выходят».

Даже «под зад» дал Фил-ву, когда он проходил мимо. Полная дружба. Как гимназисты.

Ужасно люблю гимназическую пору. И вечно хочется быть опять гимназистом. «Ну ее к черту, серьезную жизнь».



И когда сотрудничаю в газетах, — всегда с небольшим внутренним смехом, — всегда с этой мыслью: «Мы еще погимназистничаем».



И потому мне ровно наплевать, какие писать статьи, «направо» или «налево». Все это ерунда и не имеет никакого значения. «Шалости нижегородского гимназиста» (катались на Черном пруде).

(29 октября).



Зонт у меня Философова, перламутровый ножик (перочинный, прелестный) от Суходрева, теперь палка от Тычинкина.

Она грязная (он).

— Тем лучше. Это в моем стиле.

У Фил. зонт был с дырочкой. Но такая прелестная палка, черная с рубчиками, не вертлявая (полная в теле) и необыкновенно легкая.

Эти декаденты умели выбирать необыкновенно изящные вещи. Простые и стильные.

(29 октября).



30 окт.

...уклончивость всех вещей от определения своего, уклончивость всех планет от «прямой»...

Что это?!!!

Ужасы, ужасы...

Может быть, она в том, что мир хочет быть «застегнут на все пуговицы» и не показать внутренних карманов ни репортеру, ни Ньютону.

Если так — еще можно успокоиться. «Темно. Не вижу». Это пусть и говорит косолапый Вий, ноги которого вросли в землю.

Но если иное?..

Что?

Не хочу даже сказать. Пугаюсь.



Все мои пороки были или мелким любопытством ума, — или «так», распустился», и, в сущности, беспричинны. Но мне никогда [порок] не «сосал под ложечкой» и не «кружил голову».

Поэтому «порочность мира», я знаю очень мало. И поэтому же, очень может быть, суждения мои о мире не глубоки. В огненных пороках раскрывается какая-то «та сторона луны», которая ко мне никогда не повертывалась.

План «Мертвых Душ» — в сущности анекдот; как и «Ревизора» — анекдот же. Как один барин хотел скупить умершие ревизские души и заложить их; и как другого барина-прошальгу приняли в городе за ревизора. И все пьесы его, «Женитьба», «Игроки», и повести, «Шинель» — просто петербургские анекдоты, которые могли быть и которых могло не быть. Они ничего собою не характеризуют и ничего в себе не содержат.

Поразительная эта простота, элементарность замысла; Гоголь не имел сил — усложнить плана; романа или повести в смысле развития или хода страсти — чувствуется, что он и не мог бы представить, и самых попыток к этому — в черновиках его нет.

Что же это такое? Странная элементарность души. Поразительно, что Гоголь и сам не развивался; в нем не перестраивалась душа, не менялись убеждения. Перейдя от малороссийских повестей к петербургским анекдотам, он только перенес глаз с юга на север, но глаз этот был тот же.

Недостаток Перцова заключается в недостаточно яркой и даже недостаточно определенной индивидуальности.

Сотворяя его, Бог как бы впал в какую-то задумчивость, резец остановился, и все лицо стало матовым. Глаза «не торчат» из мрамора, и губы никогда не закричат. Ума и далекого зрения, как и меткого слова (в письмах) у него «как Бог дай всякому», и особенно привлекательно его благородство и бескорыстие: но все эти качества заволакиваются туманом неопределенных поступков, тихо сказанных слов; какого-то «шуршания бытия», а не скакания бытия.

Но он «рыцарь честный», честный и старый (по чекану) в нашей низменной журналистике.

С ним в контрасте Рцы: которого переделав Бог — плюнул от отвращения, и отошел. И с тех пор Рцы все бегают за Богом, все томится по Боге, и говорит лучшие молитвы, какие знает мир (в себе, в душе).

Увы: литературно это почти ни в чем не выразилось. Он писал только об еде, о Россини и иногда об отцах Церкви. Теперь, бедный, умолк.



Что такое литературная душа?
Это Гамлет.
Это холод и пустота.

(укладываясь спать).



31 октября.

Мне не было бы так страшно, ни так печально, если бы не ужасы ясновидения. Но я живу как «в Провидении»: потому что за годы, за очень долгие годы,— все будущее было открыто ей в каких-то вещих тревогах.

Мы сидели в Кисловодском театре. Давали «Горе от ума». Ни хорошо, ни худо. И в котором-то антракте я обдумывал, нельзя ли склеить статью в «Н. Вр.» рублей на 70 (билеты — 6 руб., время — в нужде, довольно жестокой).

— Посмотри, Вася.

Я поднял голову и смотрел на спущенный занавес, изображавший наяд и героев.

— Не там, а выше.

Занавес спускался из арки, и на арке были изображены... должно быть, античные маски.

— Вон там, в углу... Такая ужасная... Когда я буду умирать, у меня будет такое лицо.

Это было искаженное ужасом и отчаянием лицо «трагической маски».

Я захолодел. Губы мои что-то бессильное шептали. И этот ее «внушающий» голос, полный убеждения, пугал меня даже потом, когда я просыпался ночью.

Несколько раз, когда я хотел и предлагал ей отдохнуть в санатории — (как было бы спасительно, определили бы при приеме болезнь), она отказывалась в каком-то трепетном страхе: как забившаяся в угол птичка, боящаяся оставить этот угол.

И все подозрительность. И все испуг.— «Вы хотите остаться без меня *одни*» (для дурного, легкомысленного). «Вы хотите *отвязаться от меня*»...

Я переставал говорить.

«— Как страшно... Мне тогда представляется, что меня везут в сумасшедший дом. И спущены занавески».

И она холодела. И я холодел. Центр ужаса находился, был в «спущенных занавесках».

А «занавески» в душе ее и в самом деле спускались. Она атомически, разрушительно отделялась от мира.

Моя страдальца. И опять говорила: «Я снова видела во сне Михаила Павловича. Так ясно. И он спрашивал: «Скоро ли ты, Варюнич, придешь ко мне? Я жду тебя».

Это первый муж. С которого всё и началось. И самая любовь наша началась с чудной элегии, в которой она рассказала о необъяснимой молодой гибели ее 1-го мужа. Она осталась вдовой 21-го года, с 2-х летней Саничкой и матерью.

9

Бог послал меня с *даром слова* и ничего другого еще не дал. Вот отчего я так несчастен.

99

Ничего так красиво не лежит на молодости, как бедность. Но без лицемерных «дыр»...
Бедность чистоплотная.

999

Душа моя как расплетающаяся нить. Даже не льняная, а бумажная. Вся «разлезается», и ничего ею укрепить нельзя.
(ночью на извозчике).

9999

Я вышел из мерзости запустения, и так и надо определять меня: «выходец из мерзости запустения».

Какая нелюдимость.

Вражда ко всем людям.

Нас не знали даже соседи, как не знали и мы соседей. Только разве портной в углу (рядом его хибарочка). Все нас дичились, и мы дичились всех.

Мы все были в ссоре. Прекрасная Верочка умерла так рано (мне лет 8-7), и когда умерла, то все окончательно заledenело, захолodelo, а главное замусорилось. За все время я не помню ни одной заботы, и чтобы сам о чем-нибудь позаботился. Все «бродили», а не жили; и ни у кого не было сознания, что что-нибудь *должно делать*. Вообще слово «должно» было исключено из самого обихода, и никогда я его не слышал до 14 лет, когда хоть услышал — «ты *должен* выучить урок» (и сейчас возненавидел «должен»). Все проводили дни (ибо «жили» даже нельзя сказать) по «как бы *легче*» и «как бы изловчиться». Только теперь (57 лет) я думаю, что Коля был прав, оставшись только 3 дня, и уехал молча и никогда не отвечал ни на какие письма. Он оценил глазом, образованием и опытом взрослого человека, что тут все мертво, хотя и шевелится, и дышит. И воскресить ничего нельзя, а можно только утонуть возле этого, в связи с этим, распутывая это.

(лежа в постели ночью, вспоминаю детство, до 13 лет).



Что такое «писатель»?

Брошенные дети, забытая жена, и тщеславие, тщеславие...
Интересная фигура.

(засыпая).



1 ноября.

Церковь научила всех людей молиться.

Какое же другое к ней отношение может быть у человека, как целовать руку.

*Хорошо у православных, что целуют руку у попов.

Поп есть отец. Естественный отец. Ведь и натуральные отцы бывают дурные, и мы не говорим детям — ненавидьте их, презирайте их. Говорить так — значило бы развращать детей и губить их душу и будущность. Вот отчего, если бы было даже основательно осуждать духовенство — осуждать его не следует.

Мы гибнем сами, осуждая духовенство. Без духовенства — погиб народ. Духовенство блюдет его душу.

Что выше, любовь или история любви?

Ах, все «истории любви» все-таки не стоят кусочка «сейчас любви».



Я теперь пишу «историю», п. ч. счастье мое прошло.

У Рцы «Бог прибрал» троих детей — Ваню, еще Сережу, еще... имена забыл. Сережа умер потом и отдельно. Но один за другим выносили три детских гробика, с Павловской, № 2, Ефимова, 2-й этаж.

Это было что-то чудовищное. Как вообще у человека «кости не ломаются» в таком несчастье? Он — недвижимый, растерянный, она — вся в муке, и Гесс (докт.) говорил: «Который вот день (сутки) Ольга Ивановна не закрывает глаз» (мать).

И Елена Ивановна...

И вот перенесли что непереносимо. Что вообще нельзя перенести. Под чем кости хрустят, душа ломится. Как же они перенесли?

А как же бы они *не перенесли*? Остались жить. Бог «одних берет», других «оставляет»: и кого оставляет — «будет жить».

Хохота и прежде не было. Всегда была нужда. Теперь — часто тяжелая. Но тогда (на именинах Ольги Ивановны) бывал смех. Улыбка и теперь бывает. Не частая, но бывает. Говорят. Заботятся. Он читает все Апостола Павла. Перечитывает. Обдумывает. Вчитывается. Все его чтение — Апостол Павел и «Нов. Вр.» (обо всем,— текущий день), иногда «Богосл. Вестник».

Он лицеист (Москва). Умница. Страсть — Рембрандт и Россини. Пишет. Но что-то «не выходит». Родился до книгопечатания и «презирает жить в веке сем». У него нет *praesens*, а все *perfectum* и *plusquamperfectum*. *Futurum** яростно отвергает.

И живут.

Живут пассивною жизнью (после страдания), когда активная невозможна.

* Настоящее... прошедшее, давнопрошедшее. Будущее (*лат.*).

Вот отчего нужно уважать старость: что она бывает «после страдания».

Этого нам в гимназии в голову не приходило.



Священное слово.

Зависимость моя от мамочки — как зависимость безнравственного или слабо нравственного от нравственного.

Она все ползет куда-то, шатается, склоняется: а все назад оглядывается.

И эта всегдашняя забота обо мне — как Провидение. От того мне страшно остаться одному, что я останусь без Провидения*

Ни — *куда* пойти.

Ни — *где* отдохнуть.

Я затеряюсь, как собака на чужой улице.



Основание моей привязанности — нравственное. Хотя мне все нравилось в ее теле, в фигуре, в слабом коротеньком мизинчике (удивительно изящные руки), в «одной» ямке на щеках (после смерти первого мужа другая ямка исчезла), — но это было то, что только *не мешало* развиваться нравственной любви.

В христианском мире уже только возможна нравственная любовь, нравственная привязанность. *Тело как святыня* (Ветх. Зав.) действительно умерло, и телесная любовь невозможна. Телесная любовь осталась только для улицы и имеет уличные формы.

Я любил ее, как грех любит праведность, и как кривое любит прямое, и как дурное — правду.



Вот отчего в любви моей есть какое-то странное «разде-

* т. е. без некоторой тени его, осуществления его на земле, «осязательно-го» его.

ление». Оно-то и сообщило ей жгучесть, рыдание. Оно-то и сделало ее вечным алканием, без сытости и удовлетворения. Оно исполнило ее тоски, муки и необыкновенного счастья.



Почти всегда, если мы бывали одни и она не бывала со мною (не разговаривала), она молилась. Это и раньше бывало, но за последние 5-6-7 лет постоянно. И за годы, когда я постоянно видел возле себя молящегося человека,— мог ли я не привыкнуть, не воспитаться, не убедиться, не почувствовать со всей силой умиления, что молитва есть лучшее, главное.

(ночью в слезах, 1-го ноября, в постели).



Я возвращаюсь к тому идеализму, с которым писал «Легенду» (знакомство с Варей) и «Сумерки просвещения» (жизнь с нею в Белом). К старому провинциальному затишью. Петербург меня только измучил и, может быть, развратил. Сперва (отталкивание от высокопоставленного либерал-просветителя и мошенника) безумный консерватизм, потом столь же необузданное революционерство, особенно религиозное, антицерковность, антихристианство даже. К нему я был приведен семейным положением. Но тут надо понять так: теперешнее духовенство скромно сознает себя слишком не святым, слишком немощным, и *от этого* боится пошевелиться в тех действительно святых формах жизни, «уставах», «законах», какие сохранены от древности. Будь бы Павел: и он поступил бы, как Павел, *по правде*, осудив ту и оправдав эту. Без этого духа «святости в себе» (сейчас) как им пошевелиться? И они замерли. Это не консерватизм, а скромность, не черствость, а страх повредить векам, нарушив «устав», который привелось бы нарушать и в других случаях и для других (лиц), в случаях уже менее ясных, в случаях не белых, а уже серых и темных. Пришлось бы остаться, с отмененным «Уставом», только при своей совести: которая если не совесть «Павла», а совесть Антониев, и Никонов, и Сергиев, и Владимиров, и Константинов (Поб.)— то как на нее возложить тяжесть мира? «Меня еще не подкупят, а моего преемника подкупят»: и станет мир повиноваться не «Уставу», а подкупу, не формализму, а сулящему. И зашатается мир, и погибнет мир.

Так мне и надо было понять, что, конечно, меня за..... никто не судит, и Церковь нисколько не осуждает....., и нисколько не разлучает меня с....., а только она пугается это сделать вслух, громко, печатно, потому что «в последние времена уже нет Павлов, а Никандры с Иннокентиями». Потому что дар пророчества и первосвященничества редок, и он был редок и в первой церкви Ветхозаветной, и во второй Новозаветной. Аминь и мир.



3 ноября.

Все погибло, все погибло, все погибло.
Погибла жизнь. Погиб самый смысл ее.
Не усмотрел.

99

Так любил ее, что никак не мог перестать курить ночью.
(Правда — пытался: но она сама говорила: «покури» — и тогда я опять разрешал).



5 ноября.

Ах, господа, господа, если бы мы знали все, как мы бедны...
Если бы знали, до чего мы убоги, жалки...
Какие мы «дарвинисты»: мы просто клячи, на которых бы возить воду.
Просто «собачонка из подворотни», чтобы беречь дом доброй хозяйки.
И она бросает нам кусок хлеба.
«Вот и Спенсер, и мы».
«И сочинения Огюста Конта, Милля и Спенсера, и женский вопрос» (читал гимназистом).
И «предисловие Цебриковой».

9

Родила червяшка червяшку.
Червяшка поползала.
Потом умерла.



Вот наша жизнь.

(3-й час ночи).

99

...выберите молитвенника за Землю Русскую. Не ищите (выбирая) мудрого, не ищите ученого. Вовсе не нужно хитрого и лукавого. А слушайте, чья молитва горячее — и чтобы доносил он к Богу скорби и напасти горькой земли нашей, и молился о ранах, и нес тяготы ее.

(к выбору патриарха всея Руси; толки).

999

Жизнь — раба мечты.

В истории истинно реальны только мечты. Они живучи. Их ни кислотой, ни огнем не возьмешь. Они распространяются, плодятся, «овладевают воздухом», вползают из головы в голову. Перед этим цепким существованием как рассыпчаты каменные стены, железные башни, хорошее вооружение. Против мечты нет ни щита, ни копья.



А факты — в вечном полинянии.



7 ноября

К Б. меня нечего было «приводить»: со 2-го (или 1-го?) курса университета не то чтобы я чувствовал Его, но *чувство*

присутствия около себя Его — никогда меня не оставляло, не прерывалось хоть бы на час. Я был «полон Б.» — и это всегда.

Но к Х. нужно было «привести».

То неужели вся жизнь моя и была, — с 1889-го года, — «приведением» сюда? С 1889-го и вот до этого 1912 г., и даже, определеннее, до 7 ноября, когда впервые «мелькнуло»...

Ведь до этого 7 ноября я б. совершенно «вне Его». До такой степени, как может быть ни у кого. Но сказано: «и оружие пройдет тебе сердце»...

Так вот что «приводит»...



Не смиренные смиренны, а те, которые были смиренны.
Но этой точки я не хочу: она враждебна мне. Нет — Рок.
И потом — смиренье.



Томится душа. Томится страшным томлением.
Утро мое без света. Ночь моя без сна.



Это мамочка моя, открыв что-то, показала мне: «Что́ это такое? Как *верно*».

Я взглянул и прочитал:

«На что дан свет человеку, которого путь закрыт и которого Бог окружил мраком».

Это из Иова (III, ст. 23). И я подумал: «Вот что я хотел бы вырезать на твоей могиле, моя бедная». Это было лет 18-ть назад.

Почему я ее всегда чувствовал, знал бедной. Как и у нее, у меня была безотчетная тревога, теперь объяснившаяся (давняя болезнь). Казалось, — все обеспечено, все дети отданы в лучшие школы, мамочка, кажется бы, «ничего»: а мысль «бедная! бедная!» сосала душу. К этой всегдашней своей тоске, тревоге я и отношу некрасовское

Еду ли ночью по улице темной

так как я часто езжу в редакцию (править корректуры). И всегда — тоска, точно завтра начнется светопреставление.



У меня чесотка пороков, а не влечение к ним, не сила их. Это — грязнотца, в которой копошится вошь; огонь и пыл пороков — я его никогда не знал. Ведь весь я тихий, «смиреномудрый».

И часто за чайным столом, оглядывая своих гостей, — и думая, что они чисты от этих пороков, — с какой я тайной завистью, и с благодарностью (что чисты), и мукой греха смотрю на них.

И веду разговор о литературе или Рел-фил. собр., едва сознавая, о чем говорю.



8 ноября.

Вся жизнь моя была тяжела. Снутри грехи. Извне несчастия. Одно утешение было в писательстве. Вот отчего я постоянно писал.



Теперь все кончилось. «Подгребаю угольки», как в истопившейся печке. Скоро «закрывать трубу» (†).



У меня было религиозное высокомерие. Я «оценивал» Церковь, как постороннее себе, и не чувствовал нужды ее себе, потому что был «с Богом».

Помню, в Брянске, я с высокомерием говаривал: «Он церковник», или еще: «Да, он — церковник, но это вовсе не то, что религиозный человек»... «Я не церковник, но я религиозный человек».

Но пришло время «приложиться к отцам». Уйти «в мать землю». И чувство церкви пробудилось.

Церковь — это «все мы»; церковь — «я со всеми». И «мы все с Богом».

В отличие от высокомерной «религиозности» — «церковное» чувство смиренно, просто, народно, общечеловечно.



Философы да и то не все, говорили о Боге; о «бессмертии души» учил Платон. Еще некоторые. Церковь не «учила», не «говорила», а *повелевала* и верить в Бога, и питаться от бессмертия души. Она одна. Она всегда. Непременно. Без колебания.

Она несла это Имя, эту Веру, это Знамя без колебания, с времен древних, и донесла до наших времен. О сомневавшемся она говорила: «Ты — *не мой*». Нельзя представить себе простого дьячка, который сказал бы: «Может быть, бессмертия души и — *нет*». Всякий дьячок имеет уверенность в том, до чего едва додумался и едва имел силы достигнуть Платон.

«Сумма учений Церкви» неизмерима сравнительно с Платоновой системой. И так все хлебно, так все просто. Она подойдет к роженице. Она подходит к гробу. *Это нужно*. Вот «нужного»-то и не сумел добавить к своим идеям Платон.

Что же такое наши университеты и «науки» в Духовных Академиях сравнительно с Церковью?

Трава в лесу. Нет: трава в мире (космос).

Мир — Церковь.

А науки, и университеты, и студенты — только трава, цветочки: «пройдет серп и скосит их».



Кто догадался подойти со словом к умирающему? Кто подумал, что надо протянуть руку роженице?

Спенсеру это не пришло на ум.

Боклю — не пришло.

Даже Платону на ум не пришло, ни Пифагору в Пифагорейском Союзе. Не знаю, приходит ли ксендз, но пастор наверно не приходит. «Слишком грязно и душно» в комнате роженицы.

Православный священник приходит.



Не *догаживал* я многого в церкви. Редко ходил с детьми в церковь. Но это «редко» так счастливо вспоминается. Это свет.

И такой «свет» разлит по всей стране. «Приходи и бери его даром». Кто не ленив — приходи все. Какой это недостаток по селам, что там нет службы в будние дни. Это недосмотрено. Приходили бы старухи. Приходили бы дети. Ведь это поучение.

Зачем священников обременили статистикой? И всякими глупостями, кроме прямого их дела, которое не исполнено.



У русских нет сознания своих предков и нет сознания своего потомства.

«Духовная нация»... «Во плоти чуть-чуть»...

От этого — наш нигилизм: «до нас ничего *важного* не было». И нигилизм наш постоянно радикален: «мы построим все *сначала*».



Скоро кончатся мои дни... О, как не нужны они мне. Не «тяжело это время», но *каждый час тяжел*.



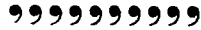
Все больше и больше думаю о церкви. Чаше и чаще. *Нужна она мне стала*. Прежде любовался, восхищался, воображал. Оценивал пользу. Это совсем другое. *Нужна мне* — с этого начинается все.

До *этого* в сущности и не было ничего.



Церковь основывается на «**НУЖНО**». Это совсем не культурное воздействие. Не «просвещение народа». Все эти категории пройдут. «Просвещение» можно взять у нигилистов <...>

МНЕ НУЖНО: вот камень, на котором утверждается церковь.



Отпустим им грех их, дабы и они отпустили нам грех наш.

(о духовенстве, 8 ноября,
глубокая ночь).



Ведь их — сословие. И все почти — в священники, диаконы; как же не человеку, а *сословию* — быть без дурных людей, порой — ужасных людей. В иерейство идут «сплошь», без отбора зерна. И колос то пустой, то хилый, то со спорыньей: и из 100 — *один* полновесный. Так естественно.



Простим им. Простим им. Простим им. Простим и оставим. Все-таки «с Рюрика» они молятся за нас. Хладно, небрежно: а все-таки им велели сказывать эти слова.

Останемся при «все-таки». Мир так мал, так скорбен, положение человека так ужасно, что ограничим себя и удовольствуемся «все-таки»...

И «все-таки» Серафим Саровский и Амвросий Оптинский был *из них*. Все-таки не из «литераторов»...

У литераторов нет «все-таки».

У литераторов — бахвальство.



9 ноября.

Воображать легче, чем работать: вот происхождение социализма (по крайней мере ленивого *русского социализма*).



Кузнецов, трудовик 2-й Думы, пойман как глава мошенническо-воровской шайки в Петербурге. Это же ужасно.

Об этом не кричат газеты, как о «Гурко-Лидваль» целый месяц по 3—4 столбца в каждом №. И впечатление от двойного отношения газет: *администрация* — воры, от которых спасают Россию — *грудовики*.

(натолкнулся случайно в газетах, разыскивая «Дело Мартьянова»).



Завтра консилиум из 4-х докторов: «можно ли и целесообразно ли везти за границу». Тане — материя на белое платье (25 р.). Вечеринка в гимназии, с приглашением знакомых. Можно позвать мальчиков Акимовых, очень воспитанных и милых.

Так одни цветы увядают, другие расцветают. Уже 13 л. работы в «Н. Вр.»: я рассчитывал в начале ее на 10 лет, чтобы оставить 20000 р. детям. Теперь же можно и самому «закрыть трубу». Но нет мужества. Не составлено дух. зав., и не знаю, как писать. В банке долгу 5000, и «на за границу» придется взять тысячи 3. Останется детям 30000, и изданные книги, с оплаченными счетами типографиям, будут давать доходу рублей по 600.

Но один взнос платы за ученье требует 2000 р. в год. Непонятно, откуда это возьмется, если «закрыть трубу».



Два года еще *должен* жить (расплатиться с типографией и долг банку).



Мой переиспуг и погубил все...

Анфимов (харьк. проф.) верно (почти) определил все (1896 г.) У меня руки повисли. А они должны были подняться и работать.

Если б я не был так испуган, я начал бы, по приезде в Петерб., леченье, не перепроверя у Бехтерева. И все было бы спасено: не было бы ни миокардита, ни перерождения сосудов, ни удара (Карпинский).

Т. е. 3-х вещей, которые сломили нашу жизнь.

Не было бы мрака в доме, «тревог», неопределенного страха. Вся жизнь, начав с сотрудничества в «Нов. Вр.» (обеспечение), потекла бы совсем иначе, веселее, жизненнее, открытее. Связнее с людьми.

Мамочка, которая гибла, не убегала бы так от людей, с нелюдимостью, «не нужно», с «все тяжелы и никого не хочется видеть», особенно не хочется видеть — веселья и радости.

(10 ноября).



16 ноября.

Ни Новоселов, ни Флор., ни Цвет., ни Булгаков, которые все время думают, чувствуют и говорят о церкви, о христианстве, ничего не сказали и, главное, не скажут и потом ничего о браке, семье, о поле. Вл. Соловьев написал «Смысл любви», но ведь «смысл любви» — это естественная философская тема: но и он ни одной строчки в десяти томах «Сочин.» не посвятил разводу, девственности вступающих в брак, измене, и вообще терниям и муке семьи. *Ни одною строчкой ей не помог.* Когда я издал два тома «Семейного вопроса в России», то на книгу не только не обратили никакого внимания, но во всей печати о ней не было сделано ни одной рецензии и ни одного указания или ссылки.

«Семейного вопроса в России» и не существует. И семья насколько страшно нужна каждому порошь, настолько же вообще все, коллективным национальным умом, коллективным христианским умом, собирательным церковным сердцем — к ней равнодушны и безучастны.

Это дело полиции и консистории, — дело взятки, протокола и позорного судьбища. Как ясно, что оно *именно не «тайнство»*, а грязь и мерзость во *всем ее реальном содержании* («два в плоть едину») — как об этом все они и говорят в сердце своем, в сочинениях своих, в молчании своем.

Фл. мог бы и смел бы сказать: но он более и более уходит в сухую, высокомерную, жестокую церковность. «Засыхают цветочки» Франциска Ассизского.

(посвящается доброму священнику
Н. Р. Антонову).

9

О леньность мою разбивался всякий наскок.
И классическая гимназия Толстого, и десять заповедей.
И «как следует держать себя».
Все увязало в моей бесформенности (как охотник в болоте).

99

Когда болит душа — тогда не до язычества. Скажите, кому «с болеющей душой» было хотя бы какое-нибудь дело до язычества?

999

Я жму руку всем, и все жмут мою руку. Глазами смотрю на весь мир, и весь мир смотрит мне в глаза. Обоняю и фиалку, и розу, и нарцис. Слушаю шум леса, и прибой моря, и музыку Бетховена, и русскую заунывную песню.

Какая проституция во всем! Поистине я «*всем* принадлежу, и *все* принадлежат мне». Кроме одного органа.

Который, если я отдаю *еще кому-нибудь*, кроме *единого* — все поднимают на меня камни.

Какое чудо: значит, он *один* во мне целомудрен? Один «и допустить не может», чтобы его коснулись *все* или он коснулся *всех*: — т. е. непроституционен «в самом себе», в «своей натуре».

Ибо, побивая, все побивают меня не за грех против них... Какой? *Им* я причинил удовольствие!

А — за грех против *натуры органа!* Тайнственное «побие-ние камнями» (воистину таинственное!), как мировое «осужде-ние за разврат», есть символ, что весь мир почитает себя стра-жем моего единичного органа, именно его целомудрия, именно его непроституционности.

Какое чудо!

Ведь казнят не орган, отрывая, укалывая, уродуя: ему ни-чего не делают, «как невинной Еве»; а казнят носившего его человека, за то, что не оберег его чистоты и невинности.

Вот «от сложения мира» вписанное в существо вещей до-казательство «*cultus phalli*»*.

* Фаллический культ (лат.).

Теперь объясняется строка, когда-то поразившая меня в Талмуде: что «побиение камнями» было *привилегией* иудеев и иудеянок, которого не имели право распространить на согрешивших в другом племени, если они жительствоваали в Иерусалиме или в Иудее. «Побиение» было неотделимо от «обрезания».



17 ноября.

Гнусность печати, м. б., имеет великую и святую, *нужную* сторону: «проходит лик мира сего» (Достоевск.).— Ну, не очень еще... Но вот, что «проходит лик печати»,— это довольно явственно в распространяющемся и неустрашимом гнушении ею, которое замечается всюду. Не читают. Бросают. Никто на нее не ссылается. Никто не ставит в авторитет.

«Прекрасное обольщение кончилось».

Но это было именно «обольщение», «наваждение Гуттенберга». Пока печатались Гете и Шиллер — о «конце» этого обольщения нельзя было и думать. «Пришло царство и конца его не будет во веки».

Нужно было, чтобы стали падать писатели. Чтобы пошла вонь, смрад. «А,— это *дело*». Стал проходить «гуттенбергов станок». — «Чем печатать такую ерунду, то лучше вовсе ничего не печатать». К концу XX-го века типографии будут продаваться на снос.

Их никто не покупает,
Никто даром не берет.

Люди станут опять свободны от «пишущей братии»,— и, м. б., тогда выучатся танцевать, устраивать рауты, полюбят музыку, полюбят обедню, будут опять любить свято и чисто-сердечно. Будут счастливы и серьезны.

Ибо при «печати» — конечно, людям счастья и серьезности «как своих ушей не видать».

Будет опять возможна проповедь. Будет Саванаролла. Будет возможен Ап. Павел.

Неужели будет? Неужели заиграют эти зори.

Зори прекрасного и великого.

Новое. Все новое.

Так идите же, идите, *гуще* идите, Григорий Петров, и Амфи-театров, и «Копейка», и Боборькин, и все вы, сонмы Бобчинских. Идите и затопляйте все. Ваш час пришел. Располагайтесь и празднуйте.

В празднике вашем великие залог.

Все скажут: «Как дымно. Откуда горечь воздуха. И тошнота. И позыв на низ».

9

Да, мимо меня идет литература.

Нет, это ошибка, что я стал литератором.

Да, мимо идет.

(17 ноября: при мысли, что ни одной статьи не прочел в «Вестн. Евр.», «Русск. М.», «Современ.» и еще в чем-то получаемом,— за весь год, да ни одной и за прежние годы... Это только в оловянную голову может влезть. Да: еще получаю «Современ. Мир»).

Оловянная литература. Оловянные люди ее пишут. Для оловянных читателей она существует.

Sic и finis*.

Конечно, Фл. ее не читает. Цв. не читает. Рцы читает только Ап. Павла и «Нов. Вр.».

Из умных никто. И я. А остальные — к черту. И даже к тем двум буквам в «Уед.», увидя которые цензура почувствовала, что она лишена невинности.

99

...>



В 1895-6 году я определенно помню, что у меня не было тем. Музыка (в душе) есть, а пици на зубы не было.

Печь пламенеет, но ничего в ней не варится.

Тут моя семейная история и вообще все отношения к «дру-гу» и сыграло роль. Пробуждение внимания к юдаизму, интерес к язычеству, критика христианства — все выросло из одной боли, все выросло из одной точки. Литературное и

* Так и конец (лат.).

личное до такой степени слилось, что для меня не было «литературы», а было «мое дело», и даже литература вовсе исчезла вне «отношения к моему делу». Личное перелилось в универсальное.

Да это так и есть на самом деле.

Отсюда моя неряшливость в литературе. Как же я не буду неряшлив в своем доме. Литературу я чувствую как «мой дом». Никакого представления, что я «должен» что-нибудь в ней, что от меня чего-то «ожидают».



На «том свете» я спрошу:

— Ну, что же, Вера, доносила старые калоши?

Потому что на этом свете она спросила:

— Барин, у вас калоши-то худые. Отдайте их мне.

И я, — засыпая после обеда, сказал:

— Возьми, Вера.

Она была черная, худая и мертвенная, лет 45-ти, но очень служила мне верной службой.

Я не догадался ничем ее отдарить. Не пришло на ум (действительно). А теперь почему-то мучит и вспоминаю. Это было 23 года назад.

Она была безмолвная и безответная. Огурцы засолила. Подает в сентябре. Твердые-претвердые.

— Что это за нелепые огурцы, Вера?

— Это с острогоном. Крепче. Через 2 недели будут совсем хороши.

Котлеты. И — ягоды черные!!!

— Это что за нелепость, Вера????!!!

— Я у купцов так готовила. С черносливом.

И действительно было приятно.

(в Ельце).



У Родзевича была горничная. Очень милая. Он же был жесток (учитель математики).

Тогда я, Стройков, Запольский, Штейн (жили у Василия Максимовича, на верху) решили ему отомстить за вечные двойки.

По длинному нижнему коридору (учительскому) она несла барину суп. Обе руки заняты. «Точно нас осенило»: мы подскочили с трех сторон и стали... чего-то искать у нее в коффе. Волнуется, бранится, но ничего не может поделать (руки заняты). И бежать не может (уронит миску). Бранится. У нас руки как таракашки по ней бегают. Но ничего особенного, и вообще скромно. IV класс Гимназии... «Глупыши и не понимаем». Нам бы надругаться над Родзевичем.

Он был поляк, католик, ханжа и сослан в Нижний за «бунт». Бесцеремонно он всем полякам ставил не менее 3-х (даже Горскому, который ничего не знал и нагло манкировал); нам же, русским, почти сплошь ставил двойки.

Он был маленький, почти крошечного роста, с козлиной бородой, худой, злобный, и почему-то вокруг шеи наматывал длиннейший грязный шарф.

Голос — громовый. Сущий сатир или дьявол.

На другой день, войдя на кафедру, но не садясь, он гробовым глухим голосом, не понятно ни для кого в классе (кроме «нас четырех»):

«— И вы-ы-ы! — Бормотанье... — Испорченные ю-ю-ю-юноши... Некоторые из вас... Осмеливаются... Даже своих наставников не уважать»...

Но он был до того хитер, что в этот урок никого из нас не вызвал к доске (доказывать теорему).

Только потом мучил.

(в Нижнем).



Любовь *продажная* кажется «очень удобною»: «у кого есть пять рублей, входи и бери». Да, но

Облетели цветы
И угасли огни...

Что же он берет? Кусок мертвой резины. Лайковую перчатку, притом заплыванную и брошенную на пол, которую подымает и натягивает на свою офицерскую руку и свою студенческую руку. «Продажная любовь» есть поистине гнусность, которая должна быть истреблена пушками (моя гимназическая мечта), порохом и ножом. На нее нужно смотреть, как на выделку «фальшивой монеты», подрывающей «кредит государ-

ства». Ибо она, все эти «лупанары» и *переполняющие улицы* ночью шляющиеся проститутки, — «подрывают кредит семьи», «опровергают семью», делают «не нужным (осязательно и прямо) брак». Ну, а уж «брак» и «семья» не менее важны для нации, чем фиск, казна.

Но «проституция ничему не уступает»: свидетельство истории. И, значит, «*пусть она будет*», но совершенно *в ином виде*, чем теперь: не в виде бродячих грязных собак, шляющихся «для всякого» по улице, не в виде «мелочной лавочки», где каждый берет «на три копейки семячек». Нужен *иной ее об-раз*: не оскверняющий, не развращающий.

Как-то у меня мелькнуло в уме: в часть вечера, между 7-9 (и *только*), все свободные (*без мужей* и не «лунного света») выходят и садятся на деревянные лавочки, каждая перед своим домом, и скромно одетые, — держа каждая цветок в руке. Глаза их должны быть скромно опущены книзу, и они не должны ничего петь и ничего говорить. Никого — звать. Проходящий, остановясь перед той, которая ему понравилась, говорит ей привет: «Здравствуй. Я с тобой». После чего она встает и, все не взглядывая на него, входит в дом свой. И становится в этот вечер женою его. Для этого должны быть назначены определенные дни в неделе, в каждом месяце и в целом году. Пусть это будут дни «отпущенной грешницы» — в память ее.

В разряд этот войдут вообще все женщины страны, — или города, большого села, — неспособные к единобрачию, не-

способные к правде и высоте и крепости единобрачия. Они не должны быть ни порицаемы, ни хвалимы. Они — просто факт. Но они очень должны наблюдать себя, свою телесную чистоту, свое нервное (полное) спокойствие. Они должны быть постоянно свежи: от этого изгоняется каждая, принявшая двух в один вечер (теперь сплошь и рядом), принявшая кого-нибудь в дни своего «месячного очищения», и вообще в «непозволенные дни». Через это «кабак» проституции устранился, а «душа проституции», которая *есть*, выберется из-под мусора. Разумеется, у них должны быть дети, вообще они должны быть детные. Они — семьянинки: «но — вдовствующие» с каждым утром и каждый вечер «вновь выходящие замуж» (психология, чувство самосознания, отнюдь не убитое и не умаленное).

Мне рассказывал один портной историю своего брака: он «и не видал жены своей», дочери швейцара в чрезвычайно высокопоставленном доме. Ей было всего 17 лет, и, как потом он узнал, родители говорили ей: «Ты *хоть постой за венчаньем*» (т. е. «а потом — поступай, как знаешь»). Она была совершенно неуправляема в «отдачах» и не могла не отдаться каждому, кто ей понравился («приглянулся»). Муж (хмурый мешанинишка, — прилежный, «одна проза») был ей совершенно противен, и она, уже спускаясь с лестницы после венца, не позволила ему подать себе пальто, неглижерски отвернувшись от него. «Ко мне в дом она взяла тетку, которая с нею спала в одной комнате, в эту первую брачную ночь». Дней через 5 она переехала к родителям. Ежедневно с двоюродною сестрою мужа она уходила на холостую квартиру своего кузена, и он был ей «муж» на час. Родители уже не сдерживали: ничего нельзя было сделать. Замечательно, что на ее сторону стала и полиция (была обаятельна?) и посадила муженька «в холодную» или вообще «к себе», — и держала, «пока не даст паспорта (ей) на отдельную от себя жизнь». Он не давал, пока не пришел ко мне советоваться (тогда я писал о разводе). Я сказал, что знал, т. е. что «Св. Церковь ему развода не даст («ибо без свидетелей») и он должен претерпеть». Он, главное, был возмущен, что она мешает его работе, его укладу жизни, что он «не в спокойных мыслях», — не понимая сам, «муж или не муж». *Такую же еще раз я встретил (ее рассказ) — образованную, красивую, в высшей степени скромную в (манерах), и об одной такой мне рассказывала поразительную историю Евгения Ивановна, добавлявшая: «Я не могла ее не любить, до того она была вся милая и приятная».* Сама Евг. Ив. абсолютно целомудренна. Вот факты.



...Как поршень действует в цилиндре насоса? — под поршнем *образуется пустота*. И природа с ее *terror vacui** стремится наполнить ее. Выступают и поднимаются воды земли, собираются воды земли (почвы) и устремляются к уходящему поршню... И жизнь, и силы, и кровь. Вот отчего «весь организм» как бы собирается в одну точку. И, поистине, эта *точка* и в это *время* есть «фокус организма и жизни», — подобно как есть «фокус» в оптических стеклах.



Оплодотворение детей входит неопишуемым чувством в родителей: — «Вот я прикрепился к земле», «Земля уроднилась мне», «теперь меня с земли (планеты) ничего не ссадит», не изгладит, не истребит.

Отсюда обряд, песни, цветы, у всех народов, у нас — венчание; белое платье, венцы на головы брачующихся.

Но это — глубже, это не обряд; обряд пришел «совсем потом» и покажет не свою важность, а *важность того, к чему он прикрепился*.

Отсюда же в древности «пир происходил», когда новобрачные уже отводились в опочивальню (в Иерусалиме — в «хуппу»), и они начинали совокупляться во время самого пира; у нас, русских, до последнего времени выносились «в пир» и показывалась гостям снятая после совокупления сорочка новобрачной, со всеми знаками *его* силы и *ее* чистоты. Но это — не «проверка»: разве психология пира такова, чтобы «рассматривать подпись на долговой расписке». Совершалось это вначале по наивной и открытой радости родителей, что крови начали уже сливаться, два рода — *его* род и *ее* род — слились в одну реку, срослись в один ствол Вечного Древа; — что «Древо Жизни» преуспело и снесло еще яблоко. У Андрея Т. Болотова, в его «Записках», описывается подробно этот вынос рубашки новобрачной. В Смоленской губернии торжество омоченной срачицы сохраняется до сих пор в благочестивом простом народе, у мещан по городам и везде в селах.

Но все это — «приложилось». В основе лежит чувство ро-

* Страх пустоты (лат.).

дителей, как бы вторично и более полным образом рождающихся в мире. Совокупление детей есть для родителей собственное их второе рождение. Едва крови — прорвав ткани — слились, как в родителей входит метафизическое знание, что от них отделилась нить, которая связалась в узел с нитью, вышедшей из пуповины «кого-то другого», «совсем нового», «чуждого вот нашему роду». Это близко к тому, как насекомое-наездник, опустив яйцевод,— просверливает кожу куколки и опускает в тело куколки яйцо свое, из коего вылупится «я» этого наездника и будет питаться телом этой куколки. Только там это — жестоко и убийственно, а здесь это благо, любящее, в наслаждение «яйцекладчиков» и в Вечную Жизнь. Отсюда же древние обычаи: что финикиянки выходили на берег и отдавались приплывавшим иностранцам, т. е. — «как тело куколки», но сладко, «принимали яйцо наездника», чтобы унести себе его в дом и там родить и вырастить. Отсюда же почти везде в древности существовавшая «семейная проституция», которая на самом деле есть вовсе не это отвратительное и денежное ремесло, но тоже «приятие себе в дом яйца», как некоторой абсолютной мировой ценности, что ведь в сущности и есть так. Поэтому она никого не оскорбляла, а оскорблял, напротив, отказ иностранца, путника или гостя дать яйцо. «Как курица — побыла сутки в доме, но ничего не оставила». Это обижало, это отталкивало, это разделяло, это вводило людей в тоску и слезы. Напротив, «приняв яйцо», радовались и гоготали, как курица после яйценесения. Курица-то почему кричит? Да что она «принесла пользу миру»; более «не чужая миру»; она кричит: «мир — мой», а «я — мировая», т. е. мировая вещь, *мировое лицо*; я теперь «мировое существо» — в «середочках», а не «с краешку» (конец мира).

Если курица чувствует, насколько ярче и сильнее чувствует человек!

Дети — не верьте родителям: они скрываются.

Проклятое уныние склонило чело их долу. Но это — тоска времени, и она пройдет.

Поднимите глаза: солнце восходит.

Солнце жизни...

Солнце улыбок...

(открытие Розанова)





...да Писарев и «Современник» и есть Нат-Пинкертон. Так же просто, плоско, такая же «новая цивилизация» и приложение «последних данных науки». И все — так же решительно и смело. Непонятно, чему Чуковский стал удивляться.

(клиника Ел. П.: Чуковский год назад читал об этом лекцию: «Откуда увлекаются Нат-Пинкертоном?»)



И пусть у гробового входа
Младая будет жизнь играть,
И равнодушная природа
Красою вечною сиять.

Кто-то где-то услышав, заплакал.

Писарев поднялся:

— НЕ-ПО-НИ-МА-Ю.

Неописуемый восторг разлился по обществу. Профессора, курсистки — все завизжали, захлопотали, заготовали:

— ГЛУ-ПО.



Какое оправдание «Поэта и черни». Писарев все защищал мужиков от Пушкина, тогда как Пушкин никогда мужиков не разумел. «Чернь» ходит в лакированных сапогах и непрерывно читает просветительные лекции.

«Чернь» — это Григорий Петров, Б. и Академия Наук с почетным членом Анатолием Федоровичем.

(в клинике Ел. П.)



Неужели все, что идут по улицам, тоже умрут?

Какой ужас.

(переходя площадь перед цирком Чиниз., в страхе).



И она меня пожалела как сироту.
И я пожалел ее как сироту (тогдашняя история). Оба мы
были поруганы, унижены.
Вот вся наша любовь.



Церковь сказала «нет». Я ей показал кукиш с маслом.
Вот вся моя литература.

(сидя над кроватью мамы; клиника Ел. П.).



Редко-редко у меня мелькает мысль, что напором своей
психологичности я одолею литературу. Т. е. что «потом» будут
психологичны — как я и «наши» (Рцы, Фл., Шперк, еще не-
сколько, немного).

Какое бы счастье. Прошли бы эти «болваны». Ведь суть
не в «левости», а в чём болваны.



Кроме воровской (сейчас) и нет никакой печати. Не знаю,
что делать с этой «6-ой державой» (Наполеон).



Главный лозунг печати: проклинай, ненавидь и клевети.
(вспоминаю статьи по † Суворина).





Человека достойный памятник только один — земляная могила и деревянный крест.

Золотой же памятник можно поставить только над собакою.



Звездочка тусклая, звездочка бледная
Все ты горишь предо мною одна.
Ты и больная, ты и дрожащая
Вот-вот померкнешь совсем...

(в кл. Е. П., — ходя где курят).



Чтобы пронизал душу Христос, ему надо преодолеть теперь не какой-то опыт «рыбаков» и впечатления моря, с их ни «да», ни «нет» в отношении Христа, а надо пронзить всю толщу впечатлений «современного человека», весь этот и мусор, и добро, преодолеть гимназию, преодолеть университет, преодолеть казенную службу, ответственность перед начальством, кой-какие танциски, кой-какой флиртишко, знакомых, друзей, книги, Бюхнера, Лермонтова... и — вернуть к простоте рыбного промысла для снискания хлеба. Возможно ли это? Как «мусорного человека» превратить в «естественное явление»? Христос имел дело с «естественными явлениями», а христианству (церкви) приходится иметь дело с мусорными явлениями, с ломаными явлениями, с извращенными явлениями, — иметь дело с продуктами разложения, вывиха, изуродования. И вот отчего церковь (между прочим) так мало успевает, когда так успевал Христос.

Христианству гораздо труднее, чем Христу. Церкви теперь труднее, чем было Апостолам.

(в клинике Ел. П.) (30 ноября 1912 г.).



Старые, милые бабушки — берегите правду русскую.
Берегите; ее некому больше беречь.



<...>



Благовари каждый миг бытия и каждый миг бытия увековечивай.

(почему пишу «Уедин.»).

Смысл — не в Вечном; смысл в Мгновениях.

Мгновения-то и вечны, а Вечное — только «обстановка» для них. Квартира для жильца. Мгновение — жилец, мгновения — «я», Солнце.



Мир живет великими заврожениями.

Мир вообще есть ворожба.

И «круги» истории, и эпициклы планет.



Бог охоч к миру. А мир охоч к Богу.

Вот религия и молитвы. Мир «причесывается» перед Богом, а Бог говорит («Бытие», I) «Как это — хорошо». И каждая вещь, и каждый день.

Немножко и мир «ворожит» Бога: и отдал Сына своего Единородного за мир.

Вот тайна.

Ах, не холодеет, не холодеет еще мир. Это — только кажется. Горячность — сущность его, любовь есть сущность его.

И смуглый цвет. И пышущие щеки. И перси мира. И тайны лона его.

И маленький Розанов, где-то закутавшийся в его персях. И вечно сосущий из них молоко. И люблю я этот сосок мира, смуглый и благовонный, с чуть-чуть волосами вокруг. И держат мои ладони упругие груди, и далеким знанием знает Глазизна мира обо мне, и бережет меня.

И дает мне молоко и в нем мудрость и огонь.

Потому-то я люблю Бога.

*(24-го декабря 1912, у мамы в клинике).
1915 г.*

ЦЕНЗУРА

Вопрос о цензуре никогда не был спокоен в России. Под фактом ее, под положением ее в составе государственного управления, под «направлением» ее и «веяниями в ней» всегда чувствовалась зыбкая почва, точно — «трясина»: она была «в переходном положении». Это все чувствовали; но *куда* перейти — об этом были страстные споры, здесь ничего не было ясно доказано.

— Да ее вовсе не нужно, — вот крайнее мнение, самое легкое. — Пусть будет полная свобода мысли и слова. Разве же можно связывать человеческую мысль?

— Цензура нужна, и притом бдительная, строгая. Позвольте, все же соглашались, что это «седьмая держава»: разве же можно допустить существование в государстве и обок с ним другого как бы духовного государства, от него вполне независимого? Это все равно и даже больше и хуже, чем, напр., существование иезуитского ордена, которое нигде не допускается, не допускается в самых либеральных странах, в республиках? Мысль, мнение, слово, печатное слово — родит из себя факт. Не члены человеческого тела управляют человеческою мыслью, но мысль управляет его членами, его *работою*. Если «правительство» откажется от вмешательства в «печать», то ему нужно и ему проще выйти в отставку, — в отставку по существу; ибо ему останется роль — только повиноваться печати, быть у нее на побегушках; обратиться в правительство «чего изволите». Это невозможно и унижительно для правительства. А оно представляет собою историю и народ, оберегает традиции истории и блюдет нужды населения. Население — десятки миллионов; «пишущей братии» — едва наберется несколько тысяч. Нельзя же тысячами закрыть миллионы, нельзя же нужде миллионов предпочесть удобства и

произволение этих немногих тысяч? Это умственная аристократия и прерогатива; но век аристократий и привилегий прошел. *Всё* подчинено и блюдетсЯ государством: подчинена и должна блюстисЯ и печать. Панама, подкупы, скупки печати — возможна. Она будет фиктивно свободна, свободная от министров. Но где гарантия и обеспечение ее внутренней свободы, — свободы от банков и банкиров, от синдикатов и трестов промышленности? от сословий и сильных классов? Здесь граница между «свободою» и «злоупотреблением» неуследима, неуловима, стусhevана и сперта. Наконец, можно быть «свободным» от приказания и свободным от подкупа: но есть столь же могучая и даже могущественнейшая власть гипноза, веяния, дружбы, симпатии, лести, рукоплескания. К «свободной печати» протянутся все руки, обратятся все души. А литераторы — народ впечатлительный. Разве же можно доверить капризы впечатления, вихрям впечатлительности «седьмую державу»?

Вопросы, на которые трудно что-нибудь определенно и решительно ответить. Увы, ответы так же колеблются и неуловимы, как и самые вопросы, и в зависимости от этого. Здесь мы вступаем в область *антиномий*. Можно и так решить, можно и этак решить, — и нельзя предвидеть и доказать, что такое-то решение будет истиннее и основательнее всех прочих. Положение печати оттого и зыбко, что решение о ней ни для кого не ясно и во всяком случае недоказуемо. И практика бредет, в сущности, на «авось» и на «ура»... — «Айда, дадим свободу!» Это — на «ура» бросаются вперед. Споткнулись. «Нет, надо осторожнее!» Фонаря ни у кого нет. Фонарь, кажется, по существу вещи здесь не существует.

Что же делать? Разобраться в мелочах. Разобраться в былом опыте.

Здесь торопливо хочется сказать об одном благоприятном в смысле свободы опыте ее, какой мы наблюдали от 1905 года и до «теперь». Опыт этот не отмечен, по крайней мере — не формулирован. Значение его, конечно, не вечно и не говорит о будущих временах. Заключается оно в следующем: с 1905 года с «дней свобод», мы пережили в беллетристике, и в стихах, и в публицистике (не политической) широкую проповедь разнузданности пола, невообразимое загрязнение литературы порнографиею. У П. А. Флоренского, автора классического труда «Столп и утверждение истины. Опыт православной теодицеи», ныне священника и редактора «Богословского вестника», я где-то прочел дальновидное определение этой порнографии. Он сказал, что, конечно, она не родилась в этот 1905 год, а существовала в нашем так называемом «образованном общест-

ве» если не всегда, то давно; но 1905—6 годы родили впервые условия и обстановку для ее выявления. Эти условия — новые условия печати и вместе «откровенная психология» тех и ближайших дней, тех и ближайших лет. И что же? Опыт решительно был благоприятен. Литература загрязнилась, но общество явно и ощутимо поздоровело. Известный К. Чуковский, довольно внимательно следящий за настроениями читающего общества и за итогами критики в журналистике, в одном из «новогодних обзоров» своих, приблизительно за 1909 или 1910 год, заметил: «В нынешнем году общество, читатели ненавидели текущую нашу литературу, — ненавидели и презирали то, что им предлагалось к чтению». Это были те годы, когда — памятно — многие отказывались «огулом» читать «новое», читать вообще что-либо из «поэтов-современников» и «беллетристов-современников». Произошла живительная реакция в пользу морального оздоровления. Но она произошла тем путем, каким спартанцы воспитывали в юношестве трезвость; именно они напоявали допьяна, до отвращения рабов, и вводили в толпу из трезвых юношей, которые через зрелище должны были научиться и действительно научились добродетели трезвого поведения и состояния. Но опыт удался, собственно, от двух причин: на самом деле и в глубине сердца своего инициаторы движения, большею частью молодые писатели и «начинающие беллетристы» (из них отметим одного, — так называемого «графа Алексея Толстого» — bis) не были развращены, они не были падшие, а были просто легкомысленные, легковверные и, самое большое, легконравые люди. Затем на самое общество, на читателей, эта волна грязной литературы хлынула слишком сразу, слишком вдруг и — огулила. Впечатление произошло, реакция произошла. Совершенно иное было бы действие, если бы порнография «просачивалась» в литературу мало-помалу: тогда она явно могла бы начать «подтачивать» нравы, «навевать» другую и худшую нравственность, чем крепкая стародедовская, в сущности — вечная и нужная, как выверил опыт веков.

Опыт этот, говоря я, удался; но он несколько не руководствен для будущих веков. Ни мало он не защищает благотворность абсолютной свободы печати...

Ах, литература, литература... Вспоминаешь, глядя на нее, изречение, которым Руссо начал своего «Эмиля»: «*Tout est bien, sortant des mains de l'Auteur des choses, tout dégèneré entre les mains de l'homme*»* «Эмиль» имеет подзаголовок: «de

* Все выходит хорошим из рук Мироздателя, все вырождается в руках человека (франц.).

L'education» — «о воспитании»: задача, которую, являясь «в обществе», имеет и «литература». Руссо говорит, что «рождаясь», каждая вещь «прекрасна», а «потом» почему-то все «портится». Почему? Как? Все младенцы прелестны; ну, а прелестны ли «люди», которые из них «выходят»? Тезис Руссо столько же философский, сколько и религиозный. Ведь то же говорит и Библия историей сотворения человека и последовавшей историей его грехопадения. Все, кто говорит об абсолютной свободе литературы, собственно имеют в виду ее невинное рождение, и вовсе как будто не замечают ее последующей истории. А «рождение»-то ее прекрасно, как рождение младенца: эти мудрые люди, или люди с особенным талантом, «даров богов», или, по-нашему, «с даром Божиим», кладут на бумагу таинственным образом вырастающие у них мысли, фантазии, драмы, мелодичные строфы стихов, образы женские и мужские, «идеалы», улучшенное, облитое мечтой и воображением... И через чудо техники, печать, назавтра становится это всем известно, все читают, думают о том же, мысленно спорят, мысленно благодарят. Все это похоже на волшебство, — все это какая-то чудесная сказка, — о котором, казалось бы, можно было мечтать только в золотом веке. И вот — она осуществилась.

— Шантажисты прессы... (эпизод из истории Панамы). Восклицание одного редактора на суде: — Позвольте, моя газета берет не «столько-то», а — «гораздо больше»: потому что она талантливая и с авторитетом...

Я помню впечатление в русском обществе по поводу тогдашнего разоблачения «шантажистов прессы», происшедшего впервые в истории. Пала какая-то на всех тоска. Что-то удушливое прошло... «Захватило горло», «нечем дышать». Ведь в сокровенной сущности вещей все общество рождает из себя литературу: и вот родитель — общество вздрогнуло: мой чудный младенец, о нем было столько радости — проворовался.

Да. Но «младенцу»-то теперь уже 26 лет, и он с бородой. «Рождение» было прекрасно, а человек вышел «кой-какой». Это уже не религия и мифология, а история. Это та грубая действительность, в которую мы просыпаемся от снов.

Что же делать? Судить по мелочам. Обсуждать рост и биографию обыкновенного человека. «Вообще» мы тут не можем дать «решения». Но размышляем о «деталях», можем кой-чем «помочь».

В следующий раз мы и войдем в эти детали.

ГОГОЛЬ И ПЕТРАРКА

...все это были перепевы Запада, перепевы Греции и Рима, но особенно Греции, и у Пушкина, и у Жуковского, и вообще «у всех *их*». Баратынский, Дельвиг, все «они». Даже Тютчев. Гоголь же показал «Матушку Натуру». Вот она какова — Русь; Гоголь и затем Некрасов.

О Гоголе: если принять во внимание, как он *любил Рим*, и влюбился в *него сразу*, с первого раза, с первого глаза: то отчего не понять, что он был вовсе не *русским обличителем*, а европейским; и, даже, что он был до известной степени — обличителем христианским, т. е. самого христианства. И тогда роль его вытекает совершенно иная, нежели *как я думал о нем* всю мою жизнь: роль Петrarки и творца языческого Renaissance'a.

«Вот что принес на землю Христос, каких Чичиковых, и Собакевичей, и Коробочек. Какое тупоумие и скудодушевность. Когда прежде была Аннунциата».

Аннунциата, как помнят читатели Гоголя — была *албанка*.

У Османа Нурри-бея, «младотурка», т. е. турка образованного, у которого я покупал древнегреческие монеты и который такими монетами обогащал и наш Эрмитаж, и British Museum, и Берлин, и Вену, жена была албанка-мусульманка, увиденная мною без покрывала, только один раз; я ее увидел в «Hotel Regina», когда случайно «не вовремя» зашел к Нурри-бею. Она была матовая, прекрасная, вся арийского, а не монгольского типа. На мое удивление ее красоте Нурри-бей мне объяснил, что «албанцы происходят от чистейших греков, не смешанных ни с носорылыми славянами, ни со скуластыми монголами». Гоголь несомненно видал албанок, и нарисованный им портрет Аннунциаты не ложен. И об

Аннунциатах он писал, как об Аннунциатах; о русских же писал, как написал.

В таком случае его выражение *«неча на зеркала пеняť, коли рожа крива»* приходится точь-в-точь.

Революция нам показала и душу русских мужиков, «дядю Митяя и дядю Миняя», и пахнущего Петрушку, и догадливого Селивана. Вообще — только Революция, и — впервые революция оправдала Гоголя.

Петрарка — пел Лауру. И мне мелькает мысль о сходстве исторической роли Гоголя с исторической ролью Петрарки. Оба они тяжелым вздохом вздохнули по античном мире. Просто — еще не понимая ничего, а только сравнивая красоту лиц. *«За лицом — душа: и неужели были хуже души греков и римлян за вот такими их лицами, нежели души Коробочек и Чичиковых за достаточно хорошо нам известными лицами этих наших современников»?..?..*

Спросили и умерли.

Или сошли с ума.

1918 г.

II. ПИСЬМА

К. Н. ЛЕОНТЬЕВУ

20 мая 1891 г.

Многоуважаемый и дорогой Константин Николаевич,

Благодарю Вас и за портрет Ваш (который очень хорош и характерен и значащ), и за письмо, и за вырезки из «Гражданина» Ваших «Записок Отшельника», и статью г. Южного (я ее действительно не знал, потому что «Гражданина» здесь никто не получает).

Если я Вам скажу, что я 1) хлопочу из всех сил о переводе меня из г. Ельца, в какое-нибудь другое место службы, 2) менее чем через месяц из холостого человека становлюсь семьянином и 3) что у нас еще экзамены, то Вы поймете, до чего я в хлопотах и озабочен, и, верно, простите краткость моего письма.

Все, что Вы пишете о судьбе своей как писателя, действительно характерно для «грамотократии» нашей: мало есть положений и мало родов деятельности, которые бы так расшатывали, обезличивали или искажали все устои индивидуального существования человека: его характер, его совесть будет состоять в восполнении этого недостатка. Сделаю Вам признание: мне теперь 37 лет, и я занят многими разными вопросами, но между 16 и 23 годами я не прочел ни одной книги и совершенно ни о чем не думал, кроме этой одной теории, — думал, просыпаясь даже ночью, сидя в гостях или обедая; а на 3-м курсе университета нашел ее разрешение. В своем роде это так же просто и всеобъемлюще, как Ваша теория триединого процесса развития. Но у меня одно несчастье: я не могу писать о том, что у меня разъяснилось и я *уже* пережил и решил; пишется лишь о том, что переживаешь теперь; прошлое скучно.

Книга «О понимании» вся вылилась из меня, когда, не предвидя возможности (досуга) сполна выразить свой взгляд, я при-

менил его к одной части — умственной деятельности человека. Утилитаризм ведь есть идея, что счастье есть цель человеческой жизни; я нашел иную цель, более естественную (соответствующую природе человека), более полную во всех отношениях, интимную и общественную.

Но я все еще не знаю о существовании Вашего «Востока, России и Славянства» и только дивился, почему современник Л. Толстого и участник Крымской войны, так любящий и так знающий литературу, так очевидно вдумывавшийся в то, во что другие никогда не вдумывались — так мало писал и так мало известен (я вовсе не из особливо-сведущих людей). И вдруг из одного фельетона Ю. Николаева узнаю, что у Вас есть какая-то книга «Византия и Славянство»: тотчас при оказии поручаю в Москве ее разыскать, а там после поисков по всем магазинам, наконец, дали два тома Ваших статей, где «Византизм и Славянство».

Я только что вернулся в Елец, а главное — расклеился в дороге, как Вы со своим милым Сотири (помните?) — и мне трудно писать. Скажу только, что Ваша теория прогресса и разложения (пневмония, как пример выздоровления или умирания, общая формула: прогресс — усложнение, умирание — упрощение, оправдание ее даже на развитии планет, подведение под эту формулу всей истории, взгляд на Революцию как на «открывшийся в Европе эгалитарный процесс», о 1000-летнем росте государств и проч.) — все меня поразило, все было ново и очевидно истинно («печальная и суровая наука»), и я до последней строки все принял в свой ум и сердце: потому что очевидно и много сердца Вы вложили во *все* свои писания. Все дальше было мне понятно в Вас: понятна любовь к Сотири и «липованам», понятно отвращение к Гладстону и *недалекому* Лессепсу, понятно все Ваше негодование, так великолепно выразившееся («не для того же Моисей всходил на Синай» и проч., «чтобы Гамбетты и Жюль Фавры высиживали свои яйца мещанского счастья», — это чудные слова). Не буду дальше говорить, потому что не в силах, но *как Вы себя любите и понимаете, так и я Вас не только уважаю, но и люблю и понимаю*, — все, все до последней мелочи, до раннего интереса к френологии, до отвращения к Оверу, любви к Бодянскому, до поездки к Смоленскому предводителю дворянства, до отсутствия всяких сантиментальностей по отношению к славянам; только больно, больно мне было, когда Вы говорили и о бессодержательности русской крови, но спасибо за слова «мы великий народ, это видно из самых отвратительных пороков наших» (только они не ясны, и уж как бы мне хотелось разгадать и недосказанное Вами).

Спасибо за письмо Ваше, я сохраню его как драгоценность; Вам трудно писать (сужу по почерку, и Вы стары), но всякую строку Вашу сохраню и приму в сердце свое: повторяю: я в Вас никогда не находил ошибки; о «трансцендентном эгоизме» и альтруизме, который приложится — тотчас же все понял и признал. Но Вы умеете очень кратко и много выражать; не оставьте меня этими краткими строками. Скажу только, я в высшей степени был подготовлен к принятию Ваших идей: читая Токвиля, я тоже больше всего поразился, что «все люди стали схожи между собой»; но не было у меня формулы, не видел я теории, это было единичное печальное наблюдение.

Крепко обнимаю Вас и целую, как только может хоть и усталый довольно, но молодой еще человек обнять и поцеловать старика, так много ему сказавшего.

*Ваш глубоко преданный
В. Розанов.*

П. П. ПЕРЦОВУ

<Конец декабря 1896>

Дорогой мой Петр Петрович! Все я понимаю, что Вы пишете, со всем даже согласен, но

*Video meliora proboque
Deteriora sequor...**

Увы, увы и увы...

Если Вы станете это клясти, я отвечу только: «такова судьба рода людского...»

Такова она — *после* падения!..

Еще Вы не знаете во мне сторону: вечный плач (т. е. моя «литература») и вечный гнев, плач о рае потерянном, гнев на юдоль холодную и неприютную, на «внешнее место», куда мы загнаны.

Отсюда — я не люблю Мережк., Чехова (откуда о *нем* Вы узнали мое отношение? я ничего не писал), Ницше: они воспели это «внешнее место», они едят в нем колбасу и зернистую икру в январе месяце, и думают, что это все, что нужно человеку... Ницше безумный смел написать: «Бог умер». И Бог, для него умерший, в нем сказался сумасшествием... Боже, до чего все ясно, до чего ясна история, до чего ясны судьбы человека.

* Благое вижу, хвалю, но к дурному влекусь (*лат.*) (*пер. С. Шервинского*).

Кстати: с Мережк. я на $1/2$ примирился, прочтя «Вечных спутников»: кой-что отлично; по выражению (мне кажется) все слабо, безвольно, простите за выражение — «импотентно», но есть почти высокие или во всяком случае замечательные мысли (про Петра и Пушкина и славянофильство; но лучше — «Дафнис и Хлоя»); но он вовсе не понимает, что Мар. Авр. был скудель всяческой ограниченности, что жена ему не напрасно рога наставила, и сын, при таком тошнотворном папаше, поневоле стал гладиатором.

Не наверно, но, может быть, 3-го приду; по правде — мне нравятся Вы, но вообще «литераторы» (= «крапивное семя» старомосковских времен) — я тем более их почему-то не люблю, чем страстнее и мучительнее (т. е. *malgré moi**) ушел в литературу.

Ваш В. Розанов.

Л. Н. ТОЛСТОМУ

<Июль — август 1898>

Глубокоуважаемый граф Лев Николаевич!

Так трудно ожидать от Вас ответа; так совестно Вас затруднять ответом; но так хочется от Вас ответа; да что ответ: хочется Вашего всемирного глагола, дабы приковать всемирное внимание к мучительнейшей на мой взгляд теме: как возможна стала в христианском мире проституция? как и почему *только* в этом одном мире она терпится? и то, чего с собою не допускает (говорили мне) цыганка, поклоняющаяся каким-то духам или звездам, позволяет (а иногда сама идет) христианка? Почему одно христианство не *расходится яростно* с проституцией, но допускает ее к совместительству с собою. Долгие годы об этом (именно, именно о проституции) продумав, я поколебался, окаянный, в самом христианстве: да ведь христианство есть плевание на пол как мерзость; чудно ли, что заплеванное так и имеет вид заплеванного, каковой вид мы и зрим в проституции?

По христианству *эта сторона* моей природы есть *гадкая* вещь, *свиной* остаток: и вот, занимаясь гражданством, я держу свинью на привязи до той минуты, пока веревка не рвется; тогда я иду и несу остаток в себе свиньи естественно в свиной хлев, т. е. дом терпимости. Вот логика уничижительного воззрения на свой пол, которая действуя $1\frac{1}{2}$ тысячи лет «искрес-

* Вопреки себе (*франц.*).

тила» нашу цивилизацию домами терпимости. Зная, что Вы много плакали и, так сказать, рыдали в сердце своем об этой стороне человеческой природы, осмеливаюсь спросить Вашего кратчайшего слова: не хожу ли я по краю бездны в своих уместованиях, или отчасти угадываю истину, начиная по стогнам и весям кричать «Осанна» полу? Простите вечно усталого и Вас чистосердечно любящего В. Розанова.

Сын Ваш, в возражении Вам, только в одном (мне думается) ошибся: он сказал — есть грех в поле; тут мы еще ничего не получим; нужно сгустить атмосферу: не только нет греха, но есть святость: а, это другое дело! тогда нельзя идти в дом терпимости, бегать от жены к горничной (или французенке) etc. На почве физиологии мы получаем смиренный умеренный гигиенический разврат; но только на почве «Осанна», т. е., казалось бы, падая в бездну, мы, напротив, и несемся ввысь к святому браку, к осторожности в браке, к сдержанности в браке. Простите, глубокоуважаемый Лев Николаевич, что я осмеливаюсь попросить у Вас праздного глагола на это сомнение, и не взыщите за несколько бессвязное письмо от очень, очень усталого и вечно усталого человека (непрерывное писание для существования с порядочной семьей и болеющей женой). Адрес для возможного ответа: Петербург, Петербургская сторона, Павловская улица, дом 2, кв. 24. Василью Васильевичу Розанову.

Но может быть Вы совершенно вышли из этого цикла идей; просто самая тема — стала для Вас отвратительна; новые воззрения, чистая духовность овладела Вами (о, да почему же матерная улыбка над младенцем не «чистая духовность» никогда не мог понять) — тогда ничего мне не пишете. Я всю зиму об этой теме спорил с С. А. Рачинским, но ему *противна* эта тема — и он в ней ничего (по-моему) не понимает: брак и «тайнство», по его содержанию, «одному у него с суррогатами брака» (его слова) — «гадкое». Ну, тогда ничего не понятно, и не понятно, как церковь «свиней» повела к венцу *ad* и *ante** свинейших секунд. По-моему христианство *вовсе не вдумывалось* в эти темы и само широко и свободно раскинулось (аскезис) именно в меру того, как боязливо притаившийся пол пустил его. Я, окаянный, собираюсь поселить его назад: иначе человечество сгниет в сифилисе, этой специально христианской болезни, и это христиане вместе с водкою несут желтой, красной и черной расе.

* К и до (лат.).

<Март 1899>

Глубокоуважаемый Антон Павлович!

Прежде всего считаю долгом принести Вам извинения за неосторожность, которую я допустил в отношении к Вам: поручил Кон. Сем. Тычинкину передать Вам мою просьбу относительно древнегреческих монет в Ялте. Я должен был сам написать Вам: но уже разговаривая с Кон. Сем. и случайно увидя на столе у него Ваше **открытое** письмо, я заинтересовался автором и попросил позволения прочесть. Вот нескромность, которая лежит в основе моей неуместной просьбы: простота тона Вашего письма-записочки так удивила меня, что я **сгоряча** сказал Кон. Сем. о моем нетерпеливом желании насчет монет; потом — взял назад свою просьбу, все опасаясь, что она Вас, в такой форме, т. е. через третье лицо, оскорбит: но тут уже он меня стал разубеждать, говоря о Вашем прекрасном и мягком характере. Так и пошло все «в Ялту»...

Извините за эту ленивость, позволяю себе обратиться к Вам с более важною просьбою. При «Торгово-Промышленной газете» открылись литературные приложения, первый образец которых позволяю себе предложить Вашему вниманию. Организация этого дела поручена мне. Цель — чисто воспитательная. Было бы горячо желательно что-нибудь получить от Вас, на условиях, какие Вы назначите. Знаю, как мало и редко Вы пишете; с глубокою скорбью слышу о Вашей болезни; горячо желаю Вам сил, не как уже писателю, но «как брату моему» в обще-«человеческих немощах». Не смею ничего Вам советовать, но ведь так богаты средства медицины в наше время, почти неистощимы: все ли Вы истощили? нет ли небрежности, этой смеси и страха и нерешимости, которая так часто губит больных, удерживая их вдали от докторов? Пошли Вам Бог исцеления и бодрой надежды.

Может быть, однако, у Вас есть **что-нибудь**, что Вы держите в столе, в неясной нерешимости, печатать или нет. Ваше произведение было бы нам крайне дорого. На всякий случай, для возможного приветливого ответа, позволю себе дать мой адрес.

Искренне Вам преданный

В. Розанов.

Адрес:
Петербург, Петербургская сторона,
Павловская улица, дом 2, кв. 24
Василий Васильевич Розанов.

В. Я. БРЮСОВУ

<20 октября 1901>

Многоуважаемый Валерий Яковлевич!

Рад был получить от Вас весточку. Я уже с 1-го июня в Петербурге, а когда уезжал — здесь оставалась 18-летняя дочь и полное хозяйство (С.-Петербург, Шпалерная, д. 39, кв. 4).— В свое время я на Вас попенял, что Вы не выслали мне экземпляра «Северных цветов», так что прождав недели 2 по выходе я обратился на Невский и купил экз. у Суворина, что было мне обидно.— Что касается гонорара, то буду благодарен, если Вы его вышлете (Шпалерная, д. 39), хотя посылая Вам статью я думал, что это — бесплатно.— Мне говорили в «Мире искусства», что «Сев. цветы» совсем не разошлись, что-то около 100 экз. всего продано и это не только больно, но и удивительно в виду того, что писали о них так много. На будущий год надо будет составить сборник осторожнее. Уведомьте меня, когда срок **присылки** Вам статей и когда срок выхода Вашего сборника: я постараюсь Вам прислать что-нибудь серьезное. Ну, будьте здоровы и трудитесь бодро. Вы потеряли хорошего друга в «мудром дитяти». Это всегда больно. Но друзей надо помнить — это связывает что-то в нас даже и заочно, по ту светно. Мы «оттуда» приходим, но и постоянно какая-то нас часть живет «там»: точно там ведутся нам послужные списки,— вообще есть какая-то о нас переписка, мысль, надзор, когда мы ходим и делаем свои дела здесь, в нижнем этаже вселенной.

Ваш преданный В. Розанов.

В. Я. БРЮСОВУ

<6 апреля 1904>

Дорогой Валерий Яковлевич! Напечатайте, если Вас не затруднит, в ближайшем № «Весов» — «Комментарий по одному стихотворению Лермонтова»: это — важно для реабилитации и **объяснения** моих статей о поле, т. е. важно, чтобы поскорее появилось. Это — лучший ответ Стародуму. Вам бы надо его еще выручить. Это — 7-ми вершковая лошадь, Стечкин.

Ваш преданный В. Розанов.

<Конец мая 1904>

Должен перед Вами извиниться, дорогой Алексей Сергеевич, что так поздно Вам отвечаю: я был уверен, что Вы не в имении своем, а где-то в Москве, ибо в редакции мне сказали, что «папаша вызвал в Москву Бориса Алексеевича по телефону». — Спасибо Вам от всей души за предложение мне, на летнее время, критического фельетона по пятницам. Постараюсь. А как будет старание — увидите.

Русскую литературу, при всех ее «текущих недостатках», я очень люблю. В разные времена жизни я верил или пытался верить в разные стороны нашей жизни: то — в государство, то — в церковь. А кончил, казалось бы, самой вульгарной верой — в литературу. Главное тут меня трогает ее *старательность*: чего-чего она *не видит*, о чем только — не заботится? Это в сущности превосходный штат не нанятых чиновников. Первородный ее грех — самолюбивость, самолюбие, — но и тот парализуется безвредностью этих самолюбий, которые у всех на виду вызывают на смех, а *ядовитого вреда* не приносят.

Итак, вне этого первородного греха, притом не вовсе всем присущего, она есть вполне нравственное явление, и вот это всего более к ней привлекает. И притом нравственное — без ханжества, без подхалимства, а просто *на самой работе и вследствие работы*. Вот отчего литература заняла такое огромное место в жизни Европы, и хотя «г. г. литераторы» не в ризах, а в сущности священники. Прочел в воспоминаниях Фаресова о Лескове его (Л-ва) горячий отзыв о Вашем, очевидно, стародавнем новогоднем рассказе, как г-жа NN, в кою влюблен полковник, принимает к себе на ночь любовника-офицера, а ночью возвращается ее муж, она любовника спрятала в трюмо и он задохся. Об этом знает лакей — и навязывается уже насильно (шантаж) ей в любовники. Ужасное положение, и возможное. Лесков говорил, что знал такой случай в Орловской губернии, где барыня, через узнание ее тайны, попала в руки конюха, и сошла с ума: она все бедная мылась, боясь, что от нее лошадиным потом пахнет. Какие бывают истории! Ну, дорогой, отдыхайте на даче. Особенно сюда не торопитесь: копите силы на зиму. Ведь Вы «Маленькими письмами» за войну тысячи гонорару заработали. Кстати, до чего, я думаю, *технически неловко*, что Вы за статьи свои гонорара не получаете: прямо *неудобно* работать. Я бы на Вашем месте завел особую графу хозяйства. Ведь имеет же свое хозяйство у Вас типография, из-

дание, газета, магазин. И для литературы бы тоже. — Ну, про-
стите за шутку:

Как уст румяных без улыбки
и проч.

Крепко жму руку.

Ваш В. Розанов.

МАКСИМУ ГОРЬКОМУ

<После 4 ноября 1905>

Спасибо, что ответили, уже перестал ждать: и только мучил-
ся: зачем я в такое занятое время написал занятому человеку
такое неуместное письмо с глупым вопросом: «рассудите меня,
помогите мне понять меня самого». — Ну, вот, дочитал письмо
до конца: вижу и Вы это заметили: «кровь льется кругом, а вы
пишете — о себе». Но то был порыв и собственно давний
порыв — написать Вам, и даже писать Вам (т. е. иногда),
хотя бы и не дожидаясь ответа (Вы заняты: и на молчание я
ни мало не рассержусь, раз зная общее доброе отношение ко
мне).

«Красиво погибнуть на глазах народа и за народ» — разве
я не знаю тайны этой?

Конечно — это и значит взойти на Небо и стать вечным, как
делали древние полубоги.

Вы лирик («Песня о соколе», да и все), у Вас есть мечта и
способность мечты — потерянная почти всем миром и от потери
которой он, собственно, и стал «мещанством». Знаете, даже Тол-
стой больше «мудрит», больше «сознательно ведет толпу, к чему
ему хочется», нежели поет песню* т. е. то, что теперь более
всего нужно миру и чего более всего миру недостает. Письмо
Ваше ужасно многое в Вас мне объяснило, именно объяснило
тот героический момент, который Вы очевидно играете, создаете,
делаете в истории; его возбуждаете в других, ибо его имеете в
себе. Дураки называли это «романтизмом», когда это «в самом де-
ле»: а когда это «в самом деле» — то ведь больше миру ничего
и не нужно.

Ну, я Вам скажу на это вот что: у меня 5 детишек, между
4 и 10-ю годами, семья склеенная незаконно (тайный брак, 1-ая
жена меня оставила в 1886 году и жива, вторая — всю себя

* <Сбоку на полях примечание Розанова> Тут я не разумею тепереш-
них поэтов, которые пишут стихи, а не поют песню: песня — душа века, но
лучшая, плачущая о себе или над собою.

положила для меня): стало быть это *абсолютные сироты* без меня, умру я — и они (4 дочери) — через 10 лет в «% проституции».

Я когда об этом Влад. Соловьеву (т. е. что дочери будут, верно, по полной необеспеченности, проститутками) написал, — то он перешел к «другим философским темам», просто не интересуясь кровью и жизнью, и я тотчас, не за себя, а как бы за мир — почувствовал к нему презрение, и это было *настоящей* причиною, что мы вторично «сатирически» разошлись. Может это я и лишнее пишу, но не лишнее будет в том смысле, что Вы поймете, до чего мне понятно соотношение между свиньей, собакой и мальчиком. Да, это так: свинья ела науку, философию, стихи, «театр и искусство» — и в сущности ничего этого ей и не надо даже было, это охорашивало ее хлев и реабилитировало ее свиную душу. «Тоже искусством занимаемся и музам покровительствуем», «эпоха Медичи, эпоха Перикла, и мы». Все это понятно. И в смысле человеческого состава — не имеем мы читателя, не имеем публики. Кстати: я был в «На дне», в Худож. театре в Москве: вижу в антракте господ в смокингах (особенно шикарный костюм) и моноклях, ажитируют: «нет, вы видели? Это — ужас! Никто этих типов не предполагал! М. Горький открыл. Ведь это — уже не люди». Я подумал: «и что Вам Гекуба, и М. Горький, и дно».

Да, теперь все поднялось. Не думайте, что я не вижу, не понимаю. Эх, стар я, 50 лет, да и всегда был лежебока-созерцатель; смотрел на людей, *мечтал, тоже ужасно мечтал*, если хотите — мечтал даже и о волжских лесах (я родился на Волге), и о доброй барочке, *своей*, «со товарищи» — а прожил байбаком, увальнем, мечты перешли в теоретизированье, в муку с вопросами, в борьбу — с идеями, и на это все ухлопалось.

Нельзя говорить, не пощупав шкуры друг друга: посему Вам скажу кратко, что детство мое все прошло в страшной, почти неслыханной бедности: мамаша 2 последние года не поднималась с постели, «работников» был почти что я «главный», днями ели печеный лук (до чего сладок) — и обычно меня посылали в лавочку купить на 1 коп. хлеба (т. е. 1 к. и была в доме) — и это была страшная мука самолюбия. Так что я эту «оперу» прошел. И след. Вас и все Ваше понимаю, равно как и Вы не должны меня считать «чужаком».

Но — мечтатель, лентяй и (от того, что дети? от того, что вечный умственный труд?) *физически трусливый человек*. Не то, чтобы прямо и отчетливо: а просто, никогда не хворав, не выношу и прихожу в бешенство даже от головной боли, об опе-

рации и подумать не могу (бедная жена моя 3 раза ее выносила), смерти вовсе не боюсь — а быть зарезанным на улице черносотенниками — ну, просто не умею этого представить.

Но все я пишу о себе, а ведь нужно писать о мире. Сшиблись грудь с грудью весь русский идеализм, — который теперь только обнаружил свои маленькие размеры, в смысле человеческого состава, — и последний цинизм. Вот уж судьба! Рок, *fatum*! Нельзя было предвидеть в 1903 году. Михайловский-то умер: вот бы посмотрел. Да и все, милые, сошли скорбные в могилу без *всяких надежд* или с какими-то тусклыми, не верными, робкими. Знаете ли, до чего разрослось движение: сегодня за обеим 2 дочери *из приготовительного класса гимназии Стоюниной* говорят: «а к нам подошли девочки (т. е. подружки *приготовишки*) и спрашивают: «вы (т. е. Розановы) за кого — за рабочих или за царя?» (каково разделение?!)— «Ну, за кого же вы?» — «Конечно, за рабочих»;— «А ты?» (сын 5—6 лет): «я за царя». Ну, подумайте. И девчонки что-то понимают, не так сболтнули: верно думают: «рабочие — это бедные, царь — богач; мы за рабочих».

Так что теперешнее движение абсолютно объемлет всю Россию. Это не бывало. Революции, кроме, может быть, 1-й французской, совершались в городе и городом, столицей, «группами» жителей, но не страну в ее составе. Это удивительно и ново.

«Пролетарий» — хорошо. Я бы только лучше писал и говорил на митингах: «бедняки», «не имущие», или просто: «рабочие». Ведь должны понимать безграмотные, дети, деревенские бабы. Ведь не со «словарем русско-иностранных слов» им ходить на митинги. Раз встал весь народ или вот-вот встанет, должно быть все «по-русски».

Удивительное явление, удивительные события. Раз 2 рабочих наборщиков (1-я забастовка, около 12 октября) *переспорили* всех видных сотрудников «Нов. Вр». (Гольштейн, Меньшиков, Столыпин, Пиленко), отстаивая право наборщиков «не набирать лживых статей». Жена, заехавшая случайно в редакцию и из прихожей слушавшая этот спор, шедший в коридорчике, сказала мне: «как мне тебя жаль, В., ты действительно работаешь среди сволочи, людей лживых и циничных до мозга костей». Сотрудники рабочим говорили: «да неужели же вы будете нашими цензорами». Те ответили: «цензорами вашими мы не хотим быть, а когда 9-го января нам прислали вечером и днем одни статьи с описанием событий, а потом ночью набор этот был уничтожен, и нам прислали другие статьи с полными описаниями, где все было скрыто и замазано — то мы вправе

не набирать такой фальшивой газеты или вот таких фальшивых номеров». Речь прямая и мужественная.

Ну, да это Вам известно лучше меня.

Задача мира воспринять мечту. Мечта не есть фантазия. Не есть роман. Мне думается иногда, что Бог сотворил *сперва мечту* и потом человека: так что она древнее даже и человека, и хоть забывается иногда, способность ее теряется на века: но никогда не окончательно, и, когда она будится — все ее понимают как что-то совершенно родное, всем близкое, *всем сразу понятное* — и идут за ней, как за «старой бабушкой» младенцы. Мечта — это и красота («лучше сгореть на костре, чем утонуть в помойной яме» — в Вашем письме), и истина, и справедливость, — доброта. Как хорошо, что у Вас есть тоска ее. Даже больше — что есть способность ее, есть она уже воочию. Это и есть «звезда над вами», мой друг — уж простите за фамильярность. И не гасите ее, ищите ее, еще ярче ее зажигайте.

Понятны мне (и тоже не умею выполнить) и слова Ваши: «Правда — проста, все великое — просто, народ — прост как небо; с ним нужно говорить хорошими, твердыми словами» и пр. Знаете: *другим* я это самое говорил: «нельзя быть мудрым без простоты, все, что не просто — еще не зрело, оно и вздорно и ненужно». А сам не умею выполнить. И от того, что жизнь моя до известной степени прошла в хитрости, в обмане: был я всегда страшно придавлен, надо мной всегда были «*у* — какие большие», которые меня всегда могли раздавить мизинцем, и я с детства, страшно раннего, приучился *бояться, ненавидеть и скрываться* — и, вероятно, это передалось в психику и затем в слог. Даже в ход мысли. Такой «шаг» выработался, увертка.

Мне ведь не жаль, что я не имею славы. Стар и ленив для нее. Меня мучит, что *лучшим людям я не нужен*. И не то, чтобы они «не узнают меня, не полюбят» (тут есть грусть, но не огромная): а что я *им-то не нужен, ничего им в кошель не положил, хотя явно мог бы*. Это черт знает что такое случилось! Я думаю — не бывало ни с одним писателем. Где я ни писал («Моск. Вед.», «Русск. Вестн.», «Русск. Обозр.», «Нов. Вр.»; только *условно и частью* любил «Нов. Путь»), я решительно ненавидел и презирал те журналы, в которых писал, и редактора и всех сотрудников, буквально сытых и посмеивающихся. Из «Н. Вр.» я порывался выйти, особенно когда наступили «события». Там меня связывает только сам Суворин: тут тоже пожалуй слабость: старик меня любит (он далеко не всех, или скорее почти всех своих сотрудников не уважает), и это вызывает во мне не то что любовь, но очень ласковое к нему чувство. Он не видел студенчества и образованных рабочих, не был в университете, лите-

ратуру воспринимал больше со стороны эстетической, историю — со стороны «Минина и Пожарского» — и абсолютно ничего не понимает в движении, «не может поверить» ничему, хотя я и говорю ему. Для него все это «жиды, негодяи и властолюбцы». И именно он мечте-то не верит.

Ваш В. Розанов.

Еще раз спасибо за ответ. Он таков, что я позволю себе еще писать. Может, когда и свидимся. Дайте знать, когда приедете в Петербург — приду.

В. Г. КОРОЛЕНКО

<5—7 апреля 1906>

Милостивый государь, Владимир Галактионович,

Не можете ли Вы мне помочь — советом, указанием, готовностью, мотивированным отказом? — в затруднении, в котором сам я никак не найдусь и даже не понимаю, что мне нужно делать или что можно сделать. Написал я статью: «Ослабнувший фетиш», — думаю — ни для кого не оскорбительную, где выясняю историко-философски, что не содержится никакой *личной*, так сказать *фамильной*, какого-нибудь студента, учителя, латыша и пр. вины в *ослабленности* у него личного чувства Государя как личности и должности — ибо это есть *мировой факт*, как перемена климата в стране, как высыхание больших озер в Азии и проч.: а за *общее не судят*. Мне думается, этому мировому течению до того все подчинены, что Государь сам не имеет того *само-ощущения* как Александр I, Николай I, даже Александр II, в коих «фетиш» был еще очень силен и это был просто *факт*, которого теперь нет. Как сердиться за ливень улице — за туман на улице или за ясную погоду?! А у нас судят, судятся. Все это, мне кажется, у меня сказалось хорошо, т. е. с убеждением и увлечением, так что, писавши, я подумал: «это бы Государю надо прочесть, и тогда он сам перестал бы сердиться за ослабление у нас всех монархических чувств». Словом, рассуждения бывают удачные и не удачные, но это *вышло* (удача, без всякой моей натуги) удачно. — Предложил я его в «Полярную звезду», и оно было уже после кой-каких колебаний принято: но сегодня получаю статью обратно с уведомлением, что они боятся вновь потерять право издания, претерпевши за статью Штильмана на ту же тему, на какую написана моя статья.

И вот я прибегаю к автору «Слепого музыканта» и «В дурном обществе», зная, что нашлось у него местечко для пана Тыбурцыя — найдется и для недоумевающего литератора —

ответить: как поступить? Ничего нет тяжелее как устраивать свои статьи. То — непонимание, то — равнодушие. Ведь у меня музыка-то вышла: а как и где ее играть? Была мысль послать или в «Русскую мысль» или к Вам («Рус. бог.»). Все литераторы нетерпеливы — и пишу Вам. Конечно, у Вас 1 000 дел. Но у кого их мало? И все же помогать мы друг другу должны? Если бы Вы согласились прочесть? Еще лучше — напечатать? Будьте добры ответить Вашему покорному слуге Василию Васильевичу Розанову, С.-Петербург, Шпалерная ул., д. 39, кв. 4.

С почтением
В. Розанов.

А. А. БЛОКУ

<Получено 19 февраля 1909>

Дорогой и, конечно — по-прежнему милый Александр Александрович! Спасибо Вам за письмо. Понимаю Ваше чувство *кровной* интеллигентности (хотя ведь интеллигентность *именно не кровная* — у большинства, у 90% интеллигенции), и она, т. е. всякие негодования на сабли, палки и попов имеют* свое основание; *хотя имеет основание* и старик, плачущий о том, что не будет «пьяненьких попов». Знаете ли, вот если бы 2 эти интеллигентности слились — Русь была бы велика; но худо, что даже *кровная* интеллигентность не понимает плачущего мужика, что она даже в христианоκραтических (хор. смысле) представителях не постигает тючевских «бедных селений», — и тогда *оскорбленный* народ (не всегда, но иногда) берет дубье и начинает погром. В «погроме» конечно есть 99% *злодеяния*, идут мясники и плуты, идут обиженные конкуренцией торгаши, но 1% есть и оскорбленной народной святыни, настоящее. Плачущий старик, ну хоть у гроба Иоан. Кронштадтского, — пусть весь он полон «суеверия и непонимания» — есть столь же прекрасное, благородное и *вековечное* явление, как Ваш дед Бегетов. Почему им не обняться?! Да, почему, что мешает?! Загадка всей русской истории. А если бы она разрешилась, не было бы более ни революции, ни реакции. Соглашаюсь с Вами о смертной казни; мой милый, неужели Вы не видите софизма в душе Вашей, что бомба — *решительно Вам не отвратительна*. И след., что тут не «кровь» в Вас говорит: «не убий», а разум — всегда плутига-разум подсказывающий: «перевешать надо

* Написано почти несомненно имеют, а не имеет. (Примеч. А. Блока.)

правительство, и *за то, что оно вешает*». Но ведь это — предлог («что оно вешает»), а в сущности, просто хочется повесить. И вот тут зарыт в нас древний Каин, это древнее — «дай полизать крови», от которого (по-моему) люди только и отделялись древними жертвоприношениями. А исчезли они, исчезло (сравнительно) кроткое язычество и начались пытки, костры, гильотина и, в общем, христианско-евхаристическое («бескровная жертва»): «дай полизать крови» (ибо ее не имеем даже — хотя бы в жертвоприношениях).

Все это противно, и для меня революция так же противна, как «сабли наголо» и жандармы, а «пропагандист с книжками» ничуть не милее дьячка с «Господи помилуй».

Но всего не переговорим. Мне только захотелось Вам это сказать, чтобы Вы почувствовали (и я думаю Вы чувствовали), что ничего у меня к Вам не изменилось. Мне враждебен не столько идейный поворот рел.-фил. собрания (хотя и он враждебен), сколько измена Мережковских тому духу товарищества*, какой был с 1902—1903 г. и с каким *все было начато*. Товарищество сие не цветок, какой на земле не часто попадает, и его надо беречь и культивировать, — это *цивилизация***, это — настоящее... «Не выдам товарища» — это столб цивилизации. Вообще жизнь ужасно бедна *настоящим*, и настоящая культура и начатки культуры и состоит в страшно бережном отношении ко всему настоящему. Дорогой мой, что же это за цыганство и что же за лакейство, что за «российский нигилизм» (не лучше Пуришкевича), приехав из Парижа, где они жали руку «может быть самому Азефу» (еще тогда «террористу»), *сказать В С Е Р Д Ц Е С В О Е М* «Теперь мы довольно высоко поднялись, нас все читают, романы идут, Пирожков торгует, на лекции сбегаются: *все это пойдет еще лучше*, если мы оттолкнем синодского чиновника Тернавцева и нововременца Розанова, которые решительно нас компрометируют». Дорогой мой: это такое мировое лакейство так думать, после тех «лежаний»*** и «сидений» и «чаераспиваний» 1902—1903 г., и все время *до* и потом долго *после*, «сидений» и «лежаний», которые, может быть, были лучшим культурным русским явлением за 10 лет, ибо это были *дружба настоящая*, простая, ясная, *глубоко скромная*, и проч., и проч., и проч.! — все это

* Удивительно, что В. В. произносит *это* слово. (Примеч. А. Блока.)

** Из предыдущего и последующего ясно, что В. В. говорит о *культуре*. Слова «цивилизация» и «культура» вообще различались у нас не строго; некоторые, как напр. П. Л. Лавров, потреблял их наоборот. (Примеч. А. Блока.)

*** Очевидно, в смысле «лежания» в Америке Шатова и Кириллова. (Примеч. А. Блока.)

ужасно, все это смесь Смердякова с Каинством. И все это в качестве «предисловия» к выступлению на религиозную проповедь. Можете ли себе представить Иоанна Крестителя, который перед тем, как загреметь о «дереве, корень которого срубает секира» — целую ночь играл в крапленые карты и «подсидел приятелей». Уверен, что все это идет не от Д. С., а от «переумничавшей» (и по сему попавшей в «дуры») Зин. Ник. Ну, Бог с ними. Ваш искренний *В. Розанов*.

МАКСИМУ ГОРЬКОМУ

<Июнь 1911>

Нет, наш славный Massimo Gorki — мне «не лень» похлопотать для Вас, и все сделаю с особым удовольствием. Пока — у букинистов не нашел, да и безнадежно у них искать: ничего «духовного», только «роман — прежних лет». «Обыкновенное русское». Через неделю, когда буду в Питере, наведу справки еще в одном магазине, а затем у одного друга, и затем, когда везде получу «нет», то уже *во всяком случае* получу книгу из библиотеки СПб. Духовной Академии, но это лишь — увы, к 1-му сентября, ибо сейчас все там в разъезде и Академия пуста. Боюсь, что Вам *нетерпеливо* и *сейчас нужна* книга, для справок, для работы. Если же это вообще — интерес и изучение, тогда конечно можно терпеть до сентября.

И у меня Ваше *прекрасное* письмо хранится... Ниже можете не читать, ибо я «по разврату писателя» вступаю в литературу: ну бы ее к черту, литературу, так она ложна, притворна, лезет с поучениями (ведь *сам* всякий должен быть умен), и остался бы только прекраснейший отдел литературы: просто — письма простых людей, ну — переписка писателей, «о том о сем, что видел», да «что думается». Дальше еще хуже, пожалуй, не читайте: получив Ваше письмо и бродя по букинистам, думал о Вас, о судьбе Вашей. Осторожно скажу так: Ваша натура — боевая; положение (с детства) — в протест; и пока Вы были «протестующий» — «натура» и говорила золотые слова. Что же случилось потом, далее: ведь острая и ядовитая борьба всегда не против «журавля в небе», а против «клопа, который кусает в постели», против соседа, ближнего. Вас подняла «с.-д.», — и понесла на плечах. Она создала Вам триумф: и, когда вместо «клоповника» Вы очутились «в меду», естественно иссякла сила Вашего голоса, ибо *исчезла острота муки, позор вчерашнего дня* (социальный) и проч. Ах, оковы и тюрьма золотое условие для песни: а «Сарданопалы» когда же были поэтами? Уверен, будь

с<оциал-> д<емокра>тия «унижена, оплевана и отвергнута» — она говорила бы могучие слова могучим языком: но когда (слыхал я) «княгиня Барятинская (она же Яворская) с аршинным шелковым хвостом, придя к Минским, заявила, садясь на стул к кофею, что иначе как на экспроприации всех имуществ и на соц.-дем. республике — она *не помирится*», то я вдруг почувствовал желание обратиться в мышь и убежать под пол... Ну, да все это известно.

Ваш В. Розанов.

МАКСИМУ ГОРЬКОМУ

<Июль — август 1911>

Все Вам вышло, милый Алексей Максимович, — только обождите: очень занят. Деньги все получил. Спасибо. Пришлите мне список 385 страницы из «Иринея» (о кровотоочивой женщине): я раскрыл случайно прочел. Господи, какая ерунда! Даже в газетах такого не печатают. А именуется: «Отец и учитель Церкви».

Но не в «Иринеях» дело, и Вы не проморгайте. Все «Иринеи» могут врать: а «церковь» (с которой я воюю всю жизнь), будучи с *одной стороны* ненавидима и ненавистна — с *другой* — *единственно* почти теперь интересное на земле. Куда интереснее социал-демократии и даже — кто знает — мож. быть, всего русского народа. Каким образом «такая глупая старуха», т. е. церковь, — интереснее «молодух» (соц. демократии и народа) — это почти невозможно постигнуть, понять и растолковать. Иной раз встретишь на улице старуху беззубую: только шамкает... Но смотрите на нее долго, пойдете за нею в избушку, вслушайтесь в ее «бормотанье»... и увидите что-то, постигнете что-то, *узнаете* что-то *новое*, чего с «девицами» не узнаешь, не постигнешь.

Я вот «век борюсь» с церковью, «век учусь» у церкви; проклинаю — а вместе *только ее и благословляю*. Просто черт знает что. Голова кружится... Бездонно все; глупо (Иринеи) и бездонно. Злоупотребительно — и только одно народу и нужно.

Тут домовый
Тут леший бродит
Русалка на ветвях сидит.

В книгах моих, в «Темном Лике», прочтите хоть 1 статью со вниманием «Русские могилы». Из этого Вы увидите, как я умею отрицать и ненавидеть: а вот интимно говорю — люблю.

И, может, только до завтра люблю: а завтра буду клясть.
Мало Вы мне пишете и я сержусь. «Что я корреспондент
что ли какой: я — Розанов». Ну, посмейтесь и забудьте.

В. Розанов.

МАКСИМУ ГОРЬКОМУ

<Конец 1911>

Дорогой и милый Massimo!

Я Вам не писал, п. ч. очень замотался, и... зачерносотенни-
чался. Мне ужасно было бы печально, если б именно Вы на
меня обозлились за это: т. е. *злиться* можно, *ругать* тоже мож-
но: но не *отпадайте* в душе. Я Вас полюбил за простоту, за ум,
за *нехвастовство* (теперь все писатели хвастунишки). А что я
чernosотенничаю иногда, то ведь все мы «бароны»: Все *чернень-*
кие, все скачем...

Ох, вот я устал как черт. Пришлите монеты с каким-нибудь
конспиративным эс-деком. Интересно посмотреть, и, м. б., Вы
штук 10 подарите «брату по перу». А так, указывать в тем-
ную — невозможно. У меня римских 1 300. Греческих 4 500.
Больше, чем есть в Московском университете (150 лет собира-
ли дураки и меньше моего собрали!!!).

Как бы нам надо быть знакомыми, и давно. И черт знает
отчего не познакомились. Как дураки.

Вы мне иногда пишете. Только побольше. Я чувствую что-то
нужное для своей души в тоне Ваших писем*, в самых мыслях.
«Род — на род — народ» — хорошо. Это большая философия.
Это пожалуй «еще церковь» и действительно Вавилонская
башня.

В письмах не договоримся. Устно бы столковались. Угораз-
дил Вас на Капри. И смешно, и вредно.

Ужасно устал.

В. Розанов.

!! Пишите же!!

* Он всегда правдивый и прямой. Без «литературы» — ну ее к..... матери, выругаюсь я. «Со dna» (ужасно мне нравится, *не всем*, но некоторыми сто-
ронами, и, главное, языком). Барон изумителен. Только проститутки, я думаю,
не такие, как Вы описываете. Я кое-что наблюдал: много удивительного.
Удивили, между прочим, меня честностью и правдивостью. Куда выше про-
фессоров, да и писателей в большинстве.

<3—6 марта 1912>

Почему я стал консерватором?

Не дочитал еще, но прочел три столбца 2-ой статьи «О современности» и точно кровь каплет из сердца при чтении каждой строки...

Знаете ли вы жизнь Страхова Н. Н.? И знаете ли вы жизнь Кон. Леонтьева? Первый читал по-латыни, гречески, французски и немецки, и был *специалистом* по философии, по биологии и по физике. Стахеев мне передавал: — «Бывало придешь к нему — и он скажет: дайте 1 р., я пошлю за чаем. У меня нет: а вы гость — и я вас должен напоить».

Когда я его спросил об этом, Страхов ответил:

— Ну, да! Я люблю Россию, и мне писать было *негде*; я жил переводами, перевел «Историю философии» Куно-Фишера, переводил Тэна и проч. На обед и квартиру хватало, а на чай — не всегда.

Такова же была и жизнь Конст. Леонтьева: и его журналистика также «казнила и погребала», просто от того, что он не отрекся от России и не побежал за немецко-еврейской социал-демократией.

А вы пишете, что «страдальцами» были Щедрин и Михайловский. Полноте: стоит какой-то *ужас обмана*, и вы Бог знает зачем с свободной душой и с биографией человека из народа, поплелись за колесницей, которая давила и давит все бедное, все гордое, все честное, все не сдававшееся. Каткова я исключаю: он — не знаю «кому брат», но он не наш, не мы. Я говорю о Гилярове-Платонове, Страхове, Кон. Леонтьеве (почти и только!), о Говорухе-Отроке... Скажите, какие «несчастенькие» эти Михайловский, у ног которого была вся Россия, и Щедрин, которого косого взгляда трепетал Лорис-Меликов.

Да вы поглядите, как Философов (сын тайного советника и главного военного прокурора) и Мережковский (его отец был *придворным*) перекинулись в социалистов, зная, что только *тут успех*, и, что *не будучи социалистом*, русский писатель подохнет с голоду, *если он не в «Нов. Вр.»* Мережковский несколько раз просил меня устроить ему свидание с стариком Сувориным, «хоть на $\frac{1}{2}$ часа», но я, зная отвращение Суворина к декадентам и неуважение специально к Мережковскому, как неумному человеку, и к Философову за его «мужелюбивые» наклонности — не хлопотал о свидании, зная, что ничего не выйдет. Хотя *лично* мне было бы в высшей степени приятно

и практически полезно, если б в редакц. «Нов. Вр.» вошли эти друзья мои. Это было в 1902—1905 гг.

Тогда, зная, что «или *Нов. Время* или *умри с голоду, если не социалист*» — они перешли в социализм.

Нет, Алексей Максимович: вы — мечтатель, вы — сновидец (для литератора это и отлично) и не знаете *истории русской литературы*, не знаете *судьбы русских писателей*, не знаете чудовищного черного погреба, в котором она копошится, как червь в гробу: и оплакиваете в золотых веревочках людей и топчете ногами замученных праведников русской земли.

Вы просто фактов не знаете.

А это общество, которое *ритора Андреева* понесло на плечах, яко Христа в Иерусалим, с осанной...

Нет, общество наше заслужило казнь себе. Я — одиночка, и мне ни до кого дела нет. Я сумасшедший и фантазер: но я своим сумасшедшим смехом посмеялся бы, если бы на Россию пошел вторично Аракчеев и показал предательскому и подлому нашему обществу «Кузькину матку».

Это — зажиревший жеребец на стойле; самодовольный, хвастливый, чавкающий масляным ртом. Съел правду этот жеребец: и ему именно не Коковцева надо и не Думу, а просто-напросто Аракчеева. Я хорошо знаю, что Аракчеев — варварство — казнь. Но есть времена, именно вот золотенькие, именно вот благоутробные, когда хочется не рассуждений и не философии, а казни.

В. Розанов.

<На первой странице на полях:> О самоубийствах я вам возражаю в «Нов. Вр.».

<На последней странице на полях:> Я вам и так собирался писать по делу — и напишу — а пока посылаю без «дела» чувства. Очень вы меня разожгли своей *неправдой* по незнанию.

МАКСИМУ ГОРЬКОМУ

<17 апреля 1912>

Спасибо, милый, за письмо, — такое любящее. Так и будем: вне «хода мысли» помнить друг о друге.

А моя мамочка из могилы жмет Вам за сына руку: ах, какая она была бедная и измученная. Вот это целая история — и под перо бы Вам. Да и вся наша семья в Костроме — Ваш сюжет, с «лирикой».

В. Розанов.

Книгу пришлю. Сейчас иду в суд: суд тянет за «Уединен.».

16 июля 1915

Спасибо.

О пантеизме: бреду раз по улице — и мелькнуло: мир (Бог?) «строгая ли жена» или «так, девчонка, ко всем обращающаяся?». И меня так обняла красота и одного, — Вы знаете это «строгая, целомудренная жена», с особым ее величием, с особым ее достоинством, и — *другого*: что я заколебался, «заспешил в душе» и почти стонал: — не знаю! не знаю! — и в тот миг (когда шел по улице) — склонился к красоте «всеобъемлющей девчонки». Вообще можно мир и *так* думать, и *этак*.

«Мистические угадания» (у Вас) — это верно. Именно — угадания.

«Что под пальцами — не знаю, а *что-то есть*». Так мы судим, сидящие в тьме. «Листьев травы» не читал.

За исключением фамилии (немецкая) — мне все в Вас нравится: письмо самостоятельное, сильное, и, думаю, — Вы «выйдете». В студенческом журнале «Вешние Воды» я печатаю — «Из жизни и наблюдений студенчества», — загляните туда.

Лучшее «во мне» (соч.) — «Уединенное». Прочее все-таки «сочинения», я «придумывал», «работал», а там просто — я.

Мне думается, лучше всего, если Вы приедете познаться сюда, на дачу — Вырица (Царскосельской дороги), угол Мельничного Проспекта и Среднего, дача 22 Соколовой.

Приезжайте утром, захватите Ваши статьи.

В. Розанов.

М. ГОРЬКОМУ

<Конец 1917>

Максимушка, спаси меня от последнего отчаяния. Квартира не топлена и дров нету; дочки смотрят на последний кусочек сахару около холодного самовара; жена лежит полупарализованная и смотрит тускло на меня. Испуганные детские глаза, 10, и я глупый... Максимушка, родной, как быть? Это уже многие письма я пишу тебе, но сейчас пошлю, кажется, а то все рвал. У меня же 20 книг, но «не идут», какая-то забастовка книготорговцев. Максимушка, что же делать, чтобы «шли». Вот, отчего ты меня не принял в «Знание»? Максимушка, я хватаюсь за твои руки. Ты знаешь, что значит хвататься за

руки? Я не понимаю, ни как жить, ни как быть. Гибну, гибну, гибну...

У меня — не напечатанных на 50 000 книг и только сколько-то сотен рублей долга в типографии... У меня зажилило и не заплатило ничего за 2-ой короб «Оп. листьев» «Лукоморье»; отнял — напечатав и не заплатив — М. В. Пирожков «Легенду об Инквизиторе» 3-ье издание и два тома «Около церковных стен». Что же это, со мной ведут милые речи, берут и уходят книгопродавцы. Я выехал в Сергиев Посад, Московской губернии, Красюковка, Полевая улица, живу за городом в сущности, чудная березовая роща, но... холодно, холодно. Максимушка, ну помоги, милый, помоги «вперед», помоги на «не знаю, заплатит ли». Господи, Господи, Господи. «Вскую Ты оставил меня еси». Вспомни, мы переписывались с тобой из Капри, и ты был счастлив, и я был счастлив, и я тебе писал как равный к равному, думаю: «Максимушка — и все так хочет получить «Иринея Лионского» и «Историю» Голубинского через меня». Ах, хорошее было время, и хорошо было писать: Капри — Massimo Gorky. А теперь... Теперь, теперь, теперь...

Максимушко, ну — милый, ну дорогой: воспользуйся, сделай что-то. Ну, что — я не знаю. Ведь я же талантлив. И с душой. Вот посылаю тебе отрывочек, для «Нивы». Пусть Корней Иванович прочтет, оценит.

Да, вот мысль: не возьмет ли меня Корней Иванович для «Нивы»? Я мог бы печатать «Из детской жизни». У меня есть эта фантазия, и вообще есть кое-что. Одна дочурка написала мне такое волшебное письмо про «полевые работы в Рязанской губернии» и что ты, папа, «не беспокойся, что монархия прошла», что я читал и плакал и восхищался чисто литературным восхищением. Вот что, Максимушка; сперва — насыщение, на голод ничего не придумывается. А потом мы придумаем. «Розанов еще никого не обманывал своим обещанием». Максимушка, Максимушка: поговори с Румановым (он очень добрый ко мне — удивительно) и с Корнеем Ивановичем. Вот вы есть три, и любите меня, знаю: спасите же меня САМИ КАК ЗНАЕТЕ. Вот что: нельзя ли взять для «Приложения» в «Ниву», например, «Итальянские впечатления». Эта книга разошлась 1-м изданием и в 1-ый год дала *чистого дохода* 1 000 рублей... О, как я говорил тогда басом. Басом — а ведь у самого тенор. Ну, Максимушка. Сергиев Посад, Московской губ., Красюковка, Полевая улица, дом Беляева, В. В. Розанову. Денежный пакет со вложением... Дорогой, я смеюсь, но это не цинизм. О, не цинизм.

26 октября 1918

До какого предела мы должны любить Россию? ...до истязания; до истязания самой души своей. Мы должны любить ее до «наоборот нашему мнению», «убеждению», голове. Сердце, сердце, вот оно любовь к родине — *чревая*. И, если Вы встретите Луначарского, ищите в нем тени русской *задумчивости*, русского странствия по лесам и горам; и так, любите русского человека «до социализма», понимая всю глубину социальной пошлости и социальной «братство, равенство и свобода». И вот, несите «знамя свободы», эту омерзительную красную тряпку, как любил же Гоголь Русь с ее «ведьмами», с «повитчик кувшинное рыло», только надписав «моим горьким смехом посмеются»; неужели и он, хохол и, след., чуть-чуть инородец, чуть-чуть иностранец, как и Гельфердинг, и Даль, Востоков — имеют право больше любить Россию, крепче любить Россию, чем великоросс? Целую жизнь я отрицал тебя в каком-то ужасе, но ты предстал мне теперь в *своей полной истине*. Щедрин, беру тебя и благословляю. Проклятая Россия, благословенная Россия. Но благословенна именно на конце. Конец, конец, именно — конец. Что делать: гнило, гнило, гнило. Нет зерна — пусто, вонь; нет Родины, пуста она. Зачеркнута, небытие. *Не* верь, о, *не* верь небытию, и — *никогда* не верь. Верь именно в бытие, только в *бытие*, в *одно бытие*. И когда на месте умершего *вонючее пустое место с горошинку*, вот тут-то и *зародыш, воскресение*. Не все ли умерло в Гоголе? Но все *воскресло* в Достоевском. О, вот тайна мира, тайна *морального «воскресения»*, с коим совпадает *онтологическое космогоническое* воскресение. Египет, Египет... как страшны твои тайны. Зову тебя, зову... умерло зерно, и дало *росток сам-шест*. Никакого *уныния* — о, *никакого уныния*. «Сам-шест, помни единое языческое сам-шест Деметры». Прозерпина ищет дочь свою. Ее «похитил Аид». Боже, вот разгадка *ада*. Какая истина в мифах древности. Кора в объятиях Аида! Душа, *где она?* В преисподней. «Душа русская в революции». Где? Нет ее! Будем искать Кору, как помертвелая от страха и тоски Прозерпина. Зерно — о, как оно *морально*. В зерне ли мораль? Ведь растение «не чувствует». Не ползает, не бегает. И вдруг зерно-то и открывается, что оно-то и есть ноумен не только *онтологий*, но и вместе, что этот онтологический ноумен совпадает и *единое есть с моральным*.

Феникс «через 500 лет воскресающий» — Египет, мне страш-

но тебя. Ты один все понял... О, старец... Священный Ибис, священный Апис...

«После Гоголя и Щедрина — Розанов с *его молитвою*». Ах, так вот где суть... Когда зерно сгнило, уже сгнило: тогда на этом ужасающем «уже», горестном «уже», слезном «уже», что оплакано и представляет один *ужас небытия и пустоты*, полного — становится безматериальная *молитва*...

Ведь в молитве нет никакой *матери*

Никакого нет *строения*

Построения

Нет даже *черты, точки*...

Именно —

Тайна —

в его *тайне*.

Чудовищной, неисповедимой.

Рыло. Дьявол.

Гоголь. Леший.

Щедрин. Ведьма.

Тьма истории.

Всему конец.

Безмолвие. Вдох.

Молитва. Рост.

«*Из отрицания — Аврора, Аврора с золотыми перстами*».

Ах! так вот откуда в Библии так странно, «концом наперед», изречено: «и бысть *вечер* (тьма, мгла, смерть) и бысть *утро* — *День первый*». Разгадывается *Религия*, разгадываются построения и *История*.

Строение *Дня*...

и вместе устройство *Мира*.

Боже, Боже... Какие тайны. Какая судьба.

Какое *утешение*.

А я то скорблю, как *в могиле*. А эта могила и есть *мое Воскресение*...

Д. С. МЕРЕЖКОВСКОМУ

<Декабрь 1918>

Дорогой, дорогой, милый, Митя, Зина и Дима! В последней степени склероза мозга, ткань рвется, душа жива, цела, сильна!

Безумное желание кончить «Апокалипсис», «Из восточных мотивов» и издать «Опавшие листья», и все уже готово, сделано, только распределить рисунки «Из восточ. мотивов», но это никто не может сделать. И рисунки все выбраны. Лихоимка судьба свалила Розанова у порога. Спасибо, дорогим, милым, за

любовь, за привязанность, сострадание. Были бы вечными друзьями — но уже, кажется, поздно. Обнимаю вас всех и крепко целую вместе с Россией дорогой, милой. Мы все стоим у порога и вот бы лететь, и крылья есть, но воздуха под крыльями не оказывается. Спасибо милому Сереже Каблукову за письмо, очень содержательное. Что же он не пишет большого письма, которое обещал?

Теперь дела мои все устроились. Спасибо Максимушке, Саше Бенуа, спасибо Макаренко.

Господи, какие воспоминанья связаны с «Миром искусства», «Новым путем». Восходит Золотая Эос! Верю, верю в тебя, как верю в Иерусалим. Ах, все эти святыни древности, они оправдались и в каких безумных оправданиях.

Целую, обнимаю вместе с Россией несчастной и горькой. Творожка хочется, пирожка хочется.

А ведь когда мы жили — так безумно вкусно, как в этот голодный, страшный год? Вот мера вещей. Господи, неужели мы никогда не разговеемся больше душистой русской Пасхой <...>

В. Розанов.

МАКСИМУ ГОРЬКОМУ

20 января 1919 г.

Дорогой, милый Алексей Максимович! Несказанно благодарю Вас за себя и за всю семью свою. Без Вас, Вашей помощи она бы погибла. 4 000 р. это не кое-что. Благородному Гершензону тоже глубокую благодарность за его посредничество и хлопоты, и вообще, всем моим друзьям несказанный поклон за заботы, хлопоты и теплое внимание. Сейчас всего больше я устал, состояние здоровья моего крайне слабо и, кажется, безнадежно. Странное чувствую и ощущаю: прежде всего, потеря всего плана тела; я не знаю, не понимаю, как я себя чувствую, какая-то изломанность всего тела, раздробленность его. Всего лучше сравнить состояние моего тела с черными водами Стикса; оно наполняется холодной водой с самой ночи. Это состояние невыносимое: представьте себе ледяную воду, наполняющую Ваше тело. Никаких сил выдержать, а держаться приходится.

Вот сейчас лежу, как лед мертвый, как лед трупный. Много думаю о Вас и Вашей судьбе. Какая она, действительно, горькая, но и, действительно, славная и знаменитая. И дай Вам Бог еще успеха и успеха большого. Вы вполне его заслуживаете. Ваша «Мальва» и барон составляют и уже составили эпоху. Так это и знайте. Ну еще, Максимушка дорогой, прощай и не

огорчайся, если в чем и обидел. Помнишь, было неладно с Кожемьякой. Зато Мальва превосходно вышла, а особенно изумительно барон. Это кажется лучше всего. Прощай, не забывай, помни меня!

В. Розанов

Н. Е. МАКАРЕНКО

20 января 1919 г.

Милый, милый Николай Емельянович, спасибо Вам за дорогое внимание Ваше, которое никогда не забуду и друзей своих всех дорогих, не забуду драгоценный Эрмитаж и работу по нем благородного Бенуа.

Этот Эрмитаж незаслуженная драгоценность для всей России. Помните ли Вы драгоценный Елизавет и драгоценный эстамп с нее. Особенно когда она была младенцем. Для меня это незабываемо. Величественную Екатерину и все это величие и славу, когда-то бывшее в России, но теперь погибшее. Боже, куда девалась наша Россия.

Помните Ломоносова, которого гравюры я храню до сих пор, Тредьяковского, даже Сумарокова? Ну, прощай былая Русь, не забывай себя. Помни о себе.

Если ты была когда-то величава, то помни о себе. Ты всегда была славна. Передайте Мережковскому о всей этой славе, которую он помнит так хорошо. Поклон его Петру и его стрельцам. Это тоже слава России. Поклон его Зине. Поклон его милым Тане и Кате и, если можно, поцелуй, а я знаю, что можно. Если можно было бы, позволили бы силы, можно было бы рисунки докончить, и это было бы драгоценная работа для них и для меня.

Ну, друзья, устал, изнеможен, больше не могу писать. Сделайте что-нибудь для меня. Я сам умираю, уже ничего больше не могу, прежде всего работать. Хочется очень работать. Хочется очень кончить Египет и жадная жажда докончить, а докончить вряд ли смогу. А работа действительно изумительная. Там есть масса положительных открытий, культ солнца почти окончен. Еще хотел бы писать мои драгоценные, писать больше всего о Египте, об солнце, много изумительных афоризмов, м. б. еще припишу писульки, не знаю и не берусь за это.

От семьи моей поклон, от моей Вари поклон, от моих детей, тружеников небывалых, поклон, в этом не сомневайтесь, не колеблетесь. Варя совершенно с Вами помирилась.

Всему миру поклон, драгоценную благодарность, от своей

Танечки тоже поклон, она грациозная, милая и какая-то вся игривая и вообще прелестная, и от Наденьки, которая вся грация: приезжайте посмотреть. А это пишу я, отец, которому естественно стыдно писать. Ну, миру поклон, глубокое завещание никаких страданий и никому никакого огорчения.

Вот кажется все!

Васька дурак Розанов.

Детки собираются сейчас дать мне картофель, огурчиков, сахарина, которого до безумия люблю. Называют они меня «Куколкой», «Солнышком» незабвенно нежно, так нежно, что и выразить нельзя, так голубят меня. И вообще пишут: «Так! так! так!!!» а что «так» — разбирайтесь сами.

Сам же я себя называю «Хрюнда, хрюнда, хрюнда!!!», жена нежна до последней степени, невыразимо и вообще я весь счастлив, со мной происходят действительно чудеса, а что за чудеса расскажу потом когда-нибудь.

Все тело ужасно болит.

КОММЕНТАРИИ

Произведения В. В. Розанова не собирались воедино ни при жизни писателя, ни после его смерти. Попытки издания «Избранного» за рубежом (Нью-Йорк, 1956; Мюнхен, 1970) нельзя признать удачными (тексты даны в отрывках и не выверены текстологически).

Настоящее издание является первым, в котором представлены основные литературно-критические книги и очерки писателя. Некоторые статьи впервые перепечатываются из газет и журналов того времени.

Архивы Розанова находятся в Центральном государственном архиве литературы и искусства СССР (ЦГАЛИ), в Отделе рукописей Государственной библиотеки им. В. И. Ленина СССР (ГБЛ), отдельные рукописи и письма — в Отделе рукописей Института русской литературы (Пушкинский дом) АН СССР (ИРЛИ) и др. Произведения Розанова печатаются по последней прижизненной публикации. Значительная часть статей сверена с автографами или с гранками, хранящимися в ЦГАЛИ (ф. 419 и в других фондах) и в ГБЛ (ф. 249 и др.), явные искажения исправлены.

Цитирование произведений русских писателей отличается у Розанова неточностью. В большинстве случаев он цитирует по памяти, не стремясь к текстуальной точности, хотя и ставит текст в кавычки и дает свой собственный курсив в цитате. Это принципиальная его установка на передачу смысла цитируемого в *своем* изложении. В комментариях оговорены лишь наиболее существенные случаи расхождения «цитат» Розанова с подлинным текстом цитируемого.

Сохраняются, как прагма, особенности пунктуации Розанова, а также столь обильные у него шрифтовые выделения.

Материал расположен хронологически. Пояснения личных имен вынесены в именной указатель.

І. КНИГИ И СТАТЬИ

ЛЕГЕНДА О ВЕЛИКОМ ИНКВИЗИТОРЕ Ф. М. ДОСТОЕВСКОГО

Опыт критического комментария

Впервые: Русский вестник, 1891. № 1—4. Отд. изд.: СПб.: Николаев, 1894; 2-е изд.: СПб.: Меркушев, 1902. Печатается по 3-му изд.: СПб.: Пирожков, 1906.

«Легенда» написана под влиянием литературных идей Н. Н. Страхова и опубликована при его содействии. Высокая оценка рукописи будущей книги содержится в письме Страхова к Розанову 16 октября 1890 г. (см.: Литературные изгнанники. СПб., 1913. Т. 1. С. 251—254). По совету Страхова было подготовлено и отдельное издание книги (письмо Страхова 20 февраля 1892 г.— Там же. С. 320, 380), 14 июля 1894 г. Страхов в письме из Ясной Поляны сообщил Розанову, что читает его книгу вслух Толстому: «Но пока добрались только до начала легенды: немножко устали, но, верно, отдохнем при дальнейшем чтении» (Там же. С. 384—385).

Книга состоит из двух частей: «О легенде "Великий инквизитор"» и «О Гоголе» (два этюда: «Пушкин и Гоголь» и «Как произошел тип Акакия Акакиевича»). Первым двум изданиям были предпосланы предисловия. После выхода третьего издания Розанов опубликовал «Послесловия к комментарию «Легенды о Великом инквизиторе» Ф. М. Достоевского» (Золотое руно. 1906. № 11—12. С. 97—101). В предисловии ко второму изданию «Легенды» Розанов писал: «Достоевский как творец-художник стоит конечно неизмеримо ниже Гоголя. Но *муть* Гоголя у него значительно проясняется, и из нее вытекли миры столь великой сложности мысли, какая и приблизительно не мерцала автору "Переписки с друзьями"».

24 ноября 1901 г. в «Новом времени» под псевдонимом Инфолио появилась статья о втором издании «Легенды», в которой высказаны соображения о том, что «Легенда» Достоевского заимствована из Вольтера и Гете. 27 ноября Розанов возражал в той же газете: «С теорией "заимствований" вообще надо быть осторожнее... "Легенда" есть литературно и красиво выразившаяся душа нашего народа на этих путях его скитаний и страдальчества».

Высоко ценил книгу Розанова М. Горький, видя в ней «наиболее глубокое и верное исследование гения Достоевского» (письмо к Э. Ронигеру, 1923, февраль.— Архив А. М. Горького, М., 1960. Т. 8. С. 430). По инициативе Горького «Легенда» вышла в Берлине на немецком языке (пер. А. Рамм), о чем сообщал журнал «Печать и революция» (1924. № 5. С. 316).

В настоящем издании «Легенда» печатается без приложения, датированного 1894 г., в котором приводятся обширные цитаты из Достоевского. Опушена также большая часть подстрочных примечаний, а содержащиеся в них сведения и отсылки на первое посмертное Полное собрание сочинений Достоевского в 14 томах (СПб.: Изд. А. Г. Достоевской, 1882—1883) даны в комментариях по последнему Полному собранию сочинений в 30 томах (Л.: Наука, 1972—1989). Библиографические данные, приведенные Розановым в коммен-

тариях, проверены и уточнены. Однако неточности цитирования сохраняются и специально не оговариваются.

С. 41. *В одной фантастической повести...* — Гоголь. Портрет.

С. 42. *«Пусть мы умрем...»* — Достоевский. Подросток (т. 13, с. 379).

«Строй выше себе пирамиду...» — Гоголь. Арабески. Ч. 2. Жизнь.

С. 43. *...«миром иллюзии».* — И в а н о в Н. А. Воспоминания о воззрениях С. А. Усова на искусство//Вопросы философии и психологии. 1890. Кн. 3. С. 105—138.

...та самая, о которой я вам уже писал.— Речь идет о неосуществленном замысле «Житие великого грешника», о чем Достоевский писал А. Н. Майкову 17(29) сентября 1869 г.

С. 44. *...назначаю Кашпиреву...*— редактор-издатель журнала «Заря» (1869—1872) В. Кашпирев просил Достоевского написать к осени 1870 г. повесть для журнала.

...Чаадаев после первой статьи...— За публикацию в журнале «Телескоп» (1836. № 15) первого «Философического письма» П. Я. Чаадаев был объявлен Николаем I сумасшедшим.

С. 45. *С 1876 г. он начал выпускать «Дневник писателя»...*— «Дневник писателя» начал печататься в журнале «Гражданин» с января 1873 г. Розанов имеет в виду, что с 1876 г. «Дневник писателя» приобрел новую литературную форму мыслей на различные темы, что сказалось позднее на жанре трилогии Розанова.

...«Чтобы заняться одною художественною работою...» — из обращения «К читателям», завершающего декабрьский выпуск «Дневника писателя» за 1877 г. (т. 26, с. 126). Речь шла о романе «Братья Карамазовы», над которым Достоевский работал следующие три года.

С. 46. *...семь лет назад...*— Имеется в виду приведенное выше письмо Майкову от 25 марта 1870 г.

...в минуту особенного оживления...— В единственном номере «Дневника писателя» за 1880 г. (август) была напечатана речь Достоевского о Пушкине, произнесенная 8 июня на торжествах по поводу открытия в Москве памятника Пушкину.

...в 1879 г. Достоевский ездил в знаменитую Оптину Пустынь...— Достоевский был в монастыре Оптиной пустынь (близ г. Козельска) вместе с Вл. Соловьевым 23—29 июня 1878 г., что имело важные последствия для работы над «Братьями Карамазовыми».

С. 47. *...способность к гневу...*— разговор с братом Иваном о страданиях детей (примеч. Розанова).

С. 48. *...в чистом энтузиазме, с которым создавал «Бедных людей»...*— см. об этом воспоминания в «Дневнике писателя» за январь 1877 г. (гл. II, §4) (примеч. Розанова).

С. 49. *Известен взгляд...*— Розанов ссылается при этом на статью Ап. Григорьева «Взгляд на современную изящную словесность и ее исходная исто-

рическая точка» (Григорьев Ап. Соч. СПб., 1876. Т. 1. С. 8—20).

С. 51. *«И почему я должен пропасть червем?..»* — Гоголь. Мертвые души (т. 1, гл. XI).

...поэзия наших народных причитаний...— Розанов ссылается на «Причитания Северного края» (1872—1886. Т. 1—3), собранные фольклористом Е. В. Барсовым (1836—1917).

С. 53. *...о посте и голодной смерти.*— Розанов ссылается на «Литературные воспоминания» И. С. Тургенева и «Мои досуги» Ф. И. Буслаева (М., 1886. Т. 2. С. 235—239).

«Мне отмщение и Аз воздам».— Библия. Послание к римлянам апостола Павла, XII, 19.

...взлезают на них и колотят их...— Розанов имеет в виду дядю Митяя и дядю Миняя из «Мертвых душ» Гоголя (т. 1, гл. V).

С. 55. *«Пусть языком твоим говорят ангелы...»* — Библия. Первое послание к коринфянам, XIII, 1.

С. 56. *...подчас невозможно нелепого...—* Розанов ссылается на «Роман в девяти письмах» и «Хозяйку» Достоевского.

«Триста, триста...» — Достоевский. Елка и свадьба (Из записок неизвестного) (т. 2, с. 97).

С. 57. *...Или луч солнца, внезапно выглянув из-за туч...»* — концовка повести Достоевского «Белые ночи».

С. 58. *«Я человек большой...»* — начало «Записок из подполья».

С. 59. *Когда из мрака заблужденья...—* первая строка стихотворения Некрасова (1845), взятого эпиграфом к повести Достоевского «По поводу мокрого снега» в «Записках из подполья», о которой Розанов замечает в сноске: «Единственную аналогию с этим произведением, одним из глубочайших у Достоевского, представляет "Племянник Рамо" у Дидро. Первоначальный очерк характера "героя подполья" представляет, но исключительно с комической стороны, Фома Фомич в повести "Село Степанчиково и его обитатели"».

С. 60. *Элевзинские таинства* (Элевзинские мистерии) — в Древней Греции ежегодные религиозные празднества в честь богини земледелия Деметры и ее дочери Персефоны.

С. 61. *«Отравленная Темза...»* — Здесь и далее цитируются «Зимние заметки о летних впечатлениях» Достоевского (гл. 5. Ваал).

С. 64. *...собирающие колосья...—* Библия. Книга Руфь, II.

«Ищите прежде царства Божия...» — Евангелие от Луки, XII, 31.

С. 71. *Люди 93-го года.*— Имеется в виду Великая французская революция и якобинская диктатура, установленная в результате народного восстания 31 мая — 2 июня 1793 г.

С. 73. *«— А копить нельзя?..»* — Достоевский. Преступление и наказание (т. 6, с. 246).

«— Я согласен...» — Там же. Т. 6. С. 221.

С. 74. *...последние годы прошлого царствования.*— То есть царствования Александра II, убитого народолюбцами в 1881 г.

С. 75. *...в Венере Милосской есть нечто более несомненное и вечное, чем в принципах первой французской революции* — см.: Тургенев И. С. Довольно, XV.

С. 78. *«В тысяче мук — я есмь...»* — Достоевский. Братья Карамазовы (т. 15, с. 31).

С. 79. *«Иже во святых отца нашего Исаака Сирина»*. — В «Братьях Карамазовых» книга названа: «Святого отца нашего Исаака Сирина слово» (т. 15, с. 61).

С. 80. *«Завтра крест, но не виселица»*... — Достоевский Ф. М. Т. 15. С. 86.

С. 81. *Доктор-психиатр* — возможно, имеется в виду В. Ф. Чиж, автор статьи «Достоевский как психопатолог» (Русский вестник. 1884. № 5—6).

«Многое на земле от нас скрыто...» — Достоевский Ф. М. Т. 14. С. 290.

С. 88. *«Один старый грешник...»* — Имеется в виду Вольтер. Иван цитирует фразу из его «Послания к автору новой книги о трех лжецах» (1769).

С. 90... *«бе к Богу»*... — Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог (Евангелие от Иоанна, 1, 1).

Я вот читал когда-то и где-то про Иоанна Милостивого... — Перевод И. С. Тургеневым «Легенды о св. Юлиане Милостивом» (1876) Г. Флобера напечатан в «Вестнике Европы» (1877. № 4) под названием «Католическая легенда о Юлиане Милостивом».

С. 91. *«Никто же плоть свою возненавидит...»* — Библия. Послание к ефесянам, V, 29.

...«яко божи»... — Библия. Бытие, III, 5.

С. 92. *Клеопатра, утонченная гречанка...* — Рассказ о последней царице Египта из династии Птоломеев Клеопатре (69—30 до н. э.) взят из «Записок из подполья» Достоевского (т. 5, с. 112).

...очень любят сладкое. — Розанов поясняет в примечаниях: «Намек на любовь турок к «сладкому» имеет более общее значение: повсюду уклон человеческой природы к жестокому Достоевский связывает с ее уклоном к страстному и развратному».

С. 93. *...оборачивать словечки...* — Очевидно, имеются в виду слова Полония в 1-й сцене II действия «Гамлета»: «Приманка лжи поймала карпа правды. Так мы, кто умудрен и дальновиден, путем крюков и косвенных приемов, обходами находим нужный ход» (пер. М. Лозинского).

С. 94. *...увеличивает еще.* — Розанов ссылается при этом на кн.: Д а н и л е в с к и й Н. Я. Дарвинизм: Критическое исследование. СПб., 1885 (О голубиных породах).

У Некрасова есть стихи... — стихотворение «До сумерек» из цикла «О погоде» (1859).

С. 95. *...секут собственную дочку...* — Имеется в виду дело С. Л. Кроненберга (Кроненберга), по поводу которого Достоевский писал в «Дневнике писателя» за февраль 1876 г. (гл. 2).

С. 97. *...ланы ляжет подле льва...* — Библия. Книга Исаии, XI, 6 (контаминация).

...не от мира сего...— Евангелие от Иоанна, XVIII, 36.

«Прав Ты, Господи...» — сочетание разных текстов Апокалипсиса (Откровение Иоанна Богослова, XV, 3—4; XVI, 7; XIX, 1—2).

С. 100. ...«выше всех остальных»... — Образ Сатаны как восставшего против Бога ангела и сброшенного за то с небес, восходит к ошибочному толкованию строк из «Книги пророка Исаии» (XIV, 11).

С. 102. ...«отрет Бог всякую слезу»...— Библия. Откровение Иоанна Богослова, XXI, 4.

С. 106. «Се, грядущи скоро»...— Там же. III, 11; XXII, 7, 12.

Верь тому, что сердце скажет...— из стихотворения Шиллера «Желание» в переводе В. А. Жуковского (1811).

Огромная звезда...— Библия. Откровение Иоанна Богослова, VIII, 10.

С. 107. ...бо, Господи, явися нам! — Библия. Псалтирь, 117, 27.

«Талифа куми» — Евангелие от Луки, VIII, 54; от Марка, V, 41; «Талифа куми» значит: «Девушка, тебе говорю, встань».

С. 110. «Хочу сделать вас свободными»... — Евангелие от Иоанна, VIII, 32.

Тридентский собор — вселенский собор католической церкви, заседавший в 1545—1547, 1551—1552, 1562—1563 гг. в г. Тренто и в 1547—1549 гг. — в Болонье. Закрепил средневековые догматы католицизма, усилил гонения на еретиков, ввел строгую церковную цензуру.

С. 111. «А что, не столкнут ли нас...» — пересказ мыслей из «Записок из подполья» Достоевского (ч. 1, гл. 9).

С. 112. «Великий Дух говорил с Тобой в пустыне...» — евангельский рассказ об искушении Христа дьяволом (Евангелие от Матфея, IV, 1—11; от Луки, IV, 1—13).

С. 114. ...никогда и ничего не было для человека... невыносимее свободы! — Как отмечает Розанов, эта мысль встречается в повести Достоевского «Хозяйка» (т. 1, с. 317).

«Кто подобен Зверю сему...» — Библия. Откровение Иоанна Богослова, XIII, 4.

С. 120. ...упростить его природу...— Розанов отмечает, что эта идея высказана еще Шигаловым в «Бесах» Достоевского.

С. 134. ...приходит с именем Бога на устах...— Достоевский. Подросток (т. 13, с. 302).

С. 135. «Моя осанна сквозь горнило испытаний прошла»...— пересказ мысли из записной тетради Достоевского 1880—1881 гг. (т. 27, с. 86).

С. 145. ...Гораций и Буало пытались свести...— Имеются в виду трактат римского поэта Горация (65—8 до н. э.) «Наука поэзии» и стихотворный трактат французского поэта и теоретика классицизма Н. Буало (1636—1711) «Поэтическое искусство» (1674).

Кювье свел к вечным немногим типам животный мир...— Французский зоолог Ж. Кювье (1769—1832) сформулировал в 1812 г. учение о четырех типах организации животных (позвоночные, членистые, мягкотелые, лучистые).

...ряд великих математиков Франции... — Имеются в виду В. Виет (1540—1603), Р. Декарт (1596—1650) и др.

С. 146. ...крестоносное ополчение, двинувшееся на Лангедок... — Речь идет об альбигойских войнах, крестовых походах в 1209—1229 гг. на юге Франции, предпринятых по инициативе папства против «еретиков».

С. 149. ...«каждое время и каждое место живет для себя самого»... Имеется в виду принцип историзма, изложенный немецким философом и критиком И. Г. Гердером (1744—1803) в статье «Шекспир», вошедшей в сборник Гердера и Гете «О немецком характере в искусстве» (1773).

С. 151. ...«перекуются мечи на орала»... — Библия. Книга Исаии, II, 4.

С. 154. ...у «неимущего отнялось и имущему прибавилось»... — Перефразировка евангельского выражения (Евангелие от Матфея, XXV, 29).

«Мария же, сестра ее, села у ног Иисуса...» — Евангелие от Луки, X, 39—42.

О ГОГОЛЕ

(Приложение двух этюдов)

ПУШКИН И ГОГОЛЬ

Впервые: Московские ведомости. 1891. 15 февраля — под названием: «Несколько слов о Гоголе» и под тем же названием печаталось в 1-м и 2-м изданиях книги Розанова «Легенда о Великом инквизиторе Ф. М. Достоевского».

Вызвавшая эту статью Розанова публикация Ю. Н. Говорухи-Отрока «Нечто о Гоголе и Достоевском (По поводу статьи В. Розанова «Легенда о Великом Инквизиторе» Ф. М. Достоевского)» появилась в «Московских ведомостях» 26 января 1891 г.

С. 160. ...затосковал Гоголь, когда безвременно погиб Пушкин... — В письме П. А. Плетневу 28 (16) марта 1837 г. из Рима Гоголь писал о смерти Пушкина: «Что месяц, что неделя, то новая утрата, но никакой вести хуже нельзя было получить из России. Все наслаждение моей жизни, все мое высшее наслаждение исчезло вместе с ним».

С. 164. ...отвечал профессору Градовскому... — А. Д. Градовский напечатал в журнале «Гражданин» (1880. 25 июня. № 174) статью «Мечты и действительность» о речи Достоевского на Пушкинских торжествах. В «Дневнике писателя» за август 1880 г. Достоевский посвятил третью главу ответу на «придирки» Градовского (т. 26, с. 149—174).

С. 166. «Не мешайте этим приходить ко Мне»... — Евангелие от Марка, X, 14; от Луки, XVIII, 16.

КАК ПРОИЗОШЕЛ ТИП АКАКИЯ АКАКИЕВИЧА

Впервые: Русский вестник. 1894. № 3. С. 161—172 — с подзаголовком: «К вопросу о характеристике гоголевского творчества», который сохранялся в 1-м и 2-м изданиях «Легенды».

Н. Н. Страхов писал об этой статье: «Резкая характеристика Гоголя, когда появилась в "Русском вестнике", вызвала большие упреки г. Розанову, и она, конечно, страдает преувеличением. Но основание ее заключается в действительной противоположности между Гоголем и Достоевским и в том, что критик решительно стал на сторону Достоевского» (Страхов Н. Борьба с Западом в нашей литературе. СПб., 1896. Кн. 3. С. 289).

С. 166. ...сочинения Гоголя в классическом издании их...— Речь идет о комментированном издании Сочинений Гоголя в 7 томах под редакцией Н. С. Тихонова (1832—1893), подготовившего первые 5 томов (1889); издание завершено в 1896 г. В. И. Шенроком.

С. 168. «Повесть о чиновнике, крадущем шинели...» — К этому первоначальному заглавию повести Розанов делает примечание: «Любопытно, как уже в самом заглавии, т. е. в теме рассказа, мелькнувшей у «задумавшегося и опустившего голову» Гоголя, без сомнения, в самый момент рассказа или очень скоро после него, сказалось быстрое, *принижающее и извращающее действительность* движение творческого воображения».

С. 169. *Живете, мыслете, слово, твердо* — названия букв (ж, м, с, т) в славяно-русской азбуке.

С. 173. ...равно без жизни...— В пространной сноске Розанов сопоставляет образ Акакия Акакиевича с образом Аннунциаты из повести Гоголя «Рим»: «Черты одного уходят бесконечно ввысь, другого — вниз, оба *удаляясь от действительности, равно лишены движения, жизни, одухотворенности*».

...«незримые слезы сквозь видимый смех»...— перефразировка слов из 7-й главы «Мертвых душ» («видимый миру смех и незримые, неведомые ему слезы»).

С. 175. ...в заключительной строке «Повести о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем»...— «Скучно на этом свете, господа!»

ТРИ МОМЕНТА В РАЗВИТИИ РУССКОЙ КРИТИКИ

Впервые: Русское обозрение. 1892. № 8. С. 576—594 — под названием «О трех фазисах в развитии нашей критики». Печатается по кн.: Розанов В. В. Литературные очерки: Сб. статей. 2-е изд. СПб.: Меркушев, 1902. С. 92—106.

При подготовке первого издания «Литературных очерков» (1899) было внесено ряд существенных изменений и сокращений в текст первоначальной публикации. Статья представляет собой попытку систематического обозрения истории русской критики. Хотя положения этой ранней статьи не оставались для Розанова неизменными, общее отношение к истории русской критики не претерпело у него сколько-либо существенного изменения. В 1902 г. он писал: «Что касается Добролюбова, то я его всего и неоднократно читал с одинаковым увлечением в его серьезных статьях, начиная с обозрения «Собеседника

любителей русского слова» и кончая шуточными стихами Конрада Лилиеншвагера («Свисток»). Не могу определить, чему я у него научился, но удовольствие чтения всегда было, как и согласие со взглядами, впрочем отнюдь не открывавшими мне чего-нибудь нового» (ЦГАЛИ).

С. 178. *...достойное и необходимое.*— В пространной сноске к этим словам Розанов сопоставляет Белинского с К. Н. Леонтьевым, который в статье «Анализ, стиль и веяние. По поводу романов гр. Л. Н. Толстого» (Русский вестник. 1890. № 6—8; Гражданин. 1890. № 157—158. Гл. 1) обратился к эстетической оценке романов Толстого. По этому поводу Розанов заключает: «Ни у Белинского, ни у кого другого из наших критиков эстетическая точка зрения еще не была так совершенно очищена от всяких сторонних примесей; и ни у кого же, как у Леонтьева, в силу этой чистоты своей, она не чувствуется столь недостаточной для удовлетворения цельного нашего существа, требований цельной жизни; чему в конце концов должна уметь удовлетворять литература».

С. 179. *Но зато родному краю...*— из стихотворения Добролюбова «Милый друг, я умираю...» (1861).

С. 184. *«Записная книжка любопытных замечаний».*— Автором этой анонимной книги (полное название: «Записная книжка любопытных замечаний великой особы странствовавшей под именем дворянина русского посольства в 1697 и 1698 году») был Петр I.

С. 185. *«О происхождении зла»* (1734).— Философская поэма швейцарского поэта и естествоиспытателя Альбрехта фон Галлера (1708—1777), в которой излагаются «Теодицеи» (1710) Г. В. Лейбница, была переведена прозой Н. М. Карамзиным (1786) в результате его участия в масонском Дружеском литературном обществе.

«Разговоры о множестве миров» (1686).— Книга французского писателя и ученого Бернара Ле Бовье Фонтенеля (1657—1757), в которой популяризируется система Коперника. Русский перевод, вызвавший нападки синода, вышел в Петербурге в 1740 г. под названием: «Разговоры о множестве миров г. Фонтенелла, Парижской академии наук секретаря. С французского перевел и потребными примечаниями изъяснил князь Антиох Кантемир в Москве в 1730 году».

Лизин пруд — существовал до 1920-х годов близ Симонова монастыря (Москва). Когда-то он назывался Лисьиным прудом, но после того как Карамзин утопил в нем героиню своей повести «Бедная Лиза» (1791), за ним упрочилось название Лизина пруда. К нему стали стекаться поклонники «чувствительного» Карамзина, которые проливали слезы над бедной Лизой и вырезывали на прибрежных деревьях сердца и вензеля Лизы и Эраста.

Стратикомил — страус (struthio camelus).

О ДОСТОЕВСКОМ

Впервые — в качестве предисловия (без подразделения на четыре раздела) к первому тому Полного собрания сочинений в 12 томах Ф. М. Достоевского

(СПб.: Маркс, 1894. С. V—XXIV) с датой: 31 июня 1893 г. Третий раздел статьи написан для переиздания в сборнике статей Розанова «Литературные очерки» (1899). Вместо него в предисловии к Полному собранию сочинений был биографический очерк. Печатается по кн.: Р о з а н о в В. В. Литературные очерки: Сб. статей. 2-е изд. СПб.: Меркушев, 1902. С. 143—154.

К жизни и творчеству Достоевского Розанов обращался во многих статьях. Суждения о Достоевском содержатся также в книгах Розанова: «Литературные очерки» (1899), «Сумерки просвещения» (1899), «Около церковных стен» (1906) и др.

С. 195. *...это центральное явление...*— В примечании к этому месту Розанов приводит пример: «Гретхен (в «Фаусте») раз только согрешила, долгие годы она была беспорочна — и *долгие* годы были забыты ее окружающими, не припомнены: ими помнится и нам внушает горесть, вызывает на размышления только день ее падения. В судьбе ее — он центральный, не будучи центральным по времени, преобладающим по положению в ряду других фактов ее жизни».

С. 196. *Чем ночь темней...*— из стихотворения А. Н. Майкова «Не говори, что нет спасенья...» (1878) в цикле «Из Аполлодора Гностика» (вымышленный Майковым поэт II в.).

С. 197. *...его история должна бы составить новый роман...*— концовка Эпилога «Преступления и наказания» Достоевского (в перефразировке Розанова).

...в ученические годы...— В первой публикации статьи Розанов сделал здесь примечание: «Я хочу сказать, что, пройди он обычную школу, например университет (смотри на него не из *дали* своего воображения), фигур Раскольников и Ивана Карамазова он не мог бы создать; а без этих двух образов и ими сказанного — чем было бы все остальное, им написанное? Прекрасным телом без головы».

С. 200. *Аарон* — библейский пророк, основатель и глава еврейского священства, выведший вместе со своим братом Моисеем еврейский народ из египетского рабства.

С. 201. *Разговор Версилова с «подростком».*— Речь идет об «исповеди» Версилова в романе Достоевского «Подросток» (ч. III, гл. 7—8).

С. 202. *...«едва имея силы добраться до эстрады, упал без чувств»...* Н. Н. Страхов в «Заметках о Пушкине и других поэтах» (1888) рассказывает, что на Пушкинском празднике 1880 г. после речи Достоевского слушатели устремились к нему на эстраду: «Какой-то юноша, как говорят, когда добрался до Достоевского, упал в обморок». Та же история была рассказана Страховым в «Воспоминаниях о Ф. М. Достоевском» (Достоевский Ф. М. Полн. собр. соч. СПб., 1883. Т. 1. С. 310).

С. 203. *Иов* — герой библейской Книги Иова, живший в земле Уц и лишившийся своих детей и имущества; олицетворение терпения в несчастях.

ДЕКАДЕНТЫ

Впервые: Русский вестник. 1896. № 4. С. 271—282, как рецензия на книги: Русские символисты. СПб., 1894—1895. Вып. 1—3. В «Письме в редакцию» журнала «Русское обозрение» (1896. № 9. С. 318—321) Розанов сообщает, что в «Русском вестнике» статья напечатана с пропусками, и публикует полный ее текст под названием «О символистах» (с. 322—334). Перепечатано под названием «О символистах и декадентах» в книге Розанова «Религия и культура» (1899). Печатается по изд.: Розанов В. В. Декаденты. СПб.: Воицинская, 1904. 24 с. (Серия «Критические этюды»), где текст незначительно сокращен автором.

Эпиграфы — из стихотворения Д. С. Мережковского «Дети ночи» (1896) и из книги: Потанин Г. Н. Тангутско-Тибетская окраина Китая и Центральная Монголия: Путешествие Г. Н. Потанина. 1884—1886. СПб.: Суворин, 1893.

С. 204. ...15—20 лет назад...— В первых публикациях статьи в 1896 г. значилось: «10—12 лет назад».

В. Даров — псевдоним В. Я. Брюсова. Стихотворение напечатано в третьем выпуске сборника «Русские символисты» (М., 1895. С. 14).

С. 205. *Тень несозданных созданий...*— стихотворение Брюсова «Творчество» (1895), вошедшее в третий выпуск «Русских символистов», цитируется Розановым (как и в журнальных публикациях его статьи) с пропуском двух строк: «В звонко-звучной тишине. И прозрачные киоски в звонко-звучной глубине».

Моя душа больна весь день...— стихотворение бельгийского поэта и драматурга М. Метерлинка (1862—1949) из его сборника стихов «Теплица» (1889) в переводе Брюсова, опубликованного в третьем сборнике «Русские символисты» (с. 47), приводится (как и в журнальных публикациях статьи Розанова) с пропуском пятой строчки: «И под кнутом воспоминаний».

О, чудно нежная и страстная болезнь! — стихотворение А. Н. Емельянова-Коханского (р. 1871) «Монолог маньяка (Бред первый)» цитируется неточно по его книге: Обнаженные нервы: Сб. стихотворений (посвящается Мне и Египетской царице Клеопатре). М.: Чернов, 1895. С. 71.

С. 206. *«О чем молишь, Светлый?..»* — Добролюб в А. Natura naturans. Natura naturata. Тетрадь № 1. СПб.: Евдокимов, 1895. С. 23.

С. 207. *О, закрой свои бледные ноги!* — моностих В. Я. Брюсова из третьего выпуска «Русские символисты» (с. 13).

Французская выставка в Москве.— Речь идет о выставке 1891 г., в первом зале которой находилась описанная Розановым картина Гюстава Жаке «Любовная тоска» (Новый указатель Художественного отдела французской выставки в Москве в 1891 году. М., 1891. С. 7).

С. 208. ...«Русск. вестн.», 1894 г., ноябрь...— Во всех прижизненных изданиях этой работы Розанова ошибочно указан ноябрь вместо октября 1894 г. Статья о Мопассане (псевдоним Н. Л-н остается нераскрытым) является откликом на издание Сочинений Мопассана в 12 томах (СПб., 1894). Речь в ней идет о рас-

сказе Мопассана «Бракоразводное дело» (1886, в новейших переводах — «Дело о разводе»). Курсивы в цитатах из Мопассана принадлежат Розанову.

С. 210 *...страстью к мраморной статуе...* — Имеется в виду миф о Пигмалионе, влюбившемся в изваянную им статую девушки Галатеи, которую богиня Афродита, вняв его мольбам, оживила. Рассказ об этом содержится в «Метаморфозах» Овидия.

Кит Китыч — так в комедии А. Н. Островского «В чужом пиру похмелье» (1856) называют купца-самодура Тита Титыча Брускова.

...«плодитесь, размножайтесь...» — Библия. Бытие, I, 28.

«что Бог сочетал — человек да не различает». — Евангелие от Матфея, XIX, 6.

С. 212. *...Петрарка... смотрел на непонятный текст?* — Очевидно, Розанов почерпнул сведения об этом из книги: Ф о и г т Г. Возрождение классической древности, или Первый век гуманизма. М., 1884. Т. 1. С. 49. Гомера на греческом языке Петрарка получил в подарок от претора Романыи Николаса Сигероса, грека по происхождению, которому в письме в январе 1354 г. рассказывал, как «обнимал» книгу Гомера.

С. 215. *«Зоратустра».* — Имеется в виду книга Фр. Ницше «Так говорил Заратустра» (1883—1885) о легендарном персидском мудреце и маге, который, по преданию, жил в VI в. до н. э. и проповедовал учение о «сверхчеловеке».

«ВЕЧНО ПЕЧАЛЬНАЯ ДУЭЛЬ»

Впервые: Новое время. 1898. 24 марта. № 7928. Печатается по кн.: Розанов В. В. Литературные очерки: Сб. статей. СПб.: Меркушев, 1902. С. 155—169. Цитаты из статьи С. Н. Мартынова «История дуэли М. Ю. Лермонтова с Н. С. Мартыновым» (Русское обозрение. 1898. № 1. С. 313—326) приводятся Розановым с изменениями.

С. 218. *«Я, Матерь Божия, ныне с молитвою».* — Обычно считается, что в этом стихотворении Лермонтова («Молитва», 1837) речь идет о В. А. Лопухиной.

«Русский архив». — Статья Э. Шан-Гирей «Воспоминания о Лермонтове» опубликована в журн.: Русский архив. 1889. № 6. С. 315—320.

С. 219. *...Гоголь написал «другу» Погодину...* — Во второй половине апреля 1842 г. Гоголь послал М. П. Погодину записку: «А насчет Мертвых душ: ты бессовестен, неумолим, жесток, неблагоприятен». Погодин поясняет: «Это ответ на мою записку, не хочет ли Гоголь вместо объявления о выходе Мертвых душ поместить одну главу или две в номере Москвитянина». К новой длительной ссоре с Погодиным и прекращению переписки между ними повела публикация портрета Гоголя работы А. А. Иванова (литография П. Зенкова) в «Москвитянине» (1843. № 11) без разрешения Гоголя, который не хотел, чтобы его портрет был опубликован ранее окончания «Мертвых душ».

Вспомним Руссо... — Имеется в виду «Исповедь» (1766—1769, изд. 1782—1789) французского философа и писателя Ж. Ж. Руссо.

С. 220. *...«не дозрел до простоты»...* — Имеется в виду характеристика

Лермонтова в 31-й главе «Выбранных мест из переписки с друзьями» Гоголя.

С. Т. Аксаков, в пространных литературных воспоминаниях...— В своих «Воспоминаниях» (1856) С. Т. Аксаков рассказывает о чтении Лермонтовым отрывка из новой поэмы «Мцыри» на обеде в саду Погодина в день именин Гоголя 9 мая 1840 г., а также приводит свое письмо к Гоголю: «Живо помню слова ваши, что Лермонтов-прозаик будет выше Лермонтова-стихотворца».

Гоголь... проходит лишь упоминанием Лермонтова...— В 31-й главе «Выбранных мест из переписки с друзьями» Гоголь дает довольно развернутую характеристику Лермонтова. Его поэзию он определяет как «безочарование» и больше достоинств находит в его прозе. Там же содержится характеристика поэзии Н. М. Языкова.

Л. Толстой в начале «Казак»...— Еще в «Записках о Кавказе» (1852) Толстой писал, что в юности с восторгом и наслаждением читал «Кавказские сочинения Лермонтова». Розанов один из первых отметил связь «Казак» с лермонтовской традицией.

Достоевский... нелюбовь к Лермонтову, между прочим за его жестокость.— Характеристика творчества Лермонтова дана в статье Достоевского «Пушкин, Лермонтов и Некрасов» («Дневник писателя» за 1877 г., декабрь), в Введении к «Ряду статей о русской литературе» (1861), где речь идет о «двух демонах» (Гоголь и Лермонтов). О «злых человечках» у Лермонтова см. начало «Дневника писателя» за февраль 1876 г. О «злобе» у Лермонтова речь идет в романах «Идиот», «Бесы» и других произведениях Достоевского.

«незримые слезы» — см. комментарий к статье «Как произошел тип Акакия Акакиевича».

С. 221. *...даже Державина...*— В статье «Сочинения Державина» (1843) Белинский писал: «У Пушкина есть два стихотворения, порожденные почти таким же событием как и ода Державина («На взятие Варшавы») ... Даже по тону оба эти стихотворения [«Клеветникам России» и «Бородинская годовщина»] Пушкина напоминают торжественную музу Державина».

«Летопись села Горюхина» — подцензурное название «Истории села Горюхина» Пушкина. См.: Г у с а к о в а А. Г. «История села Горюхина» А. С. Пушкина // Учен. зап. МГПИ им. В. И. Ленина. 1954. Т. 70. Вып. 4. С. 63—110.

Страх в прекрасных «Заметках о Пушкине»...— Опубликованные в 1874 г. «Заметки о Пушкине» Н. Н. Стрхова вошли затем в его книгу «Заметки о Пушкине и других поэтах» (СПб., 1883).

...«власть заклинать демонические стихи природы человеческой»... А. А. Григорьев в статье «Взгляд на русскую литературу со смерти Пушкина» (1860, ст. 1) писал: «Наши великие, бывшие доселе, решительно представляются с этой точки могучими заклинателями страшных сил, пробующими во всех возможных направлениях служебную деятельность стихий, но забывающими порою, что не всегда можно пускаться на свободу эти порождения душевной бездны».

С. 222. *Но я без страха жду довременный конец...*— Лермонтов. «Не смейся над моей пророческой тоскою...» (1837).

«Есть миры иные»...— Достоевский Ф. М. Т. 14. С. 290.

С. 223. «...косые вечерние лучи заходящего солнца...» — Образ лучей заходящего солнца у Достоевского исследуется в статье: Дурьлин С. Н. Об одном символе у Достоевского//Достоевский: Сб. статей. М., 1928. С. 163—169.

Глядит вечерний луч...— Розанов продолжает цитировать стихотворение Лермонтова «Как часто, пестрою толпою окружен...» (1840), известное также под названием «1-е января».

«— Видели вы лист?...» — разговор Ставрогина и Кириллова в романе Достоевского «Бесы» (т. 10, с. 188—189).

С. 224. *Засох и увял он от холода...*— Лермонтов. Листок (1841).

С. 225. *Посыпал пеплом я главу...*— здесь и далее из стихотворения Лермонтова «Пророк» (1841).

...повторенный Тургеневым...— «Литературные и житейские воспоминания» (1869) Тургенева, где речь идет о «Письме Белинского к Гоголю».

...проф. Градовским...— см. комментарий к статье «Пушкин и Гоголь».

Дам тебе я на дорогу...— Лермонтов. Казачья колыбельная песня (1840).

...«воскресает».— Достоевский. Бесы (ч. III, гл. 7, §2).

С. 226. «ни зажженных свечей, ни образа не было» — пересказ сцены из романа Достоевского «Преступление и наказание» (ч. VI, гл. 6).

...шторы опущены...— Лермонтов. Сказка для детей (1840).

Ночевала тучка золотая...— Лермонтов. Утес (1841).

С. 227. *...«через него всякий становится умнее, кто способен поумнеть».*— А. Н. Островский. Речь «По случаю открытия памятника Пушкину», произнесенная за обедом Московского Общества любителей российской словесности в Благородном собрании 7 июня 1880 г. (Вестник Европы. 1880. № 7): «Через него умнеет все, что может поумнеть».

С. 228. *Хорег, мистагог* — у древних греков — ведущий хор (танец) и жрец, посвящавшийся в таинства мистерий.

С. 229. *Если б знал ты Виргинию нашу...*— Лермонтов. «Это случилось в последние годы могучего Рима...» (единственный у Лермонтова опыт гекзаметра; дата написания не установлена).

Дальше: вечно чуждый тени...— здесь и далее цитируется стихотворение Лермонтова «Спор» (1841).

С. 230. *Я б хотел забыться и заснуть...*— стихотворение Лермонтова «Выхожу один я на дорогу...» (1841) цитируется неточно (вместо «дремали» — «дрожали»).

И пусть у гробового входа...— Пушкин. «Брожу ли я вдоль улиц шумных...» (1829).

Персть — земной прах, пыль (устар.).

С. 231. *...«клейких весенних листочков»...*— цитата из стихотворения Пушкина «Еще дуют холодные ветры...» (1828) в «Братьях Карамазовых» Достоевского (ч. II, кн. 5, гл. 3).

...«загорелых солдатских спинах»...— сцена купанья солдат в небольшом пруду в «Войне и мире» Толстого (т. 3, ч. 2, гл. 5), который «был полон человеческими, солдатскими, голыми барактавшимися в нем белыми телами, с кирпично-красными руками, лицами и шеями».

...«толстой шее, на которую с чувством собственности смотрела Китти»... В «Анне Карениной» (ч. V, гл. 15) говорится о Кити: «...думала она, глядя с странным для себя чувством собственности на его затылок и красную шею».

Устами праздными вращаем имя Бога...— у Пушкина: «Устами праздными жевал он имя бога» (Анджело, II, 2).

В этом последнем году им написано...— В перечень Розанова попали и более ранние стихотворения Лермонтова: «Есть речи — значенье...» (1840), «Не смейся над моей пророческой тоскою...» (1837), «Сказка для детей» (1840).

О ПУШКИНСКОЙ АКАДЕМИИ

Впервые: Литературное приложение к «Торгово-промышленной газете» (1899. 23 мая. № 9), посвященное 100-летию юбилею со дня рождения Пушкина. Печатается по кн.: Розанов В. В. Среди художников. СПб.: Суворин, 1914. С. 11—22.

С. 232. *Я знал одной лишь думы власть...*— Лермонтов. Мцыри, 3.

С. 233. «*Никогда не мог преодолеть в себе...*»...— Розанов излагает мысли неоконченных статей Пушкина «Опровержение на критики» и «Опыт отражения некоторых нелитературных обвинений».

...«*семь томов*»...— Впервые 7-томное издание Сочинений Пушкина выпустил П. В. Анненков в 1855—1857 гг. В 1887 г. вышло 7-томное издание Сочинений с объяснительными примечаниями П. О. Морозова и 7-томное Полное собрание сочинений под ред. П. А. Ефремова.

С. 234. *Отдай любви...*— Пушкин. Адели (1822).

«*Безбожный пир! Безбожные безумцы!*» — Пушкин. Пир во время чумы (1830).

Дондеже — пока (устар. и церк.).

С. 235. *О, жены чистые Пророка!*...— Пушкин. Подражание Корану (1824).

С. 236. ...«*исполненных очей спереди и сзади, внутри и снаружи*»... Библия. Откровение Иоанна Богослова, IV, 6—8.

«*Ревет ли зверь в лесу ночном...*» — неточная цитата из стихотворения Пушкина «Эхо» (1831).

С. 238. ...«*весел вхожу, ваятель, в твою мастерскую*»...— Пушкин. Художнику (1836).

С. 239. *Магабарага* (Махабхарата) и *Рамаяна* — эпосы народов Индии. *И мраморные циркули и лиры...* — неточная цитата из стихотворения Пушкина «В начале жизни школу помню я...» (1830).

В священном ужасе поэт.— Пушкин. «В часы забав иль праздной скуки...» (1830).

Впервые: Мир искусства. 1899. Т. 2. № 13—14. С. 1—10 (цензурное разрешение — 28 мая), по тексту которого и печатается.

Фактическая сторона статьи вызвала нарекания Вл. С. Соловьева (Особое чествование Пушкина // Вестник Европы. 1899. № 7. С. 432—440). Гоголь переехал в Петербург в декабре 1828 г. Знакомство его с Пушкиным состоялось 20 мая 1831 г. на вечере у П. А. Плетнева.

С. 241. *Бывают тягостные ночи...* — Лермонтов. Журналист, читатель и писатель (1840).

«— *Как же мне писать хочется*». — Сергеевко П. А. Как живет и работает гр. Л. Н. Толстой. М.: Кушнер, 1898. С. 50.

С. 242. *«Любимым местом его занятый...»* — Воспоминание надзирателя инженерного училища А. И. Савельева, относящееся к 1841 году // Достоевский Ф. М. Полн. собр. соч. СПб.: Суворин, 1883. Т. 1. С. 42—43 (*примеч. Розанова*).

С. 243. *«Его никто не знал»...* — С. Т. Аксаков в «Письме к друзьям Гоголя», напечатанном после смерти писателя (Московские ведомости. 13 марта. 1852), писал: «Гоголя как человека знали весьма немногие. Даже с друзьями своими он не был вполне или, лучше сказать, всегда откровенен». Эту же мысль Аксаков повторил и развил в статье «Несколько слов о биографии Гоголя» (1853) и в незаконченной «Истории моего знакомства с Гоголем».

«Меня сон так и клонит...» — Гоголь. Страшная месть, гл. 4.

«Едва я вошел в камеру (острог)...» — Розанов пересказывает мысли из второй главы «Записок из Мертвого дома» Достоевского.

С. 244. *...и язык лепечет громко, без сознания...* — Лермонтов. Журналист, читатель и писатель.

...эти три... — Как отметил В. С. Соловьев (в упоминавшейся статье «Особое чествование Пушкина»), Розанов противопоставляет Пушкину четырех писателей: Гоголя, Лермонтова, Достоевского и Толстого, но, «называя всех четырех, то вместе, то порознь, Розанов упорно считает их тремя: „эти три“, „те три“. Оказия сия по мне уже не нова. Ведь исторический роман Александра Дюма-сына, описывающий похождения четырех мушкетеров, почему-то называется „Три мушкетера“ <на самом деле это роман Дюма-отца>.

Пифия — в Древней Греции жрица-пророчица в храме Аполлона в Дельфах.

Восторг внезапный ум пленил... — начало «Оды на взятие Хотина 1739 года» Ломоносова.

С. 245. *...не в эту ли и не об этой ли самой ночи Лермонтов написал...* В. С. Соловьев, пародируя Розанова, пишет в той же статье «Особое чествование Пушкина»: «Чем обогащается ум и сердце при замечании, что в ту ночь, когда Пушкин играл в карты, Лермонтов, может быть, написал стихотворение «Выхожу один я на дорогу»? Как единичное сопоставление, это было бы так

же малоинтересно, как и то, что, когда Пушкин писал «Роняет лес багряный свой убор», Гоголь, может быть, строил гримасы какому-нибудь своему нежинскому профессору, а Лермонтов бегал за своими кузинами».

С. 246. *Дуброва Мамврийская* — Библия. Бытие, XVIII, 1.

Квири — бог войны у древнеиталийских племен сабинов, которые были покорены в III в. до н. э. Римом и романизированы. Позднее Квири стал отождествляться с Ромулом, легендарным основателем Рима.

ЕЩЕ О СМЕРТИ ПУШКИНА

Впервые: Мир искусства. 1900. Т. 3. № 7—8. Отд. 2. С. 133—143, по тексту которого и печатается.

Объяснение Розановым причин гибели поэта, по-видимому, сказалось на статье М. Цветаевой «Наталья Пушкина» (1929): «Если друг другу не пара, то только в христианском смысле брака, зиждущегося на совместном устремлении к добру. Ни совместности, ни устремления, ни добра. Впрочем, устремление было: брачная парная карета, с заездом на Арбат, дом Хитровой (туда молодые поехали после венца), гнала прямо на Черную речку. Отсюда пути расходятся: Гончарова — к Ланскому, Пушкин — в Святогорский монастырь. Языческая пара, без бога, с только судьбой».

Основные темы статьи Розанова повторяются в его рецензии на книгу И. Щеглова «Новое о Пушкине» (Новое время. 1901. 7 ноября. № 9224).

С. 247. *Поликратов перстень*. — Имеется в виду баллада В. А. Жуковского «Поликратов перстень» (1831), являющаяся переводом баллады Шиллера, источником которой был рассказ греческого историка Геродота о судьбе тирана Самосского Поликрата. Боги отвергли его дар — перстень, и вскоре он был предательски убит.

«*Судьба Пушкина*». — В статье В. С. Соловьева, появившейся в «Вестнике Европы» (1897. № 9. С. 31—156) утверждалось: «Пушкин постоянно колебался между высокомерным пренебрежением к окружающему его обществу и мелочным раздражением против него, выражающимся в язвительных, личных выходках и эпиграммах... Пушкин убит не пулею Геккерна, а своим собственным выстрелом в Геккерна».

С. 248. *...Если б им была дана...* — Лермонтов. Сказка для детей.

...статью П. П. Перцова. — Смерть Пушкина // Мир искусства. 1899. № 21—22. С. 156—168. Заглавие статьи Розанова связано с названием статьи Перцова.

«*Еще о судьбе Пушкина*» — статья публициста И. Ф. Романова (1861—1913), писавшего под псевдонимом Рцы. Далее Розанов приводит цитаты из этой статьи не совсем точно.

С. 249. *...соловьевского объяснения...* — Вл. Соловьев писал в статье «Судьба Пушкина»: «Для примирения с собой Пушкин мог отречься от мира, пойти куда-нибудь на Афон, или он мог избрать более трудный путь невидимого сми-

рения, чтобы искупить свой грех в той же среде, в которой его совершил и против которой был виноват своею нравственною немощью, своим недостойным уподоблением ничтожной толпе».

...«на седьмой глас»...— псалом 140 («Господи! к Тебе взываю...») поется на всенощной службе на 8 голосов (напевов); седьмой глас — глас мягкий, трогательный, утешающий.

...«во блеске власти»...— Лермонтов. Дары Терека (1839).

Вот, братец мой, потеха! — неточная цитата из песни Беранже «Как яблочко румян...» в переводе В. С. Курочкина (1856).

С. 250. «Дом мой — твердыня моя...» — Библия. Псалом 26.

С. 251. *Прошла моя, твоя весна...*— Пушкин. Руслан и Людмила, I.

С. 253. *Спи, дитя мое родное...*— Лермонтов. Казачья колыбельная песня.

В письме к жене, приведенном г. Рцы...— письмо к Н. Н. Гончаровой около 16 декабря 1831 г., в котором Пушкин писал: «Стихов твоих не читаю. Чорт ли в них; и свои надоели».

...«святыня красоты»...— Пушкин. Красавица (1832).

С. 254. *Не множеством картин старинных мастеров...*— Пушкин. Мадонна. (1830).

С. 255. *...для бедной Наташи все были жребии равны.*— Перефразировка строк из «Евгения Онегина», VIII, 47.

С. 256. *...о, старец — Море.*— Здесь и далее цитируется стихотворение Лермонтова «Дары Терека».

С. 257. *...Дух — известно, что такое дух...*— Лермонтов. Сказка для детей, 5°.

...«ветхое днями»... (ветхое днями) — Библия. Книга Даниила, VII, 13.

С. 259. *К ней дамы подвигались ближе...*— Пушкин. Евгений Онегин, VIII, 15.

...«милый идеал»...— Пушкин. Евгений Онегин, VIII, 51.

С. 260. *У Урии — только Вирсавия.*— Библия. Вторая книга Царств, XI.

М. Ю. ЛЕРМОНТОВ

(К 60-летию кончины)

Впервые: Новое время. 1901. 15 июля. № 9109.

С. 263. *Письма его, начиная с издания Кулиша...*— В 1857 г. в Петербурге вышло 6-томное издание Сочинений и писем Гоголя.

О Гоголе записал сейчас же после его смерти С. Т. Аксаков...— см. комментарий к статье «Заметка о Пушкине».

С. 264. *...«стиль автора есть сам автор».*— Обычно говорится: «Стиль — это человек». Выражение французского естествоиспытателя Ж. Л. Л. Бюффона (1707—1788) из «Рассуждения о стиле», произнесенного в 1753 г. при избрании его в члены Французской академии.

С. 266. *...«степи Гоголя лучше степей Малороссии»...*— В статье «О русской повести и повестях г. Гоголя» (1835) Белинский писал: «Чорт вас возьми, степи, как вы хороши у г. Гоголя!...»

С. 267. «*Базар житейской суеты*». — Под таким названием в 1850 г. в «Отечественных записках» появился первый русский перевод (И. И. Введенского) романа У. М. Теккерея «Ярмарка тщеславия» (1848).

Известно, как дивился Белинский... — Белинский в статье «Стихотворения М. Лермонтова» (1841) писал о «Казачьей колыбельной песне»: «Это стихотворение есть художественная апофеоза матери... Где, откуда взял поэт эти простодушные слова, эту умильную нежность тона, эти кроткие и задумчивые звуки, эту женственность и прелесть выражения?»

С. 268. *Но я не так всегда воображал...* — Лермонтов. Сказка для детей, 6.

С. 269. ...*Вл. С. Соловьев... не знает во всемирной литературе аналогий этому сюжету...* — Имеется в виду лекция Соловьева «Лермонтов» (1899), в которой он говорил, что поэтом владел «демон нечистоты», который внушил ему поэму «Демон». Новейшие исследования свидетельствуют, что сюжетно и текстуально «Демон» связан с «Потерянным раем» Дж. Милтона (Олейник В. Т. Лермонтов и Милтон: «Демон» и «Потерянный рай» // Известия ОЛЯ АН СССР. 1989. № 4).

С. 270. *Поэт, не дорожи любовью народной.* — Пушкин. Поэту (1830).

С. 271. ...*не подражательных, как «Отцы пустынники...».* — Имеется в виду, что это стихотворение Пушкина перелагает великопостную молитву Ефрема Сирина, сирийского богослова IV в.

С. 272. *Когда бегущая комета...* — Лермонтов. Демон, I, 1.

С. 273. ...*с звезды восточной...* — Лермонтов. Демон, I, 10.

ГОГОЛЬ

Впервые: Мир искусства. 1902. Т. 8. Отд. 2. С. 337—342, по этому тексту и печатается. В этой наиболее программной статье о Гоголе развивается центральная идея Розанова о целостности наследия писателя.

С. 278. *Костанжогло, Муразов* — действующие лица второго тома «Мертвых душ» Гоголя.

Илион — греческое название Трои, древнего города в Малой Азии, известного по эпосу Гомера «Илиада» (поэма об Илионе).

«*В нем был легион бесов*» — Евангелие от Луки, VIII, 27—36. Эту притчу о «бесновавшемся» Достоевский взял эпиграфом к роману «Бесы».

ПОЕЗДКА В ЯСНУЮ ПОЛЯНУ

Впервые (ранний вариант): Одно воспоминание о Л. Н. Толстом // Русское слово. 1908. 11 октября. № 236. Подпись: В. Варварин. Печатается по кн.: О Толстом. Международный толстовский альманах / Сост. П. Сергеев М.: Книга, 1909. С. 284—291.

В письме к Толстому 16 января 1903 г. (черновик в ГБЛ) Розанов объясняет причины, заставившие его просить Толстого о разрешении посетить его в Ясной Поляне:

«Глубокоуважаемый Лев Николаевич! Чтение в «Миссионерском обозрении» [1903. № 1] длинной беседы с Вами священника Смирягина пробудило во мне сильнейшее желание увидеть Вас. «Так это возможно свящ., почему же невозможно мне». Но я не стану обременять Вас длинными беседами,— так, может быть что-нибудь скажем друг другу, что минута подскажет. Вообще я буду прилагать все старания не утомлять Вас. Как мне ни больно Вас просить об этом, но если Вы мне позволите к Вам приехать, не откажите разрешить со мною посетить Вас и жене моей. Она женщина не навязчивая, скромная, совершенно без праздного любопытства, но любит меня давнишнею глубокою любовью и хорошая христианка... Она много чище меня сердцем. Я больше стараюсь быть чистым, чем это умею. Бывает кровь от человека природно добрая,— и тогда ему добро легко дается, само нисходит (такова жена моя). Такой крови у меня нет. И я понимаю добро, а делаю его плохо. Мотивы желания увидеть Вас — очень разнообразны. Человек — я думаю — факт природы, и бывают факты обыкновенные и чрезвычайные. С другой стороны, я один раз живу в жизни. Не увидев Вас, я нечто потеряю, но поверьте — не в смысле любопытства, которого у меня вовсе чрезвычайно мало. Но может быть я чем-нибудь поражусь, новое для себя открою, новая вереница мыслей почнется.

Вот сумма смутных причин, по которым я очень, очень хотел бы увидеть Вас. И если Вы не имеете ничего **против** — не откажитесь поручить ближним ответить мне, можем ли мы вдвоем приехать к Вам в Ясную Поляну? Ваш искренне В. Розанов (сотрудник «Нов. Вр.»).

21 января Толстой отвечал Розанову, что «еще слаб после болезни», и обещал написать, если поправится. 1 февраля Розанов вторично писал Толстому о своем желании увидеться с ним. Не получив ответа, Розанов в конце февраля пишет Толстому третье письмо: «Вам так, очевидно, несимпатична мысль о моем посещении, что прошу Вас не считать себя связанным обещанием ответить мне о времени и месте и вообще о согласии. Симпатии и антипатии — неразрешимы в доводы, доказывания. У меня есть горечь по поводу этого, но не острая и не жгучая. Тяжело быть неприятным великому человеку, но нужно уметь переносить тягости... Ответа я не буду ждать» (Государственный литературный музей. Летописи. Кн. 2. Л. Н. Толстой. М., 1938. С. 225).

На это Толстой отвечал 28 февраля 1903 г.: «Василий Васильевич, очень сожалею, что вы мое — непродолжительное — молчание несправедливо приняли за нежелание познакомиться с вами и вашей женой. Я очень медленно поправляюсь и только на днях стал выходить и почувствовал себя крепче. Надеюсь, что вы теперь исполните и ваша жена ваше намерение посетить меня. Теперь я особенно усердно прошу вас об этом, так как мне бы было очень больно думать, что я вызвал неприятное чувство в добро расположенном ко мне человеке, которого я знаю по Н. Н. Страхову. Он любил и ценил вас, а я всегда с любовью вспоминаю про много, доброго, ученого, смиренного и не по заслугам любившего меня Страхова. Надеюсь, что до свидания. Если телеграфируете, то вышлем за вами лошадей» (там же, с. 225).

С. 281. *Это было зимою, года три тому назад.* — Розанов приезжал в Ясную Поляну с женой 6 марта 1903 г.

С. 282. *А когда увидишь — удивишься.* — Здесь сделано примечание от редакции о том, что В. Розанов «не первый описывает Л. Н. Толстого как человека маленького роста. На самом деле Л. Н. выше среднего роста».

С. 284. *Трефное* — недозволенная иудейской религией пища.

Кит Китыч — см. комментарий к статье «Декаденты».

С. 285. *«Загорел»* — у Толстого «зачиврел» (Воскресенье, ч. II, гл. 5).
...прямо ответил на мой вопрос. — В рукописи статьи (ЦГАЛИ) после этого были еще два абзаца, не сохранившиеся в печатном тексте: «Из моих дочерей одна венчалась оттого, что муж ее в бытность женихом сказал, что он ни за что не вынес бы ни малейшего умаления уваженья, достоинства, престижа дорогой ему девушки... Муж другой дочери, напротив — искренний и страстный борец против церковной обрядности, идеалист и герой этой борьбы. И он сказал: «Мне легче повеситься на березе, чем пойти в церковь и совершить обряд, до такой степени враждебный всему строю моих чувств». И они живут так, не венчавшись. В виду дорогой мне темы я позволяю себе передать этот рассказ, да и что он значит перед Катюшкой Масловой, ребеночек которой ведь «зачиврел». Ведь этого не должно быть. Нигде, никогда...»

В книге «Уединенное» (с. 123) Розанов предлагает несколько иную версию этой части беседы с Толстым.

ГОГОЛЕВСКИЕ ДНИ В МОСКВЕ

Впервые вариант статьи под этим названием: Новое время. 1909. 3 и 8 мая. № 11903, 11908. Печатается по кн.: Розанов В. В. Среди художников. СПб.: Суворин, 1914. С. 257—263, с двойной датой: 1909—1913 гг.

Розанов был одним из корреспондентов «Нового времени» на юбилейных Гоголевских торжествах в Москве по случаю 100-летия со дня рождения писателя. В первоначальном варианте статьи о памятнике Гоголю говорится: «Модель памятника, поставленного на столе, в комнате, дает одно впечатление; но памятник в натуре, на площади, среди движущегося народа, вырезавшийся на фоне неба или зеленых куп деревьев, дает совершенно новое впечатление, ничего общего с прежним не имеющее. И то, и не то. Черты те же, но соотношения с окружающим другие, соотношение с небом, с воздухом; наконец, совсем разная даль, с расстояния которой рассматриваются модель и памятник. Эту разницу впечатлений единственно можно объяснить происхождение главного недостатка памятника Гоголю, о котором до сих пор почему-то не говорилось и который сводит значение памятника почти к нулю».

Статья Розанова в «Новом времени» заканчивается взглядом на памятник со стороны Арбатской площади: «Все едущие и идущие по ней видят вовсе не Гоголя, а сажающуюся на скалу летучую мышь с широко раскрытыми крыльями. Таково ужасное впечатление памятника *в целом*, — впечатление даже не издали, а только на некотором расстоянии. Я уходил и все оглядывался. Вот я на

средине площади, откуда проезжающие будут взглядывать на памятник: теперь и «летучей мыши» не видно, вообще не видно ничего, кроме серой неопределенной громады. Бедный Андреев, что же он сделал? Он положил тщательно сделанный рисунок головы больного писателя на высокую поленницу, откуда ее прежде всего не видно. Главный недостаток памятника не тот, о котором писали; главный недостаток в том, что это вообще не есть *городской* памятник, который был бы *сразу* и *отовсюду* виден в своем центре, *фигуре писателя*. — виден и понятен. Это стенная интересная акварель для выставки, для галереи, для комнаты, которая теряет все в себе, теряет всякий смысл, будучи вынесена на улицу, поставлена перед площадью, среди зданий».

С. 287. *Заупокойная литургия...* — Торжества начались в 9 часов утра заупокойной литургией в храме Христа Спасителя, на которой среди прочих присутствовал сын Пушкина. (А. А. Пушкин). По окончании богослужения направились средней аллеей Пречистенского (ныне Гоголевского) бульвара к памятнику, занимавшему конец бульвара у Арбатской площади.

А. Е. *Грузинский*, произнес речь... — Его речь начиналась словами: «Миг вожделенный настал, миг, завершающий давно предпринятое дело. Завеса спала, и перед нами увековечен образ одного из славнейших сынов России. Памятник есть не только торжественное признание гения благодарным потомством, — он есть вместе и начало его второй, новой известности» (Новое время. 1909. 27 апреля. № 11897).

С. 289. *...не находя себе приюта.* — Здесь и далее отточия в тексте статьи Розанова.

Б. З. — писатель Борис Зайцев (1881—1972), который вспоминал о «ночном рауте в Думе»: «Мы засели с Василием Розановым. Кто-то подсаживался, кто-то отсаживался, лакеи таскали бутылку за бутылкой шампанского — могу сказать, хорошо я тогда узнал Розанова... — всю повадку его, манеру, словечки, трепетный блеск небольших глазок, весь талант, зажившийся чувственностью, женщиной. Очень был он блестящ и мил в ту дальнюю ночь гоголевских торжеств» (Зайцев в Б. Гоголь на Пречистенском // Литературная учеба. 1988. № 3. С. 117).

С. 290. *...речь харьковского проф. Багалея...* — Отчет о Гоголевских торжествах и речь Д. И. Багалея «Эволюция художественного творчества Н. В. Гоголя» опубликованы в книге: Гоголевские дни в Москве. М.: Об-во любителей российской словесности, 1910.

...дерзка речь Брюсова... — 27 апреля 1909 г. на торжественном заседании Общества любителей российской словесности В. Я. Брюсов произнес речь, опубликованную под названием «Испепеленный» (Весы. 1909. № 4) и выпущенную тогда же отдельным изданием. В ней Брюсов заявил, что «после критических работ В. Розанова и Д. Мережковского невозможно более смотреть на Гоголя как на последовательного реалиста, в произведениях которого необыкновенно верно и точно отражена русская действительность его времени».

...о службе Гоголя в Московском университете... — Имеется в виду речь

проф. М. Н. Сперанского «Н. В. Гоголь и Московский университет». В 1845 г. Гоголь был избран почетным членом Московского университета, преподавал же всеобщую историю он в 1834—1835 гг. в Петербургском университете.

С. 291. ...при открытии памятника Пушкину в Москве...— Открытие памятника работы А. М. Опекушина состоялось 6 июня 1880 г. на Тверском бульваре. 14 августа 1950 г. памятник был перемещен на другую сторону ул. Горького (на место снесенного Страстного монастыря). Речи Тургенева и Островского на Пушкинских торжествах были произнесены 7 июня, а Достоевского — 8 июня 1880 г.

ОТЧЕГО НЕ УДАЛСЯ ПАМЯТНИК ГОГОЛЮ?

Впервые: Журнал театра Литературно-художественного общества. 1909. № 2. С. 9—12. Печатается по кн.: Розанов В. В. Среди художников. СПб.: Суворин, 1914. С. 272—282.

В статье речь идет о памятнике Гоголю работы скульптора Н. А. Андреева (1873—1932), открытие которого состоялось 26 апреля 1909 г. После открытия в 1952 г. нового памятника Гоголю (на том же месте Гоголевского бульвара) памятник работы Андреева был установлен в 1959 г. во двор дома № 7 по Суворовскому бульвару, где умер Гоголь.

С. 293. ...на могиле Гоголя в Даниловом монастыре...— 31 мая 1931 г. прах Гоголя и памятник перенесены на кладбище Новодевичьего монастыря.

С. 294. ...родственны с «Перепискою» Гоголя.— Ср. высказывание Л. Толстого в письме П. И. Бирюкову 5 октября 1887 г.: «Очень меня заняла последнее время еще Гоголя «Переписка с друзьями». Какая удивительная вещь! За 40 лет сказано, и прекрасно сказано, то, чем должна быть литература. Пошлые люди не поняли, и 40 лет лежит под спудом наш Паскаль».

С. 296. Легко Фальконету было делать Петра...— Памятник Петру I на Сенатской площади в Петербурге работы французского скульптора Э. М. Фальконе (1716—1791) был открыт в 1782 г.

Памятник Крылову — открыт 14 мая 1855 г. в Летнем саду в Петербурге. Автор П. К. Клодт (1805—1867) представил писателя, по словам В. В. Стасова, «без всяких прикрас и без малейшей идеализации».

С. 297. «История генералов 12-го года». — Имеется в виду вторая глава второго тома «Мертвых душ» Гоголя.

С. 298. «Темно... Боже, как темно...» — перефразировка мыслей из «Авторской исповеди» Гоголя.

«Боже, как грустна наша Россия!» — Гоголь. Четыре письма к различным лицам по поводу «Мертвых душ» (письмо третье) — гл. 18 в «Выбранных местах из переписки с друзьями».

...ответ Чаадаеву.— Письмо Пушкина П. Я. Чаадаеву 19 октября 1836 г., не отправленное адресату в связи с репрессиями, постигшими Чаадаева.

Впервые: Русское слово. 1910. 17 января. № 13. Подпись: В. Варварин. Печатается по кн.: Чеховский юбилейный сборник. 1860 — 17 января — 1910. М.: Сытин, 1910. С. 179—186. Подпись: В. Варварин.

В статье на смерть Чехова (Писатель-художник и партия//Новое время. 1904. 21 июля. № 10196) Розанов писал: «Смерть Чехова, во всякое время грустная, не почувствовалась бы так особенно остро, как ныне, будь иное литературное время. Но теперь, когда он стоял сейчас за Толстым, когда около Чехова и в уровень с ним называлось только имя автора «Слепого музыканта» (Вл. Короленко), и то почти переставшего писать; когда и в Европе торчит каким-то бесстыдным флагом только «всемирное имя» Габриэля д'Аннунцио, и больше назвать некого, т. е. назвать сразу, без колебаний — потеря эта чувствуется чрезвычайно».

С. 300. ...в «Листках»...— Первые рассказы Чехова печатались с 1880 г. в юмористических и сатирических журналах «Стрекоза», «Будильник», «Зритель», «Москва» и др.

Фонарики-сударики...— стихотворение И. П. Мятлева «Фонарики» (1844).

...«о прогрессе истории», о «правде-истине»...— Имеются в виду статьи Н. К. Михайловского «Что такое прогресс?» (1869), «Вольница и подвижники» (1877), «Письма о правде и неправде» (1877), «Герои и толпа» (1882). Михайловскому принадлежит несколько статей о Чехове («Об отцах и детях и о г. Чехове», «Палата № 6»), опубликованных в его сборнике «Литература и жизнь» (1892) и в 6-м томе Сочинений (СПб., 1897).

С. 301. *Напрасно ухо поражая*...— Пушкин. Поэт и толпа.

С. 302. *Но в полдень нет уж той отваги*...— Пушкин. Телега жизни.

С. 303. *В тысяче мук я есмь*.— Достоевский и Ф. М. Т. 15. С. 31.

ДОМИК ПУШКИНА В МОСКВЕ

Впервые: Новое время. 1911. 12 марта. № 12571. С. 13.

Печатается по кн.: Розанов В. В. Среди художников. СПб., 1914. С. 349—352.

Вопрос о месте рождения Пушкина имеет длительную историю. В 1880 г. во время торжеств в связи с открытием памятника Пушкину на доме 27 по Немецкой улице, где родился поэт, Московская городская дума установила памятную доску, которая в 1927 г., согласно новым разысканиям, была перенесена на дом 10. В 30-е г. этот дом был сломан и на его месте выстроена школа (ныне дом 40 по Бауманской ул.). Новейшие исследования утверждают, что Пушкин родился в ином месте того же района, а именно в доме 4 по Малой Почтовой, который сгорел в 1812 г.; ныне на его месте находится школьная столовая № 25 (Куранты. Историко-краеведческий альманах. М., 1983).

С. 305. ...*домик во Франкфурте-на-Майне...* — В домике Гете//Русское слово. 1910. 15 июля. № 161. Подпись: В. Варварин.

С. 306. «*Старые годы*» — журнал «Старые годы. Ежемесячник для любителей искусства и старины», издавался в Петербурге в 1907—1916 гг.

С. 307. *Бодрстай!* — Афоризм Козьмы Пруткова (коллективный псевдоним и сатирический образ, созданный в 1850—1860-е гг. А. К. Толстым и братьями Жемчужниковыми) приведен неточно. У Пруткова: «БДИ!»

...*домик Лермонтова в Пятигорске...* — Розанов побывал в Пятигорске в 1907 г. и один из первых выступил за организацию там музея, напечатав в «Новом времени» (1908, 16, 23 и 30 июня) статью «Домик Лермонтова в Пятигорске».

ВОЗЛЕ «РУССКОЙ ИДЕИ»...

Впервые: Обмен духовных ценностей//Русское слово. 1911. 19 июля. № 165. Подпись: В. Варварин (вторая часть статьи).

В архиве Розанова его примечание: «Начало отказались печатать и сохранилось в рукописи» (ГБЛ). Печатается по кн.: Розанов В. В. Среди художников. СПб., 1914. С. 353—379.

С. 308. *Г-н Т. Ардов напечатал...* — Статьи постоянного сотрудника газеты «Утро России» Т. Ардова о настоящем и будущем России печатались в газете в июне 1911 г. («Мысли о будущем», «О новой России», «Еще о новой России»). Розанов цитирует статью Ардова «О русских судьбах» (Утро России. 1911. 5 июня. № 128), перепечатано в кн.: Ардов Т. Судьбы России. М., 1918. С. 11—16.

...«*второстепенное место*»... — Достоевский Т. 13. С. 135.

С. 309. «*Своя же мысль...*» — глава «Черт. Кошмар Ивана Федоровича» в «Братьях Карамазовых».

«*Россия-с, Марья Ивановна...*» — неточный пересказ беседы Смердякова с Марьей Кондратьевной из главы «Смердяков с гитарой» в «Братьях Карамазовых».

Дьявол с Богом борется... — слова Мити Карамазова (Достоевский Ф. М. Т. 14. С. 100).

Народ-Богоносец — пересказ мыслей из романа Достоевского «Бесы» (т. 10. С. 196 и след.).

С. 310. «*Смирись, гордый человек!*» — из речи Достоевского о Пушкине, произнесенной 8 июня 1880 г. (Т. 26. С. 139).

С. 311. *Печальный демон, дух изгнания...* — начало «Демона» Лермонтова.

С. 313. ...«*по ту сторону Вержболова*»... — Через эту пограничную станцию на прусской границе осуществлялся главный ввоз иностранных товаров в северную столицу.

...«*проехаться по стране*»... — Имеется в виду глава 20 («Нужно проездиться по России») из книги Гоголя «Выбранные места из переписки с друзьями».

...он заблудился на медвежьей охоте.— Мемуары князя Бисмарка/Пер. М. Полтавского. СПб., 1899. С. 47—48.

С. 314. ...«*грабь!*»... «*хапать*»...— образцы так называемой «народной этимологии», т. е. чисто внешнего сближения слов различного происхождения.

С. 315. ...«*приидите володеть и княжити над нами*».— Из начальной русской летописи «Повесть временных лет» о призвании варягов («Да поидете княжить и володети нами»).

С. 316. ...«*пусть умная нация покорит глупую*».— Неточная цитата из «Братьев Карамазовых» Достоевского (т. 14, с. 205).

С. 317. ...*как шея движениями своими ставит так и этот голову*...— К. Н. Леонтьев писал Розанову 24 мая 1891 г.: «Один 40-летний супруг, жену свою любивший неизменно и нежно в течение 20 лет и вполне ею довольный, говорил мне, однако, не раз: «Муж должен быть главою, но пусть хорошая жена вертит им так, как шея вертит голову. Кажется, будто голова сама вертится, а вертит ее шея; не надо, чтобы жена видимо командовала, это скверно». И я совершенно с ним согласен» (Русский вестник. 1903. № 5. С. 155—156).

...«*всемирную отзывчивость русских*»...— Достоевский и Ф. М. Пушкин (Т. 26. С. 145—146).

...*настоящим европейцем был один я*...— пересказ слов Версилова из романа Достоевского «Подросток» (Т. 13. С. 377).

С. 319. «*Добавления к запискам господина Манштейна*» — «Замечания на записки Манштейна о России 1724—1744 гг., написанные в 1770-х годах» Иоганна Эрнста Миниха (1707—1788). (СПб., 1817; 2-е изд.— 1891).

С. 321. «*Воспоминания о Лесгафте*».— Педагог и врач П. Ф. Лесгафт (1837—1909) был в 1871 г. отрешен от профессуры в Казанском университете, о чем В. Фигнер вспоминает в статье «Две встречи (П. Ф. Лесгафт, 1871—1907)» (Русское богатство. 1910. № 12. Отд. 2. С. 80—91).

Печорин, странный идеалист 40-х годов...— Розанов ссылается на кн.: Гершензон М. О. Жизнь В. С. Печерина. М.: Кушнерев, 1910. 226 с. (Исторические записки).

...*Ульяны Осоргиной, о которой читал Ключевский*...— В статье «В. О. Ключевский о древней Руси» (Русский вестник. 1892. № 7. С. 213—227) Розанов излагал работу Ключевского «Добрые люди древней Руси» (Сергиев Посад, 1892): «В 1601—1603 годах, во время посетившего Россию голода, жила в своем имении вдова-помещица... Ульяна Устиновна Осорьяна. Это была простая, обыкновенная добрая женщина древней Руси» (перепечатано в книгах Розанова «Религия и культура» и «Природа и история»).

...«*собирала больных кошечек, больных птичек*»...— Тургенев. Накануне, гл. 6.

...*вы сами устали*...— пересказ эпизода из романа Л. Толстого «Воскресение» (ч. III, гл. 2).

С. 322. *Минувший год в Наугейме*...— Летом 1910 г. Розанов путешествовал по Германии и побывал в Бад-Наугейме.

...*больше всего о Тургеневе*.— В статье «Отцы воспитатели русского об-

щества» Розанов вспоминал об американке, встретившей в Наугейме русскую собеседницу, с которой она нашла общий язык благодаря Тургеневу: «По Тургеневу все русские персонажи, русская жизнь, русские особенные понятия — ей сделались «своими», гораздо более понятными и близкими, нежели американские, касающиеся "промышленности и торговли"» (Новое время. 1915. 4 июля. № 14121).

ВОЗВРАТ К ПУШКИНУ

(К 75-летию дня его кончины) 27 января 1837—27 января 1912 года

Впервые: Новое время. 1912. 29 января. № 12889. С. 5.

Печатается по кн.: Розанов В. В. Среди художников. СПб., 1914. С. 404—410. 27 января (8 февраля) состоялась роковая дуэль Пушкина.

С. 326. ...суд глупца и смех толпы холодной...— Пушкин. Поэту.

«Летопись села Горохина» — см. комментарий к статье «Вечно печальная дуэль».

С. 327. «Посредник» — книжное издательство просветительного характера, возникшее в 1884 г. в Петербурге по инициативе Л. Н. Толстого и под руководством В. Г. Черткова (с 1892 г.— в Москве). Существовало до 1935 г.

...в редакции ученого Леонида Майкова...— Под редакцией и с примечаниями Л. Н. Майкова (1839—1900) в 1899 г. вышел первый том Сочинений Пушкина в издании Академии наук. Он же автор труда «Пушкин. Биографические материалы и историко-литературные очерки» (1899).

«Дни и труды Пушкина» (1903) — одна из ранних работ пушкиниста Н. О. Лернера (1877—1934). Позднее Розанов переписывался с Лернером (ЦГАЛИ).

С. 328. «Былины, собранные Рыбниковым». — Речь идет о сборнике «Песни, собранные П. Н. Рыбниковым» (1861—1867, т. 1—4), включившем записи былин, исторических песен и баллад Севера.

«ума холодных наблюдений»...— Пушкин. Посвящение к «Евгению Онегину».

...любовью к минувшим дням Анненкова...— Имеются в виду мемуары критика П. В. Анненкова (1812/1813—1887) «Замечательное десятилетие. 1838—1848» (1880). Он подготовил первое научное издание Сочинений Пушкина в 7 томах (1855—1857).

С. 329. ...в «Фаусте» и в «Аде» Данте...— Пушкин. Сцена из «Фауста» (1825) и строки в «Евгении Онегине» (III, 22):

Я знал красавиц недоступных,
Холодных, чистых как зима...
Над их бровями надпись ада:
Оставь надежду навсегда,

которые Пушкин сопроводил примечанием: «Скромный автор наш перевел только первую половину славного стиха».

...ты думаешь тогда, когда не думает никто.— Неточная цитата из «Сцены из «Фауста» Пушкина (слова Мефистофеля).

Над вымыслом слезами обольюсь...— Пушкин. Элегия.

С. 330. «Анафема».— Имеется в виду драма Л. Н. Андреева «Анатэма» (1910).

ОПАВШИЕ ЛИСТЬЯ

Короб второй и последний

Печатается по кн.: Розанов В. Опавшие листья. Короб 2-й. Пг.: Суворин, 1915. Впервые восстановлены цензурные пропуски.

В письме Э. Голлербаху 7 июня 1918 г. Розанов, готовивший продолжение «Опавших листьев», пишет: «Вы знаете, что мое "Уед." и "Оп. л." в значительной степени сформированы под намерением начать литературу с другого конца: вот с конца этого уединенного, уединения, "сердца" и "своей думки"» (Письма В. В. Розанова к Э. Голлербаху. Берлин, 1922. С. 41). Позднее, в августе 1918 г., он писал: «В "Опав. листьях" я дал в сущности "всего себя"» (Там же, с. 53). В прижизненном издании каждая запись второго короба «Опавших листьев» напечатана не с новой страницы, как в первом коробе, а подряд, причем записи отделялись друг от друга графической заставкой. Мы сохраняем такое расположение текста.

С. 331. ...отступаю от прежней формы...— В «Уединенном» (СПб., 1912) и в первом коробе «Опавших листьев» (СПб., 1913) каждая мысль была напечатана с новой страницы.

С. 333. ...девочка на вокзале...— Запись в «Уединенном»: «Не додашь чего — и в душе тоска. Даже если не додашь подарок (Девочка на вокзале, Киев, которой хотел подарить карандаш-«вставочку»; но промедлил, и она с бабушкою ушла). А девочка та вернулась, и я подарил ей карандаш. Никогда не видала, и едва мог объяснить, что за «чудо». Как хорошо ей и мне» (114).

...вентилятор.— Запись в «Уединенном»: «Томительно, но не грубо свистит вентилятор в коридорчике: я заплакал (почти): «Да вот чтобы слушать его — я хочу еще жить, а главное друг должен жить». Потом мысль: «Неужели он (друг) на том свете не услышит вентилятора»; и жажда бессмертия так схватила меня за волосы, что я чуть не присел на пол» (138).

С. 334. Рел<игиозно>-фил<ософское> собрание — организовано в Петербурге в ноябре 1901 г. Среди его учредителей были Д. В. Философов, Д. С. Мережковский, Розанов и др. В январе 1914 г. Розанов был осужден на заседании Религиозно-философского общества за свои выступления в печати, а в феврале того же года подал заявление о выходе из него (Записки С.-Петербургского Религиозно-философского общества. Пг., 1914. Вып. 4).

С. 335. ...«друг» — так Розанов называет в этой книге свою вторую жену Варвару Дмитриевну (урожд. Руднева, 1864—1923), брак с которой был «незаконный» с точки зрения церкви, поскольку в 1880 г. он венчался первым бра-

ком с А. П. Суловой, которая, покинув его в 1886 г., не давала ему развода, и Розанов был вынужден подавать прошение на высочайшее имя царя, чтобы узаконить своих детей от брака с В. Д. Рудневой, венчание с которой 5 мая 1891 г. было тайным.

С. 336. *«Ты тронь кожу его»*... — Библия. Книга Иова, II, 4—5.

...*«крестом или камиллавкой»*... — Вместо этих слов в предварительной публикации «Смертное» (СПб., 1913, домашнее издание в 60 экземпляров) читаем: «Набедренником и какие еще им там полагаются "прибавки к благодати" и в сущности в "благодатном расположении начальства"» (с. 10).

Устьинский Александр Петрович (1854—1922) — священник в Новгороде, с которым Розанов переписывался в 1903—1918 гг. Церковный суд счел эту переписку неподобающей сану священника и потребовал ее прекращения. Устьинский был сослан в Хутынский монастырь на покаяние.

...*кому стать «на коврике»*. — Розанов, очевидно, вспоминает слова К. Н. Леонтьева, писавшего 24 мая 1891 г. в связи с известием о женитьбе Розанова: «Прошу вас, какова бы ни была ваша невеста, — станьте первый на коврик... Если она кроткая, ей это понравится, если вспыльчивая, тем *нужнее это*» (Русский вестник. 1903. № 5. С. 157).

С. 337: *Балалайки* — персонаж в произведениях Салтыкова-Щедрина «В среде умеренности и аккуратности», «Современная идиллия», «Письма к тетеньке», «За рубежом», «Сказки» — адвокат, молодой человек с «томно-самодовольным выражением лица».

...*арестовали «Уедин.»*... — Книга Розанова вышла в марте 1912 г., но была 6 марта конфискована цензурой за «порнографию» и в продажу поступила в мае (Утро России. 1912. 13 мая). Об этом Розанов писал в статье: Тема и Боккачио, и Сократа (О цензуре)//Новое время. 1912. 1 мая. № 12979.

С. 338. ...*Совет Страхова*... — Личное знакомство Розанова с Н. Н. Страховым (1828—1896) состоялось весной 1889 г. История их взаимоотношений нашла отражение в кн.: Розанов В. В. Литературные изгнанники. СПб., 1913. Т. 1 (Н. Н. Страхов и Ю. Н. Говоруха-Отрок).

С. 339. *Обреченные на смерть тебя приветствуют* — слова, которыми идущие на битву гладиаторы приветствовали римского императора Клавдия (10 до н. э.— 54 н. э.). Выражение встречается у Светония в «Жизни двенадцати цезарей».

С. 340. *«И вот, в XXI столетии...»* — Розанов дает свой пересказ мыслей Достоевского из его письма Страхову 18 (30) мая 1871 г. в связи с Парижской коммуной.

С. 341. *Процесс Бутурлина*. — За отравление офицера гвардейского полка В. Д. Бутурлина, скончавшегося 11 мая 1910 г., граф П. П. О'Бриен де-Ланси и доктор В. К. Панченко были приговорены к каторге на процессе, проходившем в январе — феврале 1911 г. (Дело об отравлении В. Д. Бутурлина. М., 1911).

Измайлов (кригик)... — Александр Алексеевич Измайлов (1873—1921) под псевдонимом Аякс опубликовал в «Биржевых ведомостях» (1912. 21 ноября. № 13260) статью к 30-летию литературной деятельности Розанова.

С. 343. *Начал «переживать» Метерлинка...*— Речь идет о его книге «Сокровища смиренных», как свидетельствовал сам Розанов в книге: Письма А. С. Суворина к В. В. Розанову: СПб., 1913. С. 169. Розановым написано послесловие к книге: Метерлинка М. Соч.: В 3 т. СПб., Пирожков, <1907>. С. 345—350.

С. 345. *Тогда пойдут иные речи...*— перефразировка строки из басни Крылова «Квартет» (1811): «Тогда пойдет уж музыка не та».

...«всемирная скука»...— Первая глава книги Розанова «Когда начальство ушло... 1905—1906 гг.» (СПб.; 1910) называется «Всемирная скука».

Савва в рассказе Максима Горького...— Очевидно, речь идет о драме Л. Андреева «Савва» (1906). Прототипом Саввы послужил изобретатель-самоучка Уфимцев, который пытался в знак протеста против религии взорвать икону Курской богородицы.

«*Политики*» стали пятой на горло...— Теме безнравственности политики в современном мире посвящены многие статьи Розанова, в частности об убийстве П. А. Столыпина (Перед гробом Столыпина//Новое время. 1911. 1 октября. № 12 771).

С. 347. *Прекрасно «начинались» папы...*— С V в. римские епископы присвоили себе название «папа». Лев I (папа в 440—461), когда гунны во главе с Атилой в 452 г. подошли к Риму, был послан с дарами, чтобы удержать завоевателя от разграбления «вечного города». По преданию, его красноречие спасло Рим от гуннов.

Тридентский собор — см. комментарий к статье «Легенда о Великом инквизиторе».

...*нападение на меня Струве...*— В статье «Большой писатель с органическим пороком» (Русская мысль. 1910. № 11. Отд. 2. С. 138—146) П. Б. Струве писал: «Розанов не то что безнравственный писатель, он органически безнравственная и безбожная натура».

С. 348. *К новому влечет душа* — начало «Метаморфоз» Овидия.

«*Мы же в руках Божиих...*» — Библия. Книга Иова, XXVII, 11.

...*да будет благословенно имя Господне...*» — Там же, I, 21.

С. 350. *Рахиль* — в Библии дочь Лавана, жена Иакова, мать Иосифа и Вениамина. *Лиля* — старшая дочь Лавана, первая жена Иакова.

С. 351. *Шуточки Тургенева над религией...*— Розанов писал: «„Страшно то, что нет ничего страшного“, — сказал грустный Тургенев: он просмотрел в себе то, о чем тосковал... Не есть ли это темное ведение — ужасная тайна, гораздо более ужасная, чем все пугающие фокусы „Песни торжествующей любви“, коица, в предвидении незримой ночи, он играл под старость!» (Религия и культура. СПб., 1899. С. 242). В статье «Из судеб русской литературы и общественной» Розанов замечает о Тургеневе: «Ему невозможно было не стать скептиком: но самый скептицизм его — как тепло он выражен в „Добольно“ и в „Призраках“! Историк сказал бы: „Уж если отречься от Бога, то — с Тургеневым“» (Новое время. 1914. 2 мая. № 13698.).

С. 353. *Даже* — «Индия» есть. — «Копейкин мой всталился кое-как с своей деревяшкой в приемную, прижался там в уголку себе, чтобы не толкнуть локтем,

можете себе представить, какую-нибудь Америку или Индию — раззолоченную, понимаете, фарфоровую вазу эдакую» («Повесть о калитане Копейкине» в X главе «Мертвых душ» Гоголя).

С. 355. *Вдова Сарепты Сидонского* — Библия. Третья книга Царств, XVII, 9—16.

Иов «до несчастия» — библейский образ долготерпения среди обрушившихся на некогда богатого и счастливого человека несчастий.

«ее же не преjdeши»... — Библия. Книга Иова, XXXVIII, 11.

Бывало... — Вместо строчек отточия в предварительной публикации (Смертное. СПб., 1913. С. 52) рассказывается о Шуре, дочери жены Розанова от ее первого брака (Александра Михайловна Бутягина, 1883—1920).

С. 356. *...идя из Окруж. Суда, — об «Уед.»: затмение солнца, — затмение солнца в Петербурге происходило 17 апреля 1912 г.*

С. 357. *...полемика со Слонимским...* — статья Н. К. Михайловского «„Страшен сон, да милостив Бог“ (Несколько слов Л. Слонимскому)», появившаяся впервые в журнале «Русская мысль» (1889. № 3, 5 и 6), вошла в 10-й том Полного собрания сочинений Михайловского (СПб., 1913. С. 97—186).

С. 358. *«Русское слово»* — ежедневная газета, выходившая в Москве в 1895—1917 гг., в которой в 1906—1911 гг. под псевдонимом В. Варварин печатался Розанов. *Баян* — псевдоним публициста Александра Степановича Рославлева (1879—1920).

Поэт Майков (Ап. Н.) смиренно ездил в конке. — А. Ремизов приводит рассказ Розанова о нелегких годах его службы в Государственном контроле: «Едешь, бывало, на конке наверху. А Вл. С. Соловьев в коляске катит. Нет, вы этого никогда не поймете, никогда, никогда!» (Ремизов А. Кукха. Розановы письма. Нью-Йорк: Серебряный век, 1978. С. 33).

С. 359. *...ругают Шварца.* — Сенатор, член Государственного совета А. Н. Шварц, о неблагоприятных поступках которого Розанову писал в 1911 г. основатель и первый директор Музея изящных искусств им. Александра III (ныне Музей изобразительных искусств им. А. С. Пушкина) И. В. Цветаев.

С. 361. *...«печной горшок»...* — «Печной горшок тебе дороже: ты пищу в нем себе варишь» (Пушкин. Поэт и толпа).

С. 362. *Когда Муравьев...* — Речь идет о книге Андрея Николаевича Муравьева (1806—1874), русского религиозного писателя, «Путешествие ко святым местам в 1830 году» (СПб., 1832), выдержавшей восемь изданий.

...смерти Вольтера. — Вольтер умер 30 мая 1778 г. Церковники, не добившись от него полного отречения от его «безбожия», запретили хоронить его. Аббат Миньо, племянник писателя, ночью 31 мая усадил мертвого Вольтера в карету и через 12 часов бешеной скачки доставил в аббатство Сельер в Шампани, где и захоронил.

С. 363. *Литературный фонд* (Общество для пособия нуждающимся литераторам и ученым) — основан в Петербурге в 1859 г. и выступал в поддержку демократических писателей, в частности М. Горького.

Это Федька каторжник...— Имеются в виду разговоры Ставрогина и Федьки Каторжника в «Бесах» Достоевского (ч. II, гл. 2, § 1 и 4).

«Семейный вопрос в России» (1903) — двухтомный сборник статей Розанова о браке, семье и разводе (рец. Евг. Иванова в «Новом пути», 1904, № 7).

«Сумерки просвещения» (1899) — сборник статей Розанова по вопросам образования, о гимназической рутине (первоначально печатались в журн.: Русский вестник. 1893. № 1—6).

С. 364. «Трейхмюллер». — Имеется в виду немецкий философ Густав Тейхмюллер (1832—1888).

С. 365. *Вставай, подымайся, рабочий народ...* — К. Ж. Руже де Лиль. Марсельеза (1792).

...Берг вычеркнул... — редактор журнала «Русский вестник» Федор Николаевич Берг (1840—1909). В первом полугодии 1893 г. в журнале печаталась серия статей Розанова «Сумерки просвещения».

...Алкивиад, отрубивший хвост у дорогой собаки... — «У Алкивиада была собака, удивительно красивая, которая обошлась ему в семьдесят мин, и он приказал отрубить ей хвост, служивший животному главным украшением. Друзья... рассказывали Алкивиаду, что все жалеют собаку и бранят хозяина, но тот лишь улыбнулся в ответ и сказал: „Что ж, все складывается так, как я хочу. А хочу я, чтобы афиняне болтали именно об этом,— иначе как бы они не сказали обо мне чего-нибудь похуже!“» (П л у т а р х. Сравнительные жизнеописания. М., 1961. Т. 1. С. 277).

С. 366. *Буди! Буди!* — название главы в «Братьях Карамазовых» Достоевского (ср. Евангелие от Матфея, XXIV, 34).

«Такой книге нельзя быть»... — З. Гиппиус писала (под псевдонимом А. Крайний) в рецензии на книгу Розанова «Уединенное»: «Нельзя! нельзя! не должно этой книге быть!» (Русская мысль. 1912. № 3. Отд. 3. С. 29).

С. 367. «О древней культуре тарентийцев». — Имеется в виду латинская книга: Lorentz R. De civitate veterum Tarentinorum. Lipsiae, 1833.

С. 368. «Встань, спящий» — еженедельная газета, выходившая в Тифлисе с апреля по июль 1906 г. под редакцией священника И. П. Брихинцева (у Розанова — Брихинцев). Издание было приостановлено генерал-губернатором на время действия военного положения. Выходила также под названиями: «Ходите в свете», «Встань и иди», «Вы еще спите?», «Духа не угашайте» и др.

С. 369. ...*(в своих изданиях) П. П. Перцов...* — В 1899 г. П. П. Перцов выпустил три книги статей Розанова: «Литературные очерки», «Сумерки просвещения. Сборник статей по вопросам образования», «Религия и культура», а в 1900 г. его книгу «Природа и история. Сборник статей по вопросам науки, истории и философии».

...я вторично выступил в литературу в 1889 году... — В этом году в печати появились первые статьи Розанова: «Вопрос о происхождении организмов» (Русский вестник. 1889. № 5. С. 311—316; перепечатано в книге «Природа и история»); «Органический процесс и механическая причинность» (ЖМНП.

1889. № 5; перепечатано под названием «Вопрос о происхождении организмов» в книге «Природа и история»; «Отречение дарвиниста» (Московские ведомости. 1889. 21 октября. № 291).

С. 370. *Jean Chrisostome* — Иоанн Златоуст (344/354—407) — константинопольский патриарх, идеолог восточнохристианской церкви. Приведенные стихи — из поэмы А. К. Толстого «Грешница» (1858), где речь идет об апостоле Иоанне-евангелисте.

Когда Надежда Романовна уже умирала... — Сотрудница религиозного журнала «Паломник» Н. Р. Щербова умерла в Петербурге 12 мая 1911 г. в возрасте 40 лет. Розанов написал некролог «Невидимые хранители церкви (Памяти Н. Р. Щербовой)» (Новое время. 1911. 17 мая. № 12635). В «Опасных листьях» дан портрет ее.

С. 371. «*Оправдание добра*» (1897) — трактат Вл. С. Соловьева, имеющий подзаголовок «Нравственная философия» (Собр. соч. СПб., 1911. Т. 8).

С. 375. «*Никого нет, кто вошел бы к нам...*» — Библия. Бытие, XIX, 31—32.

С. 376. *Тертий* — писатель-славянофил Тертый Иванович Филиппов (1825—1899), под началом которого Розанов работал в Государственном контроле.

Печальный и пр. и пр. — начало «Демона» Лермонтова.

С. 377. *...обо мне писали Мережковский, Волжский, Закржевский... у Чуковского... о давлении крови, о температуре, о множестве сердец...* — Мережковский Д. С. Мистический хулиган//Мережковский Д. С. В тихом омуте. СПб., 1908. С. 239—256; Волжский <Глинка А. С.>. Мистический пантеизм В. В. Розанова//Новый путь. 1904. № 12 и Вопросы жизни. 1905. № 1—3 (то же в его книге: Из мира литературных исканий. СПб., 1906. С. 299—402); Закржевский А. Карамазовщина: Психологические параллели. Киев, 1912. С. 6—94; Закржевский А. Религия: Психологические параллели. СПб., 1913. С. 266—301; Мережковский Д. С. Розанов//Русское слово. 1913. 1 июня. № 125 (то же в его книге: Было и будет. СПб., 1915. С. 219—236). К. И. Чуковский в «Открытом письме В. В. Розанову» (Речь. 1910. 24 октября; то же в его кн.: Книга о современных писателях. СПб., 1914. С. 168—180) писал: «Я читал Ваши прежние книги. В них как будто не одно, а тысяча сердец, и каждое полно каким-то горячим вином, в каждом — этот изумительный «зеленый шум, весенний шум»... Есть у Вас такие страницы, к которым, кажется, если приложишь руку, то почувствуешь теплоту и биение крови».

...деревянные попы<...> над которыми все смеялись... — Вместо этой части в тексте книги восемь строк отточия. Восстановлено по предварительной публикация в книге «Смертное» (с. 38—39).

С. 378. *...брошенный — без моей вины.* — Первая жена оставила Розанова в 1886 г.

...при умирании третьего. — Речь идет о смерти учителя И. Ф. Петропавловского в марте 1888 г., у гроба которого произошло знакомство Розанова с

его будущей женой В. Д. Бутягиной (Петропавловский снимал комнату в доме ее матери).

Тá же судьба<...> «яблоко очень просто падает на землю» от того-то.— Вместо этого отрывка в тексте восемь строк отточия. Восстановлено по книге «Смертное» (с. 40—44).

С. 380. *...именно оттого, что вы «отец» и «дочка»<...> «Как все».*— Вместо этого отрывка в тексте пять строк отточия. Восстановлено по книге «Смертное» (с. 45—46).

И вышли<...> в 1896 или 1897 году.— Эта заключительная часть пропущена в тексте. Восстановлено по книге «Смертное» (с. 46—48).

С. 381. «Графиня-Преступница».— Шерлок Холмс. Вып. 19. Графиня-преступница. 2-е изд. Пг.: Развлечение, 1915. 48 с.

С. 382. «Только одна капля чернил».— Из тайных документов знаменитого сыщика Шерлока Холмса. Вып. 2. Только одна капля чернил. СПб.: Гаупт, 1908. 32 с.

«Люди лунного света» — так называет Розанов в одноименной книге (1911) людей с сексуальными отклонениями.

С. 384. «Русское богатство» — журнал, выходивший в Петербурге в 1876—1918 гг. Издателем его был В. Г. Короленко, в числе активных сотрудников — публицист А. В. Пешехонов (1867—1933). Власти приостанавливали журнал в 1906 и 1914 гг.

С. 385. «Письмо-души-Тряпичкина».— Имеется в виду адресат Хлестакова в «Ревизоре» Гоголя.

Благосветлов с «Делом» не был гоним, а Аксаков с «Парусом» и «Днем» — гоним был.— Революционный демократ Г. Е. Благосветлов (1824—1880) редактировал демократический журнал «Дело» в 1866—1880 гг., статьи в котором постоянно запрещались предварительной цензурой (в отличие от других петербургских журналов, «Дело» издавалось под предварительной цензурой). Славянофильская газета И. С. Аксакова «Парус» выходила в Москве в январе 1859 г. и была запрещена после второго номера. Славянофильская еженедельная газета И. С. Аксакова «День» выходила в Москве в 1861—1865 гг.; в июле 1862 г. за отказ назвать автора корреспонденции о беспорядках в Остзейском крае (в № 31) Аксаков был отстранен от редактирования и выпуск газеты приостановлен на два месяца.

Куприн, описывая «воссю» публ<ичный> д<ом>...— Имеется в виду повесть А. И. Куприна «Яма» (1909—1915, ч. 1—2). О ней Розанов написал статью «Куприн» (Новое время. 1909. 26 ноября. № 12109).

...Розанов, заплакавший от страха могилы...— Запись в книге «Уединенное»: «Могилы... знаете ли вы, что смысл ее победит целую цивилизацию... Т. е. вот равнина... поле... ничего нет, никого нет... И этот горбик земли, под которым зарыт человек. И эти два слова: „зарыт человек“, „человек умер“, своим потрясающим смыслом, своим великим смыслом, стонающим... преодолевают всю планету,— и важнее „Иловайского с Атиллами“. Те все топтались... Но „человек умер“, и мы даже не знаем — кто: это до того ужасно слезно,

отчаянно... что вся цивилизация в уме точно перевертывается, и мы не хотим „Атилле и Иловайского“, а только сесть на горбик (†) и выть на нем униженно, собакою... О, вот где *гордость* проходит. Проклятое свойство. Не даром я всегда так ненавидел тебя» (145).

С. 386. *Вошли* — тайное венчание Розанова с В. Д. Бутягиной (урожд. Рудневой) происходило 5 мая 1891 г.

С. 389. *VII заповедь* — не прелюбодействуй (Второзаконие, V, 18).

С. 390. ...*До хорошего местечка доползешь ужом...*— Некрасов. Колыбельная песня (1845).

Где этот милый товарищ?! — Далее следуют 12 писем Кости Кудрявцева, опущенные в настоящем издании.

С. 391. *Вполне ли искренне... я так не желаю славы?* — В «Уединенном» Розанов писал: «Хотел ли бы я посмертной славы (которую чувствую, что заслужил)? В душе моей много лет стоит какая-то непрерывная боль, которая заглушает желание славы. Которая (если душа бессмертна) — я чувствую — *усилилась бы, если бы была слава*. Поэтому я ее не хочу» (44).

...«*Анунциата была высока ростом и бела, как мрамор*»...— Розанов завывчил свои слова о героине повести Гоголя «Рим».

С. 392. *Бурульбаш с Катериною* — герои повести Гоголя «Страшная месь». *Ганна* — героиня повести «Майская ночь, или Утопленница».

«*Где будет сокровище ваше...*» — неточная цитата из Евангелия от Матфея, VI, 21, и Евангелия от Луки, XII, 34.

...*ни одного мужского покойника он не описал...*— Речь идет не о том, что мужчины у Гоголя не умирают (умер Акакий Акакиевич в «Шинели», прокурор в «Мертвых душах», Афанасий Иванович в «Старосветских помещиках» и др.), а о том, что Гоголь не описывает покойников-мужчин.

...*быков, разбодавших поляков...*— литературные реминисценции об эпизоде под городом Дубно (Гоголь. Тарас Бульба, гл. 5).

Уленька (Улинька) — дочь генерала Бетрищева во втором томе «Мертвых душ», гл. 2.

С. 394. «*Правительственный вестник*» — официальная ежедневная газета, выходившая в Петербурге в 1869—1917 гг. и печатавшая правительственные распоряжения, отчеты и сообщения.

«*Русское знамя*» — черносотенная ежедневная газета, орган «Союза русского народа», выходила в Петербурге с 1905 по 1917 г.

«*Полярная звезда*» — еженедельный политический и философский журнал, орган правого крыла кадетской партии. Выходил в Петербурге с декабря 1905 по март 1906 г. под редакцией П. Б. Струве.

Григорий Спиридонич — священник Петров, посещавший «воскресенья» у Розанова.

Амфитеатров из-под Везувия...— Писатель А. В. Амфитеатров в 1905 г. эмигрировал в Париж, много путешествовал, жил в Италии (см. статью Розанова «Саша Амфитеатров и его эпилог» в «Новом времени», 1915, 11 ноября, № 14251).

С. 395. ...*принес в жертву устарелый религиозный интерес*... — Генрих Бурбонский (1563—1610), вождь гугенотов, в 1593 г. отрекся от кальвинизма и принял католичество, что обеспечило ему французский престол, на который он вступил под именем Генриха IV, произнеся, согласно легенде, слова «Париж стоит мессы». Чернышевский в замечаниях на книгу Г. Т. Бокля «История цивилизации в Англии» писал, что причина отступничества Генриха IV «связана с победой светских интересов над духовными, следствием которой была сама политика Генриха IV» (Полн. собр. соч. Т. 16. С. 606). Чернышевский переводил также труды немецкого историка Ф. К. Шлоссера (1776—1861), в частности, под его редакцией выходила «Всемирная история» Шлоссера в русском переводе.

Дрэпер Джон Уильям (1811—1882) — американский историк и ученый. В России его имя сделалось известным благодаря его «Истории умственного развития Европы» (1862), в которой проводится мысль, что развитие народа, как и развитие индивидуума, управляется одними и теми же законами. Книга выдержала 4 русских издания.

С. 396. ...*Перовская почти 16-ти лет командовала 1-м марта*. — Русская революционерка С. Л. Перовская (1853—1881) в 17 лет порвала с отцом, ушла из дома, в 20 лет заключена в Петропавловскую крепость. Казнена за участие в подготовке покушения на Александра II, убитого 1 марта 1881 г.

«*Тарангул*» — еженедельный «юморо-сатирический журнал», выходивший в Симферополе в 1914—1916 гг.

«*Оса*». — В начале XX века выходило несколько журналов с таким названием: в Петербурге в 1906—1907 гг., в Москве в 1909—1914 гг., в Николаеве в 1906 г., в Вильне в 1906—1907 гг., в Самаре в 1913 г. и др.

«*Скорпион*» — издательство в Москве в 1900—1916 гг., принадлежавшее С. А. Полякову. Выпускало журнал «Весы» (1904—1909), книги русских символистов, новейшую западноевропейскую литературу, альманахи «Северные цветы» (1904—1911), альбомы по искусству.

...*среднеазиатское насекомое (был журнал)*. — Очевидно, туркестанский сатирико-юмористический журнал «Кара-Курт», выходивший в Ташкенте в 1913 г.

«*Шиповник*» — книгоиздательство в Петербурге в 1906—1918 гг., основанное З. И. Гржебиным и С. Ю. Копельманом. Выпускало книги по искусству, философии, литературно-художественные альманахи «Шиповник» (1907—1917).

С. 397. ...*не видно ни зги!* — Рылеев. Иван Сусанин (1822).

С. 398. *Ипатьевский монастырь* — основан около 1330 г. родоначальником семьи Годуновых, памятник русской архитектуры XVI—XVII вв. 14 марта 1613 г. представители Земского собора объявили находившемуся там Михаилу Федоровичу Романову об избрании его на царство. С сусанинских времен Кострома считалась символом русского патриотизма.

Феодоровская Божья Матерь. — Первоначально икона находилась в Городецком Феодоровском монастыре в Нижегородской губернии. При нашествии

Батья икона исчезла, а в 1239 г. была обнаружена костромским князем Василием Георгиевичем во время охоты в лесу. В 1613 г. этой иконой благословили на царство Михаила Романова.

...«Макариш, откуда ярмарка»...— Макарьевская ярмарка возникла в середине XVI в. у Макарьева монастыря на Волге (88 км ниже Н. Новгорода). В 1816 г. пожар истребил основные строения, и торг был перенесен на Нижегородскую ярмарку.

...горела 9-летняя Тamarочка Ауэр...— Розанов написал об этом статью «Не будем равнодушны» для «Нового времени» (1912. 5 июня. № 13013).

Фаресов, биограф Лескова...— см. комментарий к письму Розанова А. С. Суворину (1904).

С. 399. К. Тимирязев — против Данилевского...— Имеются в виду статьи К. А. Тимирязева «Странный обрашник научной критики» (Русская мысль. 1889. № 3) и «Бессильная злоба антидарвиниста» (Русская мысль. 1889. № 5—7). Обе вошли в книгу Тимирязева «Чарлз Дарвин и его учение».

С. 400. ...«Ваши Уед.— разорвут».— В письме 10 (23) апреля 1912 г. М. Горький писал Розанову, прочитав «Уединенное»: «Какой у Вас огромнейший талант, какая жадная, живая, цепкая мысль. Рано Вы родились или поздно, но Вы удивительно не своевременный человек. Представляю, как не понравится, как озлит эта книга всех,— и радуюсь, ибо все, что не нравится людям, должно быть побеждено ими, и — будет побеждено» (Контекст 1978. С. 306).

Цв<етков> пишет...— Об изданных С. А. Цветковым «Русских ночах» В. Ф. Одоевского (М., 1913) Розанов писал в статье «Чаадаев и кн. Одоевский» (Новое время. 1913. 10 апреля. № 13319).

С. 402. ...читаю Изгоева о Суворине...— В некрологе, написанном А. С. Изгоевым о Суворине (Русская мысль. 1912. № 9. Отд. 3. С. 1—4), говорится: «Отец — александровский солдат, через фухтели и удары саблей плашмя дослужившийся до штабс-капитана... Мать — безграмотная поповна».

Цепной мост — так в разговоре называлось Третье отделение Собственной его императорского величества канцелярии, орган политического сыска и следствия в Петербурге в 1826—1880 гг.

С. 405. ...учили по Радонежскому или Ушинскому...— авторы учебников и книг для первоначального детского классного чтения, выдержавших многие переиздания. А. А. Радонежскому принадлежат: «Солнышко. Книга для чтения в народных училищах» (1880), «Книга для чтения в церковно-приходских и начальных школах» (1891). К. Д. Ушинским составлены хрестоматии «Детский мир» (1861), «Родное слово» (1864).

...говорил, что зубы болят...— В «Литературных и житейских воспоминаниях» Тургенев писал о Гоголе, лекции которого он слушал в Петербургском университете в 1835 г.: «На выпускном экзамене из своего предмета он сидел, повязанный платком, якобы от зубной боли — с совершенно убитой физиономией — и не разевал рта».

«Будешь ходить на чреве своем».— Библия. Бытие, III, 14.

С. 408. ...у «жены-самарянки»...— Евангелие от Матфея, XXII, 25—26; от Иоанна, IV, 18.

...«трости надломленной не переломить» и «лына курящегося не загорит».— Библия. Книга Исаии, XLIII, 3; Евангелие от Матфея, XII, 20.

С. 409. ...«Бога никогда же никто виде».— Евангелие от Иоанна, I, 18.

С. 411. *Осени поздней, цветы запоздалые...*— неточная цитата стихотворения А. Н. Апухтина «Ночи безумные, ночи бессонные...» (1876).

С. 412. *Роняет лес багряный свой убор.*— Пушкин. 19 октября (1825).

С. 414. ...«своему полтавскому губернатору».— С 1900 г. В. Г. Короленько жил в Полтаве.

С. 416. ...«любовь сильнее даже и смерти».— Неточная цитата из «Песней Песней Соломона», VIII, 6.

С. 419. *Сейте разумное, доброе, вечное.*— Некрасов. Сеятелям (1876).

Суламифь — так по родному своему городу называется в Библии (Книга Песнь Песней) возлюбленная Соломона.

С. 420. *Виссон* — тонкая драгоценная ткань в древних одеяниях царей, жрецов и др.

С. 425. «*Современный мир*» — журнал, выходявший в Петербурге с 1906 по 1918 г., в котором эпизодически печатались В. И. Ленин, М. Горький, В. Вересаев, Г. Плеханов, М. Арцыбашев.

С. 427. *Азеф* Евно Фишелевич (1869—1918) — один из лидеров партии эсеров и секретный сотрудник полиции. Разоблачен в 1908 г. Его имя стало нарицательным для обозначения провокатора.

С. 428. «*Герценовское Общество*».— В статье «И. В. Киреевский и Герцен» (Новое время. 1911. 12 февраля. № 12544) Розанов писал об основанном «года два назад» в Петербурге «Обществе в память Герцена».

«*Николаю Константиновичу*» — Михайловский, о котором Розанов всегда писал с большой долей недоброжелательности и ехидства.

С. 429. ...*гнушно-отрицательного журнала*...— так Розанов отзывался об одном из наиболее прогрессивных журналов 1870-х годов — «Дело», редактором которого был Г. Е. Благовестлов.

Тертий Иванович — директор Государственного контроля Т. И. Филиппов, под началом которого Розанов служил в 1893—1899 гг.

«*Без заглавия*» — еженедельный политический журнал, издававшийся в Петербурге в 1906 г. С. Н. Прокоповичем, Е. Д. Кусковой.

С. 430. ...*в книге Стасова о своей сестре*...— Стасов Вл. Надежда Васильевна Стасова: Воспоминания и очерки. СПб.: Меркушев, 1899. О княжне Марии Михайловне Дондуковой-Корсаковой речь идет на с. 75—84 этой книги.

...*непропуск моей статьи «О монархии»*...— Напечатана в журнале Русское обозрение. 1893. № 2. С. 682—700, а в 1896 г. вырезана цензурой из «Русского вестника».

С. 434. ...*революционеры у Богучарского и Глинского*.— Богучарский — псевдоним участника революционного движения В. Я. Яковлева, 1861—1915. Имеются в виду книги: Богучарский В. Из истории политической борьбы

в 70-х и 80-х гг. XIX века: Партия «Народной воли», ее происхождение, судьба и гибель. М.: Русская мысль, 1912; Г л и н с к и й Б. Б. Революционный период русской истории (1861—1881 гг.): Исторические очерки. СПб.: Суворин, 1913. Ч. 1—2. Б. Глинскому (1860—1917) принадлежит отрицательная рецензия на книгу Розанова «Когда начальство ушло...» (Исторический вестник. 1911. № 1. С. 335—337).

С. 441. «*Канун*» — место в церкви, где происходит заупокойная служба.

С. 442. *Акафист* — церковная книга молитвенно-хвалебных песнопений.

С. 445. *Кресты* — бытовое название петербургской тюрьмы, построенной в 1892 г. в форме огромного креста.

С. 447. *Грифцов*.— Имеется в виду книга: Г р и ф ц о в Б. Три мыслителя. В. Розанов. Д. Мережковский. Л. Шестов. М.: Саблин, 1911. В течение 1905—1912 гг. Розанов состоял в переписке с Б. А. Грифцовым. О книгах и статьях А. К. Закржевского и Волжского (А. С. Глинка) см. выше. Розанов написал некролог Закржевского в «Новом времени» (1916. 30 августа. № 14542).

С. 454. *...заглавие забыл*.— Возможно, имеется в виду рассказ Л. Толстого на эту тему (но с иной концовкой) «Корней Васильев» (1906).

С. 456. *Первая Надя* — первая дочь Розанова Надя умерла 25 сентября 1893 г. десяти месяцев.

С. 459. *Ударил по сердцам с неведомою силой*.— Пушкин. Ответ анониму (1830).

...у Гершензона об Огаревой...— Гершензон М. О. Н. А. Огарева (1829—1913)//Русская мысль. 1914. № 4. С. 45—53.

С. 461. *Когда Шура вторично ушла...*— Падчерица Розанова Александра Михайловна Бутягина (1883—1920) ушла из дому в 1907 г. и вторично — 23 октября 1912 г.

...перед смертью митр. Антония — митрополит петербургский Антоний умер 2 ноября 1912 г.

С. 470. *Прекрасная Верочка...*— старшая сестра Розанова, умершая в 1867 г. в возрасте 19 лет.

С. 476. *...«и оружие пройдет тебе сердце»...*— неточная цитата из Евангелия от Луки, II, 35.

С. 478. *...«пройдет серп и скосит их».*— Вариация на тему Апокалипсиса (Откровение Иоанна Богослова, XIV, 14—16).

С. 481. «*Дело Мартьянова*».— Статья Розанова «К делу Мартьянова» появилась в «Новом времени» 12 ноября 1912 г., и в ней осуждалось освобождение от наказания за отцеубийство.

С. 482. «*Смысл любви*» — статья Вл. Соловьева; печаталась в «Вопросах философии и психологии» (1892. Кн. 14—15; 1893. Кн. 16—17; 1894. Кн. 21).

«*Засыхают цветочки*» *Франциска Ассизского*.— После смерти Франциска Ассизского (1182—1226), учредителя названного его именем монашеского ордена, появились народные рассказы о нем — «Цветочки» (русский перевод — в 1904 г. в журнале «Новый мир», где печатался Розанов).

С. 484. ...«проходит лик мира сего»...— Достоевский Ф. М. Т. 14.
С. 290. Из Библии (I послание Иоанна, II, 17).

С. 485. «Копейка» («Газета-копейка») — ежедневная газета бульварного типа, издававшаяся в Петербурге акционерным обществом «Копейка» с 1908 по 1918 г. Аналогичная газета под тем же названием выпускалась теми же издателями в Москве в 1909—1910 гг.

С. 487. *Облетели цветы и угасли огни* — неточная цитата из стихотворения С. Я. Надсона «Умерла моя муза!» (1885).

С. 490. У *Андрея Т. Болотова*...— Обычай описан в книге А. Т. Болотова (1738—1833) «Жизнь и приключения Андрея Болотова, описанные им самим для своих потомков» (СПб., 1871. Т. 2. С. 542. Письмо 116. Моя свадьба).

С. 492. *И пусть у гробового входа*...— Пушкин. «Брожу ли я вдоль улиц шумных...» (1829).

Анатолий Федорович — А. Ф. Кони (см. статью Розанова «А. Ф. Кони как писатель и юрист» в «Новом времени», 1912, 22 марта, № 12941).

С. 493. *Церковь сказала «нет»*.— В тексте книги напечатано: «Кое-кто сказал „нет“», а в списке опечаток в конце указано, что нужно читать: «Церковь сказала...» Так Розанов обошел рогатки цензуры.

«6-я держава» — так в книге «Уединенное» Розанов называет печать. Пятью великими державами в Европе считались тогда Россия, Англия, Франция, Германия и Австро-Венгрия.

С. 494. ...*опыт «рыбаков»*...— Евангелие от Марка, VI, 49—50.

ЦЕНЗУРА

Впервые: Вешние воды. 1916. Т. 16—17. С. 119—122. Печатается по этому изданию. Мало кому из русских писателей довелось на протяжении 30-летней литературной деятельности столь часто сталкиваться с цензурой, как Розанову. Его статьи запрещались или изымались и в «правом» «Новом времени», и в «левом» «Русском слове», его отказывался печатать народник Н. К. Михайловский и резко осуждала монархическая, церковная печать. Впечатления от многолетних «контактов» с цензурой получили отражение в публикуемой статье.

С. 497. «*Седьмая держава*».— Шестой державой называли в XIX в. печать (в развитие идеи о пяти великих европейских державах: России, Франции, Англии, Германии и Австро-Венгрии). О печати как о «шестой державе» Розанов писал в «Уединенном» (124). О цензуре как «седьмой державе» писал в 1877 г. Салтыков-Щедрин (В среде умеренности и аккуратности, II, 3).

Иезуитский орден — католический монашеский орден, основанный в 1534 г. в Париже Игнатием Лойолой и утвержденный папой римским. В 1773 г. папа Климент XIV вынужден был ликвидировать орден, девизом которого было: «Цель оправдывает средство». В 1814 г. официально восстановлен. В России деятельность иезуитов, развернувшаяся в XVIII в., была запрещена в 1820 г.

С. 498. *Панама* — крупное мошенничество с подкупом должностных лиц. Слово возникло в 1889 г., когда раскрылись грандиозные злоупотребления французской компании, созданной для прорытия Панамского канала.

«*Богословский вестник*» — журнал, издававшийся с 1892 г. Московской духовной академией в Сергиевом Посаде (ныне г. Загорск). С 1913 г. редактором стал П. А. Флоренский.

С. 499. ...*в одном из «новогодних обозрений» своих*...— Новогодние обозрения «Русская литература» К. И. Чуковского печатались в газете «Речь» 1 января 1908, 1909, 1910 и 1911 гг. Обзор «Русская литература в 1911 году» появился в Ежегоднике газеты «Речь» на 1912 год (СПб., 1912).

С. 500. *Все выходит хорошим из рук Мироздателя*...— Цитата из книги Руссо «Эмиль, или О воспитании» в переводе П. Первого (М.: Кушнерев, 1896. С. 1). Вместе с П. Д. Первым Розанов перевел «Метафизику» Аристотеля (Кн. 1—5), печатавшуюся в «Журнале министерства народного просвещения» в течение 1890—1895 гг.

ГОГОЛЬ И ПЕТРАРКА

Впервые: Книжный угол. 1918. № 3. С. 9—10, по тексту которого и печатается. На автографе дата: 10 апреля 1918 (ЦГАЛИ).

С. 502. *Аннунциата... была албанка*.— Героиня отрывка Гоголя «Рим» была альбанка, т. е. жительница городка Альбано (южнее Рима).

II. ПИСЬМА

Из обширного эпистолярного наследия В. В. Розанова выбраны некоторые характерные образчики писем к писателям и друзьям. Обычно Розанов не датировал свои письма, и время написания их нередко определяется по адресам его проживания в Петербурге:

Апрель 1893 — июль 1899 — Петербургская сторона, Павловская, 2, кв. 24.

Июль 1899 — 24 декабря 1904 — Шпалерная, 39, кв. 4.

Январь 1905 — июль 1910 — Б. Казачий пер., 4, кв. 12.

23 июля 1910 — июнь 1912 — Звенигородская, 18, кв. 23.

Июнь 1912 — август 1916 — Коломенская, 33, кв. 21.

27 августа 1916—1917, август — сентябрь — Шпалерная, 446, кв. 22.

К. Н. ЛЕОНТЬЕВУ. 20 мая 1891 г.

Печатается впервые по копии в ЦГАЛИ.

Розанов переписывался с К. Н. Леонтьевым (1831—1891) с апреля 1891 г. до его смерти в ноябре того же года. Начало переписки совпало с окончанием печатания розановской «Легенды о Великом инквизиторе» в «Русском вестнике». Розанов опубликовал письма к нему Леонтьева со своими обширными примечаниями: Из переписки К. Н. Леонтьева//Русский вестник. 1903. № 4—6

(отд. изд. — Лондон, 1981). В предисловии к этой публикации Розанов писал: «К. Н. Леонтьева я знал всего лишь неполный год, последний, предсмертный его. Но отношения между нами, поддерживавшиеся только через переписку, сразу поднялись таким высоким пламенем, что и не успевши свидеться, мы с ним сделались горячими, вполне доверчивыми друзьями. Правда, почва была хорошо подготовлена: я знал не только все его политические труды (собранные в сборнике «Восток, Россия и славянство», 2 т.), но и сам проходил тот фазис угрюмого отшельничества, в котором уже много лет жил К. Н. Л-в. Самое место его жительства, — Оптина пустынь, где жил чтимый глубоко мною старец от. Амвросий, — привлекало меня».

На основе своего предисловия к публикации писем Леонтьева к нему Розанов выпустил брошюру о Леонтьеве: Неузнанный феномен. СПб.: Сириус, 1911. 22 с. (то же в кн.: Памяти Константина Николаевича Леонтьева: Литературный сборник. СПб., 1911. С. 163—184), а также написал несколько статей.

С. 503. «Записки отшельника». — Статьи Леонтьева под этим названием печатались в газете «Гражданин» в 1887—1891 гг.

...статью г. Южного... — Положительная рецензия М. Южного (псевдоним журналиста М. Г. Зельманова, 1869—1901), постоянного сотрудника «Гражданина», на публикацию в «Русском вестнике» «Легенды о Великом инквизиторе» Розанова появилась в газете 3 мая 1891 г. (№ 121).

Все, что Вы пишете о судьбе своей... — Леонтьев писал Розанову 8 мая 1891 г.: «Не вы первый «открываете» меня, как Америку, несмотря на то, что я публицистикой стал заниматься серьезно с 73-го года («Панславизм и греки»)... Почему это так? Не знаю... Мало обо мне писали другие, мало порицали и мало хвалили; мало нападали и мало выражали сочувствия; т. е. было вообще мало серьезных критических отношений» (Русский вестник. 1903. № 4. С. 646).

С. 504. «Восток, Россия и славянство» (1885—1886. Т. 1—2) — сборник религиозно-философских статей Леонтьева о самобытном развитии России, направленный против Западной Европы.

...участник Крымской войны... — Леонтьев принял участие в Крымской войне в качестве военного врача.

Сотир — персонаж в статье Леонтьева «Панславизм на Афоне» (1873), входящей в книгу «Восток, Россия и славянство». Эпирский грек Сотир, служивший у русского консула, вступился за русскую честь и побил грека-европейца. Возможно, эпизод навеян также автобиографическим фактом, когда Леонтьев, служивший в 1864 г. драгоманом (переводчиком) при русском консульстве на Крите, ударил французского консула за оскорбительный отзыв о России.

...недалекому Лессенсу. — Имеется в виду статья «Знакомство с Лессепсом» («Гражданин», 1883), перепечатанная в кн.: Леонтьев К. Восток, Россия и славянство. Сб. статей. М.: Кушнер. Т. 2.

«Не для того же Моисей... чтобы Гамбетты и Жюль Фавры...— Розанов пересказывает мысли из «Писем о восточных делах» (Леонтьев К. Восток, Россия и славянство. Т. 1. С. 285, 299).

...«мы великий народ...» — В письме Розанову 8 мая 1891 г. Леонтьев писал: «О „пороках русских“ напишу я вам в другой раз... Коротко и ясно замечу только, что пороки эти очень большие и *требуют большей*, чем у других народов, *власти церковной и политической*».

С. 505. ...о «*трансцендентном эгоизме*» и *альтруизме*...— 13 апреля 1891 г. Леонтьев писал Розанову: «Христианство личное, прежде всего, *трансцендентный* (не земной, загробный) эгоизм. *Альтруизм* же сам собою „приложится“».

П. П. ПЕРЦОВУ <Конец декабря 1896>.

Печатается впервые по автографу ЦГАЛИ.

Петр Петрович Перцов (1868—1947) — публицист, литературный критик, издатель книг Розанова: «Литературные очерки» (1899), «Религия и культура» (1899), «Сумерки просвещения» (1899), «Природа и религия» (1900). Издавал журнал «Новый путь» (1903—1904), орган Религиозно-философского общества, в котором часто печатался Розанов. О своих встречах с Розановым рассказывает в кн.: Литературные воспоминания. 1890—1902. М.; Л.: Academia, 1933.

С. 505. *Благое вижу, хвалю*...— Овидий. Метаморфозы, VII, 20—21.

...не люблю *Мережк.*, *Чехова*...— Отношение Розанова не оставалось однозначным. Если в оценке Д. С. Мережковского Розанов шел от общего приятия его творчества (рец. на его «Вечных спутников» в «Новом времени» 31 марта 1899 г., № 8294) к полемике и конфликту с ним в годы совместного участия в работе Религиозно-философского собрания, то в отношении Чехова наблюдается обратная тенденция: от непонимания Чехова в 90-е гг. к «розановскому» прочтению его произведений в начале века. В. Я. Брюсов в своем «Дневнике» (М., 1927) записал слова Розанова, сказанные в 1902 г.: «Хорош тот писатель, читая которого неловко словно тебя оголили; я это чувствовал, читая Чехова».

Нище безумный смел написать...— Розанов познакомился с идеями Фр. Ницше (1844—1900) по статье: Преображенский В. П. Фридрих Ницше: Критика морали альтруизма//Вопросы философии и психологии. 1892. № 15. С. 115—160.

С. 506. «*Вечные спутники*» — книга Мережковского, вышла в 1897 г. Розанов называет главы из нее.

Л. Н. ТОЛСТОМУ. <Июль — август 1898>.

Печатается впервые по черновому автографу письма в ЦГАЛИ (возможно, неотправленному).

На Павловской улице, упомянутой в письме, Розанов жил с 1893 до лета

1899 г. Письмо датируется по возражению сына Л. Толстого на «Крейцерову сонату», которое было напечатано в «Новом времени» 3, 9 и 16 июня 1898 г. (Л. Л. Толстой. Прелюдия к Шопену), о чем Розанов писал в статье «Семья как религия» (СПб. ведомости. 1898. 8 и 23 ноября).

О дальнейшей переписке Розанова с Л. Толстым см. комментарий к статье «Поездка в Ясную Поляну».

С. 507. ...спорил с С. А. Рачинским...— подробнее о спорах Розанова с ботаником С. А. Рачинским (1833—1902) см. в публикации его писем к Розанову (с предисловием и примечаниями В. Розанова) в журн.: Русский вестник. 1902. № 10. С. 603—629; № 11. С. 143—157; 1903. № 1. С. 218—243.

А. П. ЧЕХОВУ <Март 1899>.

Печатается впервые по автографу ГБЛ. Дата проставлена рукой Чехова.

В ответном письме из Ялты 30 марта 1899 г. Чехов, в частности, писал: «У меня здесь бывает беллетрист М. Горький, и мы говорим о Вас часто... В последний раз мы говорили о Вашем фельетоне в «Новом времени» насчет плотской любви и брака (по поводу статей Меньшикова). Эта статья превосходная, и ссылки на Ветхий завет чрезвычайно поэтичны и выразительны — кстати сказать». Речь шла о фельетоне Розанова «Кроткий демонизм» (Новое время. 1897. 19 ноября. № 7806), вошедшем в книгу Розанова «Религия и культура» и направленном против статьи М. О. Меньшикова (1859—1918), сотрудника «Нового времени», «О суевериях и правде любви» (Книжки «Недели». 1897. № 9—11).

В ответ Розанов послал 8 мая 1899 г. Чехову свою только что вышедшую книгу «Литературные очерки» с надписью, где впервые упоминает Горького: «Хотел бы Вашему приятелю послать «Религию и культуру», где объявлена моя точка зрения на пол, да ни одного экземпляра не осталось. Подай Бог ему успеха, *да надо держать себя в руках*. Это величайшая тайна жить, работать и успевать».

В письме издателю «Журнала для всех» В. С. Миролюбову Чехов писал 30 декабря 1902 г.: «В „Новом времени“ от 24 декабря прочтите фельетон Розанова о Некрасове. Давно, давно уже не читал ничего подобного, ничего такого талантливого, широкого и благодушного, и умного». Имеется в виду статья Розанова «25-летие кончины Некрасова» (Новое время. 1902. 24 декабря. № 9630).

С. 508. К. С. Тычинкин — сотрудник «Нового времени», заведовавший типографией издательства А. С. Суворина.

В. Я. БРЮСОВУ. <20 октября 1901>.

Печатается впервые по автографу ГБЛ.

Брюсов печатал Розанова в журнале «Весы», выходившем в Москве в

1904—1909 гг., в альманахах книгоиздательства «Скорпион» «Северные цветы» на 1901, 1902 и 1903 гг. О взаимоотношениях Розанова и Брюсова см. в кн.: Брюсов В. Я. Дневники. 1891—1910. М.: Сабашниковы, 1927.

С. 509. ...с 1-го июня в Петербурге...— Розанов провел май 1901 г. в Италии. ...экземпляра «Северных цветов»...— В «Северных цветах на 1901 год» напечатаны «Заметки на полях непрочитанных книг» Розанова.

Вы потеряли хорошего друга в «мудром дитяти».— 8 июля 1901 г. умер поэт Иван Коневский (р. 1877), оказавший влияние на творчество многих русских символистов. Брюсов посвятил его памяти статью «Мудрое дитя» (Мир искусства. 1901. Т. 6).

В. Я. БРЮСОВУ. <6 апреля 1904>.

Печатается впервые по автографу ГБЛ, где хранятся 12 писем Розанова к Брюсову (1901—1913).

С. 509. ...«Комментарий по одному стихотворению Лермонтова»...— напечатано в журнале «Весы» (1904. № 5. С. 4—16) под названием: «По поводу одного стихотворения Лермонтова» (о «Морской царевне»).

...лучший ответ Стародуму.— В «Русском вестнике» (1904. № 4. С. 741—749) появилась статья Н. Я. Стародума (Н. Я. Стечкин, 1854—1906) «Журнальное обозрение», в которой он полемизировал с Розановым по поводу его книги «В мире неясного и нерешенного».

А. С. СУВОРИНУ. <Конец мая 1904>.

Впервые в кн.: Письма русских писателей к А. С. Суворину/Подготовил к печати Д. И. Абрамович. Л.: ГПБ, 1927. С. 160—161, по тексту которой и печатается.

Датируется на основании письма Суворина к Розанову от 18 мая 1904 г., в котором Суворин предлагает ему «взять себе пятницы на время отсутствия Буренина и заняться в них литературой, этой новой, взять новые книжки сборников, стихов и т. д.» (Письма А. С. Суворина к В. В. Розанову. СПб.: Суворин, 1913. С. 137). В названной книге собрано 58 писем Суворина к Розанову за 1893—1912 гг., а во вступительном очерке Розанова «Из припоминаний и мыслей об А. С. Суворине» дана характеристика издательской и журналистской деятельности Суворина, у которого он работал в «Новом времени» с 1899 г.

С. 510. Борис Алексеевич — сын А. С. Суворина.

Прочел в воспоминаниях Фаресова...— А. И. Фаресов в книге «Против течения. Н. С. Лесков. Его жизнь, сочинения, полемика и воспоминания о нем» (СПб., 1904. С. 223—226) приводит письмо Лескова С. Н. Шубинскому 26 де-

кабря 1885 г., в котором говорится о фельетоне А. С. Суворина «Трагедия из-за пустяков», напечатанном 25 декабря 1885 г. (№ 3531) в «Новом времени»: «Суворин меня очень обрадовал: рассказ его в рождественском номере исполнен силы и прелести и притом — смел чертовски».

«*Маленькие письма*» — серия статей Суворина в «Новом времени».

С. 511. *Как уст румяных без улыбки...*— Пушкин. Евгений Онегин, III, 28.

М. ГОРЬКОМУ. <После 4 ноября 1905>.

Впервые: Беседа (Берлин), 1923. № 2 (июль — август). С. 402—416, шесть писем Розанова без обозначения дат (1905—1912). Сверены по автографам в Архиве Горького.

Семь писем М. Горького к Розанову (1905—1912) и его пометы на книжках Розанова опубликованы в кн.: Контекст 1978: Литературно-теоретические исследования (Вступ. заметка, подг. текста и примеч. Л. Н. Иокар). М.: Наука, 1978. С. 297—342.

Первое письмо Розанова к Горькому, посланное в Нижний Новгород, до нас не дошло. В ответе 4 (17) ноября 1905 г. из Москвы Горький писал: «Письмо Ваше получил только сегодня здесь, в Москве,— вот почему не отвечал так долго. Дриму Вашу, мне кажется, я чувствую. И думаю, что все честные и талантливые должны переживать в наши дни — в разных степенях ощущение — ту боль, которую переживаете Вы».

С. 511. ...«*кровь льется кругом, а вы пишете — о себе*»...— Горький в письме 4 ноября 1905 г. писал: «Далеки мы от жизни. И Ваше письмо еще одно доказательство тому. Всюду льется кровь передовых людей народа, кровь рабочих, всюду власть, разъяренная предчувствием гибели, цинично избивает лучших людей — юную Русь,— а Вы пишете о себе. Да, Вы — ценность, это так. Но сколько этих ценностей погибло в наши дни? И сколько погибнет?»

«*Красиво погибнуть на глазах народа и за народ*»...— В том же письме Горький писал: «Знаете, чего желаю я Вам и всем вам подобным талантливым, но далеким и чужим народу людям? Красиво погибнуть на его глазах. Тут — ничего обидного: не лучше ли сгореть на костре, чем утонуть в помойной яме?»

...у меня 5 детишек, между 4 и 10-ю годами...— дочери Таня (22 февраля 1895—11 мая 1975), Вера (26 июня 1896 — 31 мая 1920), Варя (1 января 1898 — 15 июля 1943), Надя (9 октября 1900—15 июля 1958), сын Вася (28 января 1899 — 9 октября 1918).

С. 512. ...*соотношение между свиньей, собакой и мальчиком*.— Горький писал в том же письме Розанову: «Однажды, в юности, я видел картинку — бледный, хилый мальчик с большими умными глазами на грустном лице принес собаке в конуру кусок хлеба. Собака была такая славная, здоровая, добродушно угрюмая, но почему-то ее приковали на цепь, она протягивала морду до куска хлеба, а мальчик боялся подойти к ней ближе. И так они стояли друг против друга, боясь и не понимая. Подошла большая сытая сви-

нья и, понюхав воздух, вырвала хлеб из рук мальчика. Он убежал прочь».
...«и что Вам Гекуба...» — Шекспир. Гамлет, II, 2. *Гекуба* — жена троянского царя Приама; ее муж и все сыновья погибли при осаде Трои греками, а сама она была взята в плен. Говорится о чем-то постороннем.

С. 514. «*Правда — проста...*» — Горький писал в том же письме: «Даже мещане, читая Вас, смеялись над Вами за Вашу манеру одевать мысль в пестрые, хитро изогнутые слова. Правда — проста, все великое — просто, народ — прост, как небо, с ним нужно говорить хорошими, твердыми словами, одевая истину, нарочно спрятанную от него и Вами найденную, — в пафос».

«*События*» — т. е. первая русская революция.

В. Г. КОРОЛЕНКО. <5—7 апреля 1906>.

Публикуется впервые по автографу ГБЛ. Дата проставлена рукою Короленко в Полтаве.

С. 515. «*Ослабнувший фетиш*» — статья Розанова, написанная в феврале — марте 1906 г. Поскольку Короленко не напечатал ее в «Русском богатстве», она была опубликована отдельным изданием (СПб.: Пирожков, 1906. 24 с.) с подзаголовком: «Психологические основы русской революции». Перепечатано в книге: Розанов В. Когда начальство ушло... 1905—1906 гг. СПб., 1910. С. 316—345.

«*Полярная звезда*» — см. комментарий к с. 394. Речь идет о статье: Штильман Г. Н. «Самодержавие» и «божья милость»: (Историческая параллель)//Полярная звезда. 1906. 12 марта. № 13. С. 139—146.

...нашлось у него местечко для пана Тыбурцыя... — Для Розанова «местечка» в «Русском богатстве», редактором которого в 1904—1918 гг. был Короленко, не нашлось, и этим отчасти объясняются скептические отзывы Розанова об авторе «Слепого музыканта» в «Опавших листьях» и в «Уединенном», где он писал: «Я с ним раз и minutно разговаривал в Таврическом дворце. Несмотря на очарование произведениями, сам он не произвел хорошего впечатления (уклончив, непряма)» (31). *Пан Тыбурцый* — персонаж в рассказе Короленко «В дурном обществе» (1885).

А. А. БЛОКУ. <Получено 19 февраля 1909>.

Печатается впервые по копии, снятой А. Блоком по просьбе дочери Розанова Н. В. Розановой, которой он писал 9 июля 1919 г.: «Глубокоуважаемая Надежда Васильевна. Простите, что отвечаю Вам поздно: мне трудно было собраться снять, наконец, прилагаемую точную копию с единственного письма Василия Васильевича, которое я от него получил 19 II 1909 года. Письмо очень драгоценно; я очень хотел бы написать вокруг него несколько воспоминаний, но сейчас не могу сделать это. Если удастся, я проведу через

журнал и пришлю Вам оттиск, или корректурный лист. По-моему, второй половины письма, касающейся Мережковских, сейчас печатать не надо бы. С искренним уважением Ал. Блок. P. S. У меня к Вам тоже есть просьба: мне не удалось достать здесь ни одного выпуска, кроме 5-го, — «Апокалипсиса нашего времени». Нельзя ли получить его у Вас, если еще осталось? Конечно, я, при первой возможности, пришлю деньги и за брошюры и за пересылку их. Очень бы надо мне было эту книгу».

Письмо Розанова является ответом на письмо Блока от 17 февраля 1909 г. (Блок А. Собр. соч.: В 8 т. М.; Л., 1963. Т. 8. С. 273—275) и, очевидно, написано 18 февраля 1909 г. Письмо Блока касалось двух статей Розанова о нем: Трагическое остроумие//Новое время. 1909. 9 февраля. № 11822; Попы, жандармы и Блок//Новое время. 1909. 16 февраля. № 11829. О Блоке и Мережковском Розанов писал также в статье: Литературные симулянты//Новое время. 1909. 11 января. № 11794, и в статье: Автор «Балаганчика» о Петербургских религиозно-философских собраниях//Русское слово. 1908. 25 января. № 21. Подпись: Варварин.

С. 516. *Понимаю Ваше чувство кровной интеллигентности...*— Блок писал в письме 17 февраля 1909 г.: «Ведь я, Василий Васильевич, с молоком матери впитал в себя дух русского „гуманизма“. Дед мой — А. Н. Бекетов, ректор СПб. университета, и я по происхождению и по крови „гуманист“, т. е., как говорят теперь, — „интеллигент“».

...*«бедных селений»*...— Тютчев. «Эти бедные селенья...» (1855).

Соглашаюсь с Вами о смертной казни...— Блок писал в том же письме: «Так вот, не мальчишество, не ребячливость, не декадентский демонизм, но моя *кровь* говорит мне, что смертная казнь и всякое уничтожение и унижение личности — дело страшное, и потому я (это — непосредственный вывод, заметьте, тут ни одной посылки для меня не пропущено) не желаю встречаться с Пуришкевичем или Меньшиковым, мне неловко говорить и нечего делать со сколько-нибудь важным чиновником или военным, я не пойду к пасхальной заутрене к Исакию, потому что не могу различить, что блестит: солдатская каска или икона, что болтается — жандармская эпитрахиль или поповская ногайка. Все это мне *по крови* отвратительно».

М. ГОРЬКОМУ. <Июнь 1911>.

Печатается по журн.: Беседа. 1923. № 2 и автографу.

Ответ на письмо Горького с Капри, датированное не совсем точно началом 1911 г. (Контекст 1978. С. 302). Очевидно, написано в июне 1911 г., так как Розанов сообщает, что в Духовной академии «все в разъезде» до 1 сентября.

Горький просил Розанова выслать ему две книги: «Сочинения св. Иринея, епископа Лионского» (Пер. свящ. П. Преображенского. М., 1871. 2-е изд. СПб., 1900) и «Историю русской церкви» Е. Голубинского (М., 1880—1881.

Кн. 1—2. 2-е изд.— М., 1901—1904). Обе книги, как свидетельствуют письма Горького, были им получены в июле 1911 г.

С. 518. *И у меня Ваше прекрасное письмо хранится...*— письмо Горького от 4 ноября 1905 г.

Вас подняла «с.-д.»,— и понесла на плечах.— Аналогичные мысли Розанов развивал и в книге «Уединенное»: «Рок Горького — что он попал *в славу, в верхнее положение*. Между тем по натуре это — боец. С кем же ему бороться, если «все повалены», не с Грингмутом же, не с Катковым? Не с кн. Мещерским, о самом бытии которого Горький едва ли что знал. И руки повисли. Боец умер вне боя. Я ему писал об этом, но он до странности не понял ничего в этой мысли» (120).

В ответном письме (не позднее 8 июля 1911 г.) Горький возражал Розанову: «„Несомым“ я никогда себя не чувствовал, более того — имею дерзость думать, что всю жизнь сам нес всех, кому по пути со мною было, да и до сей поры попутчиков нес. Голосишко же у меня стал спокойней, но — разве ослаб? Не думаю».

Розанов бережно хранил все письма Горького и на первом листе этой подборки сделал надпись, отражающую то же непонимание и искажение общественной значимости писателя: «М. Горький — по-моему прекрасный человек, но «захваленный» социалистишками и жидишками» (ЦГАЛИ).

М. ГОРЬКОМУ. <Июль — август 1911>.

Печатается по журн.: Беседа. 1923. № 2 и автографу.

Ответ на два письма Горького с Капри («не позднее 8 июля» и от июля 1911 г.). В последнем Горький просит прислать ему книгу Розанова «Темный лик» (1911).

С. 519. *Деньги все получил.*— За посланные книги «Сочинения св. Ирины» и «Историю русской церкви» Е. Голубинского.

церковь,— интереснее... соц.-демократии...— Горький в ответном письме (до середины августа 1911 г.) решительно возражал Розанову: «А что «церковь интереснее социал-демократии и даже — кто знает — может быть — всего русского народа» — с этим насквозь и кругом не согласен! И не убедить Вам меня, что книга В. Розанова — малая часть его души и его опыта — была интересней всего В. Розанова — сказки, не досказанной до конца, и конец которой ^е последний день жизни Розанова.— «Интереснее всего русского народа» — и всякого народа — ничего нет, да — и как может быть? Все — из народа: и церковь, и социал-демократия, отсюда же и еретик всякий — Вы в том числе».

Я вот «век борюсь» с церковью, «век учусь» у церкви...— На это Горький писал в том же письме: «Это я за Вами знаю, и уж не нравится же мне это — ужасно! Да и не верю я Вам в этом, а поверив — признал бы прыжки Ваши судорогами отчаяния — полного нигилизма, неискоренимой боли душевной за

мир — за мир, все-таки!.. Порою мне кажется, что Вас родил искаженный и злой человек Федор Достоевский и Вы все боретесь с папашей в самом себе».

С. 520. «Что я, корреспондент, что ли, какой...» — На это полуслушливое замечание Горький отвечал в том же тоне: «И — очень хорошо знаю, что Вы не «корреспондент, а Розанов» — вот — пишу много».

М. ГОРЬКОМУ. <Конец 1911>.

Печатается по журн.: Беседа. 1923. № 2 и автографу.

С. 520. *Пришлите монеты с каким-нибудь конспиративным эс-деком.* — В ответном письме (конец 1911 — начало 1912) Горький сообщал: «Прислать Вам монеты тем способом, как Вы указали — не могу: конспиративных эс-деков не вижу, думаю, что ехать им отсюда в Россию не надобно, там достаточно „живых трупов“ и „мертвых душ“».

«Род — на род — народ»... — В предшествующем письме Горький писал: «Мы всегда будем жить в чудесах и тайнах, из них же самое чудесное и таинственное суть — человек, народ, народище. Мне тут даже слово самое нравится и опьяняет меня — народ — род на род — вавилонской башни строение, бунт всякий, разноязычие...» В своей статье «Белинский и Достоевский» (Новое время. 1914. 8 июля. № 13764) Розанов вспомнил эти слова: «Горький гениально разъяснил происхождение слова «народ»: «род ложится на род, опять — народ, еще — на род: и бесчисленные пласты образуют народ». Отлично. Превосходно. Истинно».

Уго раздило Вас на Капри. — В предыдущем письме Горький приглашал Розанова приехать на Капри: «Это было бы хорошо! И обрадовало бы меня».

М. ГОРЬКОМУ. <3—6 марта 1912>.

Печатается по журн.: Беседа. 1923. № 2 и автографу. Письмо на бланке редакции газеты «Новое время».

С. 521. *Почему я стал консерватором?* — В ответном письме (ок. 10 апреля 1912) Горький писал: «Вовсе Вы не консерватор, а — революционер и в лучшем смысле слова, в настоящем русском, как Васья Буслаев».

«О современности». — Статья Горького, напечатанная в газете «Русское слово» 2 и 3 марта 1912 г. (№ 51 и 52), что позволяет датировать это письмо.

Я говорю о Гилярове-Платонове, Страхове, Кон. Леонтьеве... о Говорухе-Отроке... — В ответном письме Горький писал: «На прежнее Ваше письмо, где Вы свели всю русскую литературу к Говорухе-Отроку, Страхову и Леонтьеву, — не охота отвечать. Озорничаете Вы в нем, и ужасно сумбурно все в нем».

С. 522. *О самоубийствах я вам возражаю в «Нов<ом> Вре<мени>».* — Статья Розанова «Максим Горький о самоубийствах» (Новое время. 1912. 6 марта. № 12925) направлена против статьи Горького «О современности». Очевидно, приписка сделана сразу после выхода этого номера «Нового времени».

Печатается по журн.: Беседа. 1923. № 2 и автографу. Датируется по записи в «Опавших листьях» (с. 356 наст. изд. и комментарий).

Ответ на письмо Горького, написанного около 10 (23) апреля 1912 г. Публикуя письма Розанова в журнале «Беседа», Горький дал в примечании текст настоящего письма.

С. 522. Книгу пришлю.— «Темный лик» и «Люди лунного света» (разделенная из-за цензурных преследований на две части, две книги).

...суд тянет за «Уединен.» — см. комментарий к с. 356. В этой книге Розанов писал о переписке с Горьким: «Несколько прекрасных писем от Горького этот год. Он прекрасный человек. Но если все другие «левые» так же видят, так же смотрят: то, прежде всего, против «нашего горизонта» — какой это суженный горизонт! неужели это правда, что разница между радикализмом и консерватизмом есть разница между узким и широким полем зрения, между «близорукостью» и «дальзорукостью». Если так, то ведь, значит, мы победим? Между тем, никакой на это надежды» (119).

Э. Ф. ГОЛЛЕРБАХУ. 16 июля 1915 г.

Печатается по кн.: Письма В. В. Розанова к Э. Голлербаху. Берлин: Гутков, 1922. С. 13—14. Автографы большинства писем Розанова к Голлербаху хранятся в Отделе рукописей ГПБ (ф. 207).

Эрих Федорович Голлербах (1895—1942), литературовед и искусствовед, был особенно близок к Розанову в последние годы его жизни, а после его смерти выпустил первую биографию писателя: Голлербах Э. В. В. Розанов: Жизнь и творчество. Пб.: Полярная звезда, 1922. Сокращенное издание вышло в 1918 г. на основе публикаций в журнале «Вешние воды» (1918. Март — апрель. Т. 33—34). Еще до знакомства с Розановым (первая их встреча состоялась в Вырице, на даче Розанова, 23 июля 1915 г. в результате предложения Голлербаху приехать, высказанному в публикуемом письме) Голлербах, сочинявший эпиграммы на современных писателей, написал эпиграмму на Розанова:

Психолог тонкий и лукавый,
Знаток монет и женских душ,
Он ради достижения славы
Порою изрекает... чужь.

С. 523. «Листьев травы» не читал.— О книге У. Уитмена «Листья травы» и ее переводчице К. И. Чуковском Розанов написал две статьи: Поэт грядущей демократии Уот Уитмэн//Новое время. 1915. 10 августа. № 14158; Еще о «деморатии», Уитмене и Чуковском//Новое время. 1915. 13 августа. № 14161. Позднее Чуковский написал статью «Розанов и Уот Уитмен» (Петроградское эхо. 1918. 29 марта).

«Из жизни и наблюдений студенчества». — В серии статей с этим названием Розанов печатал письма студентов со своими примечаниями (Вешние воды. 1914. Т. 4; 1915. Т. 5—12; 1916. Т. 13—17).

М. ГОРЬКОМУ. <Конец 1917>.

Печатается впервые по автографу ЦГАЛИ.

На конверте надпись: «С покорнейшею просьбою передать лично — Аркадию Вениаминовичу Руманову (т. е. чтобы Арк. Вен. Руманов передал лично и наверно Максиму Горькому)». В письме нашли отражения тяжелые жизненные условия, в которых оказался Розанов в Сергиевом Посаде, лишенный работы и возможности печататься. Вероятно, письмо осталось неотправленным (в Архиве Горького отсутствует).

С. 523. «Знание» — литературные сборники, издававшиеся при руководящем участии М. Горького книжным издательством «Знание» в Петербурге в 1904—1913 гг. В них выступали крупнейшие русские писатели начала XX в.

С. 524. «Лукоморье» — издательство, принадлежавшее М. А. Суворину, старшему сыну издателя «Нового времени» А. С. Суворина. Свои финансовые претензии в связи с выпуском этим издательством второго короба «Опавших листьев» Розанов излагает в письме Н. Ю. Жуковской, жене М. А. Суворина (ЦГАЛИ).

«Вскую Ты оставил меня еси» — Евангелие от Матфея, XXVII, 46. *Вскую* — почему (*древнерус.*).

«Иринеи Лионский», «История» Голубинского — см. комментарий к письму М. Горького от июня 1911 г.

...отрывочек для «Нивы». — Популярный иллюстрированный еженедельник «Нива», выходявший с 1870 г., был закрыт в декабре 1917 г., и материалы Розанова в нем не появились. Единственным журналом, где Розанов печатался в 1918 г., был «Книжный угол», выпускавшийся В. Р. Ховиным.

Одна дочурка написала мне... — Летом 1917 г. студенты Бестужевских курсов, и в их числе дочь Розанова Татьяна, ездили в Рязанскую губернию, чтобы помогать крестьянам (Воспоминания Т. В. Розановой, ГБЛ).

Э. Ф. ГОЛЛЕРБАХУ. 26 октября 1918 г.

Впервые: Стрелец. Сб. третий и последний/Под. ред. А. Беленсона. СПб., 1922. С. 48—50. Печатается заключительная часть письма по кн.: Письма В. В. Розанова к Э. Голлербаху. С. 124—128.

Письмо отразило душевный надрыв Розанова, видевшего в революции гибель России, угрозю того, что «русский свет погаснет в мире».

В 20-е г. Голлербах предпринял попытку ввести наследие Розанова в советскую литературу, но не преуспел в этом. 6 апреля 1928 г. он писал Горькому: «Кстати, о Розанове, судьбою которого Вы интересовались и которому так много помогали в последний год его жизни. Мне удалось издать свою работу о нем с присоединением «Уедин.» и «Апокалипсиса» в Лондоне, на англий-

ском языке (пер. С. Котелянского), в прошлом году. Англичане интересуются им «через» Достоевского, появилось множество отзывов, но книга идет, все же, плохо. Знают ли Розанова хотя бы понаслышке в Италии и можно ли заинтересовать им итальянскую публику? Над Розановым продолжаю работать, но работа эта — «для письменного стола», а не для печати, хотя несколько лет тому назад Л. Б. Каменев уверял меня, что Розанова можно и нужно печатать, всего целиком (разговор шел в присутствии Ионова, и тот только отмахивался с гримасой пренебрежения). Сейчас, к сожалению, об этом нечего и думать. Как было бы ценно, если бы Вы когда-нибудь написали хотя бы несколько слов об этом отверженном писателе. «Хотя бы несколько слов» — это звучит довольно нелепо, но я хочу сказать, что Ваши «несколько слов» были бы, вероятно, достаточны для того, чтобы можно было — если не переиздать Розанова, то хотя бы писать о нем. А как были бы для нас, «розовианцев», интересны Ваши «слуховые» и «зрительные» впечатления о нем, портретная характеристика, искусством которой Вы владеете так изумительно. Уверен, что Ваше слово могло бы в известной мере «снять опалу» с этого писателя. Но вот вопрос: нужен ли он сегодняшней России? Может быть, с Розановым следует подождать еще лет 30? Впрочем, о сроках говорить трудно» (Архив Горького, КГ-ДИ, 3-1-2).

С. 525. «...кувшинное крыло»... — Гоголь. Мертвые души, гл. 7.

Египет, Египет... — В 1916—1917 гг. вышли три выпуска книги Розанова «Из восточных мотивов», посвященной Египту.

Деметра — в греческой мифологии богиня плодородия, покровительница земледелия (у римлян — Церера).

Прозерпина — в древнеримской мифологии богиня подземного царства; в древнегреческой мифологии — Персефона (Кора), дочь Деметры, похищенная богом подземного царства Аидом.

Апис — священный бык, почитавшийся в Древнем Египте.

С. 526. *Когда зерно сгнило*... — Имеется в виду евангельская притча о зерне (Евангелие от Иоанна, XII, 24).

...«и бысть вечер...» — Библия. Бытие, I, 5.

Д. С. МЕРЕЖКОВСКОМУ. <Декабрь 1918>.

Впервые (в сокращении): Вестник литературы. 1919. № 8. С. 14. Печатается по автографу ЦГАЛИ (запись дочери писателя Н. В. Розановой).

История взаимоотношений Розанова и Мережковского получила отражение во многих статьях и рецензиях Розанова.

С. 526. ...*кончить «Апокалипсис», «Из восточных мотивов» и издать «Опавшие листья»*... — Издание «Апокалипсиса нашего времени» остановилось на десятом выпуске, «Из восточных мотивов» — на третьем. В последний

год жизни Розанов предпринял попытки переиздать «Опавшие листья» и новые части, написанные после 1915 г.

С. 527. *Максимушка* — М. Горький, оказавший в 1918 г. материальную помощь Розанову.

М. ГОРЬКОМУ. 20 января 1919 г.

Впервые (в сокращении): Вестник литературы. 1919. № 8. С. 14. Печатается по автографу ЦГАЛИ (запись дочери писателя Н. В. Розановой).

Это предсмертное письмо (возможно, неотправленное) завершает длительную переписку Розанова с Горьким. Продиктованное дочери 17 января 1919 г. письмо «К литераторам» он закончил словами: «Прошу Пешкова позаботиться о моей семье» (Вестник литературы. 1919. № 5. С. 9).

26 июня 1919 г. Горький написал письмо дочери Розанова: «Уважаемая Надежда Васильевна! Вы пишете: «Вы знали отца моего, встречались с ним, видели его в самой разнообразной обстановке»... К сожалению моему — это не верно: я никогда не встречался с Василием Васильевичем и лично не знал его. Лицо его знаю только по портретам. Переписываться мы начали с 903-го года, но все письма Василия Васильевича я оставил в Германии, в сейфе одного из Берлинских банков, откуда получить их не могу, конечно. Написать очерк о нем — не решаюсь, ибо уверен, что это мне не по силам. Я считаю В. В. гениальным человеком, замечательнейшим мыслителем, в мыслях его много совершенно чуждого, а порою — даже враждебного моей душе, и — с тем вместе — он любимейший писатель мой. Столь сложное мое отношение к нему требует суждений очень точно разработанных, очень продуманных — на что я сейчас никак не способен. Когда-то я, несомненно, напишу о нем, а сейчас решительно отказываюсь. Желаю Вам здоровья. А. Пешков» (Архив Горького, ПГ-рл, 37-35-1).

Четыре года спустя, 8 мая 1923 г., Горький поделился замыслом опубликовать письма к нему Розанова с одним из руководителей берлинского журнала «Беседа» — Ф. А. Брауном: «Возникает вопрос: не ввести ли нам в «Беседе» отдел «литературные материалы»? У меня здесь оказалось около сорока писем Леонида Андреева, есть интересные, есть письма В. В. Розанова и еще кое-кого» (Архив Горького, ПГ-рл, 6-35-12). Все напечатанные в «Беседе» письма Розанова включены в настоящее издание.

С. 527. *...4000 р. это не кое-что.* — По просьбе Горького Ф. И. Шаляпин выделил денежную сумму для Розанова, но деньги не успели прийти до смерти писателя.

...было неладно с Кожемякой. — Горький писал Розанову в письме (конец 1911 — начала 1912): «Хочу просить Вас: прочитайте, пожалуйста, моего «Матвея Кожемякина» и скажите, какое эта вещь вызовет у Вас впечатление? Прочитаете, а?» (Контекст 1978. С. 306).

Н. Е. МАКАРЕНКО. 20 января 1919 г.

Впервые (в сокращении): Летопись Дома литераторов. 1922. № 8—9. С. 5. Печатается по автографу ЦГАЛИ (запись дочери писателя Н. В. Розановой). Письмо другу Розанова Н. Е. Макаренко — прощание с Россией.

С. 528. *Поклон его Петру и его стрельцам.*— Еще в 1905 г. Розанов написал рецензию на роман Мережковского «Петр и Алексей» — «Окончание трилогии Д. С. Мережковского» (Новое время. 1905. 28 апреля. № 10470).

Варя совершенно с Вами помирилась.— Жена Розанова Варвара Дмитриевна очень не любила Мережковских (см. с. 437 настоящего издания).

А. НИКОЛЮКИН

УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН

- Абрамович Дмитрий Иванович* (1873—1955) — историк литературы 574
Абрамович Николай Яковлевич (1881—1922) — критик, поэт 20
Авакум Петрович (1620/21—1682) — протопоп, писатель, глава русского раскола 39, 397
Августин Блаженный (354—430) — теолог и церковный деятель 34
Аврелий Марк (121—180) — римский император 339, 506
Агриппа Марк Випсаний (ок. 63—12 до н. э.) — римский полководец и государственный деятель 185
Азеф Евно Фишелевич (1869—1918) — провокатор, один из организаторов партии эсеров 427, 567
Аксаков Иван Сергеевич (1823—1886) — поэт, публицист, славянофил 199, 222, 385, 398, 563
Аксаков Константин Сергеевич (1817—1860) — публицист, историк, славянофил 199
Аксаков Николай Петрович (1853—1909) — поэт и публицист 13
Аксаков Сергей Тимофеевич (1791—1859) — писатель, автор «Семейной хроники» 162, 220, 243, 263, 542, 545, 547
Александр I (1777—1825) — российский император 278, 515
Александр II (1818—1881) — российский император 23, 277, 515, 533, 565
Александр III (1845—1894) — российский император 208, 402, 464, 560
Александр Македонский (356—323 до н. э.) — полководец, царь Македонии 344, 353
Александр Невский (1220—1263) — полководец, князь новгородский, великий князь владимирский с 1252 г. 429
Александров Анатолий Александрович (1861—1930) — журналист, поэт, редактор журнала «Русское обозрение» (1892—1898) 14
Алексинский Григорий Алексеевич (1879—1967) — публицист 345
Алкивиад (ок. 450—404 до н. э.) — политический и военный деятель древних Афин 365, 561
Альбов Иоанн Федорович — священник, с которым Розанов вел полемику 336
Амеросий Оптинский (Гренков Александр Михайлович, 1812—1891) — старец Оптиной Пустыни, канонизированный в 1988 г. 46, 480, 571
Амфиитеатров Александр Валентинович (1862—1938) — писатель, журналист 394, 485, 564
Анатолий Федорович — см. Кони А. Ф.
Андреев Леонид Николаевич (1871—1919) — писатель 328, 329, 339, 340, 413, 522, 557, 559, 583
Андреев Николай Андреевич (1873—1932) — скульптор, автор памятника Гоголю (1904—1909) 292—294, 551, 552

- Анзельм (Ансельм) Кентерберийский* (1033—1109) — теолог и философ 212
- Анненков Павел Васильевич* (1813—1887) — критик, мемуарист 166—168, 328, 544, 556
- Анненский Николай Федорович* (1843—1912) — публицист народнической направленности 414
- Антоний (Вадковский) Александр Васильевич*, 1846—1912) — митрополит петербургский 461, 462, 568
- Антонин Пий (Благочестивый)* (86—161) — римский император 372
- Антонов Н. Р.* — священник 482
- Анфимов Яков Афанасьевич* (р. 1852) — харьковский профессор, врач-невропатолог 481
- Апостолопуло Евгения Ивановна* (ум. 1916) — хозяйка имения «Сахарна» 19
- Апухтин Алексей Николаевич* (1840—1893) — поэт 567
- Аракчеев Алексей Андреевич* (1769—1834) — государственный деятель, военный министр 432, 522
- Ардов Т.* (наст. фамилия: Тардов Владимир Геннадиевич, р. 1879) — писатель, сотрудник московской газеты «Утро России» 308, 312—316, 554
- Аристотель* (384—322 до н. э.) — древнегреческий философ и ученый 570
- Аристофан* (ок. 445 — ок. 385 до н. э.) — древнегреческий комедиограф 233
- Архимед* (ок. 287—212 до н. э.) — древнегреческий ученый 290, 359
- Арцыбашев Михаил Петрович* (1878—1927) — писатель 368, 567
- Аттила (Атила)* (ум. 453) — предводитель гуннов 347, 559, 563, 564
- Ауэр Тамара* — девочка, сгоревшая на пожаре, о которой писал Розанов 398, 399, 566
- Багалеи Дмитрий Иванович* (1857 — после 1909) — профессор Харьковского университета, историк 290, 551
- Байрон Джордж Гордон* (1788—1824) 186, 188, 213, 214, 328, 368, 376, 447
- Бакст Лев Самойлович* (наст. фамилия: Розенберг, 1866—1924) — художник, театральный декоратор 14, 408, 464
- Бальзак Оноре де* (1799—1850) 18, 211
- Барановы* — фамилия нескольких губернаторов и предпринимателей 278
- Барант Эрнест* (1818—1859) — атташе французского посольства в Петербурге, сын французского посла. Дуэль его с Лермонтовым состоялась 18 февраля 1840 г. 219
- Баратынский (Боратынский) Евгений Абрамович* (1800—1844) — поэт 276, 501
- Барсов Еллидифор Васильевич* (1836—1917) — фольклорист 532
- Барятинская Лидия Борисовна* (сценическое имя: Яворская, урожд. фон Гюббенет, р. 1872) — княгиня, артистка 519
- Батый* (1208—1255) — монгольский хан 566
- Батюшков Константин Николаевич* (1787—1855) — поэт 28, 186, 190, 221
- Баян* (наст. фамилия: Рославлев Александр Степанович, 1879—1920) — писатель и публицист 358, 394, 560
- Бекетов Андрей Николаевич* (1825—1902) — ботаник, профессор и ректор Петербургского университета, дед А. Блока 516, 577
- Беленсон Александр Эммануилович* (1890—1949) — поэт, редактор литературных альманахов «Стрелец» (1915—1922) 581
- Белинский Виссарион Григорьевич* (1811—1848) 29—31, 44, 52, 177, 181, 183, 187, 188, 221, 225, 235, 266, 267, 290, 328, 538, 542, 543, 547, 548, 579
- Белый Андрей* (наст. фамилия: Бугаев Борис Николаевич, 1880—1934) — писатель 14, 22
- Беляев А.* — священник в Сергиевом Посаде 524
- Бенардаки Н.* — журналист 278
- Бенедиктов Владимир Григорьевич* (1807—1873) — поэт 233

- Бенкендорф Александр Христофорович* (1783—1844) — шеф жандармов и главный начальник III отделения 257—261
- Бенуа Александр Николаевич* (1870—1960) — художник, историк искусства 527, 528
- Беранже Пьер Жан* (1780—1857) — французский поэт 547
- Берг Федор Николаевич* (1840—1909) — писатель, редактор журнала «Русский вестник» 14, 365, 561
- Бердяев Николай Александрович* (1874—1948) — философ 9, 11, 14, 37
- Бернар(д) Клервосский* (1090—1153) — французский теолог 212
- Бетховен Людвиг ван* (1770—1827) — 43, 236, 483
- Бехтерева Владимир Михайлович* (1857—1927) — невропатолог, психиатр, физиолог 457, 458, 481
- Бирюков Павел Иванович* (1860—1931) — издатель, биограф Л. Н. Толстого 552
- Бисмарк Отто фон Шёнхаузен* (1815—1898) — рейхсканцлер германской империи (1871—1890) 313, 315—319, 324, 325, 352, 555
- Благосветлов Григорий Евлампиевич* (1824—1880) — журналист, публицист-демократ 385, 426, 428, 563, 567
- Блок Александр Александрович* (1880—1921) 26, 34, 37, 38, 516—518, 576, 577
- Боборыкин Петр Дмитриевич* (1836—1921) — писатель 228, 231, 485
- Богучарский* (наст. фамилия: Яковлев Василий Яковлевич, 1861—1913) — публицист демократической направленности 434, 567
- Бодянский Осип Максимович* (1808—1877) — филолог, историк 504
- Боккаччо* (Боккаччо) *Джованни* (1313—1375) — итальянский писатель 184, 558
- Бокль Генри Томас* (1821—1862) — английский историк 11, 315, 319, 395, 397, 478, 565
- Бологов Андрей Тимофеевич* (1738—1833) — писатель и естествоиспытатель 490, 569
- Бонавентура* (Джованни Фиданца, 1221—1274) — философ, глава францисканского ордена 212
- Бопп Франц* (1791—1867) — немецкий языковед 312
- Браун А. Н.* — один из руководителей берлинского журнала «Беседа» 583
- Брихинцев* (правильно: Брихничев) *Иона Пантелеймонович* (1879—1968) — публицист, издатель, поэт 368, 561
- Брюсов Валерий Яковлевич* (псевдоним: Даров В., 1873—1924) — поэт, публицист 18, 22, 204, 207, 290, 509, 540, 551, 572—574
- Буало Никола́* (1636—1711) — французский поэт и теоретик классицизма 145, 535
- Булгаков Михаил Афанасьевич* (1891—1940) — писатель 5, 23, 29
- Булгаков Сергей Николаевич* (1871—1944) — философ, теолог 482
- Булгарин Фаддей Венедиктович* (1789—1859) — журналист и писатель 432
- Буре Павел* — фабрикант часов 438
- Буренин Виктор Петрович* (1841—1926) — журналист, сотрудник «Нового времени» 6, 20, 574
- Буслаев Федор Иванович* (1818—1897) — филолог, профессор Московского университета, академик 12, 311, 533
- Буткевич Тимофей Иванович* (р. 1854) — профессор богословия 464
- Бутурлин Василий Дмитриевич* (ум. 1910) — офицер гвардейского полка 341, 558
- Бутягин Михаил Павлович* (ум. 1885) — первый муж Варвары Дмитриевны Рудневой, вышедшей вторым браком за Розанова 435, 469, 472
- Бутягина Александра Михайловна* (Шура) (1883—1920) — приемная дочь В. В. Розанова 356, 403, 406, 407, 440, 461, 469, 509, 560, 568

- Бутягина Варвара Дмитриевна* — см. Руднева В. Д.
Бутягина Елизавета (Лиза) — дочь сестры первого мужа Варвары Дмитриевны Бутягиной-Розановой 436
Бэкон Фрэнсис (1561—1626) — английский философ 213
Бюффон Жорж Луи Леклерк (1707—1788) — французский естествоиспытатель 547
Бюхнер Людвиг (1824—1899) — немецкий естествоиспытатель и философ 461, 494
- Васильев Афанасий Васильевич* (1851—1917) — публицист, поэт, издатель, генерал-контролер Государственного контроля 13
Васильчиков Александр Илларионович (1818—1881) — князь, мемуарист, секундант последней дуэли Лермонтова 217—219
Введенский Иринарх Иванович (1813—1855) — переводчик, критик 548
Вейнинггер Отто (1880—1903) — австрийский писатель, философ 19
Венгеров Семен Афанасьевич (1855—1920) — историк литературы, библиограф 343, 344
Версаев Викентий Викентьевич (наст. фамилия: Смидович, 1867—1945) — писатель 567
Верзилины — семейство генерал-майора Петра Семеновича Верзилина (1793—1849), жившее в Пятигорске: его жена Мария Ивановна (урожд. Вишневецкая, 1798—1848), ее падчерица Аграфена Петровна (1822—1901) и дочь Надежда Петровна (1826—1863); см. также Шан-Гирей Э. А. 218, 217
Верлен Поль (1844—1896) — французский поэт 18
Виет Франсуа (1540—1603) — французский математик 536
Вильгельм I (1797—1888) — германский император 312, 313, 315—318, 324, 325
Вильгельм II (1859—1941) — германский император 463
Винкельман Иоганн Иохим (1717—1768) — немецкий историк искусства 239
Виноградов Павел Гаврилович (1854—1925) — профессор всеобщей истории Московского университета, академик 12
Виргилий (Виргилий) *Марон Публий* (70—19 до н. э.) — римский поэт 212, 357
Вишневецкий Иван Васильевич — директор Симбирской гимназии, где учился Розанов 431
Владимир Карлович — см. Саблер В. К.
Владимир Святославич (ум. 1015) — великий князь киевский 336
Вовчок Марко (наст. фамилия: Вилинская-Маркович Мария Александровна, 1833—1907) — украинская и русская писательница 180
Вогюз Эжен Мелькиор де (1848—1910) — французский писатель и литературовед 291
Волжский (наст. фамилия: Глинка Алексей Сергеевич, 1878—1940) — критик и историк литературы 377, 447, 562, 568
Волконский Сергей Григорьевич (1788—1865) — князь, декабрист 344
Волынский (наст. фамилия: Флексер Аким Львович, 1863—1926) — критик, искусствовед 7
Вольтер (наст. имя: Мари Франсуа Аруэ, 1694—1778) 342, 363, 531, 534, 560
Востоков Александр Христофорович (наст. фамилия: Остенек, 1781—1864) — филолог, поэт, академик 316, 320, 324, 525
- Галилей Галилео* (1564—1642) 212
Галлер Альбрехт фон (1708—1777) — швейцарский поэт и естествоиспытатель 185, 538

- Гамбетта Леон* (1838—1882) — премьер-министр Франции и министр иностранных дел 504, 572
- Ге Николай Николаевич* (1831—1894) — художник 359, 428
- Гегель Георг Вильгельм Фридрих* (1770—1831) — немецкий философ 186, 315
- Геккери Луи-Борхард де Беверваард* (1791—1884) — нидерландский посланник при русском дворе 254, 255
- Гельфердинг* (Гильфердинг) *Александр Федорович* (1831—1872) — собиратель и исследователь былин, славяновед 316, 324, 525
- Генрих IV* (1563—1610) — французский король 395, 565
- Гердер Иоганн Готфрид* (1744—1803) — немецкий философ, критик 149, 536
- Геродот* (490/480 — ок. 425 до н. э.) — древнегреческий историк 546
- Герцен Александр Иванович* (1812—1870) 6, 319, 340, 410, 567
- Гершензон Михаил Осипович* (1869—1925) — историк литературы и общественной мысли 325, 459, 527, 555, 568
- Герье Владимир Иванович* (1837—1919) — профессор всеобщей истории Московского университета 12
- Гете Иоганн Вольфганг* (1749—1832) 149, 155, 213—215, 305, 321, 327—329, 374, 484, 531, 536, 539, 554, 556, 557
- Гизо Франсуа* (1787—1874) — французский историк 11, 353
- Гиляров-Платонов Николай Петрович* (1834—1887) — публицист 428, 521, 579
- Гиппиус Зинаида Николаевна* (псевдоним: А. Крайний, 1869—1945) — писательница, жена Д. С. Мережковского 9, 15, 37, 518, 526, 528, 561
- Глаголева Мария Павловна* — сестра первого мужа Варвары Дмитриевны Бутягиной-Розановой 436
- Гладстон Уильям Юарт* (1809—1898) — премьер-министр Великобритании 504
- Глебов Михаил Павлович* (1819—1847) — секундант на последней дуэли Лермонтова 217, 218
- Глинка Михаил Иванович* (1804—1857) — композитор 30
- Глинский Борис Борисович* (1860—1917) — публицист 434, 567, 568
- Говоруха-Отрок Юрий Николаевич* (псевдоним: Николаев Ю., 1851—1896) — писатель и критик 40, 158, 166, 339, 504, 536, 558, 579
- Гоголь Николай Васильевич* (1809—1852) 5, 7, 10, 17, 21—25, 28, 30—34, 37, 38, 41, 42, 49—54, 158—176, 201, 219—222, 225, 227—230, 234, 236, 240—242, 246, 263—271, 274—280, 287—298, 313, 322, 326, 353, 385, 391, 392, 405, 435—437, 446, 464, 467, 501—502, 525, 526, 531—533, 536, 537, 541, 542, 545—548, 554, 560, 563, 564, 566, 570, 582
- Голлербах Эрих Федорович* (1895—1942) — литературовед и искусствовед, автор книг и статей о Розанове 11, 14, 15, 37, 525, 557, 580—582
- Голубинский Евгений Евстигнеевич* (1834—1912) — церковный историк 524, 577, 578, 581
- Голубов Константин Ефимович* — философ-самоучка, крестьянин-старообрядец, издававший в 1860-е годы в Пруссии русские старообрядческие книги 44
- Гольштейн Леонид Юльевич* — литератор, сотрудник «Нового времени» 513
- Гомер* (VIII—VII вв. до н. э.) 233, 234, 246, 357, 541, 548
- Гонкуры, братья* — французские писатели Эдмон (1822—1896) и Жюль (1830—1870) Гонкуры 261
- Гончаров Иван Александрович* (1812—1891) 21, 39, 44, 49, 59, 180, 182, 196, 202, 228, 301, 302, 312, 314
- Гончарова Наталья Николаевна* (1812—1863) — жена Пушкина 27, 251—262, 546, 547
- Гораций Флакк* (65—8 до н. э.) — римский поэт 145, 535

- Горнфельд Аркадий Георгиевич* (1867—1941) — литературовед, сотрудничал в журнале «Русское богатство» 425, 427
- Горький Максим* (наст. фамилия: Пешков Алексей Максимович, 1868—1936) 5, 6, 8, 16—18, 30, 32, 37, 302, 339, 340, 345, 400, 413, 428, 511, 518, 519—524, 527, 528, 531, 559, 560, 566, 567, 573, 575—583
- Градовский Александр Дмитриевич* (1841—1889) — публицист 164, 225, 309, 536, 543
- Грановский Тимофей Николаевич* (1813—1855) — профессор всеобщей истории Московского университета 11, 44, 52
- Гржебин Зиновий Исаевич* (1877—1929) — издатель, художник 565
- Грибоедов Александр Сергеевич* (1795—1829) 288, 468
- Григорий I Великий* (540—604) — папа римский 395
- Григорий Спиридонович* — см. Петров Г. С.
- Григорьев Аполлон Александрович* (1822—1864) — поэт, критик 30, 183, 189, 199, 221, 222, 532, 533, 542
- Григорьев Владимир Васильевич* — преподаватель естественной истории в 1-й Московской гимназии, автор «Руководства к ботанике» (1861, ряд переизданий) 405
- Грингмут Владимир Андреевич* (1851—1907) — издатель «Московских ведомостей» 578
- Грифцов Борис Александрович* (1885—1950) — литературовед, искусствовед 447, 568
- Громека Михаил Степанович* (1852—1883) — критик и публицист 181, 189
- Грот Яков Карлович* (1812—1893) — филолог, академик 316, 320
- Грузинский Алексей Евгеньевич* (1858—1930) — историк литературы 288, 551
- Губонин Петр Ионович* — нефтепромышленник 278
- Гуревич Любовь Яковлевна* (1866—1940) — писательница и критик 414
- Гусакова А. Г.* — литературовед 542
- Гутенберг Иоганн* (1394/99—1468) — немецкий изобретатель книгопечатания 368, 403, 481
- Гюго Виктор Мари* (1802—1889) — французский писатель 258, 322, 323
- Даль Владимир Иванович* (1801—1872) — писатель, лексикограф 316, 320, 324, 341, 526
- Данилевский Николай Яковлевич* (1822—1885) — публицист 11, 13, 199, 399, 534, 566
- Д'Аннунцио Габриеле* (1863—1938) — итальянский писатель, политический деятель 553
- Данте Алигьери* (1265—1321) 184, 329, 410, 556
- Дантес Геккерн Жорж-Карл* (1812—1895) — убийца Пушкина, приемный сын Геккерна 249, 250, 254, 255, 257, 546
- Дарвин Чарлз Роберт* (1809—1882) 321, 360, 432, 471, 562, 566
- Даров В.* — см. Брюсов В. Я.
- Дебагорий (Дебогорий) Мокриевич Владимир Карлович* (1848—1926) — народник-революционер 321
- Дегаев Сергей Петрович* (1857—1920) — член исполнительного комитета «Народной воли» (1882), провокатор 368
- Декарт Рене* (1596—1650) — французский философ, математик, физик 145, 244, 536
- Дельвиг Антон Антонович* (1798—1831) — поэт, друг Пушкина 238, 276, 501
- Делянов Иван Давыдович* (1818—1897) — министр народного образования 359
- Державин Гаврила Романович* (1743—1816) — поэт 28, 184, 221, 244, 328, 542

- Дидро Дени* (1713—1784) — французский философ и писатель 533
- Диккенс Чарлз* (1812—1870) 267, 322
- Дмитриев Иван Иванович* (1760—1837) — поэт 190, 328
- Добролюбов Александр Михайлович* (1876—1944?) — поэт 206, 540
- Добролюбов Николай Александрович* (1836—1861) — критик, публицист 178—183, 188, 189, 299, 363, 428, 537, 538
- Дондукова-Корсакова Мария Михайловна* — княжна 430, 567
- Достоевская Анна Григорьевна* (1846—1918) — вдова Ф. М. Достоевского 20
- Достоевский Федор Михайлович* (1821—1881) 5—7, 11—13, 15, 17, 18, 20—22, 24, 26, 28, 30, 31, 33, 34, 37, 41—158, 164, 180, 187, 188, 192—203, 220—225, 227, 228, 230, 231, 236, 242, 243, 244, 259—261, 291, 301—303, 308—317, 322, 323, 328, 329, 339, 340, 363, 385, 423, 428, 484, 525, 531—539, 542—545, 548, 553—555, 558, 561, 569, 579, 581
- Дрэпер Джон Уильям* (1811—1882) — американский историк и ученый 11, 315, 395, 565
- Дункан Айседора* (1877—1927) — американская танцовщица 464
- Дурылин Сергей Николаевич* (1877—1954) — литературовед, искусствовед и театральный критик 15, 543
- Дюма-отец Александр* (1802—1870) — французский писатель, автор «Трех мушкетеров» 322, 545
- Дягилев Сергей Павлович* (1872—1929) — театральный и художественный деятель 14
- Егоров Ефрем Александрович* (р. 1861) — журналист, переводчик 372
- Екатерина II* (1729—1796) — российская императрица 275, 298, 315, 528
- Елена Павловна* (1806—1873) — великая княгиня, известная своей лечебно-благотворительной деятельностью; клинический институт ее имени открыт в Петербурге в 1885 г. 331, 492—494
- Елизавета Петровна* (1709—1761) — российская императрица 528
- Емельянов-Кохановский Александр Николаевич* (р. 1871) — поэт 206, 540
- Еремеев Дмитрий Павлович* — симбирский губернатор в 1870-е гг. 431
- Ерофеев Виктор Владимирович* — литературовед 23
- Ефрем Сириянин* (IV в.) — сирийский богослов 548
- Ефремов Петр Александрович* (1830—1907) — литературовед и библиограф 544
- Жак Гюстав* — французский художник 540
- Жданов Дмитрий Андрианович* — священник, брат матери Варвары Дмитриевны Бутягиной-Розановой и ее крестник 436
- Жданова Александра Дмитриевна* (по мужу Звягинцева) — двоюродная сестра жены Розанова 432
- Желябов Андрей Иванович* (1851—1881) — народник-революционер 426
- Жемчужниковы, братья* — поэты Алексей Михайлович (1821—1908) и Владимир Михайлович (1830—1884) 554
- Жуковская Наталья Юльевна* — жена М. А. Суворина, старшего сына А. С. Суворина 581
- Жуковский Василий Андреевич* (1783—1852) 28, 186, 188, 190, 221, 405, 501, 535, 546
- Зайцев Борис Константинович* (1881—1972) — писатель 289, 551
- Закржевский Александр Карлович* (1886—1916) — критик, автор работ о Розанове 377, 447, 562, 568
- Замятин Евгений Иванович* (1884—1937) — писатель 5
- Заозерский Николай Александрович* (р. 1851) — профессор церковного права в Московской духовной академии 364

Засулич Вера Ивановна (1849—1919) — деятель российского революционного движения 430
Захарьин Григорий Анатолиевич (1829—1897) — терапевт, профессор Московского университета 445
Зембрих Марчелла (1858—1935) — польская певица 464
Зенков П. — художник 541
Златоуст Иоанн (334/354—407) — идеолог восточнохристианской церкви 461, 562
Золя Эмиль (1840—1902) — французский писатель 18, 208, 211

Иванов Александр Андреевич (1806—1858) — художник 541
Иванов Вячеслав Иванович (1866—1949) — поэт 14
Иванов Евгений Платонович (р. 1884) — археолог, журналист 359, 428, 560
Иванцов Николай Александрович — мемуарист 532
Изгоев А. (наст. фамилия: Ланде Александр (Аарон) Соломонович, 1872—1935) — журналист 402, 566
Измайлов Александр Алексеевич (псевдоним: Аякс, 1873—1921) — писатель, критик 341, 558
Иловайский Дмитрий Иванович (1832—1920) — историк, автор учебника по всеобщей истории для гимназий 563, 564
Иоанн Кронштадтский (Сергиев Иоанн Ильич, 1829—1908) — протоиерей, настоятель Андреевского собора в Кронштадте 516
Иокар Лия Николаевна — литературовед 575
Ионов Илья Ионович (1887—1942) — председатель правления издательства «Земля и фабрика» 582
Иринеи Лионский (ок. 130 — ок. 202) — проповедник христианства в Галлии 519, 524, 577, 578, 581

Каблиц Осип (Иосиф) *Иванович* (псевдоним: Юзов И., 1848—1893) — публицист-народник 13
Каблуков Сергей Платонович (1881—1919) — секретарь Религиозно-Философского общества, музыковед 527
Кальвин Жан (1509—1569) — деятель Реформации, француз 146
Каменев Лев Борисович (наст. фамилия: Розенфельд, 1883—1936) — политический деятель и литератор 582
Кант Иммануил (1724—1804) — немецкий философ 148, 149, 213
Кантемир Антиох Дмитриевич (1708—1744) — поэт, дипломат 184, 185, 538
Карамзин Николай Михайлович (1766—1826) — писатель 19, 28, 185, 221, 274, 275, 277, 328, 398, 538
Караулов Василий Андреевич (1854—1910) — общественный и политический деятель 433
Кареев Николай Иванович (1850—1931) — историк 343
Карпинский Иван Гаврилович (1833—1898) — профессор Военно-медицинской академии 455, 481
Карташов (Карташев) *Антон Владимирович* (1875—1960) — историк церкви, председатель Религиозно-Философского общества 373
Катков Михаил Никифорович (1818—1887) — издатель «Русского вестника» и «Московских ведомостей» 354, 521, 578
Кауфман Александр Аркадьевич (1864—1919) — экономист, один из организаторов и лидеров партии кадетов 278
Кашпирев Василий Владимирович (1836—1875) — литератор, редактор-издатель журнала «Заря» (1869—1872) 44, 532
Керн Анна Петровна (1800—1879) — о своем знакомстве и общении с Пушкиным рассказала в «Воспоминаниях» 26, 237
Кильдюшевский Петр Иванович — преподаватель симбирской гимназии 431

- Киреевский Иван Васильевич* (1806—1856) — философ, критик, публицист 199, 567
- Клавдий* (10 до н. э.— 54 н. э.) — римский император 558
- Клеопатра* (69—30 до н. э.) — последняя царица Египта из династии Птоломеев 59, 67, 92, 534, 540
- Климент XIV* (1705—1774) — папа римский 569
- Клодт Петр Карлович* (1805—1867) — скульптор 552
- Ключевский Василий Осипович* (1841—1911) — историк, академик 291, 321, 555
- Ковалевская Софья Васильевна* (1850—1891) — математик 430
- Кожевников Владимир Александрович* (ум. 1917) — философ 455
- Козьма Прутков* — коллективный псевдоним А. К. Толстого и братьев Жемчужниковых 554
- Коковцов* (или Коковцев) *Владимир Николаевич* (1853—1943) — государственный деятель, председатель Совета министров (1911—1914) и министр финансов 522
- Кокорев Василий Александрович* (1817—1899) — предприниматель, нефтепромышленник, основатель Волжско-Камского банка 278
- Комиссаржевская Вера Федоровна* (1864—1910) — актриса 464
- Комнен* (Комнин) *Алексей* (1048—1118) — византийский император 364
- Коневский Иван Иванович* (1877—1901) — поэт и критик 509, 574
- Кони Анатолий Федорович* (1844—1927) — юрист и общественный деятель, почетный член Академии наук (1900) 492, 569
- Константиновский Матвей Александрович* (1791—1857) — священник, ржевский протоиерей 278
- Конт Огюст* (1798—1857) — французский философ-позитивист 115, 474
- Копельман Соломон Юльевич* — издатель в Петербурге 565
- Коперник Николай* (1473—1543) — польский астроном 212, 538
- Корнель Пьер* (1606—1684) — французский драматург 322
- Короленко Владимир Галактионович* (1853—1921) 363, 385, 414, 425, 427, 515, 553, 563, 567, 576
- Корш Федор Евгеньевич* (1843—1915) — филолог, академик 12
- Котлянский Самуил Соломонович* (р. 1880) — переводчик книг Розанова и других русских писателей на английский язык 582
- Краевский Андрей Александрович* (1810—1889) — издатель, журналист 243, 336
- Кремер Яков Иванович* — преподаватель латинского языка в 4-й Московской гимназии, автор «Латинской грамматики» (1867), выдержавшей 10 изданий 389
- Крижанич Юрий* (ок. 1618—1683) — хорватский писатель, ученый 328
- Кронеберг Станислав Леопольдович* (р. 1845) — обвиняемый в деле, слушавшемся в январе 1876 г. в Петербургском окружном суде; Достоевский писал о нем в «Дневнике писателя» (1876, февраль) 534
- Крылов Иван Андреевич* (1769—1844) — 221, 296, 328, 552, 559
- Кудрявцев Константин Иванович* — приятель Розанова по гимназии 389, 390
- Кузнецов Алексей Федорович* (р. 1878) — крестьянин, депутат 2-й Гос. думы от Тверской губернии 480
- Кузнецов Юрий Поликарпович* (р. 1941) — поэт 19
- Кузьмин-Караваев Владимир Дмитриевич* (р. 1859) — публицист, юрист 345
- Куклярский Федор Федорович* — журналист 377
- Кулиш Пантелей Александрович* (1819—1897) — украинский писатель, историк 263, 722
- Куприн Александр Иванович* (1870—1938) — писатель 385, 563
- Курочкин Василий Степанович* (1831—1875) — поэт 547

- Кусков Платон Александрович* (1834—1909) — поэт, публицист 40, 433
- Кускова Елизавета* (Екатерина Дмитриевна Прокопович, 1869—1958) — публицистка либеральной направленности 429, 430, 567
- Кутлер Николай Николаевич* (1859—1924) — политический деятель, юрист 430
- Кутузов* (Голенищев-Кутузов) *Арсений Аркадьевич* — граф, заведующий канцелярией императрицы Марии Федоровны в годы создания «Опасных листов» 360
- Кювье Жорж* (1769—1832) — французский зоолог 145, 535
- Лавров Петр Лаврович* (1823—1900) — философ, социолог, публицист 517
- Лаговский* — врач в Костроме 404
- Лансере Евгений Евгеньевич* (1875—1946) — график и живописец 327
- Ланской Петр Петрович* (1799—1877) — второй муж Н. Н. Пушкиной (урожд. Гончаровой) 546
- Латынина Алла Николаевна* — критик 34
- Лев I Великий* — папа римский в 440—461 гг. 559
- Левицкая Елена Сергеевна* — начальница школы в Царском Селе 388
- Лейбниц Готфрид Вильгельм* (1646—1716) — немецкий философ, ученый 149, 538
- Ленин Владимир Ильич* (1870—1924) 5, 567
- Леонов Иван Павлович* — священник в Ельце 386, 388
- Леонтьев Константин Николаевич* (1831—1891) — писатель, критик 8, 12, 13, 16, 22, 29, 30, 40, 199, 339, 343, 377, 428, 464, 503—505, 521, 538, 555, 558, 570—572, 579
- Лепен* — хозяин дома в Петербурге (Малая Морская, 97, ныне Гоголя, 17), где жил Гоголь в 1833—1836 гг. 168
- Лермонтов Михаил Юрьевич* (1814—1841) 10, 19, 23, 27—31, 33, 34, 82, 186, 188, 201, 217—233, 236, 240—243, 245, 248, 249, 256, 263—273, 295, 301, 306, 307, 326, 328, 454, 464, 494, 509, 541—548, 554, 562, 574
- Лернер Николай Осипович* (1877—1934) — пушкинист 327, 328, 556
- Лесгафт Петр Францевич* (1837—1909) — педагог и врач 321, 555
- Лесков Николай Семенович* (1831—1895) 18, 34, 398, 510, 566, 574
- Лессепс Фердинанд* (1805—1894) — французский инженер-предприниматель, руководил строительством Суэцкого и Панамского каналов 504, 571
- Лессинг Готхольд Эфраим* (1729—1781) — немецкий драматург, теоретик искусства 149, 239
- Лозинский Михаил Леонидович* (1886—1955) — переводчик и литературовед 534
- Лойола Игнатий* (1491—1556) — основатель ордена иезуитов 106, 569
- Локк Джон* (1632—1704) — английский философ 448
- Ломоносов Михаил Васильевич* (1711—1765) 19, 219, 244, 528, 545
- Лопухина Варвара Александровна* (1815—1851, в замужестве Бахметьева) — одна из самых глубоких сердечных привязанностей Лермонтова, которой посвящены многие его стихи 541
- Лоренс Дэвид Герберт* (1885—1930) — английский писатель 40
- Лорис-Меликов Михаил Тариелович* (1825—1888) — граф, министр внутренних дел в 1880—1881 гг. 521
- Лосев Алексей Федорович* (1893—1988) — философ, филолог 18
- Луначарский Анатолий Васильевич* (1875—1933) — государственный деятель, писатель, критик 525
- Лутохин Далмат Александрович* (1885—1942) — экономист и журналист 19, 20
- Льюис Джордж Генри* (1807—1878) — английский философ, журналист, ученый 315

- Люгер Маргин* (1483—1546) — деятель Реформации в Германии 106, 146, 148, 255, 348, 395
- Магницкий* (Магнитский) *Михаил Леонтьевич* (1778—1855) — государственный деятель, литератор 432
- Мазепа Иван Степанович* (1644—1709) — гетман Левобережной Украины 255—257
- Мазини Анджело* (1844—1926) — итальянский певец 352
- Майков Аполлон Николаевич* (1821—1897) — поэт 43, 44, 243, 358, 532, 539, 560
- Майков Леонид Николаевич* (1839—1900) — историк литературы 327, 556
- Майн-Рид Томас* (1818—1883) — английский писатель 364
- Макаренко Николай Емельянович* (р. 1877) — художник, археолог, искусствовед 528, 529, 584
- Маколей Томас Бабингтон* (1800—1859) — английский историк 448
- Малявин Филипп Андреевич* (1869—1940) — художник 19
- Мандельштам Осип Эмильевич* (1891—1938) — поэт 39, 40
- Манн Юрий Владимирович* (р. 1929) — литературовед 22
- Манштейн Кристоф Герман* (1711—1757) — мемуарист 319, 555
- Маргьнов Иван Михайлович* — археолог, эмигрировал в 1860-е годы во Францию и обратился в католичество 320
- Маргьнов Николай Соломонович* (1815—1873) — убийца Лермонтова 29, 217—219, 231, 541
- Маргьнов Сергей Николаевич* — сын убийцы Лермонтова 28, 217, 219, 541
- Маргьнова Наталья Соломоновна* (р. 1819) — сестра Н. С. Маргьнова 218
- Маргьянов* — судебное дело об отцеубийстве 481, 568
- Матвей Ржевский* — см. Константиновский М. А.
- Матэ Василий Васильевич* (1856—1917) — гравер 464
- Маяковский Владимир Владимирович* (1893—1930) 18
- Мей Лев Александрович* (1822—1862) — поэт и драматург 299
- Меньшиков Михаил Осипович* (1859—1918) — публицист, сотрудник «Нового времени» 20, 513, 573, 577
- Мережковский Дмитрий Сергеевич* (1866—1941) — писатель 14, 15, 204, 377, 437, 465, 505, 506, 517, 518, 521, 522, 526, 528, 540, 551, 557, 562, 568, 572, 577, 582, 584
- Метерлинк Морис* (1862—1949) — бельгийский писатель 205, 343, 540, 559
- Меццерский Владимир Петрович* (1839—1914) — писатель и публицист, издавал журнал «Гражданин» (1872—1914) 6, 578
- Микель-Анджело* (Микеланджело) *Буонарроти* (1475—1564) — итальянский скульптор, архитектор, поэт 201, 282
- Миллер Орест Федорович* (1833—1893) — литературовед, фольклорист 188
- Милль Джон Стюарт* (1806—1873) — английский философ, экономист 474
- Милтон Джон* (1608—1674) — английский поэт 410, 548
- Минин Кузьма Минич* (ум. 1616) — организатор национально-освободительной борьбы против польских интервентов 372, 397
- Миних Иоганн Эрнст* (1707—1788) — граф, дипломат, мемуарист 319, 320, 555
- Минский Николай Максимович* (наст. фамилия: Виленкин, 1855—1937) — писатель 519
- Миролюбов Виктор Сергеевич* (1860—1939) — литератор, редактор «Журнала для всех» 573
- Михаил Федорович* (1596—1645) — первый царь из рода Романовых 566
- Михайловский Николай Константинович* (1842—1904) — народник, публицист, критик 6, 8, 10, 11, 14, 300, 301, 331, 357, 368, 384, 414, 428, 429, 513, 521, 553, 560, 567, 569

- Моисей Хоренский* (Мовсес Хоренаци, V — нач. VI в.) — армянский историк 312
- Молешотт Якоб* (1822—1893) — немецкий физиолог и философ 315, 461
- Мопассан Ги де* (1850—1893) — французский писатель 18, 208, 211, 215, 540, 541
- Морозов Николай Александрович* (1854—1946) — народник-революционер 33
- Морозов Петр Осипович* (1854—1920) — литературовед и театровед, пушкинист 544
- Моцарт Вольфганг Амадей* (1756—1791) — австрийский композитор 260
- Муравьев Андрей Николаевич* (1806—1874) — религиозный писатель 362, 560
- Муромцев Сергей Андреевич* (1850—1910) — профессор Московского университета, председатель 1-й Гос. думы 390
- Мятлев Иван Петрович* (1796—1844) — поэт 553
- Надсон Семен Яковлевич* (1862—1887) — поэт 569
- Наполеон I* (1769—1821) 260, 321, 368, 370, 432, 450, 493
- Наук Август Августович* — семейный врач Розановых 407, 462
- Некрасов Николай Алексеевич* (1821—1877) 31, 38, 94, 180, 299, 336, 344, 358, 390, 419, 476, 501, 533, 534, 542, 564, 567, 573
- Нерон* (37—68) — римский император 333
- Нестеров Михаил Васильевич* (1862—1942) — художник 14, 464
- Николаев Петр Алексеевич* (р. 1924) — литературовед 36
- Николаев Ю.* — см. Говоруха-Отрок Ю. Н.
- Николай I* (1796—1855) — российский император 23, 277, 278, 430, 515, 532
- Ницше Фридрих* (1844—1900) — немецкий философ 15, 34, 215, 311, 315, 319, 377, 505, 541, 572
- Новиков Николай Иванович* (1744—1818) — просветитель, писатель, издатель, журналист 184, 319
- Новоселов Михаил Александрович* (1864—1940) — писатель 455, 482
- Ньютон Исаак* (1643—1727) 377—379, 381, 459, 466
- Обриен-де-Ласси* — граф Патрикей Петрович О'Бриен де-Ланси, осужденный по процессу В. Д. Бутурлина 341, 558
- Овер Александр Иванович* (1804—1864) — московский врач 504
- Овидий* (Публий Овидий Назон, 43 до н. э.— ок. 18 н. э.) — римский поэт 541, 559, 572
- Огарева Наталья Алексеевна* (1829—1913) — вдова Огарева и Герцена 568
- Одоевский Владимир Федорович* (1803—1869) — писатель 328, 566
- Олейник Виталий Трофимович* (р. 1946) — литературовед 548
- Ольга Ивановна* — см. Романова О. И.
- Опекушин Александр Михайлович* (1838—1923) — скульптор 552
- Осман Нурри-бей* — торговец монетами 501
- Осоргина* (Осорьина) *Ульяна Устиновна* (XVII в.) — вдова-помещица 321, 322, 555
- Островский Александр Николаевич* (1828—1886) 21, 24, 49, 180, 196, 210, 220, 227, 228, 284, 291, 541, 543, 550, 552
- Оффенбах Жак* (1819—1880) — французский композитор 239
- Павел Прусский* (1821—1895) — старообрядец, перешедший в официальную православную церковь 44
- Павленков Флорентий Федорович* (1839—1900) — книгоиздатель 315
- Пантелеев Лонгин Федорович* (1840—1919) — издатель 428
- Панченко Владимир Кириллович* — врач, осужденный по делу В. Д. Бутурлина 341, 558
- Парфений* (Агеев Петр, 1807—1878) — автор «Сказания о странствии и путе-

- шестви по России, Молдавии, Турции и Святой Земле...» (1855) 44
- Паскаль Блез* (1623—1662) — французский ученый, философ, писатель 21, 34, 294, 295, 552
- Первов Павел Дмитриевич* — учитель елецкой гимназии, переводчик с греческого, литератор 21, 570
- Передольский Владимир Васильевич* (р. 1869) — публицист 463
- Перовская Софья Львовна* (1853—1881) — революционерка-народница 396, 430, 565
- Перцов Петр Петрович* (1868—1947) — публицист, критик, подготовил издания четырех книг Розанова 248, 253, 255, 351, 369, 429, 467, 505, 506, 546, 561, 572
- Пестель Павел Иванович* (1793—1826) — декабрист 344
- Петр I Великий* (1672—1725) — первый российский император 8, 39, 184, 193, 221, 256, 296, 315, 506, 528, 538, 552, 584
- Петрарка Франческо* (1304—1374) — итальянский поэт 25, 212, 501, 502, 541, 570
- Петрашевский* (Бутаевич-Петрашевский) *Михаил Васильевич* (1821—1866) — революционер, утопический социалист 48
- Петрищев Афанасий Борисович* (1872—1938) — писатель, публицист 425
- Петров Григорий Спиридонович* (1868—1925) — священник, публицист, печатался в газете «Русское слово» 394, 485, 492, 564
- Петропавловский Иван Феофистович* (ум. 1888) — учитель елецкой гимназии 378, 562, 563
- Печорин* (Печерин) *Владимир Сергеевич* (1807—1885) — поэт и мыслитель, принял католичество 321, 555
- Пешехонов Алексей Васильевич* (1867—1933) — публицист 363, 385, 427, 563
- Пиленко Александр Александрович* — сотрудник «Нового времени», журналист 513
- Пиндар* (ок. 518—442 или 438 до н. э.) — древнегреческий поэт 233, 410
- Пирожков Михаил Васильевич* — петербургский издатель, выпускавший книги Розанова («Легенда о Великом инквизиторе Ф. М. Достоевского») 524
- Писарев Дмитрий Иванович* (1840—1868) — публицист и критик 8, 11, 27, 460, 491
- Писемский Алексей Феофилактович* (1821—1881) — писатель 18
- Пифагор Самосский* (VI в. до н. э.) — древнегреческий философ, математик 459, 478
- Платон* (428/427—348/347 до н. э.) — древнегреческий философ 23, 82, 212, 238, 294, 295, 346, 441, 478
- Платонов Андрей Платонович* (1899—1951) — писатель 5
- Плеве Вячеслав Константинович* (1846—1904) — министр внутренних дел, шеф корпуса жандармов 8, 414
- Плетнев Петр Александрович* (1792—1865) — поэт, критик 536, 545
- Плеханов Георгий Валентинович* (1856—1918) — философ, революционер 567
- Плещев Алексей Николаевич* (1825—1893) — поэт 299
- Плутарх* (ок. 45 — ок. 127) — древнегреческий писатель и историк 561
- По Эдгар Аллан* (1809—1849) — американский писатель, критик 40
- Победоносцев Константин Петрович* (1827—1907) — государственный деятель, обер-прокурор Синода (1880—1905) 473
- Погодин Михаил Петрович* (1800—1875) — историк, писатель 168, 219, 243, 541, 542
- Поджо* — Браччолини Джан Франческо Поджо (1380—1459), итальянский писатель 214

- Пожарский Дмитрий Михайлович* (1578—1642) — князь, полководец 372, 397
- Полонский Яков Петрович* (1819—1898) — поэт 440
- Поляков Сергей Александрович* (1874—1948) — владелец издательства «Скорпион» 565
- Потанин Григорий Николаевич* (1835—1920) — исследователь Центральной Азии и Сибири 204, 540
- Преображенский Василий Петрович* (1864—1900) — писатель, редактировал журнал «Вопросы философии и психологии» 572
- Преображенский П. А.* — протоиерей 577
- Пришвин Михаил Михайлович* (1873—1954) — писатель 5, 17
- Пришвина Валерия Дмитриевна* (1899—1979) — вдова М. М. Пришвина 5
- Прокопович Сергей Николаевич* (1871—1955) — политический деятель, экономист, публицист 567
- Прокопович Феофан* (1681—1736) — украинский и русский писатель, просветитель 184
- Пугачев Емельян Иванович* (1740/42—1775) — донской казак, предводитель Крестьянской войны 1773—1775 гг. 273
- Пуришкевич Владимир Митрофанович* (1870—1920) — политический деятель, монархист 38, 577
- Пушкин Александр Александрович* (1833—1914) — старший сын поэта 551
- Пушкин Александр Сергеевич* (1799—1837) 10, 19, 22, 24, 26—29, 31—33, 39, 44, 52, 158—161, 164, 183, 186—188, 190, 200—202, 220—222, 225—262, 274—278, 288, 291—293, 295, 298, 301, 305—307, 314, 315, 317, 319, 326—329, 343, 344, 460, 492, 501, 506, 531, 532, 536, 539, 542—548, 551—557, 560, 567—569, 575
- Пушниц Иван Иванович* (1798—1859) — декабрист, друг Пушкина 261
- Пылин Александр Николаевич* (1833—1904) — литературовед, представитель культурно-исторической школы 309, 311
- Радищев Александр Николаевич* (1749—1802) 319
- Радонежский Александр Анемподистович* — педагог, автор книги для первоначального классного чтения 405, 566
- Разин Степан Тимофеевич* (ок. 1630—1671) — донской казак, предводитель Крестьянской войны 1670—1671 гг. 429
- Разинков Василий Лазаревич* — публицист, сотрудник «Нового времени» в 1890—1910-х годах 364
- Рамм А.* — переводчик 531
- Расин Жан* (1639—1699) — французский драматург 322
- Рафаэль Санги* (1483—1520) 43, 201, 236, 260
- Рачинский Сергей Александрович* (1833—1902) — ботаник, деятель народного образования 40, 341, 378, 379, 417, 464, 507, 573
- Рембрандт Харменс ван Рейн* (1606—1669) — голландский художник 352, 471
- Ремизов Алексей Михайлович* (1877—1957) — писатель 14—16, 22, 37, 39, 560
- Родзевич* — учитель в нижегородской гимназии 490
- Розанов Василий Васильевич* (1899—1918) — сын писателя 9, 411, 412, 575
- Розанов Николай Васильевич* (1847—1894) — брат писателя 11, 430, 448, 470
- Розанов Сергей Васильевич* (р. 1858) — брат писателя 348, 349, 446
- Розанов Федор Васильевич* (р. 1850) — брат писателя 405
- Розанова Варвара Васильевна* (1898—1943) — дочь писателя 9, 355, 412, 575
- Розанова Варвара Дмитриевна* — см. Руднева В. Д.
- Розанова Вера Васильевна* (1848—1867) — сестра писателя 404, 470, 568
- Розанова Вера Васильевна* (1896—1920) — дочь писателя 9, 19, 412, 575

- Розанова Надежда Васильевна* (урожд. Шишкина, по другим сведениям Надежда Ивановна, ок. 1827—1870) — мать писателя 11, 348, 454
- Розанова Надя* (1892—1893) — первая дочь писателя 456, 568
- Розанова Надежда Васильевна* (1900—1958) — дочь писателя 16, 441, 528, 575, 576, 583
- Розанова Татьяна Васильевна* (1895—1975) — старшая дочь писателя 5, 9, 16, 351, 379, 380, 387, 412, 425, 481, 528, 575, 581
- Романов Иван Федорович* — см. Рцы
- Романова Ольга Ивановна* — вдова писателя И. Ф. Романова 387, 428, 471
- Ронигер Эмиль* (1883—) — швейцарский писатель 531
- Россини Джоаккино* (1792—1868) — итальянский композитор 471
- Руднев Тихон Дмитриевич* («Тиша Руднев») — брат жены Розанова, юрист 388
- Руднева Александра Адрияновна* (урожд. Жданова, «бабушка», ок. 1826—1911) — мать жены писателя 334, 351, 386, 389, 436, 440, 441, 469, 562
- Руднева Варвара Дмитриевна* (Бутягина по первому мужу, 1864—1923) — вторая жена Розанова, «друг» 9, 12, 19, 24, 25, 335—338, 349, 351, 377, 379, 386—388, 402, 403, 405—407, 411, 412, 428, 433, 435—437, 440—443, 455—458, 461, 463, 468, 469, 472—474, 476, 481, 482, 485, 493, 494, 496, 528, 549, 550, 557, 558, 560, 562—564, 584
- Руже де Лиль Клод Жозеф* (1760—1836) — французский поэт и композитор 10, 561
- Ружанов Аркадий Вениаминович* (1878—1960) — заведующий Петроградским отделением газеты «Русское слово», журналист 524, 580
- Русиль* (Рассел) *Джон* (1792—1878) — английский премьер министр и министр иностранных дел 432
- Руссо Жан Жак* (1712—1778) — французский писатель и философ 34, 35, 219, 499, 500, 541, 570
- Рцы* (наст. фамилия: Романов Иван Федорович, 1861—1913) — писатель, публицист 13, 40, 248, 249, 253—262, 341, 351—353, 362, 428, 433, 464, 467, 471, 485, 493, 546, 547
- Рыбников Павел Николаевич* (1831—1885) — фольклорист 328, 556
- Рылеев Кондратий Федорович* (1795—1826) — декабрист, поэт 565
- Рюрик* (IX в.) — начальник варяжского военного отряда, новгородский князь, основатель династии Рюриковичей 315, 477
- Саблер Владимир Карлович* (1847—1929) — обер-прокурор Синода, сотрудник церковных изданий 324, 325, 364
- Саванарола* (Савонарола) *Джироламо* (1452—1498) — флорентийский религиозно-политический деятель 484
- Савельев А. И.* — надзиратель Петербургского инженерного училища 545
- Сад Донасьен Альфонс Франсуа маркиз де* (1740—1814) — французский писатель 207
- Салтыков-Щедрин Михаил Евграфович* (1826—1889) 7, 8, 25, 37, 38, 180, 336, 337, 341, 354, 357, 384, 396, 419, 521, 525, 526, 558, 569
- Самарин Юрий Федорович* (1819—1876) — философ, историк, публицист, славянофил 199
- Самойло* — учитель гимназии в Костроме 404
- Саркисов Сергей Иванович* — составитель учебника армянской грамматики 311
- Светоний Гай Транквилл* (ок. 70 — ок. 140) — римский историк и писатель 558
- Сенека Луций Анней* (ок. 4 до н. э.— 65 н. э.) — римский философ, писатель 67
- Серافим Саровский* (Мошин Прохор Сидорович, 1759—1833) — подвижник православной церкви, канонизирован в 1903 г. 480

- Сервантес Сааведра Мигель де* (1547—1616) — испанский писатель 381
- Сергеенко Петр Алексеевич* (1854—1930) — писатель, биограф Л. Н. Толстого 545, 548
- Сигерос Николас* (XIV в.) — претор Романьи 541
- Сильвестр* (ум. ок. 1566) — священник, автор особой редакции «Домостроя» 328
- Скабичевский Александр Михайлович* (1838—1910) — критик и историк литературы 337
- Слободской Иван Павлович* — священник 334
- Слонимский Леонард-Людвиг Зиновьевич* (1850—1918) — публицист, сотрудник «Вестника Европы» 357, 560
- Смирягин А.* — священник, сотрудник церковных изданий 549
- Сократ* (ок. 470—399 до н. э.) — древнегреческий философ 339, 558
- Соловьев Владимир Сергеевич* (1853—1900) — философ, поэт, публицист 10, 18, 26, 27, 247, 249, 269, 359, 371, 464, 482, 512, 532, 545, 546, 548, 560, 562, 568
- Соловьев Михаил Петрович* (1842—1901) — цензор, начальник Главного управления по делам печати (1896—1900) 331
- Сологуб Федор Кузьмич* (наст. фамилия: Тетерников, 1863—1927) — писатель 14
- Сомов Константин Андреевич* (1869—1939) — художник 14
- Софокл* (ок. 496—406 до н. э.) — древнегреческий поэт-драматург 92, 233, 246
- Спасович Владимир Дмитриевич* (1829—1906) — юрист, публицист 309
- Спенсер Герберт* (1820—1903) — английский философ-позитивист 315, 319, 474, 478
- Сперанский Михаил Михайлович* (1772—1839) — граф, государственный деятель 167
- Сперанский Михаил Нестерович* (р. 1863) — профессор Московского университета 552
- Стародум* (наст. фамилия: Стечкин Николай Яковлевич, 1854—1906) — журналист 509, 574
- Стасов Владимир Васильевич* (1824—1906) — художественный и музыкальный критик, историк искусства 552, 567
- Стасова Надежда Васильевна* — сестра В. В. Стасова 567
- Стасюлевич Михаил Матвееч* (1826—1911) — историк, журналист, публицист 201, 309, 311, 313, 353, 455
- Стахеев Дмитрий Иванович* (1840—1918) — писатель 521
- Столыпин Александр Аркадьевич* (р. 1863) — сотрудник «Нового времени», брат премьер-министра 243, 227, 513
- Столыпин Петр Аркадьевич* (1862—1911) — министр внутренних дел и председатель Совета министров (с 1906 г.) 342, 372, 427, 559
- Стороженко Николай Ильич* (1836—1906) — историк литературы, профессор Московского университета 12
- Стоюнина Мария Николаевна* — жена педагогического деятеля Владимира Яковлевича Стоюнина (1826—1888), начальница частной женской гимназии, открытой в Петербурге в 1881 г. 388, 513
- Страхов Николай Николаевич* (1828—1896) — философ, публицист, критик 13, 30, 34, 40, 44, 182, 187, 189, 199, 221, 222, 331, 338, 339, 341, 358, 414, 428, 429, 464, 521, 531, 537, 539, 542, 549, 558, 579
- Струве Петр Бернгардович* (1870—1944) — экономист, философ, историк, публицист 9, 38, 347, 348, 376, 559, 564
- Суворин Алексей Сергеевич* (1834—1912) — издатель и журналист, хозяин «Нового времени» 8, 19, 20, 373, 400, 402, 428, 452, 493, 509, 510, 521, 506, 559, 574, 575, 581

- Суворин Борис Алексеевич* — сын А. С. Суворина 510, 514, 574
- Суворин Михаил Алексеевич* (1860—1936) — старший сын А. С. Суворина, владелец издательства «Лукоморье» 581
- Суворов Александр Васильевич* (1729—1800) — полководец 315, 360
- Судейкин Георгий Порфирьевич* (1850—1883) — один из руководителей политического сыска, организатор политической провокации, так называемой дегаевщины 368
- Сумароков Александр Петрович* (1717—1777) — писатель 528
- Сусанин Иван Осипович* (ум. 1613) — крестьянин Костромской губернии, герой освободительной борьбы русского народа против польских интервентов 313, 397, 565
- Суслова Аполлинария Прокофьевна* (1840—1918) — первая жена Розанова 7, 12, 558
- Суходрев Всеволод Михайлович* — сотрудник газеты «Новое время» 465
- Сю Эжен* (1804—1857) — французский писатель 322
- Таратин Василий Андреевич* — купец 1-й гильдии, председатель правления товарищества «В. А. Таратин» (магазин дамского платья в Гостином дворе) 403
- Твардовский Александр Трифонович* (1910—1971) — поэт 5
- Твен Марк* (наст. фамилия: Клеменс Сэмюэл, 1835—1910) — американский писатель 16, 17
- Тверской Петр Алексеевич* (наст. фамилия: Дементьев, 1850—1923) — публицист 26
- Теккерей Уильям Мейкпис* (1811—1863) — английский писатель 267, 548
- Тенишева Мария Клавдиевна* (1867—1928) — княгиня, деятель культуры и искусства, организовала училище в Петербурге 388
- Тернавцев Валентин Александрович* (1866—1940) — чиновник Синода, член Религиозно-Философского общества 413, 414, 517
- Тил(л)инг Густав Фердинандович* — профессор-хирург, директор Евангелической больницы 459
- Тимирязев Климент Аркадьевич* (1843—1920) — естествоиспытатель-дарвинист 399, 566
- Тихон Задонский* (Соколов Тимофей Савельевич, 1724—1783) — проповедник и мыслитель, глубоко чтимый Достоевским, канонизирован в 1861 г. 44
- Тихонравов Николай Саввич* (1832—1893) — литературовед, профессор Московского университета, академик 12, 166, 168, 537
- Толстая Софья Андреевна* (1844—1919) — мемуаристка, жена Л. Н. Толстого 281—283
- Толстой Алексей Константинович* (1817—1875) — писатель 360, 554, 562
- Толстой Алексей Николаевич* (1882—1945) — писатель 499
- Толстой Лев Львович* (1869—1945) — сын Л. Н. Толстого, публицист 31, 573
- Толстой Лев Николаевич* (1828—1910) — 6, 8, 17, 18, 21, 24, 28, 29, 31—33, 35, 39, 40, 43, 46, 49, 54, 59, 68, 75, 76, 158, 159, 180, 181, 189, 196, 220, 222, 223, 225, 227, 228, 230, 231, 236, 241, 243, 246, 261, 281—286, 299, 302, 314, 315, 320, 321, 323, 328, 329, 339, 340, 423, 453, 454, 483, 504, 506, 507, 531, 538, 542, 544, 545, 548—550, 556, 568, 572, 573
- Толстой Сергей Николаевич* (1826—1904) — брат Л. Н. Толстого 31
- Тредьяковский* (Тредиаковский) *Василий Кириллович* (1703—1768) — поэт, филолог 528
- Трейхмюллер* (правильно: Тейхмюллер) *Густав* (1832—1888) — немецкий философ 364, 561
- Троицкий Дмитрий Степанович* (ум. 1873) — нижегородский врач, брат жены Николая Васильевича Розанова 447

- Трувор* (IX в.) — предводитель варяжской дружины, княжившей в Изборске 315
- Тургенев Иван Сергеевич* (1818—1883) 18, 21, 24, 39, 49, 53, 59, 61, 75, 158, 164, 180, 196, 220, 225, 228, 231, 276, 291, 299, 302, 314, 315, 320—322, 351, 357, 428, 533, 534, 543, 552, 555, 556, 559, 566
- Тычинкин Константин Семенович* — заведующий типографией газеты «Новое время» 465, 509, 573
- Тьерри* (Тьерри) *Огюст* (1795—1856) — французский историк 318
- Тэн Ипполит* (1828—1893) — французский литературовед, философ 521
- Тютчев Федор Иванович* (1803—1873) — поэт 501, 577
- Уитмен Уолт* (1819—1892) — американский поэт 523, 580
- Усов Сергей Алексеевич* (1827—1886) — зоолог, археолог, искусствовед 532
- Устюгинский Александр Петрович* (1854—1922) — священник в Новгороде 336, 463, 558
- Уфимцев Анатолий Георгиевич* (1880—1936) — изобретатель; за участие во взрыве «чудотворной иконы» в Курске в 1900 г. заключен в Петропавловскую крепость и сослан в Сибирь 559
- Ушинский Константин Дмитриевич* (1824—1870) — педагог 405, 566
- Фавр Жюль* (1809—1880) — французский политический деятель 504, 572
- Фальконе Этьенн Морис* (1716—1791) — французский скульптор 296, 552
- Фаресов Анатолий Иванович* (1852—1928) — писатель, публицист 398, 510, 566, 574
- Фаустина* — жена римского императора Антонина 372
- Фигнер Вера Николаевна* (1852—1942) — деятельница русского революционного движения, мемуаристка 321, 555
- Фидий* (начало V в. — ок. 432/31 до н. э.) — древнегреческий скульптор 229
- Филарет* (Дроздов Василий Михайлович, 1783—1867) — митрополит московский 461
- Фидельфо Франческо* (1398—1481) — итальянский гуманист 214
- Филиппов Тертий Иванович* (1825—1899) — директор Государственного контроля, писатель-славянофил, почетный член Академии наук 374, 429, 562, 567
- Философов Дмитрий Владимирович* (1872—1940) — критик, публицист 351, 465, 466, 521, 557
- Фихте Иоганн Готлиб* (1767—1814) — немецкий философ 213
- Фичино Марселио* (1433—1499) — итальянский философ 212
- Флобер Гюстав* (1821—1880) — французский писатель 211, 534
- Флоренский Павел Александрович* (1882—1937) — философ и ученый, друг Розанова 35, 40, 341, 356, 449, 453, 455, 456, 460, 461, 465, 482, 485, 493, 498, 570
- Фойгт Георг* (1827—1891) — немецкий историк 541
- Фолкнер Уильям* (1897—1962) — американский писатель 40
- Фонвизин Денис Иванович* (1744/45—1792) — писатель 25, 184, 360
- Фонтенель Бернар Ле Вовье* (1657—1757) — французский писатель и ученый 185, 538
- Франц-Иосиф I* (1830—1916) — император Австрии и король Венгрии, создатель Австро-Венгерской монархии 312, 324, 325
- Франциск Ассизский* (1182—1226) — учредитель монашеского ордена «францисканцев» 482, 568
- Фрейд Зигмунд* (1856—1939) — австрийский врач-психиатр, основатель психоанализа 20, 34
- Фридрих II Великий* (1712—1786) — прусский король, полководец 315

- Херасков Михаил Матвеевич* (1733—1807) — писатель 83
- Хитрово Елизавета Михайловна* (1783—1839) — близкий друг Пушкина 546
- Ховин Виктор Романович* — литератор, издатель и владелец книжного магазина «Книжный угол» в Петрограде (1918—1925) 17, 18, 581
- Хомяков Алексей Степанович* (1804—1860) — философ, писатель 199
- Цветаев Иван Владимирович* (1847—1913) — создатель и первый директор Музея изящных искусств в Москве (ныне Музей изобразительных искусств им. А. С. Пушкина) 560
- Цветаева Марина Ивановна* (1892—1941) — поэт 546
- Цветков Сергей Алексеевич* (1888—1964) — литератор, друг Розанова и его библиограф 40, 399, 457, 465, 482, 485, 566
- Цибрикова Мария Константиновна* (1835—1917) — писательница, публицистка 474
- Цезарь Гай Юлий* (102/100—44 до н. э.) — римский диктатор, полководец 193
- Чаадаев Петр Яковлевич* (1794—1856) — философ 24, 44, 45, 298, 319, 532, 552, 566
- Чернышевский Николай Гаврилович* (1828—1889) 8, 44, 289, 299, 363, 395, 426, 428, 565
- Чертков Владимир Григорьевич* (1854—1936) — издатель, друг Л. Н. Толстого 556
- Чехов Антон Павлович* (1860—1904) 20, 299—304, 505, 508, 553, 572, 573
- Чиж Владимир Федорович* (р. 1855) — профессор психиатрии Юрьевского (Тарту) университета, автор книги «Достоевский как психопатолог» (1884) 534
- Чинизелли Сципионе Гаэтан* — директор петербургского цирка 492
- Чуковский Корней Иванович* (наст. фамилия: Корнеичукон Николай Васильевич, 1882—1969) — писатель, литературовед 377, 447, 492, 499, 524, 562, 570, 580
- Шаляпин Федор Иванович* (1873—1938) 16, 583
- Шан-Гирей Эмилия Александровна* (урожд. Клингенберг, 1815—1891) — дочь М. И. Верзилиной, падчерица генерала П. С. Верзилина, в доме которого произошло столкновение Лермонтова с Мартыновым 218, 541
- Шарапов Сергей Федорович* (1855—1911) — писатель 13
- Шварц Александр Николаевич* (р. 1848) — преподаватель Московского университета, член Гос. совета 306, 359, 560
- Шейн Павел Васильевич* (1826—1900) — фольклорист 320, 324
- Шекспир Уильям* (1564—1616) 66, 93, 155, 230, 239, 322, 327, 328, 437, 534, 536, 576
- Шенрок Владимир Иванович* (1853—1910) — литературовед, изучавший творчество Гоголя 537
- Шервинский Сергей Васильевич* (р. 1892) — писатель, переводчик 505
- Шестов Л.* (наст. фамилия: Шварцман Лев Исаакович, 1866—1938) — философ и писатель 568
- Шиллер Иоганн Фридрих* (1759—1805) 186, 309, 327, 484, 535, 546
- Шлоссер Фридрих Кристоф* (1776—1861) — немецкий историк 395, 565
- Шопен Фредерик* (1810—1849) — польский композитор и пианист 573
- Шопенгауэр Артур* (1788—1860) — немецкий философ 285, 286, 315, 319
- Шперк Федор Эдуардович* (1870—1897) — философ, друг Розанова 40, 359, 464, 493
- Штемберг Георгий Константинович* — директор мужской гимназии на Забалканском проспекте в Петербурге 388
- Штильман Григорий Николаевич* (р. 1875) — юрист, публицист 515, 576

Шубинский Сергей Николаевич (1834—1913) — историк, редактор «Исторического вестника» 574
Шувалов Иван Иванович (1727—1797) — государственный деятель 219

Щеглов (наст. фамилия: Леонтьев Иван Леонтьевич, 1856—1911) — писатель, историк литературы 546

Щербов Николай Романович — сотрудник журнала «Русский паломник» 455
Щербова Надежда Романовна (ок. 1871—1911) — сотрудница журнала «Русский паломник» 370, 562

Эврипид (Еврипид, ок. 480—406 до н. э.) — древнегреческий поэт-драматург 246

Эдиссон (Эдисон) *Томас Алва* (1847—1931) — американский изобретатель 215

Эйхенбаум Борис Михайлович (1886—1959) — историк литературы 22

Эпиктет (ок. 50 — ок. 140) — римский философ 339

Эсхил (ок. 525—456 до н. э.) — древнегреческий поэт-драматург 246

Южный М. (наст. фамилия: Зельманов Михаил Григорьевич, 1869—1901) — журналист 503, 571

Яблоновский Александр Александрович (1870—1913) — писатель-фельетонист 358

Языков Николай Михайлович (1803—1846) — поэт 190, 220, 276, 398, 542

СОДЕРЖАНИЕ

А. Николюкин. В. В. Розанов — литературный критик	5
КНИГИ И СТАТЬИ	Комм.
Легенда о Великом инквизиторе Ф. М. Достоевского. Опыт критического комментария (1891)	41 531
О Гоголе (Приложение двух этюдов)	
<i>Пушкин и Гоголь (1891)</i>	158 536
<i>Как произошел тип Акакия Акакиевича (1894)</i>	166 536
Три момента в развитии русской критики (1892)	177 537
О Достоевском (1893)	192 538
Декаденты (1896)	204 540
«Вечно печальная дуэль» (1898)	217 541
О Пушкинской Академии (1899)	232 544
Заметка о Пушкине (1899)	240 545
Еще о смерти Пушкина (1900)	247 546
М. Ю. Лермонтов (К 60-летию кончины) (1901)	263 547
Гоголь (1902)	274 548
Поездка в Ясную Поляну (1908)	281 548
Гоголевские дни в Москве (1909—1913)	287 550
Отчего не удался памятник Гоголю? (1909)	292 552
Наш «Антоша Чехонте» (1910)	299 553
Домик Пушкина в Москве (1911)	305 553
Возле «русской идеи»... (1911)	308 554
Возврат к Пушкину (К 75-летию дня его кончины) (1912).	326 556
Опавшие листья. Короб второй и последний (1915)	331 557
Цензура (1916)	497 569
Гоголь и Петрарка (1918)	501 570

II. ПИСЬМА

К. Н. Леонтьеву. 20 мая 1891 г.	503	570
П. П. Перцову. <Конец декабря 1896>	505	572
Л. Н. Толстому. <Июль — август 1898>	506	572
А. П. Чехову. <Март 1899>	508	573
В. Я. Брюсову. <20 октября 1901>	509	573
В. Я. Брюсову. <6 апреля 1904>	509	574
А. С. Суворину. <Конец мая 1904>	510	574
М. Горькому. <После 4 ноября 1905>	511	575
В. Г. Короленко. <5—7 апреля 1906>	515	576
А. А. Блоку. <Получено 19 февраля 1909>	516	576
М. Горькому. <Июнь 1911>	518	577
М. Горькому. <Июль — август 1911>	519	578
М. Горькому. <Конец 1911>	520	579
М. Горькому. <3—6 марта 1912>	521	579
М. Горькому <17 апреля 1912>	522	580
Э. Ф. Голлербаху. <16 июля 1915>	523	580
М. Горькому. <Конец 1917>	523	581
Э. Ф. Голлербаху. 26 октября 1918	525	581
Д. С. Мережковскому. <Декабрь 1918>	526	582
М. Горькому. 20 января 1919 г.	527	583
Н. Е. Макаренко. 20 января 1919 г.	528	583
Комментарий (А. Николюкин)	530	
Указатель имен (А. Николюкин)	585	

Розанов В. В.

**Р64 Мысли о литературе/Вступ. статья, сост., коммента-
рии А. Николукина.— М.: Современник, 1989.— 607 с.,
портр.— (Б-ка «Любителям российской словесности. Из
литературного наследия»).**

ISBN 5—270—00963—3

Максим Горький называл В. В. Розанова (1856—1919) «самым интересным человеком русской современности». Однако последние 70 лет книги Розанова как представителя нетрадиционного мышления у нас не переиздавались. Наследие писателя обширно и включает в себя более 30 книг по философии, истории, религии, морали, литературе, культуре. Его творчество — одно из наиболее неоднозначных явлений русской культуры, чем и объясняется его «забвение».

Розанов удивительно современен, «ужасающе современен», как отзывался о нем крупный английский писатель Д. Г. Лоренс. Действительно, розановское слово живо, как будто написано в наши дни. Так откровенно изъясняться стало возможно не столь уж давно, о чем свидетельствует сам факт появления настоящего издания.

**Р 4603010100—245 КБ—50—22—88
М106(03)—89**

ББК83.3Р1

2р.50к.

•СОВРЕМЕНИК•